Лев Гинзбург

Избранное







Лев Гинзбург

Избранное

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

ББК 84.Р7
Г 49

Художники:
Евгений ДОБРОВИНСКИЙ, *Татьяна* ДОБРОВИНСКАЯ

Г $\frac{4702010200-392}{083(02)-85}$ 37—85

В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Лев Владимирович Гинзбург (1921—1980) был выдающимся переводчиком немецкой поэзии и замечательным публицистом. Всю свою творческую жизнь он писал о Германии, о ее великих поэтах, о кошмарной ночи фашизма, опустившейся над Европой, о человеческом достоинстве и героизме сопротивления, о советском народе, вынесшем основную тяжесть борьбы с гитлеризмом. В переводах Гинзбурга зазвучали по-русски десять веков немецкой демократической поэзии — от вагантов до Иоганнеса Бехера. В его документально-публицистических книгах «Цена пепла», «Бездна», «Потусторонние встречи» запечатлены дни позора и печали немецкой нации, круги ада на земле, созданного нацистским режимом.

Две ипостаси творчества Гинзбурга неразделимы, они питали друг друга. Волею судьбы, таланта, воспитания он оказался как бы в эпицентре борьбы между культурой и безумием, гуманизмом и человеконенавистничеством. Эти две Германии навсегда столкнулись в его сердце.

Когда вышла книга народных немецких баллад в переводе Гинзбурга, он получил письмо от одной русской женщины, которая писала, что три года провела на оккупированной территории. «У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она прониклась ненавистью, ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народ, видимо, виноват...»

Политически страстное, умное перо писателя-коммуниста и сейчас, когда его нет среди нас, продолжает бороться за мир, за высокую поэзию любви и правды, против любых проявлений фашизма и мракобесия. Он с полным правом мог поставить в эпиграф своей последней прозаической книги «Разбилось лишь сердце мое...» строки из переведенного им «Парцифаля»:

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло...

Биография Льва Гинзбурга достаточно типична для советского интеллигента-гуманитария его поколения. Он родился в Москве в семье юриста, учился в школе № 240 на Рождественском бульваре, с детства писал стихи и изучал немецкий язык, занимался в литературной студии Дома пионеров под руководством Михаила Светлова. Осенью 1939 года Гинзбург стал студентом Института истории, философии и литературы, но учиться там ему фактически не пришлось. 27 сентября он был призван в армию и отправлен на Дальневосточный фронт, где прослужил шесть с половиной лет до окончания второй мировой войны. Потом были годы учебы в Московском университете на филфаке, первые опубликованные переводы, вступление в литературу.

Такова внешняя канва начала этой творческой биографии. Гораздо более существенна внутренняя, духовная сторона дела. Читатель книги, к

которой я пишу сейчас короткое предисловие, многое узнает об авторе — как о человеке и художнике — прямо из его уст. Гинзбург тяготел к исповеди, особенно в последние годы жизни. И к документу как основе неприкрашенного свидетельства о времени и себе.

Пепел погибших в нацистских лагерях смерти стучал в его сердце, когда он писал свои немецкие заметки «Цена пепла». Кровавая история фашистской зондеркоманды СС 10-а послужила основой для книги «Бездна». «Это наша боль,— писал он,— наше дело, долг, возложенный на наше поколение; до конца рассчитываться за всех убитых, замученных, загубленных, рассчитываться за всех вместе и за каждого в отдельности — от прославленных мучеников, чьи имена высечены на граните и начертаны золотом на мраморе, до безвестного, еще не успевшего получить имени ребенка, оторванного от материнской груди и брошенного в могильный ров...»

И он рассчитывался, заглядывая в «бездны» предательства и преступлений против человечности, называя имена палачей и жертв, раскрывая психологию душегубства. Он шел по следам военных преступников, живших в Западной Германии, и предавал гласности их прошлое. Это были его боль и его дело, как и дело сближения двух поэтических культур — русской и немецкой.

Кое-кто на Западе хотел бы сегодня переписать историю нацизма, фальсифицировать некоторые ее страницы, преуменьшить значение подвига Советской Армии и советского народа. Антифашистские произведения Гинзбурга — в ряду тех, которые скрупулезно восстанавливают правду о гитлеризме. Они звучат как предупреждение новым поколениям, призывают к бодрствующему разуму, чей сон, по слову Гойи, способен рождать чудовищ.

Галерея психологических портретов палачей всех рангов — от Гиммлера до Эйхмана — и их приспешников, предателей Родины, полицаев и карателей, запятнавших свои руки кровью миллионов ни в чем не повинных людей — русских, поляков, евреев, белорусов, украинцев, французов, голландцев, немцев, детей, женщин, стариков,— дана Гинзбургом в суховатой оправе фактов, без повышенно эмоциональной риторики. Гнев и сострадание, ненависть и боль клокочут внутри, как лава, и тем сильнее действуют на наше сознание и чувства извлечения из документов и протоколов, зафиксировавших злодеяния гитлеровцев. Да они и сами писали свою историю не только пулей, веревкой виселицы, газом душегубок, огнем крематориев, но и выверенной отчетной цифирью, подробным реестром жертв, педантичной бухгалтерией смерти.

Со страниц книг Льва Гинзбурга во весь рост встает и другая Германия — Генриха Гейне и Эрнста Тельмана, Германия Сопротивления и социалистической стройки. В послевоенные годы писатель обрел много друзей в ГДР и ФРГ, он пишет об этих людях — поэтах, журналистах, ученых — с чувством симпатии и душевной близости. Он вновь и вновь обращается к прогрессивной немецкой поэзии, которая из века в век сражалась против рабства и угнетения, против филистерской пошлости и милитаристского смрада за духовно свободного человека.

Позволю себе личную ноту. В конце семидесятых мы на короткое время сошлись с Гинзбургом поближе. Он дружил с писателями, которых я глубоко уважал и уважаю: Юрием Трифоновым, Иосифом Диком, Еленой Николаевской, Булатом Окуджавой, Евгением Винокуровым, Константином Ваншенкиным, Юрием Давыдовым. Он дарил мне свои книги, и в ответ на его перевод средневековой поэмы «Рейнеке-лис» я послал шутливое четверостишие:

Скажу, нахально осмелев,
Опровергая Брема:
Лис — Рейнеке и Гинзбург — Лев —
Теперь одна поэма.

— Ну вот, эпиграммой отделался,— сказал он, улыбнувшись.— Мог бы и рецензию написать.

Рецензию я так и не написал, ибо не чувствовал себя вправе профес-

сионально судить о тонкостях перевода. Но последнюю книгу Гинзбурга «Разбилось лишь сердце мое...» читал по его просьбе в рукописи и рецензировал для издательства «Советский писатель».

Он не сразу озаглавил ее вещей стихотворной строкой Генриха Гейне. Были колебания в выборе названия. Для Гинзбурга эта книга означала очень многое, если не в с ё. Какой-то глубиной подсознания он предчувствовал, что она может стать прощанием, финалом, хотя вслух никогда не признавался в этом.

«Любая человеческая личность,— пишет автор в предуведомлении к книге,— как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начала переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же силой земного притяжения возвращается к нам на землю».

Человеческая личность Гинзбурга вмещала множество действительностей, жизней, авторов и персонажей, потому что он был переводчиком милостью божьей и всякий раз, не теряя себя, оставаясь самим собой, всем существом вживался в судьбу и время переводимых поэтов.

Что она по жанру, эта книга? Роман-автобиография, комментарий к собственным переводам, путешествие по столетиям немецкой культуры, исповедь сына века? Все это есть в ней, написанной свободно и поэтично, с тем неподдельным жаром внутреннего огня, который согревает и облагораживает читательское сердце.

«Дух бессилен, если его не питают знания»,— сказано автором, совершающим вместе с нами увлекательный путь по средневековью немецкой поэзии: лирика вагантов, великая поэма «Парцифаль», барокко. Лица и голоса воскресают, звучат, светятся, страдают. Здесь особенно выделяются страницы, посвященные судьбе и поэзии «воинственного утешителя» Грифиуса, современника Тридцатилетней войны, по существу открытого Гинзбургом для русского читателя. Поэтический перевод становится жизнью, познанием, искусством самого высокого толка. Будь моя воля, я рекомендовал бы эту книгу как настольную для каждого молодого переводчика.

Но это и роман. Роман о собственной жизни. Смелая книга, откровенная. Книга о времени трудном и единственно данном поколению, к которому принадлежал автор.

Очень важно сегодня в потрясенном мире, еще недавно пережившем трагедию второй мировой войны, в мире, над которым нависла тень новой катастрофы, говорить и писать о культуре, в ее защиту. Книга Гинзбурга выполнена в лучших традициях русского и европейского гуманизма, интернационализма. Ее антифашистский пафос взрывчато актуален; он обращен не столько к истории, сколько к будущему, которое по-прежнему чревато воинственным национализмом в самых разных своих проявлениях.

Подробный, внешне бесстрастный отчет старика Миндлина, пережившего в оккупации гетто, потрясает.

Чудесно написано о цыганах, которые внезапно сошлись в сознании автора с вагантами,— рифмуются судьбы, мотивы, страстная неприкаянность, любовь к свободе.

Т а к а я книга не могла быть написана, если бы не личная драма, только что свершившаяся, не остывшая. Смерть жены, самого близкого человека, вошла в книгу как реальная боль, вошла сдержанно, достойно.

«Мы часто все употребляем слово «смертные», не думая, что оно относится к нам самим. А ведь осознание краткости жизни возлагает на нас высокий долг. В припадке обиды или раздражения мы иногда не разговариваем со своими близкими, забывая, что потом они, умерев, не смогут разговаривать с нами вечно... Бойтесь ссор! Каждая ссора может оказаться последней! Старайтесь простить друг другу все, что можно простить. Знайте, что высшее счастье, истинное счастье — возможность видеть любимое существо. Других любимых н е б у д е т!»

Оттого что автор так беззащитно открыт читателям, ему особенно веришь. Нужно было решиться. Горе всегда смелее и больше счастья.

Радость радости не приносила.
Счастье длилось короткий миг.
Только горе — великая сила —
Длится дольше столетий самих.
(Борис Слуцкий)

Я не говорю подробно о переводческих, профессиональных вопросах, которые затрагивает Лев Гинзбург. Здесь, на мой взгляд, он безукоризненно компетентен. Гейне и особенно Шиллер, прочитанный автором свежо, заново,— образы, далекие от хрестоматийного глянца, наши товарищи по культуре. История, в том числе история литературы, под пером Гинзбурга становится живой и близкой; с фолиантов стирается пыль веков, краски промываются и проступают в своем первозданном виде; даже фантастически многостраничный, далекий Эшенбах, автор «Парцифаля», пробуждается от долгого сна и, погромыхивая рыцарскими доспехами, протягивает нам теплую руку из тринадцатого столетия.

«Если вспомнить мое хождение по стихам,— записывает Гинзбург в дневнике,— то я пытался с помощью своих переводов сказать, чем я жил, что думал о жизни, чего хотел от нее. Выражал я через них и радость молодости, и грубое наслаждение плотью, напор и лихость, жившие во мне, тогда молодом». Но более всего хотелось «показать крутые и сильные характеры — в веселье и гневе, в отчаянии или в яростном негодовании, в неистовом отрицании зла и в потребности прощать, любить, делать добро...».

Это правда, именно так он и переводил — смеясь и гневаясь, отчаявшись и сострадая.

Хорошо, что автор вспомнил добрым словом Г. Шенгели и целую плеяду прекрасных русских и советских переводчиков, порою почти забытых нами.

Люди вообще склонны забывать. Художник живет памятью и напоминанием. Эстрадные наивные мифы юности, мелодия «Донны Клары» и «Синенького, скромного платочка» Петербургского, Франческа Гааль («Петер», «Маленькая мама», «Катерина»), вновь возникшая на экранах и в моем послевоенном детстве,— все это не сентиментальные воспоминания, а кровная часть прожитого мира, в котором многое сцеплено и значимо. Гинзбург прослеживает эти судьбы до их грустного финала не для снижения или пересмотра темы, а для нового утверждения правды т о г о собственного состояния, взгляда, без которых не было бы его, сегодняшнего.

Написал «не было бы сегодняшнего» и не стал исправлять. Гинзбург умер, едва поставив точку в конце своей рукописи. Его последняя книга — итог творческой жизни, внезапно оборвавшейся на новом высоком взлете.

В который раз поэтическое оказалось пророческим: «Разбилось лишь сердце мое...»

ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ

Из книги «Звезда пепла»

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

У них была власть, которая казалась незыблемой, и незыблемыми казались дома, здания министерств и канцелярий, незыблемыми были и концентрационные лагеря, окруженные колючей проволокой: на вышках стояли часовые, а при попытке к бегству заключенных расстреливали. «Попытка к бегству» была емкой, излюбленной формулой, наиболее удобным предлогом для того, чтобы выстрелить узнику в спину, без лишних церемоний избавиться от политических противников. Кроме того, за каждого расстрелянного при попытке к бегству эсэсовцы получали трехдневный отпуск. В концентрационном лагере Заксенхаузен придумали забаву: срывали с новичков-заключенных шапки, бросали на запретную зону, расположенную между забором и выложенной из камня чертой, приказывали: «За шапками бегом марш!» Новички переступали черту. Тотчас же раздавались выстрелы: попытка к бегству.

В сорок пятом году рухнули под бомбами здания, распались министерства, танки сметали колючую проволоку концентрационных лагерей. Среди битого кирпича и щебня издыхала на тринадцатом году своего существования «тысячелетняя империя». И тогда они сами предприняли отчаянную попытку к бегству: устремились на запад, к американцам и англичанам, в надежде на лояльность, на деловые связи и политическую конъюнктуру.

Сегодня стоит вспомнить о том, как они бежали и как были пойманы. Это поучительный рассказ о неотвратимости возмездия, голос предостережения. Вновь и вновь обратится человечество к тем последним страницам их ничтожной жизни, когда страх вывернул наизнанку их слабые души, а сладострастное, отчаянное желание выжить оказалось сильнее всех догм, нацистской «этики» и понятий о долге. Не щадившие никого, они взывали к пощаде; безжалостные, молили о жалости; и умерли они так же скверно, как жили.

21 мая 1945 года близ города Майнштедта через британский контрольный пункт проходили тысячи людей. Это была пестрая толпа — беженцы, раненые, демобилизованные, бывшие военно-

пленные, узники, освобожденные из лагерей смерти. В длинной очереди среди угрюмых инвалидов, среди стриженных наголо женщин в полосатых куртках и охмелевших от весны и свободы солдат стоял человек в новеньком мундире немецкой полевой полиции. Он был тщательно выбрит, но выглядел несколько неуклюже: с черной повязкой на глазу, тонконогий, сутулый. По мере приближения к контрольному пункту очередь сбивалась в кучу, начиналась давка, патрули не успевали проверять документы — верили на слово, да и ответ на вопрос: «Куда следуете?» — был во всех случаях один: «Домой!»

Человек в мундире полицейского отнюдь не собирался воспользоваться беспорядком. Козырнув, он вынул из кармана солдатскую книжку, предъявил ее англичанину и отрапортовал:

— Генрих Хитцингер, полицейский!

Долговязый «томми», который уже успел устать от всего этого столпотворения и равнодушно поглядывал на проходящих, вдруг насторожился. Его смутила новая форма и новые, «нетронутые» документы полицейского, черная повязка на глазу. Хитцингер был доставлен в лагерь Вестертимке, подвергнут допросу и заперт в одиночную камеру.

...За несколько месяцев до этого случая недалеко от Берлина человек, который назвал себя Генрихом Хитцингером, вел секретные переговоры с вице-президентом шведского Красного Креста графом Фольке Бернадоттом. Речь шла о капитуляции Германии перед западными союзниками. Немец требовал немедленно связать его с Эйзенхауэром и Монтгомери, швед отвечал уклончиво, наконец спросил, готово ли гестапо передать Красному Кресту датчан и норвежцев, заключенных в немецких концентрационных лагерях. Он посмотрел на своего собеседника: страшилище, ночной кошмар Европы выглядел как заурядный чиновник — постное лицо, усики, очки в роговой оправе, аккуратные, отполированные ногти.

Тогда они ни о чем не договорились. Швед уехал. Человек, назвавший себя Генрихом Хитцингером, решил между тем действовать. Надо было не просто спасаться: если американцы и англичане заключат с Германией сепаратный мир, он станет главой нового государства, преемником Гитлера. Необходимо сделать лишь несколько тактически верных шагов.

Со своим ближайшим сотрудником — Вальтером Шелленбергом — будущий фюрер обсуждает план устранения Гитлера. Может быть, стоит уговорить его добровольно отказаться от власти? А может быть...

В апреле Советская Армия подошла к самым воротам имперской столицы — время для путчей и дворцовых переворотов было неподходящим. В живописных берлинских пригородах, в пикниковых рощах настойчиво гремели орудия. Там были русские — из Смоленска, из Астрахани, из какой-нибудь Костромы. Он знал их по лагерям смерти, во время инспекторских поездок видел: простодушные лица, а в глазах — ненависть, сухость, злость. Он жег их в крематориях, загонял в каменоломни, живыми закапывал в зем-

лю, мордовал на допросах — они выжили, пришли, дымят махоркой, гогочут: «А Берлин-то совсем рядом!»

Нет, эти не пойдут ни на какую сделку, от них не откупишься, не сторгуешься с ними: варвары, они не знают, что между цивилизованными людьми возможны джентльменские комбинации, уступки...

...В ночь на 24 апреля в помещении шведского консульства в Любеке он вновь встречается с Бернадоттом.

— Я согласен на все,— говорит он усталым голосом.— Арестованные датчане и норвежцы будут освобождены. Передайте Эйзенхауэру: мы готовы немедленно капитулировать на западе, но никогда не капитулируем на востоке. Западные державы должны принять нашу капитуляцию и продвинуться как можно дальше на восток.

Швед улыбается. Его собеседник явно не ориентируется в международной обстановке. С подобным предложением следовало выступить гораздо раньше. Или значительно позже. Через несколько лет. Бернадотту понятно: обе стороны упустили возможности. Медлили упрямые немцы, слишком долго политиканствовали западные союзники. Казалось, обо всем договорились в тридцать восьмом в Мюнхене, снова начали сговариваться в сорок первом году, потом оттягивали второй фронт, посылали тайных эмиссаров в Ватикан, в Швейцарию, в Швецию, в Португалию, Аллен Даллес готовил создание единого антибольшевистского фронта. И что же? Ничего не вышло: русские смешали все карты, должны были погибнуть, а оказались победителями.

Внезапно гаснет электричество, гигантские кувалды колошматят по земле, дрожат стены, взрывная волна вышибает стекла окон, в кабинет врывается резкий ночной ветер: опрокидывает чернильницу, сгребает со стола деловые бумаги.

— Нам помешали,— говорит немец.— Может быть, мы продолжим разговор в бомбоубежище?

Граф пожимает плечами:

— Едва ли я смогу быть вам полезен. Думаю, что союзники в настоящее время не согласятся на сепаратный мир. Во всяком случае, я передам своему правительству.

Потом он спрашивает:

— Что же вы намерены делать?

— Возьму батальон и пойду на Восточный фронт,— криво усмехается собеседник.— Теперь это, к сожалению, не так далеко...

Бомбежка кончилась. Он вызывает машину, садится за руль, отъезжает несколько метров. Автомобиль с грохотом врезается в проволочное заграждение, которым окружен консульский двор. Трое эсэсовцев спешат на выручку. Из кабины вылезает водитель — он без очков, фуражка слетела.

«Это зрелище показалось мне глубоко символичным»,— отмечает граф Бернадотт в своем дневнике.

В десятых числах мая его видели во Фленсбурге, у Деница. Он все еще надеялся на благие перемены, шептал Шверину-Крозику:

— Я пережду... Времена меняются... Ход событий работает на меня...

Потом он исчез. Без подчиненных, без власти, без полицейского аппарата, он оказался совершенно беспомощным, не знал, что предпринять, даже законспирироваться не смог по-настоящему: сбрил усы, повязал глаз черной тряпкой, как в детективном романе, выправил фальшивые документы.

— Генрих Хитцингер... К вашим услугам...

...Хитцингер сидит в одиночной камере в лагере Вестертимке, медленно тянется время: тоска. Его распирает досада. Черт побери, кто он такой — политический деятель или заурядный преступник, вынужденный скрываться от сыщиков? Может быть, весь этот маскарад — глупость, непростительная ошибка, достаточно ему назвать свое настоящее имя — и он будет принят как представитель пусть побежденного, но государства со всеми вытекающими отсюда последствиями: специальные апартаменты во дворце, где будут происходить мирные переговоры, ванна, чистое белье, наконец, приличный ужин с французским коньяком и коктейлями? Вот он входит в зал, где собрались министры, генералы, эксперты, занимает отведенное ему место. Как следует поступать в подобных случаях? Ограничиться поклоном или пожать победителям руку — по-военному, мужественным, энергичным рукопожатием?..

Генрих Хитцингер стучит в дверь камеры.

Входит дежурный офицер.

Хитцингер снимает черную повязку, надевает очки:

— Не узнаете? Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Пожалуйста, доставьте меня немедленно к фельдмаршалу Монтгомери...

В октябре 1942 года немцы рвались на Кавказ, вели бои на Волге. Впрочем, они были всюду: в Париже и в Виннице, в Нарвике и в Пятигорске, в Амстердаме и в Кракове. Зловещим пятном расплылась по карте Европы оккупация.

Мы помним эти дни и эту карту: на восток, на восток отодвигалась цепочка флажков, отступали под натиском превосходящих сил противника фронты... Почтальонши разносили «похоронные», скорбные очереди стояли у дверей магазинов — быт сорок второго года. На запад из Москвы поезда шли не дальше Можайска. В Можайске обрывалась жизнь и кончался день: дальше, за минными полями, за линией фронта, была ночь. В Вязьме у здания райисполкома стоял немец с винтовкой. На вокзале в Смоленске конвоиры подгоняли прикладами женщин — их грузили в теплушки, везли в Германию, на рынок рабов. Была ночь в Минске — выл ветер, дробно стучали выстрелы: расстреливали население. На расстрелах в Минске присутствовал Гиммлер — приехал посмотреть, как эсэсовцы стреляют в детей. Иногда попадания были точными — в голову, в грудь, но иногда эсэсовцы «мазали» — заденут плечо или ногу, раненые дети корчатся от боли, пищат. В конце концов Гим-

млера стошнило. Отвернувшись, он сказал: «Это невыносимо! Расстрелы пора отменить. В дальнейшем женщин и детей следует убивать газом».

Так появились душегубки.

Горели украинские, белорусские, литовские деревни. Грабили, отбирали продовольствие, скот. Искали партизан, вешали на деревьях заложников. По домам ходили полицаи, скликали людей на работу. Это выполнялась директива Гиммлера: «Живут ли другие народы в благоденствии или издыхают от голода, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны как роботы для нашей культуры... Погибнут или нет от изнурения при рытье противотанкового рва десять тысяч русских баб, интересует меня лишь в том смысле, готов ли для Германии этот противотанковый ров...»

Ночь в Киеве, в Вильнюсе, в Бресте...

И ночь в Варшаве.

Дождь. Патрули. Идут по Маршалковской, по Иерусалимской аллее, свет фонарика полосует по глазам:

— Хальт! Документы...

В варшавском гетто, в ночном ресторане, надрывается джаз. Печальную песенку про чудака Иозефа, который «карманом беден, но умом богат», сменяет потешная «Бай мир бист ду шейн»:

Моя красавица
Всем очень нравится...

В гетто четыреста тысяч человек размещены на территории в 8,5 квадратных километров (четыре километра длина, ширина — два с половиной). Живут по тридцать шесть человек в одной комнате, спят посменно. В сорок втором году гестапо в Варшаве испытывало различные способы истребления. Первый способ — истребление голодом. Ввели норму: в день — 20 граммов хлеба, в месяц — 50 граммов жиров, 100 граммов мармелада. Запрещена торговля мясом, яйцами, молоком, хлебными изделиями. На улицах трупы, но еще больше трупиков: раньше взрослых умирают от голода дети. Они, эти дети,— герои. Пробиваются сквозь ограду в польские кварталы, целый день бродят по городу, канючат:

— Может, даст пан хлеба...

У поляков самих нет ничего, но как не помочь в таком горе, не поделиться последним?

К вечеру дети возвращаются домой: заметит немецкий патруль или полицай из «Юденрата» — пристрелят на месте.

Ночь. Отправляется в парк единственный в гетто трамвай. На щите вместо номера — желтая звезда, «знак Давида»...

В ночном ресторане надрывается джаз. Те, у кого сохранились золото, бриллианты, доллары, могут напоследок повеселиться. «Выручку» забирает генерал-лейтенант войск СС Одилло Глобочник.

Ночь в Кракове. По кабинету шагает генерал-губернатор Польши Ганс Франк. Думает. Подходит к столу, заносит в дневник сокровенные ночные мысли:

«Если мы выиграем войну, тогда, по моему мнению, поляков, украинцев и все, что околачивается вокруг, можно будет превратить в фарш...

Если бы я пришел к фюреру и сказал ему: «Мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил 150 тысяч поляков», то он бы ответил: «Прекрасно!..»

Эти внечеловеческие слова написаны в строгом соответствии с грамматикой, все на месте — подлежащие, сказуемые, правильно расставлены запятые.

...В Берлине — ночь, канун триумфа, ночь, полная сладких предчувствий. Доволен Гитлер: все идет как надо, на восток, на восток продвигаются по карте флажки... Готовится к очередной речи Геббельс, просматривает сводки — какое величие, какие победы — о, что вы за великий народ, немцы!.. У Геринга секретное совещание рейхскомиссаров, руководителей немецких управлений в оккупированных странах и областях. Оккупация — это навсегда. Германия захватила богатейшие земли, нужно только умело использовать богатства. Рейхсмаршал отчитывает присутствующих — резко, надтреснутым тенорком:

— Вы посланы не для того, чтобы работать на благосостояние вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное, с тем чтобы мог жить немецкий народ!.. Голландия должна дать овощи, Норвегия — рыбу, Франция... В этой Франции население обжирается так, что просто стыд и срам...

Ему становится весело, он переходит на «юмор». Хохочет:

— Я ничего не скажу, напротив, я обиделся бы на вас, если бы мы не имели в Париже чудесного ресторанчика, где бы мы могли как следует поесть. Но мне не доставит удовольствия, если туда будут шляться французы.

И опять резко, фальцетом:

— Вы должны быть как легавые собаки там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ...

В эту ночь кошмаров, победных реляций, расстрелов, в ночь отчаяния, страха и наглости прозвучало из Москвы Заявление Советского правительства:

«Ознакомившись... с полученной информацией о чудовищных злодеяниях, совершенных и совершаемых гитлеровцами...»

Радио разносит слова Заявления на весь мир. Его слушают в тылу, в цехах уральских заводов, читают фронты — в блиндажи, в окопы пробираются под пулями агитаторы, приносят размноженный на папиросной бумаге текст:

«...Заинтересованные государства будут оказывать друг другу взаимное содействие в розыске, выдаче, предании суду и суровом наказании гитлеровцев...»

Слушают партизаны за линией фронта. На оккупированных территориях настроились на московскую волну сотни самодельных приемников:

«...Всему человечеству уже известны имена и кровавые злодеяния главарей преступной гитлеровской клики — Гитлера, Геринга,

Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа и других организаторов... зверств из числа руководителей фашистской Германии».

В Берлине на стол Гитлера, на стол Геринга и Геббельса ложится текст радиоперехвата:

«...Советское правительство считает, что оно, так же как и правительства всех государств, отстаивающих свою независимость от гитлеровских орд, обязано рассматривать суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии...»

Эти слова в Берлине воспринимают с усмешкой, как обычную вражескую пропаганду, далекую от реальности. Заявление датировано 14 октября 1942 года. На карте булавки флажков вонзились в приволжские степи. Взят Ростов, немцы ведут бои на Волге, они всюду: в Париже и в Виннице, в Нарвике и в Пятигорске, в Амстердаме и в Кракове...

Удивительная у этого документа судьба! С каждым отвоеванным у гитлеровцев километром растет его грозное значение, отчетливей становится его реальный смысл, из дипломатической ноты он превращается в боевой приказ.

Позднее, во время конференции министров иностранных дел, происходившей в Москве с 19 по 30 октября 1943 года, была опубликована совместная декларация СССР, Великобритании и США «Об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». В начале февраля 1945 года в Ялте руководители трех союзных держав подтвердили свое решение «подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию».

А потом были поиски, попытка к бегству, поимка, было следствие, был Нюрнбергский процесс... Но память вновь возвращает нас к тому октябрю сорок второго года, когда неподалеку от Можайска обрывалась жизнь и кончался день...

Первым не выдержал Гитлер — нырнул в смерть, передоверив управление рейхом Деницу.

Во Фленсбурге «временное правительство» Деница просуществовало несколько дней, финал был трагикомическим: к правителям явились солдаты союзных армий и приказали снять штаны — нательный обыск. Это неприятное приказание было исполнено с величайшей добросовестностью. Стояли без брюк преемник фюрера Дениц, шеф ОКВ фельдмаршал Кейтель, начальник оперативного штаба ОКВ Иодль, министр вооружения Альберт Шпеер. Потом им разрешили одеться и вывели с поднятыми руками на улицу.

Сохранились воспоминания о последней пресс-конференции Геббельса в министерстве пропаганды. Берлин тогда уже трясся в ознобе от артиллерийской стрельбы, клубилась кирпичная пыль, и плыл дым над сгоревшими кварталами. В кинозале министерства окна заколочены досками, взрывная волна повредила нотолки, стены. Штукатурка и пыль лежат на роскошных креслах. В зале — ближайшие сотрудники Геббельса, представители имперской прессы. Нет электричества, пять канделябров освещают мрачную сцену.

Геббельс весь в черном, как на похоронах. Сегодня он хоронит Германию, немецкий народ, самого себя.

— Немецкий народ оказался нежизнеспособным,— говорит он, глядя в упор на своих сослуживцев.— На востоке он обратился в постыдное бегство, на западе встречает врага белыми флагами.

Он говорит громко, почти кричит, как на митинге во Дворце спорта:

— Что я могу поделать с народом, чьи мужчины не желают сражаться за честь своих жен?

И шепотом:

— Немецкий народ сам выбрал свою судьбу... Мы никого не принуждали...

Кто-то пытается возразить, вскакивает с места. Геббельс иронически усмехается:

— Может быть, вас это удивит, но я никого не заставлял сотрудничать со мной, так же как мы ни к чему не принуждали немецкий народ. Вы сами хотели этого... Скажите, зачем вы со мной работали? А теперь вас за это всех вздернут...

Прихрамывая, он подходит к золоченой двери кинозала и, обернувшись, выкрикивает напоследок:

— Но когда мы уйдем, мир содрогнется!..

Геббельс последовал за своим фюрером: принял яд, сбежал из жизни вместе с семейством. Советские солдаты нашли обугленные трупы Геббельса, его жены Магды и пятерых детей. Дети были одеты в белые ночные сорочки, родители умертвили их во время сна...

Бежали из Берлина Геринг, Риббентроп и Розенберг — нацистский «философ». Розенберга обнаружили в военном госпитале во Фленсбурге. «Философ» изображал из себя контуженого, блеял что-то невнятное. Поначалу его приняли за переодетого Гиммлера; тогда, испугавшись, он поспешил признаться:

— Какой я Гиммлер? Я Альфред Розенберг, теоретик... Под влиянием Карлейля и Диккенса...

Карлейль и Диккенс здесь ни при чем. «Теоретик» Розенберг был практиком — рейхскомиссаром захваченных нацистами «восточных областей»...

Министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп направился в Гамбург. В конце мая на улицах Гамбурга появился господин в дымчатых очках и дипломатическом цилиндре: Рейзер, специалист по продаже шипучих вин.

Куда смотрели хваленые детективы из британской разведки? Под самым их носом господин Рейзер арендовал небольшую квартиру на пятом этаже ветхого дома, чудом уцелевшего от бомбардировок, затем принялся восстанавливать старые связи. Господину Рейзеру вспомнились времена, когда он действительно торговал шампанским. 13 июня он заглянул в некую винную лавку, вызвал хозяина, снял свои дымчатые очки:

— Здравствуйте, дорогой друг. Надеюсь, вы меня еще помните?

У виноторговца отвисла челюсть.

— Прошу вас успокоиться,— сказал господин Рейзер.— Я имею при себе завещание фюрера. Вы должны меня спрятать. Скоро все изменится к лучшему. Речь идет о судьбе Германии...

Виноторговец начал прикидывать: сто́ит — не сто́ит... Ведь с одной стороны... а впрочем...

На всякий случай он решил посоветоваться с сыном.

Сын ничего не сказал, пошел прямо в комендатуру...

Ночью 14 июня на пятый этаж ветхого дома поднялись три английских и один бельгийский солдат. Они долго звонили, стучали в дверь. Наконец послышались шаги. Солдаты ожидали сопротивления, англичанин — старший по званию — шепнул:

— В случае чего стреляйте... Но лучше бы взять живым...

Щелкнул замок. На пороге появилась молодая взлохмаченная женщина с размазанной вокруг рта помадой. Запахнула халатик:

— О! Томми! — Она провела гостей в спальню.— Спит... А кто он такой: спекулянт?

Одетый в голубую пижаму, г-н Рейзер чмокал во сне губами. Никак не могли добудиться. Женщина вздохнула, сказала сочувственно:

— Утомился.

— Господин Риббентроп, вы арестованы!..

На первом допросе Риббентроп пояснил:

— Я хотел спрятаться до тех пор, пока не успокоится общественное мнение. Потом я бы снова выплыл...

...На то, что общественные страсти в конце концов улягутся, надеялись тогда многие. Геринг поверил в это одним из первых. 9 мая в районе Берхтесгадена сдался американцам и, уплетая принесенную ему курицу, добродушно внушал генералу Далькви сту — командиру 36-й американской дивизии:

— Гитлер — узколобый фанатик, Гесс — эксцентрик, Риббентроп — известный прохвост. Вы должны иметь дело со мной...

Американские корреспонденты устроили ему пресс-конференцию:

— Из-за чего Германия проиграла войну?

Геринг решил польстить:

— Из-за ваших бомбардировок...

— Кто приказал начать вторжение в Россию?

— Сам Гитлер...

— Кто был ответственным за концентрационные лагеря?

— Гитлер лично...

В частном доме в Китцбюле Геринга поместили на ночлег. Он принял ванну, побрился. Два здоровенных «студебеккера» привезли в Китцбюль его личное имущество.

В ту же ночь он был арестован.

Советское правительство настойчиво потребовало от союзников выполнения декларации о розыске и предании суду гитлеровских преступников.

С этим требованием пришлось тогда посчитаться. Был сорок пятый год, май,— не сорок девятый год, не пятьдесят третий, и «холодной войны» еще не было...

Вот как окончил свою жизнь Генрих Гиммлер. Из Вестертимке его доставили в штаб-квартиру англичан в Люнебург, подвергли обыску и в кармане мундира обнаружили ампулу с цианистым калием величиной с сигару. После этого его переодели в поношенную солдатскую форму (какой английский солдат был первым ее владельцем?) и заперли в ожидании дальнейших распоряжений. В этот день в Люнебурге Гиммлер понял, что не будет ни встречи с Монтгомери, ни «мирных переговоров», ни французского коньяка. Игра проиграна, не выпутаться теперь, не спастись. И тогда его охватило отчаяние. Он смотрел на немую, равнодушную стену камеры. Почему так несправедлива судьба? Только что тебя боялся весь мир, миллионы дрожали от ужаса, услышав одно твое имя, а теперь ты — нуль, арестант, одетый в застиранную форму, и какой-нибудь еврейский портняжка из Бирмингама поведет тебя под винтовкой в уборную... Нет, англичане — идиоты, он всегда считал, что это тупая, бездарная нация! Разве не он уничтожал заклятых врагов Англии — большевиков — и предлагал Западу объединиться против большевистской России? О, когда-нибудь они еще поймут свою ошибку, будут еще искать такого человека, как Гиммлер,— пусть попробуют найти! Эти шашни с большевиками дорого обойдутся западному миру!..

В камеру вошел офицер. Ему было приказано еще раз обыскать Гиммлера: возможно, что ампула в кармане мундира — всего лишь маскировка. Не спрятал ли он еще одну ампулу где-нибудь, допустим, во рту...

Офицер выполнял свой служебный долг. Он не размышлял о политике и не задумывался над расстановкой мировых сил.

— Рот! — сказал он.— Покажите рот!

Гиммлер пристально посмотрел на вошедшего. Глаза его сузились. Под зубами хрустнуло стекло.

...Позднее недалеко от Бертехсгадена были найдены личные капиталы Гиммлера: 132 канадских доллара, 25 935 английских фунтов, 8 миллионов французских франков, 3 миллиона алжирских и марокканских франков, миллион немецких марок, миллион египетских фунтов, полмиллиона японских иен и 75 тысяч палестинских фунтов! Все это было отобрано у тех, кого убивали и сжигали в лагерях смерти.

А спустя много лет в книгах западных писателей возник другой образ Гиммлера — бескорыстного фанатика, «идеалиста», который убивал во имя «идеи», не думая о личных выгодах.

Странные вещи произошли спустя много лет!

На Западе главными героями второй мировой войны, победителями третьего рейха, объявили американцев и англичан, тех самых, у кого искали последнего убежища Геринг и Гиммлер.

Так фальсифицируют историю.

На самом деле в мае сорок пятого года солдаты западных армий оказались лишь конвоирами. Судьба Геринга была решена не в Бертехсгадене, где он завтракал с генералом Дальквистом, и не в Люнебурге пробил последний час Гиммлера. На бесславную смерть их обрекли советские воины, которые разгромили фашистский вермахт под Москвой, на Волге, под Курском и у стен Берлина. После этого Западу оставалось самое простое и эффектное: доставить опознанных, обличенных и уже никому не нужных преступников на скамью подсудимых. Этих уже нельзя было спасти. Зато, начиная с того же сорок пятого года, генералы из оккупационных штабов в Западной Германии сделали все для того, чтобы через недолгое время на свободе, у власти, в почете и силе оказались сотни и тысячи гитлеровских негодяев...

Нюрнбергский приговор известен всем, но мало кто знает, как дожидались его исполнения осужденные. Две бесконечные недели между приговором и казнью прошли в нервных припадках, глотании пилюль, лихорадочном писании писем, адресованных Трумэну, Эттли, Монтгомери, и в беспорядочном чтении книг из тюремной библиотеки. Геринг перелистывал «Эффи-Брист» Теодора Фонтане, Риббентроп читал Густава Фрейтага, Зейсс-Инкварт — «Разговоры с Гёте» Эккермана. Иногда к осужденным заглядывал судебный психолог Жильбер. В его дневнике содержатся любопытные свидетельства. Никто из преступников не рассуждал о «высоких материях», не пытался как-то осмыслить свой жизненный путь, судьбу государства, в котором они хозяйничали. Беседы с Жильбером, с тюремным персоналом, с охраной сводились в основном к бытовым мелочам — что подадут сегодня на завтрак, какая погода? Некоторые робко спрашивали — когда?

Двенадцать лет подряд обманутому народу внушали, что именно в этих людях воплощены могущество, мужество, государственный ум, душевная стойкость, а они уходили из жизни уныло, слинявшие, раздавленные. На суде, в последнем слове, они исчерпали весь запас скудных и шаблонных мыслей, подсказанных адвокатами, и у них не оставалось ничего, кроме страха.

Это тоже была попытка к бегству, теперь уже к бегству от необходимости проявить известную выдержку, достоинство, соблюсти хотя бы приличие.

На виселицу их волокли под руки, они плелись с закрытыми глазами, опустив головы, корчась от приступов рвоты...

СЮЖЕТ ДЛЯ РОМАНА

Его допросили в Берлине, на Принц-Альбрехтштрассе, втолкнули в машину, повезли... Он был моим школьным другом...

Я хотел представить себе, что он чувствовал, и спустя восемнадцать лет поехал по тому же маршруту. Шофер — веселый малый — включил радио: сперва был джаз, а потом хор берлинских школьников исполнил песенку из оперетты «Москва — Черемушки».

Был теплый февраль, воскресенье, люди без пальто высыпали на улицу. Пестро, весело. Берлин по воскресеньям — улей. Кто сказал, что немцы домоседы? Отдыхают добросовестно, тщательно, направляются семьями к свекру, к снохе, к тетушкам.

Он тогда ничего этого не замечал. Берлин был тогда другой, да и воскресенье было не такое, как это. Просто видел: идут люди, солдаты, раненые, какая-то женщина с мальчишкой прошла — город большой, чужой, с заграничными вывесками, как в кино, и он здесь почему-то...

Ехали, ехали, а город все продолжался: сперва казенно-торжественный (центр), затем — заводской, кирпичный, наконец среди буроватой зелени начался пригород, край кладбищ. Кладбищ было множество, у них тоже были свои окраины — мастерские по изготовлению памятников, солидные предприятия, которые выставляли напоказ гранитные, бронзовые, мраморные образцы, и захудалые конторы с деревянными крестами в витринах.

На одном из кладбищ он увидел похороны и с удивлением подумал о том, что люди еще остаются людьми: не утратили способности оплакивать умерших, переживать горе, кому-то сочувствовать. После Принц-Альбрехтштрассе можно было в этом усомниться...

Кладбищами заканчивался Берлин — дальше шли ветлы, липы, поля, скучные, однообразные городишки с воткнутыми в них кирхами — Шидлов, Глинеке, Нейстрелиц.

Время было послеобеденное — часа четыре. Я ехал по тому же шоссе, похожему на аллею, по которому везли когда-то его. Поднимался с земли пар, обволакивал местность, где-то угадывалось полотно железной дороги.

Въехали в деревню: аккуратные, дачного типа коттеджи, девушка с велосипедом. Рекламы тех лет: «Перзиль остается перзилем!» (мыльный порошок), «Читайте «Берлинер анцейгер!»; при въезде объявление: «Куриная чума! Вход собакам закрыт». И опять — поле.

Шофер обернулся ко мне, сказал:

— Я был в России... В сущности, земля повсюду похожа. Не правда ли?

Вскоре показался Ораниенбург: одноэтажные каменные дома, маленькая кирка, казарма, большая кирха, что-то вроде дворца с флагом (наверно, ратуша), аптека, «Свино- и скотобойня», «Отто Бике, галантерея». Интересно, было ли это при нем?

В Ораниенбурге на улицах тоже царило воскресное оживление. Мы спросили, как попасть в Заксенхаузен, и прохожий — старик в картузе с наушниками — стал подробно объяснять нам дорогу.

Мы учились в одном классе, в Москве, и, когда нам исполнилось по восемнадцать лет, нас призвали в тридцать девятом году в армию. Служба — почетный, священный долг, мы знали, что будет служба и, наверно, будет война, пели на демонстрациях: «Будь сегодня к походу готов!», но 1 сентября 1939 года речи депутатов на сессии Верховного Совета были для нас неожиданностью: неужели теперь именно?

Весной мы закончили школу, все лето готовились к приемным экзаменам в институты — он в геологоразведочный, я — в ИФЛИ, сдали, и вот военкомат, комиссия: берут с первого курса.

Райвоенком, техник-интендант с венгерской фамилией (кажется, Белаш), поздравляет:

— Вы удостоены быть призванным в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию...

Сентябрь. Москва пахнет арбузами, позднее бабье лето. В Европе — война, в газетах пишут о Чемберлене, о Гитлере. 17-го начался поход в Западную Украину, в Западную Белоруссию, только и слышишь по радио: Львов, Белосток, Брест, Гродно...

Неожиданно мы чувствуем себя участниками событий, впервые наша жизнь начинает зависеть от того, что происходит не дома, не в школьном классе, а в мире...

Дома:

— Война не за горами...

— Но у нас пакт!

— А! Можно ли им верить?

— Успокойся, не на войну же их берут, послужат, окрепнут, через два года, как миленькие, снова возьмутся за учебники...

Сентябрь, 27-е, мы на пересыльном пункте, где армейский борщ, где бани и объявление на стене: «Получение мочал». Кто-то острит:

Получение мочал
Есть начало всех начал.

— Ста-ановись!

Перекличка. Восьмым называют меня, а его имени нет в списке. В чем дело? Старшина, который выкликал фамилии, наставительно объяснил:

— Когда нужно будет — вызовут. Нервничать в армии не положено...

— По вагонам!

— Как же так? Мы ведь вместе...

Его назначили в другую часть, «в другую сторону». Два года мы с ним переписывались, а на третий — в войну — письма стали приходить от его матери: пропал без вести. Что с ним, где он?

Письма от его матери все реже, все безнадежнее. И кончились письма совсем.

А потом, уже после войны, в Москве сорок шестого года, рассказывали мне о каком-то студенте МИИТа, который был с ним в одной части и вместе в плену, и они с этим студентом будто бы вместе бежали, попались гестапо, и что однажды студент мельком увидел его на плацу, в концентрационном лагере Заксенхаузен...

Ищу его, не дает мне покоя его судьба...

Из Ораниенбурга выехали в поле, миновали железнодорожный переезд, на перроне крохотной станции Заксенхаузен пассажиры дожидались поезда. Стояли там две девушки и солдат, и это напомнило мне Подмосковье, и февраль был золотым, солнечным, как у нас в Подмосковье апрель.

На окраине Заксенхаузена среди зелени выпирал, словно гигантский каменный нарост, массив концентрационного лагеря. Он неуклюже вторгался в природу, обезображивал местность. Таких наростов на зеленом теле земли много осталось в Европе: под Веймаром, в буковых лесах, Бухенвальд, Дахау под Мюнхеном, в Австрии — Маутхаузен, Освенцим — в Польше...

Был античный мир — Греция, Рим, сохранились от античной древности Акрополь, Колизей, Форум. Фашисты оставили потомкам иные сооружения, со своей архитектурой и особым принципом построения: территория лагеря — треугольник, в каждом углу сторожевая вышка, таким образом вся территория просматривалась часовыми и простреливалась. Здесь происходили «массовые действа», о которых не знали ни античность, ни два последующих тысячелетия...

У ворот бывшего лагеря директор музея Кристиан Малер — седеющий, крепкий человек с крутыми плечами, в плаще нараспашку.

— Из Москвы?.. Гм... Но музей еще не работает — только готовим к открытию... Нельзя никак. Вы журналист?

— В какой-то степени. Но я не за материалом сюда приехал. Понимаете, мой школьный товарищ...

Называю фамилию. Он просит повторить, пытается вспомнить.

— Нет, не слыхал. Многих привозили сюда безымянными. Видите в глубине очертания барака? Там содержались советские военнопленные. Около двадцати тысяч. Восемнадцать тысяч из них погибло. Вот, идемте за мной...

Малер отворил ключом железные ворота.

Пустынный плац, залитый вечерним солнцем, тишина, пустота, вымершие бараки. Никого...

— Их доставляли сюда — кого на машинах, кого поездом по узкоколейной дороге.— Малер подвел нас к платформе, покрытой навесом.— Вот эта платформа. Нацисты были склонны к аллегориям, придумали название: «Станция Зет». «Зет» — последняя буква латинского алфавита: последний этап, конец.

Разумеется, Освенцим, Дахау, Бухенвальд — лагеря более «известные», но Заксенхаузен — коварнее намного. Это — опытное поле, курсы по усовершенствованию палачей. Здесь проходили производственную практику Гесс и Бер — будущие коменданты Освенцима, Зурен — комендант Равенсбрюка, Кох — комендант Бухенвальда. В Заксенхаузене помещалась главная инспекция концентрационных лагерей и разрабатывались новейшие методы истребления: газовые камеры, удушение, отравление, замораживание, но гордостью лагерного начальства, оригинальным изобретением Заксенхаузена были расстрелы во время измерения роста.

Заключенный прибывал в лагерь, его регистрировали, два эсэсовца в белых халатах врачей производили медицинский осмотр — выслушивали сердце, легкие, спрашивали, какие есть жалобы на здоровье, затем подводили к ростомеру. Тем временем третий эсэсовец, стоящий по другую сторону планки, сквозь особое отверстие в ростомере стрелял заключенному в затылок.

Так были убиты тысячи советских военнопленных.

Малер задумался:

— Обо всем не расскажешь... Слишком много было способов, которыми уничтожали людей. И, знаете, во всем этом был свой, дьявольский рационализм. Вот по этому покрытому щебенкой плацу узники пробегали сорок — сорок пять километров в день. Каждое утро им выдавали новую обувь, вешали на спину двадцатикилограммовый груз:

— По кругу бегом марш!

После каждого круга капо делал отметку, а к вечеру подсчитывали общий километраж. Это испытывалась прочность различных заменителей кожаных подошв, предназначенных для армии. Обувь давали какую попало, кому слишком тесную, кому на несколько номеров больше: понятно, что после таких пробежек люди возвращались с изуродованными, опухшими ногами.

Я посмотрел на ноги Малера. Он медленно, с некоторым даже усилием, ступал в своих желтых, до блеска начищенных ботинках, как бы рассчитывая, куда безболезненнее поставить ногу.

Узник № 11081.

Кристиан Малер — коммунист, был арестован в 1934 году. Семь лет он провел в тюрьмах и четыре года — здесь, в Заксенхаузене. Таким образом, из двенадцати фашистских лет одиннадцать он жил в неволе. Если бы «тысячелетняя империя» просуществовала дольше, Малер оставался бы в лагере, и это продолжалось бы до тех пор, пока кто-нибудь из них двоих не погиб — Малер или «тысячелетняя империя», так как мирно сотрудничать друг с другом они бы все равно никогда не смогли.

Всяких людей знал Заксенхаузен. Были среди его узников не только герои, но и трусы, приспособленцы, предатели. Сидели в

особом бараке арестованные фальшивомонетчики, «искупали вину»: по заказу гестапо изготовляли фальшивую валюту чуть ли не всех стран Европы. Выслуживались уголовники — работали надсмотрщиками, старостами блоков. Писаря из заключенных встречали новичков побоями и окриками. Ловкачи устраивались на «теплых местечках» — состояли при крематории, в похоронных командах. Для «активистов» — в порядке поощрения — открыли публичный дом, свезли туда девушек из других лагерей. По вечерам отличившимся выдавали талоны — разовые пропуска «на одно посещение».

Эсэсовцы, лагерное начальство, хмыкали:

— Разве мы имеем дело с людьми? Фюрер очищает человечество от подонков...

По щебенке, по адскому кругу, гнали узников с красными треугольниками — «винкелями» — на груди. 11081-й бежал в паре со стариком заключенным. Старик шепнул:

— Сегодня день партийной учебы, ты помнишь?

— Да...

— Вечером, на прогулке, пойдешь рядом с тем дрезденским архитектором, а я возьму на себя Хорста. Тема: «Капитал», земельная рента...

Старика звали Макс Опиц. Это один из ближайших сотрудников Вильгельма Пика. Он жив, сейчас ему семьдесят один год. Я читал его статью — воспоминания о Заксенхаузене. Он мало говорит о себе, но я нашел в его воспоминаниях строки о других, может быть и о моем друге, следы которого я искал в Заксенхаузене:

«Первыми, кого комендант Кайндя, выполняя приказ Гиммлера от 1 февраля 1945 года о всеобщей ликвидации лагерей, послал на смерть, были, помимо евреев, советские интеллигенты и советские офицеры. Мы знаем, что они оказали своим палачам такое сопротивление, что эсэсовцы вынуждены были вызвать подкрепление... Героизм советских граждан напоминает о том, что даже в этом «автоматизированном» комбинате небывалых пыток и бесконечных убийств, среди голода и смерти, люди различных рас и мировоззрений, сплотившись в «молчаливом товариществе», боролись за освобождение народов от фашизма».

Об этом товариществе рассказывал и Кристиан Малер.

Содержалась в его рассказе рождественская новелла о семерых повешенных, рождественская потому, что, когда тех семерых вешали, было рождество и на том месте, где обычно стояла виселица, возвышалась в этот день зажженная елка. И все же елку пришлось временно убрать — привезли семерых русских, доставили из Берлина, из тюрьмы Плецензее. Видимо, их в плен взяли не так давно, они еще были в своем обмундировании — только погоны спороты,— в шинелях, в ушанках: летчики. Летчиков поставили на табуреты, надели им на шею петлю. И тогда они, словно сго-

ворившись заранее, как по команде, сорвали со своих голов ушанки, ударили ими палачей по лицу и с криком «Да здравствует Советская Родина!» сами выбили из-под себя табуреты.

Маляр сказал:

— Коммунисты в лагере жили единой боевой семьей. Единой, но не изолированной от внешнего мира. Сюда, в лагерь, поступали директивы, боевые приказы Центрального Комитета Коммунистической партии Германии, была установлена связь с Национальным комитетом «Свободная Германия».

Что значит интернационализм, проверка интернационалистических убеждений?

Одетых в одинаковую полосатую одежду узников нацисты лишили имен, фамилий, стерли «индивидуальность», одно только оставили: национальную принадлежность. Это подчеркивалось всячески, каждый день напоминали: ты — полячишка, ты — чешская свинья, ты — еврейский выродок. Узник № 11081 — Кристиан Малер — не был ни «чешской свиньей», ни «итальянской обезьяной»: немцем. И № 1300 — старый коммунист Эрих Шмидт — тоже был немцем. Немцами были Макс Опиц, Эрнст Шнеллер, Фриц Эйкемейер, Петер Эдель, Матиас Тезон — тысячи... Но они были прежде всего коммунистами и, как немецкие коммунисты, чувствовали особую ответственность, особую свою задачу — доказать зарубежным товарищам, что помимо всех этих комендантов, палачей и карателей существуют еще и другие немцы.

Прибыли в лагерь чешские студенты — немцы устроили демонстрацию солидарности с ними, приветствовал их Хорст Зиндерман — их сверстник. Курт Юнгханс провел диспут о социалистическом планировании. Чехи тоже не остались в долгу. Узник Заксенхаузена Антонин Запотоцкий организовал семинар по вопросам международного рабочего движения. Все это — с соблюдением строжайшей конспирации, под угрозой смерти.

Сотрудничали с поляками, с русскими, старались помочь евреям.

Сохранилась небольшая пейзажная зарисовка. Ее подарил дрезденский художник Ганс Грундиг молодому советскому военнопленному. Был у парня день рождения, Грундиг подумал: как его поздравить, порадовать? Нашел карандаш, лист картона: держи, товарищ, на память...

Малер усмехнулся:

— Вот вам основа будущего культурного и делового сотрудничества, обмен мыслями, опытом, произведениями искусства даже.

Я подумал о моем друге. Он не дожил до лучших времен, не видел ни победы, ни всего, что пришло, стало обычным после войны: фестивалей, международных выставок, делегаций. Но он присутствовал при самом начале «сотрудничества», когда в лагере смерти люди из различных стран обсуждали, как планировать при социализме хозяйство, как действовать сообща, в рамках социалистического содружества. Он учился в международном семинаре у Запотоцкого...

Интересно, кто тот военнопленный, кому Грундиг подарил свою картину?

И вот стихи (перевожу их с немецкого).

Их нашли в пятьдесят четвертом году, когда разбирали развалины лагерного лазарета. К стихам приложена записка:

«Только что мы узнали о том, что в большой лагерь вновь привезли на казнь 400 красногвардейцев. Мы все потрясены этими убийствами, число которых перевалило за тысячу. Пока мы не в состоянии чем-нибудь помочь товарищам. Обстановка в нашем лагере еще очень неясная, нет еще необходимого единства, но мы — коммунисты — делаем все для того, чтобы устранить трудности. Настроение среди членов партии бодрое и уверенное...»

Дата — 19 сентября 1941 года.

А затем стихи:

Подобно акробату
(Нам души страх изгрыз),
Идем, как по канату,
Боясь сорваться вниз.

Лавируем, не знаем,
Куда верней шагнуть...
Но, тверд и несгибаем,
Ты подсказал нам путь.

«Друзья! Не только выжить —
Важней задача есть:
Не дать из сердца выжечь
Достоинство и честь.

Пред сильными не гнуться,
А слабых не топтать,
Не попросту вернуться,
А в строй бойцами встать!»

К нам силы возвращались —
Мы верили тебе,
Мы снова приобщались
К надежде и к борьбе.

Тебя вели на пытки,
Глумились над тобой,
Но мужеством в избытке
Ты наделен судьбой.

Как дом прочнейшей кладки,
Что не сломать вовек,
Ты — в драной полосатке,
Обычный человек.

Твое услышав слово,
Здесь, средь кромешной тьмы,
Не умереть готовы,
А жить готовы мы.

Забыв тоску и усталь,
Сквозь ночь и смерть пройдем...
Нет, мы, товарищ Густав,
Тебя не подведем!

В глухом тюремном блоке,
В последний смертный час,
Свободы свет далекий
Ты сохранил для нас.

Пока неизвестно, кто автор этих стихов и кто такой Густав. Малер предполагает, что это Густав Шрерс, а может быть, и другой Густав. А поэт, наверно, погиб — стихи были опубликованы, но автор не откликнулся: убили поэта.

...Подошел старичок, сухонький, хромой, на лацкане пиджака ленточка ветерана революции «1918—1923». Представился:

— Вильгельм Хаан, служащий музея, член партии с тысяча девятьсот седьмого года, член профсоюза с тысяча девятисотого.

Хаан тоже сидел в Заксенхаузене, после освобождения пожил в Берлине, а теперь вернулся сюда: это суровая обязанность многих бывших узников — оставаться в тех местах, где они страдали, чтобы поведать новому поколению о том, что пережито, добровольный крест, который они несут во имя памяти павших и жизни живых.

Кто расскажет лучше Малера, лучше Хаана?

— Товарищ Малер, еще приехали двое, просят впустить.

Двое — рыжий напомаженный паренек с девушкой — подъехали на машине, одеты по-воскресному.

— Здравствуйте. Очень просим... Мы из Эберсвальде, давно мечтаем побывать в Заксенхаузене.

Малер опять недоволен («непорядок, нельзя, музей откроют только в апреле»). Потом махнул рукой:

— Ладно...

Рыжий паренек победителем взглянул на девушку: видишь, я говорил — со мной впустят...

Хаан:

— Сколько тебе лет?

— Двадцать. Вчера только исполнилось.

— Вот как? Ну что ж... Двадцать лет назад в этом самом лагере...

Паренек из Эберсвальде родился в деревне близ Вроцлава, который тогда назывался Бреслау, а теперь опять стал Вроцлавом, Польшей. Отца он не помнит, отец был на войне — сперва в России, а под конец, после ранения, попал на западный фронт и — в плен, к американцам.

В сорок пятом рыжий паренек вместе с матерью переместился на запад, в Германию. Ехали, боялись: русская зона. Сколько было наговорено соседками, соседями, кому-то прислали письмо, кто-то слышал...

Дома родители крестьянствовали, жили не бог весть как, всякое случалось — земли было мало. Когда уходил отец на войну, обещал ему землю. Он все шутил: «Стану я украинским помещиком!»

Где оно, поместье? И где отец?

Вышла из вагона женщина с малышом на руках — поле, незнакомые, чужие места. Ах, война, будь она проклята!

Разместили их в селе, неподалеку от Эберсвальде, округ Франкфурт н/О. Начали привыкать.

Однажды созвали переселенцев и местных крестьян на собрание, сказали:

— Жил здесь прежде помещик, прусский юнкер, сбежал он теперь на Запад. Будем делить его землю между собой.

Земельная реформа...

Вскоре создали в деревне кооператив, началась новая жизнь, вросла мать в эту жизнь, понравилось. Земля своя, и государство свое, и люди кругом хорошие.

А рыжий паренек подрос, пошел в школу: «2×2=4», «Власть в республике принадлежит рабочим и крестьянам», «Мы боремся за мир».

В пятьдесят четвертом году объявился наконец папаша: прислал письмо из Кёльна:

«...в Кёльне я кельнером, возвращаться к вам не собираюсь, встретимся в Бреслау. Отнимем его у поляков, помяните мое слово. Набирайтесь терпения...»

Всплеснула мать руками:

— Бреслау?.. Зачем? Неужели опять война, неужели он так ничего и не понял, дурень?

Сидела вместе с сыном, долго сочиняла ответ:

«Родина наша здесь, в Германской Демократической Республике, живем мы хорошо. Образумься, пойми...»

Кончилась на этом их переписка.

После школы рыжий паренек остался у себя в деревне: механик-тракторист, вот жениться задумал, девушка из той же деревни. Познакомьтесь, пожалуйста: Гильда.

...Всю эту историю выслушал я, сидя в конторе будущего музея, куда нас вместе с рыжим пареньком и его невестой пригласили Малер и Хаан: попросили сделать запись в книге отзывов.

Не хотелось уходить, разговаривали о разных вещах, вспоминали.

Потом Малер сказал:

— Да... Все это надо осмыслить, свести воедино: Заксенхаузен, ваш друг — советский солдат, который погиб здесь, мы с Хааном, и вот он, эберсвальдец, и его папаша, который в Кёльне мечтает о Вроцлаве... Сложное это понятие — «Германия», не сразу разберешься...

Старик Хаан вынул из какой-то папки брошюру, протянул пареньку:

— Прочитай и напиши отцу в Кёльн: живет, мол, с тобой в одном городе господин Корнелий — комиссар кёльнской полиции. В Заксенхаузене его хорошо помнят, был он здесь начальником Особой комиссии, уничтожал людей почем зря, скольких убил — не перечислишь! Матиас Тезен, Эрнст Шнеллер — лучшие наши

товарищи пали от его руки. Напиши отцу и про эсэсовца Эккариуса, в брошюре о нем подробно говорится. Замечательный был семьянин! Вышел однажды на плац со своими детишками, воркует: хотите, покажу вам фокус? Подозвал кого-то из наших, больного узника: «Ложись!» — и стал топтать его каблуками, пока тот не умер. Господин Эккариус тоже на свободе, в Бонне живет. И еще напиши отцу — пусть съездит в Дюссельдорф, к господину Эрвину Брандту — в концерне Флика Эрвина Брандта знает любой служащий. Да и мы его знаем неплохо, еще с тех времен, когда он был оберштурмбаннфюрером СС...

...Стали прощаться.

— Поедете обратно через Ораниенбург, а там на Берлин прямая дорога, вам любой покажет.

Неожиданно Гильда спросила:

— А скажите, товарищ Хаан, в те времена жители Ораниенбурга и Заксенхаузена знали о том, что творится здесь, в лагере?

— Возможно, догадывались, но, скорей всего, точно не знали. В этом-то ведь и все дело. Население, то есть народ, должно знать, что происходит в его стране, в любом доме, за любыми стенами, только тогда станут невозможными «совершенно секретные» газовые камеры, «засекреченные» виселицы и выстрелы в затылок во время измерения роста.

— ...Счастливого пути!

— Спасибо вам, товарищи!

— Пошли, Хаан. Надо запереть ворота, кстати проверь, убран ли мусор возле польского барака.

Двое идут, скрипит под ногами щебенка. Темнеет — вечер уже...

...Возвращались в Берлин, шофер включил было радио, поймал мелодийку, выключил.

— Да,— сказал он,— многое мы сегодня повидали. Будет вам теперь о чем написать. Сюжет для романа...

ЛИЦО ВРЕМЕНИ

Этот фильм создавался на протяжении примерно тридцати лет, его с различных «позиций» снимали различные операторы. Над иными кадрами судьба подшутила: предназначенные стать документами триумфа, они превратились в документы позора, и, напротив, то, что должно было запечатлеть страх и отчаяние, стало кинопамятником силе человеческого духа и мужества.

Речь идет о шведском фильме «Кровавое время», смонтированном Эрвином Лейзером. В архивах из тысячи километров отснятой пленки он выбрал немногое, многое зато сказал. «Кровавое время» — рассказ о Гитлере и гитлеризме, о том, как пришли к власти фашисты и что они сделали с Германией и с Европой. Титры в начале фильма поясняют: кровавую историю гитлеризма надо знать, чтобы трагедия, пережитая человечеством, никогда больше не повторилась.

Подробно излагать содержание фильма — занятие, пожалуй, бессмысленное: раскройте учебник новейшей немецкой истории, перечитайте его — и вы узнаете содержание картины Эрвина Лейзера. Большие и малые события нашли в ней свое отражение: первая мировая война, Версаль, революция и контрреволюция, мюнхенский путч, экономический кризис, безработица, борьба партий внутри Германии... На экране — деятели Веймарской республики, Гинденбург, финансисты, заводчики, дипломаты, Гитлер не сам пришел к власти, его к ней «привели», расчистили путь в надежде, что именно он «утихомирит» революцию и коммунистов. Это пролог к двенадцатилетнему господству нацизма и пролог к фильму.

Персонажи пролога засняты в патетические минуты: они выступают с речами, присутствуют на официальных церемониях, сговариваются, торгуются. Начало трагедии напоминает фарс. Трудно поверить в то, что господа в цилиндрах, с моноклями, которые смешно суетятся на экране (что это — кинокомедия из буржуазного быта?), играют не в скат, не в бридж, а в судьбы народов.

В сумятице двадцатых годов, среди послевоенной накипи, возникает потешная фигура человека с челкой и усиками: неудавшийся художник, недоучка, истерик. Эрвин Лейзер показал вехи его биографии. На увеличенных во всю ширину экрана фотоснимках из семейного альбома — невзрачный младенец, а затем школьник с туповатым лицом: такими обычно изображают второгодников. Портрет мамаши, аккуратной мещаночки. Папаша — добропорядочный чиновник. Эти снимки даны неспроста. В них обвинение взбесившемуся мещанству, которое в определенных исторических условиях может причинить величайшее зло. Филистерская алчность, прожорливость и крохоборство возводятся в государственный принцип, пустая ненависть к инакомыслящим, к инакоговорящим, зависть к соседу, который кажется более удачливым, превращаются в «расовую теорию», жестокость мещанина обора-

чивается бараками и крематориями лагерей смерти, а второгодник с туповатым лицом становится Гитлером. Впрочем, автор фильма настойчиво подчеркивает и другое: Гитлер так и остался бы всего-навсего злобствующим неудачником, если бы его не наняли промышленные магнаты, не снабдили деньгами Тиссена, пушками Круппа, танками Флика, самолетами Хейнкеля, не предоставили бы в его распоряжение всю мощь германской индустрии. Мещанин оказывается на службе у монополий и с фельдфебельским усердием несет эту службу. Заключен союз между Гитлером и концернами, между Гитлером и генералами рейхсвера. Господа с моноклями покидают экран, остаются где-то за кадром, экран заполняют теперь штурмовики, гестаповцы, эсэсовцы, оголтелые толпы с факелами в руках. Вот появился Геринг, вот Гесс, вот Гиммлер и Франк — и Гитлер, Гитлер, Гитлер...

Фарс окончен. Начинается трагедия. Кровавое время...

Еще задолго до того как стать фюрером, Гитлер написал свою книжку «Майн кампф», объявленную библией нацизма. Фильм — своеобразная иллюстрация к этому сочинению. Каждое «теоретическое» положение осуществлялось на практике, а кинохроника зафиксировала все: лихорадочную подготовку к войне, «трудовую повинность», аресты, погромы, бессовестную нацистскую демагогию. Вот они стоят на перекличке — немецкие мальчики: не шелохнутся, держат равнение, в глазах — энтузиазм, вера.

— Откуда ты, камерад? — спрашивает правофланговый.

— Я из Пруссии!

— Я из Баварии!

— ...из Тюрингии!

— ...из Саксонии!

— ...из Дрездена!

— ...из Гамбурга!

И левофланговый заключает восторженно:

— Один народ! Одна кровь! Один рейх! Один фюрер!..

Много кадров спустя вновь прозвучит этот текст, прозвучит как горькая и беспощадная ирония... Уныло бредут по Москве колонны немецких военнопленных — усталая, одичавшая масса, «битые фрицы», как их называли в те дни.

— Откуда ты, камерад?

— Из Пруссии... из Баварии... Из Тюрингии...

Крах.

Но это — после, после, а пока что еще идет «обработка»: мечется по Германии Гитлер, хрипит, неистовствует, выступает с речами, уговаривает, грозит, обещает, машет кулаками, гладит по головкам детей: фюрер — отец, фюрер вас любит, фюрер принесет счастье.

Что стало с этими детьми, которых в «историческое мгновение» запечатлел объектив кинокамеры? Живы они или погибли под бомбами, задохнулись среди развалин, утонули в то роковое апрельское утро сорок пятого года, когда в последнем исступлении Гитлер приказал затопить берлинское метро? А если они живы,

то, может быть, смотрят сейчас этот фильм и с отвращением вспоминают свое украденное, обманутое детство? С кого спросить, кому предъявить счет?

...Ликовали дети, легковерные родители думали: кто его знает, может, действительно этот человек наделен сверхъестественной силой? Без боя — запросто — стал немецким Саар, и без войны была проглочена Австрия, а потом — опять-таки без единого выстрела! — стер Гитлер с карты мира название «Чехословакия» и появилось слово «протекторат». Чудо!

Эрвин Лейзер в своем фильме показал, как это «чудо» произошло, вызвал на суд истории участников мюнхенского сговора. Навсегда запомнится улыбающийся Чемберлен с текстом позорного соглашения на лондонском аэродроме: я привез вам мир!

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война...

Кто увидит эти кадры, у того сожмется сердце от боли: польская кавалерия бросается навстречу немецким танкам, отчаянно сопротивляются защитники Варшавы — тщетно.

Страданиям Польши в фильме отведено особое место. Отчасти это объясняется обилием материала,— фашисты позаботились о том, чтобы их злодеяния были увековечены. В варшавское гетто Геббельс направил группу операторов, хотел порадовать «арийскую публику» занятным зрелищем: смотрите, как мы образцово действуем! Вот трупы умерших от голода, а вот те, кто еще живы, но обязательно скоро умрут, не люди — скелеты. Польшу превратили в страну смерти. На ее земле были Освенцим, Майданек, Треблинка. Здесь гитлеровский генерал-губернатор Ганс Франк записывал в свой дневник: «Если мы выиграем войну, тогда, по моему мнению, поляков, украинцев и все, что околачивается вокруг, можно будет превратить в фарш...»

Жгли, убивали, а потом — под самый конец — взорвали Варшаву. И это тоже заснято: оседают, рассыпаются дома, фашисты стреляют в жителей.

Кровавое время... Гитлеровские войска вступают в Париж. Воют бомбы над Лондоном. Взят Амстердам. Взяты Брюссель, Копенгаген, и над Норвегией — флаг оккупантов.

22 июня 1941 года. Утро. Раненый в красноармейской гимнастерке с петлицами. Это из немецкой кинохроники: гонят первых русских пленных, подталкивают прикладами. Всмотримся внимательней в лица,— может быть, узнаем своих, пропавших без вести, наглядеться бы на них... Увели... Не успели...

Хмель побед. Рожи на экране: хохочущий Геринг, надменный каменный Риббентроп, одутловатая физиономия Гиммлера. И опять — Гитлер, уже не просто германский фюрер, а властелин мира: дошел почти до самой Москвы. И Ленинград рядом.

Смотришь эти кадры в шестьдесят первом году, давят воспоминания, но знаешь: скоро покажут разгром фашистов под Москвой, битву на Волге, а там...

Двадцать лет назад, в сорок первом, было это не в кино, а в жизни. Чья кровь пролилась, кто отдал все, ничего не пожалел

для того, чтобы случилось именно так, как показано в заключительной части фильма?

Бегут, покидают захваченные территории гитлеровцы, рушатся проволочные заборы концентрационных лагерей, сползает с карты Европы черное пятно оккупации. Война пришла в Германию. В последний раз появляется на экране человек с усиками — помятый, скрюченный, проигравшийся в прах... Бои на улицах Берлина... Капитуляция. Нюрнбергский процесс...

Нервное напряжение сменяется разрядкой, хочется перевести дух — сколько пережито за эту полуторачасовую экскурсию в кровавое время! И все же какая-то, сперва неосознанная досада начинает овладевать нами: чем ближе к финалу, тем эта досада сильней. Казалось бы, все правильно: пронеслись по экрану огненные голуби «катюш», откатилась от волжских берегов гитлеровская лавина, хроника (теперь уже не из нацистских архивов!) воспроизводит боевые налеты англо-американской авиации, штабы союзников... Кто же принес победу, кому принадлежит главный вклад? На этот вопрос фильм отвечает уклончиво, чувство строгой беспристрастности вдруг начинает изменять Эрвину Лейзеру — нехорошо. И вот идут американцы, американцы форсируют реки, возводят понтонные мосты — английские танки, английские генералы — изредка промелькнут советские пехотинцы, а потом — опять американцы... Так у Лейзера в фильме. А в жизни? Вспомни сорок первый, сорок второй, сорок третий годы, нашу надежду, наш постоянный вопрос о втором фронте. Здесь хватило бы материала для иронии и для патетики: прозябание на Западе и упорные бои за каждую высотку, за дом, за деревню, а потом — за Киев, за Бухарест, Варшаву, Белград, Софию, Вену...

Все это говорится не из чувства высокомерия и не из амбиции. Мы ли не радовались победам наших боевых друзей, встрече на Эльбе?.. Но нельзя отдавать дань предрассудкам в фильме, который так горячо и талантливо обличает предрассудки, мракобесие, вражду между народами.

И еще об одном. Кровавое время нацистского владычества было временем не только страха, кошмаров и пыток. Это было также время великой, осознанной борьбы против зла, борьбы, которая велась и на фронте, и в глубоком немецком тылу, в антифашистском подполье внутри Германии и в заводских уральских цехах. К сожалению, говоря о страданиях, Эрвин Лейзер очень мало говорит о борьбе. В его фильме мы не увидим ни советских партизан, ни французских маки́, ни коммунистов Германии, оказавших беспримерное по героизму сопротивление Гитлеру. Вместо них на экран пришли участники «генеральского заговора», те самые, о которых одна из жертв кровавого времени, четырнадцатилетняя девочка Анна Франк, писала в своем «Дневнике»:

«Их цель — создать после смерти Гитлера военную диктатуру, затем заключить мир с союзниками и снова вооружиться, чтобы лет через двадцать начать новую войну».

Таковы просчеты и слабости фильма, который тем не менее

успел взволновать миллионы зрителей и добросовестно выполняет свою антифашистскую миссию. Можно поблагодарить его автора, но что сказать об операторах, безвестных «соавторах» Эрвина Лейзера? Кто эти люди? Какими глазами смотрели они на «объект съемки», что чувствовали? Перед чьим аппаратом проходили узники концентрационных лагерей, обреченные па смерть, на сожжение? Кому позировал Гитлер?

Недавно стало известным имя одной из «соавторш» Лейзера. Это Лени Рифеншталь, личный кинооператор Гитлера, нацистская каналья, которая задалась целью увековечить каждый жест и каждое слово обожаемого фюрера. Ныне мадам Рифеншталь благополучно проживает в Западной Германии. Не подумайте, что после выхода на экран фильма «Кровавое время» ею заинтересовалась полиция. Нет, госпожа Рифенштапь сама заявила о себе, предъявила иск Эрвину Лейзеру и потребовала отчислений от его гонорара. В некоторых судебных инстанциях иск был удовлетворен.

При такой постановке вопроса создание документальных фильмов о кровавом гитлеровском времени — дело поистине накладное. Кто знает, может быть, в один прекрасный день к Эрвину Лейзеру заявятся пожилые, решительного вида господа, положат на стол исковое заявление и потребуют:

— Заплатите нам за наш труд. По личному распоряжению Геббельса мы снимали варшавское гетто. Помните, сколько там было трупов?..

И Эрвину Лейзеру придется платить, потому что в Западной Германии уважают «законность» и не дают в обиду тех, кто верой и правдой служил кровавому времени.

Вот посмотрите: смешно суетятся на экране седые аккуратные старички в цилиндрах, финансисты, магнаты, вот шествуют генералы...

Но это уже начало нового, еще не созданного фильма: пролог напоминает фарс. Подумаем об эпилоге...

ЗИМНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В Аугсбурге зарезали Элизабет Баумейстер и ее пятилетнего сына. Полиция ищет убийцу — человека в коричневом дождевике, разъезжающего на голубом велосипеде. Об этом сообщает западногерманская пресса. Газеты грустят: зима, зябко, у людей расшатались нервы. В качестве лекарства предлагается коньячок «Потт 54». Я видел рекламу — «Высокое искусство уюта». Тоскующий господин, сидя в кресле, попивает из чашечки чай. Рецепт: три куска сахара, средней крепости заварка, полрюмки доброго старого «Потта». Так достигается нирвана...

...В пригороде Дармштадта, во дворе евангелической лечебницы для пьяниц, звучит антиалкогольный псалом:

Бедный брат,
убойся пагубных страстей!
Брось вино,
беги от дьявольских сетей!

«Подверженные» с нотами в руках медленно движутся по мощеному плацу. Это напоминает «Прогулку заключенных» — картину Ван Гога. Священник в белом одеянии отпускает грехи и призывает одуматься.

Журнал «Дер шпигель» сообщает: за последние годы потребление водки в Западной Германии возросло в полтора раза, зарегистрировано два миллиона хронических алкоголиков; 43 тысячи автомобилистов в 1959 году потерпели аварию из-за пристрастия к выпивке.

Впрочем, из всего этого делается неожиданно оптимистический вывод: повальное пьянство — признак растущего благосостояния.

Когда-то Юстус Либих в «Письмах о химии» доказывал: «Пьянство является не причиной, а следствием нужды». Теперь, сто лет спустя, в ФРГ пишут: «Алкоголизм — свидетельство высокого уровня жизни населения». Благосостоянием пытаются объяснить падение нравов, интеллектуальную деградацию, рост преступности.

В Оснабрюке молодые поэты задумали выпустить сборник стихов — не нашлось издателя. Сборник размножили на ротаторе, сброшюровали при помощи скрепок. Пошла странствовать по Германии тоненькая тетрадь, которая попала в руки тоскующему господину. Сидя за чашечкой чая (полрюмки «Потта», три куска сахара), стал перелистывать:

Луна окосела, и небо — в лоск,
и под нами качается ночь.

Пожал плечами, улыбнулся.

Отчаянными очами
глядит
в наши окна война...

Отхлебнул из чашечки.

Уходишь ты. И жизнь мертва,
И как опавшая листва
слепые, тленные слова...

Чепуха! Бросил...
По радио из Дармштадта транслировали концерт алкоголиков:

Бедный брат,
убойся пагубных страстей!..

Встал, выключил радио, надел коричневый дождевик и вышел со своим голубым велосипедом на улицу...

Сын гитлеровского военного преступника Рудольфа Гесса — двадцатитрехлетний Вольф Гесс — отказался служить в бундесвере. Он сделал это не из пацифистских убеждений и не потому, что учел горький опыт отца. Вольф Гесс набивает себе цену и капризничает. «Где гарантии,— пишет он в своем заявлении,— что и меня не будут судить?» Вольф Гесс осыпает проклятиями победителей: он требует реабилитации папаши.

Знакомые успокаивают волчонка: все будет хорошо; учитесь выдержке у вашей матери.

...В небольшом селе на юге Германии проживает женщина — она именует себя на странный манер: «Фрау Рудольф». Это — фрау Ильза Гесс, супруга Рудольфа Гесса и матушка Вольфганга. У нее занятная судьба: с 1927 года — член нацистской партии, обладательница золотого партийного знака, гранд-дама третьего рейха. После войны фрау Гесс предстала перед судом, ее оправдали, назвав всего-навсего безвинной «попутчицей». Она удалилась в деревню, занялась огородничеством, но под капустными листьями лежала у нее рукопись книги о «мученике-муже и о любимом фюрере». Рукопись увидела свет: ее издал бывший заместитель руководителя имперского ведомства прессы Зюндерман. Начались протесты, общественность потребовала изъятия подлой книжонки, но «высокий суд» не увидел в писаниях фрау Рудольф ничего противозаконного.

В 1955 году г-жа Гесс открыла пансион «для знакомых и незнакомых друзей». Со всех концов съезжаются в пансион зловещие постояльцы. Здесь не просто вспоминают прошлое. Здесь думают о будущем, оценивают настоящее. Не так давно «знакомые и незнакомые друзья» г-жи Рудольф Гесс выпустили прокламацию, манифест, в котором призвали к созданию неонацистской партии. Среди подписавших манифест — бригаденфюрер СС Карл Церф, один из руководителей «Гитлерюгенда»...

Комплект «Дейче зольдатенцейтунг» за 1960 год. У газеты один лейтмотив: нас обижают. Перед читателем предстают обездоленные эсэсовцы, страдающие генералы, «герои» войны, которых забыли неблагодарные соотечественники. И при этом не стесняют-

ся, прямо говорят: Лидице — это хорошо, Дахау — тоже хорошо, воздушная операция против Англии была гениальной.

И уже вновь звучат слова: «Ночь над Германией». В гамбургской газете «Ди андере цейтунг» под таким названием напечатана большая статья.

Там сказано:

«Фашизм жив. Он живет в солдатских газетах, в подстрекательских листках милитаристов, в грохоте реваншистских барабанов — «сладко умереть за отчизну!». Замалчивают ужасную правду — фашизм жив. Сегодня на самом деле рискованно назвать эсэсовского убийцу убийцей, войну — преступлением, а гитлеровского генерала — врагом человечества...»

Ночь над Германией. Над Западом.

И опять сквозь ночь смотрят на меня печальные глаза Анны Франк. Она перешагнула рамки своего дневника: теперь мы знаем о ней гораздо больше — знаем, как она жила, как погибла. На сцене это выглядит слишком театрально: шаги на лестнице, грохот прикладов. Все было проще: г-н Франк готовил с детьми уроки, они писали диктовку, г-жа Франк собирала ужинать. В нижнем этаже к хозяину склада явился человек в шляпе, надвинутой на уши, за ним — трое полицейских. Человек в шляпе сказал: «Мы хотим осмотреть помещение». Они ничего не нашли и уже собирались уходить, но вдруг решили подняться наверх, на чердак, и человек в шляпе вынул револьвер. Хозяин прошел вперед, подталкиваемый полицейским, и, когда он очутился на пороге комнаты, те, кто скрывались на чердаке, еще ничего не подозревали. Хозяин увидел, как г-жа Франк накрывает на стол, и виновато сказал:

— Пришли из гестапо. Вот так...

Но г-жа Франк ничего не ответила. Человек в шляпе подошел к г-ну Франку, и тот поднял вверх руки.

А потом их увели и повезли всех вместе в Вестерборк, повезли в пассажирском вагоне, и Анна не отрываясь смотрела в окно, на веселые пейзажи Голландии, и это была встреча со свободой, приобщение к жизни, и Анна была счастлива, потому что целых два года не видела ничего, кроме мрачного чердака в Амстердаме.

Разлучили их только в Освенциме, когда Анне, ее сестре и матери приказали идти налево, а отцу направо.

Из рассказов очевидцев мы знаем теперь о том, как жила Анна Франк в Освенциме. Ее содержали в 29-м блоке. Была осень 1944 года. Чувствовалось приближение конца, и комендант, эсэсовская охрана и старосты спешили завершить «ликвидацию». Печи лагерного крематория дымили день и ночь. Людьми овладело равнодушие — атрофия чувств, которая предшествует смерти. Но худая большеглазая девочка из 29-го блока еще замечала, что происходит вокруг. Она сохранила способность улыбаться. У нее не было чулок, и как-то ей удалось раздобыть старые мужские каль-

соны. Этот наряд показался ей нелепым, и, оглядывая свои ноги, она улыбнулась.

Она сохранила способность плакать. Однажды, стоя па пороге барака, она увидела, как дожидаются очереди в газовую камеру дети из Венгрии. Голые, под дождем, они стояли по нескольку часов. Очередь двигалась медленно, дети дрожали от холода, и, не выдержав, Анна заплакала в отчаянии от собственной беспомощности. И еще она плакала, когда мимо нее провели в крематорий девочек-цыганок, тоже голых и остриженных под машинку...

А потом был Берген-Бельзен, последний этап. Они должны были умереть, потому что на них распространялись законы, принятые в городе Нюрнберге.

Нюрнбергские законы составлял и комментировал д-р Ганс Глобке, «директор» в имперском министерстве внутренних дел. В тридцать пятом году, 15 сентября, вступили в действие его законы о «чистоте расы» и «о защите немецкой крови и чести». Будущие массовые убийства нуждались в юридическом и «философском» обосновании, бесправие должно было стать краеугольным камнем государственного нацистского права, беззаконие — возведено в закон, разнузданная прихоть человека-зверя — в норму поведения нации.

Доктор Глобке по этому поводу писал: «Государственные и правовые установления третьего рейха должны быть вновь приведены в полное соответствие с извечными законами естества, с жизненными законами тела, духа и психики германца».

Таким образом, фашистская система объявлялась «естественной», «натуральной», разумной, как сама природа. Все было с этой точки зрения оправданным: гитлеровский террор, агрессия, 29-й блок, очередь в газовую камеру...

Д-р Глобке в своих комментариях писал:

«Учениям о всеобщем равенстве и о неограниченной свободе личности перед государством национал-социализм противопоставляет здесь суровую, но необходимую доктрину естественного неравенства людей. Из различия между расами, народами и отдельными людьми неизбежно вытекают различия в правах и обязанностях индивидуумов».

На практике подобное различие в «правах и обязанностях» целых народов свелось к тому, что любой гитлеровский ефрейтор считал себя вправе терзать и насиловать прекраснейшие европейские страны, издеваться над русскими, над украинцами, над французами, над чехами и поляками и — на «законном основании» — искренне полагал, что «естественной обязанностью» этих народов является рабское повиновение ему — немцу, ефрейтору, господину...

Впрочем, «неравенство», узаконенное в комментариях г-на Глобке, распространялось также и на ту часть немцев, которая отказывалась повиноваться гитлеровскому режиму. В «комментариях» говорилось о том, что из «сообщества немцев» должны быть

изъяты «элементы неполноценные в политическом отношении», прежде всего коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели, прогрессивные писатели и ученые.

Сподвижник д-ра Глобке Адольф Эйхман признался однажды: «Я не раз высказывал пожелание о том, что до того, как мы доберемся до противника, которым я занимался, нам надо поставить к стенке определенное число немцев, чтобы наконец в собственной нашей конюшне воцарился покой... Я говорил, что мы должны сначала поставить к стенке 500 тысяч немцев и только тогда мы будем иметь право долбануть по врагу».

Как видим, «разнарядка» с указанием точного количества смертников имелась и в отношении немцев. Лучшие должны были «встать к стенке» или, спасаясь от неминуемой гибели, покинуть страну.

На основании нюрнбергских законов перестали считаться немцами Томас Манн, Леонгард Франк, Курт Тухольский и многие другие, которые составляли подлинный цвет немецкой нации, ее настоящую славу.

«Пятый параграф» нюрнбергских законов был посвящен евреям и цыганам. Он лишал их германского гражданства и политических прав. В паспортах у сотен тысяч людей появилась буква «j», что означало «jude» — «еврей». Человеку с такой буквой в паспорте запрещалось занимать государственные должности, преподавать в школах и высших учебных заведениях, лечить больных, выступать в суде.

Так начиналась трагедия, которая закончилась печами Освенцима.

«Комментарии» д-ра Ганса Глобке не оставляли никаких лазеек, они были исчерпывающими и предусматривали множество разнообразных вариантов. В целях лучшего «выявления» лиц, подпадающих под «пятый параграф», д-р Глобке воспретил евреям менять имена и фамилии; он создал целую «теорию имен» и для ясности распорядился вписывать в документы евреев, носящих немецкие имена, дополнительно «Сарра» женщинам, а мужчинам «Израиль»: «Зигфрид-Израиль Кох», Андреас-Израиль Мюллер», «Ингеборг-Сарра Шульц».

Особая инструкция касалась влюбленных. Если еврей осмеливался полюбить немку или немец еврейку, то их подвергали позору и наказанию. Были запрещены браки между «арийцами» и «неарийцами». Это д-р Ганс Глобке защищал «чистоту расы» от славян и евреев. Есть в архивах официальный документ, подписанный д-ром Глобке: инструкция о порядке выдачи паспортов чехам. В этом официальном документе слова «чехи» нет, там сказано иначе — «свиньи».

Множеству людей стоила жизни «паспортизация», осуществленная доктором Глобке в Чехословакии. Впоследствии, когда была оккупирована Польша, Глобке поручили разработать принципы «расового контроля» в «генерал-губернаторстве». Все польское население было разбито на четыре «оценочные категории».

Группа I и II подлежали «германизации», группа III — обращению в рабство, группа IV — физическому истреблению...

Вот чем были нюрнбергские законы д-ра Глобке, от которых семья Франк бежала в Голландию. Однако «доктор» настиг их и в Амстердаме. Во время войны он был назначен начальником «отделения I Вест» и в качестве уполномоченного Гиммлера разъезжал по оккупированной Европе. В частности, он «инспектировал» и Нидерланды. Законы д-ра Глобке убили Анну Франк, ее мать и сестру.

А д-р Ганс Глобке жив, он статс-секретарь при Аденауэре. Канцлер Аденауэр сказал о нем: «За всю мою многолетнюю деятельность я почти не встречал людей более преданных долгу и более добросовестных, чем господин Глобке».

Примерно такую же характеристику дал д-ру Глобке гитлеровский министр внутренних дел Фрик: «Способнейший и добросовестнейший сотрудник».

По представлению Фрика Глобке за «особые заслуги» получил «особые» медали, которые вручались лишь избранным: «В память о 13 марта 1938 года» (день захвата Австрии) и «В память о 1 октября 1938 года» (оккупация Чехословакии). Кроме того, у него был еще серебряный знак «За верную службу». В Румынии Антонеску наградил Глобке высшим правительственным орденом. Гитлер лично повысил его в должности и освободил от военной службы как «незаменимого».

Анну Франк не успели сжечь, она умерла в концентрационном лагере Берген-Бельзен за несколько дней до освобождения.

Школьная подруга, которая случайно встретилась с ней в лагере, рассказывает:

— Она была в лохмотьях. В темноте, за колючей проволокой, я увидела ее худое, осунувшееся лицо. У нее были очень большие глаза. Мы расплакались, и я рассказала Анне, что моя мать умерла... И все-таки мне жилось лучше, чем Анне. Меня поместили в блок, где иногда выдавали пакеты. У Анны не было ничего. Она мерзла, и голод сводил ее с ума. Я крикнула:

— Я посмотрю, Анна, может быть... Приходи завтра!

И Анна ответила:

— Хорошо, я приду.

Но она не пришла.

И г-жа Л. из Амстердама тоже рассказала о том, как умерла Анна Франк. Два года назад с г-жой Л. встретился западногерманский журналист Эрнст Шнабель. Он писал книгу об Анне — «По следам одного ребенка» — и хотел знать подробности. Г-жа Л. спросила: из какой Германии г-н Шнабель приехал? И когда узнала, что из Западной, прервала свой рассказ:

— К чему вам все это? Ведь у вас этому не верят, я ничего вам больше не стану говорить...

И все же Эрнст Шнабель собрал материал и написал свою книгу. Теперь мы знаем, как умерла Анна Франк.

А г-н Глобке жив.

В сорок пятом году его имя — под № 101 — числилось в списке военных преступников, составленном союзными державами. № 101 скрывался в доминиканском монастыре Вальбергер, между Бонном и Кёльном. Он «покаялся» патеру Лауренцису Зимеру и получил «абсолюцию» — полное отпущение грехов. Патер Зимер, тесно связанный с влиятельными лицами в хозяйственных и политических кругах тогдашней британской зоны, не думал ни об Анне Франк, ни о «пятом параграфе» — он смотрел в будущее, знал, что «доктор» может еще пригодиться. Вместе с кардиналом графом Прейсингом он оказал Глобке «первую помощь». Тем не менее Глобке был помещен в лагерь для интернированных. Здесь о нем позаботились американцы. Выдав сообщников и переложив всю вину на свое непосредственное начальство, Глобке вновь получил «абсолюцию», теперь уже по судебной линии...

Два года скрывалась на чердаке в Амстердаме девочка Анна Франк. В Освенциме, в Берген-Бельзене она отчаянно боролась за жизнь. Ей не удалось спастись. Анна Франк умерла.

Д-р Ганс Глобке спасся.

Некоторое время он служил казначеем в Аахене, затем перебрался в Дюссельдорф, а оттуда в Бонн — к Аденауэру...

Недавно стали известными факты о связи Глобке с Эйхманом. Глобке действительно был его двойником. Когда в оккупированных странах Европы появлялся с визитом Глобке, люди знали, что скоро за ним последует Эйхман.

27 августа 1934 года Глобке собственноручно подписал клятвенное обязательство:

«Я клянусь, что буду верой и правдой служить фюреру германского рейха и германского народа Адольфу Гитлеру, свято соблюдать законы и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Да поможет мне в этом всемогущий бог!»

Бог не подвел — Ганс Глобке выполнил возложенные на него обязанности: Анна Франк погибла в концентрационном лагере Берген-Бельзен...

Всемогущий бог продолжает помогать г-ну Глобке и сегодня.

В 1960 году канцлер Аденауэр подтвердил, что ни под каким предлогом «не допустит» отставки г-на Глобке и «оскорбление его чести».

Глобке считается лицом, наиболее приближенным к федеральному канцлеру, он могущественнее любого боннского министра. Вся корреспонденция на имя Аденауэра предварительно просматривается статс-секретарем. От него зависят назначения, увольнения и перемещения по службе всех высших государственных чиновников, ему подчинены разведка и ведомство прессы.

И опять сквозь ночь смотрят печальные глаза Анны Франк...

В окрестностях города Касселя возвышается гигантская фигура Геркулеса. Античный герой стоит на фоне искусственных развалин: в 1702 году эти развалины построил местный ландграф, на это

шли немалые средства — развалины в те времена считались роскошью. Двести сорок один год спустя весь Кассель превратился в груду щебня: в редкость были не развалины, а жилые дома. Но искусственные руины чудом уцелели, и теперь вместе с Геркулесом они составляют гордость города, романтический заповедник, куда привозят жадных до «красоты» экскурсантов. Гиды поясняют: нога у Геркулеса — столько-то метров, рука — столько-то. Сам он величиной в три этажа.

Это печальное зрелище: титан в плену у филистеров, у того самого «немецкого убожества», о котором писал еще Энгельс.

Уроки прошлого не всем пошли впрок. В Западной Германии вновь увлекаются показной грандиозностью, мнимым величием. Из глубины истории вытаскивают битву при Танненберге, вспоминают Фридриха, поют «патриотические» гимны: Германия превыше всего!

Учитель говорит детям:

— Мы великий народ, мы выиграли тысячи битв.

У подножия Геркулеса собираются кассельские патриоты. Они с вожделением поглядывают на нелепую статую: нам нужна сила!

Генералы бундесвера обращаются к правительству:

— Отсутствие ядерного оружия для нас унизительно. Величие Германии — в атомной бомбе.

Правительство требует от западных союзников:

— Мы хотим атомного равноправия. Дайте нам ракеты «Поларис».

В Касселе, помимо Геркулеса имеется другая достопримечательность — «Голова старика» работы Рембрандта. Этот небольшой по формату портрет одиноко висит в местном музее. У старика высокий лоб и глаза, которые запомнишь на всю жизнь: глубокий внутренний свет, доброта, вера.

В музей явился господин Шнурре — владелец аптеки, бывший офицер. Он посмотрел на старика и откровенно сказал:

— Голова как голова. Из-за чего столько шума — не могу понять. Правда, лысина сделана очень естественно.

Господин Шнурре обожает все грандиозное. Во время войны он завоевал «жизненное пространство» для «великой Германии». Он вернулся без правой руки, довольный тем, что осталась хоть левая, но привязанности к «великому» все еще не утратил. Дважды в месяц он отправляется на встречу «фронтовиков». Отставные штабисты, интенданты и писаря вспоминают боевые походы и призывают «готовиться». Они говорят о том, что воевали не зря. Вот дословно:

«Мы не смели бы и мечтать о нашем нынешнем благополучии, если бы германский солдат второй мировой войны не вымотал душу большевизму своей отчаянной и героической борьбой за каждую пядь немецкой и европейской земли».

Что г-ну Шнурре и его воинственным коллегам голова старика? С высоты Геркулеса они готовы обрушить шквал огня на миллионы голов...

В Касселе я подумал о том, что существуют две эстетики: эстетика рембрандтовского «Старика» и эстетика кассельского «Геркулеса». Войну обслуживают не только военные. У нее есть свои художники, скульпторы и стихотворцы.

В одной западногерманской газете я прочитал статью о творчестве Ины Зейдель. Автор панегирика противопоставляет поэтессу другим немецким литераторам. Он пишет: «Гёте, Гейне, Гейдерлин, Манны — все они в той или иной степени подвержены античному, французскому и прочим влияниям. В отличие от них, Ина Зейдель — поэтесса истинно германская».

Ина Зейдель «принимала» фашистский режим, ее чтили при Гитлере. Гейне был запрещен, Манны — тоже, Гёте и Гельдерлин находились в забвении.

В те годы много развелось новоявленных дарований. Эрих Вайнер писал тогда о некоем «имперском поэте»:

В архив сдан Гёте, не в почете Шиллер,
Лауреатства Манны лишены.
Зато, вчера безвестный, Франц Душилер
Достиг невероятной вышины,
Назначенный «певцом родной страны».

Это — сатира, но какая в ней перекличка со статьей о мадам Зейдель!

Сейчас никто не помнит «имперских поэтов» третьего рейха, между тем один из них безусловно вошел в историю: это Бальдур фон Ширах — «вождь» гитлеровской молодежи, стихотворец и гаулейтер Вены. Его стихи зачитывали прокуроры на Нюрнбергском процессе: «Германия, проснись!», «Барабаны гремят по стране». Он бойко начинал — чувствовал себя геркулесом: культ силы, мускульной красоты; на спортивных парадах, факельных шествиях, под рев оголтелых толп выбрасывал вперед руку: вот оно, величие Германии, энтузиазм, победа! А кончил печально: пятнадцатый год Бальдур фон Ширах сидит в тюрьме Шпандау, теперь уже старик, «заключенный № 1».

Тюрьму Шпандау западные журналисты именуют «историческим парадоксом» — это единственное в Германии место, где сотрудничают союзники по минувшей войне. Тюрьму охраняют конвоиры четырех стран-победительниц. Нюрнбергский приговор выполняется.

В западноберлинском районе Шпандау (Вильгельмштрассе, 24) я видел эти мрачные стены — нет, не исторический парадокс, а историческое возмездие, напоминание о том, что зло наказуемо.

Проходят по Вильгельмштрассе люди — среди них, может быть, и те, кто вновь хотел бы, чтобы по стране «гремели барабаны»,— и вдруг глянут на высокий забор, на железные ворота тюрьмы. Что там, за теми воротами?

А там их осталось всего трое — Гесс, Ширах и Шпеер. Три тени «тысячелетнего рейха», призраки в черных шинелях и арестантских фуражках, некогда могущественные «повелители», хозяева

над жизнью и смертью миллионов людей. Они мечтали о мировом господстве, хотели подчинить себе все человечество. Их обезвредили и подчинили строгому тюремному режиму: в 6 — подъем, в 7.30 — уборка камер, с 8 до 11.45 — работа в саду и так далее... Так, во всяком случае, сообщается в книге Хейдекера и Лееба «Нюрнбергский процесс».

Дважды я был в Нюрнберге, перед зданием трибунала меня охватывал трепет: здесь осуществилась всемирная справедливость, трубный голос приговора заклеймил жестокость, войну, мракобесие. Человечество познало тогда сладость справедливого возмездия. Сохранились воспоминания о том, как плакался перед смертью Ганс Франк, как «несгибаемый» Кейтель умолял тюремного органиста не играть детскую песенку «Спи, дитя мое, усни».

Судебный психолог Жильбер регистрировал тогда в своем дневнике: «У Геринга — нервный припадок»... Судорожно сжатые руки Кальтенбруннера выдают его страх... Хуже всех воспринял смертный приговор Заукель».

Они страшились расплаты — плевать им было на все: спастись бы, вырваться из петли, выжить...

Юлиуса Штрейхера повели на виселицу в кальсонах: у него не хватило самообладания, чтобы надеть штаны. Геринг принял яд. Зейсс-Инкварт находился в прострации. Риббентроп лепетал что-то о «крови агнца»...

1960 год. В Левекузене испытывают газы, воздействующие на нервную систему человека. Руководит испытаниями д-р Шрадер — создатель газов «Бладан» и «Табун», которые применялись в лагерях уничтожения.

В Западном Берлине председатель местного отделения Немецкой партии Вольфрам фон Гейниц выступает с речью:

— Мемель, Кёнигсберг, Катовицы, Карлсбад при всех обстоятельствах должны вновь стать немецкими. Пора наконец перейти от слов к делу и двинуться на восток...

Газета «Дейче зольдатенцейтунг» проделала историческое изыскание: кто виноват во второй мировой войне? Вот что говорится о захвате Австрии:

«Подавляющее большинство австрийцев желало аншлюса и горячо стремилось к воссоединению с рейхом... Даже та часть населения, которая была против национал-социализма, не противилась аншлюсу, нет, она от всего сердца хотела воссоединиться...»

Я видел карикатуру, которую распространили западногерманские сторонники мира: в аду Гитлер, Геринг и Гиммлер, поглядывая на «продолжателей» их дела, перешептываются: все не так уж плохо, зря мы поспешили покончить с собой...

Я хочу рассказать об одном удивительном случае. Впрочем, однажды я уже писал о нем: в 1958 году был напечатан мой очерк «Преступление генерала Симона». Там говорилось о том, как в

последние дни войны в районе Бреттгейма крестьяне Ганзельман и Уль разоружили двух гитлеровских солдат. Крестьян решено было судить, но судьи — бургомистр Бреттгейма Гакштаттер и чиновник Вольфмейер — были честными людьми. Они знали, что Ганзельман и Уль действовали как патриоты, и оправдали обвиняемых. Тогда в дело вмешался командир 13-го корпуса войск СС генерал Макс Симон. Он приказал повесить Гакштаттера, Вольфмейера и Ганзельмана (Уль успел скрыться), и на бреттгеймском кладбище состоялась эта казнь — одна из самых последних и, может быть, одна из самых подлых казней в гитлеровской Германии.

В то далекое апрельское утро 1945 года на бреттгеймское кладбище пригнали местных жителей, жен и детей осужденных. Оцепеневшие от ужаса люди увидели, как вздернули их земляков на старых кладбищенских липах, под которыми покоится прах многих поколений бреттгеймцев. Затем эсэсовцы извлекли из своих шинелей губные гармошки и сыграли потешную песенку — «Ах, ты мой милый Августин». На всех домах Бреттгейма были расклеены подписанные генералом Симоном воззвания:

«Германский народ полон решимости с еще большей суровостью выкорчевывать из своей среды малодушных себялюбцев...»

Тринадцать лет спустя Макс Симон предстал перед западногерманским судом. Это было в какой-то степени неожиданным: в Федеративной Республике Германии редко судят военных преступников. Но дело кончилось ничем: Симона оправдали, а возмущенным родственникам бреттгеймских патриотов объяснили, что Симон всего-навсего добросовестный служака, исполнитель уставов. Не ему отвечать за то, что эти уставы были преступными.

Так в 1958 году западногерманский суд выгородил генерала-убийцу.

Едва ли кто-нибудь предполагал, что у этой истории будет продолжение.

В 1960 году Симон вновь предстал перед судом и вновь был оправдан. Но на этот раз его не просто «реабилитировали». Казнь трех жителей Бреттгейма была поставлена генералу в прямую заслугу, а Гакштаттера, Вольфмейера и Ганзельмана объявили изменниками, как тогда, при Гитлере.

Вот что пишут в своей прессе реваншисты: «Мы ни в коей мере не можем согласиться с точкой зрения, согласно которой три жителя Бреттгейма, приговоренные к смерти, поступили правильно».

И дальше издевательская оговорка, инструкция будущим карателям: «Вешать изменников на деревьях было возможно только во времена третьего рейха. Нашей военной традиции более соответствует расстрел, чем повешение».

Вдумаемся в эти строки. В них многое сказано. В них суть «демократических преобразований», осуществленных в Западной Германии. Господа, оправдавшие Симона, считают, что они не эсэ-

совцы. Что у них общего с Гитлером? Тогда патриотов вешали и сжигали в печах. Они вешать не будут, они будут расстреливать. Человечество может не волноваться...

И все же человечество волнуется. В тихом Бреттгейме земляки бургомистра Гакштаттера в ноябре 1960 года устроили демонстрацию. Они пришли на кладбище, к трем могилам, чтобы почтить память погибших и заклеймить убийц.

Корреспондент газеты «Ди тат» беседовал с земляками казненных. Крестьянин Аккерман вспомнил апрель 1945 года; он был свидетелем казни.

Аккерман сказал:

— Здесь, в Бреттгейме, все удручены оправданием генерала Симона. Я простой человек и не разбираюсь в судебных процедурах, но я знаю, что такое правда, а что — нет. Этот приговор я считаю несправедливым...

Сын казненного Ганзельмана сказал:

— Дело не в том, чтобы упрятать кого-то в тюрьму. Но, оправдав эсэсовского генерала, судьи как бы вместе с ним во второй раз засудили моего отца...

Пятнадцать лет назад в маленьком безвестном городке Бреттгейме вспыхнуло пламя сопротивления злу. Это пламя не угасло. Традиции живут. У борцов есть наследники.

Наследниками бывают не только дети,— сколько отцов после этой войны стало наследниками своих детей!

В 1943 году в Мюнхене казнили Ганса и Софью Шолль — студентов университета. Они распространяли листовку: «Час расплаты настал!.. Пора положить конец нацистскому рабству!»

В наши дни городские власти Мюнхена присвоили имя Шоллей площади перед университетом. Но героям нужны не столько посмертные почести, сколько уважение к тому делу, за которое они отдали жизнь. Едва ли Софья и Ганс согласились бы на то, чтобы на площади, носящей их имя, свободно разгуливали генерал Симон и господин доктор Глобке.

Будь они живы, они возразили бы против многих вещей: против атомной бомбы, против вооружения бундесвера, против преследования сторонников мира...

Может быть, они бы вновь распространяли «возмутительные» листовки и вновь очутились бы в камерах тюрьмы «для политических».

Но Софьи и Ганса Шолль давно уже нет в живых, и вместо них действует их наследник. Это их отец, бургомистр в отставке Роберт Шолль. Он унаследовал от своих детей честность и бесстрашие. Он разъезжает по стране с требованием отказа от политики «атомной смерти», выступает за разоружение, за мирный договор с Германией. Он знает, кем он уполномочен. На него обрушился град обвинений со стороны тех самых господ, которые лицемерно говорят о прекрасном подвиге брата и сестры Шолль. Но г-н Шолль гордо несет свое бремя. Он не может отступить, сдаться, пойти на сделку с врагами своих детей: он их наследник.

Отцы и дети...

Мне известна судьба другого наследника — сына Георга Шумана, коммуниста, возглавлявшего в Лейпциге боевую подпольную группу. Сын Георга Шумана — Хорст — поклялся продолжать дело отца. Но для того чтобы выполнить клятву, ему не пришлось подвергаться травле и полицейским преследованиям. Хорст Шуман живет в Германской Демократической Республике — там дело Георга Шумана продолжает весь народ, рабоче-крестьянское государство. Я бывал в Лейпциге, в городе социалистической промышленности и социалистической культуры; мне вспоминались виденные в музее оттиски листовок. Группа Шумана действовала до 1944 года — она вела свою работу на предприятиях Лейпцига. В одной из листовок была напечатана программа: «Свержение нацистского режима... Создание народного правительства... Окончание войны».

Группа Шумана называлась «Георг Шуман и товарищи». Товарищей тогда было немного. Теперь их миллионы. Они создали народное правительство, осуществили важнейшие реформы. Германская Демократическая Республика связана братским союзом со всем социалистическим лагерем.

Среди молодых строителей новой жизни выделялся Хорст Шуман. В нем узнавали черты отца: убежденность пролетарского революционера, целеустремленность, волю к победе. Его выбрали первым секретарем центрального совета Союза свободной немецкой молодежи — не ради громкого имени, а потому, что он оказался достойным наследником.

Я пишу о Хорсте Шумане и знаю, что все сделанное и созданное им и его друзьями в Германской Демократической Республике вселяет бодрость и веру в тех, кто в Западной Германии считает себя наследниками борцов против фашизма.

Мы говорим о перекличке поколений. Газета «Дас андере Дейчланд», которую издают в Ганновере супруги Кюстер, напечатала вехи биографий трех немцев: деда, отца и сына. Это тоже к вопросу о «наследстве». Дед жил при Вильгельме. В 1913 году его призвали в армию, в 1914-м послали на фронт, в 1917-м он был ранен, в 1918-м попал в плен; вернулся домой в 1921 году и умер в 1925-м от последствий ранения. Отец в 1938 году, при Гитлере, был призван в вермахт, в 1939 году отправлен на фронт; в 1944 году во время бомбежки погибла его жена, а дом был разрушен. Отец так и не вернулся с войны. Сын живет при Аденауэре. В 1957 году он был мобилизован в бундесвер. Печальное продолжение следует...

Газета «Дас андере Дейчланд» взяла на себя роль колокола: она будит спящих. Из номера в номер она разоблачает реваншистов, развенчивает демагогов.

В сонном, самодовольном Ганновере люди, читая газету супругов Кюстер, узнают о том, что миру угрожает большая опасность, война может вспыхнуть в любую минуту, ее поджигатели — рядом: здесь же, в Ганновере, в Дюссельдорфе, в Бонне.

«Дас андере Дейчланд» рассказывает и о другом: по ту сторону Эльбы, в Германской Демократической Республике, немцы создают общество, где защита свободы и мира стала законом. В газете публикуется объективная информация о жизни в Советском Союзе и в странах народной демократии. Особое место занимают очерки, посвященные истории антифашистского Сопротивления.

Надо отдать должное супругам Кюстер. Им нелегко. Против них не только полицейская система, но и сложная правительственная демагогия, клевета, равнодушие. Такую стену трудно пробить. Но супруги Кюстер продолжают борьбу. Вдвоем выпускают они свою газету, не рассчитывая на субсидии филантропов, опираясь на энтузиазм и доверие читателей.

Рождество — праздник умиротворения, благорастворения: в церквах проповедники говорят о любви к ближнему, по радио, вперемежку с последними известиями, транслируются псалмы: «Stille Nacht, heilige Nacht» — «Тихая ночь, святая ночь».

В «тихую, святую ночь» кому охота вспоминать злое прошлое? В конце концов, все не так уж страшно: светятся огни елок, на столе рождественский гусь, вся семья в сборе...

Близ Мюнхена, в городишке Дахау, бургомистр г-н Цаунер покупает для своих внучат шоколадных гномов.

Дахау — неплохой городок, здесь есть на что посмотреть. В местном музее — старинные изделия из стекла, традиционные костюмы баварских крестьян, коллекции амулетов. Любители архитектуры могут ознакомиться с дворцовым парком. Но почему-то приезжих тянет на дальнюю окраину города, где нет ни дворца, ни парка, ни даже музея, а стоят унылые бараки и крематорий с кирпичной трубой.

Г-н Цаунер удивляется: что там интересного? Ах эти смутьяны! Для них Дахау — все еще лагерь смерти, они требуют обелисков, траурных манифестаций, никак не хотят успокоиться. Корреспонденту английской газеты «Санди экспресс» г-н Цаунер сказал:

— Не забывайте, что в Дахау содержалось много уголовников и гомосексуалистов. Неужели мы должны воздвигать этим людям памятники?..

Я познакомился с Иваном Ивановичем Гордеевым — крепким, веселым человеком из Караганды. У него славная должность: командир горноспасательного взвода. Когда на руднике беда — обвал или отравление газами,— Иван Иванович вместе со своими бойцами спешит горнякам на выручку.

Вот этого Ивана Ивановича должны были убить: сжечь живьем, отравить «Моноксидом» или уморить голодом. В 1941 году в районе Кировограда он попал в окружение, а затем в плен. Его привезли в Штутгарт, в литейном цехе завода компании «Роберт

Бош» советскому лейтенанту Ивану Гордееву приказали работать на гитлеровскую Германию. Но лейтенант Гордеев не был предателем — он бежал на юг, к Боденскому озеру, по тому самому маршруту, по которому теперь возят туристов, желающих ознакомиться с красотами немецкой природы.

Летом 1960 года я повидал эти живописные места. В соответствии с контрактом хозяева отелей преподносили нам сувениры, угощали пивом, стоимость которого была заранее оплачена туристской фирмой, а хозяйские дети выходили навстречу с букетиками купленных за счет фирмы цветов и застенчиво улыбались.

На Боденском озере, в Констанце, мы любовались старинным собором и идиллией германо-швейцарской границы: Констанц находится на самой границе со Швейцарией. Каждое утро немецкие домохозяйки отправляются с кошелками за границу: в Швейцарии дешевле кофе.

Опрятные, белые дома, синее озеро, курортная послеобеденная истома... В Констанце мы думали о благах мирного времени: какой ценой, чьею кровью и чьими страданиями оплачен этот курортный покой на Боденском озере?

В январе 1943 года в Констанц доставили трех беглецов: Гордеева, Дерюжина и Киченко. Едва ли их могла интересовать живописность пейзажей, а старинного собора они так и не увидели — их привезли прямо в тюрьму, а до этого долго мучили в гестапо.

Гордеев вспоминает об этом, как о наваждении. Лицо гестаповского офицера: «У нас не отпираются!..» Удар плетью. Девица-переводчица: «Я тоже русская, из Санкт-Петербурга. Советую говорить правду. Удар плетью. Волокут на «козла» Дерюжина. Удар. Потом — какая-то странная фигура с копилкой: «Сбор денежных средств для армии». Гестаповцы достают кошельки. Бренькают пфенниги. Удар плетью. Восемнадцать ударов. Бреньк... Бреньк... Бреньк...

Из Констанца Ивана Гордеева переслали в штрафной лагерь в Карлсруэ. Двадцать девять дней показались вечностью: холод, похлебка, гимпастика. Четыре часа подряд: «Встать! Сесть! Встать! Сесть!..» Приседание с кирпичами на вытянутых руках. Ночью: «С коек марш! Бегом! Лечь! Лечь лицом в лужу!»

За двадцать девять дней из трехсот обитателей лагеря в живых осталось пятьдесят. На тридцатый день собрали оставшихся — поляков, французов, русских, — сказали: «Лагерь расформировывается. Пойте!»

16 марта 1943 года Иван Иванович Гордеев прибыл в Дахау. Мне он рассказывал:

— Как подвезли к лагерным воротам, я сразу подумал: где-то я такие ворота видел? Потом догадался: в кино. Показывали у нас до войны фильм «Болотные солдаты», про немецких антифашистов. И песня там была:

Болотные солдаты,
Мы выйдем из проклятых
Болот...

Выйдем ли?

Попал я поначалу в карантинный блок номер девятнадцать. Из нашего блока десять человек выбрали на эксперименты по замораживанию. Был у нас такой паренек — Николай. Он выдержал двенадцать экспериментов. За это была ему от начальства награда — разрешили волосы носить, ходил он по лагерю с чубом...

...Из карантинного блока перевели меня в команду по уборке крематория. Много чего насмотрелся, страшные вещи видел. Но я сейчас о другом хочу рассказать. О болотных солдатах. Там, в Дахау, я, как говорится, на практике убедился в том, что человек, который верит в свое правое, рабочее, партийное дело, непобедим! Познакомился я с одним узником — немцем. Звали его Бернгард Квандт. Бывало, грызет тебя тоска, невмоготу становится, тошнит от голода, от усталости, от трупного запаха, а Бернгард Квандт подойдет, положит на плечо руку и говорит: «Ничего. Мужайся, товарищ! Мы же с тобой революционеры!»

Многое он мне рассказывал: о немецком революционном движении, о братстве русских и немецких рабочих, о том, как борются против Гитлера немецкие коммунисты.

«Понимаешь, Иван,— говорил Бернгард Квандт,— они могут убить меня, тебя, тысячи таких, как мы. Но они не в состоянии уничтожить веру в коммунизм. Ничего у них с этим не выйдет!»

...И я слушал его, и становилось как-то удивительно легко на душе. Ведь вот, думал я, сколько лет свирепствуют в Германии фашисты, кажется, всех они запугали, одурачили, всем заткнули рты. А оказывается, нет! Жива пролетарская совесть — и не где-нибудь, а даже здесь, в этом ужасном лагере смерти, который для того и создан, чтобы убить человеческую душу, веру в людей.

Так в Дахау узнал я, что существует другая Германия. А когда много лет спустя получил письмо из Шверина, от секретаря окружкома Социалистической единой партии товарища Квандта, понял, что эта, победившая фашизм «другая Германия» находится в верных руках.

...Вот что рассказал командир горноспасательного взвода из Караганды Иван Иванович Гордеев. Его рассказ многое мне объяснил. Почему нынешний бургомистр Дахау г-н Цаунер так не хочет вспоминать печальную историю своего города? Почему в ФРГ боятся правды о гитлеровских лагерях смерти? Дело не только в том, что эта правда разжигает в людях ненависть к фашизму. Есть еще и другая причина: там, в лагерях кошмара, в скорбных бараках и каменоломнях, рождалась пролетарская солидарность, формировались отряды борцов против фашистского рабства, выковывались те самые кадры, которые создали наконец «другую Германию» и уверенно повели ее вперед к социализму...

Стоит ли думать об этом?

Ни в одном учебнике современной истории, изданном в ФРГ, ни в одной школьной хрестоматии вы не найдете упоминания о Тельмане, о Джоне Шеере, о Вальтере Хуземане, о героях Бухенвальда и Дахау. В ранг «антифашистов» возведены гитлеровские

генералы, нацистские чиновники, немногие представители духовенства. А что касается зверств, то, оказывается, их «было не так уж много», все это «сильно преувеличено», и вообще, давайте поговорим о другом...

Я видел города Западной Германии: там горькую быль мог бы рассказать каждый камень. Но камни вычищены, вылизаны, обсажены розами. На крови и пепле стоят нарядные дома, и уютно в квартирах. Разве могут проникнуть сюда тени замученных? Может быть, все это не больше чем мистика? Пепел, снег, неясные очертания каких-то фигур: Анна Франк, Ганс и Софья Шолль, Ганзельман, Гакштаттер...

Просим не мешать празднику!

В Дахау бургомистр г-н Цаунер обнимает внучат:

— Сейчас я вам расскажу сказочку...

Уселся за праздничный стол Макс Симон, обтер платком лысину: слава богу, 1960 год закончился благополучно...

В Бонне статс-секретарь д-р Глобке произнес торжественный спич:

— В этот святой праздник еще раз поклянемся в верности нашим принципам...

В Касселе бывший офицер, а ныне владелец аптеки г-н Шнурре, нацепив на елку марципанового «Геркулеса», предается сладостным воспоминаниям:

— Было рождество тысяча девятьсот сорок первого года. И стояли мы тогда под самой Москвой...

«Тихая ночь, святая ночь». Весело светятся огни елок. И все же у симонов, глобке, цаунеров неспокойно на душе.

Кто там за окном? Призраки? Тени? Нет. Это живые люди, которые ничего не простили и ничего не могут забыть.

За этими людьми огромная сила: на немецкой земле свобода существует теперь не только в подпольных кружках, она обрела отечество, говорит полным голосом, и дыхание ее прорвалось из-за Эльбы на запад, в самые затхлые уголки, туда, где прежде о ней и понятия не имели...

«ДЕЛО ЭЙХМАНА»

I

Еще в прошлом году в Заксенвальде, близ Гамбурга, работал лесником Карл Нейман — веселый человек лет пятидесяти. Однажды он принес из лесу хромого щегла, отдал соседке:

— Примите, фрау Бест, подкидыша, а то боюсь, как бы мой кот Муркель не причинил ему вреда...

Фрау Бест перевязала щеглу лапку, пришел бакалейщик Эйнфельд, стал вместе с Нейманом мастерить клетку. Неожиданно явилась полиция. Нейман вытянул руки по швам, сказал с достоинством:

— Ладно, я — Рихард Бер. Прошу помнить, что я был офицером, обращайтесь со мной соответственно.

Фрау Бест и Ганс Эйнфельд — бакалейщик — разинули от изумления рты, щегол жалобно пискнул.

— Как так?

Рихард Бер был последним комендантом Освенцима, он завершал «ликвидацию».

Узнав об этом, бакалейщик Эйнфельд покачал головой:

— Что он там натворил — его дело; ко мне он относился очень приветливо. А возьмите историю со щеглом!..

Рихард Бер приютил хромого щегла. Начальник Бера — Адольф Эйхман — любил кроликов. На фотографии, сделанной незадолго до ареста, он снят в тени оливкового дерева: полузакрыв глаза, улыбаясь, держит в руке смешного зверька «добрый дедушка» Эйхман.

Он и попался в результате собственной сентиментальности. 21 марта 1960 года Рикардо Клемент преподнес своей жене букет белых цветов. Жену Клемента звали Вера Либль, когда-то она была замужем за Эйхманом; после войны переехала с детьми из Австрии в Аргентину, сошлась с Клементом, служащим фирмы «Мерседес-Бенц». Дети Веры Либль называли Клемента «дядей Рикардо». В те дни агенты следили за каждым шагом Рикардо Клемента, сличая факты, искали последних доказательств. Букет, преподнесенный 21 марта, окончательно устранил все сомнения: 21 марта было годовщиной свадьбы Веры Либль и Адольфа Эйхмана.

Агенты приступили к разработке «операции»...

Личность Эйхмана изучена, исследована, его сделали знаменитостью. Существует целая литература, в которой подробно рассмотрен феномен, именуемый Эйхманом. Его прозвали «бухгалтером смерти», и это почти правильное определение, если не считать того, что «бухгалтер» отнюдь не отличался бухгалтерским беспристрастием, когда речь шла об убийствах, удушениях, сожжении живьем. Рассказывают, как Эйхман выбросил из окна пято-

го этажа грудного ребенка, как он спалил зажигалкой бороду старому еврею, и все же это случаи исключительные, они совершались в состоянии аффекта — Эйхман обладал ровным, спокойным характером: сидел у себя в кабинете, калькулировал, подсчитывал, иногда выезжал в командировки.

Он был вполне «порядочным человеком» — можно привести длинный перечень его добродетелей: еще до войны инспекция полиции безопасности составила анкету-характеристику Эйхмана:

Поведение на службе и вне службы — корректен, безупречен.

Денежные дела	— долгов не имеет.
Отношение к семье	— хорошее.
Личные качества	— активен, выдержан, обладает чувством товарищества, целеустремлен.
Душевная бодрость	— ярко выражена.
Мировоззрение	— здоровое.
Слабости, недостатки	— (прочерк).

Эйхман любил спорт, верховую езду, музыку, недурно играл на скрипке. Еще и сегодня о нем с грустью вспоминают женщины, которым он «оказывал честь». Приезжал усталый, заложив руки за голову, мечтал: построю за Уралом замок, буду пить кумыс, скакать верхом по степи...

Скрываясь несколько лет на севере Западной Германии, Эйхман, как и Рихард Бер, работал в лесу, жил в бараке. Жена почтальона Рут Трамер вспоминает: «Часто он совершал одинокие лесные прогулки», был «тихим, сдержанным», «по вечерам играл на своей скрипке». Домовладелец Франциско Шмидт из Аргентины пишет о Рикардо Клементе — Эйхмане: «Корректный, приятный человек, аккуратно вносил квартирную плату». И Эйхман — о себе, в своем «духовном завещании», составленном в Буэнос-Айресе:

«Я не убийца. Я всего-навсего лояльный, корректный и послушный солдат!.. Все, что я совершал, делалось мной из идеалистической преданности моему отечеству и СС... Я был хорошим немцем, я остаюсь хорошим немцем, и я всегда буду хорошим немцем».

До начала процесса многие гадали, как поведет себя Эйхман на суде: станет ли отпираться, раскаиваться или «сыграет ва-банк» — попробует превратить суд в трибуну?

Его поместили в стеклянный куб — клетку. 11 апреля 1961 года на нем задержался взгляд человечества: вот оно — чудовище, истребитель шести миллионов!

Эйхман надел наушники, положил перед собой цветные карандаши, стопку бумаги.

До середины июня выступали свидетели. Эйхман внимательно слушал, изредка улыбался, качал головой.

В зале суда воскресали ужасные картины. Незримый строй мертвецов — шесть миллионов убитых — проходил мимо стеклянного куба. Это были жертвы из всех европейских стран; те, кого

убили газом в лагерях смерти, и узники гетто, умершие от голода; дети, расстрелянные эйнзац-командами на краю противотанковых рвов, и старики, которых загоняли в здания синагог, а потом сжигали. Никто из них не ушел от Эйхмана. Он организовал строгий учет, обеспечил образцовую систему «выявления». Если на местах, в странах-сателлитах, власти проявляли нерешительность, Эйхман действовал через дипломатические каналы, через имперских уполномоченных — так он «очистил» Будапешт, подготовил полную ликвидацию итальянских и румынских евреев. Если происходили заминки с транспортом, Эйхман «нажимал» на железнодорожников, и предназначенные для перевозки войск эшелоны поступали в распоряжение гестапо. Когда в лагерях смерти возникали перебои с газом или не справлялись с перегрузкой крематории, Эйхман связывался с техниками, с инженерами, и «машина» вновь действовала безотказно.

Цифры всегда абстрактны. Рука выводит на бумаге шестерку, за ней выстраиваются нули — шесть нулей, шесть миллионов — жертвы Эйхмана. Сейчас в нашем воображении эти шесть миллионов слились в некую единую массу, мы почти не различаем их лиц: стриженые головы, погасшие глаза, в которых запечатлена предсмертная, смертельная усталость.

Кто они, стоящие в строю мертвецов?

Вот этот, с обритым черепом, похожий на скелет, был стариком. Он прожил жизнь в польском городе Радоме, старый сапожник. Его уважали соседи, три поколения заказчиков прошли через его мастерскую... Его вывели из дому ночью, втолкнули в эшелон. Потом он стоял на плацу в Майданеке, без очков, без бороды, без лица, без возраста,— один из шести миллионов...

Случай, рассказанный Эдмундом Питковским. Молодой человек попал в концентрационный лагерь, стал уборщиком газовых камер. Как только заканчивалась «газация», уборщики отворяли железную дверь, выволакивали из камеры трупы, везли в крематорий. Однажды после очередного «сеанса» среди обезображенных трупов уборщик узнал свою мать. Он закричал, бросился с кулаками на эсэсовцев. Его пристрелили. Так в строю мертвецов встретились мать и сын — двое из шести миллионов...

Эти были детьми. 1 июня 1942 года их привели на парижский велодром Иври. Родителям объявили, что детей временно эвакуируют в приюты, в глубь Франции. Стали прощаться. Дети были маленькими — от двух лет до четырех. На велодроме Иври они провели больше месяца. Немецкая администрация сказала, что еще не готовы помещения, на самом деле не хватало железнодорожных составов — дорога предстояла дальняя. Каждый день родители приходили на велодром. Это были немыслимые свидания, и все же некоторые тешили себя надеждой: вот уже август, а они все еще здесь. Может быть, и отменят...

В середине августа из Берлина в Париж позвонил Эйхман. Веселым голосом он сообщил своему уполномоченному Ритке, что с эшелонами все наконец утряслось. Велодром Иври опустел. В за-

колоченных теплушках везли из Парижа в Польшу, в Освенцим, детей — 4051 человек.

Четыре тысячи пятьдесят один — из шести миллионов...

Шесть миллионов убитых хотят, чтобы живые знали правду об их гибели. Многие из них недешево отдали свою жизнь палачам, не бессловесными жертвами — героями вступили в строй мертвецов. У скольких шестиконечная звезда на груди была составлена из двух треугольников: желтого — «еврей» и красного — «политический»: коммунист, партизан, подпольщик! Это борцы Сопротивления, сопротивления фашизму, смерти, потере чувства собственного достоинства, предательству, страху.

Забудется ли эпопея варшавского гетто: конспиративные пекарни, в которых выпекали хлеб для стариков и детей, школы в катакомбах, дружины смельчаков огородников, которые под страхом смерти, вопреки фашистским запретам, выращивали на пустырях, среди развалин, картофель и овощи, чтобы отдать скудный свой урожай в распоряжение подпольного центра? Это была не просто борьба за существование, а продуманный и хорошо организованный отпор врагу, формирование боевых сил. Обнесенное каменной оградой, отрезанное от всей остальной Варшавы, гетто являлось одним из очагов антифашистского движения в Польше, связанным с тысячами братьев-поляков единой судьбой и общими целями. Нацизм потерпел здесь величайшее свое поражение: хотел разъединить народы, а они сплотились, прониклись чувствами взаимной любви и симпатии, отрешились от вековых предрассудков.

В феврале 1943 года варшавское гетто восстало. Пятьдесят шесть дней люди, вооруженные самодельными револьверами, кольями и ножами, вели отчаянный бой с солдатами всемогущего вермахта. Фашистское командование бросило против гетто дальнобойную артиллерию, авиацию, танки, отрезало источники водоснабжения. И все же гетто не сдалось на милость врага, продолжало сражаться до тех пор, пока в строй мертвецов не встал последний его защитник.

Недавно я слышал песню. Вот ее текст:

Ты не верь, что это твой последний шаг,
Что уходит синий день в свинцовый мрак,—
Громыхнут шаги, раздастся бой часов,
Содрогнется даль от гула голосов.

Мы с собой сюда со всех концов земли
Нашу скорбь и нашу муку принесли,
Но за кровь, что пролилась из наших ран,
Воздадут врагу винтовки партизан.

Сгинет враг, и с ним навеки ночь падет.
В сердце боль клокочет, ненависть поет,
А погибнем, эту песню не допев,
Наши внуки пусть подхватят наш напев.

Нет, не птица в безмятежной вышине
Эту песню распевала при луне,—
Средь горящих стен, не сломанный судьбой,
Пел народ ее, идя на смертный бой.

Это «Песня партизан варшавского гетто». Я слушал ее в демократическом Берлине, на улице. Ее пели солдаты немецкой Народной армии...

...В Иерусалиме, в зале суда, слушая показания свидетелей, мужчины плакали, женщины падали в обморок — их выносили. Адвокат Эйхмана — Роберт Серватиус — заявил протест: суд не театр, надо во всем разобраться спокойно. Эйхман, сидя в своем стеклянном убежище, невозмутимо делал пометки, что-то чертил цветными карандашами. Наконец ему предоставили слово. Он протянул судье чертеж — сложное переплетение линий, кружочки, квадратики, затем пояснил:

— Это графическое изображение «окончательного решения еврейского вопроса». Красные линии означают смерть, зеленые — депортацию, синие — дискриминационные меры. Квадратик в левом углу — четвертое управление, в правом — пятое. Вот этот кружок — Гиммлер, этот — Мюллер, я — с краю, в самом низу. Красные линии меня не касаются, от меня исходят зеленые, синие.

31 августа 1946 года на Нюрнбергском процессе получил последнее слово подсудимый Эрнст Кальтенбруннер, начальник главного имперского управления безопасности, зловещий преемник Гейдриха. О чем говорил он в то роковое мгновение, в канун приговора, в канун смерти, перед лицом всего мира?

Подойдя к микрофону, Кальтенбруннер сказал:

— Обвинение до сих пор не видит противоречий в том обстоятельстве, что пятое управление главного имперского управления безопасности не может отвечать за преступления, которые совершало четвертое управление...

Пятнадцать лет спустя, на процессе в Иерусалиме, Эйхман продолжил ведомственный спор между четвертым и пятым управлениями. Это выглядит невероятным кощунством! Есть ли дело миллионам убитых до того, какое именно управление доставляло их в лагеря смерти, а какое сжигало? Между тем на этой дефективной аргументации построена в ФРГ вся система морального и юридического оправдания и поощрения нацистских преступников. Привлечь к ответственности Глобке? Видите ли, он, конечно, «замешан», но министерство внутренних дел, в котором он сотрудничал, не занималось непосредственным истреблением: тут нужно уметь различать... Ферч? Да, возможно, однако общий характер войны определялся, как известно, генеральным штабом и ставкой, так что... Шпейдель? Как вам сказать? Карательные действия производились, разумеется, не без ведома военного руководства, но с другой стороны...

Такие рассуждения я слышал в Западной Германии не от бывших эсэсовцев, не от оголтелых нацистов, а от людей «независимо мыслящих» — от респектабельных гейдельбергских профессоров, от господ издателей «внепартийных» журналов, от благодушных, процветающих коммерсантов. И когда я спрашивал их: «А что вы делали во время гитлеризма?» — они одинаково отвечали: «Что я мог делать? Служил...»

В Висбадене, в том самом Рулетенбурге, где проиграла свои капиталы «бабуленька» из «Игрока» Достоевского, в курортном парке, рядом с казино, среди роз, среди огней и мрамора, можно встретить сегодня строгого седого господина. По вечерам он совершает здесь моцион, пьет из источника целебную воду, нюхает розы. Это владелец фирмы «Топф и сыновья. Висбаден», известный поставщик печного оборудования для лагерей смерти. В 1941 году Топф писал Гиммлеру: «В кремационных двойных муфельных печах «Топф», работающих на коксе, в течение примерно 10 часов может быть произведена кремация 30—35 трупов. Упомянутое число трупов может сжигаться, не вызывая перегрузки печи. Не беда, если по условиям производства кремация будет производиться днем и ночью».

«По условиям производства» кремация производилась действительно круглосуточно. Сколько миллионов людей прошло через двойные муфельные печи? Пепел этих людей до сих пор не дает нам покоя, а господин Топф и его сыновья живы, и все западногерманские крематории пользуются их печами, теперь уже «для нужд мирного времени». И опять я слышу знакомое: «Ну, чего вы хотите от Топфа? Разве он отвечает за своих заказчиков? Сам он человек в высшей степени порядочный...»

Нет, на процессе в Иерусалиме Эйхман отнюдь не оригинален в своей защитительной тактике. Это «стиль» Кальтенбруннера, «стиль» Риббентропа и Юлиуса Штрейхера, которые пытались заморочить голову нюрнбергским судьям бесконечным уточнением «рамок» своей деятельности; это бессовестная «тактика», выработанная «порядочными людьми» в Западной Германии, которые, говоря о прошлом, готовы признать себя кем угодно — слепцами, глупцами, солдафонами, бюрократами, но только не тем, кем они были на самом деле, и прежде всего убийцами...

На суде Эйхман сказал о себе: «Я — бюрократ». Он представил заметки, сделанные им в ходе процесса, скрупулезные и подробные исследования: «Принципы отдачи приказов ведомствами и должностными лицами», «Система подчинения в органах полиции безопасности». Одна из заметок озаглавлена на манер старинных трактатов, торжественно и многословно: «Размышления о служебных инстанциях, принимавших участие в окончательном решении еврейского вопроса, плюс дополнительный план с некоторыми пояснениями». Перед Эйхманом лежит тетрадь, на которой написано: «Мелкие заблуждения. В целях предосторожности

от оглашения пока воздержаться». Можно представить себе, какие там заготовлены козыри! Перечень неправильных наименований отделов, неточности в обозначении должностей, ошибки в датах.

Убийца миллионов оказался унылым чиновником, «бухгалтером смерти», а его еще сравнивали с Торквемадой, с Борджа, с Лойолой! Но что Лойола, что Чезаре Борджа, что Торквемада перед этим убийцей с арифмометром и папкой деловых бумаг, который никогда не убивал «по вдохновению», а в строгом соответствии с планом и «специальным законодательством»!

Эйхмана спросили об его участии в конференции «Ванзее».

В январе 1942 года в Берлине, на берегу озера Гроссер-Ванзее, собрались высокопоставленные нацистские чиновники — представители партийной и имперской канцелярий, министерств, гестапо, управлений «по четырехлетнему плану» и «по делам расы и поселений». Никто из присутствующих не считал себя убийцей — это были ответственные руководители, и вся атмосфера конференции напоминала о том, что здесь происходит нечто деловое и чрезвычайно значительное. Был составлен протокол, снабженный грифом — «секретный документ государственной важности», и каждое из этих четырех слов, взятое в отдельности, наполняло сердца присутствующих трепетом, подымало на некий, всем прочим людям недоступный уровень, связывало особой порукой.

«Секретный»,— следовательно, я облечен особым доверием фюрера и удостоен особой чести знать то, чего не знают и не должны знать миллионы моих сограждан.

«Документ»,— значит, все, что я говорю здесь и делаю, приобретает силу документа и придает моим действиям законный и официальный характер.

«Государственной»,— стало быть, я в данном случае выражаю не свою собственную волю, а руководствуюсь интересами государства. Это налагает на меня особую ответственность, но в то же время освобождает от всякой личной ответственности, так как государство, поручившее мне осуществление «секретного дела», берет всю ответственность на себя.

«Важности»,— следовательно, все, что изложено в этом документе, является важным, продиктовано высшей целесообразностью, оправдывающей любые средства, к которым я прибегну для осуществления возложенной на меня задачи.

Между тем речь на конференции шла всего-навсего о том, чтобы собрать со всей оккупированной нацистами Европы, а также из тех стран, которые будут оккупированы в дальнейшем, 11 миллионов человек, свезти их в лагеря уничтожения, а их имущество конфисковать и обратить в доход третьей империи. Это была известная нацистская программа, открыто, хотя и в общей форме, изложенная в книге Гитлера «Майн кампф» и с предельной краткостью выраженная в лозунге, нацарапанном на стенах каждой общественной уборной: «Jude, verrecke!» — «Сдохни, еврей!» Конференция «Ванзее» должна была лишь конкретизировать эту про-

грамму, установить порядок и сроки ее осуществления и уточнить контингент лиц, подпадающих под ее действие.

Так было определено, что Германия «даст» 131 800 евреев, польское «генерал-губернаторство» — 2 284 000, СССР — 5 000 000, Англия — 330 000, Венгрия — 742 800, Италия, включая Сардинию,— 58 000 и т. д., всего свыше 11 миллионов.

Возник вопрос: как поступить с полуевреями и с теми, кто является евреем только на четверть, с так называемыми «лицами смешанного происхождения первой и второй степени»? На этот счет имелись комментарии к нюрнбергским законам о чистоте расы, составленные господином Глобке.

Г-н Глобке разъяснил, что «лица смешанного происхождения первой степени приравниваются к евреям», а «лица смешанного происхождения второй степени в принципе приравниваются к лицам немецкой крови, за исключением следующих случаев, когда лица смешанного происхождения второй степени приравниваются к евреям:

а) лицо смешанного происхождения второй степени само происходит от смешанного брака (оба супруга являются лицами смешанного происхождения);

б) особенно неблагоприятно с расовой точки зрения внешность лица смешанного происхождения второй степени, которая (внешность) делает его похожим на еврея;

в) особенно плохая полицейская и политическая характеристика лица смешанного происхождения второй степени, по которой видно, что оно чувствует себя евреем и ведет себя как таковой».

Постановили: полуевреев «эвакуировать», а евреев на четверть пока не трогать. Что касается полуевреев, которые женаты на немках, то приравнять их к «лицам смешанного происхождения второй степени», но предварительно «подвергнуть стерилизации с тем, чтобы не допустить потомства, и с целью окончательного урегулирования проблемы лиц смешанного происхождения».

В «секретном документе государственной важности», выработанном на Гроссер-Ванзее, некоторые понятия слегка зашифрованы. Убийство названо «окончательным решением», массовый угон — «эвакуацией», лагеря смерти — «транзитными гетто для престарелых». Это произошло не от застенчивости авторов протокола и не из соображений секретности. Лицемерие — испытаннейшее орудие фашистов — заставляло их лгать даже в документах, составленных для «внутреннего употребления», называть вещи не своими именами. Кроме того, в рамки бюрократической лексики удобнее укладывались такие термины, как «окончательное решение» или «транзитное гетто», чем чересчур эмоционально окрашенные «убийство» и «лагерь смерти».

Торквемада и Чезаре Борджа могли бы только поучиться у Эйхмана, у Глобке, у Гейдриха! Пять веков назад в дело истребления людей привносилось слишком много театрального пафоса, средневековых эффектов. Фашизм впервые доказал, что хорошо

поставленная бухгалтерия, бюрократическая дотошность являются залогом успешного «тотального» уничтожения целых народов. Он доказал также, что помимо романтики кинжала и яда существует еще романтика секретного совещания, «документа государственной важности», романтика напечатанного на пишущей машинке циркуляра.

Тогда, на конференции «Ванзее», Эйхман окончательно определил круг своих обязанностей.

На процессе в Иерусалиме он по этому поводу пояснил:

— В тот момент, когда был подписан протокол, я испытал удовлетворение Понтия Пилата и почувствовал себя свободным от всякой ответственности. На конференции «Ванзее» слово имели виднейшие авторитеты тогдашнего рейха, сановники приказывали — мне оставалось умыть руки.

Эйхман забыл добавить: в крови...

Как они утомительно похожи друг на друга — «сановники», «теоретики» и «бухгалтеры» фашизма! Я вновь перечитал последние слова «сановников», произнесенные на Нюрнбергском процессе. Вот что они говорили:

Геринг: «Я никогда... не отдавал в отношении кого-либо приказа об убийстве, а также не отдавал приказов о жестокостях... Я не хотел войны и не способствовал ее развязыванию».

Штрейхер: «Обвинение в массовых убийствах я... отклоняю, как их отклоняет каждый честный немец... Будучи гаулейтером и политическим писателем, я не совершал никаких преступлений и поэтому с чистой совестью...»

Заукель: «Я не принимал участия в каком-либо заговоре против мира и человечности и никогда не терпел никаких убийств... В моем гау я завоевал доверие рабочих, крестьян и ремесленников...»

Функ: «Я всегда уважал чужую собственность, всегда думал о том, чтобы оказать людям помощь в их нужде, поскольку я имел возможность внести в их существование радость и счастье...»

И Эйхман в Иерусалиме:

— Я лично никого не убивал, самый вид человеческой крови вызывал во мне отвращение...

Потом Эйхман сказал:

— Я не был биологическим антисемитом. Среди моих родственников есть такие, которые женились или выходили замуж за евреев.

Этот «непринципиальный вопрос» имеет все же некоторое значение. Фашистский чиновник типа Эйхмана вполне мог истребить миллионы евреев, даже не будучи биологическим антисемитом. Один из психологов утверждает, что если бы «врагами Германии» были вдруг объявлены все рыжеволосые или все граждане, фамилия которых начинается на букву «К», то Эйхман уничтожал бы их с тем же усердием, с которым он осуществлял ликвидацию евреев. Зловещая особенность эйхманов состоит, помимо всего прочего, в том, что они умели легко и ловко подгонять свои эмоции —

антипатии, негодование, гнев или сочувствие — под любой приказ фюрера. Останови Гитлер свой выбор действительно на рыжеволосых, весь нацистский аппарат немедленно обслужил бы это «мероприятие». «Теоретики» сочинили бы труд, в котором, ссылаясь на исторические примеры, доказали особую опасность рыжеволосых для цивилизации, о мистике рыжего цвета. Кинодеятели создали бы цветные фильмы, где в качестве отрицательного персонажа — убийцы, мошенника или растлителя — выступал бы человек с рыжими волосами. Имперские поэты написали бы соответствующие стихи.

Эйхман же составил бы картотеку, произвел поголовный учет «подлежащих изъятию», подготовил бы эшелоны. Среди рыжеволосых началось бы смятение. Одни бы впали в отчаяние, другие пытались бы сопротивляться, третьи стали бы перекрашиваться, что едва ли бы им помогло, поскольку эйхманы хорошо знают малейшие приметы своих «подопечных» и от эйхманов трудно скрыться. А потом — в поездах смертников повезли бы в лагеря уничтожения рыжих: профессоров и рабочих, ремесленников и торговцев, атеистов и священников, стариков, детей, женщин, рыжих всех возрастов, рыжих добрых и злых, отважных и робких, веселых и грустных, только за то, что они имели несчастье родиться рыжими.

Кто поверит в такую ситуацию? Она кажется совершенно неправдоподобной. Но разве не менее неправдоподобным, нелепым и бессмысленным является истребление шести миллионов человек, уроженцев разных стран, говорящих на разных языках, воспитанных различными культурами, людей разных социальных слоев и убеждений, объединенных единственным признаком — национальным происхождением?

Однако все это было: сочинения «теоретиков», кинофильмы, стихи имперских поэтов, картотека Эйхмана, эшелоны. Было уничтожение цыган, истребление поляков, «окончательное решение еврейского вопроса...». До рыжеволосых дело не дошло, но руководители «третьей империи», как об этом сообщает в своих записях Гарольд Рейтлингер, всерьез подумывали о последующем выселении за пределы Германии немцев-брюнетов.

Такова природа фашизма: он не может существовать без того, чтобы не убивать, не травить, не мучить. Если бы не было евреев, их пришлось бы выдумать. Если бы все враги национал-социализма были побеждены, он стал бы искать врагов внутри себя потому, что там, где враги, там кровь и казни.

На процессе Эйхмана оглашено показание Теодора Хорста Грелля, бывшего эксперта германской миссии в Будапеште. Однажды Эйхман сказал ему: «Чем больше врагов, тем больше чести».

Безотчетная ненависть, сладострастная жажда истребления были той силой, которая вовлекла в фашистскую партию людей с извращенной психикой, неврастеников, хулиганов, озлобленных неудачников.

Говорят: Эйхман — порождение «системы». Это верно в той степени, в какой сама «система» является кровным детищем эйхманов. Только отъявленные негодяи и проходимцы могли быть опорой гитлеровской «системы», проводниками ее политики и «морали». Нельзя стать сотрудником гестапо в результате наивности или заблуждения: мало одной «слепоты» для того, чтобы отправить в газовую камеру ребенка. Неужели г-н Глобке тоже всего-навсего «продукт»? Или, напротив, расовые законы, толкования о «лицах смешанного происхождения второй степени» являются «продуктом» деятельности и убеждений господина Глобке?

Не оттого нас тревожат сегодня Глобке, Хойзингер, Ферч, Оберлендер, что их мировоззрение порождено и отравлено фашизмом, а оттого, что, будучи фашистами по духу, по нравственному складу, по «методам работы», они сами порождают чудовище западногерманского реваншизма, определяют нынешний моральный и политический облик западногерманского государства.

Недавно канцлер Аденауэр призвал своих подданных прекратить старый спор о «хороших и плохих немцах». Все они теперь стали хорошими — и Глобке, и Ферч, и Рихард Бер со своим щеглом, и Эйхман с кроликом в Аргентине.

Вспомним: «Я был хорошим немцем, я остаюсь хорошим немцем, и я всегда буду хорошим немцем».

Избавленный от необходимости выполнять служебные обязанности в гестапо, Эйхман превратился в мирного гражданина: занимался садоводством, разводил кроликов, много читал. На полях прочитанных им книг он иногда делал пометки, некоторые его афоризмы вполне могли бы войти в любую хрестоматию для западногерманских гимназистов, которых воспитывают в духе религии, в идеализме и в неприятии «безбожных» учений: «Я предостерегаю моих детей от материализма коммунистического мировоззрения... Ленинско-марксистская доктрина учит материализму. Он холоден и безжизнен. В отличие от него, вера в бога сердечна, естественна и бессмертна».

Это писал в 1960 году в Аргентине «хороший немец» Рикардо Клемент, служащий фирмы «Мерседес-Бенц».

А через несколько страниц, встретив место, пришедшееся ему не по вкусу, он обрушился на автора: «Автор этой книги глуп, как задница! Больдт фамилия этой скотины! С автора с живого следовало бы содрать шкуру за его низость. Из-за таких сволочей проиграна война!»

Это в том же 1960 году писал в Аргентине «хороший немец» Адольф Эйхман, начальник отдела гестапо, «бухгалтер смерти»...

II

«Дело Эйхмана» и процесс Эйхмана — понятия различные.

Процесс прост, «дело» гораздо сложнее. Процесс закончится приговором, «делу» пока что не видно конца. Процесс — судебное разбирательство, «дело» — комплекс проблем, в нем собраны грязь

и кровь всего мира. Сколько еще таких, кто служит тому самому «делу», которому служил Эйхман? Где они?

Процесс — сенсация. Было во всей атмосфере процесса нечто такое, что взвинчивает нервы, горячит воображение: стеклянная клетка, семисвечие, черная мантия Серватиуса. И этот преступник, доставленный в зал суда таким необычным путем...

Сенсация порой вытесняет суть «дела». В чем, собственно, обвинялся Эйхман?

Он занимался не только евреями — «приходилось» сжигать также чехов, поляков, русских. Эйхман не раз подчеркивал «многогранный» характер своей «деятельности», избегал слова «евреи», говорил — «враги Германии». С евреев начали — здесь сыграла известную роль «традиция». К тому, что преследуют евреев, многие привыкли, подходящими казались любые аргументы: «Евреи все коммунисты, они хотят отнять частную собственность», «Евреи — прислужники мировой плутократии, они против рабочих».

Евреи — объект тренировки: фашизм натаскивал будущих покорителей мира, приучал к запаху крови. Тот, кто в тридцать восьмом году, у себя в Брауншвейге, ограбил еврейскую лавку, был готов к тому, чтобы в сороковом разграбить Париж, а в сорок первом полезть за «жизненным пространством» в Россию.

Били евреев — испытывали «сопротивляемость» человеческого материала, определяли «пропускную способность» душегубок и газовых камер.

Когда Гитлер задумал истребить русскую нацию, то в разработке «генерального плана Ост» опирались на «опыт», накопленный «в ходе разрешения еврейской проблемы».

Истреблению наций всегда предшествует их унижение. Истребитель должен быть убежден в своем интеллектуальном и нравственном превосходстве над истребляемым. Расовое высокомерие, брезгливое презрение к жертве — вернейшая гарантия от естественного чувства сострадания, от присущего каждому нормальному человеку отвращения к жестокости и зверствам...

У немецкого поэта Кубы есть стихи: «Склонитесь все перед страданьем Польши».

Страдания начались с того, что оккупанты закрыли средние и высшие школы, взорвали памятник Копернику и запретили полякам исполнять и слушать Шопена. Фашисты ввели для Польши голодный рацион, зато почти бесплатно раздавали населению сивуху. После этого они говорили: с поляками нечего церемониться — сами видите, это полуграмотный, дикий и пьяный народ.

Немецкие патрули заглядывали в пивнушки, подходили к посетителям: «А ну, марш отсюда!..» Их расстреливали тут же, на улице.

«Генеральный план Ост», который предусматривал тотальное уничтожение миллионов русских, также требовал особой обработки будущих исполнителей этого плана.

Существовал дьявольский замысел: поставить русских людей

в такие условия, чтобы оправдать по отношению к ним любые жестокости.

В деревнях разоряли хозяйства, отбирали у колхозников скот, запасы хлеба, потом шли мимо пустых, вымерших изб, пожимали плечами: «Какая унылая страна! То ли дело у нас, в Тюрингии...»

Входили в города, грабили, издавали приказы, которые парализовали всякое подобие жизни, и в геббельсовских газетах писали: «Русские вырождаются. Мы присутствуем при процессе полной деградации славянства».

Осенью сорок первого года, когда взяты были Украина и Белоруссия, когда к Москве и Ленинграду прорвались фашистские армии, в Берлине выпустили брошюру — сборник «фронтовых» писем: «Советский Союз глазами немецких солдат». Есть основания предполагать, что эти письма были изготовлены Вольфгангом Диверге из министерства пропаганды, однако в данном случае нас мало интересует, кто их подлинный автор. Важно другое: фашистские бесчинства, зверский оккупационный режим, массовые казни русских людей получали в этих письмах психологическое обоснование.

Кто дал немцам право хозяйничать в России, насаждать в ней свои порядки, повелевать русскими? Почему Россия должна стать объектом немецкой оккупации?

На это отвечал «старший ефрейтор» Герберт Небенштрейт, обращаясь к «любимой матушке» со словами «немецкого привета»:

«Только в Польше я видел подобное запустение... у русских нет разума».

Другой «старший ефрейтор» — Генрих Зоммер — сообщал: «Россия — страна, лишенная какой бы то ни было культуры и морали... Малейшие культурные запросы отсутствуют начисто».

«Рядовой» Август Ваппротер писал о немецком превосходстве:

«Мы всегда знали, как прекрасна наша немецкая родина, но здесь, в Советской России, мы поняли, что Германия поистине рай».

И вывод:

«Пусть чистый меч нашего фюрера обрушится на головы этих грязных чудовищ!..»

Вот с каким «нравственным багажом» вторглись на советскую землю гитлеровские захватчики. Этот «багаж», который уместился в небольшой брошюре, обладал зловещей, развращающей силой. Чувство расового превосходства, желание унизить и оскорбить «неполноценный» русский народ быстро перерастали в садистскую потребность мучить, убивать, изничтожать «поголовно» десятки миллионов русских людей.

Такова внутренняя логика тщательно продуманного, организованного сверху расового «безумия», основные его этапы: оскорбление нации — введение для нее ограничительных норм — массовое истребление.

«Генеральный план Ост» опирался именно на эти этапы. Теоретически обосновав «отсутствие у большинства русских призна-

ков нордической расы», авторы плана — в качестве переходного этапа — предусмотрели целую серию ограничений. Русским запрещалось учиться в средних и высших школах, получать медицинскую помощь, пользоваться детскими садами, «ограничивалось» самое право русских людей на жизнь, и в одном из приложений к плану было сказано:

«Мы должны сознательно проводить линию на сокращение населения».

Тем временем «практики» должны были установить очередность массовых убийств, произвести «селекцию» и подготовить «широкую сеть» зауральских лагерей смерти...

Можно представить себе честолюбивые мечты Эйхмана: с евреями покончено, с поляками и чехами тоже, отдел IV-Б-4 реорганизуется в «русское управление». Кому, как не Эйхману, с его опытом и служебным рвением, поручат возглавлять новую «канцелярию»? И вот он едет в Смоленск, в Москву, в Ленинград, и в его картотеке числятся уже не сотни тысяч, не миллионы, а десятки и сотни миллионов людей, и на огромном, бескрайнем пространстве России дымят, дымят крематории...

Давно уже перечеркнут штыками Советской Армии «генеральный план Ост», и Эйхман под стеклянным колпаком всего лишь чучело, и все же варианты плана (правда, в несколько измененном виде) по-прежнему существуют, во всяком случае известны нынешние «идеологические» и «литературные» проявления этого плана.

В 1961 году в Западной Германии на экранах телевизоров замелькали кадры телепостановки по роману Йозефа Мартина Бауэра «Покуда несут ноги».

Главное действующее лицо романа — фашистский обер-лейтенант со странной рыбьей фамилией Форелль. «Ноги» занесли Форелля из Германии в Советскую Россию, куда он пришел в качестве оккупанта, а затем в исправительно-трудовой лагерь: Форелля «ни за что ни про что» приговорили к двадцати пяти годам заключения.

Роман повествует о том, как Форелль на своих арийских ногах бежит из лагеря через всю Россию в Иран, а оттуда в ФРГ, на родину. Читаешь этот роман, живо вспоминаются «письма с фронта», изготовленные в сорок первом году: Форелль — не кто иной, как нацистский «сверхчеловек», представитель «арийской культуры», попавший в окружение отсталых, примитивных и апатичных «азиатов». Все подчиняются его стальной «германской» воле — природа и люди, русские туземцы с обожанием смотрят на современного нибелунга: он кажется им «мессией», освободителем от «большевистского рабства». В этом, между прочим, состоит отличие романа Бауэра от «фронтовых писем» Диверге: понятия «покоритель», «завоеватель» заменены более деликатным термином — «освободитель», идея же осталась прежней, захватнической.

Откуда такое духовное родство? Кто он такой, этот обер-лейтенант Форелль? И кто такой Бауэр?

И мы вспоминаем. 1943 год. Мюнхен. В центральном издательстве нацистской партии выходит в свет книга «Под знаком «Эдельвейс» на Украине».

«...Не зная отдыха, сражается отважный, закаленный в боях, честный германский солдат против этих ползучих животных, в чьих узких звериных глазах лишь тогда вспыхивает подобие отблеска, когда меткая пуля, точно рассчитанный выстрел достигает намеченной цели...

Так выглядит наш противник. Мы ведем честную немецкую битву против звериного бездушия этих узкоглазых азиатов...»

«Это не люди, это чудовищные звери, которых нужно убивать девятикратно, потому что они живучи и после каждого раза, подобно издыхающей кошке, корчась в судорогах, пытаются вновь подняться, до тех пор, пока не свалятся, хрипя в последней агонии».

«Уничтожение может быть не менее прекрасным, чем самое гордое созидание. Уничтожение является даже более величественным, более впечатляющим...»

Все это тогда, в 1943 году, писал автор романа «Покуда несут ноги» — почитаемый в Западной Германии «христианский» литератор г-н Иозеф Мартин Бауэр.

И еще одна книга, вышедшая в Западной Германии в наши дни,— роман Х. Б. Конзалика, изданный тиражом в сто тысяч экземпляров и при помощи кино и телевидения ставший достоянием миллионов «западных» немцев. Герой этого романа — нацистский военный врач Зельнов, духовный брат бауэровского Форелля. Он тоже сверхчеловек и тоже действует в советском лагере. Но если Форелль «берет» интеллектом, то Зельнов предпочитает опираться на свою «мужскую, немецкую силу». Есть в романе сцена, в которой Зельнов расправляется с советским комиссаром по фамилии Кувакино:

«Зельнов обрушился на Кувакино и ударил его кулаком по лицу... Визжа, маленький азиат рухнул на землю. Тогда Зельнов стал топтать его ногами, словно хотел вдавить тело Кувакино в лед. Он закрыл глаза и топтал... топтал...» Нельзя отказать г-ну Конзалику в известной реалистичности. «Избиение» описано со знанием дела. Именно так расправлялись с пленными комиссарами в фашистских лагерях смерти.

Об одном только забыли господа Конзалик и Бауэр: о великом возмездии, которое обрушилось на гитлеровскую Германию, о страшной цене, которой оплатили миллионы немцев бредовые планы и замыслы своих повелителей, о том, как мужеством, культурой, добротой и силой могучего русского народа были сокрушены бронированные дивизии «расы господ».

Вдумаемся в прочитанные нами цитаты, в отголоски нынешнего «генерального плана Ост», представим себе, что было бы с нами, со всеми людьми на земле, если бы на страже мира не стояла наша мощь, наша воля, наши ракеты. Слепые в своем высокомерии, охмелевшие от чванства, ничего не понявшие и не научив-

шиеся ничему, форелли, зельновы, конзалики, бауэры ринулись бы в новый безумный поход, чтобы покорить, удушить, заставить изойти зеленой рвотой в газовых камерах все человечество.

Вот «дело», которому служил Эйхман...

...Процесс — вереница эпизодов. 23 июня разбирали массовые расстрелы в Польше, 27-го — коснулись судьбы детей из чешской деревни Лидице: Эйхман удушил их газом близ польского города Хелмно. Судья Моше Ландау взвешивает обстоятельства: действительно ли в Хелмно, или Эйхман отправил их в Познань, как утверждает свидетельница г-жа Фрейберг?

А «дело Эйхмана» тем временем идет своим чередом. В Кёльне 350 тысяч человек тоже вспоминают о Лидице. Это «судетские немцы», которых собрал министр Зеебом на ежегодную встречу. Они требуют «права на самоопределение». В их манифесте, принятом в мае 1961 года, «самоопределение» истолковывается так: «Нам нужна родина без чехов и коммунистов».

Пока еще не совсем ясно, как авторы манифеста практически думают осуществить «очищение» Чехословакии от чехов: может быть, детей Лидице снова придется вывозить в Хелмно?

Судей в Иерусалиме не интересуют, однако, ни г-н Зеебом, ни дальнейшая участь жителей Лидице. Председатель суда Ландау и прокурор Гаузнер говорят, что они рассматривают «только личные преступления Эйхмана».

То, что происходило на суде, тоже может быть включено в комплекс, именуемый «делом Эйхмана».

В журнале «Дер шпигель» помещена фотография. Друг против друга сидят два государственных старика: Бен-Гурион, премьер-министр Израиля, и Аденауэр — западногерманский канцлер.

В 1944 году в Будапеште Эйхман предложил Брандту — представителю еврейской общины — обменять миллион евреев на десять тысяч грузовиков и несколько тонн хозяйственного мыла.

В 1951 году в Австрии эсэсовец Климрод предложил добровольцам, занятым поисками Эйхмана, продать Эйхмана «евреям» за пять миллионов долларов.

В 1961 году «государственные старики» договорились о главном: Израиль при разборе «дела Эйхмана» обязуется не затрагивать интересов ФРГ.

Журнал «Дер шпигель» приводит слова Бен-Гуриона:

«Речь идет не о том, чтобы наказать Эйхмана. Для него нет наказания. Странно, что некоторые усматривают в этом процессе мотивы мести... Я принципиально возражаю против смертной казни».

В «деле Эйхмана», в котором грязи не меньше, чем крови, такая торговля вполне допустима. Три месяца суда вызвали в мире тревогу и разочарование. Ждали разоблачений, ежился в Бонне г-н Глобке, опасался неприятных последствий «главнокомандующий» Ферч. Каждый понимал, что такой процесс не может ограничиться одними эмоциями. Эйхман был не один — вскроются

связи, опять начнут ворошить: и ты сжигал, и ты, оказывается, душил газом, и ты...

В Иерусалим на процесс стекались свидетели. Их осталось немного, гораздо меньше, чем палачей, которые их мучили. Они везли с собой не только воспоминания — была еще неутоленная потребность в справедливости. Прошло шестнадцать лет — все ли выводы сделаны, нет ли новых очагов смерти? Или выпустили их в сорок пятом году из лагерей, вымыли в бане — идите теперь по домам, ждите, пока за вами не придут снова...

Начался суд. Напряженно вслушивались свидетели, публика, мир в перечень имен, упоминаемых прокурором: Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс и — Эйхман. «Мертвые души».

На процессе Эйхмана прошлое переплелось с настоящим, многое вызывало ассоциации. Свидетель Бакан говорил о том, как жили в лагерях: «Смерть стала нашим образом жизни». И на Иерусалимском процессе смерть — основное содержание. Все «действующие лица» умерли — те, кто убивал, и те, кого убивали. И подсудимый в своем стеклянном гробу-клетке похож на мертвеца.

Обнаружились мемуары Эйхмана — 716 страниц с приложением длинного списка сообщников — от Гитлера до Глобке, от Гиммлера до предателей-сионистов. Трудно сказать, для чего Эйхман составлял этот список,— может быть, скучая в Аргентине, он выписывал дорогие сердцу имена? Израильский суд принял к рассмотрению всего 83 страницы, остальные 633 отверг вместе со списком.

Журнал «Гаолам Газе» пояснил:

«Понятно, что разоблачение этих преступников на процессе Эйхмана могло бы испортить отношения между Израилем и Западной Германией, а может быть, между Израилем и США, так как это повредило бы престижу НАТО и затруднило вопрос о вооружении Западной Германии».

Бен-Гурион сдержал слово — нашел «взаимоприемлемый путь». Политика!

Эйхман, занимаясь «еврейским вопросом», тоже считал себя политиком, он заявил суду:

— Я искал решения, которое бы устроило как евреев, так и немцев.

В нудных его показаниях все же проскальзывают иногда разоблачительные факты — он вкладывал их без «злого умысла», вопреки линии суда, то ли из-за своей бюрократической дотошности, то ли случайно. Так он выдал Глобке — рассказал про его функции в министерстве внутренних дел и о том, что Глобке «расширил полномочия» подведомственного Эйхману отдела; назвал среди участников ликвидации бельгийских евреев Вернера фон Баргена, нынешнего посла ФРГ в Ираке; вспомнил Курта Бехера, Крумея, ныне здравствующих.

Суду все равно — он занимался «только Эйхманом» и теми, кого уже нет.

«Если процесс кончится тем, что вся ответственность будет возложена на одного Эйхмана, то он принесет больше вреда, чем пользы...» — сказал парижский профессор Жан Гелевич...

...Рассказывал свидетель из лагеря Собибур:

— Один эсэсовец дал своей собаке кличку — Mensch — Человек, нас же называл собаками. Он говорил псу: «А ну-ка, Человек, перегрызи этим собакам глотку!»

Пес, возведенный в сан человека, кидался на людей, которым жилось тогда хуже собак.

Вот элементарная демагогия фашизма: убедить пса в том, что он человек, и натравить на тех, кого лишили даже самого права называться людьми.

12 мая 1961 года газета «Дейче зольдатенцейтунг» поместила статью «Нет! — Альберту Эйнштейну». Там напечатано:

«Мы решительно выступаем против Альберта Эйнштейна — человека, действия которого, говоря словами федерального канцлера, были бесчестными, человека, который... предал свое отечество, свое немецкое происхождение, который совершал самые бесчеловечные поступки...»

В 1961 году западногерманские расисты вновь лишают великого Эйнштейна звания человека и гражданина Германии, и в том же номере газеты они пространно пишут о «человеке» Эйхмане, который, разумеется, заблуждался, однако...

Псы, как видим, недурно устроились. У них есть сила, власть, своя пресса, «лучшая в мире» демократия и «лучшие в мире» автомобили, они нагло кичатся своим благосостоянием, благополучием. Одним лишь они недовольны: что-то слишком долго их не спускают с цепи. Когда же наконец?..

Впрочем, иногда они говорят о мире и даже ловят военных преступников.

Однажды вечером в Западной Германии арестовали эсэсовского генерала.

Это был Эрих фон дем Бах-Зелевски, подручный Гиммлера, основатель Освенцима, палач Варшавы и первый кандидат на должность начальника полиции безопасности города Москвы. После войны он хвалился, что оказал «услугу» приговоренному к смерти Герингу: сунул ему в куске мыла ампулу с цианистым калием. Во всяком случае, так фон дем Бах рассказывал американским журналистам.

Много лет он жил на свободе, не таился, не менял фамилии. В исторических архивах, доступных каждому, хранились документы: переписка фон дем Баха с Эйхманом относительно депортаций в Польше, рапорт главного врача СС доктора Гравица о состоянии здоровья фон дем Баха в бытность его «высшим командиром СС на центральном участке восточного фронта». Доктор Гравиц докладывал Гиммлеру, что фон дем Бах-Зелевски «особенно тяжело страдает от призраков, в связи с производимыми под его руководством расстрелами евреев и в связи с другими... пережива-

ниями на востоке». Несколько папок содержало показания свидетелей о том, как фон дем Бах взорвал и уничтожил Варшаву.

Все это давно уже перестало кого-либо интересовать в Западной Германии, есть там люди и не с такими «заслугами», тем не менее однажды вечером на фон дем Баха надели наручники, привели к прокурору и предложили рассказать «всю правду».

Фон дем Бах начал с основания Освенцима, потом заговорил об Эйхмане, о расстрелах...

Его перебили.

— Мы ждем от вас показаний по существу, господин фон дем Бах-Зелевски! — строго сказал прокурор.— Пустяками вам не отделаться! Где вы были в июле тридцать четвертого года, во время так называемого «путча Рема»?

В июле 1934 года фон дем Бах вместе с двумя эсэсовцами прибыл в имение к графу Антону фон Хохберг-Бухвальду, старому члену нацистской партии. Графа они тогда пристрелили — Гитлер обновил «боевые ряды».

С тех пор прошло двадцать шесть лет. Как могли узнать, догадаться?

Фон дем Бах понял, что погиб. Все могут простить — Освенцим, «центральный участок восточного фронта», Варшаву. Но графа ему не простят никогда.

Пришлось давать показания «по существу».

Фон дем Баха приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Нынешней весной о нем вспомнили: израильский суд пригласил его на процесс Эйхмана, свидетелем защиты...

В 1945 году выплыла из гестаповских архивов фамилия «Эйхман». Кто-то вспомнил: он отвечал за «еврейский вопрос». Потом, на Нюрнбергском процессе, об Эйхмане подробно рассказал Вислицени. Стали искать — след его петлял по Западной Австрии, исчез где-то в Германии, затем вновь возник и вновь потерялся, думали, что уже окончательно...

На суде Эйхман говорил о том, как он в 1945 году решил покончить с собой.

— Вы должны понять мое настроение в то время. Рейх, которому я верил, рушился...

Недальновидный чиновник, он искренне полагал, что «все кончено» и что «дело» навсегда провалилось. Те, кто был прозорливей, удержали его от рокового поступка.

Пятнадцатилетняя история розысков Эйхмана — это печальная история поощрения нацистов, история предательства по отношению к живым и мертвым.

Словно в каком-то дьявольском ревю странствовал по континентам «бухгалтер смерти», поддерживаемый незримыми и грозными силами всемирной реакции.

Гаулейтеры в роли мирных коммерсантов, гестаповские следователи в мантиях профессоров юриспруденции западногерманских

университетов, лагерные офицеры на посту начальников полицейских участков, шлюхи из гитлеровского «Фрауенбевегунг» — «женского движения» — в качестве сотрудниц американских штабов — вот то «население», среди которого поначалу «затерялся» разыскиваемый разведками преступник. Его прятали австрийские и немецкие фашисты, переправляла через государственные границы подпольная организация эсэсовцев, он находил убежища в монастыре урсулинок и в обители капуцинов, и его дорога из Европы в Америку шла через Ватикан.

Прошлым летом, когда Эйхмана наконец поймали, в Риме для обсуждения текущих событий встретились отец Борман и отец Даллес. Эти отцы — дети. Преподобный отец Мартин Борман — сын Мартина Бормана, заместителя Гитлера по партии, преподобный отец Эвери Даллес — сын покойного Джона Фостера Даллеса, государственного секретаря США. Борман и Даллес замешаны в «деле Эйхмана». Ватикан превратил «безбожного» Карла Адольфа Эйхмана в католика Рикардо Франциска Клемента.

Антикоммунизм и «холодная война» объединили вчерашних противников. В зале Нюрнбергского суда Геринг напыщенно сказал американскому конвойному офицеру:

— Вы еще положите в мраморные гробы наши останки...

В воспоминаниях одного из участников охоты на Эйхмана содержатся горестные свидетельства. Он пишет о том, как в конце сороковых — начале пятидесятых годов Эйхман увильнул от своих преследователей в Австрии. (Это был разгар «холодной войны», и нацисты обзавелись тогда новым «секретным» оружием.) «Это секретное оружие,— сказано в воспоминаниях,— носило политический характер: нацисты объявляли своих преследователей коммунистами... Во многих австрийских городах нацистское подпольное движение имело своих агентов, которые обезвреживали противников нацизма, выдавая их американцам как коммунистов. Это секретное оружие осталось у нацистов и после ухода оккупационных войск. Тот, кто против нацистов, тот коммунист! Еще и сегодня всевозможные варианты этой мысли можно встретить в дружественной нацистам печати».

Перед тем как выступить с обвинительной речью, генеральный прокурор Израиля Гидеон Гауснер посетил иерусалимский «Музей истребления». Он провел там в полном одиночестве восемь часов, рассматривал страшные экспонаты. Уходя, Гауснер оставил в книге отзывов следующую запись:

«Именем этих убитых я призову к суду человека, который должен ответить за все, что я здесь увидел...»

«Именем убитых» — беспощадная формула, она исключает компромиссы. Перешагнув грань бытия, выйдя за пределы «земных» условий и условностей, мертвые завещают живым особый долг, который не терпит ни полумер, ни уверток.

Большинство из шести миллионов убитых, от имени которых

выступил на суде Гаузнер, никогда не знали Эйхмана и даже не слышали о его существовании. Изнывая в лагерных бараках, в каменоломнях, в гетто, умирая на цементном полу газовых камер, они посылали проклятия своим палачам. Они говорили: будь проклят комендант лагеря и его помощник, будь проклят лагерный врач, солдаты охраны, староста блока, надзиратели, капо — все они, вместе взятые, и каждый в отдельности! Будь прокляты их друзья, которые с ними пили вино, бабы, которые с ними спали! Будь проклят их Гитлер, их Гиммлер, их генералы, их министры, их судьи, все их государство, будь проклято во веки веков! И, говоря так, они проклинали фашизм и проклинали тем самым никому не ведомого тогда Эйхмана.

Но что бы сказали убитые, если бы они вдруг узнали, что пятнадцатилетние поиски, дерзкое похищение Эйхмана, кропотливое следствие, экскурсия прокурора в «Музей истребления», стеклянная клетка,— что все это потребовалось только для того, чтобы из огромного аппарата служителей смерти осудить одного лишь «главбуха», не потревожив при этом живущих и поныне действующих идеологов, политиков, генералов смерти, ее промышленников и финансистов?

...Мне хотелось бы закончить разговор о «деле Эйхмана» вот чем.

В годы, когда фашистский кошмар был реальностью, когда понурые колонны смертников шли — через всю Европу — в крематории и газовые камеры, находилось немало людей, которые помогали обреченным, выражали им свою солидарность, рискуя жизнью, прятали их на чердаках и в подвалах своих домов. В Амстердаме многие голландцы добровольно переселялись в гетто, чтобы разделить горе и смерть со своими соотечественниками-евреями. Даже сам датский король, говорят, носил в знак протеста на рукаве повязку с желтой звездой.

Но была еще и высшая солидарность, наиболее активная и действенная помощь жертвам Эйхмана. Движимые этой высшей солидарностью, благороднейшим чувством интернационального братства, шли от берегов Волги на запад, на выручку всем, кто томится в лагерях смерти, в гетто, в гестаповских тюрьмах, шли, истекая кровью, солдаты Советской Армии, дети всех народов, населяющих Советский Союз. Они выбили топор из рук палачей и спасли тех, кто уже перестал надеяться на спасение.

Мы не должны этого забывать, мы, которые сами были участниками великого освободительного похода. Есть долг перед павшими, перед живыми и перед самим собой — оберегать плоды своей победы, не дать осквернить все то, что было отвоевано и спасено ценой крови, ценой пепла...

ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

В многоголосицу жизни вплетен шепот мертвых: шорох дневников, шелест последних писем. Через семнадцать лет после войны мертвые все чаще напоминают о себе; в разных странах у самых разных людей возникает потребность вновь и вновь обращаться к завещаниям павших. Неспокойный мир нуждается в предостережении.

Мы адресаты: торопливое, в ночь перед атакой, письмо с фронта, надпись на стене камеры, последний крик на краю могильного рва обращены к нам, к живущим...

В Мюнхене вышла книга «Голос человека»: письма, заметки, стихи, дневниковые записи людей, погибших во второй мировой войне. Двести два автора — граждане тридцати стран, солдаты враждующих армий, жертвы бомбардировок, узники тюрем и концентрационных лагерей, осужденные на смерть, и самоубийцы, убитые в первых боях и умершие от ранений и контузий уже после войны, люди с громкими именами и рядовые, безвестные участники событий: немцы, русские, англичане, китайцы, французы, поляки, американцы, японцы, евреи, индийцы, чехи, финны, датчане — род человеческий...

В сборнике двести два автора составляют как бы единое целое. Это — «дитя человеческое», вобравшее в себя боль, страдания и надежды всех наций. В единый «голос человека» сливаются голоса миллионов.

В осажденном Севастополе пишет свой фронтовой дневник Евгений Петров. Смерть обрывает фразу...

Горит над Средиземным морем самолет Антуана Сент-Экзюпери...

В Афинах, в немецкой тюрьме, ведут на казнь греческого патриота Элефтериоса Киоссиса: «Привет тебе, Греция, мать героев!»

Род человеческий.

В голосе человека — твердость и вера.

«То, что произошло, ничуть не лишило меня радости, она живет во мне и ежедневно проявляется каким-нибудь мотивом Бетховена. Человек не становится меньше оттого, что ему отрубают голову». Юлиус Фучик из тюрьмы в Берлине.

«Социализм, во имя которого я умираю, придет... Будь и ты борцом, люби справедливость». Иван Владков, Болгария, письмо сыну.

Голос человека — слабый стон, крик о помощи:

«Восемь дней я в оковах. Одиночная камера... Мучат проклятые цепи. О господи боже, за что ты покинул меня? Мои дорогие сестренки, Мина, Мими, помните бедную Лоранс, она вас любила... Неизвестная француженка, тюрьма, 1942 год.

У человека — острое зрение, «зрячая совесть».

Английского солдата Алана Луиса в сорок третьем — сорок четвертом годах послали служить в Индию. Он сравнивал величие Востока с «маленьким, замкнутым и суетливым западным миром»,

приглядывался к населению, слушал разговоры бенгальских крестьян: «В народе затаено глубокое чувство вражды и презрения к ним». Луиса томил стыд. В письме домой он писал: «Я хотел бы приехать сюда учителем, врачом, кем угодно, но только не солдатом. Быть в Индии солдатом — это нехорошо, низко».

Алан Луис видел то, чего не хотели видеть политики, государственные мужи. Он погиб в 1944 году, в Бирме...

Человек слеп.

В лагере смерти Терезиенштадт содержались в особом блоке слепые. Врач Карел Флейшман из Чехословакии — тоже узник — пробирался к ним в блок, рассказывал, как выглядят лица эсэсовцев, сторожевые вышки, крематорий и о том, что творится вокруг. Люди должны видеть правду, какой бы мрачной она ни была.

Существовала, однако, нравственная и политическая слепота, которой страдали миллионы зрячих. Они принимали ложь за истину, истину считали обманом, совершая преступления, верили, что творят добро, и, стоя на краю пропасти, искренне полагали, что находятся на вершине победы.

В последних записях Стефана Цвейга содержится горестное свидетельство о том, как в Англии поначалу восприняли мюнхенский сговор Чемберлена с Гитлером: ликовали в парламенте, ликовали на улицах, ликовала пресса — мир в Европе спасен, спасена честь Англии! В кино, где показывали хронику, «люди вскакивали с мест, кричали, били в ладоши и чуть ли не обнимали друг друга, охваченные чувством нового братства, которое должно отныне восторжествовать на земле», кто-то предложил воздвигнуть Чемберлену памятник. Потом наступило похмелье. «Уже через несколько дней стали известны мрачные подробности того, насколько безоговорочной была капитуляция перед Гитлером, как постыдно предали Чехословакию, которой были торжественно обещаны поддержка и помощь... Великий свет надежды угас».

1 сентября 1939 года люди стояли у радиоприемников — война воспринималась еще умозрительно: разве это обо мне, о моем доме, о моих детях?..

В день объявления войны очутился в Париже канадец Фрэнк Пикерсхилл. Он видел первое затемнение, всеобщий переполох. Тогда он подумал о человеческой беспечности. Неужели мир ничему не научился?

«Младшее поколение европейцев выросло на рассказах об ужасах войны, старшее узнало ее на собственном опыте. Известно, что каждая новая война автоматически и неизбежно оказывается больше и страшней предыдущей. В Эфиопии, в Испании, в Китае современная война показала свое истинное лицо». Все было даром. «Черт бы побрал этот подлый мир!» — восклицает Фрэнк Пикерсхилл, не подозревая того, что в эти же дни в другой европейской столице — в Берлине — теми же мыслями терзается немец Гейнц Кюхлер:

«Все время задаешь себе вопрос об исторической цене этой

войны, которая началась вопреки горькому опыту последнего двадцатипятилетия...»

Пикерсхилл погиб 12 сентября 1944 года в лагере для военнопленных, Кюхлера убили в 1942 году под Вязьмой.

Сейчас, в 1962 году, можно повторить слова Пикерсхилла: «Младшее поколение... выросло на рассказах об ужасах войны, старшее узнало ее на собственном опыте». И что же? Учтен ли сыновьями Пикерсхилла и Кюхлера горький опыт отцов? Незачем перечислять общеизвестные факты. «Каждая новая война автоматически и неизбежно оказывается больше и страшней предыдущей». Мертвые предостерегают!..

В книге «Голос человека» мертвые рассказывают историю своей гибели. Солдатские могилы — весь земной шар: льды, болота, пески, глубь океана. Двести два автора поднялись из могил для посмертной исповеди. Личные трагедии неотделимы от трагедии времени. Что означает холм с деревянным крестом, с фанерным солдатским памятником? Это крайняя точка. К холму ведет незримая тропа — время, история. Война вызревала постепенно — из параграфов Версальского договора, из неурядиц двадцатых годов, безработицы, кризиса, из рукопожатия Шахта и Гитлера, из Антикоминтерновского пакта...

Знал ли итальянец Бруно Карлони, когда слушал радиорокот дуче, провозгласившего войну Абиссинии, что впереди — холм на берегу Волги?.. Эрик Найт из Менстона (США) видел, как сжигают в паровозных топках кофе, выбрасывают в океан апельсины. Есть ли связь между этими апельсинами и американской подводной лодкой, которую в 1943 году торпедировали японцы?.. Гаральд Генри, берлинский доктор философии, зарыт северо-западнее Москвы; где начало его тропы: на Унтер-ден-Линден, на площади перед горящим рейхстагом, в кабинете Тиссена?..

Империализм толкал мир в войну, а людей — в смерть, но многие не умели назвать беду по имени, думали, что над человечеством витает злой дух, с которым бесполезно бороться.

Японский учитель Ироку Ивагая, двадцати одного года, перед отправкой на фронт:

«Я ухожу на войну, не желая войны. Никто не поймет этого ужаса. Но я действительно не испытываю никакой потребности уничтожать человеческие жизни. Меня просто уносит какой-то вихрь».

«Вихрь» унес и музыканта Себастиана Мендельсона-Бартольди, немца с «примесью неарийской крови», потомка известного композитора. Получил повестку, пошел...

В недоумении умер парижанин Макс Жакоб, поэт. Однажды к нему явились чины гестапо: «Кто вы такой?» Макса Жакоба этот вопрос рассмешил, он протянул гестаповцам свою биографию, составленную Губертом Фабюро...

Последнее письмо Жакоба Жану Кокто написано в эшелоне, который шел в Дранси, в лагерь смерти...

Что за напасть! Жили мирные, добрые, умные люди. Какая сила швырнула их в котел войны? Неужели человек бессилен, беспомощен?.. Опыты на живых людях — это не только прививки и замораживания в концентрационных лагерях. Целые народы становятся объектом кровавых экспериментов: их стерилизуют, перемещают с места на место, лишают привычных условий существования.

Человек капитулирует.

В канун казни в Парме итальянский адмирал Иниго Кампиони в отчаянии пишет:

«Человек — венец творения, центр космической действительности, каким его представлял себе Паскаль, такой человек более не существует. В этом — подлинная трагедия нашего времени».

Молодой революционер Альфред Рабофски арестован в Вене; в камеру смертников приходит тюремный священник. Рабофски стал искать утешения в молитвах. «Об одном сожалею, что, умерев, не смогу посвятить себя господу. Остался бы жив, служил бы отныне ему». Священник успокоил его: «Не тужи, дорогой мой брат, служить господу в небе легче, чем на земле».

В Лондоне, измученная воем сирен, тревогами, страхом бомбоубежищ, кончает с собой Вирджиния Вульф...

Человек борется.

Из писем советских людей врываются в книгу отголоски великой битвы, поступь народа, который вышел на защиту своей родины. «Вставай, страна огромная...»

На одном из участков советско-германского фронта в ночь перед боем подает заявление в Коммунистическую партию майор Юрий Крымов, писатель.

Стихи Семена Гудзенко: «Ветром походов, ветром весны снова апрель налился. Стали на время большой войны мужественней сердца, руки крепче, весомей слова...»

Сражается с фашистскими захватчиками югославский партизан Иван Рибар: «Жизнь, счастье, все, к чему стремимся мы вместе с миллионами других людей, а не изолированно от них, все это придет к нам только с нашей борьбой и победой».

Вылетел в ночь британский пилот Жервез Стюарт: «За Англию горю в ночи кромешной, как факел смоляной...»

В американских войсках, которые через Ла-Манш вторглись на материк,— солдат Эрни Пайл.

Человек бросает вызов всемирному злу.

...Составитель сборника д-р Ганс Вальтер Бер не называет всемирное зло по имени. В его послесловии ничего не сказано о фашизме и о том, кто, собственно, виноват в страданиях человечества,— обстоятельство, которое в значительной степени нейтрализует скорбную силу его книги, хотя к особой четкости д-ра Бера обязывало самое место издания сборника.

Нельзя жить в Мюнхене и делать вид, что находишься в некоем абстрактном городе М***. Не будь мюнхенского путча, мюнхенской пивной, «коричневого дома» в Мюнхене, мюнхенского со-

глашения, кто знает, и не было бы второй мировой войны, а следовательно, и книги-мартиролога. Доктор Бер, напротив, как бы старается уверить нас в том, что все человечество в равной мере повинно в гибели своих сыновей и в равной мере невиновно перед лицом неумолимой судьбы. Но кому, как не д-ру Беру, знать, что такая концепция весьма удобна для тех, на ком лежит прямая ответственность за «трагедию времени»? В Западной Германии гитлеровские генералы, промышленники, политики, идеологи фашизма именно так и объясняют свое участие в массовых злодеяниях. Нацистские генштабисты, которые вполне «трезво» разрабатывали планы агрессии, лагерные коменданты, которые с легким сердцем посылали в «камин» сотни тысяч людей, фашистские писатели и журналисты, которые преднамеренно и сознательно отравляли ядом своей пропаганды человеческий разум, доносчики, провокаторы, погромщики — все они не прочь примазаться к «роду человеческому», с его слабостями и заблуждениями, и, уйдя от расплаты, безмятежно рассуждают о «всемирной вине», «всемирном ослеплении», «психозе», «гипнозе». Даже Эйхман и тот в своих записках из камеры смертников именует себя «последней жертвой второй мировой войны».

У д-ра Бера своя точка зрения на события. «Внешней стороне» — крови, ожесточению и жестокостям войны — он противопоставляет сторону внутреннюю, тот «огонек», который теплится в душе каждого человека. В послесловии к сборнику говорится:

«Собранные здесь записи как бы подводят нас к обрисовке вечных свойств человеческой натуры... Детство, родительский дом, брак, семья... Неизмеримое в своей бесконечности интимное начало становится силой, которая противопоставляет себя абсурдности войны».

Над пожарами, над пепелищами, среди лязга железа и грохота пушек звучит в книге флейта Генриха Линднера.

22 июня 1941 года в составе немецкой пехоты солдат Генрих Линднер форсировал Буг, видел, как отбивалась осажденная Брестская крепость, но Линднера занимало другое: именно в тот день он получил от товарища, приехавшего из Пльзена, в подарок флейту. В минуту передышки Линднер достал из своего ранца чудесный инструмент, заиграл. В письме он сообщает: «Флейта сразу же заставила меня забыть войну и все прочее... Я готовлю маме приятный сюрприз, думаю, что и ты удивишься, насколько эта флейта лучше моей старой...»

Флейту Генрих Линднер пронес по дорогам войны — странствующий флейтист в шинели гитлеровского солдата, с автоматом в руках.

Горела, истекала кровью Белоруссия — Генрих Линднер не замечал ничего, шел по сожженной земле, шепча слова из полевого молитвенника: «Не войну я пришел возвестить вам, но мира», потом из задавленной войной, горем, снегами Смоленщины писал о том, как уютно зимой в теплой избе и как ласково звучит его флейта. Лишь к лету сорок второго года у Линднера стали появ-

ляться зачатки зрения. «У войны,— пишет он,— кроме наших побед есть еще и другие стороны... Здесь разыгрываются трагедии, которых никто не замечает потому, что так «приказано». И еще потому, что русский, собственно, человек «второго сорта», истреблять которого считается делом «гуманным»... Здесь почти не осталось семей — только дети и вдовы...»

Прозрение пришло слишком поздно. Линднера убили в начале 1943 года, и те, кто его убил, не знали ни о флейте, ни о запоздалом сочувствии, ни об иронических кавычках. Был он для них не флейтист, а оккупант в шинели гитлеровского солдата.

Собрав немецкие и японские документы, подобные письмам Генриха Линднера, д-р Бер хочет внушить читателю мысль о том, что, даже служа неправому делу, человек может оставаться человеком, если у него в душе сохранились добрые чувства: вера в справедливость, сострадание, внутреннее изящество.

Но добр или зол, хорош или плох соотечественник Линднера — Герберт Хинтерлейтнер, который, придя вместе с армией захватчиков на землю древней Эллады, размышлял в своих письмах об архитектуре Акрополя и сочинял терцины на античные темы, но ни разу не задумался над тем, что не кто иной, как он, Хинтерлейтнер, распинает и мучит «прекрасную Грецию», которой в данной ситуации нет никакого дела до его эстетических воззрений? Да и о чем говорят письма Хинтерлейтнера? О торжестве «прекрасного» или о тупой невозмутимости мещанина?

Велика ли цена «гуманности» барона Мейнгарта фон Гуттенберга? В книге напечатаны его письма из Польши: легкое сочувствие к «туземцам», сетования на излишнюю суровость войны — роскошь, которую мог себе позволить завоеватель в порыве минутного благодушия.

Для д-ра Бера основной приметой, определяющей принадлежность того или иного «отдельно взятого» человека к «роду», служит спасительное «интимное начало». Фотография из семейного альбома, письмо к жене, к любимой — пропуск в человеческое сообщество. Слова «любовь», «бог», «милосердие» — пароль.

Но так ли это? Являлось ли «интимное начало» противоядием против озверения и жестокости? Вспомним «сентиментальных» эсэсовцев, которые хранили на сердце фотографии белокурых младенцев! Какого фашистского солдата уберегли от участия в преступной войне святочные песни, рождественская елка во фронтовом блиндаже?

Была любовь к детям, доброта польского педагога и писателя, автора замечательной книги «Король Матиуш Первый», Януша Корчака, который разделил со своими воспитанниками — еврейскими детьми из варшавского «Дома сирот» — их горькую участь и добровольно пошел вместе с ними на смерть, и «доброта» немецкого солдата Эбергарта Лиеса, который, находясь в Вязьме, больше всего тревожился о «религиозной нравственности» своих детей, ничуть не стыдясь того безнравственного и кровавого дела, в котором он принимает самое непосредственное участие.

К чести немецкого народа, существовали тысячи и десятки тысяч немцев, которые совсем по-другому понимали свою человеческую миссию и воспринимали принадлежность к роду человеческому как обязанность бороться не на жизнь, а на смерть против фашистского варварства, за свободу и счастье своего народа и всех людей на земле. Лозунгом этих немцев были слова «Интернационала» — «Воспрянет род людской!». И для того чтобы род человеческий воспрял, они бесстрашно шли на муки, на лишения, на отказ от личного благополучия. Нет, они не были аскетами. В их предсмертных письмах самые нежные слова обращены к близким, к родным, к товарищам по борьбе, но вся их жизнь была озарена светом той высшей любви, о которой иные «добрейшие» персонажи д-ра Бера не могли даже подозревать.

«...Пламя, которое озаряет наши сердца и наполняет наш дух, как яркий светоч, ведет нас по полям битвы нашей жизни». Эрнст Тельман, тюрьма Баутцен, 1944 год.

«...Я верю в жизнь... бесконечно люблю людей... Об этой-то любви к людям я и говорила в своем последнем слове. Никогда до этого мне не было так ясно, насколько я люблю Германию. Я ведь далеко не политик, и я хочу быть только одним — Человеком». Это голос молодой работницы Като Бонтьес Ван-Беек, приговоренной к смерти имперским военным судом за сотрудничество с коммунистическим подпольем.

«...Сегодня моя голова... скатится в песок и пребывание мое на этой земле будет закончено. Как и многие другие, я буду «вписан в сердца людей», на долю которых выпало так много страданий!.. «Все люди станут братьями!» Да, ради этого я, собственно, жил, за это я боролся с юных лет. И хотя моя жизнь кончается таким вот образом, я все же благодарю судьбу за то, что прожил свою жизнь именно так...» Коммунист Вильгельм Бейтель, 27 июля 1944 года.

Разве д-р Бер не заглядывал в книгу «Воспрянет род людской» — краткие биографии и последние письма борцов антифашистского сопротивления», изданную в Германской Демократической Республике за три года до выхода его сборника? В этой книге он мог бы найти ответ на многие «проклятые вопросы», которые томили его флейтистов и философов. Он прочел бы точное определение «мирового зла».

«...До тех пор пока существует капиталистический общественный строй, будут и войны, подавляющие всякого рода гуманные устремления человеческого общества и приводящие к чудовищным разрушениям материальных ценностей».

Так говорил перед гамбургскими судьями немецкий механик Бернгард Бестлейн, гильотинированный 18 сентября 1944 года в Бранденбургской каторжной тюрьме.

За семь дней до Бестлейна в той же тюрьме был казнен электросварщик Георг Шредер. В последнее мгновение он успел написать короткую записку, завет живущим: «Бойтесь стать бесхарактерными людьми!»

Эти слова не дошли до Генриха Линднера, Себастиана Мендельсона-Бартольди, Альфреда Рабофски, но почему д-р Бер не захотел, чтобы их услыхали живые, нынешние?

Бесхарактерность — сестра трусости и предательства,— обывательская пассивность привели ко множеству бед, дорого обошлись человечеству. В сборнике д-ра Бера, однако, эта бесхарактерность (когда речь идет о немцах) возводится подчас в добродетель, в средство «внутреннего сопротивления» злу.

Линднер, Гуттенберг, Хинтерлейтнер и другие глубоко ошибались, полагая, что находятся «над» схваткой, «вне» схватки. Самая их гибель на войне опровергает это убеждение, и оппонентами тут выступают осколок и пуля, которые не пожелали считаться с «внутренней позицией» авторов. Впрочем, «политика» так или иначе проступает сквозь самые, казалось бы, абстрактные строки, и, когда, укрывшись в окопе на берегу Донца, немец Гюнтер фон Шевен, верный своему «интимному началу», пишет на родину о доме, о «милом Рейне» и вдруг восклицает, что ведет войну «против чудовищного явления материализма», мы начинаем понимать, с кем имеем дело, и недоумеваем, зачем потребовалось д-ру Беру такое письмо в книге, призванной раскрывать людям глаза на роковые ошибки минувших лет.

Мертвые не ушли из жизни бесследно, у каждого из них есть наследники: у Гюнтера фон Шевена, убитого на Донце, и у Бернгарда Бестлейна, казненного в Бранденбургской каторжной тюрьме. Мы знаем, как живут и что делают сегодня наследники Бернгарда Бестлейна, Вильгельма Бейтеля, Георга Шредера в Германской Демократической Республике, знаем также о делах и настроениях наследников Шевена в Западной Германии.

Какое же наследство предпочел д-р Бер? Кого ставит он в пример современникам? От повторения чьих ошибок предостерегает?..

Я остановился так подробно на «немецкой части» книги «Голос человека» потому, что именно здесь наиболее отчетливо видна тенденция составителя объединить «род человеческий» на весьма шаткой основе.

И все же большой труд д-ра Бера заслуживает признательности. Мы не можем не оценить того, что д-р Бер впервые познакомил западногерманского читателя с фронтовыми письмами и дневниками Петра Лидова, Бориса Лапина и Захара Хацревина, Юрия Крымова, Евгения Петрова, Джека Алтаузена, Веньямина Ивантера, со стихами Мусы Джалиля и Семена Гудзенко.

В этих документах, так же как в материалах вышедшей у нас в Москве книги «Говорят погибшие герои», встает образ человека-борца, человека-победителя, знавшего, против кого он воюет и за что отдает жизнь.

Воспитанные ленинской партией и ленинским комсомолом, в роковое для человечества мгновение пошли эти наши люди в бой для того, чтобы выручить из беды свой народ и отстоять завоевания своей революции, пошли, не мудрствуя лукаво, не предаваясь мучительному самоанализу, но в их простых письмах, написанных

на тетрадных листках, на обрывке газеты, на платке, на косынке, «суть философии всей» и «основа основ» человеческой совести, правоты и добра.

«...Когда защищаешь дорогую, родную землю и свою семью (у меня нет родной семьи, и поэтому весь народ — моя семья), тогда делаешься очень храброй и не понимаешь, что такое трусость».

Жила-была в Одессе девушка Нина Онилова, работала на трикотажной фабрике... Нину Онилову убили при обороне Севастополя. Бойцы называли ее «пулеметчицей Анкой»...

Учителя Степана Васильевича Скоблова немецкие фашисты расстреляли в Донбассе. Из тюрьмы в Авдотьино переслал Степан Скоблов письмецо:

«...Я хочу быть самым счастливым человеком в мире, ибо моя жизнь окончилась в борьбе за общечеловеческое счастье...»

И уже в самом конце войны, весной сорок пятого года, погиб в боях в Восточной Пруссии колхозник из села Якшино Павел Яблочкин. На груди, в кармане гимнастерки, носил он письмо, адресованное матери:

«...Я не умер, а ушел от вас, мама, как многие ушли, такие же, как я. Ушли мы в борьбе за народ, сметая с земли варварство, рабство. Ушли за будущее светлое не только нашего, но и всех народов земли...

Бесчеловечно, стыдно будет тем, кто поможет опять разнуздать таких, как вот эти. Весь мир не допустит, чтобы гунны вторично на землю сошли».

Вот оно — прямое и непосредственное выражение чувства принадлежности к роду человеческому, действенное чувство личной ответственности за судьбу «рода».

Не хилым порождением бездарного века, а борцом и героем, «центром космической действительности» видим мы «дитя человеческое», преодолевшее столько страданий, бед, трудностей...

В одном из предсмертных писем немецкого коммуниста-подпольщика Бруно Рюффера хорошо сказано: «Жизнь неуклонно идет дальше, через судьбы людей, их радости и горести».

Жизнь идет дальше, и в своем стремлении вперед к миру, к свободе, к братству нынешнее поколение чутко прислушивается к голосу тех, кого уже нет среди нас, чтобы на их подвигах, на их прозрениях и ошибках научиться жить, оправдывая простое и высокое звание: Человек.

Бездна

ПОВЕСТВОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДОКУМЕНТАХ

НЕСКОЛЬКО РАЗРОЗНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

I

...Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии. Это враг не только военный, но и политический, в смысле разрушительного влияния на народы.

Поэтому большевистский солдат потерял всякое право на обращение с ним как с честным солдатом, согласно Женевскому договору.

Особые условия Восточного похода требуют беспощадных и энергичных действий при малейшем намеке на сопротивление, в особенности по отношению к большевистским активистам, политрукам и пр. ...

Особые мероприятия должны быть свободны от бюрократических и административных влияний, и их нужно проводить с чувством ответственности и долга.

Ранее всего нужно выявлять:

1. Всех известных служащих государственного аппарата и партии. В особенности профессиональных революционеров.
2. Сотрудников коминтерна.
3. Всех руководящих работников коммунистической партии Советского Союза и родственных ей организаций, ЦК, областных и районных комитетов.
4. Всех наркомов и их заместителей.
5. Всех бывших политкомиссаров красной армии.
6. Руководителей центральных и промежуточных инстанций государственных органов.
7. Руководящих лиц хозяйственной отрасли.
8. Советско-русских интеллигентов и евреев...
9. Всех лиц, которые установлены как подстрекатели или фанатичные коммунисты...

Экзекуции должны проводиться так, чтобы это не бросалось в глаза. Их нужно осуществлять в уединенных местах... Нужно заботиться о немедленном и аккуратном погребении трупов.

(Из инструкции для зондеркоманд)

II

...Чтобы в корне подавить недовольство, необходимо по первому же поводу незамедлительно предпринимать наиболее жестокие меры... При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в оккупированных странах абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычной жестокости...

(Из инструкции верховного командования германской армии)

III

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Заявляйте о партизанах и их сотрудниках! За своевременные уведомления назначены высокие премии. В деревнях крестьяне получат участок земли, в городе — до 1000 рублей. Помните, что награды следуют тотчас же.

IV

...Немцы должны выступать против русских дружно. Даже ошибку немца нужно повернуть против русского... Не разговаривайте, но действуйте. Русских вы никогда не переговорите и разговорами не убедите. Говорить они могут лучше вас, ибо они прирожденные диалектики и унаследовали «философские наклонности»...

Вы должны действовать. Русским импонирует только действие, ибо сами они женственны и сентиментальны... Сохраняйте необходимую дистанцию от русских: они не немцы, а славяне...

(Из «12 заповедей поведения немцев на востоке и обращения с русскими»)

V

...Докладываю, что города Мариуполь и Таганрог от евреев очищены полностью...

В Таганроге установлено, что русским населением предпринималась попытка установить связь с красными посредством почтовых голубей. В Таганроге ликвидировано 20 коммунистических функционеров, из них десять подвергнуты публичной казни. Деятельность команды сосредоточена сейчас на контрразведывательной работе и вскрытии партизанских групп.

(Из донесения начальника зондеркоманды СС 10-а)

VI

ИЗ ФАШИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ СЛОВО» (ТАГАНРОГ)

...Мы свободны! Мы больше не рабы! Пора понять, что только слова и слезы благодарности это еще не все, что надо воздать нашему великодушному спасителю — непобедимой Германской Армии. Чем же отвечают русские люди на щедрый и незаслуженный дар? Мы уже видим чем! Уже несколько наших доблестных спасителей — германских солдат и офицеров пали жертвой подлых, предательских ударов из-за угла!

(27/10 1941 г.)

Несколько слов о культуре быта

Немецкий комендант города вынужден был обратиться к бургомистру с письмом, в котором с прискорбием обращал внимание на участившиеся случаи невежливости населения по отношению к представителям германской армии, в частности в непочтительном отношении к солдатам и даже офицерам, в нежелании уступать последним дорогу и в проявлении в разных мелких случаях публикой своей дикости и невоспитанности. Даже советская пропаганда и ТАСС не решаются приписать красной армии столько побед, сколько ей приписывается нашими согражданами...

(3/VII 1942 г.)

...продается кормовой бурак (мороженный)...

VII

НЕМНОГО ИСТОРИИ

...Действительная история германо-русских отношений говорит прямо противоположное иудейско-большевистской стряпне. В смене исторических эпох Германия выступает как благородная нация, как чистейший выразитель высшего типа мышления и культуры арийских народов, как богатырский боец за культуру человечества, как старший брат и руководитель других народов.

Еще в IV в. после Р. Х. Восточная Европа... входила в состав великой германской Остготской державы, во главе которой стоял благородный род Амалов...

VIII

ПИСЬМО ИЗ ТАГАНРОГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Тоня, я очень печальную новость узнала, что меня этапом отправлять будут, но ничего, буду терпеть, я все равно погибну... Я вас прошу, не обижайте Лианочки. В 10 часов утра в пятницу будут меня гнать, старайтесь меня видеть, договоритесь как-нибудь устроить свидание и очень прошу — Лианочку хочу видеть, приведите ее сюда, может, дадут попрощаться. У меня мечты только за нее, я не знаю, почему она такая несчастная...

Может, не хотят говорить, что меня расстреляют, но вообще узнай точно, а если нет, то принесите завтра какое-нибудь темное платье, рубашку, у меня порвались боты, резина поотклеивалась, говорят, что сто километров пеши идти, не знаю, насколько верно.

Продай мои туфли, купите хлеба на дорогу, но только устройте, чтоб я увидела Лианочку, узнайте, по какой дороге поведут, может, Клавдия подойдет туда с Лианочкой, я хоть попрощаюсь, если у вас есть чувства материнские. Я больше ее не увижу и вас. Как тяжело расставаться. Я прошу всех, помогите проводить меня, ибо я с вами больше не встречусь. Вы будете жить, а я обливаться кровью...

Я вам пишу, а вы мне ни единого раза не отвечали, как вы живете и как моя золотая дочечка, интересно, у кого она останется жить, вот ей, бедной, досталась доля. Пока до свидания, прошу вас убедительно сделать, о чем прошу в записке, не обижайте, последний раз привет всем, отцу, матери, Жене, бабушке, тете Кате, всем ребятам твоим и детям, и моей дочечке. Целую вас всех крепко и свою белокурую Лианочку целую в глазки и в лобик...

IX

Г-ну начальнику

ЗАЕВЛЕНИЕ

Прошу Вашего Величества разобрат дело Глушенко Петра Петровича, т. к. он при советах работал в рыболовецком хозяйств Н.К.В.Д. не могу сказат чем.

В настоящее время работает рыбзавод отдел добычи смотрителем: работает не честно имеет свои сети и понемногу рыбачит, но плана на зто и права никакого не имеет, это одно, а второе — человек нового порядка чужд, могу сказат — прямо жаждает советской власти. Быв кулак Игнатенко Михаил Матвеевич, при сужении фронта, вернулся обратно в г. Таганрог, Глушенко П. И. Игнатенку М. М. в глаза говорит чево ты вернулся все равно прийдут красные тебя расстреляют. По этому делу советую пер-

вым вызват Игнатенко Михаила Матвеевича, проживает 2-й крепостной № 106, а Глушенко Петр Петрович — 2-й крепостной № 108.

Второе положение: Директор отдела добычи Т.Р.З. г-н Ковалев человек чесный, действительно бореться за новый порядок, но его окружает чуждый элемент и работат ему тяжело, надо ему помочь. Советую Вашему Величеству: надо вызвать г-на Ковалева, он дасть кое-что, такой-то материал на Глушенко П. П. и старых рыбаков.

К сему — Ярошенко Иван Васильевич, г. Таганрог, 2-й Крепостной № 104.

X

Номер полевой почты 32704 П/№ 40/42 16.5.1942.
СС — оберштурмбанфюреру Рауфу
документ 501

У «Зауер-вагена», который я перегонял из Симферополя в Таганрог, были повреждены тормоза. В зондеркоманде Мариуполь было установлено, что манжеты комбинированного воздушного масляного тормоза в нескольких местах лопнули. Удалось отлить формы, по которым были изготовлены два манжета... Мелкие повреждения в машинах будут устранены мастерами команд в мастерских. Из-за неровности местности, не поддающихся описанию дорог и состояния автострад происходят поломки газовых автомобилей... Чтобы сократить расходы, я дал указание непрочные места залатывать самим, а если это невозможно, сейчас же извещать Берлин телеграфом, что машина полевая почта № ... выбыла из строя.

Кроме того, я распорядился при проведении отравления газом держать солдат команды дальше от машин, с тем чтобы при частичном выходе газа не повредить их здоровью. При этом хотел бы обратить внимание на следующее: после проведения газации в некоторых командах выгрузка поручается личному составу этих команд. Я уже обращал внимание начальников зондеркоманд на то, какие ужасающие душевные и физические последствия может оказать эта работа на личный состав, если не сразу, то впоследствии. Солдаты команд жаловались мне на головную боль, которую они испытывают после каждой выгрузки. Тем не менее этот порядок продолжает сохраняться, т. к. существует боязнь, что в случае использования на этой работе самих узников последние могут улучить благоприятный момент для совершения побега. Чтобы избавить личный состав зондеркоманд от упомянутых выше последствий, прошу дать соответствующее распоряжение...

Д-р Бекер, СС-унтерштурмфюрер

XI

...Гений Гитлера и его лучшая в мире победоносная армия сделали неосуществимой попытку большевиков изменить ход войны в свою пользу... В целях сокращения Кавказского фронта германскими войсками оставлены города: Георгиевск, Пятигорск и Минеральные Воды...

(Из корреспонденции в газете «Панцер форан»)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой книге речь пойдет о большой беде, которая произошла с человечеством, о беде, которая унесла в могилу миллионы наших людей,— ее не избыть, не утешиться в забвении. Сколько бы ни

прошло лет, эта беда будет властно напоминать о себе, вновь и вновь требуя осмысления всех ее сторон, причин и последствий.

Вторгшаяся к нам 22 июня 1941 года, эта беда была полнейшей неожиданностью для многих ее жертв, которые хоть и читали и слышали о жестокостях немецкого фашизма, но все же не могли предположить, что именно из той страны, с которой у нас связывались традиционные представления о высокой духовной и материальной культуре, ринется на нашу землю не просто война, не просто вражеское нашествие, а людоедство, повальное человекоистребление, тщательно продуманное, идеологически обоснованное и оснащенное новейшей техникой.

В инструкции для эсэсовских зондеркоманд перечислены категории лиц, подлежавших умерщвлению в первую очередь, однако все мы были заочно приговорены Гитлером к смерти: миллионы людей, зарытые в противотанковых рвах, в оврагах и в балках, истребленные в лагерях смерти и в гетто, напоминают о той участи, которая должна была постичь каждого из нас в случае победы гитлеровской Германии. Все это касается не только нас — сверстников погибших, но и наших детей, которые родились и выросли после войны и с трудом представляют себе всю степень угрозы, нависшей некогда над самой возможностью их появления на свет, угрозы небытия, отведенной от будущих поколений ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв.

Вспоминая пережитое, мы не можем отделаться от мысли о том, что если так называемая трагедия человечества дробится на множество отдельных человеческих трагедий, то и преступление, совершенное фашизмом, делится на множество отдельных преступлений, совершенных множеством «отдельных» людей — с именами, фамилиями, званиями и должностями, людей, стоявших на разных ступенях фашистской служебной лестницы, но участвовавших в общем злодейском деле и поэтому несущих за него всю полноту ответственности.

Судебное преследование нацистских преступников началось в Советском Союзе еще в годы войны, на процессах в Краснодаре и в Харькове, ставших как бы провозвестниками Нюрнбергского суда народов, который в свою очередь вызвал серию процессов над гитлеровскими палачами различных чинов и рангов. Однако и сегодня, спустя целый исторический период, продолжается поименное выявление организаторов и исполнителей эсэсовских зверств, которым удалось перехитрить время и врасти в мирную жизнь.

С некоторыми из них нам, по совершенно конкретному поводу, еще предстоит встретиться «лицом к лицу» в нашем повествовании, но и в предисловии есть смысл изложить кое-какие факты...

На берегу Азовского моря, в Ейске, долгие годы существовал детский дом для детей, больных костным туберкулезом.

9 октября 1942 года к детскому дому подъехала легковая машина, из которой вышли несколько эсэсовских офицеров. Они осмотрели помещение, прошли в кабинет директора и потребовали списки детей. Старший из офицеров сказал:

— Детей мы эвакуируем.

Директор спросил:

— Куда?

Ему не ответили.

Директор попробовал протестовать, офицер пожал плечами:

— Не понимаю, из-за чего вы переживаете?! В Германии таких детей вообще не держат, а Германия — страна цивилизованная.

Вскоре прибыл серого цвета автобус. Началась «погрузка». Дети пытались бежать, спрятаться на чердак, уползти за цветочную клумбу. За ними гнались взрослые мужчины, одетые в военную форму.

Когда в Ейск вошла Красная Армия, во рву, за городом, обнаружили двести четырнадцать трупов. Многие лежали, обняв друг друга...

В Западной Германии, в Вуппертале, на Цунфштрассе, 20, живет человек по имени Курт Тримборн; ему шестьдесят один год, он служит в местной больнице. Говорят, что у Тримборна темное прошлое, но сам он о себе ничего не рассказывает.

Курт Тримборн был тем самым эсэсовским офицером, начальником ейского отделения зондеркоманды СС 10-а, который явился к директору детского дома. Осмотрев дом, Тримборн доложил в Краснодар, начальнику зондеркоманды Кристману, о «наличии детей» и «необходимости провести операцию». Кристман направил в Ейск две душегубки. Руководство «операцией» вместе с Тримборном осуществляли врач Генрих Герц, унтерштурмфюрер СС (в наши дни он занимается в ФРГ медицинской практикой) и белоэмигрант Юрьев. Среди детоубийц находилась еще одна фигура, которую мы пока оставим в тени, до более близкого знакомства на страницах нашей книги.

Истребление ейских детей — всего лишь эпизод в бесконечном ряду зверств, но и его достаточно для того, чтобы спросить: почему, в чьих интересах в Западной Германии изыскивают юридические обоснования для того, чтобы избавить таких вот герцев и тримборнов от возмездия?

Это наша боль, наше дело, долг, возложенный на наше поколение: до конца рассчитываться за всех убитых, замученных, загубленных, рассчитываться за всех вместе и за каждого в отдельности — от прославленных мучеников, чьи имена высечены на граните и начертаны золотом на мраморе, до безвестного, еще не успевшего получить имени ребенка, оторванного от материнской груди и брошенного в могильный ров...

Одна из зловещих особенностей фашизма состоит в том, что под свои зверства он подвел базу «исторической целесообразности» и попытался логически обосновать пытки, убийства, агрессию. Каждый, даже самый мелкий, палач получал от нацистского государства идеологическую «оснастку», достаточную для того, чтобы бестрепетно убивать и считать при этом, что он не только не совершает ничего безнравственного, а, напротив, является носите-

лем «высшей морали», высших «нравственных ценностей». Фашистская пропаганда — литература, печать, радио, кино, фашистское «искусство», целая орава штатных ницшеанцев с теорией «сильного человека», препарированной для массового потребления и приспособленной к умственному уровню рядового гестаповского садиста, расистские проповедники «чистой крови» незримо участвовали во всех зверских акциях.

Но психологической обработкой дело не ограничилось. Потребовались еще и ведомственные, юридические мероприятия, создание правовых норм бесправия, выработанных со всей прусской бюрократической тщательностью.

Убивая ни в чем не повинных людей, фашисты знали, что действуют в «рамках закона», впрочем ими же самими созданного. Поэтому не приходится удивляться тому на первый взгляд поразительному обстоятельству, при котором заботливые отцы, примерные мужья, люди вполне благовоспитанные и отнюдь не страшные в «быту», там, у себя на фашистской службе, совершали чудовищные бесчинства с садистскими вывертами и сладострастием.

В том-то и весь секрет, что злодейство при фашизме перестало противоречить морали, порядочности, законности, а сделалось как бы составной частью фашистской «этики», обыкновенной служебной обязанностью и самым надежным источником дохода.

Между тем ссылки на закон, на приказ, на необходимость подчиняться дисциплине и исполнять свой служебный долг стали привычным аргументом, которым сейчас оправдывается каждый нацистский убийца. С другой стороны, авторы фашистских законов, гитлеровские идеологи и пропагандисты вообще избавлены в Западной Германии от всякой ответственности. Получается заколдованный круг: исполнители были «ослеплены» законодателями и поэтому заслуживают снисхождения, а законодатели не подлежат ответственности, так как не были исполнителями!

В нашей книге мы намерены более подробно рассмотреть эту проблему и даже сконструировали некий собирательный образ фашистского генерала Биркампа (впрочем, фигуры вполне реальной, существовавшей в действительности), чтобы проследить взаимосвязь между фашистской идеологией, фашистской «логикой» и злодеяниями фашизма и, совместив в одном лице идеолога и исполнителя зверств, развенчать порочную аргументацию, с помощью которой оправдывают нацистских преступников.

Воссоздавая образ Биркампа, мы хотели напомнить об особой опасности, которую представляет собой эгоистический и холодный расчет, бездушная алгебра «целесообразности», когда речь заходит о жизни и смерти не только отдельных людей, но и целых народов. Нам представлялось важным сказать и о той ответственности, которую несет любой человек, состоящий на службе у реакции, у преступных режимов и совершающий бесчеловечные поступки, даже если эти поступки разрешены или прямо предписаны ему законами, приказами и уставами.

...В основу этой книги положены материалы судебного процесса над карателями из гитлеровской зондеркоманды СС 10-а, который состоялся осенью 1963 года в Краснодаре.

Зондеркоманды — то есть команды особого назначения — занимались непосредственным истреблением людей. В командах имелись специалисты по всем видам смерти: по расстрелу, повешению, удушению в газовом автомобиле, по заталкиванию в душегубку и закапыванию трупов.

Вслед за немецкими фронтовыми частями зондеркоманды входили в города, проводили несколько молниеносных акций — регистрацию и расстрел всех евреев, цыган, членов семей советского и партийного актива; затем начиналась повседневная «служба смерти»: выявление и ликвидация коммунистов, комсомольцев, подпольщиков, партизан, уничтожение больных, престарелых и вообще «сведение численности населения до минимума».

Одной из таких команд была и зондеркоманда СС 10-а, оставившая свой кровавый след в Крыму, в Мариуполе, в Таганроге, Ростове, Краснодаре, Ейске, Новороссийске, а затем в Белоруссии и в Польше.

Офицерами зондеркоманды были немецкие эсэсовцы, прошедшие особую подготовку в Германии и накопившие «опыт» в борьбе с немецкими антифашистами. В качестве рядовых в команду входили изменники Родины, перебежчики и отщепенцы, специально завербованные на оккупированной территории или в лагерях для военнопленных. Вместе с немцами и под их руководством они принимали непосредственное участие в массовых казнях, в операциях против партизан, в облавах, арестах, а также несли конвойную и охранную службу.

В 1943 году в только что освобожденном от фашистов Краснодаре состоялся первый процесс над группой этих изменников, захваченных нашими войсками. Позднее значительная часть карателей из зондеркоманды СС 10-а также была выловлена и предана суду, однако некоторым из них удалось скрываться довольно длительное время: одни затерялись в глухих, отдаленных местах; другие, выдав себя за вспомогательных служащих, непричастных к массовым зверствам, смогли обмануть следствие и отделались сравнительно легкими наказаниями; третьи отступили вместе с немцами на территорию Германии и других стран и осели там под видом перемещенных лиц.

Между тем все эти годы органы государственной безопасности продолжали неустанный розыск гитлеровских пособников, чтобы все они, до единого, предстали перед советским судом и понесли полную меру заслуженного ими возмездия.

В конце 1962 — начале 1963 года Управлением Комитета государственной безопасности по Краснодарскому краю в разных городах Советского Союза были арестованы девять человек, дело по обвинению которых и рассматривалось в октябре 1963 года Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа.

Автору этих строк была предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, присутствовать на допросах во время предварительного следствия, а затем пережить весь процесс.

В этой книге мы предполагаем провести читателя по путям следствия, суда и рассказать одну из самых мрачных историй человеческого падения. Дистанция в двадцать лет позволяет в целях «назидания и предостережения» более внимательно заглянуть в те бездны, через которые мы когда-то перешагивали, захваченные вихрем военных событий.

Готовя нападение на Советский Союз, гитлеровцы предусматривали полное порабощение советских людей и постепенное физическое истребление народов, населяющих нашу страну. Ни о каком привлечении русских людей на сторону Германии в этих условиях не могло быть и речи. Гитлер поначалу возражал своим экспертам, которые предлагали ему подыскать «русского Квислинга» и создать полицейские и воинские формирования из числа русских предателей. Однако огромные потери, которые несла гитлеровская Германия на Восточном фронте, вскоре обнаружили явную нехватку «рук» для того, чтобы осуществить гигантский план умерщвления миллионов людей, а также противостоять массовому подпольному и партизанскому движению на оккупированной территории Советского Союза.

Вот почему, начиная примерно с 1942 года, фашистские власти стали прибегать к услугам изменников, перебежчиков и прочих отбросов общества, вовлекая их в эсэсовские зондеркоманды или используя как охранников концлагерей, полицаев и пр. Этим же, очевидно, объясняется и то, что Гитлер, после долгих колебаний, решил создать так называемую «русскую освободительную армию», возглавляемую предателем Власовым.

...Не вдаваясь в подробности, которые нуждаются в специальном исследовании, скажем, что в большинстве случаев факты предательства и перехода на сторону немецких фашистов имели под собой социальную и психологическую подоплеку. Люди, враждебно настроенные к советской власти, те, кто в глубине души продолжал надеяться на восстановление старого строя, с приходом немцев стали перед выбором: с кем быть?

Немалая часть этих людей перед лицом смертельной опасности, нависшей над их Родиной, перед лицом чудовищных зверств, совершаемых захватчиками на русской земле, отвергла самую мысль о какой-либо сделке с врагом. Но были и такие, кто сотрудничал с оккупантами и, облачившись в немецкую форму, убивал и мучил своих соотечественников, в подлой и, кстати сказать, напрасной надежде на то, что гитлеровцы учтут их кровавые «заслуги» и возвратят им утраченную некогда власть.

Вышли на поверхность злобные мещане, готовые использовать любую ситуацию, в том числе бедствия войны и приход оккупантов, чтобы нажиться на чужой крови и на чужом несчастье.

Их отличала особая жадность и особая жестокость, и они уверенно шли по трупам, набивая окровавленным «барахлом» свои

вещмешки. В этих людях жило неистребимое брезгливое презрение к тем, кто не «наверху», а, напротив, находится в нужде, в горе и в унижении. Не особенно задумываясь над тем, почему фашисты истребляют невинных мирных жителей, они злорадствовали при виде скорбных колонн, угоняемых на смерть, потому что здесь, на их глазах, осуществлялось торжество грубой вооруженной силы над безоружностью и беззащитностью.

С такого рода преступниками нам приходилось встречаться во время следствия и суда в Краснодаре и наблюдать за всеми особенностями их поведения, когда они оказались вынужденными держать ответ за все, что они совершили.

Была и еще одна категория представших перед судом изменников, в основе преступления которых лежала попытка откупиться от тягот и трудностей и ценой многих других жизней сохранить единственную — свою. Связи этих людей с обществом оказались такими непрочными, а принципы и убеждения такими зыбкими, что не выдержали первого серьезного испытания. Речь идет о тех, кто в каторжных условиях фашистского плена или оккупации рассчитывал облегчить свою участь не борьбой с врагом, а переходом к нему на службу. Иногда предательство начиналось с простого житейского рассуждения, что надо бы как-то приспособиться к немцам, причем не все и не всегда поначалу представляли себе, в чем это «как-то» будет выражаться. Но часто, совершив первое — психологическое — предательство, они превращались в отпетых преступников, в убийц и рабов одновременно, попадая в полную зависимость к фашистам. Нет, не желанную «волю», а рабство обретали они, пытаясь получше пристроить свое маленькое «я», по сравнению с которым для них ничего не значили ни Родина, ни родной народ, ни миллионы человеческих жизней.

В этом повествовании нам придется столкнуться также с персонажами, которые в своем падении не дошли до крайней черты и поэтому не привлекались к суду или, отбыв наказание, подверглись амнистии. И все же какой мрачной оказалась их жизнь, опустошенная, исковерканная одним только соприкосновением с фашизмом! Избавленные от ответственности по закону, они предстали перед судом человеческой памяти и совести и перед собственным страшным судом...

Готовясь к нашей работе, мы предприняли путешествие по тем местам, в которых происходили описываемые нами события. Это были города и села, прославленные мужеством подпольщиков, отвагой партизан, героизмом народа, поднявшегося на борьбу против оккупантов. В Таганроге мы узнали историю антифашистского подполья, созданного комсомольцами: даже дети-школьники участвовали в неравной борьбе с врагом. В Краснодаре перед нами раскрылись страницы партизанского движения на Кубани. В Ростове, Новороссийске, Ставрополе, Краснодаре и в других городах мы встречали партийных работников, бывших партизанских вожаков и разведчиков, которые дали нам материал для очерка «По ту сторону легенды», включенного в наше повествование.

Что по сравнению с этими героями несколько отщепенцев, людей, потерявших человеческий облик, да и люди ли они?

«Беда как раз в том, что они люди»,— сказано о фашистах в пьесе Миллера, и мы, согласные с этими словами, намерены в своей книге отнестись к ее мрачным персонажам с той мерой требовательности, которая должна быть предъявлена к людям, отвечающим за свои дела и поступки...

В Таганроге в серо-свинцовый зимний день я еду на Петрушину балку, в деревню Петрушино, куда в течение двадцати двух месяцев оккупации с Владимирской площади везли на грузовиках, гнали пешком заложников и подозрительных, коммунистов и комсомольцев, евреев и цыган, русских и украинцев.

На черноземных полях — клочья снега. В двух километрах от балки дорога становится непроезжей, машина останавливается, и, скользя по ледяным коркам, плюхаясь в черноземную грязь, я иду по той же дороге, по которой вели их. И я представляю себе, как они шли, догадываясь, зачем вдруг колонна свернула с мариупольской дороги в сторону деревни Петрушино.

Два бесконечных километра были путем смерти и путем надежды: кто-то пустил слух, что в Петрушине будет привал. А потом, когда они сошли с дороги и спустились в узкую, между двух черных холмов, ложбину и задние увидели, как те, кто шел впереди, остановились — это рыли могилу,— они поняли, что именно сейчас, именно здесь будет смерть.

Их стали «по-хорошему» уговаривать «без паники» раздеться и прыгать в яму, «соблюдать порядок», а один из карателей устало сказал: «Ну, проявите же, наконец, сознательность. Надо раздеться. Сойти в яму. Вот так». И одни механически выполняли приказ, а другие начали упираться, плакать, кричать, но это не помогло ни тем, ни другим.

Теперь я той же ложбиной приближаюсь к страшному месту: безлюдье, чернота земли, и вдруг впереди — обелиск. На нем начертаны слова вечной памяти. Но что такое вечная память? Несколько слов на обелиске, ежегодные митинги, книги писателей? Или вечная память о погибших — это вечное, как сама жизнь, чувство ответственности за свою страну, за себя, за своих детей, за весь мир, чувство, которым должен проникнуться каждый человек, все люди?..

Я стал знакомиться с материалами, с документами — некоторые приведены здесь в качестве своеобразного эпиграфа. И по мере того как я приобщался к этим документам, к этому делу, мне все больше казалось, что я проваливаюсь в бездну, лечу в пропасть глубиной в двадцать лет — задеваю головой даты: 63... 45... 43... И вот я на самом дне: высоко надо мной, в непостижимом отдалении, светится небо шестьдесят третьего года.

Февраль 1963 — ноябрь 1965

ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ ВЕЙХА, СКРИПКИНА, ЕСЬКОВА, СУХОВА И ДР.

Управлением Комитета государственной безопасности при Совете Министров Союза ССР по Краснодарскому краю за активную карательную деятельность и личное участие в массовом уничтожении мирного населения арестованы бывшие эсэсовцы гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС 10-а: ВЕЙХ Алоис Карлович, он же Александр Христианович, СКРИПКИН Валентин Михайлович, ЕСЬКОВ Михаил Трофимович, СУХОВ Андрей Устинович, СУРГУЛАДЗЕ Валериан Давыдович, ЖИРУХИН Николай Павлович, БУГЛАК Емельян Андреевич, ДЗАМПАЕВ Урузбек Татарканович и ПСАРЕВ Николай Степанович.

Зондеркоманда СС 10-а, будучи созданной гитлеровским командованием еще на территории Германии, в 1942 году была переброшена в Крым, где приняла активное участие в борьбе с крымскими патриотами, производя среди жителей Крыма массовые экзекуции. Через несколько дней «команда» перебазировалась в Мариуполь, затем на территорию Ростовской области, а позднее в гор. Ростов-на-Дону...

Совершая повальные обыски и аресты советских людей, палачи «команды» применяли к своим жертвам неслыханные жестокости, изощряясь в методах пыток и истязаний ни в чем не повинных советских граждан...

Истребление мирного населения... производилось с помощью автомашины, именуемой «душегубкой», и путем массовых расстрелов... За время нахождения «команды» в Ростове карателями умерщвлено, расстреляно и заживо закопано несколько тысяч советских граждан, в числе которых были женщины, старики и дети.

С оккупацией гитлеровскими войсками гор. Краснодара зондеркоманда в начале августа 1942 года из Ростова переехала в гор. Краснодар. С прибытием «команды» в Краснодар по городу начались аресты, обыски и массовое истребление населения...

В городе Краснодаре был создан ряд карательных групп зондеркоманды: в Новороссийске, Анапе, Ейске и других городах края.

В начале 1943 года зондеркоманда СС 10-а в связи с отступлением гитлеровских войск из Краснодарского края перебралась снова в Крым, а затем через несколько дней прибыла в Белоруссию и разместилась в городе Мозыре.

Прибыв в Белоруссию, обвиняемые совместно с другими эсэсовцами «команды», которая к этому времени была переименована в «Кавказскую роту», приняли активное участие в борьбе с белорусскими партизанами и другими патриотами Белоруссии. Только в одной деревне Жуки Мозырского района карателями... было истреблено более 700 советских граждан.

В конце лета 1943 года «Кавказская рота» прибыла в Польшу, разместилась в городе Люблине и была придана Люблинскому СД. В Польше, так же как и на территории СССР, каратели принимали активное участие в борьбе с польскими патриотами и в расстрелах мирного населения.

Весь путь зондеркоманды СС 10-а, а позднее «Кавказской роты», обагрен человеческой кровью, омыт слезами женщин и детей, сопровождался криками истязаемых и плачем маленьких детей, просящих карателей не убивать их.

Расследованием установлено, что привлеченные по делу обвиняемые ПСАРЕВ, ДЗАМПАЕВ, ВЕЙХ, ЕСЬКОВ, БУГЛАК, СУХОВ, СКРИПКИН, ЖИРУХИН и СУРГУЛАДЗЕ принимали непосредственное участие во многих массовых арестах, истязаниях, расстрелах и умерщвлении советских граждан в машине «душегубке», совершаемых зондеркомандой СС 10-а на территории Краснодарского края, Ростовской области, Белорусской ССР, а некоторые из обвиняемых участвовали в истреблении патриотов и в других злодеяниях на территории Польской Народной Республики.

Эсэсовцы, под руководством главаря зондеркоманды СС 10-а палача Кристмана, учиняли дикие расправы над советско-партийным активом, военнопленными Советской Армии и лицами еврейской национальности...

КРИСТМАН

...Разыскивается по списку военных преступников как организатор массовых казней в городах Таганрог, Ростов, Краснодар, Ейск, Новороссийск, Мозырь, а также в связи с массовым истреблением военнопленных,—

КРИСТМАН КУРТ, доктор, род. 1.6.1907 г. в Мюнхене. Член НСДАП с 1.5.1933 г., партийный билет № 3203599. Личный № СС — 103057. Оберштурмбанфюрер СС (подполковник).

12.3.1931 г.— сдал 1-й юридический госэкзамен.

20.4.1934 г.— сдал 2-й юридический госэкзамен с отличием.

Прохождение службы:

21.4.34—14.11.37 г.— Главное управление имперской безопасности. Референт по вопросам прессы и марксизма.

15.11.37—16.6.38 г.— Главное управление имперской безопасности. Старший референт.

17.6.38—1.12.39 г.— Гестапо г. Мюнхена. Следователь.

1.12.39—1942 г.— Гестапо г. Зальцбурга. Начальник гестапо. Старший правительственный советник.

1942—1943 г.— Действующая армия. Начальник зондеркоманды СС 10-а.

1943—1944 г.— Гестапо г. Клагенфурта. Начальник гестапо.

1944—1945 г.— Гестапо г. Кобленца. Начальник гестапо.

В 1963 году я был в Западной Германии дважды — летом и осенью; конечно, не Кристмана ехал искать и не за военными преступниками отправился в путешествие. Я собирал там стихи — в Гамбурге, в Штутгарте, в Мюнхене. Привез в Москву целый букет — рифмованные, ухоженные, и без ритма, без рифм, где строки торчат как репьи, как сухие стебли. Пишут сейчас преимущественно о серьезных вещах, вроде жизни и смерти, и о том, как все надоело — и политика, и война, и мир, и нужда, и благополучие.

Никто из этих поэтов не знает, чего он хочет,— «ах, сытые, сытые свиньи, игроки в гольф»,— но и «политруки» им тоже не нравятся, и есть у них одна только утеха — вот так возлежать длинными ногами в потолок и ухмыляться в ожидании чего-то. А что значит это «что-то», они сами не знают: атомная война или всемирный потоп, или революция, или, может быть, контрреволюция. Все им противно, они то и дело издеваются, прямо-таки ненавистью исходят к своим уютным, обставленным квартирам, и к своим автомобилям, и к «частной собственности», но спросите, хотят ли они социализма, они скорчат такую гримасу, что вам уже не захочется их ни о чем спрашивать.

А впрочем, какое мне до них дело в этой книге, где я нахожусь на глубине в двадцать лет, где женщина из Таганрога прячется с тремя своими детьми в кукурузном поле, а в полицейском участке стоят в очереди на регистрацию жители Новороссийска и во

дворе зондеркоманды в Краснодаре идет разгрузка тюремного автобуса с арестованными. И резко пахнет кровью, пóтом и дезинфекцией...

Мои молодые поэты знают обо всем этом понаслышке или из книг, и они не хотят войны потому, что это — неуютно, и надо рано вставать, и как это так — кто-то будет ими командовать, и зачем все это нужно? Все это устарело. Теперь даже если война, военная служба, то пусть при помощи кнопок, чтобы, лежа на диване, вот так нажимать на белый пластмассовый клавиш — и все решится само по себе...

Но я должен собрать их стихи, и я слушаю, как они бубнят мне свои стихотворные откровения (стихи теперь принято читать без пафоса — бормотать), и я делаю вид, что понимаю внутренний, скрытый за словами смысл, хотя не понимаю ровным счетом ничего: слышу отдельные слова, а взятые вместе они для меня ничего не значат... И я досадую на свою отсталость, на беспомощную приверженность логике, «здравому смыслу», а может быть, дело не в отсталости, а в том, что я слишком переполнен Краснодаром, Ейском, фантастической близостью к Кристману, который живет где-то здесь, рядом с этими стихами, в то время как Скрипкина конвойный старшина-сверхсрочник ежедневно доставляет из тюрьмы в кабинет к следователю...

И я, пронзенный странной взаимосвязью явлений, сейчас вот, приготовившись было рассказывать о Кристмане, откладываю в сторону свои записи и совершенно отчетливо представляю себе, как я ехал по Западной Германии в поезде.

...Бесшумно ходят стеклянные двери, и в застекленных купе сидят в сладковатом табачном дыму исполненные чувства собственного достоинства пассажиры, и уютно качаются в сетках чемоданы, и поездной кельнер церемонно разливает в чашечки кофе, и па диванах — скомканные газеты, скомканная Кристин Киллер, скомканный Кеннеди, который тогда еще не был убит.

Я смотрю в окно: стеклянные корпуса заводов, дымные серокаменные улицы, мутный свет фонаря в тумане и ранние огни в окнах домов. Города следуют за городами, один город перерастает в другой, красные вывески баров, пивных, погашенные на ночь буквы. Перроны с привокзальными буфетами, стеклянные, облепленные обложками иллюстрированных журналов киоски, пассажиры в плащах, с поднятыми воротниками, дамы с собачками, проводник с красной, похожей на орденскую ленту, портупеей через плечо...

И все это так, словно ничего не было, и не обливалась кровью Европа, и детей не кидали во рвы...

И вдруг меня охватывает непонятное чувство жалости к этим людям, к Европе, оттого, что есть ощущение непрочности, что так легко все это разрушить, разбить стекло, фонарь, окна, перевернуть все это утро вверх дном и длинноногих чудаков, обритых, плачущих, загнать за колючую проволоку — ведь так уже бывало однажды...

И вновь я думаю о Краснодаре, о Кристмане и о том, почему, собственно, на каком основании в угловом розовом доме, в чужой стране, в чужом кабинете должен был восседать за длинным столом маленький тонкогубый человек с большими мясистыми ушами и какой смысл, какое значение и какая польза в том, что он умел пронзать, просверливать собеседника взглядом — качество, которое в нем особенно ценило начальство и женщины. У него был действительно леденящий сердце взгляд, вернее — четыре разновидности взгляда, один из которых предназначался для подчиненных и для женщин, другой — для допрашиваемых, третий — для товарищей и четвертый — для вышестоящих.

И все это казалось важным, существенным, тщательно отработанным: взгляды, холодная непроницаемость лица и тонкие, в злой беспредметной иронии губы, и фуражка с высокой тульей и кокардой-черепом.

Сейчас такой «персонаж» в такой форме — ерунда, кукла, бутафория, фигура из кинофильма или театральной постановки, между тем двадцать два года, двадцать лет назад перед ним трепетали и каблуками «выклацывали», и личный повар Бруно пек ему торты, и на допросах в огромном его кабинете харкали кровью арестованные, а на третьем этаже, в верхней комнате, сидела, ждала вечера наложница Томка, и два пса у него было громадных, две овчарки...

С этой вот Томкой, наложницей Кристмана, я встретился в зимней ледяной Москве. Был очень морозный, так что пар отовсюду валил, день,— я ждал Томку в метро; она приехала из далекого города по делам, мы с ней предварительно списались, и она обещала мне рассказать про Кристмана все, что помнит, хотя прошло уже двадцать лет, «но,— как она писала,— такой ужас и через сто лет забыть невозможно». Я знал, что Томка была очень хороша собой — худенькая, черноволосая девчонка — и что попалась она ему в Краснодаре среди арестованных гестапо советских граждан. В 43-м году нашими войсками был взят в плен один из сослуживцев Кристмана, и в его показаниях было тогда отмечено, что Кристман «держит около себя девушку, брюнетку, лет 18—20, которая живет на отдельной квартире, снабжается питанием и никакой, помимо обслуживания Кристмана, работы не выполняет...».

Я стоял в метро и всматривался в лица поднимавшихся по эскалатору девушек, пока не услышал над собой голос: «Вы, наверно, меня ждете?..» Передо мной стояла высокая, сутулая и немолодая женщина в черном пальто, повязанная платком, в больших зимних, похожих на мужские, ботинках, и во всем ее облике было что-то мужское, солдатское: большие, длинные руки, и грубые, красные пальцы, и широкий, почти солдатский шаг. Мы пришли ко мне, и та, которую я внутренне звал «Томкой», достала из сумки пачку папирос (это были тоненькие папироски, «гвóздики», и войной повеяло от их резкого, приторного дымка), затянулась и вот так, внутренне собравшись, уселась поплотней на стуле, словно приготовилась давать показания... Я знал, что Томка за

свою службу у Кристмана (ведь она с зондеркомандой прошла до самой Италии) отбыла в свое время «срок», потом была амнистирована, и конечно же никаких дополнительных расследований ей опасаться не приходилось. Все же Томка была начеку, ждала, может быть, подвоха с моей стороны. Я ее успокоил как мог.

Она снова полезла в сумку, стала вынимать оттуда какие-то сложенные вчетверо, протершиеся на сгибах бумажки, справочки, копии, и я подумал о том, как однажды пошла наперекос ее жизнь и что возмездие для нее наступило не столько в виде отбытого «срока», сколько в виде этих бумажек.

Человек, имеющий такие бумажки, дорожит ими, хранит в самом надежном месте. То и дело их надо кому-то показывать, предъявлять: видите — здесь мне ответили так, а здесь так, и все законно. Идет время, человек стареет, жизнь меняется, а бумажки все еще нужны, это его щит и его оружие, а оружие не должно лежать без применения.

Вот в чем, между прочим, состояла расплата за те годы, которые Томка провела вместе с Кристманом, хоть и не по своей воле, а все же п р о в е л а, и за то, что пока там, в подвале, расстреливали ее сверстников и сверстниц, она в своей комнате на третьем этаже сидела, ждала возвращения Кристмана из подвала, и хохотала с немцами, и ходила на кухню к повару Бруно, спрашивала, что нынче будет на обед, и рыжий, здоровенный Фриц Голендер, шофер душегубки, был ее задушевным приятелем. В этой душегубке, во время отступления команды, на марше, ей приходилось не раз ночевать — «навалим, бывало, матрацев и спим».

И вот Томка разложила передо мной пасьянсом свои справочки и начала рассказывать. Ее история началась с той минуты, когда ее, арестованную в облаве, доставили в кабинет к Кристману и она увидела человека очень маленького роста, худощавого, с острым лицом и гладко зачесанными назад волосами.

«...Я сразу поняла, что это из начальства. Большой кабинет, ковер. Стол, покрытый зеленым сукном. И он — маленький, из-за стола его почти не видно. Здесь же, при нем, был Раабе, офицер, и его личный переводчик Литтих Сашка. Чувствовалось, что он — начальник, потому что перед ним выклацывали по стойке «смирно», как псы... Он посмотрел на меня и что-то сказал переводчику, я не поняла, и меня отправили в подвал, в одиночную камеру, совершенно без света, цементный пол, и ни досок, ни стула, к тому же вода на полу. Кушать давали — раз в сутки пол-литровая банка соевой муки, разболтанной на сырой воде. И всё... Я просидела дней десять, и вот опять меня вызывает Кристман. Посмотрел сальными глазами и говорит: «Видите, таких, как вы, мы расстреливаем, но мы благородные люди, можем с вами поступить иначе, если вы согласитесь работать с нами...» Я думаю: была не была, черт с вами, там поглядим, как я буду работать,— и тут же согласилась, дала подписку, и меня снова отправили в подвал, только уже в общую камеру... После этого подвала у меня вспыхнул ревматизм, я ног не чувствовала, криком кричала. Вообще на нас

смотрели как на смертников. Сидела со мной одна казачка, она мне посоветовала полечить ноги мочевыми компрессами, и мне стало легче...»

Томка все это рассказывает уверенно: видно, много раз ей приходилось излагать свою эпопею, и в этой эпопее место наименее уязвимое и наиболее благополучное — начало.

«...Однажды приходит за мной в камеру Литтих. «Поедемте, говорит, в больницу». И меня под проливным дождем на линейке отвез в местную больницу, цивильную, на окраине Краснодара — на проверку и на излечение для дальнейшей моей работы, а в чем будет моя работа заключаться, я, конечно, не знала, хотя и догадывалась, а сама себе думала: может, я как-нибудь вырвусь, как-нибудь, как говорится, замнусь.

И вот через две недели я из больницы была выписана и доставлена обратно к Кристману, в помещение зондеркоманды. Дал он мне задание поселиться в комнатке, на верхнем этаже (со двора я не могла выходить никуда) и прикомандировал к себе: убирать его комнаты, печи топить... И тут-то началось ухаживание — век бы его не видеть...»

Томка надолго замолкает, курит, смотрит в пространство, туда, в сорок третий год... А я вижу ее совсем молоденькой, с черными распущенными волосами, сидящую в той комнатке, в зондеркомандовской светелке на верхнем этаже, смотрящую в окно.

«...Из окна я видела машину-душегубку. Она всегда стояла против подвала, огромных размеров, как шеститонка-холодильник, только окрашенная в грязно-зеленый цвет, совершенно закрытая, сзади дверца. Каждый день туда заправляли партии людей, но я поначалу думала, что это отправляют их в другую тюрьму или на подсобное хозяйство...

По утрам я видела в окно построение. Дежурный офицер выстроит команду, и является он, коротыш. Что-то порявкает строго, поклацают они каблуками — ни улыбки, ничего. И он такой серьезный.

Вечерами вижу — горит Краснодар, уже наши, стало быть, приближаются...

Каждый вечер он приходил ко мне, я женщина, мне об этом рассказывать неловко, но слушайте. Придет он ко мне, прижмется, притулится, а когда дело доходит до основного — раздевайся догола (это у них принято), обцелует, обмилует, а потом ни то ни се... Он, конечно, свое удовольствие делал, но по-скотски, не так, как люди...

Женщина остается женщиной, и мне порой становилось обидно: никогда у него не было никакого угощения, чтоб выпить или сладости. Видимо, из жадности, я не знаю... Не было, чтоб он спросил хоть на ломаном языке или на мигах: «Как у тебя, Тома, что?..» Я была его наложницей, и он никогда не интересовался моим настроением, отношением,— раз сказал, значит, надо идти...

Но там в Краснодаре, в этой команде, мне попались добрые люди, на кухне при столовой, которая называлась «казино»: тетя

Клара, повариха, и Бруно — повар. Бруно частенько что-нибудь да и уделит мне вкусненького: он был хороший человек и не разделял ихних действий. Бывало, увидит Кристмана, махнет рукой, скривится: «А, Тома, шайзе»,— дерьмо, значит.

Кристман этого Бруно из-за тортов держал, очень он любил торт, а Бруно был до войны знатный кондитер. Но вообще Кристман ел не много, мне приходилось накрывать ему на стол. Супник ставишь, тарелки,— больше рисовые супы, борщей он не ел, потом что-нибудь мясное — или биточки, или зразы...

Иногда они устраивали балы, это называлось у них «камерадшафтсабенд». На таких балах одни только германские немцы присутствовали, даже переводчиков не допускали и женщин. Я потом, утром, убирала за ними — что там творилось!.. Столы перевернуты, все смешано, рюмки, посуда побита, на полу видно, как рвали, и до туалетов не доходили, и за маленьким там делали...

Помню рождество в Краснодаре — Кристману прислали из Германии елочку, веточку небольшую. Единственный раз он угостил меня тогда бонбонами в трубочках...»

Томка пришла в себя, уже не боится «подвоха», через двадцать лет изливает мне свою обиду на Кристмана, сводит счеты. Сейчас она курит нервно и зло, сухо нашептывает:

«...А сам имел жену в Германии, дочь-школьницу! Я узнала от Бруно, из разговоров, такой факт, что Кристман поехал в деревню на операцию, взял двух девочек, поиздевался над ними и расстрелял. Вообще расстреливали они почем зря, даже своих не жалели. Помню, был расстрелян один ихний солдат: то ли он пытался бежать, то ли что-то сказал, точно не помню. А еще один раз я сама видела, как расстреляли перед строем офицера-немца, доставленного в команду откуда-то с фронта: его казнили за то, что он пожалел людей, которых они убивают, и раскис. Но это было уже позднее, в Белоруссии...

Мне сейчас факты конкретных зверств над мирным населением перечислить трудно, потому что на операции я с ними не ездила, а вот возвращение их с операций, особенно из деревень, мне из окна приходилось наблюдать неоднократно. Въезжают во двор машины, все они высыпают, грязные, усталые. Тот тянет гуску, тот — курку, тот — какой-то мешок. Оружие на них на всех. Пух они обдирали с живого гуся, укладывали в конверт и посылали в Германию. Я никогда раньше не слыхала, чтоб с живого гуся пух обдирали, и возмущалась: как можно?

Отправляли в Германию сало, суровое полотно выбеленное, трикотаж — целые свертки...

Что вам о них еще рассказать?

Книг у немцев вообще я не видела, чтоб они интересовались литературой, читали. Газеты были немецкие, какие — холера их знает.

Внешностью они мало чем выделялись, у многих были на пальцах понаделанные из монет кольца с изображением черепа. У меня впечатление было, что они не такие люди, как все, они изверги —

и всё. Почему? А потому, что необычно они относились к людям. Кличка «руссише швайне» сплошь да рядом, ненависть была, особенно к еврейскому населению, а уж на нас, женщин, смотрели... Попробуй им не угодить.

Вот так я прожила при нем в Краснодаре до самого отступления, до февраля 43-го года, пока однажды не пришел ко мне вечером в комнату Литтих Сашка. Я думала, что вызывает к шефу (случалось, что он не сам за мной приходил, а звал через Сашку). Но оказалось, что нам приказ сворачиваться, отступать на Камышанскую. Под утро мы уже выехали. Чувствовалось, что все они, офицеры, страшно наэлектризованы, такое было впечатление, что они понимают, что очень нашкодили и единственный у них выход — удирать. Сашка — тот совсем приуныл: «Ну, Томка, достанется нам здесь. Кристман и высшие офицеры улетят на самолете, а нас всех, как рыбочек, схватят». Но не схватили. Под утро я выехала с кухней, вместе с Бруно, тетей Кларой и еще одной официанткой. Кристмана я в тот вечер не видела, только уже в Камышанской мы с ним встретились вновь...»

Она и не могла видеть в тот вечер Кристмана, я это знал из документов. Точно установлено, чем он занимался ночью перед отступлением зондеркоманды из Краснодара.

В ту ночь Кристман обходил здание зондеркоманды, спустился в подвал, в тюремные камеры. Эсэсовцы разносили баллоны с бензином. Через двадцать минут вспыхнул огонь, заключенные бились головой о железные решетки.

В материалах Нюрнбергского процесса по этому поводу сказано: «...Быстро распространившееся пламя и взрывы предварительно заложенных мин сделали невозможным спасение заживо горящих заключенных. Из пламени удалось выскочить только одному, фамилия которого осталась невыясненной, так как он вскоре скончался в результате перенесенных пыток и полученных при пожаре ожогов...»

Об этом «одном», которому удалось «выскочить», я узнал теперь кое-какие подробности: он был красноармеец, узбек; во время пожара пытался выбраться из подвала через окно, немецкий часовой ударил его прикладом винтовки, выбил зубы. Но после того как гестаповцы покинули помещение, красноармеец, окровавленный и обгоревший, выполз на улицу, где его подобрала жительница Краснодара Рожкова и затащила в свой дом. Через несколько часов он умер...

Существует и другой вариант, рассказанный Марией Ивановной Глуховой.

Мария Ивановна на следующее утро после пожара шла по улице Орджоникидзе, к жене своего брата Елене Выскребцовой, и, проходя мимо здания зондеркоманды, обратила внимание на то, что все окна подвала были заложены камнями, а одно, угловое окно почему-то было сломано: ни стекол, ни решеток, осталась только ниша, да и она была повреждена.

«Вскоре я заметила,— сообщает Мария Ивановна,— как в этом

окне что-то копошится, затем показались руки человека и исчезли. Я поняла, что кто-то пытается выбраться из подвала, но не может, и я поэтому решила ему помочь.

Подойдя к поврежденному окну, я увидела незнакомого мужчину: он хватался руками за подоконник и стремился вылезти в окно, однако у него не было сил сделать это. Руки у него были сильно обожжены, поэтому тянуть его за руки я не могла. Сняв с головы платок, я продела его мужчине под мышки и начала его тащить. С моей помощью он наконец выбрался. Был он не русский, но какой национальности, сказать не могу, среднего роста, лет 30—35, одет в краснофлотскую шинель, на ногах был только один ботинок, на руке висел котелок. Лицо у него сильно почернело, язык почему-то был прокушен.

Из подвала пахло чем-то горелым, доносился смрад.

В это время ко мне подбежал незнакомый мальчик, и мы вдвоем отвели мужчину в полуразрушенное здание школы, находившееся поблизости. В школе мы нашли неповрежденную комнату, где и положили мужчину.

Мальчик принес в котелке воды, и мы напоили раненого.

Я стала расспрашивать, что же с ним произошло, однако он говорить не мог, знаками объяснял, что его чем-то облили и подожгли. Потом он умолк...

Полагая, что в подвале могли остаться и другие люди, я вернулась к зданию гестапо и стала разбирать камни, которыми были заложены окна подвала. Они не были зацементированы, а просто сложены один на другой и легко вынимались.

За камнями в окнах оказались железные решетки, а стекла были выбиты. В отверстии я никого не увидела...

Вскоре ко мне присоединилось несколько мужчин и женщин, которые, воспользовавшись отступлением немцев, прибежали к зданию зондеркоманды, надеясь спасти арестованных. Мы пробрались в подвал. Фонаря ни у кого не оказалось, поэтому мы освещали себе путь спичками и факелами из бумаги. Двери в коридор уже до нас были кем-то открыты. Когда мы зашли в коридор, то увидели там много обгоревших мужских трупов, но сколько их было, я сказать затрудняюсь, так как мы их не считали, да и освещение было очень слабое. В конце коридора у стены мы увидели обгоревший труп женщины, которая прижимала к груди труп ребенка, трех-четырех лет.

В глубине подвала, в левой стороне, часть стены была обрушена, оттуда шел сильный запах горелого мяса...»

Томка в это время была уже на западной окраине города, собрала свое барахлишко, сидела в обтянутом брезентом кухонном грузовике.

«...Запомнила я об этом отступлении, только как ехали мы через Краснодар, видим — висят повешенные...»

И никакой попытки бежать, воспользоваться суматохой!

«...Да уж куда мне было бежать, если я как бы связала свою судьбу с ними».

От Кристмана действительно уйти было нелегко. Он цепко держал в своих руках не одну только Томку, вся команда, вплоть до старших офицеров, его боялась, такой он обладал силой. Может быть, тут играла свою роль должность Кристмана, огромные, неограниченные права, которые он имел над жизнью и смертью людей, права, которые его самого убеждали в том, что он является «сверхчеловеком».

Говорят: не место красит человека, а человек — место, но это не всегда так. Часто самое «место» возносит человека, определяет его значение в глазах других, и вся его «железная воля» объясняется тем, что ему, по своему служебному положению, не так уж трудно быть «железным». Попробуй воспротивиться этой воле — в действие будет приведен весь в его руках находящийся аппарат, и того, кто задумал противиться, сотрут в одну минуту.

Все же Кристман был, если судить по рассказам очевидцев и документам, натурой активной, а не кабинетным бюрократом. Его всегда влекло к активным действиям, к операциям, и в этой связи мне вспоминается разговор с одним человеком, хорошо знавшим дело Кристмана. Он предупреждал меня, чтобы я не особенно увлекался описанием кристмановского садизма, так как это и без меня всем известно, а обратил главное внимание на его оперативные качества, поскольку Кристман был очень опытный и ловкий контрразведчик. Именно этим, а не только садистскими наклонностями, он объяснял личное участие Кристмана почти во всех расстрелах и повешениях: казнь ему была дорога́ как завершение разработанной и осуществленной по его разработке операции, и, как истинный творец операции, он наслаждался конечным ее результатом.

Я с этим вполне согласен, но сейчас мне до оперативных талантов Кристмана нет никакого дела. Да и что означал этот оперативный зуд? Был азарт сыщика, ловца, когда Кристман пытался вскрыть подпольные группы, подпольные обкомы, райкомы, нащупать партизанских связных. Было удовлетворение, когда во время облавы на партизан заляжешь на склоне высоты, махнешь в кожаной перчатке рукой — и поползут по твоему взмаху солдаты, а потом возвращаешься, в грязи и в пыли, и прекрасную ощущаешь усталость. И была, как бы в награду за труды, радость допроса, когда перед тобой человек — у него руки, у него ноги, и у него борода, и губы, и вот всю эту гармонию его лица ты можешь нарушить, испортить в один миг, смазав ее кулаком или плетью. И потечет кровь, и этот благопристойный и приличный нос превратится в сливу, заплывет глаз, а тебе ничего ровным счетом за это не будет, тебе даже спасибо скажут и повысят в чине.

Была и другая радость, сладкая, тайная: там, за дымными просторами России,— сокровенная, интимная Германия, милый, мирный, святой в своей чистоте дом, где в длинных ночных рубахах дети и жена, которая ждет. И Кристман пакует чемоданы, он любовно укладывает туда куклу, медвежонка, и часы, и радиоприемник, и трикотаж, и меховые вещи. Томка однажды подсмот-

рела, как он собирал такую посылку, но вот выписка из показаний военнопленного эсэсовца: «В феврале 43-го года, при эвакуации зондеркоманды, Кристман заезжал в Симферополь, там оставил ценности — три сундука советских денег, а награбленное золото переправил в Германию...»

Но была еще, слава богу, и идея — потому что ничего бы не стоила вся эта война, и убийства, и рвы, было бы просто кровавое безумие, безобразие, если бы не идея, ради которой все это делается. С идеей жить было легко, удобно (всегда находилось внутреннее оправдание — «я одержим идеей», «я фанатик») и выгодно: за верность идее платили, причастность к ней сама по себе была источником дохода, она давала деньги и власть. И Кристман благодарил фюрера за то, что идея была такой выгодной, ясной, гениально простой: нужно очистить человечество от скверны («скверной» считалось все человечество, кроме немцев), через кровь и трупы проложить дорогу «новому порядку» (вся предыдущая история была, по существу, беспорядком) — и тогда на этой крови расцветут розы, и музыка будет играть, и все будут разговаривать по-немецки.

Вот как он жил, не жалея сил, работал. Работы у Кристмана хватало, редко когда удавалось уложиться в составленный им самим распорядок дня: 7.40 — построение, информация о последних событиях (для офицерского состава), 8.00—12.00 — занятия, 12.00—13.00 — обед, 13.00—17.00 — занятия, с 17.00 — отдых.

Четыре оперативные группы занимались каждая своим делом. Лейтенант Кирмер, в прошлом полицейский сыщик, возглавлял группу (12 офицеров) по выявлению советского актива. Лейтенант Сарго отвечал за борьбу с партизанами, его группе доставалось больше всех. Но боевого опыта у Сарго было не много, до войны он был крупным виноделом и теперь еще тяготел к коммерции, присматривался к виноградникам под Краснодаром: неплохо бы прибрать их к рукам, построить здесь винный заводик...

Группу спецпроверки русского населения возглавлял лейтенант Пашен, старый разведчик, который в довоенные годы был резидентом чуть ли не во всех западно-европейских странах. Он хорошо изучил французов, англичан, итальянцев: каждая нация требовала своего подхода, своего «ключа»; впрочем, Пашен был убежден, что к каждому человеку при желании можно подобрать «ключ», надо только знать, какую человеческую эмоцию следует при случае использовать, потому что «сыграть» можно на всем — на убеждениях и предубеждениях, на достоинствах и недостатках, на любви и ненависти, на страхе и на отчаянной смелости, на самолюбии и на самоунижении, на элементарном желании выжить и на отвращении к жизни.

Однако Пашен, так же как и Кристман, все больше убеждался, что в России эта теория мало применима, вербовка агентов и провокаторов здесь проходит с трудом, может быть оттого, что русские, ввиду своей интеллектуальной отсталости, не поддаются обычной обработке и продолжают держаться за большевистские

догмы. К тому же картотечный учет и спецпроверка показывали, что коммунистические элементы не просто вкраплены в население, а составляют как бы его основу, в то время как лица, проявлявшие активную враждебность большевистскому режиму, являются исключением. Все это, по существу, опровергало выводы берлинских экспертов и руководящие инструкции сверху.

Сознание того, что в Берлине ошиблись с выводами, не давало Кристману покоя. Он не мог допустить, чтобы начальство ошибалось, и считал своим служебным и патриотическим долгом создать такую обстановку, которая соответствовала бы выводам «верхов»,— иначе говоря, рассуждал так, что должны быть исправлены не выводы, основанные на неверных фактах, а изменены сами факты, чтобы выводы оказались в конечном счете правильными.

Поэтому особые надежды он возлагал на четвертую группу зондеркоманды, которая носила тяжеловесное и малопонятное название: «Группа по оформлению управления на оккупированной территории». Возглавлял эту группу лейтенант Юргенсен — Юрьев, высокий седой старик, вступивший в германскую армию еще во времена гражданской войны, в оккупированном немцами Киеве. Именно эта группа, совместно с приданной ей ротой вспомогательной полиции, должна была физически ликвидировать все не угодные «новому порядку» человеческие контингенты и довести население до того минимума, при котором оно состояло бы только из благонамеренных лиц...

Тем большее удовлетворение Кристман испытывал, когда удавалось завербовать провокатора,— вот он сидит перед тобой и сейчас распишется в расписочке, такая давалась бумажка.

Заявление-обязательство

От . . . . . 194 . . . г.

Я . . . . , проживающий . . . . даю добровольное обязательство активно помогать германским властям в деле установления нового порядка и сообщать обо всех известных мне лицах, опасных для нового строя. Мне известно, что за разглашение данного обязательства я буду привлечен к строгой ответственности.

Подпись . . . .

Присвоенный псевдоним . . . .

А завтра этот человек, еще сгибаясь под тяжестью нового, непривычного ему бремени (бумажка эта тонны весит), войдет в дом к знакомым, к друзьям и будет выслушивать всякие вещи, и будет кивать головой в знак согласия, и даже вставит в разговор иное словцо, а потом придет в кабинет к длинному большому столу и отрапортует, и глаза-сверла пощекочут его поощрительно...

Среди ближайших сотрудников Кристмана следует упомянуть еще доктора Герца и заместителя Кристмана — Раабе, который непосредственно руководил расстрелами и повешениями. Раабе посвоему примечателен тем, что был когда-то уголовником, мошенником или вором, сидел долгие годы в тюрьме и вышел на свобо-

ду, как только нацисты захватили в Германии власть. Он отличался прямо-таки фанатической верностью Гитлеру и какой-то сверхъестественной, до абсурда, исполнительностью. Трудно было даже представить себе, что этот педантичный службист — в прошлом уголовник. Скорее всего, Раабе испытывал искреннюю благодарность Гитлеру и его режиму. Он не раз говорил: «Фюрер меня человеком сделал. Кто я был раньше? Асоциальный элемент, вор. А сейчас я — офицер».

Доктор Герц, врач команды, ведал душегубкой и, кроме того, оказывал медицинскую помощь офицерскому составу и переводчикам. В его обязанности входила также ликвидация русских лечебных учреждений и умерщвление содержащихся там больных. Он был, пожалуй, самым образованным из всех офицеров команды, выписывал из Германии книги и получил патент на изобретение черного порошка или черной жидкости, которой он смазывал губы арестованным детям. Смерть наступала мгновенно в четырех случаях из десяти — препарат требовал усовершенствования...

Вот что представляла собой в тот «краснодарский период» зондеркоманда СС 10-а, в которой рядовыми карателями служили Скрипкин, Еськов, Псарев, Сухов и другие изменники. Для Кристмана все они были на одно лицо: замызганные, суетливые и от своей запуганности и угодливости казавшиеся особенно свирепыми на операциях. Во время расстрелов Кристман и офицеры расстреливали со вкусом, с выдержкой, целились, стараясь изящно и метко сразить жертву, смаковали расстрел, а эти суетились, стреляли как попало, спихивали недострелянных в ров и торопливо засыпали яму землей, лишь бы «угодить» и поскорее закончить.

Эти люди были самыми презираемыми во всей команде, даже Юрьев и Герц ставили их ниже кристмановских овчарок, даже Томка и та относилась к ним с презрением: шакалы...

А между тем у каждого из них была своя судьба, своя тоска и своя надежда, и они, как самые подневольные, как стоящие на самой низшей ступеньке фашистской служебной лестницы, имели свою обиду на Кристмана.

Но о них мы еще поговорим в дальнейшем. Пока возвращусь к Кристману, чья благополучная жизнь в Краснодаре была так неожиданно и грубо нарушена зимним наступлением советских войск.

Это наступление воспринималось офицерами зондеркоманды как своего рода наглость со стороны русских, как непростительная дерзость, которая требует примерного наказания. Иначе они и не могли рассуждать, так как привыкли считать, что все их действия не являются какой-то кровавой прихотью или произволом, но абсолютно соответствуют «высшей справедливости», предначертаниям судьбы, перед которыми люди бессильны и которые недоступны пониманию обыкновенного человека.

Конечно же, рассуждал Кристман, нелегко сразу утвердить на огромных территориальных пространствах совершенно новый

порядок, практически осуществить замену отживших и не оправдавших себя форм жизни новыми, высшего плана, установлениями, очистить мир от тормозящих это развитие людских категорий. Но тем бо́льшая слава ждет тех, на кого возложена обязанность быть проводниками этих установлений, на пионеров грядущего мироустройства, которое рождается в кровавой борьбе и рассчитано на долгие тысячелетия.

Этот Кристман, и заурядный полицейский сыщик Кирмер, и уголовник Раабе, и доктор Герц со своим черным порошком — все они были глубоко убеждены, что им действительно открыты какие-то высшие, конечные истины, до которых не дошли целые поколения философов, писателей, государственных деятелей и которым «в силу отсталости» отчаянно сопротивляется почти все человечество.

Но они были уверены в своей абсолютной правоте и в «разумности» своих действий еще и потому, что события развивались исключительно благоприятно, успех следовал за успехом, и какие могли быть сомнения в правоте, если почти вся Европа стала немецкой и Кристман находился на официальной должности не где-нибудь, а в Краснодаре, на Кубани, которая тоже отныне принадлежала Германии! Видимо, само провидение, «мировой разум» хотели, чтобы было так.

И Кристмана раздражала непонятливость русских, их попытки сопротивляться тому, что п р а в и л ь н о, тому, что должно быть, «высшей воле», их стремление перехитрить «мировой разум» при помощи танковых атак или партизанских операций.

Но по мере того как стало выясняться, что с окончательной победой Германии дело затягивается, Кристман все меньше думал о провидении, о неизбежности «нового порядка» и других высоких материях. Сам тому удивляясь, он замечал, что из «сверхчеловека» он постепенно превращается в обыкновенного Курта Кристмана, которому хочется только одного: жить, вернее — выжить, унести ноги подобру-поздорову. Конечно, со стороны никто не мог заметить происходившей в нем перемены. Все так же осуществлялись карательные акции, бесперебойно работала душегубка, прочесывались партизанские деревни. Кристман даже с еще большей яростью пытал и расстреливал: мстил за крушение и д е и, за неудачи. Его томило желание напоследок, перед неминуемым уходом из России, напортить, нагадить как можно больше, «наломать дров», чтобы долго о нем здесь помнили.

Но с л у ж е н и е для Кристмана кончилось. Теперь это была просто с л у ж б а...

Вместе с германскими частями зондеркоманда отступала на запад. Навстречу чему?..

И Томка рассказывает мне:

«После Краснодара мы жили недели три в Камышанской, настроение у всех было подавленное, чувствовалось, что разладилось дело, и сидели они как щур в горах: посты повыставляли, боялись, особенно по ночам, что их захватят. Камышанская находилась над

самыми плавнями, и я из разговоров слышала, что там, в плавнях, есть партизаны.

С нами вместе была девушка Лида, ее, так же как и меня, взяли под Краснодаром, определили в санчасть, но это — формально, а фактически кто-то из офицеров, сейчас уже не скажу кто, держал ее при себе. Однажды утром, часов в девять, я пошла по воду к лиману, вижу — она лежит в лимане убитая, лицом вниз. Я прибегаю в команду, вся дрожу: стало быть, убили ее партизаны за то, что она с немцами, и думаю, как бы мне не было то, что ей. Тут Сашка пришел. «Да ну, говорит, не убьют тебя, не бойся. А вообще положение такое, что не знаем, как выберемся отсюда». Но вскоре разнесся слух, что Лиду сами немцы убили, так как она была подосланная, была советская разведчица.

Одним словом, все у них не клеилось, жили только одним: скорее бы отступить. Хорошо помню солнечный февральский день, когда принесли радостную весть и кто-то из офицеров выскочил от Кристмана и закричал: «Едем, едем, едем!..»

И через несколько дней все погрузились и выехали в полном составе по направлению на Темрюк. За Темрюком ночь переночевали и встали в очередь на переправу. Там есть коса — «чушка» называют эту косу,— мы на этой косе суток трое, наверное, стояли по дорогам. Офицеры ходили, охотились в озерах на диких уток, убивали время. Когда подсунулись к переправе, там войск полно, и команду нашу ни за что не хотят пропускать: нашелся какой-то немецкий полковник армейский, как увидел, что СС, так сразу нас и задвинул в хвост,— видно, что не любил СС. Кристман, помню, рассвирепел, ругался, говорил, что среди немцев полно предателей и что он до этого полковника доберется. Еле-еле уладил, и нас пропустили пораньше. Переправлялись под усиленной бомбежкой советской авиации. Всю дорогу настроение было ужасное.

Переночевали в Симферополе, а на второй день выехали в Феодосию, а затем на Джанкой...

К тому времени состав команды уже начал меняться — выбыли куда-то Юрьев, Герц. Повар Бруно на переправе был ранен, лег в госпиталь и уже не вернулся оттуда. Стал меня опекать шофер душегубки Фриц. Его все боялись. Это был человек высоты двери, рыжий, типичный немец: крупный нос, глаза голубые, но мутные, огромные волосатые ручищи. Знаю, что у него была на родине девушка, он показывал фотокарточку — красивая такая медхен... Фриц ходил всегда неопрятный, ничего из одежды у него не было свежего, вечно потный. Как-то в воскресенье он напился, разбушевался между своими камерадами, взял из-под бензина бочку и кинул,— они все разбежались, еле его успокоили. Но ко мне относился по-человечески. Я после Джанкоя до самого Мозыря, пока отступали, спала в душегубке,— так Фриц мне всегда наложит одеял, матрацев и местечко выберет поудобней, чтоб не трясло. Но мне он был противен, мне больше нравился Ганс, его напарник. Тот был поспокойней, покультурней...

Из Джанкоя нас перебросили в Мозырь, в Белоруссию. Прибыли мы в апреле — березки уже распустились,— заняли двухэтажное помещение школы. Во дворе школы был особнячок, там жили высшие офицеры, там же вели следствие. Мы же разместились в самой школе.

В Белоруссии атмосфера была напряженная, кругом были партизаны, и операции против них велись день и ночь. С Кристманом я в тот период встречалась редко, не до меня ему было. Как шальные они метались из одной деревни в другую, шарили в поисках партизан, сжигали села и подчищали, уничтожали всех, кто им попадет под руку. Это был какой-то кошмар, казалось, что они все взбесились. В одной деревне побросали в колодец детей, в другой — перевешали всех жителей на деревьях, потом я сама видела, как во дворе школы расстреляли учительницу-партизанку. Помню еще случай: привезли пленного комиссара. Его ужасно пытали, несколько суток, кажется, шел допрос. Только и разговору было что об этом комиссаре. Он так и умер от нечеловеческих пыток.

Я тогдашнее их бешенство могу объяснить страхом: нигде они так не боялись партизан, как в Белоруссии. Говорили, что все дороги минированы, что в лесах действуют целые партизанские армии. И на самом деле — часто они возвращались с операций, везя с собой трупы убитых офицеров и переводчиков. И ходили грустные, шептались между собой: что, мол, будет? Наши же русские изменники реагировали меньше: им было все нипочем — один ответ...»

Но Томкин рассказ мне придется сейчас снова прервать ввиду некоторой его беглости: попробую дополнить его показаниями других очевидцев.

Километрах в сорока от Мозыря расположена лесная деревня Костюковичи: сюда еще и сегодня наведываются следователи и прокуроры, пытаются уточнить историю здешних колодцев. Собственно, история этих колодцев известна, старые колодцы говорят сами за себя, потому что они переоборудованы в памятники; сруб здесь — своего рода пьедестал, на котором возвышается обелиск с надписью: «В этом колодце немецко-фашистские захватчики утопили столько-то (следует цифра) советских патриотов, жителей деревни Костюковичи».

В июле 1943 года Кристман во главе зондеркоманды направился сюда из Мозыря — выехали ночью по боевой тревоге на автомашинах, с собой везли 45-миллиметровую противотанковую пушку. Задумана была большая операция.

Прибыли к утру, в полутора километрах от деревни остановились и увидели, что из Костюковичей по направлению к лесу толпами бегут люди.

Кристман, оценив обстановку, понял, что людей не догонишь, а забираться в лес он из-за партизан не решался, поэтому приказал развернуть орудие,— снаряды попадали прямо в толпу, много женщин и детей было убито, почти никто не ушел. После этого

деревню оцепили, Кристман с эсэсовцами-офицерами и взводом солдат вошли в деревню, и тут снова раздались крики, заметались жители, поднялась стрельба...

Один из участников этой операции, стоявший тогда в оцеплении, на допросе вспоминал:

«...Через некоторое время нас с оцепления сняли. Когда я вошел в село, то увидел, что в одном месте была собрана небольшая группа людей, предназначенных для отправки в Германию, остальных — также группами — согнали к колодцам. У одного из колодцев стояло человек пятьдесят — женщины, старики, дети, причем среди детей были и грудные, которых матери держали на руках. Вся эта группа волновалась, кричала, плакала. Кое-кто пытался вырваться и уйти, но солдаты их тут же загоняли в толпу. Затем я увидел, как к этой группе подошел Кристман, отдал распоряжение карателям: что-то кричал, размахивал руками. Солдаты стали хватать людей, бросать их в колодец, толпа сопротивлялась, тогда, по команде Кристмана, эсэсовцы начали в упор расстреливать толпу из автоматов. Люди падали. Кристман рукой указал на колодец, и туда стали сбрасывать мертвых, раненых и даже тех, кто вовсе не был ранен, в том числе и детей.

Расправа длилась полтора часа, затем собрали весь скот, выгнали его из деревни, а деревню сожгли...»

Томка сказала, что об этой операции она кое-что слышала, но подробностей вспомнить никак не может.

В начале августа Томка узнала, «будто бы советскими войсками захвачено несколько карателей и в Краснодаре состоялся над ними суд, где они показывали на Кристмана, на Раабе, на офицеров, в общем на всю команду. Это известие вызвало большую тревогу...»

Суд, о котором говорила Томка, был знаменитым в свое время Краснодарским процессом 1943 года — первым в истории судебным процессом над фашистами.

Все газеты мира писали об этом процессе, на экранах показывали документальный фильм. Диктор говорил: «Пусть знают кристманы, герцы, кровавые палачи из зондеркоманды СС 10-а, что им не уйти от расплаты».

Конкретность в именах, в фактах была тогда чем-то неожиданным. Фашизм обычно связывали с именами главарей — Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Теперь же вырисовывались лица конкретных исполнителей, участников, составлялся счет, с указанием, кому и за что придется по этому счету платить.

Этот процесс заставил Кристмана по-новому взглянуть на события. Привыкший к тому, что все, что он делает, одобрено, разрешено и предписано законом, он вдруг установил, что существует и другой закон, согласно которому его действия считаются уголовным преступлением, и что за этим «другим законом» стоит государственная власть — судебный аппарат, армия. Словом, он, Кристман, из боевого офицера теперь как бы превращался в уголовного преступника, и для него отныне речь шла не о том,

как успешно вести войну, а о том, как скрыться от суда. Это унижало, лишало привычной собранности. Впервые его охватил новый, неведомый ему прежде страх — не страх смерти в бою, а страх перед судом. И, движимый этим новым страхом, подчиняясь логике преследуемого законом уголовного преступника, он лихорадочно искал спасения, заметал следы, нервничал.

В Томкином рассказе это выглядело так:

«...Я начала замечать, что он не в себе, стал рассеяннее, а вскоре пошли в команде разговоры о том, что Кристмана откомандировывают в Германию. И однажды — это было в конце августа — он пришел ко мне днем (первый раз он пришел днем) и сказал, что уезжает в Германию. Я ответила, что знаю, слыхала уже. Он потрепал меня по щеке и пожелал счастья.

А через какое-то время и вся команда уехала, и я с ними вместе, в Люблин, в Польшу, где стали мы называться не зондеркомандой, а Кавказской ротой СД...»

Дальнейшие похождения Томки — уже без Кристмана: люблинское СД, Майданек, Ченстохов, Германия, поход через Югославию в Италию, в надежде сдаться американцам, и вот — «в одном месте нас задержали итальянские партизаны, сняли с машин и отправили в лагерь. А потом — куда брести? Приехали советские представители, возвращаться надо...»

Томка сидит напротив меня, жалкая коллаборационистка, мусор войны... Папироска у нее погасла, и сама она погасшая, усталая — измотал ее этот рассказ. И вовсе она теперь не Томка, а Тамара Даниловна...

И она говорит: «Человек человеку — разница. Один человек может, жизни не щадя, держаться, а другой... Вот мальчишки дерутся, один искровавленный весь, а держится. А другой — его налупили, и он согнулся. У меня такое мнение, что я была из числа тех, кто согнулся. Это своеобразное человеческое поведение. А уж зацепился, сделал первый шаг — и возврата нет, и продолжаешь делать последующее...»

И, придвинув ко мне свои справки, она заключает просьбой: «Вы бы поглядели... Тут у меня все мое дело. Я думаю, нельзя ли мне выхлопотать восстановление стажа, так как ведь не по своей вине я находилась у них, а как бы пленная...»

Вот в связи с этой эпопеей, где все на пределе, где самое дно «бездны», мне и вспомнилось мое путешествие в ту страну, откуда пришел к нам однажды Кристман со своей зондеркомандой. Эта страна жила своей жизнью — ела, пила, веселилась, торговала, строила, вооружалась, проводила кинофестивали и шумные политические митинги,— но мало кто сгорал со стыда, мало кто думал о Кристмане, как если бы он не имел к этой стране ни малейшего отношения. А он был здесь, я знал это из отрывочных и неясных сообщений. Он был где-то здесь, то ли в Гамбурге, то ли в Мюнхене, и я испытывал чувство, какое бывает, когда сидишь в комнате,

а тебе кажется, что присутствует еще кто-то, невидимый, спрятанный за портьерой...

После Мозыря Кристман был назначен начальником гестапо сначала в Клагенфурт, в Австрию, а затем в Германию, в Кобленц, где прослужил до самого конца войны, занимаясь будничными своими делами: ловил дезертиров, которых с каждым днем становилось все больше, выявлял саботажников и людей, уличенных в пораженческих настроениях. Это были пожилые рабочие, и чиновники, и молодые студенты, и солдатские вдовы, и вернувшиеся с фронта инвалиды войны.

Всех их доставляли в кабинет, где за длинным столом восседал маленький тонкогубый человек с большими мясистыми ушами. Они смотрели в его лицо и понимали, что это — конец, что это — гестапо, откуда нет выхода. И они досадовали на свою судьбу, потому что двенадцать лет беда обходила их стороной, а сейчас, когда приближалась развязка и вот-вот должен был развеяться двенадцатилетний кошмар, с ними случилось непоправимое несчастье.

К тому времени Германию с востока и с запада уже кромсали союзные армии, но там, куда они еще не дошли, фашистский быт сохранялся во всей своей повседневной незыблемости, с гестапо, с нацистскими газетами, в которых спокойно сообщалось о «росте национального дохода» и видах на урожай, с обычными радиопередачами: 19.30—19.45 — сводки с фронтов, 19.45—20.00 — статья доктора Геббельса, 20.15—22.00 — Моцарт, «Волшебная флейта»...

За пять дней до капитуляции Кобленца Кристман еще допрашивал арестованных, шагал по кабинету, резким голосом кричал: «Ты, свинья! Ты, безмозглая задница! Ты, отвратительный, смердящий ублюдок! В то время как весь народ, не щадя крови, приносит себя в жертву, чтобы спасти цивилизацию от большевиков, ты наносишь ему предательский удар в спину!..»

И он ставил на протоколе допроса условный знак — крест, обозначавший смерть.

ИЗ СТАТЬИ СОБСТВЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «ТРУД» В БОННЕ А. ГРИГОРЬЯНЦА...

...Штахус — самое бойкое место Мюнхена, центральная площадь города, куда вливается множество улиц. Круглый день она захлестнута толпами людей и потоками автомобилей. Над площадью высится светлый многоэтажный дом: Штахус, Штютценштрассе, 1. В одной из витрин — рекламный щит: «Вы выбрали правильно: маклерское бюро доктора Курта Кристмана. Земельные участки, дома, квартиры. Третий этаж».

Поднимаюсь на лифте, вхожу в приемную. За пишущими машинками две молодые дамы. Налево в открытую дверь видны столы служащих. Направо — кабинет шефа. Солидная контора.

Секретарша докладывает. Вхожу к шефу. Навстречу спешит маленький человек с длинным лицом и мясистыми торчащими ушами...

— Не вы ли Курт Кристман, бывший начальник зондеркоманды СС 10-а?

— Нет, я такого не знаю.

— Вы были в России?

— Был, но солдатом...

Смотрит прямо в глаза, ни тени волнения, спокоен и уверен. В следующее мгновение засыпает меня вопросами: откуда я знаю Кристмана, какие имеются доказательства его виновности, сообщила ли мне что-нибудь о Кристмане прокуратура?

Шеф конторы пускается в воспоминания о России:

— Прекрасная страна, замечательный народ.

Выражает «сожаление», что был в СССР как оккупант. Переходит к своим коммерческим делам: все прекрасно, конъюнктура отличная. Население Мюнхена растет, спрос на жилье огромный.

Провожая меня до самого выхода, приглашает заходить.

— Да, но где же мне искать того Кристмана?

— Если мне что-нибудь станет известно, сообщу.

Покидаю контору процветающего дельца. Пересекаю Штахус и... иду в прокуратуру. Прошу, наконец, определенно сказать, какова сегодняшняя профессия Курта Кристмана, бывшего оберштурмбанфюрера СС.

— Маклер по недвижимому имуществу. Земельные участки, дома, квартиры...

СКРИПКИН

О Скрипкине мне рассказывали в Таганроге в первый мой приезд: «Это наш, таганрогский». Его хорошо в городе знали: фигура приметная — долговязый, с острыми плечами, глаза глубоко запавшие, голос сиплый. И фамилия прилипчивая, немного смешная — Скрипкин.

До войны он был футболистом, имел даже своих болельщиков, тогда говорили: «Скрипкин — этот забьет!», «Дает Скрипкин!» А потом, уже при немцах, увидели вдруг Скрипкина на улице с повязкой полицая и ахнули: вот так Скрипкин, центр-форвард!

Куда-то он вскоре с немцами исчез, и жена его все ездила зачем-то, говорили — к нему, барахло от него привозит с убитых. Объявился он только в 56-м году, когда вышла амнистия,— опять он был в Таганроге, Скрипкин. Только был он теперь не прежний футболист, а сильно ссутулился, ссохся, сипел и кашлял в платок.

Скрипкин поступил на хлебокомбинат, и всегда вокруг него какой-то шумок был. То его куда-то вызывают, то на работу к нему приходят люди в штатском, беседуют, записывают что-то; на судах он выступал несколько раз свидетелем...

Между тем в ходе свидетельских его показаний все ясней становилось, что был он не простым полицейским, хотя до самого ареста убеждал следователя: «Не такой я человек, чтоб скрывать. Было бы за мной что — сам бы раскололся. Отцепитесь вы от меня, ради бога».

Может быть, и стоило отцепиться от Скрипкина, да не отцепились: следователь настоял на своем — в 62-м году, 5 ноября, под праздник, явился к нему: «Ну, Валентин Михайлович, поехали...» Валентин Михайлович спорить не стал, грустно надел пальто, шапку, пошел, как во сне.

Этот следователь мне потом рассказывал: «Привез я его в Ростов, только сел писать первый протокол, он тут же и рассказал

все основное. И так уж держался до самого конца следствия, не отступал от своих показаний».

А «показывать» ему было что: из таганрогской полиции он попал в Ростов, в зондеркоманду. Соблазнил его на это дружок — Федоров, художник кинотеатра «Рот фронт», назначил Скрипкина своим помощником (Федоров был в зондеркоманде взводным). С немцами, с гестапо, проделал Скрипкин весь путь: был в Ростове, в Новороссийске, в Краснодаре, в Николаеве, в Одессе, затем — в Румынии, в Галаце, в Катовицах, в Дрездене, в Эльзас-Лотарингии, расстреливал, закапывал, конвоировал узников в Бухенвальд, в Николаеве служил охранником в гестаповской тюрьме, наконец, стерег под Берлином, в международном штрафном лагере, венгров, поляков и итальянцев.

Впервые в «массовой экзекуции» Скрипкин участвовал в Ростове — там 10 августа 1942 года на домах немцы расклеили «Воззвание к еврейскому населению города Ростова».

Вот полный текст:

«В последние дни имелись случаи актов насилия по отношению к еврейскому населению со стороны жителей неевреев. Предотвращение таких случаев и в будущем не может быть гарантировано, пока еврейское население будет разбросанным по территории всего города. Германские полицейские органы, которые по мере возможности противодействовали этим насилиям, не видят, однако, иной возможности предотвращения таких случаев, как в концентрации всех находящихся в Ростове евреев в отдельном районе города. Все евреи гор. Ростова будут поэтому во вторник 11 августа 1942 года переведены в особый район, где они будут ограждены от враждебных актов.

Для проведения в жизнь этого мероприятия все евреи, обоих полов и всех возрастов, а также лица из смешанных браков евреев с неевреями должны явиться во вторник 11 августа 1942 года к 8 часам утра на соответствующие сборные пункты...

Все евреи должны иметь при себе свои документы и сдать на сборных пунктах ключи занятых до сих пор ими квартир. К ключам должен быть проволокой или шнурком приделан картонный ярлык, носящий имя, фамилию и точный адрес собственника квартиры.

Евреям рекомендуется взять с собой их ценности и наличные деньги; по желанию можно взять необходимейший для устройства на новом местожительстве ручной багаж... Беспрепятственное проведение в жизнь этого мероприятия — в интересах самого еврейского населения...

За еврейский совет старейшин *д-р Лурье*».

И внизу по-немецки: «SS — Sonderkommando 10-а».

В Ростове, весной 1963 года, я случайно оказался на том месте, где был один из таких сборных пунктов. На улице Энгельса, напротив «Московской гостиницы», возле железной ограды парка,

я стоял, пытаясь представить себе, что здесь делалось и как бы я тут стоял в августе 1942 года, поскольку жизнь — это цепь непредвиденных и необъяснимых ходов. Кто знает?..

Но тогда здесь стоял не я, а доцент Ботвинник — преподаватель литературы Ростовского пединститута, и рядом с ним — преподаватель английского языка Бакиш и студентка третьего курса Леви. Они пришли сюда не под конвоем — сами явились, с вещами, с чемоданчиками, и отдавали, согласно «воззванию», снабженные бирками ключи от своих квартир. Многих пришли провожать соседи, знакомые, а доцент Ботвинник пришел вместе со своей «не-еврейкой» женой, которая довела его до железной ограды, а потом перешла на противоположную сторону улицы, там, где «Московская гостиница». И доцент Ботвинник смотрел на свою жену и не плакал, а по ее лицу катились слезы...

И вот — странное и страшное дело: улица как улица, какая, собственно, разница, правая сторона или левая, но между теми, кто стоял у гостиницы, и теми, возле железной ограды парка, пролегла граница, отделявшая жизнь от смерти, и уже никто не решался эту границу переступить. Не нужны были ни крепостные стены, ни колючая проволока, ничего,— только двух слов было достаточно, чтобы определить место и судьбу человека: «Вам сюда...»

Доктор Лурье принимал ключи и успокаивал плачущих: «С вами ничего не сделают, чего вы паникуете? Вы будете жить в отведенном для вас городке и работать, как раньше».

Подъехали крытые брезентом грузовики. Люди с чемоданами залезали в машины, подсаживали стариков, брали на руки детей. Возле гостиницы замахали платками...

...Взводу Федорова приказали отправиться на операцию. Явился немецкий офицер, через переводчика объяснил: грузиться в автобусы. Переводчик был в немецкой форме, но без погон, местный немец — «фольксдойче». То, что он был «дойче», делало его на две головы выше всех остальных из федоровского взвода, он принадлежал к избранным, к высшим, однако то, что он был не германский немец, а «фолькс», как бы несколько обесценивало его арийскую сущность, и поэтому он в зондеркоманде занимал некое промежуточное положение...

Скрипкин с винтовкой забрался в кузов; что за операция, он еще не знал, подумал только: может, пленных везут конвоировать или на облаву. Ехали через весь город, на далекую окраину. Километрах в десяти от Ростова машины остановились, и Федоров скомандовал: «Вылазь!» Скрипкин вылез, осмотрелся — вдали виднелась железная дорога, станционные постройки, домики. Рядом был глубокий песчаный карьер. Около этого карьера их поставили полукругом — немецкий офицер командовал, переводчик переводил, и Скрипкин тогда догадался, в чем дело.

Вскоре со стороны Ростова показалась первая, крытая брезен-

том машина. Она остановилась неподалеку от карьера. Из машины вышли люди с чемоданами...

«Операция» проводилась следующим образом. Возле одного из домов привезенные раздевались,— сразу же начинался шум; кричали от неестественности ситуации и от ужаса, потому что как так: приехать куда-то — и вдруг, ни с того ни с сего, велят раздеваться донага, торопят, и хотя ничего не объясняют, все уже становится совершенно понятным. И тогда их охватывало чувство смертельной дурноты, которое бывает, когда тонешь или во время сильного сердечного приступа. И все же в последнем отчаянии сознание еще продолжало сопротивляться, билось, верило, что сейчас все это развеется, в последнюю секунду выплывешь, произойдет чудо,— и отчаянный взгляд человека на краю обрыва цеплялся за Скрипкина. Но он стоял угрюмый, непроницаемый, с левой стороны, рядом с полицейским Лобойко, и не сводил глаз с жилистого немецкого офицера, который бегал с автоматом на шее, суетился, приказывал, подталкивал людей к бровке, ставил их на колени, а затем стрелял им в спину или в затылок. Скрипкин спросил Лобойко, кто этот офицер. Так он впервые услыхал имя Герца.

Напротив себя, в правой стороне полукольца, Скрипкин приметил молодого толстого полицейского в полувоенном френче. Парень держал винтовку неумело, его пухлые руки подрагивали. Когда мимо него подводили к бровке людей, он от них отворачивался. Герц хлестнул его взглядом, парень перестал дрожать, сжал винтовку покрепче. А потом Скрипкин услышал крик — это уже к нему, к Скрипкину, обращался командир взвода Федоров: «Стреляй!» Он вскинул винтовку и выстрелил.

...Когда «операция» закончилась, Скрипкин сказал Федорову:

— Картина очень тяжелая, давай едем домой...

Федоров ответил:

— Ты что, с ума сошел? Расстреляют и нас, и семьи наши...

Вечером Федоров затащил Скрипкина на склад, где лежали вещи убитых. Барахло было не бог весть какое — Скрипкин ждал большего,— все же они потихоньку, чтобы не заметили немцы, выбрали себе каждый по костюму двубортному, а Скрипкину достались еще и детские распашонки, правда сильно испачканные кровью.

Придя в казарму, они выпили — после «операции» полагалась водка,— и Скрипкин вспомнил о доме, представил себе, как обрадуется жена, получив от него посылку, и на душе у него потеплело...

Так убийство стало его профессией. Три года подряд он расстреливал, вешал, заталкивал в душегубки — долговязый человек в крагах и сером пиджаке. И раз уж он убивал и раз уж у него была такая служба, то он хотел, чтобы это было не за «здорово живешь», не задаром, а чтобы хоть что-то нажить на этой работе.

В зондеркоманде, среди карателей, Скрипкин слыл одним из самых «богатых»: чего он только не напихал в свой вещмешок, пройдя пол-Европы!

Став помощником командира взвода, он других карателей просто «доводил» своей требовательностью, во все совался, ни одна почти операция не проходила без его личного участия... Здесь, в этой страшной команде, которая колесила по дорогам войны, Скрипкин почувствовал оседлость, проникся солидностью своего положения, и, хотя его власть распространялась всего лишь на нескольких изменников, все же это была власть, и он дорожил ею.

На третьем году Скрипкин увидел, что война немцами проиграна, все летит к черту. Тогда он решил начать новую жизнь, подался к американцам, но в горячке первых послевоенных дней был американцами передан на советский фильтрационный пункт, где его разоблачили как «бывшего полицейского» и на десять лет отправили на Колыму...

Работал он там, говорят, неплохо, но ни лагерное начальство, ни товарищи по заключению не знали, конечно, что покладистый и болезненный Скрипкин — величайший злодей, на счету у которого много сотен, а может быть, и тысячи загубленных человеческих жизней.

Один только Скрипкин знал о себе все.

И вот в феврале 1963 года в Краснодаре, на допросе, я вижу Скрипкина.

У него длинные руки, косой нос, весь он какой-то складной, как нож,— можно, кажется, сложить пополам его ноги, руки, длинное туловище...

...Его ввели сонного, заспанного; синий свитер, серый потертый пиджак, волосы зачесаны гладко назад. Уселся за столик, скрестив длинные, в кирзовых сапогах ноги. Я смотрю на его скучающее лицо, на то, как больничными, чистыми пальцами он вертит спичечную коробку, выслушивает вопросы следователя и отвечает покладисто, односложно.

В Краснодаре, в тюрьме, его лечат, возят в городской тубдиспансер на «поддувание» (пневматоракс), следователь ведет допрос беззлобно:

— Так давайте уточним, Валентин Михайлович...

И он уточняет:

— Во время расстрела я помню такой случай. Среди арестованных находилась молодая женщина, с нее сорвали нижнюю рубашку, затем, с целью поглумиться,— и трусы. Не выдержав надругательств, она бросилась на карателей, среди которых стояли я и Еськов. Мы от неожиданности отпрыгнули в сторону. Женщина была сбита с ног немцами, а мы с Еськовым схватили ее, голую, за ноги и за руки, подтащили к окопу и сбросили туда. Там она была убита немцами...

Обо всем этом он рассказывает медленно, сонно. Сидит, подперев длинную, вытянутую голову костлявым кулаком, курит, экономя папиросы и спички...

Перед тем как присутствовать на допросе Скрипкина, я прочел его дело, протоколы его показаний и заготовил несколько вопросов, которые мне разрешили ему задать.

Теперь я сам понимаю, насколько эти вопросы были наивными, но о чем было спрашивать?

1. Сколько времени вы при немцах прожили в Таганроге до вступления в полицию?..

— Октяберь, нояберь, декаберь... Время было тяжелое, особенно с материальной стороны. Ходил в села, менял барахло на продукты, семья голодала, и сам был голодный. Так шло месяца три-четыре, пока не познакомился с художником Константином Федоровым. Он говорит: «Дурак, хочешь, я тебя устрою, приходи завтра ко мне...» Скандалы были у меня с женой и тещей, ругали меня сильно за то, что связался с полицией...

2. Отношение к вам со стороны бывших товарищей, соседей по работе (в Таганроге)?

— Относились с презрением, чуждались...

3. Почему вы стали убийцей?

— Попал в свиное стадо, вот и сам стал свиньей...

4. Что вы делали после расстрелов?

— Кушали, газету читали, играли — в домино, в карты. Или разучивали немецкие строевые песни...

5. Кристман?

— Кристман — это фигура, все его боялись...

6. Вот вы доставляли арестованных в Бухенвальд и бывали в Веймаре. Какое Веймар на вас произвел впечатление?

Я вспоминаю Веймар, дом Гёте, дом Шиллера, брусчатку перед театром, замок герцога — Скрипкин в Веймаре?! — но, не обращая внимания на мою «литературщину» и не зная, кто я такой, Скрипкин без раздражения и недоумения говорит:

— Ничего не нашел там, в Веймáре, достопримечательного: небольшой такой городок. Материальная сторона тяжелая. Зашел пива выпить — и то искусственное.

7. А знали ли вы, что в Бухенвальде сидел Тельман? И кто такой Тельман, вы знаете?..

Он все так же рассудительно отвечает на этом странном экзамене:

— Тельман — вождь компартии Германии. А что он сидел там, не знал...

8. Книги вы читали?

— Как же не читать? Много читал: русских классиков, иностранную литературу.

Теперь мы с ним беседуем, я узнаю, что в Таганроге, незадолго до ареста, он познакомился и чуть ли не подружился с человеком, который «вернулся из Дахау с татуировкой-номером. Рассказывал, что был там и спасся от смерти». С этим человеком Скрипкин коротал вечера за бутылочкой, слушал его рассказы и вздыхал, словно удивляясь тому, что́ человеку пришлось пережить и какие на свете бывали злодейства. И вся эта история существо-

вала как бы отдельно от него самого, и он ее не связывал с собой никак. И они сидели за бутылочкой в Таганроге и качали головами.

И там, в Таганроге, он ужасно не хотел, чтобы его арестовали, потому что считал, что ничего все равно не исправишь, а жизнь доживать как-то надо. У него два сына; старший, который сейчас во флоте, родился как раз во время войны, в то самое время, когда Скрипкин служил в зондеркоманде, а младший — теперешний, уже после возвращения из лагеря, и этому сыну пять лет...

Так он рассказывает о себе. Вечер, в следовательском кабинете почти уютно, и я задаю Скрипкину вопрос, почему же он, если не в 45-м, так в 62-м году, сам не признался во всем, и он отвечает:

— Тогда не хватило мужества, боялся, а теперь рассказываю всю правду, ничего не скрываю...

Только что, еще не видя Скрипкина, я читал его показания и думал, что увижу чудовище, наглого и развязного бандита, но вот он сидит передо мной — вялый, угасший, и я слушаю его сонную речь и никак не могу представить себе, что это и есть тот самый Скрипкин. Как их связать между собой, совместить воедино — того, кто в «деле», и этого, сидящего за столиком?

И вдруг следователь как бы невзначай спрашивает, за что ему немцы дали медаль, и Скрипкин устало поднимает глаза (не знал, что это известно следствию) и говорит:

— За выслугу лет, за что же еще могли дать?

Следователь — так учитель говорит с провинившимся учеником — укоризненно качает головой:

— Нет, нет, Валентин Михайлович, как же так, какая там была выслуга? Давайте прикинем, медаль-то вы получили когда?..

И Скрипкин тоже усмехается, слегка даже довольный, — вот, мол, какой у меня следователь молодец, не дурак парень, такого не обманешь, — и уступает:

— Ну, не за выслугу, так за хорошую службу.

Следователю этого мало, наседает на Скрипкина:

— За какую же такую хорошую службу, Валентин Михайлович, попробуем уточнить? — Встал, подошел к Скрипкину вплотную. — В чем хорошая служба-то выражалась?

Теперь Скрипкин замыкается — взгляд уполз. Сипло, погасшим голосом:

— Что у меня, генеральские мозги, что я все должен знать?..

Следователь:

— Ранили-то вас когда, Валентин Михайлович? Летом 1943 года? Вот-вот! В боях с партизанами. За эту операцию вы и получили медаль. Что же там было, расскажите.

— Ну, что было? Ничего не было. Выезжали мы в село Александровку, в Черные леса, на операцию против партизан, человек двадцать группа. Приехали в лес, а там, в лесу, на горе, церковь была. Эту гору мы окружили, послали наверх разведку, а потом

начался бой. Это против Калашникова-партизана была операция: он под видом немецкого офицера увез двадцать наших полицейских...

Я стоял в оцеплении, стрелял, был ранен в ногу. Бой шел долго, часть партизан ушла, часть погибла. Вообще в том бою много было жертв с немецкой стороны и с нашей...

— С какой нашей?

— С советской.

— А вы на какой стороне были?

— На немецкой...

Когда Скрипкина уводили, следователь отдал ему свои папиросы — «Беломора» полпачки.

— Ну, как вам Скрипкин? — Следователь смеется, потом — уже серьезно, как бы размышляя вслух: — Ну, медаль-то, положим, он получил не только за ранение. Тут еще бухенвальдский эпизод замешан. Во время этапирования, после побега четырех заключенных из вагона, он лично расстрелял несколько человек «в назидание другим». Но этот эпизод еще придется с ним уточнять. Завтра...

ЕСЬКОВ

СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ЕСЬКОВА МИХАИЛА ТРОФИМОВИЧА

(Выдержки)

...Я это увидел впервые так близко, поэтому потерял самообладание, кидал лопатой землю, но не видел, куда она летит. Немцам казалось, что мы работаем медленно, они все время кричали: «Шнель, шнель!»

После того как трупы были прикрыты землей, мы сели отдохнуть, доктор Герц шутил, смеялся (как будто это была обычная земляная работа).

Вечером командир взвода собрал нас всех, кто был в этой операции, и сделал выговор, что «доктор» недоволен нашим поведением и трусостью. Он предупредил меня, что я должен взять себя в руки и быть мужчиной...

...Когда мы въехали во двор, я услышал крик женщины. Немец с погонами унтер-офицера вырвал из рук женщины ребенка 4-х—5-ти лет и забросил в машину. Один из полицейских толкнул женщину, которая бежала следом за немцем; она упала. Потом мы подъехали уже к другому дому, на другой улице, и вчетвером зашли в квартиру. Впереди шли вахмистр и переводчик с адресами...

...Как только Ганс открыл дверь душегубки, а переводчик приказал всем раздеваться, нам тоже была дана команда подойти ближе. Двое из наших стали с двух сторон душегубки, охраняя выход во двор, а я и еще трое начали заставлять арестованных быстрее раздеваться. Они уже поняли свой приговор. Некоторые оказывали сопротивление, их приходилось заталкивать силой, другие не могли раздеться — тогда мы срывали с них одежду и вталкивали в душегубку. Многие проклинали нас, плевали в лицо. Но никто не просил о пощаде.

Доктор Герц в это время стоял на возвышении и с довольной улыбкой наслаждался страшной картиной уничтожения. Иногда он что-то говорил переводчику и громко смеялся.

Когда все арестованные были помещены в душегубку, Ганс захлопнул герметическую дверь, соединил шланг с кузовом и дал обороты мотору. Д-р Герц сел в кабину. Заревел мотор, заглушая чуть слышные стуки и крики умирающих, и машина выехала со двора... Мы — все шесть человек — сели во вторую машину, стоявшую тут же. В кабину сел переводчик и поехал за душегубкой. Машины шли по главной улице, по направлению к роще, в виноградники.

Доехав до противотанкового рва, шофер подогнал душегубку задом ко рву и открыл дверь. Доктора Герца мучило нетерпение, он беспрерывно заглядывал в душегубку, и — еще не полностью вышел газ — он приказал выбрасывать трупы. Один из наших стал подталкивать трупы к двери, двое — за ноги, за руки, как попало — сбрасывали посиневшие и испачканные испражнениями тела в яму. Они падали друг на друга, при падении издавали какой-то характерный, охающий звук, и казалось, сама земля стонала, принимая несчастные жертвы.

Выполняя эту ужасную работу, мы торопились, подгоняли друг друга. Доктор Герц нас иногда придерживал. Он внимательно осматривал жертвы.

После этого мы вымыли руки, сели в свою машину и отправились в рейс за второй партией...

...В один из дней я стоял на посту во дворе зондеркоманды, у входа в подвал. Подошел молодой офицер с переводчиком и приказал мне следовать за ними. Спустившись в подвал, офицер отпер одну из камер, а меня поставил с винтовкой против двери.

Как только дверь отворилась, я увидел камеру (в ней было одно маленькое окно с решеткой), набитую арестованными. Ударил тяжелый воздух испарений, люди с изможденными лицами, мокрые от жары и спертого воздуха, стали кричать все сразу, ничего нельзя было понять в этом сплошном шуме проклятий. Некоторые лежали на полу и уже не могли подняться, только показывали на побелевшие губы и просили воды. Другие кричали: «мучители», «палачи», «будьте вы прокляты». Вперед пробралась одна женщина; она была с распущенными волосами, с посиневшим лицом, на ней было изорванное платье, совершенно открытая тощая грудь; у нее лихорадочно блестели глаза. На вытянутых руках она держала худенький труп ребенка. Подошла к двери и истерически захохотала. Офицер захлопнул дверь и вышел. Следом за ним вернулся на свой пост и я. Но у меня еще долго в ушах стоял этот страшный смех смерти.

Через некоторое время подошла душегубка, и мы приступили к погрузке...

...Расстрел военнопленных возглавлял немец, офицер, лет 40—45. Роста он был среднего, коренаст, широк в плечах, крепкого телосложения. Широкое лицо, тяжелая нижняя челюсть. В его движениях и взгляде было что-то звериное. В моей памяти этот человек остался как самый страшный из всех виденных мной палачей.

В этот день нас было выставлено больше обычного. Как правило, на душегубку выставлялось человека 4—6, а здесь была организована вся команда, все принадлежащие ей машины. Кроме того, были выставлены машины и люди из немецких войсковых частей.

Как только оцепление было выставлено, военнопленным приказали вылазить из машин и садиться в одном месте, метрах в пятидесяти от ямы... Мне кажется, что офицер, командовавший операцией, делал это, чтобы насладиться муками людей, которым надо было проходить такой большой путь к смерти.

Приказали проходить по одному.

Расстрел начался.

Обреченные по одному, кто медленно, кто бегом, подходили и становились по колено в воду, в ров. Офицер не торопился. Он даже указывал рукой, где стоять. Стрелял одиночными выстрелами в затылок, трупы падали в воду, мутная вода окрашивалась кровью. Так прошло примерно около 15—20 человек. Военнопленные уже стали подбегать по два и по три человека сразу. Еще стоявшие не были расстреляны, как подбегали новые, поэтому некоторые успели упасть в воду, не замеченные палачом. В это время один из военнопленных, дойдя до ямы, не прыгнул в нее, а пробежал сзади офицера, перескочил через насыпь и скрылся в винограднике. Увидев это, палач зарычал, посмотрел на нас и побежал следом за ним.

В эту минуту, когда расстрел временно прекратился, из ямы на другую сторону рва стал вылезать человек. Кто-то крикнул: «Стреляй!»; я вскинул винтовку и выстрелил в этого человека. Он осунулся и упал в ров...

...В Новороссийске я участвовал в расстреле советских активистов. Среди них был раздетый до пояса мужчина, лет пятидесяти, с небольшими, поседевшими усами. Вышел, посмотрел на нас с презрением. Спокойно пошел к окопу, спрыгнул в него, встал лицом к немцу и сказал: «Стреляй, фашист!» Офицер растерялся и потребовал, чтобы человек повернулся спиной. Шеф заинтересовался этой картиной и подошел ближе. Засмеявшись, он направил автомат на пожилого человека. В это время человек громко закричал: «Да здравствует...» — автоматный выстрел оборвал его последние слова.

Нескольких нам пришлось силой подталкивать к окопу. Они упирались, называли нас фашистами, гадами, старались укусить или ударить...

...Однажды меня подсадили в камеру к арестованным и отвели в подвал. Там находилось несколько человек: мать со взрослой дочерью (лет 18—20), одна туберкулезная женщина, которая все время лежала. Еще трое.

Люди не знали, кто я, и верили мне, когда я им сказал, что пробирался домой из плена. Они мне сочувствовали, успокаивали и говорили, что ничего тебе не будет, отправят обратно в концлагерь, и все. Они мне выделили место в каморке и все беспокоились о своих квартирах, чтобы никто не разграбил их вещи. Ночью все спали, только я один не мог уснуть, ждал утра. Больная женщина меня все укладывала и успокаивала.

Утром переводчик вызвал меня к шефу. Он спросил, о чем были в камере разговоры, и приказал вернуть мне форму, а затем отправиться со служебным автобусом к месту расстрела.

Из подвала вывели знакомых мне женщин. Я не мог смотреть им в глаза. Увидев меня в немецкой форме, они удивились, но никто из них не сказал мне ни слова. Я о них ничего плохого не говорил, но я чувствовал себя таким подлым и низким человеком. Меня, очевидно, специально вывели на этот расстрел. Мне жаль было этих простых и добрых людей, но я не находил выхода, попав в эту кровавую шайку.

Повезли. Заехали по дороге в один дом, захватили женщину лет сорока с ребенком. В руке она держала бутылочку с молоком. Ее усадили в автобус, и мы поехали. Это была жена начальника милиции.

Мы прибыли к месту казни. Арестованные вышли. Больная женщина сказала: «Расстреливать привезли, гады». Мать громко рыдала, обнимая и целуя дочь. Женщина крепко прижала к груди ребенка. Больная, сбросив платок, сошла в окоп и, повернувшись, сказала: «Придет и ваша смерть, выродки!» Офицер выстрелил и закричал: «Шнель!» Мы тоже кричали: «Быстрее! Быстрее!» — подталкивая арестованных. Дочь вырвалась из объятий матери, громко крича: «Да здравствует Ленинский комсомол!» Прыгнула в окоп — ее застрелили. Мать побежала следом, ноги ее не слушались, она спотыкалась и падала. Добежав до окопа и крикнув: «Доченька!» — упала и обняла окровавленный труп дочери. Очередной выстрел оборвал ее рыдания, они остались лежать, обнявшись, обливая друг друга кровью. Последней спрыгнула женщина с ребенком, закрывая его своим

телом. Офицер стволом автомата повернул женщину и выстрелил в ребенка. Мать вскрикнула, крепче прижала ребенка к груди, но следующий выстрел разделил их: труп ребенка упал из рук матери и откатился в сторону.

Мы закопали еще истекавшие кровью трупы.

На обратном пути один из карателей нашел бутылочку с молоком и, смеясь, выпил: не пропадать же добру!..

...В 1943 году мне удалось скрыть от суда страшные картины уничтожения невинных советских людей, но не удалось мне их скрыть от самого себя...

Еськов — человек с задатками к сочинительству, в своих собственноручных показаниях он создал «образ Еськова». Начинаются показания с эпизода в Севастополе; двое в окопе, город уже сдан, а они все еще держат окоп в Песочной бухте — два черноморских матроса. К окопу вплотную подошла немецкая танкетка, те двое дали последнюю пулеметную очередь, больше патронов не было. Танкетка огрызнулась — одного матроса убило, второго контузило.

Тот, кого убило, остался навсегда безымянным героем. Он похоронен в братской могиле, и к подножию его памятника приносят сегодня цветы.

Тот, кого контузило,— Еськов.

Еськова приводят из камеры, он кивает следователю, увидев меня с блокнотом, понимающе подмигивает:

— А, из редакции! Ну, пиши, пиши: «узкий лоб, звериные глаза...»

Он сидит в сатиновых брюках, в тапочках, из-под расстегнутой серой рубахи видна морская тельняшка. Зажигая спичку, держит ее, не поднося к папиросе, ждет, пока спичка не обгорит до самых пальцев.

Допросы он любит — в разговоре со следователем отдыхает от тюремной тоски, резонерствует. Говорить умеет образно, складно и грустно, и своим умением любуется:

— Хорошо быть героем, когда за тобой армия идет, а без оружия — что сделаешь?..

О зондеркоманде:

— В зондеркоманде пасынков не было (это — о том, что все выполняли одинаковую «работу» и без исключения участвовали в расстрелах)...

— Вот — вы плотник. Лучший плотник,— значит, бригадир. А там же специальность — убийство. Лучший убийца,— значит, взводный...

О тогдашнем (43-го года) себе:

— Попал в водоворот войны, молодой был — мне тогда роща лесом казалась... Не нашел я пути, запутался, вот и все...

О себе он рассказывает охотно, особенно складно получается у него история о том, как записался в зондеркоманду. Это почти повесть, психологическая новелла, я ее здесь изложу.

...В Севастополе его подобрали, привезли в немецкий госпиталь, и это было удивительно, потому что Еськов слышал, что немцы убивают пленных на месте. Он пролежал несколько дней, его лечили, давали кое-какую еду. Палату обходил врач в фуражке с кокардой, изображавшей череп. Еськов рассмеялся: вспомнил, что врачей иногда в шутку называют «помощниками смерти». Он еще не знал, что здесь эта шутка приобретает совсем иной смысл: госпиталь находился в ведении службы безопасности — СД.

На шестой день выздоравливающих построили в колонну, повели пешком в Симферополь. На тридцатом километре колонна остановилась. Офицер сказал:

— Кому трудно идти, будет доставлен на подводах.

Сразу же объявились желающие. Их отвели за обочину деревни и расстреляли.

Из двухсот человек до Симферополя дошло пятьдесят.

Еськов был среди них.

Спасение пришло неожиданно: в лагерной канцелярии стали составлять списки уроженцев близлежащих районов — Крыма, Ставрополья, Кубани — для отправки на сельскохозяйственные работы по месту жительства.

Еськов, узнав об этом, прибежал в канцелярию, заявил, что он родом из Ставрополя. Ему ответили, что он скоро поедет домой, надо будет только немного послужить в «русском взводе» — караульная служба, охрана объектов: такое здесь правило. Сперва самая мысль о том, чтобы служить немцам, показалась чудовищной. Он уже в душе, в воображении своем, отвечал гневным отказом; это длилось секунду, пока он в душе произносил речь, а сам взял ручку, расписался в расписке и снова стал рисовать картину, как, получив от немцев оружие, перебьет охрану, взорвет какой-нибудь склад — и вот, во главе батальона военнопленных, он переходит линию фронта и... и...

Его одели в немецкую форму, на рукав нашили черную ленту с надписью: «Зондеркоманда СС 10-а».

Первые дни особенного ничего не было: занятия — строевая подготовка, топография — движение по азимуту, стрельба. Заставляли разучивать немецкие песни, русскими буквами он записывал: «Ин ай-нем грю-нен валь-де да штейт дес фюр-стен хауз».

Пришел немец, стал проводить по-русски беседу, тема — «Речь фюрера Гитлера от 26-го числа...» Тема на завтра — «Мать и дитя в новой Германии»...

Роздал брошюрку «Зверства ОГПУ».

Еськов все это воспринимал как сон, но постепенно стал привыкать, понял, что теперь ему одна будет дорога — с немцами.

А потом — однажды утром — их, со взвода человек шесть, вызвали, погрузили в машину с червовой десяткой на кузове, и Еськов, ужаснувшись, подумал, что везут их на расстрел. Но когда

прибыли на место и получили винтовки, успокоился, да ненадолго, потому что вскоре прибыли другие машины, откуда стали выгружать арестованных, и он понял, что не его будут расстреливать, а ему самому придется расстреливать других. И он стоял, и трясся, и хотел одного — чтобы скорее все это началось и скорее кончилось. И он услышал, как взводный сказал: «У кого слабое сердце, пусть становится на их место».

Но он уже решил, что стрелять по людям не будет, может быть, вообще не будет стрелять, а так для виду — только вскинет винтовку или, в крайнем случае, пальнет поверх голов в воздух. А когда раздалась команда, он прицелился и выстрелил в человека, и стрелял в людей до самого конца операции, и руки у него не дрожали...

Так он прослужил у немцев шесть месяцев, пока не предоставилась возможность отправиться в отпуск в Ставрополь. А там уж он действительно оторвался от немцев — с тех пор прошло двадцать лет...

Вот что рассказывает Еськов, и все это невозможно проверить — остается только поверить. Но поверить трудно, потому что под тельняшкой у Еськова — эсэсовская татуировка, «группа крови», а кому такую татуировку выкалывают, тот уже заведомо знает, на какое он дело идет и в какую попадает компанию...

Еськов уже двадцать лет в заключении. В 1953 году он, отсидев на Колыме десять лет [1], вышел на волю и остался там же, на Колыме, работать по вольному найму, потому что «Колыма мне второй родиной стала, все там моими руками построено: каждый дом знаю. Я ведь приехал туда, когда еще одни палатки стояли».

Была у него жена, она тоже работала по вольному найму, из бывших заключенных.

Однажды он с приятелями праздновал — пели песни, выпивали. Вдруг прибегает жена, говорит, что к ней пристал пьяный, стоит в тамбуре (в сенях), ждет, пока откроется дверь. Еськов снял со стены ружье, вышел в тамбур и выстрелил человеку в живот.

Еськову за убийство дали еще десять лет.

И тем не менее он говорит:

— Я курей имел на Колыме, а убить курицу просил соседа.

Он говорит об этом не для «характеристики», а так, чуть пожимая плечами, иронически, грустно улыбаясь, как бы удивляясь несуразности жизни.

Спрашиваю, вспоминал ли он службу в зондеркоманде, и он угрюмо отвечает:

— Как не вспоминать? Вот и рвался на самую тяжелую работу, чтоб не вспоминать. Посмотрите мое дело: плотник у меня самая легкая должность, а так — разведчик, шурфовщик.

---

[1] Про зондеркоманду суд не знал. По приговору 1943 года Еськов был осужден за службу в немецких вспомогательных частях.

Он говорит, что не сомневается в том, что его расстреляют, и мрачно философствует:

— Смерть-то — она не страшна, страшен путь к смерти. Мне уже все равно. В двадцать лет, как попал на войну,— жизнь кончилась. Если даже не расстреляют, дадут пятнадцать лет, разве я выдержу — тридцать лет в тюрьме?..

Я слушаю его спокойный, густой голос, смотрю на улыбку его аккуратных губ и понимаю, что Еськов сейчас совершенно уверен в обратном, то есть убежден в том, что все у него обойдется и что своей горечью, грустным своим разговором он уже вызвал к себе ту спасительную «симпатию», которая подчас может оказаться сильнее фактов...

Его уводят, а на другой день я читаю его стихи, которые он написал в камере, карандашом на трех бумажных полосках:

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

Двадцать лет минуло с тех пор,
Но разве можно такое забыть?
Зверский!
Кровавый!
Фашистский террор!
Правду нельзя ведь убить!
Это было в сорок втором!
Город стонал под чужим сапогом,
Город тонул в крови и слезах,
Город задохся в чужих руках.
В нашем крае тогда помещалась
Шайка убийц,
которая звалась
Зондеркоманда СС десять «а».
«Службу смерти» она несла.
Край наш постигла беда.
Землю топтала злая орда.
Грабила, вешала, била, пытала.
Старых отцов, матерей убивала.
Даже детей...
— живьем зарывала...
Страшной команда эта была.
В зверствах своих она превзошла
Древних татар,
экзекуторов Рима,
Пилата — царя Иерусалима.
Трудно мне эти строки писать,
Но про такое нельзя забывать.
Да разве можно те годы забыть?
Разве можно опять допустить?
Чтобы недобитый зверь пришел,
Чтобы он снова войною пошел?
Чтоб не воскресла черная сила,
Нет!!! —
говорят народы мира.
Нет!!! говорят они войне.
Мир будет вечно на земле!

Он передает эти бумажки следователю и удовлетворенно закуривает, потому что верит в силу фраз, в то, что, какие бы ни натворил он дела́, не дело важно, а слово, правильно сказанное...

Характеристика

ЖИРУХИН Николай Павлович работает в средней школе г. Новороссийска с 1.IX.1959 г. До этого времени он работал в семилетней школе нашего города. Первый год он работал преподавателем труда и имел немного уроков немецкого языка, а с 1960 года полностью переключился на преподавание этого предмета, т. к. перешел на 3-й курс педагогического института, где он учился заочно и который окончил в 1962 году.

За период работы в средней школе Жирухин Н. П. проявил себя умелым учителем. На его уроках всегда соблюдается дисциплина и порядок, он находит средства для владения класса своей требовательностью к учащимся. Знания, которые он дает детям, удовлетворительны. К работе относится добросовестно, дисциплинирован. До начала этого учебного года в общественной жизни школы участия не принимал, объясняя это тем, что занят учебой. В октябре 1962 года избран в состав местного комитета профсоюза учителей школы...

Как классный руководитель, умело руководит коллективом учащихся своего класса, но выделить в этом отношении его нельзя — средний классный руководитель.

4.12.1962 г. Директор *(подпись)*

— ...Какое у вас образование, Жирухин?
— Высшее.
— А среднее есть?
— Есть и среднее.
— Это ваш аттестат?
— Мой.
— Вы по нему в институт поступали?
— По нему.
— И вы утверждаете, что этот аттестат принадлежит вам?
— Да.
— Кто же вам его выдал?
— Одна преподавательница...
— При каких обстоятельствах?

— В 1954 году я работал преподавателем немецкого языка в школе № 28 свиносовхоза «Красноармеец», там была учительница русского языка и литературы. Я попросил у нее аттестат об окончании педучилища, и она мне его отдала.

— Так это был ее аттестат?
— Ее.
— А стал ваш?
— Выходит, так.
— Каким же образом чужой документ стал вдруг вашим?

— Я же говорил, что мне его отдала та учительница. Он был ей больше не нужен, и я переправил его на себя.

— Как это понимать — «переправил»?

— Сначала я резинкой подчистил, а потом хлоркой вытравил ее фамилию, имя и отчество и тушью вписал данные о себе.

— На что вам понадобился аттестат?

— Чтобы у меня был какой-либо документ о педагогическом образовании, поскольку я уже работал учителем, имел большой

практический навык и мои знания примерно соответствовали оценкам, выставленным в аттестате. Кроме того, я хотел повысить свое образование.

— Следовательно, вы поступили в институт по подложному документу?

— Нет.

— Как же нет? Ведь этот аттестат принадлежал не вам, на нем стояла не ваша фамилия, а другого человека. Вы берете, выводите хлоркой его фамилию и вписываете свою. Что же это, если не подлог?

— Но аттестат был мне отдан добровольно, и я все равно уже работал учителем, и мои знания соответствовали...

— Послушайте, Жирухин. Вы взрослый человек, неужели вы не знаете, как все это называется?

— Я знаю только, что работал честно и оценки эти мной не завышены. Можете кого угодно спросить.

— Хлорку-то где брали?

— В уборной...

...Жирухин сидит за прибитым к полу столиком для допрашиваемых, в синем, в красную полоску, помятом костюме, в ботинках без шнурков. Всего два месяца, как он арестован, но на его круглом и, наверно, еще недавно розовом, рыжем лице уже серый налет. Он плотен, тучноват, на вид ему года сорок два — сорок.

Арестовали его, после долгих сомнений и колебаний (он? не он?), в конце декабря.

По всем данным получалось, что это не тот Жирухин, который служил в зондеркоманде, да уж очень настаивал на нем Скрипкин: почти на каждом допросе называл среди своих сослуживцев Жирухина Николая, моряка. И хотя внешность действительно, в основном, соответствовала описаниям Скрипкина, и Жирухин Николай Павлович, новороссийский учитель, тоже был в 41-м году моряком, в Краснодарском управлении КГБ сильно сомневались, нет ли тут какой-либо ошибки. «Тот» Жирухин, о котором рассказывал Скрипкин, дезертировал, совершил предательство в Новороссийске, в Новороссийске же вступил в зондеркоманду, мог запомниться многим местным жителям — с чего бы он тогда полез снова в Новороссийск, да и на такую заметную должность? И по документам военкомата, по военному билету никак не выходило, что это и есть «тот» Жирухин: всю войну, без перерыва, прослужил во флоте, имеет ранения, в плену не был. И год рождения у него 1918-й, а не 1920-й, как у «того».

Все же решили на всякий случай познакомиться с ним лично. Жирухин пришел:

— Чем могу быть полезен, товарищи? Я к вашим услугам...

Его стали расспрашивать о всякой всячине, повели разговор на общие темы, и Жирухину уже почудилось, что хотят ему оказать какое-то особое доверие, и он еще больше расхрабрился, сказал ни с того ни с сего:

— Если от меня чего требуется, то я в любую минуту...

И поглядел на часы, поскольку беседа затягивалась, а сути он все никак уловить не мог.

И тогда следователь вдруг спросил, что он делал, находясь у немцев в плену, и Жирухин незаметно, как он полагал, а на самом деле очень заметно сглотнул слюну, поперхнулся, а потом, усмехнувшись, с ленцой произнес:

— А, это вы о плене? Да, был такой случай. Действительно, я какое-то время находился в плену, но за это, кажется, теперь никого не преследуют, я полагаю...

Стали дальше уточнять: почему в военном билете нет соответствующей записи? И опять Жирухин усмехнулся:

— Да я ее хлоркой вывел и вписал другие данные. Но для чего вы всем этим интересуетесь? Прошла амнистия, и я автоматически не подлежу никакой ответственности за эту подчистку. А понять меня вы должны. Сами знаете, какое отношение было к нашему брату — военнопленному...

— Но вот у нас имеются другие сведения, Николай Павлович: что были вы не военнопленным, а служили у немцев в СС, в зондеркоманде СС 10-а. Слышали вы о такой команде?

И тут Жирухин совершенно спокойно, глазом не моргнув, ответил:

— Правильно. Я служил в этой команде конвоиром, врать я не люблю. Но и это преступление, как вам известно, списано с меня амнистией. Или, может быть, Указ правительства уже отменен?

Даже привыкший ко всему следователь оторопел от такой наглости.

Жирухин вновь поглядел на часы и уже раздраженно сказал:

— Долго вы меня тут будете задерживать? Я опоздаю на поезд, а у меня завтра детский утренник. Елка.

— С елкой вам придется пока подождать, Николай Павлович, потому что служили вы не просто конвоиром, а карателем, убивали советских людей...

Тут Жирухин впервые потерял самообладание, хлопнул ладонью по столу.

— Вы эти методы оставьте! Я на вас жаловаться буду! Завтра же пойду в горком...

Он искоса взглянул на следователя, чтобы проверить, как воспринимается это слово «пойду»: нет ли на лице следователя усмешки,— мол, «никуда ты уже не пойдешь, потому что мы тебя арестуем». И если бы он заметил такую усмешку, ему, возможно, стало бы легче — хотя бы от определенности, от сознания того, что участь его уже решена. Но следователь ничего не ответил, даже пожал плечами, как бы говоря: «Можете идти куда угодно, это ваше дело, а мое дело — во всем разобраться». И Жирухин, слегка успокоившись, усмотрев «шансик», вновь осмелел:

— Какие у вас доказательства? Что я делал в зондеркоманде, могут знать только два человека: командир взвода Федоров и пом-

комвзвода Скрипкин — мои непосредственные начальники. Их и спрашивайте...

Он с вызовом посмотрел на следователя, так как хорошо знал, что Федоров убит, а Скрипкин еще в 1945 году сбежал к американцам.

Следователь нажал на кнопку звонка.

Несколько минут оба молчали, наконец дверь отворилась и в кабинет ввели Скрипкина.

— Что ж, Николай Павлович, мы удовлетворили вашу просьбу,— сказал следователь.— Узнаёте этого человека?

Жирухин побелел, но не растерялся, превозмог себя и ответил почти радостно, давая понять, что очень рад этой встрече, которая немедленно все прояснит и установит истину:

— Конечно, узнаю! Скрипкин...

Теперь он с нескрываемым любопытством смотрел на Скрипкина: «А ты каким образом здесь очутился?» — пытаясь в то же время угадать, какую по отношению к нему позицию Скрипкин сейчас займет и чего ему следует ждать от этой встречи. Но Скрипкин, обведя Жирухина тяжелым взглядом и не обращая больше на него никакого внимания, отрапортовал:

— Сидящий здесь человек — Жирухин Николай, с которым вместе я проходил службу в эсэсовских частях и который вместе со мной принимал непосредственное участие в злодейском истреблении ни в чем не повинных советских граждан...

С этой минуты Жирухин почувствовал, что идет ко дну, тонет, и вот уже два месяца он погружался все глубже, так что даже голос следователя доносился до него словно издалека, с поверхности...

...Жирухин был родом из-под Тихвина, имел образование «незаконченный лесотехникум», до призыва работал в пожарной охране, а с 1940 года по 1942-й служил «баталером», то есть писарем-кладовщиком, новороссийской гарнизонной гауптвахты. Из подразделения он исчез 8 сентября 1942 года — за день до вступления в Новороссийск немцев: был послан на склад за продуктами и не вернулся. Его сочли пропавшим без вести, но уже через некоторое время на гауптвахту, которая перебазировалась в Кабардинку и вместе с войсками вела оборонительные бои, просочились из Новороссийска сведения о том, что «Колька Жирухин, писарь, служит у немцев в гестапо, ходит по домам и выявляет жен комсостава» и что, когда одна из этих опознанных Жирухиным женщин в отчаянии крикнула: «Ты же комсомолец!» — он ей в циничной форме ответил: «Я тебе покажу, какой я комсомолец!» — и сопроводил эти слова нецензурными ругательствами.

Так примерно было написано в донесении, которое начальник гауптвахты, старший лейтенант Васильев, послал тогда по дистанции. Васильев имел много неприятностей из-за Жирухина, но в конце концов отделался дисциплинарным взысканием «за потерю бдительности» и «плохое изучение личного состава». Васильев принял это взыскание как должное, хотя, по правде говоря, так и

не мог понять, как ему следовало лучше изучать личный состав, в том числе и Жирухина, который в течение целого года спал с ним чуть ли не на одной койке, делился сокровенными мыслями и ни разу не проявлял каких-либо нездоровых или подозрительных настроений. Человеку в душу не заглянешь — поди угадай, что у него там творится. Жирухин казался исполнительным матросом, свои обязанности выполнял добросовестно, разве что был несколько хитроват, слишком уж смекалист и норовил иногда угодить начальству: скажем, попросишь его принести с кухни обед, так он тебе в котелок мяса наложит сверх всяких норм и еще водочки предложит достать. Но тут ничего особенного вроде и нет: все они, писаря, народ дошлый... Может, в город его не стоило отпускать? Но почему проявлять к человеку недоверие?

Словом, Жирухин подвел всех, и, когда в 1943 году, в феврале, была совершена легендарная десантная операция в Новороссийск, на Малую землю, Васильев приказал своим ребятам разыскать Жирухина и доставить его в подразделение живым или мертвым. Но, конечно, никто Жирухина разыскать не мог: он был уже далеко от Новороссийска, и след его затерялся окончательно.

А личный состав гауптвахты, влившись в одну из действующих частей, продолжал под командованием старшего лейтенанта Васильева боевой путь...

С Жирухиным же произошло вот что.

8 сентября, получив со склада продукты, он решил навестить свою знакомую — Валентину, проживающую по улице Козлова, 62. Заехал к ней, посидели, выпили. На окраине шли бои, надо было торопиться, но Жирухин захмелел — сил не было подняться с постели.

На рассвете, когда проснулся, первая мысль была, что его могут накрыть патрули, взять как дезертира; представил себе лицо Васильева, трибунал. Он в ужасе вскочил, глянул в окно и обмер: по улице шли немецкие автоматчики...

И тут же его пронзило острое, самого его испугавшее чувство. Это было чувство освобождения от ответственности. Он как бы очутился за границей, где уже не действуют законы его страны и где с него полностью снимаются гражданские обязанности, до сегодняшнего дня определявшие всю его жизнь.

Эти фашистские автоматчики, шедшие сейчас по улице Козлова, одним своим присутствием здесь освобождали его от необходимости возвращаться в часть, отчитываться перед Васильевым, продолжать службу или нести ответственность перед трибуналом. Еще не сознавая всего до конца, он внутренне принял от немцев эту новую, открывшуюся перед ним возможность. И в тот самый момент, когда он принял эту возможность и почувствовал мгновенное облегчение оттого, что с него снят д о л г, он стал предателем.

Жирухин отошел от окна, присел на кровать и, опустив голову, спросил Валентину:

— Что же теперь делать?

Начали прикидывать, соображать. У Валентины имелся раскулаченный дядя, это могло быть немцами учтено: как-никак «семья, пострадавшая от большевизма». Если же немцы «не учтут» и если правда все то, что о них пишут в газетах, то надо будет искать партизан или подпольщиков и устроиться к ним, а те уж примут Жирухина наверняка, поскольку он комсомолец и черноморский матрос...

...— Ну, так как же вы попали к немцам на службу?

— Неделю я скрывался у Валентины, не имел намерения служить немцам, а потом меня взяли в облаве и поместили в лагерь. А там — кошмарное положение, невозможная жизнь. Кормили один раз в день, спали на сырой земле. Помощи никто не оказывал. Тут ефрейтор пришел, стал проводить беседу: кто, мол, хочет поработать у немцев? И я согласился ввиду сильного истощения организма...

— Стали убивать людей?

— Почему убивать? Стрелял вместе со всеми, а убил ли кого — не знаю, лично не видел, чтоб я кого-нибудь убил.

— Вы что же, не участвовали в расстрелах?

— Участвовал, я не отказываюсь.

— Как же вы участвовали, если никого не убивали?

— Почему никого? Там не разбирались — убил, не убил; приказано,— значит, идешь...

— Опишите, как происходил расстрел пятисот советских военнопленных в лагере Цемдолина. Помните этот эпизод?

— Очень хорошо помню.

— И что же?

— Ну, пришел офицер Николаус, немец. «Постройте, говорит, людей». Мы построили, повели. Привели за город, к противотанковым рвам. Там они разделись, обмундирование сняли...

— Как — добровольно раздевались и не понимали, зачем их привели?

— Почему же не понимали? Всё очень хорошо понимали...

— И не оказывали вам никакого сопротивления?

— Которые могли, те оказывали. А истощенные — нет.

— А вы что же?

— Как что? Берешь, подталкиваешь к траншее и стреляешь. Потом дают приказ закопать. Берешь лопату, закидываешь. Барахло их, одежду ложишь в машину и возвращаешься в команду. Немец забирает барахло к себе в кладовку, а мы расходимся по своим комнатам. Кто отдыхает, кто чего. У каждого своя мысль. Два месяца идет следствие — допросы, очные ставки.

Жирухину вспоминать прошлое тяжело и неловко. Что ни допрос — подмачивается его репутация, а он все же учитель: неудобно перед педагогическим коллективом, да и учащиеся что могут подумать?.. Потом он спохватывается: ах, все это лопнуло, полетело, ничего этого больше не будет — ни педагогического коллектива, ни учащихся, ни классного руководителя Николая Павловича, а останется лишь Колька Жирухин, каратель из зондеркоман-

ды, и так будет всю жизнь. И как это так? Ему уже за сорок, он почти состарился, а вот — силой возвратили, загнали его назад, в молодость, и уже не выпускают, держат в 42-м году, в 43-м.

Он с трудом свыкается с этим возвращением, то и дело ему кажется, что он все еще учитель, и на Еськова и Скрипкина он смотрит с высоты своего «учительского положения».

Признания из него приходится вытягивать, долго ковыряться в каждом эпизоде, пробиваясь сквозь пласты лжи, отговорок, чепухи, покуда заступ допроса не стукнется об очередной труп или не отроет очередное мошенничество.

...— Вы в расстреле старшего политрука принимали участие?

— Принимал.

— Расскажите, как это произошло.

— Мы в Гайдук ездили, зашли в помещение. Я увидел человека в плаще, сильно опухшего, обмороженного. Немцы вокруг него. Мы его погрузили в машину, привезли в Новороссийск. Положили на пол у печки. Потом следователь Унру говорит: «Принеси воды». Я и принес...

— И все?

— Все.

— А с политруком что вы сделали?

— Расстреляли...

Сидя в камере, Жирухин написал «собственноручные показания»: на многих страницах путано изложил свою историю, как из Новороссийска был переведен в Краснодар, оттуда вместе с немцами отступил на Украину — в Николаев, в Херсон — и «по прибытию» в Херсон заболел («по всему телу высыпала сып»), затем некоторое время находился в «Домбасе», «с Домбаса» вновь попал в Херсон, где «за вороство» был заключен немцами «в тюрму», но «с тюрмы» его вскоре освободили, и он уехал в «Дюселдорф», где охранял «дюселдорвскую тюрму», а под конец войны служил при берлинском полицейпрезидиуме, бежал к американцам, но был американцами передан на советский фильтрационный пункт, где работал писарем, «вел учет репатруируемых»...

Эта безграмотность заставила следствие заинтересоваться образованием Жирухина; подвергли графической экспертизе его аттестат, обнаружили подлог. Да и вся его послевоенная жизнь состояла из сплошной цепи мошеннических выходок, где было все: похищение и подделка фильтрационных бланков, взяткодательство, двоеженство, уклонение от уплаты алиментов, кража метрического свидетельства, фабрикация фальшивых справок... Несколько лет Жирухин разъезжал из города в город, заметая следы: то нигде не работал, торговал в Одессе на рынке камсой, то служил секретарем нарсуда в Вашковецком районе, фининспектором, физруком школы, в Татарии преподавал детям «труд», но грубо обошелся с учеником, был уволен, изготовил себе положительную характеристику и устроился в другую школу. Судьба вновь свела его с Валентиной, и в 1952 году он наконец обосновался в Новороссий-

ске, на той же улице Козлова, 62, где совершил когда-то предательство...

Теперь все это, добытое следствием благодаря новейшим достижениям криминалистики, тщательному изучению документов, выездам в разные районы страны, опросам и сопоставлениям, выкладывают на стол перед Жирухиным, и он при каждом новом разоблачении вздрагивает и потом вновь приходит в себя.

— Зачем вы написали себе фальшивую характеристику?

— Чтобы остаться на преподавательской должности и честно работать.

— Эх, Жирухин! Как вы только смотрели в глаза своим ученикам? Неужели у вас не было угрызений совести?

— Почему не было? Было...

Моргая, он смотрит на молодого следователя, оформляющего протокол, и, улучив подходящий момент, спрашивает:

— А в колонии устроиться учителем можно? Нужны там преподаватели?

И ждет: если следователь ответит утвердительно, значит, допускает такую возможность, что Жирухин попадет в колонию, что не обязательно ему будет расстрел...

СУХОВ

Сухов был ветфельдшером,— до встречи с ним я видел его двадцати-пятнадцатилетней давности карточку: мордастое, нагловатое лицо, ноздри раздуты,— кажется, он хочет сказать: «А в чем дело? У меня все в ажуре, можете проверить».

В те годы «на» него писали характеристику, слепой машинописный текст аттестации: «Проявил себя храбрым, мужественным, знающим свое дело... Морально устойчив... предан...»

В другой характеристике отмечено: «Требователен к себе... имеет связь с массами...»

Сухова ввели — я бы его никогда не узнал. Вошел согнутый старичок: заострившийся нос, мертвый подбородок, губы сведены страхом и старостью.

Уселся за «свой» столик, начал многословно, с хозяйственным смаком объяснять, как дело было, причмокивая, прикряхтывая, подмигивая,— «на откровенность могу сказать...». Правда, «на откровенность» он говорит не многое: служил в зондеркоманде, приходилось, конечно, работать на душегубке, может указать всех, кто с ним «работал»: «Я их всех наперечет знаю». Этот «переучет» — от хозяйственной жизни, оттого, что «требователен к себе». Сухов быстро врастал в любую среду, «выполнял», служил.

Он начинает рассказывать, потом быстро вянет, стихает; когда его подхлестывают вопросом, оживляется, иногда доходит до своеобразной патетики:

— Расстрел будет — расстрел приму, но не пошлю проклятий ни советской власти, ни советскому народу. А совершил преступ-

ление,— тут он рубит воздух рукой,— судите, чтобы другие не делали этого!..

Это не рисовка, хотя есть и она; тут еще и убежденность в том, что «так положено»: избавить его от суда — непорядок, он против непорядка («морально устойчив»).

Сухов многолетним опытом своим усвоил ряд истин, знает: тому, кто пострадал на работе, получил травму,— уважение, поблажка. При этом он почти забывает, на какой «работе» пострадал, и нажимает на «травму» и на то, что ему не оказывали «помощи». Жалуется:

— Я удушился в Ейске, хватил газу с душегубки,— обратился было к доктору Герцу, а мне взводный говорит: «Русским к немецким врачам обращаться нельзя».

Знает он и то, что выполняющих работу более грязную, тяжелую физически принято жалеть: происходит какое-то смещение понятий. Вот он говорит:

— На откровенность могу сказать — всегда в грязи, в помете, халатов не давали, рукавиц не давали...

Кажется, еще немного — и он потребует компенсацию: за недоданную спецодежду — раз, за рукавицы — два, за мыло, которое должны были дать и не дали,— три...

«Обслуживание» душегубки он считает работой тяжелой, грязной и невыгодной. Смысл его рассказа в том, что он благодаря своей непрактичности и простофильству всегда попадал впросак, был «работягой», а не придуривался, как те ловкачи из его зондеркоманды, которые расстреливали себе, да и только. У него до сих пор не прошла зависть к тем, кто *нагружал* душегубку и, следовательно, не пачкался в кале и в крови, а ему приходилось в основном разгружать.

На вопрос, что было *труднее* — нагружать или разгружать «машину», он, поняв мой вопрос «производственно» и почти обидевшись на меня, отвечает:

— Не знаете, что ли? Конечно, разгружать! *Они* (то есть погрузчики) в чистом ходили: погрузили — и до свидания! Грузить каждый может, а выгружать попробуй, в грязи весь...

При этом службу на душегубке он считает «смягчающим обстоятельством»:

— В Симферополе определяли, кто на что способен. Увидели, что я на расстрел не способный,— и сразу меня на душегубку...

О немцах он, как и большинство его сослуживцев, отзывается с ненавистью, с яростью. Здесь, конечно, и обида на то, что «немцы втянули», но главным образом на их спесь и заносчивость.

— Они нас ненавидели, а я их ненавидел...

— За что же?

— Они нас за то, что мы — русские, а я их за то, что они — фашисты!

Тут вновь в нем пробуждается патетика, он сейчас — бывший ветфельдшер отдельного батальона связи, участник боев за Бер-

лин, человек из той характеристики: «Проявил себя храбрым, мужественным...»

Для него в этом нет никакого противоречия, так же как в словах характеристики почти нет преувеличения. В январе 1943 года он отстал от немцев, в Цимлянской его настиг фронт, он попал в Особый отдел и там, по его словам, сообщил о своей службе на душегубке. Однако, как он рассказывает, «особист» от этой темы отмахивался, поверить не мог. «Ты мне чепуху городить брось, рассказывай, с каким заданием прибыл!» Кончилось же все дело тем, что его направили в штрафбат «до первой крови», он был ранен, восстановлен в звании старшего лейтенанта и действительно дошел до Берлина.

Сейчас он рассказывает о том, как «зубами» перегрызал пять рядов немецкой проволоки и как, оказавшись в Германии, искал своих начальников — Кристмана, Герца и шоферов душегубки Ганса и Фрица: «Знал бы, где они, порезал бы их, гадов, в Германии!» Он почти кричит, рубит воздух рукой и, хитро прищурив глазок, рассуждает, как бы ему надо было тогда действовать, чтобы «помочь следствию» в розыске немцев. При этом он, сетуя на свою тогдашнюю недогадливость, стучит пальцем по голове, извлекая какой-то деревянный звук.

На немцев ему есть за что обижаться. Он с увлечением их чернит, говорит об их коварстве и заносчивости.

Я спрашиваю, объясняли ли ему немцы цели той или иной операции.

— Никогда! Об этим они именно скрывали, для чего и почему, не объясняли. В конце концов решил я: уйду от их к чертовой бабушке!..

Потом он снова стушевывается — начинается разговор «за ейскую операцию».

Вообще он, пожалуй, из уважения к порядку («положено») и оттого, что уже приперт к стене, решил, махнув рукой, признаваться, и все же временами, тоже «для порядка» и оттого, что «в каждом деле хитрость нужна», в меру врет, выдвигает обычную легенду о том, что кого-то спас от расстрела, каким-то партизанам помог,— все это проверяется и, как обычно, не подтверждается ничем. Он, обнаружив «провал», тоже особенно не спорит, не настаивает: «Это дело ваше, можете верить, можете — нет, а я-то хорошо помню...»

«За Ейск» он рассказывает нехотя, все же приходится восстанавливать по деталям картину, начиная с того, как накануне они получили сухой паек — хлеб, консервы рыбные, маргарин — и поехали с Гансом и Фрицем в Ейск. Немцы сидели в кабине, он вместе «с Махном и Скрипкой» — внутри душегубки, но дверь была «открытая»...

Подъехали к дому. Герц, Тримборн и Юрьев ушли в канцелярию, вели «переговоры», а Сухов и другие каратели лежали на траве, ждали. Был серый теплый день, к ним подходили дети, спрашивали, что за машина, некоторые залезали в нее. А он ле-

жал и думал, опять-таки недовольный тем, что хлопотное выпало задание: «Работа мне будет с этими детьми!»

Потом вышел Герц, началась загрузка. Он помнит, как заведующая умоляла Герца — доказывала, что какую-то девочку надо оставить, она, мол, способная, пишет, рисует...

Задавал ли он себе и другим вопрос, зачем проводится эта акция?

Он:

— Я еще Скрипке говорю — что́ эти дети, кому они помешали? Какая тут политика?..

В машину он затолкал человек восемьдесят...

Как всегда после допроса, разговор заходит о «личном», о житье-бытье. Сухов рассказывает, что до ареста работал в Ростове, на бензоскладе, в военизированной охране. У него недавно умерла от рака жена, смерть ее он переживает тяжело — «сперва ходил как помешанный, да и сейчас еще не могу успокоиться»...

После Скрипкина, после Жирухина и Еськова он уже не произвел на меня «болевого впечатления» — только разница между ним и его фотографией несколько испугала. Я стал привыкать к тому, что внешне они похожи на обыкновенных людей и что злодейство было для них службой, этапом биографии...

РАЗГОВОР С ВАЛЬТЕРОМ БИРКАМПОМ

...Разыскивается по списку военных преступников как участник и организатор массового истребления гражданских лиц и советских военнопленных на территории Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Украинской ССР, Белорусской ССР, Польской Народной Республики.

БИРКАМП ВАЛЬТЕР,

генерал СС, начальник эйнзацгруппы «Д».
БИРКАМП Вальтер,
род. 17.12.1901 г.— в Гамбурге.
Родители:
Отец — Эмиль Герман Генрих Биркамп, главный бухгалтер.
Мать — Иоганна София Луиза, урож. Штёвер, евангел., лютеранка.
Сыновья:
Хорст — род. 30.7.1930 г.
Вольф — род. 17.5.1933 г.
Член НСДАП с 1 декабря 1933 г. № партийного билета — 1408449, в СА — с 1 ноября 1933 г.
1924—1925 гг.— участник национал-социалистского освободительного движения.
В масонские ложи и масонские организации не входил.
Арийское происхождение его и супруги — подтверждается.

1-й юридический экзамен сдал 10.12.1924 г.— с оценкой — «вполне удовлетворительно».
Государственный экзамен сдал 28.4.1928 г.— с оценкой — «удовлетворительно».

1.1.1925 г.— 31.12.27 г.— Гамбургский ганзейский суд — секретарь суда.
16.5.1928 г.— 31.12.1930 г.— Прокуратура г. Гамбурга — асессор.

1.1.1931—15.9.33 г.— Гамбургский административный суд — асессор.
16.9.33— 29.7.37 г.— Прокурор Гамбурга.
1937 г.— 1942 г.— Начальник криминальной полиции Гамбурга, старший правительственный советник.
1942 г.— Действующая армия, Восточный фронт. Начальник эйнзацгруппы «Д», генерал СС.

...Биркамп Вальтер, умер в 1945 г. в городе Шарбойц и похоронен в Тиммердорферштрандте. Факт его смерти зарегистрирован в книге умерших в Управлении Гражданского состояния в Глешендорфе...

...По заслуживающим доверия данным, Биркамп Вальтер, 1901 г., уроженец гор. Гамбурга, жив и в настоящее время скрывается под вымышленной фамилией в ФРГ.

Итак, генерал Вальтер Биркамп до сих пор не разыскан, он — по одним сведениям — умер, а по другим (более достоверным) — жив, и на кладбище в Тиммердорферштрандте покоятся не его кости.

Предположим, однако, что генерал Биркамп жив и не разыскан, и это обстоятельство меня очень озадачивает, так как не могу же я обойтись без генерала Биркампа, который возглавлял «эйнзацгруппу «Д» — то есть ту зону, где происходит действие всей моей книги.

В ведении генерала Биркампа были Ростов и Таганрог, и Ейск, и Краснодар. Сохранились документы, которые Биркамп составлял: месячная сводка — «с 16 ноября по 15 декабря расстреляно 75 881 человек»; двухнедельные отчеты — «с 1.III.42 по 15.III.42 — евреев 678, коммунистов — 359, цыган — 810... С 15.III.42 по 30.III.42 — евреев — 588, коммунистов — 405; цыган — 261»; обнаружена телеграмма — «меры к выявлению лиц, уклонившихся от расстрела, принимаются»; найдено также предписание, которое штаб 11-й армии направил генералу Биркампу — просьбу закончить «массовую акцию» к рождеству, чтобы не омрачать праздник, «для ускорения акции предоставляем в ваше распоряжение газолин, грузовики и людской персонал»...

Но где найти самого генерала Биркампа? В Западной Германии я заглядывал в телефонные справочники, спрашивал о нем журналистов. Никто его не видел, не знает. И все же мой «разговор» с Биркампом состоялся, и я привожу его здесь в том виде, в каком он сложился в моем воображении.

Мне почти не приходилось фантазировать: достаточно было вспомнить разговоры с некоторыми западногерманскими собеседниками, перечитать западногерманские газеты, материалы судебных процессов в ФРГ, вникнуть в характер обвинения и защиты, чтобы передо мной возник *живой* Биркамп, неразоружившийся нацист, который и сегодня представляет не меньшую опасность, чем двадцать лет назад.

...— Вы должны понять меня правильно — легче всего осуждать, клеймить, тем более сейчас, когда это «клеймение» не стоит

вам никакого риска... Извините, не могу отказать себе в удовольствии: хочу представить себе, как бы вы разговаривали со мной лет двадцать пять — двадцать назад. Вас привели бы ко мне в полуобморочном состоянии, вы знали бы, что вас ждет смерть, и, может быть (я допускаю это!), приготовились бы к предсмертной тираде, поскольку терять вам все равно уже нечего и вы захотели бы уйти из жизни эффектно, с достоинством (в вашем понимании этого слова),— ну, допустим, решились бы сказать мне напоследок какую-нибудь гадость. Но эффекты на меня не действуют,— что значат все эти предсмертные выкрики и что они могут изменить в вашем или в моем положении? Вас расстреляют или повесят, а жизнь пойдет своим чередом, вне зависимости от того, покинули вы ее «с честью» или униженно молили о пощаде. Люди бесконечно наивны — я убеждался в этом не раз, они придают слишком большое значение словам, забывая о том, что только конкретные действия могут принести пользу...

Так вот, в Россию я прибыл для того, чтобы действовать. Если вам угодно, я готов признать, что действовали мы во многом неправильно, чересчур прямолинейно, глупо. Глупо именно потому, что не учли того значения, которое люди придают словам,— просто взяли и отбросили все эти словесные побрякушки: «вера», «добро», «справедливость», «свобода», «любовь», «демократия»,— ах, таких слов я могу набрать сколько угодно. Мы не учли, что от побрякушек людей надо отучать постепенно, а не сразу, так как подавляющее большинство человечества еще не доросло до того, чтобы обходиться без декламации. Теперь я убежден, что мы достигли бы лучших результатов, если бы почаще прибегали к этим испытанным, доступным примитивному человеческому пониманию терминам.

Человек непременно нуждается в словах: он оправдает любое преступление (а иной раз и возведет его в добродетель) и даже с энтузиазмом подставит спину плетке, если вы назовете вещи не своими именами, а прямо противоположно их смыслу. Мы же во всеуслышание заявили, что совесть в политике — химера, и откровенно сказали: мы действуем так не ради «добра», не во имя бога и не во имя абстрактного понятия «человек», а сообразуясь со своими интересами. Вот в чем состояла наша особенность, которую нам не простили и которая навлекла на нас всемирную ненависть [1].

Дело в непривычности и необычности наших методов, которые не укладываются в консервативное человеческое сознание. Нас по-

[1] В Западной Германии такие фантастические утверждения проповедуются сейчас совершенно открыто. Вот письмо, опубликованное газетой «Дейче националь унд зольдатенцейтунг» (1965, № 40). Ганс Кантцер пишет племяннику:

«Знай, что под мундирами вермахта и СС бились добрые человеческие сердца... Не поддавайся влиянию бульварной литературы, которая пытается оклеветать всех немцев, избавь себя от какого бы то ни было «комплекса вины»... Другие народы ничуть не лучше немцев, они только большие притворщики и лицемеры...»

стигла участь новаторов, не понятых современниками. Всех, например, ужаснули газовые автомобили. Подумать только — отработанным автомобильным газом нацисты умерщвляют людей! Это считается чудовищным злодейством, хотя, как известно, смерть в газовых автомобилях наступает через 10—15 минут после подключения шланга и, следовательно, длительность процесса является ничтожной. Подумайте, скольких людей мы избавили от мучительных переживаний, которые человек испытывает, когда его ведут на расстрел или на виселицу.

Гуманизм конкретен, у Мольтке есть слова, повторенные Гитлером в «Майн кампф»:

«Самое гуманное — как можно быстрее расправиться с врагом. Чем быстрее мы с ним покончим, тем меньше будут его мучения».

В газовом автомобиле смерть настигает человека внезапно, промежуток между осознанием смерти и самой смертью длится мгновение. Это было в буквальном смысле благом, благом для обеих сторон: для тех, кого казнят, и для исполнителей казни, которых мы уберегали от растлевающего зрелища смерти и человеческих мук. Небольшая резиновая трубка, гофрированный шланг, равнодушно выполняет работу, на которую потребовалось бы выделить добрый десяток солдат, подвергая их жестоким нравственным терзаниям [1].

Из-за чего же тогда столько шуму? А опять-таки из-за того, что газовый автомобиль мы применили первыми, не дав человечеству как следует привыкнуть к этому нововведению и не дожидаясь, пока так называемые душегубки прочно войдут в обиход, подобно тому как вошли паровой двигатель, поезд, беспроволочный телеграф, электричество, которые ведь тоже когда-то считались «порождением дьявола»!..

Или возьмите лагеря смерти. «Как так? — говорят наши обвинители.— Четыре миллиона человек погибло в Освенциме, старики, женщины, дети!..» При этом умалчивают, что эти четыре миллиона были уничтожены в течение четырех лет, что означает (займемся арифметикой) — по миллиону в год, по 90 тысяч человек в месяц, по 3600 человек в сутки, по 125 человек в час. Но во время одного только налета на Гамбург за два часа погибло 30 тысяч человек, среди которых также были женщины, старики и дети! Что же получается? Убивать стариков и детей бомбами, заживо хоронить их под кирпичными развалинами, поливать горящим

---

[1] На Нюрнбергском процессе свидетель Олендорф, предшественник Биркамна на посту начальника эйнзацгруппы «Д», благодушно рассказывал: «Промежуток между действительной казнью и осознанием, что это совершится, был очень незначительным...» («Нюрнбергский процесс», сборник материалов, т. 4, с. 631.)

И дальше: «Женщины и дети... должны были умерщвляться именно таким образом, для того чтобы избежать лишних душевных волнений, которые возникали в связи с другими видами казни. Это также давало возможность мужчинам, которые сами были женаты, не стрелять в женщин и детей» (там же, с. 641).

Действительно, более «конкретной» формы «гуманизма» не придумаешь!

фосфором — можно, дозволено, это, так сказать, хотя и неприятно, но все же куда ни шло, а производить ликвидацию в лагерном крематории или в газовой камере — значит совершать преступление! Но ведь все это опять-таки игра в термины, фетишизация слов: «газовая камера» — плохо, «бомбардировка», «налет на город» — приемлемо.

Нет, мы ничем не хуже других, и если мы в чем и виноваты, то лишь в том, что проиграли войну [1].

Говорят о морали, о нарушении договоров, об агрессии. Но скажите, пожалуйста, когда, какой политик руководствовался в своих действиях соображениями морали, а не элементарной целесообразностью? Иначе в мире давно бы воцарились неразбериха и хаос!

При всем этом я вовсе не собираюсь полностью оправдывать газовые камеры, крематории и массовые расстрелы, то есть те самые «ужасы», которыми вот уже двадцать лет кормятся писатели, публицисты и создатели кинофильмов. Между прочим, интересно, что делали бы эти господа, если бы не было нас? Некоторые на описании гестаповских ужасов нажили целые состояния... Так вот, я повторяю, что сейчас, по прошествии двадцати лет, я считаю ряд наших мероприятий излишними, если не абсурдными.

Беда в том, что мы слишком спешили и пытались за несколько месяцев решить проблемы, которые требовали десятилетий. Возьмем для примера уничтожение евреев — шаг, который нам обошелся особенно дорого. Должен сказать, что, задумывая решение еврейского вопроса, мы вовсе не предполагали, что дело обязательно примет такой оборот и какого-нибудь старика сапожника из Вильно придется тащить в газовый автомобиль.

Впрочем, поверьте, что лично я не испытывал к евреям никакой биологической неприязни. Могу признаться: в детстве я учился в одной школе с еврейскими детьми, а у моего отца был приятель-еврей, с которым он по вечерам играл в бридж. Этот еврей сажал меня к себе на колени и рассказывал сказку про волка и семерых козлят.

Дело, стало быть, не в личной ненависти, а опять-таки в целесообразности. Антисемитизм должен был сплотить нацию, поднять

---

[1] В «Нюрнбергском дневнике» Г. Джилберта, судебного психолога на Нюрнбергском процессе, приводится его разговор в зале суда с Гансом Франком и Альфредом Розенбергом:

«Франк. Они (т. е. судьи) хотят навешать на Кальтенбруннера обвинение в том, что в Освенциме убивали по две тысячи евреев в сутки. Но кто ответит за 30 тысяч человек, убитых за два часа в Гамбурге?.. И это — справедливо?!

Розенберг *(смеясь)*. Да, конечно: мы же проиграли войну». (G. M. Gilbert, «The Nurenberg diary». Цитируется по немецкому изданию Nürenberger Tagebuch, с. 257—258.)

Стремление приравнять нацистские злодеяния к другим бедствиям и трагедиям войны характерно для гитлеровских преступников и для сегодняшних реваншистов. В том же «письме к племяннику» Ганс Катцер в «Зольдатенцейтунг» лицемерно пишет: «Невинные жертвы, погибшие в Дрездене, Гамбурге, Берлине, заслуживают тех же слез сострадания, что и жертвы немецких концлагерей».

ее дух, устранить классовые противоречия. Мы говорили рабочим: евреи — капиталисты, все немецкое золото в еврейских руках! Мы говорили капиталистам: все евреи — марксисты, они против частной собственности! Евреям не повезло: они оказались объектом тренировки. Для того чтобы впоследствии устранить русских, поляков, французов, миллионные человеческие массы, нужно было с кого-то начать. На ненависти к евреям проверялась стойкость нации, чувство расового превосходства, умение подавлять.

Вот — вкратце — некоторые причины предусмотренных нами мер, которые поначалу сводились к изъятию еврейского имущества и к вытеснению евреев из политической, культурной и хозяйственной жизни внутри Германии. Позже возник замысел выдворить их за пределы Европы, а потом... Черт знает, как это все потом произошло! Увлеклись, захотели покончить с проблемой одним ударом, без проволочек, раз и навсегда. А что получилось? Весь мир ужаснулся, узнав о наших мероприятиях, от которых, в конечном счете, выиграли опять-таки евреи. Теперь они окружены ореолом мученичества! Между тем все это можно было сделать разумнее, без применения крайних средств, без перехлестов, а главное — не сразу [1].

Известной ошибкой было наше вторжение в Россию — в 41-м году. Здесь нас вновь подвела торопливость. Скорей всего, правильней было бы начать русскую кампанию после завершения разгрома Англии, хотя, вообще-то говоря, Восточный поход, ввиду необъятных российских пространств и суровости климата, был предприятием чрезвычайно рискованным. Начав оккупацию России, мы в нашей оккупационной политике пренебрегли разумными со-

[1] Такого рода «самокритика» (уничтожение евреев — тактическая ошибка!) была весьма распространена среди нацистских кругов, особенно сразу после разгрома фашистской Германии. Руководитель гитлеровского трудового фронта — военный преступник Роберт Лей, накануне самоубийства в нюрнбергской тюрьме, писал в своем «Завещании»: «Антисемитизм исказил нашу перспективу... Мы, национал-социалисты, должны иметь силу отречься от антисемитизма. Мы должны объявить юношеству, что это была ошибка... Закоренелые антисемиты должны стать первыми борцами за новую идею...»

Разумеется, речь здесь идет не о раскаянии, а о попытке модернизировать фашизм, придать ему более гибкие, «современные» формы. Тот же Роберт Лей писал: «Национал-социалистская идея, очищенная от антисемитизма и соединенная с разумной демократией,— это наиболее ценное, что может предоставить Германия общему делу...» (Цитируется по книге А. И. Полторака «Нюрнбергский эпилог». М., 1965, с. 44 и 92.)

Это писалось в 1945 году, но и в 1956-м, и в 1960-м, и в 1963-м годах в Западной Германии я встречал многих вчерашних (а возможно, и сегодняшних) приверженцев Гитлера, которые основной тактической ошибкой «фюрера» считали его политику в «еврейском вопросе». Никто из моих собеседников не выражал при этом ни малейшего сожаления по поводу участи шести миллионов человек, расстрелянных, сожженных, отравленных газом, закопанных живьем. Они сетовали на другое: «Если бы не наша ссора с евреями, Рузвельт не вступил бы в войну», «из-за антисемитизма мы лишились многих ценных специалистов, ученых-физиков», «Гитлеру не хватило благоразумия! Эта история с евреями озлобила всех» и т. д.

ветами кое-каких экспертов, которые предлагали шире привлекать население к сотрудничеству с нами.

Вступая в русские города и деревни, мы начинали обычно с изъятий, конфискаций, строжайших распоряжений комендантского порядка и т. д., вместо того чтобы наряду с этими мероприятиями предоставить населению некоторые льготы, создавать касту привилегированных «активистов» — последнее обстоятельство могло иметь особо положительное значение. Можно было даже пойти на передачу отдельных заводов и фабрик в руки тех русских, которые проявили особую приверженность германскому новому порядку. Все это не исключало возможности с течением времени путем частных распоряжений аннулировать эти привилегии, однако на первых порах поощрительные меры принесли бы пользу.

Мы же отождествляли два этих понятия — «русский» и «коммунист», чем косвенно способствовали укреплению единства русского народа, сцементированного ненавистью к нам [1].

---

[1] В сборнике документов об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР «Преступные цели — преступные средства» (Москва, 1963) на стр. 41—47 напечатан отрывок из речи Альфреда Розенберга, произнесенной 20 июня 1941 года, то есть за два дня до нападения на Советский Союз. В ней сказано:

«Одна точка зрения считает, что Германия вступила в последний бой с большевизмом и этот последний бой в области военной и политической нужно довести до конца; после этого наступит эпоха строительства заново всего русского хозяйства и союз в возрождающейся национальной России... Я уже на протяжении 20 лет не скрываю, что являюсь противником этой идеи...

Целью германской восточной политики по отношению к русским является то, чтобы эту первобытную Московию вернуть к старым традициям и повернуть лицом снова на Восток...»

В одном из архивов мной обнаружен любопытный документ — свидетельство того, что в фашистских «верхах» да и в «низах» еще до войны, а особенно в первые ее месяцы всерьез обсуждались две «концепции» будущего управления побежденной Россией. Обе «концепции» предусматривали полное порабощение советского народа, убийство миллионов людей, ликвидацию Советского Союза и расчленение его территории и т. д., однако между авторами различных проектов существовали некоторые тактические разногласия. Наиболее оголтелые и нетерпеливые предлагали сразу же расстрелять или отправить в душегубки большую часть населения. Другие же считали, что нужно на первых порах действовать осторожнее.

Вот несколько выдержек:

«Имеет смысл достичь сотрудничества с гражданским населением путем обещаний хозяйственного и экономического рода. Но, как бы это ни было важно, прежде всего мы должны привлечь на свою сторону русского солдата... Очевидно, что мы в дальнейшем не откажемся от реального сотрудничества с определенной группой верных нам и удостоенных нами доверия русских. В конце концов, Восточный поход является лишь частью нашей общей победы. В этом смысле война не кончится и после того, как мы завоюем всю Россию. Для... антикоммунистически, антисемитски настроенных русских наше пренебрежительное отношение к их содействию является основанием для того, чтобы бороться против нас... Союз русских добровольцев воспринимался бы по ту сторону всерьез, о нем стали бы говорить, и он нашел бы целый ряд приверженцев...

Бесспорно, что «освобождение от коммунизма» не явится достаточно веским аргументом до тех пор, пока русские будут воспринимать это как возвращение эмигрантов. Поэтому стоит подумать, не выдвинуть ли дру-

Вы видите, я объективен в оценке наших заблуждений, но обо всем этом легко рассуждать сейчас, когда позади — горькие уроки прошлого, опыт, накопленный ценой поражений и ошибок. Два десятилетия назад у нас не было времени для размышлений. У нас были горячие головы и пылкие, молодые сердца, перед нами открывались захватывающие дух перспективы. Мы говорили себе: «Всё или ничего!» — и отвечали: «Всё! Только всё!..»

Мы прямо сказали: равенство между людьми и народами — вздор, мы — господа, вы — рабы, исходите отныне из этой аксиомы, иначе мы вас ликвидируем. Тех, кто принимал этот тезис или не сопротивлялся ему, мы не трогали. Называют количество уничтоженных нами людей, назовите лучше количество неуничтоженных!

Но для того чтобы служить Германии и тем самым обрести право на жизнь, нужно было обладать определенной суммой физических качеств, умением и способностью что-то производить, делать: мы не собирались содержать бесполезных нахлебников и делиться плодами своего труда с теми, кто не в состоянии держать в руках хотя бы лопату.

Неужели я отниму кусок хлеба у немецкого солдата, чтобы накормить в Таганроге какую-нибудь русскую старуху, не способную ни к какому полезному труду?

Что же мне делать? Отдать ей свой хлеб — бессмысленно, заставить ее голодать — бесчеловечно. Есть единственно разумный выход: ликвидировать эту старуху, проведя ликвидацию как можно быстрее и гуманнее. Об этом я вам уже говорил...

Вы, наверно, слышали об акции, проведенной летом 43-го года в Таганроге, когда мы за несколько часов, под видом эвакуации, очистили город от многодетных семей, больных, престарелых и неработающих. А детский дом в Ейске!..

В нашей убежденности, что мы избавляем себя от балласта, одно из объяснений того хладнокровия, с которым мы проводили массовые акции, кажущиеся вам фантастическими. Какие, однако, эмоции испытывает, например, санитар-дезинфектор, выводящий крыс или тараканов? Какими чувствами одержим садовник, отсекающий от дерева зараженную ветвь?..

гой мотив: обещание передать управление на отвоеванных нами территориях России тем людям, которые хотя и жили при коммунистическом господстве, но за 25 лет существующей власти не приобрели никаких особых богатств и привилегий. Иными словами, в первую очередь должны исчезать только те люди, которые рассматривали коммунизм как идеал и как религию, а не просто как обычную государственную власть... Такие или близкие к этому воззрения мы должны, безусловно, поддерживать, чтобы не возникла бóльшая опасность, при которой под ударами германской армии возникнет единый русский народ... Поэтому мы будем добиваться создания русских добровольческих союзов, проводя вместе с тем политику сохранения немецкой крови, путем окончательного решения — в нашем толковании этих терминов...»

Сегодня общеизвестно «толкование» этих терминов: «окончательное решение», «сохранение немецкой крови» — шифрованные обозначения массовой ликвидации.

Кстати, об убийстве... Видите ли, убийца, по существу, сидит в каждом человеке. Если быть совершенно откровенным, нет такого человека, который хотя бы раз не испытывал желания убить своего ближнего. Многие не стали убийцами только из трусости. Эта потребность к убийству является, пожалуй, здоровым началом, признаком того, что человек отстаивает свое право на жизнь и достоинство путем активных действий. Однако так называемая цивилизация с присущим ей ханжеством подавляла эту естественную потребность, превращала ее в нечто запретное, мельчила ее. Убийство приобрело вульгарно-бытовой характер, опасный для общественного порядка. Проповедуя унылое «не убий», ханжеская цивилизация в то же время оправдывала убийство из ревности (Отелло), убийство из ложного понимания чести (дуэль), то есть направляла исконную человеческую потребность по ненужному и бессмысленному руслу.

Мы же впервые рационализировали это самой природой данное человеку качество, поставили его на службу нашим идеям и тем самым значительно сузили возможность для стихийного, неорганизованного убийства как разнузданной прихоти индивидуума. Никто не имеет права убивать по собственному желанию или выбору; зато каждый имеет возможность удовлетворить свою потребность в установленных нами рамках.

Была бы у нас атомная бомба! Я часто думаю о том, как нам ужасно не повезло: атомное оружие — вот чего недоставало Германии! Циклон «Б», фаустпатроны, фугасные снаряды, «пантеры» и «фердинанды» — вся эта кустарщина не соответствовала грандиозности наших планов. Могут ли сравниться тысячи газовых печей хотя бы с одной ракетой, снабженной ядерной боеголовкой? Пусть об этом помнят те, кто пришел нам на смену: бундесвер нужно обручить с ядерной техникой — иначе идея мирового владычества останется всего лишь прекраснодушной мечтой, рождественской сказкой!

Сейчас нашим продолжателям намного легче, чем нам: ядерный век открывает тысячи новых возможностей. А мы?.. «Я родился слишком рано»,— поется в старинной немецкой песне, и горькие эти слова я могу отнести к самому себе. Кто знает, не пожалеют ли наши потомки, что они родились слишком поздно?..

Во всяком случае, немецкий народ жестоко расплачивается за это до сих пор. Дело вовсе не в том, что мы потерпели военное поражение, потеряли миллионы убитых, что страна оказалась расколотой, что отторгнуты территории, добытые нами в тяжелой борьбе. Со всем этим еще можно примириться. Есть худшее наказание. В наши дни, когда на игральном столе — огромные сферы влияния: страны и континенты, весь земной шар и даже космическое пространство, мы вынуждены довольствоваться крохотными ставками, играть «по маленькой», претендуя всего лишь на какой-нибудь Западный Берлин или на жалкие границы 1937 года. И это мы, которые владели территорией от Эль-Аламейна до Волги!

И все же не это главное. Даже не это! Главное наказание состоит в том, что, делая свои крохотные ставки, высказывая свои крохотные претензии, мы вынуждены говорить с вами на вашем же языке, пользоваться вашей фразеологией, строить из себя гуманистов, демократов, христиан, миротворцев, раскаявшихся грешников и антифашистов.

Вот в чем позор, вот в чем обида, которую мы не простим и которую когда-нибудь вам припомним!..

Поверьте мне: многие мои сограждане думают именно так, но никто, кроме меня, не выскажет вам всего этого вслух. Да и я это делаю только потому, что вы никогда не сможете доказать, что наш разговор имел место в действительности. Ведь вы даже не знаете, где я нахожусь, и все, что вы здесь записали, вам только померещилось, после того как вы начитались всяких мемуаров, дневников, судебных материалов, архивных бумаг. Разве Биркамп говорил что-нибудь подобное? Да и где он, Биркамп? Пропал без вести, да так и не обнаружен в течение всех этих лет. Может быть, он уже давно умер?

А я жив. И не собираюсь умирать. Я еще пригожусь — многие нуждаются в моем опыте и в моих услугах.

Конечно, может случиться и другое — меня продадут, откажутся от меня, как от ненужной и отыгранной фигуры, на радость дуракам газетчикам и «общественному мнению». Вот будет сенсация! Биркамп пойман! Биркамп перед судом! Справедливость торжествует!

Поймут ли они, что старого Биркампа выдали для того, чтобы он, стоя перед судом, отвлекал ваше внимание от новых биркампов, которые, упрятав меня в тюрьму и учтя мои ошибки, доведут до конца начатую мной работу?

И если это произойдет, если меня выдадут и мне придется исполнять роль подсудимого, я буду говорить со своими судьями совсем не так, как сегодня говорю с вами.

Я подойду к микрофону и скажу вот что...

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ВАЛЬТЕРА БИРКАМПА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИМ НА ПРОЦЕССЕ В ГОРОДЕ в 196... году

Господа судьи!

...лет прошло с того дня, когда смолкли последние залпы второй мировой войны, а человечество все еще пытается осмыслить существо всемирной трагедии, осознать ее последствия и полно решимости до конца рассчитаться с теми, кто вверг его в пучину неслыханных страданий. Да это и неудивительно. Никогда еще история цивилизации не знала такого глумления над самими основами человеческой нравственности, над элементарными нормами права и совести. Такие освященные веками понятия, как доброта, милосердие, справедливость, терпимость, уважение людей друг к другу, оказались попранными, втоптанными в грязь и залитыми кровью.

И если сегодня исцеленное от своих недугов и пробудившееся к разумной жизни человечество все еще не в состоянии забыть своих вчерашних мучителей, то какова же должна быть мера негодования со стороны того, кто волей судьбы сам оказался на службе у этой зловещей машины? Что должен испытывать тот, чьим доверием к вышестоящим, верностью долгу и любовью к родине злоупотребили во имя самых чудовищных и преступных целей?

Трагична судьба человека, павшего от рук палачей, однако участь его смягчается хотя бы тем, что он уходил из жизни в сознании своей правоты, преисполненный веры в благодарную память потомков. Но не является ли во сто крат более трагической участь невольного пособника зла и не подходит ли в большей степени слово «жертва» к тому, кто оказался в плену трагических заблуждений и, обманутый своими начальниками, вынужден был действовать противоположно своим истинным намерениям и целям?

Сейчас, по прошествии... лет, я со всей откровенностью могу сказать, что отношусь к числу этой, наиболее трагической, категории жертв нацистского варварства. Нет, не страх за свою жизнь, не боязнь ответственности, а глубокое чувство стыда заставляло меня скрываться от людского правосудия в предвидении неизбежности предстать перед Высшим Судьей и в полной готовности держать перед Ним ответ за свои деяния, которые могут рассматриваться лишь как человеческая трагедия, а не как уголовное преступление потому, что с точки зрения человеческих законов мои поступки не могут быть названы ни преступными, ни безнравственными.

Как документально установлено, я вступил в должность начальника эйнзацгруппы «Д» в июне 1942 года, сменив на этом посту генерала Отто Олендорфа. Таким образом, к тому времени, когда я прибыл на Восточный фронт, основные акции в зоне действий моей группы были закончены. Ликвидация евреев, цыган, а также коммунистических и антигерманских элементов в Крыму, в Мариуполе и Таганроге происходила еще в те времена, когда я занимал должность начальника криминальной полиции Гамбурга, и, таким образом, никак не может быть поставлена мне в вину. Генерал Олендорф создал настолько совершенную и четкую машину уничтожения людей, настолько детально разработал самую технику ликвидации, что мне уже почти не приходилось вмешиваться в деятельность зондеркоманд и отдавать какие-либо дополнительные приказы. Это может прозвучать сейчас горькой иронией, но, на мое счастье, в наследство от Олендорфа мне досталось прекрасно организованное хозяйство.

Все шло как бы по инерции, по уже готовым и выработанным Олендорфом образцам. Так, проводя очистительные акции в Ростове, Новороссийске, Краснодаре, Ставрополе, соответствующие зондеркоманды даже не обращались к руководству эйнзацгруппы за инструкциями: они попросту не нуждались в моих указаниях,

так как все было разработано заранее и обычно меня ставили в известность уже после того, как та или иная операция была завершена. Помню, что среди моих ближайших сотрудников даже высказывалось недовольство по этому поводу. Некоторые сетовали на то, что нам фактически отведена роль регистраторов и что начальники зондеркоманд проявляют слишком большую самостоятельность. Я располагал также информацией о том, что ряд офицеров собирались обратиться к райхсфюреру СС Гиммлеру с просьбой отозвать «регистратора Биркампа» и вернуть им «старого Оле» (так называли между собой Олендорфа).

Между тем обвинение делает меня ответственным чуть ли не за все операции, которые были осуществлены в зоне действия возглавляемой мной группы, ссылаясь при этом на тот высокий пост, который я занимал. Но ведь это обстоятельство доказывает как раз обратное! Именно в силу своего высокого служебного положения я не вникал в подробности повседневной работы отдельных карательных команд и лишь следил за выполнением общих установок. Так, я совершенно не был осведомлен, в чем конкретно выражалось так называемое «очищение» от коммунистов, евреев и других лиц. Получая донесения с мест, я полагал, что речь идет о переселении или направлении на работы в специальные лагеря, расположенные за пределами моей зоны,— например, в Освенцим, Бухенвальд, на сборные пункты, в транзитные гетто и пр.

Только после войны из газетных сообщений о судебных процессах я узнал о том, что под видом переселения проводились массовые экзекуции.

Было бы, конечно, несправедливым утверждать, что я вовсе ничего не знал о чинимых жестокостях. Там, где это было возможным, я старался смягчить участь населения и даже оказывал ему посильную помощь. Я убедительно прошу суд обратить внимание на имеющиеся в деле телеграммы за номерами П/40/42, П/56/58 и М/70/84, поступившие на мое имя от начальника зондеркоманды СД Ц-6, в которых настойчиво повторяется требование направить бригаду для производства ремонта газового автомобиля «зауер», следовавшего из Мариуполя в Таганрог. Как видно из этой переписки, я всячески оттягивал производство ремонта, ссылаясь на отсутствие газовых шлангов, с целью воспрепятствовать или, во всяком случае, задержать намечавшуюся акцию. Таким образом, были спасены сотни, а может быть, тысячи человеческих жизней...

Хотел бы остановиться еще на одном пункте, а именно на так называемом жестоком обращении с партизанами и на ликвидации русских военнопленных. В данном случае суду незачем верить мне на слово — достаточно изучить имеющуюся документацию, чтобы понять, что боевые действия против партизан проводились, как правило, соответствующими армейскими соединениями под руководством своих командиров и что участие эйнзацгруппы в таких операциях было, по существу, номинальным.

Я со всей категоричностью утверждаю, что лично ни разу не участвовал ни в одном расстреле, ни в одном удушении, ни в одном повешении и что на моих руках нет ни одной капли человеческой крови.

Я утверждаю, что мне ничего не было известно о таких преступлениях, как расстрел русских военнопленных в районе Гайдука или уничтожение больных детей в Ейске (прошу, кстати, отметить, что в октябре 1942 года, когда проводилась ейская операция, я находился на излечении в госпитале).

Надо знать систему дьявольской конспирации, которой была пронизана вся деятельность органов безопасности, систему, при которой вышестоящее лицо зачастую не было даже осведомлено об истинном характере действий своих подчиненных,

надо знать обстановку, царившую в штабах эйнзацгрупп, с их бюрократизмом, «канцелярской волокитой», которая поглощала все мое время, лишала возможности принимать практическое участие в конкретных операциях,

чтобы понять, что даже при самом настойчивом желании я не мог быть причастным к тем преступлениям, которые инкриминируются мне обвинительным заключением.

Суд не может оставить без внимания и то обстоятельство, что, будучи солдатом и повинуясь приказам, я не имел ни моральной, ни физической возможности активно препятствовать предписаниям моих начальников, ибо, не выполняя приказ, какого бы содержания он ни был, я тем самым подал бы дурной пример моим подчиненным, что в свою очередь внесло бы во всю работу эйнзацгруппы хаос и разложение и привело бы к еще более диким, неорганизованным акциям. Не приходится доказывать, что в любой стране, в любой армии неукоснительное выполнение приказа является первейшей обязанностью каждого военнослужащего, особенно во время войны.

Материалы дела наглядно подтверждают, что лично я не совершил ни одного поступка, идущего вразрез с полученными мною приказами, и не моя вина в том, что эти приказы были преступными.

Может быть, мою вину усматривают в том, что я был верен присяге и продолжал выполнять свой служебный долг? Но ведь самое понятие «преступность» относительно и зависит от того, с какой точки зрения смотреть на вещи. То, что кажется преступным моим сегодняшним обвинителям, казалось справедливым и нравственным моим вчерашним начальникам и мне самому. Если бы осознание преступности моих действий пришло ко мне не сегодня, а двадцать лет назад, то я выступил бы против своего руководства. С вашей точки зрения я был бы в таком случае героем, но содержание моей деятельности разбиралось бы не на этом процессе, а подлежало бы разбору нацистского трибунала, который рассматривал бы это мое «геройство» как измену и преступление.

Но я не оказался ни героем, ни изменником.

Увы, человечество состоит не из героев, а из обыкновенных людей, которые действуют в зависимости от обстоятельств и живут по законам той страны, гражданами которой они являются. Это, между прочим, объясняет полную бессмысленность и обреченность любого индивидуального «героизма», противоречащего официальной доктрине. Такой «героизм» не был бы понят основной массой и только вызвал бы дополнительную волну репрессий и жестокостей.

Господа судьи! События, которые явились предметом судебного разбирательства на этом процессе, давно уже стали достоянием истории. История вынесла свой приговор — приговор времени, режимам, правительствам, оставив в стороне поступки отдельных людей, ибо не люди определяли характер времени, а, напротив, время определяло характер людей. И если история оказалась снисходительной к отдельным людям, к этим песчинкам, попавшим в водоворот времени, то я могу спокойно ждать вашего приговора, уверенный в вашей справедливости, в вашем нежелании увеличивать число пострадавших от этой войны еще одной жертвой.

ЧЕЛОВЕК ИЗ-ПОД КРОВАТИ

...В Ростове, во дворе дома на улице Горького,— небольшой флигелек, кусты, остатки плюща; должно быть, летом здесь зелено.

Из темноты отворили, в дверях — женщина, лет шестидесяти. Милый, певучий голос:

— Здравствуйте!..

Это его жена.

Полное, добродушное лицо, в очках.

— А дед где?

— На работе.

— Вот как!.. Устроился? Куда же?

— Он теперь охранником при гараже.

Вошел. В комнате обжито, уютно — «в тесноте, да не в обиде». Мебель. На столе — ноты. Пианино. Большая дореволюционная фотография — групповой снимок: лысые, с бородками, в стоячих воротниках. К р о в а т и. Умывальник за дверью. Дореволюционный уют.

Здесь он жил.

Ж е н а. Сколько было страха! При немцах. И потом... Лучше об этом не вспоминать. Он вам сам все расскажет.

Молодая женщина, жена его сына, весело вызвалась меня проводить, накинула на плечи шубку. Пошли.

Стучим в железные ворота.

— Папа, это я. Вернее, к вам! Ну, будьте здоровы...

Лязгнул тяжелый замок. Долго отпирает, медленно. Показался он, очень высокий, бледный, медленный. Ни испуга, ни удив-

ления. Запер за мной ворота на замок, дважды повернул ключ. Прошли в контору, где он дежурит. Тепло. Яркий свет. На столе — алюминиевая ложка, таблетки биомицина, Чапыгин — «Разин Степан». На стене — политическая карта мира и авоська с продуктами.

Смотрю на него: длинное лицо, поблекший, но аккуратный пробор (это — от офицерства, был у Колчака прапорщиком), офицерский подбритый висок, гладкое лицо, без морщин. Когда говорит, обнажает большие бледные десны, из которых торчит единственный длинный серебряный зуб. Иногда, разговаривая, облизывает языком губы. Голос густой, но какой-то погасший. Его длинное серое пальто напоминает кавалерийскую шинель, с которой сняли погоны.

Его жизнь

Из чиновничьей семьи, сибиряк, колчаковский прапорщик. После гражданской войны — в Ростове, бухгалтер в тресте столовых и ресторанов, руководитель ансамбля народных инструментов: играл на балалайке, гитаре и мандолине. О своей «советской деятельности» говорит так:

— Работал активно, избираем был в завкоме, в профкоме, был представителем МОПРа.

В 1941 году — война, ополчение. Ночью полк отступал из Новочеркасска, задержали немцы. Удалось отпроситься, вернуться домой.

Голодно. Кто-то сказал, что в полиции, если туда поступить, «будут хорошо питать и дадут документы».

— Я поступил в полицию. Обязанности: следить за порядком, обход участка, вывод населения на работы.

Обходил участок длинный бледный человек с повязкой на рукаве.

— Ну, и как же вас «питали» в полиции?

— Плохо. Никаких привилегий не было. Собак, кошек ели. К стыду...

Служба продолжалась. Были случаи, поступали доносы от провокаторов: в такой-то квартире прячется коммунист, еврей, хранят советскую литературу. Ходил. Производил обыски. Доставлял подозреваемых в полицию.

— Вы знали о расстрелах, о пытках?

— Лично не видел. Но говорили...

— И вам не жаль было людей?

— Что делать...

Он «исполнял обязанности», но никого из соседей по дому не выдал, даже помог кое-кому.

Когда стали регистрировать евреев, к нему пришел дирижер духового оркестра, знал его «по линии искусства».

— Спрашивает меня: «Что делать, являться ли?..» Я сказал: «Явись, им, наверно, такие специалисты, как ты, пригодятся...»

Думаю, он меня послушался и погиб. Больше я его никогда не встречал.

В 1943 году при отступлении немцев из Ростова пешком ушел в Таганрог, оттуда — в Первомайское, с немцами бежал в Германию, работал бухгалтером на немецком заводе. Когда пришла Красная Армия, выдал себя за военнопленного, легко прошел «госпроверку» и вернулся в Ростов. Домой пришел ночью — никто его не видел.

Это было в 1945 году. Ему было тогда пятьдесят три года. Сейчас ему семьдесят...

Он знал, что его могут опознать, разоблачить как полицейского, судить.

— Я боялся.

И он залез под кровать.

Семнадцать лет он прожил под кроватью или в ларе для муки, семнадцать лет ни разу не выходил на улицу, не дышал воздухом.

Старилась жена, рос сын, совсем одряхлела теща. Ночью он спал с женой, чутко прислушиваясь к скрипам, к шорохам. Утром вставал, делал гимнастику и уползал под кровать, с которой до пола свисало плотное покрывало.

Изредка он вылезал, слушал радио, помогал по хозяйству...

Эта бесконечная процедура — его залезание под кровать — была главной деталью жизни этой семьи. Никогда не приходили гости. Если к сыну случайно заглядывал кто-то из товарищей или девушек, он лежал под кроватью, боясь кашлянуть, шелохнуться. Над семьей тяготела страшная тайна: это было так, как если бы под кроватью лежал труп зарезанного человека или динамит, который может вот-вот взорваться.

Время шло: конец сороковых годов, начало пятидесятых, шестидесятые... Умер Сталин, состоялся XX съезд, полетел в космос Гагарин. Он знал об этом от радио, напряженно следил за новостями, но каждое утро все начиналось сначала — длинный старый человек уползал под кровать.

Сын вырос, работал электротехником, влюбился, женился — молодую жену надо было ввести в дом. Он открыл ей страшный секрет. Теперь в историю с «отцом под кроватью» втянута была еще одна судьба и еще одна жизнь исковеркана.

А он все жил под кроватью, иногда, в случае особой опасности, залезал в ларь. Если за окном раздавались шаги, прятался за умывальник.

Ему шел седьмой десяток. Он стал стариком. У него выпали все зубы — он страдал зубной болью, но, конечно, не мог обратиться к врачу. Тем не менее серьезно он не болел ни разу.

— Я не рад уже был жизни. У меня нервы были издерганы, и сердце стало плохо работать. Но это у меня. А родные?..

Однажды в семье случилось несчастье — умерла мать жены. Пришли прощаться родственники, соседи, в комнату набралось много народу.

Он замер в своем укрытии — больше всего боялся чихнуть. Из-под кровати он видел ноги входивших, слышал голоса...

Наконец, осенью 1962 года, сын сказал: нужно явиться.

— Он взрослый же парень, а я все залажу и вылажу из-под кровати.

Жена купила ему пальто.

Он говорит:

— Это было в день Карибского кризиса...

Он шел по городу, в котором скрывался семнадцать лет, и не узнавал ни людей, ни домов, ни улиц. Все это выросло без него, не при нем.

Он явился с саквояжиком, заявил:

— Я служил в полиции.

На него взглянули с удивлением.

Он сказал:

— Я семнадцать лет прятался. Арестуйте меня.

Его опросили и отпустили домой: семь лет, как на него распространялась амнистия.

Ему дали паспорт, прописали, устроили на работу сюда, в гараж.

— ...Я, по-моему, даже не заслужил такого внимания.

Плачет. Беззвучным старческим плачем. Это — плач старого предателя, сухой плач, без слез, бессильное выражение угасших чувств. Плач человека из-под кровати.

— Я сознаю, какие преступления совершил. Во-первых, изменил Родине. И в белой армии служил к тому же. Не знаю, как благодарить даже...

Я задаю еще несколько вопросов. Он говорит, что после явки с повинной хотел покончить с собой. После того как страх — главное содержание его жизни — кончился, жизнь потеряла для него смысл. Выйдя наконец на улицу, он утратил ц е л ь, с которой сроднился: надежно спрятаться.

Теперь у него был паспорт, работа, не надо было ни от кого скрываться, но тем самым была утрачена цель. И это — самое страшное наказание, которое постигло бывшего изменника и полицая.

Найдет ли он новую цель? Едва ли. Ему уже семьдесят лет.

Он говорит, что мог бы еще руководить ансамблем народных инструментов, но его не возьмут на «культработу» (при этом он поглядывает на меня, надеясь услышать опровержение).

Беседа окончена.

Идем через мокрый, темный двор, похожий на тюремный.

У него длинное, нескладное, наклоненное вперед туловище. Голова на этом туловище кажется маленькой.

Он отпирает замок, скрипят железные ворота.

Потом я слышу, как он вновь запирает, гремит засовом, проверяет: надежно ли?..

Отрывок из этого очерка был опубликован в некоторых газетах. Я получил много писем читателей. Вот одно из них.

ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

Двадцать лет скрывался предатель, прячась от страха под кроватью. Была амнистия, его простили.

Но пусть не думает, что его современники также простили его. Пусть прошло 20 лет, пусть 1020. Имена Ирода или Иуды не забываются поколениями народов и будут нарицательными до тех пор, пока стоит земля.

Этот зверь, как он деликатно говорит о себе, «отводил подозреваемых в полицию!» Он не отводил, а вылавливал и приводил к немцам на казнь неповинных людей. Он делал это не в юношеском возрасте, когда еще могло не установиться моральное лицо: ему тогда было полсотни лет.

Кто поверит, что он теперь осознал, какой он гнусный, отвратительный преступник?

Нет, мы никогда не простим его!

Мы, которые видели увозимых на грузовиках за город матерей и бабушек с искаженными, застывшими лицами, в отчаянии прижимавших к груди испуганных внучат; мы, которые видели юношей и девушек, которых также везли на казнь, а они пели, прощаясь с жизнью, и помахивали фуражками; мы, которые видели двор ростовской тюрьмы, заваленный тысячами трупов невинных жертв, тоже отведенных в гестапо,— мы не простим предателям их черной работы.

Это не наказание предателю — просидеть годы в своей квартире. Он все же жил, жрал, дышал, а с темнотой, наверно, впитывал ночную прохладу, жизнь.

А те, которых он «отводил»...

Так пусть же они и простят его.

А мы не прощаем!

Людмила Назаревич, врач, Ростов-на-Дону

«БУНТЕ БЮНЕ»

III пехотная дивизия. Командный пункт.
II-а забота об офицерах. 22.8.43.
С о д е р ж а н и е: посещение театров. Таганрог.

Требования, предъявляемые военной обстановкой к воинским частям, приводят к тому, что театры посещаются исключительно слабо.

Т. к. театры должны работать без дотаций и рассчитывать только на свои доходы, ввиду плохой посещаемости театров увеличивается их нерентабельность, и вследствие этого может встать вопрос об их закрытии. Само собой понятно, что под критическим взором русских нельзя упразднять культурную работу среди немецких воинских частей. Исходя из интересов расквартированных в городе воинских частей и в целях организации времяпрепровождения войск во время долгих зимних вечеров, закрытие театров не должно быть допущено.

Поэтому рекомендуется всем командирам находящихся в Таганроге подразделений, особенно начальникам госпиталей и санаториев, всячески поощрять посещение театров путем вербовки зрителей или надлежащих указаний на этот счет. Чтобы привести в соответствие службу дежурных на постах и связистов с посещением ими театра, начало представлений в театрах с 28.8 переносится на 17 часов пополудни. Представления будут длиться два часа.

Кроме того, солдатам разрешается приводить с собой в театр гражданских лиц.

По поручению — Ф. Бюллов, полковник.

В Таганроге живет сейчас бывшая певица Лариса Георгиевна Сахарова (так ее назовем), которая в годах 1939—1940-м высту-

пала на сочинских эстрадных подмостках, в 1941-м приехала домой, в Таганрог, «попала под оккупацию» и работала в театре при немцах. Я о ней собираюсь рассказать, хотя речь здесь пойдет не о героине-подпольщице и не о предательнице, а о судьбе некоей «певички», настолько заурядной, что, казалось бы, и рассказывать-то не о чем. Ну, пела немецким офицерам, ну, видела всякие безобразия, ну, голод был, и деваться было некуда: всех неработающих отправляли в Германию, а на бирже труда сказали, что требуются актеры в театр,— она и пошла с двумя трубачами, их всех троих зачислили, и она пела.

Жизнь коротка, искусство вечно — фашисты тоже не могли обойтись без искусства. Это — естественная человеческая потребность в зрелище, в том, чтобы вечером, после дня тяжелых трудов, переодеться, опрыскать себя одеколоном и прийти в театр, где огни, красный бархат кресел, а на сцене...

Вот тем, что происходило на сцене, меня поначалу и заинтересовала Лариса Георгиевна, потому что я о фашистской «теории искусства» много читал, на этот счет существует обширная литература, и на самом деле важно понять, в чем состоит так называемый «яд фашизма», проникший в искусство.

Меня, признаюсь, всегда удивляло одно обстоятельство. Эти мерзавцы, которые готовили себя для убийств и для которых убийство было главным занятием, главным удовольствием и содержанием всей их жизни, требовали от искусства какой-то нечеловеческой благопристойности. Казалось, их глазу милее всего должны быть кровавые фантасмагории, кошмары, нагромождение трупов, искаженные от боли и сладострастия лица — так нет же. В живописи, например, почитались скучнейшие пейзажи с изображением немецких лесов, гор, зеленых полей, по которым бродят откормленные стада и где «возделывают почву» трудолюбивые крестьяне. Были грандиозные статуи и портреты «немецких мужчин» — обнаженных мускулистых красавцев (лишенных, впрочем, признаков пола) или одетых в мундир «немецких женщин» — златокосых, задумчивых, но целеустремленных и уверенно глядящих «вдаль». Был Гитлер — в бронзе, в мраморе, в гипсе, Гитлер, написанный маслом и нарисованный углем, но не тот исступленный фанатик, который возбуждал толпы на митингах и «партайтагах» при свете факелов, а благопристойный, хорошо выбритый и причесанный господин в галстуке, с аккуратным пробором. Особенно тщательно выписывали галстук, вплоть до каждой волосинки — усы, и старались сделать пробор как можно ровнее, и пуговицы на кителе были как настоящие.

Я сперва не мог понять: какую, с точки зрения фашистов, «воспитательную роль» могла играть такая живопись? Ведь им нужно было взвинчивать людям нервы, подхлестывать воображение. Неврастеники, мистики, жизнь которых проходила в сплошной истерии, крайние декаденты в политике, которые руководствовались своей больной, воспаленной фантазией даже в государственных и внешнеполитических делах, устроители фантастичес-

ких пыток, они должны были бы и в искусстве любить дисгармонию, нарушение пропорций, мистическую экзальтацию. Но они яростно боролись с «отклонениями от нормы», они только и делали, что кричали о «здоровом» искусстве, «полнокровном», «трезвом». Геббельс, например, приказал однажды прочесать все немецкие музеи и выявить хранящиеся в запасниках полотна «враждебных» художников. 730 полотен были извлечены из подвалов и выставлены на «всенародное» обозрение, снабженные такого рода надписями: «Так слабоумные психи видят природу», «Немецкая крестьянка глазами еврейчика». Приходили лавочники, унтер-офицеры, чиновники со своими женами — покатывались со смеху. После этого картины сожгли [1].

И в литературе было то же самое, и в театре, и в музыке. Здесь тоже все время кого-то выкорчевывали, громили, выжигали, обвиняли в безнравственности, в извращенной сексуальности, в растлении человеческой психики и морали. Это шла речь о крупнейших, признанных во всем мире писателях, драматургах и композиторах. Классиков, за небольшими исключениями, предлагали выбросить на свалку, как «либеральный хлам». Знаменитое сожжение книг 10 мая 1933 года проводилось под лозунгом — «Борьба за нравственность, дисциплину, за благородство человеческой души и уважение к нашему прошлому».

Сам по себе талант считался чем-то нежелательным, опасным, почти преступным. И это тоже — на первый взгляд — странно, потому что всякое, пусть и фашистское, государство, казалось бы, нуждается в определенном минимуме людей талантливых и мыслящих. Однако гитлеровское государство предпочитало иметь дело с бездарностями, с дилетантами,— даже симпатизировавший одно время нацистским «идеям» известный поэт Готфрид Бенн в своем отчаянном письме, адресованном берлинскому фельетонисту Франку Марауну, вынужден был признать, что в официальном искусстве царят «наглость и примитивность». Он писал: «Премии дилетантам, исключительно одним дилетантам, поощрение эпигонов, громкие слова в честь бездарностей, которыми прикрывается бессилие... вот в чем их сила».

И это действительно была «их сила» — сила тупости и человеконенавистничества, потому что в возвеличивании бездарностей, в насаждении всей этой «благопристойной» скуки был свой резон и своя цель: умертвить мысль, живое чувство, лишить человека радости; было садистское желание давить человека, довести его до такого отупения, чтобы он превратился в бездумный, нерассуждающий автомат.

На такое «искусство» они не жалели средств, осыпали деньгами, увенчивали титулами — «профессор», «культур-сенатор», «государственный артист» — ничтожеств, которых в других, мало-мальски нормальных, условиях к храму искусств близко бы не

[1] Выставка, о которой идет речь, была открыта 19 июня 1937 года в Мюнхене. Сожжение картин произошло 20 марта 1939 года во дворе пожарной команды в Берлине.

подпустили. Они даже создали специальный комитет «поощрения не признанных прежде поэтов, писателей и артистов». Каждый, кто осмеливался высказать слово хотя бы чисто профессиональной критики, подвергался оскорблениям, травле и легко мог оказаться в концентрационном лагере. В Нюрнберге полиция схватила двух журналистов, которые неодобрительно высказались о варьете, состоявшем под покровительством Юлиуса Штрейхера. Журналистов доставили в варьете, загримировали и приказали петь и плясать вместо раскритикованных ими актеров. Естественно, что они «провалились» и публика «с позором» прогнала их со сцены. Этот случай был позднее использован Геббельсом, который объявил критику «грязной еврейской затеей» и выпустил специальный приказ, согласно которому «каждый критик должен быть готов в любую минуту и по первому требованию заместить тех, кого он критикует; в противном случае критика теряет свой смысл — она становится наглой, самонадеянной и тормозит развитие культуры».

Зато сами они «критиковали» вовсю, у них был свой штат «критиков» — от гестаповских следователей до геббельсовских и розенберговских пропагандистов, которые мордовали немецких интеллигентов: одних загоняли в тюрьмы, других изгоняли из страны, третьих лишали возможности работать. И непременным аргументом в таких случаях было словцо «антинемецкий». Они клялись немецким народом на каждом шагу и шельмовали писателей, художников и ученых... Выходило, что не Томас Манн, не Генрих Манн, не Ремарк, не Фейхтвангер, не поэты рабочего класса Германии — Брехт, Бехер, Вайнерт,— а Розенберг с Геббельсом знали, чем живет и чего хочет немецкий народ. Но если бы кто-нибудь попробовал в гитлеровской Германии рассказать правду о том, как живет народ, или проявил хотя бы более или менее глубокий интерес к народной жизни, его бы немедленно отправили «изучать» жизнь и смерть туда, где в те времена находились лучшие представители немецкого народа.

А вообще иногда трудно было понять, чего им нужно от культуры: установки поступали самые неожиданные, исключающие друг друга. В «культурной политике», как и во всем, проявились разнузданная прихоть и произвол нацистских властителей. Кроме того, «культура» была подходящей областью для интриг, взаимных подсиживаний, сведения счетов между двумя могущественными соперниками — министром пропаганды Геббельсом и «партийным идеологом» Розенбергом.

В году 36-м, кажется, Геббельс задумал выпуск «патриотических» фильмов, картин о «выдающихся германцах» — полководцах, государственных мужах, промышленниках. Создавались и так называемые «почвенные» фильмы об «отечественной природе». Вся эта продукция официально провозглашалась «новым словом в кино», величайшим достижением «новой» германской культуры», избавленной от «марксистской заразы».

Но в самый разгар кинокампании Гитлер выразил недовольст-

во из-за того, что министерство пропаганды уделяет слишком большое внимание «патриотическим» фильмам и забывает «национал-социалистскую тематику». Это на Геббельса нажаловался Розенберг, обвинил его в том, что на экранах нет «героев движения» — гаулейтеров, генералов, эсэсовцев. Пришлось перестраиваться на ходу. Однако вскоре поступила новая директива. Было заявлено, что «никто не требует, чтобы новая идеология маршировала по сцене или экрану и чтобы в пьесе или фильме героями обязательно были эсэсовцы и штурмовики. Напротив, их место не на экране, а в строю». И почему так мало веселых комедий?..

Или другой пример. Сколько было произнесено речей, сколько статей написано о том, что «снобы» придираются к «самородкам», которым, может быть, недостает опыта и таланта, но которые одержимы желанием воспеть «великое нацистское время» (einmalige Zeit!). Некоторых «снобов» даже посадили в тюрьму. И вдруг — новость. Геббельс выступает с речью, он говорит: «Только посвященные могут служить на алтаре искусства. Никто не допустит, чтобы гениальность и талант были вытеснены бескровным дилетантизмом ничтожеств». «Снобы» воспряли духом, «ничтожества» приуныли, но зря. Кто является «гением», а кто «ничтожеством», устанавливали соответствующие ведомства, так что «ничтожествам» нечего было опасаться — их просто произвели в «гении», вот и все...

Я пишу обо всем этом так подробно потому, что между гитлеровской «культурой» и гитлеровскими зверствами есть прямая связь: ведь одни и те же руки сжигали картины и книги и уничтожали людей. Но тем, кто это делал, тоже нужна была какая-то «эстетическая радость», какие-то развлечения. Конечно, хороши Зигфриды, Брунгильды, «нордический стальной романтизм», но иногда хочется, чтобы на экране или на сцене была красивая жизнь, красивые женщины, с красивыми ногами, бедрами, бюстами, особенно когда идет война и кругом кровь, смерть и лязг железа. Нужен конкретный, доступный «идеал», чтобы фронтовик знал, за что он воюет и что он реально получит, если возвратится с победой...

В Таганроге я спрашивал, какие спектакли и фильмы смотрели оккупанты, что демонстрировалось в офицерских кино: интересно было узнать, «на чем» отдыхали Брандт, Герц, Тримборн после очередных прогулок на Петрушину балку, какую «зарядку» давало им искусство.

Киносеансы обычно начинались с «вохеншау» — еженедельных обозрений. В течение двадцати минут экран убеждал зрителей в близости победы, в том, что на фронтах и в тылу дела идут замечательно. Возникали Бранденбургские ворота. Гитлер в кожаном реглане выходил из машины, вскидывал руку. Парад... По обе стороны Унтер-ден-Линден стояли инвалидные коляски: ветераны первой мировой войны приветствовали боевую смену. Фюрер обходил строй колясок, ласково беседовал с инвалидами. Тыл. Женщины из «фрауенбевегунг» собирают посылки для фронта.

Сгорбленная старушка принесла ватный жилет покойного мужа, пятилетняя девочка, ангелочек с золотыми локонами,— свою любимую куклу... Фронт. Двигались танки, ревели орудия, с закатанными по локоть рукавами шли загорелые, запыленные немецкие юноши... Поля, усеянные русскими трупами. Усталые колонны военнопленных.

Голос диктора звучал уверенно, в нем была государственная значительность: торжественность, ни тени сомнения: все в абсолютном порядке, мы побеждаем.

Затем давался основной фильм — «Девушка моей мечты», «Король-ротмистр» или «Улица Большой Свободы, 7» — о веселых гамбургских моряках. Это была награда победителям. Казалось, сама Германия, прекрасная и манящая, зовет к себе, в свое лоно,— надо только выиграть войну...

Показывали «Злату Прагу» — сентиментальную мелодраму о немецкой девушке, обманутой «коварным славянином» — чехом, который довел ее до самоубийства. В «Симфонии одной жизни» немец, учитель музыки, становится жертвой «коварной мадьярки». Зато в фильме «Средь шумного бала» с Царой Леандер иная ситуация: здесь немка, «фрау Мекк», выводит в люди русского композитора, это — фильм о Чайковском.

Изредка приезжали «фронтовые театры» — «фронт бюне», показывали ревю, отрывки из оперетт, певица пела: «Ах, ви ист ам Райн зо шён...» — «Как хорошо на Рейне...» Отдых после допросов, после Петрушиной балки. Когда смотришь ревю или слушаешь музыку из «Продавца птиц», проникаешься уважением к себе, чувством собственного достоинства: ты не огрубел в этой дикой России, не опустился. Если ты еще способен воспринимать прекрасное, ты — человек...

В Таганроге стационарным «очагом культуры» была «Бунте бюне» («Пестрая сцена») — варьете, созданное в помещении театра имени Чехова. «Бунте бюне» подчинялась «зондерфюреру по театру» Леберту, назначенному на этот пост службой безопасности. От пребывания Леберта в Таганроге осталось несколько архивных документов: распоряжение о том, что все исполнители музыкальных произведений обязаны зарегистрировать свой репертуар в городской полиции; репертуарный план таганрогского театра на 42-й год («Бомбы и гранаты», «Редкая парочка», «Тайны гарема», «Неизвестная», «Рождественский сон») и докладная записка об аресте «баяниста Мищенко, русского», который был задержан на базаре за исполнение песни «Широка страна моя родная» и доставлен к Леберту. После допроса Леберт наложил резолюцию: «Подлежит переселению». Это означало расстрел.

«Бунте бюне» была странным заведением — не то варьете, не то гестапо, вернее — и то и другое. Здесь «искусство» и полиция шли рука об руку, Талия и Мельпомена носили особый характер.

Я перебирал документы, брошенные Лебертом,— непонятные мне сводки, заметки, записочки. Сведущие люди объясняли, в чем дело. Театр был одним из центров немецкой контрразведки в Та-

ганроге. Каждую певицу или танцовщицу Леберт нагружал дополнительным заданием — разузнавать среди родственников, ближайших соседей, какие настроения в городе, заставлял артистов доносить друг на друга. Мало кто из этого омута выходил незапятнанным. Бывало, вызовет артистку, дает ей задание: пойди к такому-то, скажи, что ты нами обижена, хочешь от нас уйти, ищешь связи с подпольщиками; потом доложишь.

Отказ от задания рассматривался как антигерманский саботаж, и саботажем было, если откажешься лечь в постель с немецким офицером. Леберт сам подбирал для начальства «девочек», «устраивал» их высоким чинам и приятелям. Вот отчего не выходили из театра Зепп Дитрих — командир дивизии СС «Адольф Гитлер», и генерал Рекнагель, и начальник гестапо Брандт. Вот какой им нужен был театр — «здоровое», «не извращенное» немецкое искусство...

И все это видела, все это пережила и, можно сказать, испытала на себе Лариса Георгиевна Сахарова, которая, как я слышал, давно уже оставила сцену и работала теперь в строительной конторе.

Мне дали ее домашний адрес: сходите, она вам про «фашистское искусство» расскажет со всеми подробностями, ни в одной книге столько не прочитаете.

Сахарова встретила меня в халате — бледное большое лицо с крупными чертами, зачесанные кверху волосы. Подняла грустные глаза, сказала, чуть ли не умоляя:

— Проходите, пожалуйста. Пожа-луйста...

У нее почти страдальческий, глубокий взгляд, длинные пальцы, и во всем ее облике, в этом «неглиже» (халат, домашние туфли в два часа дня), в затянувшемся утре — что-то романсовое, какой-то «надлом». Но когда я прошел к ней в комнату, увидел быт вполне благополучный: новый платяной шкаф с отделением для немногих книг, телевизор, покрытый плюшевой накидкой; на столе — тетради, счетная линейка, пачка папирос «Наша марка».

— Курите, прошу вас! Я уже второй день не курю...

У ее ног, облизывая ее шлепанцы, суетится болонка. Сахарова уходит в соседнюю комнату, приносит двух щенят:

— Вот наше потомство...

Дверь в другую комнату приоткрыта — там бесшумно передвигается высокая, прямая старуха.

— Это моя мама. Ей девяносто лет.

Сначала разговор не клеился. Заплакала:

— Мне уже сорок семь! Я больше не могу вспоминать!

Потом стала рассказывать о предвоенной жизни — как выступала в Сочи, в Гагре, в Кисловодске, «подавала надежды».

— Помните до войны песню — «Чайка смело пролетела над седой волной...»? Это был мой коронный номер, меня знали на всех курортах. Но я мечтала о консерватории, собиралась в Ленинград — и вдруг война, пришлось возвращаться в Таганрог, к маме,

к сестре. И знаете — это произошло так неожиданно, не успели даже сообразить, что нам делать, как уже в городе немцы.

За месяц до оккупации взяли в армию человека, которого я любила. Перед самым приходом немцев его часть остановилась в Таганроге, около Госбанка. Я прибежала как сумасшедшая, сказала, что пойду вместе с ними, буду, если хотите, солдатом, если нельзя, то буду песни петь, буду фронтовой певицей, кем угодно. Но это были только мечты. Часть уже отправлялась. Он вынул из бумажника триста рублей — все, что у него было, отдал мне. Так мы и расстались, договорившись, что я попробую эвакуироваться. Но достать в те дни эвакокарту было свыше сил человеческих.

И вот пришли немцы. Я осталась одна с мамой, сестра у меня с ребенком. Как быть? Пошла сначала маникюршей в парикмахерскую. Я все умею делать: нужно — буду актрисой, нужно — маникюршей или портнихой, а сейчас вот я — техник, выучилась...

Маникюршей я проработала около месяца, но парикмахерскую закрыли — кому нужен был тогда маникюр? Стала я ходить по домам шить. Я кушала там и приносила домой. Ну, что дадут: когда пшена, когда кусочек мяса. А одной особе я шила каждый день по крепдешиновому платью. Ее муж был при немцах старостой какого-то района...

(Сахарова говорит, словно диктует: настойчиво, медленно, стараясь, чтобы я как следует вник в ее рассказ и не делал опрометчивых выводов.)

Когда в городе работы не стало, пошла по деревням. Латала одежду, шила, брала продуктами. Через три месяца вернулась домой с двумя мешками картошки, с яичками, фасолью. Все это я заработала честно и ни с какими немцами не встречалась. А дома узнаю новость: управдом Легиза выписал меня из домовой книги. «Идите, говорит, в полицию». Пришла я туда, а из полиции направляют меня на биржу; каждый тогда знал, что это означает: отправка в Германию — и никаких разговоров...

Я умоляла, просила: «О т д а й т е мне паспорт!..»

(Сахарова «входит в образ», сейчас она — актриса, исполняет роль «Лора Сахарова в 41-м году» и действительно у м о л я е т отдать паспорт, горько плачет, и я невольно хочу ей помочь, ловлю себя на мысли, что надо бы ей как-то посодействовать, чтобы паспорт ей отдали.)

Не отдают... Я пошла на биржу, которая помещалась в школе № 8 — это была первая школа, в которой я училась, прошу вас запомнить. Пришла, а там уже два трубача, я с ними выступала когда-то в концертах, говорят, что немцам нужны артисты, но требуется рекомендация. И тут, на мое счастье (или, вернее, на мое несчастье — как вам сказать?), встречается мне учительница пения, Ковальская Юлия Францевна: она вела у нас в школе музыкальный кружок, а теперь была концертмейстершей в «Бунте бюне». Посмотрела на меня и говорит: «Погоди, я похлопочу перед своим шефом». Я умоляю: «Пожалуйста!» — не хочется ж в Германию ехать...

В театре меня принял Леберт. Это был человек отталкивающей внешности, форменная горилла. Рассказывали, что он бывший актер из Гамбурга, постановщик танцев в варьете, но позже я узнала, что он сотрудник гестапо и в Гамбурге, когда работал в варьете, был уже тайным осведомителем. Он довольно прилично говорил по-русски, знал и польский язык, и когда я предстала перед ним, он меня по-русски стал спрашивать, кто я, откуда, замужем ли и какие у меня в городе знакомства.

И вот началась моя новая жизнь. В театре служил тогда всякий народ, и я по сравнению с ними была величина. Профессиональных артистов не осталось, шли безголосые девчонки, мелкие актеришки — лишь бы уцелеть, прокормиться. Работникам искусств давались кое-какие привилегии. В продовольственном смысле нас приравняли к полицаям, то есть мы получали триста граммов хлеба вместо ста пятидесяти и котелок супа. Но, конечно, главная радость была — банкеты. Как только премьера или приезд высшего начальства — сразу же банкет. Присутствуют генерал Рекнагель, начальник гестапо Брандт, все их командование. На столах — вино, деревянные тарелочки в виде дубовых листьев с сырами, колбасами, с сырым мясом. Ну, тут уж никто из нас не терялся: крали бутылки с коньяком, бутерброды, печенье, потом выменивали на базаре. В городе тогда ничего не продавалось за деньги, всё меняли.

Я участвовала во всех спектаклях. В «Бомбах и гранатах» меня и девчонок одели в немецкую форму, мы пели их солдатскую песню «Лили Марлен», но в основном репертуар был чисто любовного содержания. Немцы очень любят песни про любовь, тирольские песенки и еще — «Мамахен, шенк мир айн пфердхен», то есть «Мамочка, подари мне лошадку»...

Я пользовалась большим успехом, была красива, и голос звучал не так, как сейчас. Леберт говорил, что после войны пошлет меня на гастроли в Берлин, и это мне как актрисе, конечно, льстило, не стану скрывать. Успех всегда окрыляет и кружит голову, так что забываешь, кому ты поешь и кто тебя хвалит. Это я признаю, в этом была моя слабость. Правда, иногда совесть мучила: наши Иваны с ними сражаются, а мы им тут песни поем,— но об этом старались не думать, жили одним днем, одним часом. Все матерились беспардонно — и мужчины, и женщины.

И в то же время мое особое положение в театре, мой успех избавляли меня от многих неприятностей. Я была более независимой, чем другие, могла себе кое-что позволить. Голой я никогда не выступала, отказывалась наотрез, даже в «Рождении Венеры», где я исполняла главную роль. Этот спектакль готовили специально для Зеппа Дитриха. Недавно я услышала его фамилию по радио — оказывается, он в Западной Германии живет — как мне стало противно! Зепп приезжал всегда с целой сворой эсэсовцев — все в черных мундирах, проходил за кулисы, шлепал девчонок по мягкому месту и обязательно после спектакля увозил кого-нибудь к себе. Леберт лично разработал всю постановку: Венера долж-

на была в финале выйти из раковины голой и преподнести Зеппу Дитриху букет цветов. Тогда я заявила, что петь не буду, устроила скандал, и Леберт ударил меня по физиономии. Я повернулась, ушла, а на другой день назначена премьера. Утром Леберт приезжает за мной на машине, улыбается как ни в чем не бывало: «Мы, говорит, сошьем тебе трико на бретельках...»

(У нее вдруг начинают дрожать руки, всю ее передернуло. Она говорит: «Трясучка нашла — вспоминаю...»)

Оказывается, за меня заступился генерал Рекнагель — большой мой поклонник и очень корректный человек, седой, красивый, типичный генерал. Узнал от Леберта, что я не буду участвовать, возмутился, приказал немедленно доставить меня в театр.

И других я себе добилась поблажек. Был уж такой неписаный закон в этом театре, что все друг на друга докладывают, кто о чем говорит, поэтому в разговорах между собой старались выражать недовольство советским образом жизни, нашей «азиатчиной», и восхищаться всем немецким, их культурностью, тем, что они европейцы и прочее. Но я чувствовала себя незаменимой и не подлаживалась под этот тон, позволяла себе всякие выходки, за которые другому бы и головы не сносить. Например, как-то я пела на квартире у одного офицера, и он захотел со мной сблизиться. Вдруг началась бомбежка, и этот офицер говорит: «Ах, какая досада! Русская свинья залетела!» Так я ему ответила: «Ты, говорю, бандит, и все вы бандиты!» — и немедленно ушла. Он за мной гонялся по всему городу на машине с включенными фарами, а я спряталась у подруги, у Зины Катрич...

Но и это мне сошло с рук, только Леберт лишил на две недели пайка.

И вот нашелся подлец, тенор, который захотел продвинуть вместо меня свою любовницу, полнейшую бездарь, ни голоса, ни внешних данных — ничего абсолютно. И он пишет на меня донос в гестапо, будто я жена комиссара и связана с партизанами. Однажды ко мне в уборную врывается Леберт с тремя эсэсовцами, говорит: «Одевайтесь быстрее. Поедемте с нами».— «Куда?» — спрашиваю. «На концерт»,— говорит.

И привезли меня в здание зондеркоманды, которая помещалась в школе на Октябрьской улице. Это — вторая школа, в которой я училась...

Допросили и вталкивают в камеру, в наручниках, вот посмотрите — до сих пор у меня остался рубец. Там, в камере, находилось четырнадцать человек, я пятнадцатая. Все черные, страшные, одна девушка была среди них — измученная, губы у нее в лихорадке,— ее взяли как заложницу за брата, который переправился на тот берег, к нашим. Я догадалась, что эти молодые люди — подпольщики, и я смотрела на них как на героев. Я восхищалась ими. Впервые за много месяцев я увидела человеческие лица, пусть побитые, обезображенные, но это были человеческие

лица, а не фашистские рожи. И я готова была умереть вместе с этими людьми, только бы они меня простили и поняли...

Просидели мы сутки, рано утром всех, кроме меня, вывели на расстрел. За что такая мне милость? Я стояла у окна, слышала крики: «Я не виновата!», «Погибаю!», «Смерть фашистам!» Потом во двор втолкнули какого-то мужчину, он быстро побежал, в него выстрелили...

Имеете ли вы представление, как дорога́ жизнь человеку, когда он попадает в такое положение? Я видела в окно соседний дом — там кухня, женщины что-то варят, стирают. О, как я им завидовала! Как хотела стать птичкой, пташкой какой-нибудь, чтобы выпорхнуть отсюда!..

Когда я пришла в себя, увидела, что в камеру пришел доктор Руппе — немецкий врач, который обслуживал театр. Он был очень близок с актерами, не отходил от нас ни на шаг,— кто его знает, может быть, и он был к нам приставлен?

Доктор Руппе сообщил, что через генерала Рекнагеля выхлопотал мне освобождение и что я опять могу приступить к работе. И все началось сначала: «Рождение Венеры», «Бомбы и гранаты», «Оболтусы и ветрогоны» — и так почти два года...

Сахарова снова плачет, кажется, что у нее и через двадцать лет не осталось в душе места для радости, но было ли тогда место для слез? Я спросил, нет ли у нее фотографий тех лет. Она достала две карточки. На одной она изображена в балетной пачке на холме на фоне города — занесла ножку над одноэтажным, бедным, пришибленным Таганрогом. На другой карточке — Сахарова в трико, с папиросой...

Когда немцы бежали из Таганрога, доктор Руппе вывез Сахарову в Германию. В Берлине она играла во фронтовом немецком театре «Винетта», где были собраны актеры из всех оккупированных стран. Затем попала в Вену, оттуда — в Дрезден, на фабрику, как «остарбайтерин» — «восточная рабочая» (личный номер — Д-С 6984), пережила дрезденскую бомбардировку и после окончания войны вернулась в Таганрог, только «петь больше не могла — все во мне перегорело...»

— Между прочим, от доктора Руппе я в 1958 году получила из Гамбурга письмо...

«Meine liebe, liebe Lapitschka! — писал ей доктор Руппе.— Сегодня увидел тебя во сне и сразу же вспомнил и тебя, и наш Таганрог, и милый наш театр. Господи, как далеко ушло то золотое время, когда мы все были молоды, веселы и полны надежд! Где-то сейчас генерал Рекнагель, где Мария, где проказник Брандт, где все наши? Недавно я встретил... попробуй догадайся, кого? Беднягу Леберта! Он все такой же «красавчик», правда, поседел, и седина его несколько облагородила. Добряк открыл варьете, и как, ты думаешь, назвал он свое заведение? «Бунте бюне»! Так что «Бунте бюне» жива, только Венеру играет какая-то рыжая кляча. Мы со стариком выпили немного, вспомнили тебя и прослезились.

Я, слава богу, здоров, у меня растут двое чудесных малюток от второй жены, она примерная хозяйка и отменная мать... что в наши времена — редкость. Считай — мне повезло. Посылаю тебе наши «изображения»... Моя добрая, горячо любимая матушка, благодарение богу, жива... Мой горячо любимый отец скончался в прошлом году, осенью... А как ты, как твой серебряный голосочек?..»

— Я ему, конечно, не ответила: стоит ли отвечать, да и на работе могут быть неприятности...

В тот вечер я побывал в театре имени Чехова. Шла современная пьеса, но мне иные мерещились персонажи, иной спектакль.

Я вышел в пустое фойе, заглянул к администратору, думал, он мне расскажет что-нибудь дополнительно. Но он мало что знал, вернулся в город 30 августа 1943 года, «вместе с войсками и начальником Ростовского управления культуры».

— К концу дня мы уже налаживали театр, собирали труппу. Немцы вывезли реквизит, костюмы, осталась голая сцена и буфет для актеров. Вы спросите у нашей гардеробщицы Зинаиды Романовны, она хорошо знает всю эту историю.

Я спустился вниз, нашел Зинаиду Романовну.

Сахарову она помнила:

— Да. Была такая, пела здесь. Она и сейчас живет неподалеку, только не поет больше... Стерва была порядочная...

— Стерва-то стерва, а все-таки жаль ее...

— А чего ее жалеть? Жалеть надо тех, кто погиб. А ее-то чего жалеть? Жива осталась...

ПРОЦЕСС

Председателю военного трибунала
Северо-Кавказского военного округа

Коллектив треста «Краснодарнефтеразведка» с удовлетворением принял сообщение, что перед судом военного трибунала предстали изменники Родины. Что может быть отвратительнее и презреннее отщепенцев, предавших свою Родину, свой народ в Великую Отечественную войну? Пощады быть не может! По поручению коллектива Кожемякин, Каменский, Щекотов.

Краснодар, Дом офицеров,
председателю трибунала

Многочисленный коллектив Новороссийского вагоноремонтного завода, переполненный гневом и возмущением, требует от вас быть беспощадными к выродкам и изменникам Родины...

В военный трибунал

Заслушав сообщение газеты «Советская Кубань» о разоблачении изменников Родины, бандитов из зондеркоманды СС 10-а, мы, рабочие овощевиноградарского совхоза, требуем наказать их высшей мерой...

Председателю военного трибунала, Краснодар

Я, услышав по радио из Москвы о том, что в г. Краснодаре будет судебный процесс изменникам родины и убийцам, прошу огласить мое письмо на судебном процессе. Моя сестра Ярыш Дарья Михайловна, 1916 г. рожд., была схвачена убийцами и задушена в Краснодаре в 1943 году...

Я прошу, пусть народ осудит их самым страшным наказанием. Я уверен, что меня поддержат люди, которые убиты горем от рук бандитов-головорезов.

Участник Великой битвы на Волге, инвалид
2-й группы войны Ярыш Василий Михайлович

Краснодар, судебному заседанию над убийцами советских людей

В моей семье от рук ублюдков погибло свыше 20 человек. Мою сестрицу взяли па штык и бросили со 2-го этажа.

Карой для судимых вами преступников может быть только смерть, чтобы неповадно было греть руки на чужом несчастье и проводить в жизнь систему геноцида.

Работников КГБ, сумевших найти преступников, представьте к высшим наградам и почестям, они достойны этого.

Фамилию свою не пишу, т. к. таких, как я,— тысячи...

Председателю военного трибунала СКВО

...Чем больше наши успехи, чем ближе мы приближаемся к нашей заветной цели — коммунизму, тем все более чудовищными выглядят преступления тех гнусных предателей, которых вы судите от имени народа. Священная память тысяч невинно погубленных ими людей, миллионов героев требует беспощадного наказания этих архипреступников, которых нельзя назвать людьми.

Александр Михайлович Лаговер,
патриот Советской Родины, преподаватель

В военный трибунал

Узнав из газеты о процессе, я решила послать суду хранившееся у меня 20 лет «воззвание» зондеркоманды СС 10-а, как память о моих погибших знакомых во время оккупации и как назидание моим детям и внукам.

Может быть, этот документ пригодится суду во время процесса.

Н. Н. Свиренко

За день до процесса в Краснодар приехал сын Скрипкина, матрос. Я встретился с ним в кабинете следователя, который вел дело его отца. Этот следователь выхлопотал ему вызов и через председателя трибунала устроил свидание с отцом, не только потому, что хотел выполнить свое данное однажды Скрипкину обе-

щание, но главным образом по другой причине. Он узнал, что в подразделении, где сын Скрипкина служит, среди матросов «пошли разговоры» и парень находится в растерянности: как ему дальше быть, как жить на свете, если он теперь — «сын предателя»?..

Я пришел в ту минуту, когда следователь уже прощался с молодым Скрипкиным — высоким, красивым и застенчивым юношей, с пунцовыми от волнения щеками, в отутюженной матросской блузе, со значком ГТО.

Поражало его сходство с отцом. В деле хранилась довоенная фотография: Скрипкин с женой и годовалым ребенком на руках. Теперь эта фотография как бы ожила, словно не случайным было это столь разительное сходство, а содержало свой смысл: та испорченная, испачканная кровью жизнь Скрипкина «погашалась», и вновь ему стало двадцать лет, и он «ни в чем не замешан», и теперь пусть живет как надо.

Может быть, именно об этом думал следователь, когда, пожимая молодому Скрипкину руку, говорил:

— Ну, поезжай и служи честно. Ты здесь ни при чем, командиру мы написали. Если вдруг когда что возникнет, обращайся к нам...

Свидание было недолгим. Скрипкин, увидев сына, всплакнул, просил его не присутствовать на процессе, и не потому, что стеснялся сына, а как отец — из педагогических, что ли, соображений — не хотел, чтобы мальчишка, к тому же матрос, воин, прикасался к той грязи, которая всплывает во время суда. Достаточно и того, что известно в общих чертах. Он так и сказал: «Урок тебе преподан наглядный». Под конец Скрипкин завещал «беречь мать» и поддерживать ее в трудные минуты, так как «исход может быть очень тяжелым».

Теперь это же слово — «исход» — повторил, прощаясь со следователем, сын Скрипкина: «Какой будет исход?» И все это странным образом напоминало вопрос, который задают врачу родственники тяжелобольного. И как врач, который не верит в благоприятный исход, вернее, уже не сомневается в том, что исход будет неблагоприятным, и все же не хочет огорчать родственников, следователь пожал плечами: «Кто знает?» — словно это не он только и делал, что добирался до той истины, которая исключала всякое вероятие «благоприятного исхода».

Но что в данном случае означал «благоприятный исход» и для кого он должен был стать благоприятным?..

В этот же день из Омска прилетела Марфа Антоновна Комкова. Она прочла о предстоящем процессе в газетах и не выдержала, так как среди обвиняемых оказался один из убийц ее брата — легендарного Филиппа Антоновича Комкова, или «Мишки Меченого», которого расстреляли в гестаповской тюрьме в Николаеве.

Филипп был гордостью их семьи, хотя слово «гордость» здесь не совсем подходящее: вся семья у них была такой, как Филипп, все братья и сестры, и если уж говорить о гордости, то гордость была оттого, что Филипп и там, «на той стороне», не подвел, остался таким же, каким они его знали, представителем их рода.

Все они вышли из беднейших сибирских крестьян, все были коммунистами, и в Камне-на-Оби еще в двадцатом году их отец, Антон Андреевич Комков, организовал коммуну «Вставай, бедняк!», позже преобразованную в колхоз «Смычка».

Когда началась война, на фронт ушли старшие братья, а младший, Филипп, к тому времени уже служил в кадрах, военным летчиком. После смерти отца, с тридцать третьего года, он воспитывался у сестры, у Марфы Антоновны; пошел сперва в техникум связи, оттуда — в военное училище...

Его подбили в воздушных боях под Одессой, и, прыгая с парашютом, он сломал ногу, так что получил «метку» и, оказавшись в николаевском подпольном центре, назвал себя «Мишкой Меченым». За поимку «Мишки Меченого» и его группы немцы обещали большое вознаграждение, но они были неуловимы. И только в мае 1943 года, перебираясь в Знаменские леса, выданные провокатором, они были схвачены. Комкова доставили в тюрьму в Николаев. Остальных расстреляли на месте.

Обо всем этом до Марфы Антоновны доходили разрозненные, случайные и не совсем достоверные сведения, и лишь один человек мог рассказать всю правду о последних минутах Филиппа, потому что своими руками его вязал и вталкивал в машину и перед самым расстрелом Комков плюнул ему в лицо.

Этим человеком был Скрипкин. Он Комкова очень хорошо помнил и на следствии, отвечая на вопрос следователя, знал ли он, кто такой «Мишка Меченый», сказал: «Это был один из мужественных советских людей — Филипп Комков, летчик».

Прибыв на процесс, Марфа Антоновна тоже ждала «благоприятного исхода», то есть ждала, что возмездие восторжествует и убийца ее брата понесет заслуженное наказание. В том, что возмездие задержалось на двадцать лет, было для нее даже что-то знаменательное и придавало возмездию особую торжественность и весомость: вот ведь столько лет прошло, а Филиппа и всех погибших, расстрелянных не забыли и не простили их смерти, и сколько бы ни прошло лет, убийцам и предателям не будет прощения.

Вообще двадцатилетняя давность играла на этом процессе возвышенную и грозную роль. Здесь сама судьба преподносила урок, и присутствие судьбы так или иначе ощущалось каждым из собравшихся в этот день в Краснодаре.

Но то, что воспринималось как судьба, как символическое выражение неотвратимости кары, было для большой группы людей итогом их труда, нелегких поисков и усилий.

...Все началось с имени — оно было одиноким как перст, немецкое имя Алоис, еще лишенное фамилии, почти не обросшее фактами,— Алоис, переводчик зондеркоманды СС 10-а.

Комната от пола до потолка была забита папками, старыми, первых послевоенных лет, судебными протоколами, актами государственных чрезвычайных комиссий, которые когда-то, в только что освобожденных городах и селах, эксгумировали трупы и опрашивали население. И среди этих дел, в тоннах бумаг, гнездился Алоис.

Старые акты были составлены в горячке войны, наспех; там в качестве непосредственных виновников зверств обычно называли нескольких немецких офицеров: командир дивизии, начальник гестапо, шеф зондеркоманды. Между тем во рвах и в балках лежали тысячи трупов, и у каждого убитого был свой убийца. Кто?..

Мертвые то и дело напоминали о себе живым. В городах живые прокладывали водопроводные трубы, рыли котлованы для новых домов, в деревнях вспахивали пустоши и находили черепа, кости, скелеты. Земля возвращала тех, кого упрятали в нее двадцать лет назад. И тогда раздавался телефонный звонок в Управлении КГБ, в кабинете, где на письменном столе, под стеклом — газетная вырезка со словами Фучика: «Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте. Не забудьте ни добрых, ни злых, терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас».

И казалось, что давно уже собраны все свидетельства, и живые исполнили свой долг перед мертвыми, и весь мир уже об этом забыл, а здесь, в кабинете, внимательно рассматривали снимки простреленных навылет черепов и затылочных костей, входные отверстия, выходные отверстия, изучали истлевшие, извлеченные из земли документы. И все это жгло, наполняло этих людей фронтовой яростью, и для них все еще продолжалась та война с фашизмом, которую мы закончили в сорок пятом году...

Но Алоис был пока только именем, а за двадцать лет имя могло видоизмениться, сжаться, исчезнуть вообще или, напротив, раздуться, приобрести «вес»: двадцать лет прошло, кто посмеет напомнить?..

Они двинулись по следам зондеркоманды, начали с Мариуполя и прошли весь ее путь — через Таганрог, Ростов, Краснодар, Крым, Белоруссию. Они приходили в райкомы партии, в райисполкомы и сельсоветы, в клубах собирали население и прямо, без обиняков, говорили: «Мы ищем убийц... Расскажите, что у вас было...»

Приходили старики и старухи — двадцать лет назад они были родителями, у которых фашисты убили детей. Приходили взрослые мужчины и женщины — двадцать лет назад они были детьми, у которых фашисты убили родителей. Они вспоминали внешность палачей, их повадки, методы.

В Люблинском воеводстве, в Польше, к населению обратилась по радио и телевидению прокуратура:

— Не будьте равнодушными! Это касается всех! Следствию нужна ваша помощь...

Так стало известным и то, что зондеркоманда делала в Польше. Они опросили сотни свидетелей, отделили достоверные факты от слухов и вымыслов и продолжали свой поиск. Теперь у них появились помощники: глаза и память народа. И однажды к имени «Алоис» прибавилась фамилия — «Вейх». И выплыло отчество — «Карлович»...

Но в глухом районе Кемеровской области, в леспромхозе, пилорамщиком был Вейх Александр Христианович, и он перевыполнял нормы, и его выбрали в местком. Он жил аккуратной, ровной и добросовестной жизнью, хорошо зарабатывал и хорошо выполнял свои обязанности по линии месткома. И он считал, что так надо, потому что человек, кем бы он ни был, всегда должен быть добросовестным, все нужно делать хорошо, любую работу. Надо очень стараться в этой жизни, и тогда ты будешь на хорошем счету, и если ты будешь хорош и ровен с людьми, то и с тобой будут хороши. И надо учитывать обстоятельства и не вступать в пререкания с жизнью и с людьми, надо быть бережливым, аккуратным и выполнять свои нагрузки.

И только одно обращало на себя внимание: что, хорошо зарабатывая и занимая не последнее место в леспромхозе, Александр Христианович ни разу, в течение восемнадцати лет, не выезжал в отпуск, на курорт или хотя бы в другой город; он словно прирос к этому глухому поселку в девяноста километрах от железной дороги и даже в Кемерове бывал крайне редко. И еще: ни он, ни его жена не писали и не получали ни от кого писем, как если бы они были одни во всем мире и не имели ни родственников, ни друзей, ни знакомых.

Но когда в этом отдаленном районе появился приехавший из Краснодара капитан (вот он куда добрался!) и, сам волнуясь, ждал свидания с Вейхом, председатель райисполкома уверял его в том, что это ошибка и этого не может быть потому, что у Александра Христиановича совершенно не подходящий для такого дела характер, и внешность отнюдь не зловещая, и он все-таки не Алоис Карлович, а безусловно Александр Христианович.

Все же Вейха вызвали в райцентр «по делам месткома», и он приехал с тетрадочкой, куда вписывал пожелания и предложения, вошел в кабинет к председателю райисполкома и увидел за столом незнакомого человека в военной форме. И когда капитан, узнав Вейха по «словесным портретам» и трофейной фотокарточке, обнаруженной в эсэсовских архивах (Вейх за восемнадцать лет и не изменился почти), сказал ему: «Здравствуйте, Алоис Карлович»,— он хотя и побледнел, но вежливо ответил: «Здравствуйте!»

Так Алоис из бесплотной тени, из имени, затерянного в тоннах бумаг, превратился в обвиняемого Вейха А. К. (он же Вейх А. Х.), который в 1941 году изменил Родине, перешел на

сторону врага, как «фольксдойче» вступил в зондеркоманду, был неизменным спутником Кристмана и во всех операциях и

«— С сентября по октябрь 1942 г. в гор. Краснодаре дважды принимал участие в удушении советских граждан в машине «душегубка», каждый раз по 60 чел., которых он, совместно с другими палачами, выводил из подвала, раздевал перед загрузкой донага, а тех, которые сопротивлялись, подвергал истязаниям...

— В октябре 1942 г. был назначен переводчиком и направлен в гор. Анапу, в созданную там группу зондеркоманды СС 10-а... По пути в Анапу принимал участие в расстреле трех захваченных эсэсовцами партизан...

— Глубокой осенью 1942 г. выезжал на операцию в станицу Гостагаевскую, где по имевшемуся у гитлеровцев списку арестовал более 100 советских граждан из числа советско-партийного актива и членов их семей. Всех арестованных затолкали в «душегубку»...

— Проходя службу в анапской зондеркоманде, зверски избивал допрашиваемых, в том числе задержанного советского десантника. В последующем десантник вместе с другими советскими гражданами был расстрелян...

— На анапском аэродроме трижды принимал участие в расстреле советских граждан (каждый раз по 18—20 человек)...

— Незадолго до бегства из Анапы, в декабре 1942 г., принял личное участие в зверском уничтожении большой группы советских граждан, арестованных эсэсовцами за связь с партизанами... Арестованных вывезли на автомашинах за станицу Анапскую и в каменоломнях, недалеко от шоссейной дороги, возле хутора Тарусина, расстреляли всех. Вейх убивал людей из пистолета. По окончании расстрела он увидел среди трупов раненого, но еще живого ребенка и убил его.

— В июле 1943 г. в дер. Костюковичи, Мозырского района, БССР, принимал участие в аресте ста пятидесяти жителей деревни — женщин, стариков и детей — и лично бросал живых людей в колодцы.

— Летом 1943 г. участвовал в карательной операции в одном из населенных пунктов, недалеко от г. Мозыря. Эсэсовцы стреляли по убегавшим из деревни в лес советским гражданам. Все раненые, с личным участием Вейха, были убиты. Возвратившись в село, задержали оставшихся, водворили в один из домов и расстреляли через окна, а дом подожгли...

В это же время были захвачены супруги-партизаны, фамилии которых не установлены. Вейх и другие каратели истязали их резиновыми шлангами до тех пор, пока у жены партизана не открылись преждевременные роды, а муж не потерял сознания. На следующий день партизаны были расстреляны...

— В дер. Жуки вместе с другими карателями в течение двух недель в бывшей колхозной конюшне расстрелял более 700 советских граждан...

— Осенью 1943 г. в районе гор. Биалы, Люблинского воеводства, арестовал 15—20 польских патриотов, двое из которых были повешены на дереве...

— Весной 1944 г., за несколько дней до Варшавского восстания, выезжал в гор. Варшаву, где принимал участие в обысках и арестах польских патриотов...

— Принимал участие в конвоировании на расстрел 300 узников еврейской национальности, взятых из лагеря смерти Майданек...

— За ревностную службу гитлеровцам, а также за активную карательную деятельность, летом 1944 г. был назначен командиром взвода Кавказской роты СД, принял немецкое подданство и фашистским командованием был награжден Железным крестом.

Теперь против всех этих эпизодов, некогда зарегистрированных как безымянные зверства фашистских захватчиков, стояла фамилия — «Вейх». И он ничего не отрицал, а добросовестно и

спокойно помогал следствию. Но один раз (это было, когда его привезли на опознание местности в хутор Тарусин, где он добил раненого ребенка), Вейх не выдержал и заплакал, так как, не зная законов, вообразил, что его сию минуту здесь расстреляют...

...Валериана Давыдовича Сургуладзе арестовали в день свадьбы. Уже гости сидели за столом и вино было налито, когда перепуганная невеста шепнула:

— Там тебя спрашивают...

И родственники удивились: в чем дело?.. Только сам Сургуладзе не удивился: он этого ждал много лет и даже с какой-то веселой поспешностью, как бы отталкивая от себя невесту, гостей, свадебный стол, прыгнул в машину — туда, к себе, на встречу с самим собой, потому что все это — и гости, и невеста, и свадебный стол — было не его, а другого, ненастоящего и надоевшего ему за восемнадцать лет Сургуладзе. Настоящий же Сургуладзе весной 1942 года окончил шпионско-диверсионную школу в Освенциме, под номером 65 числился в списках гитлеровского разведоргана «Цеппелин», служил карателем в зондеркоманде СС 10-а в Краснодаре и в Мозыре, в Люблине стал командиром взвода Кавказской роты СД,— словом, три года, никуда не сворачивая, шел по избранной им «стезе», горячо и убежденно выполнял свои беспощадные обязанности, пока обстоятельства не заставили его, уже в Италии, за две недели до конца войны, переметнуться к итальянским партизанам — гарибальдийцам, а после войны два месяца служить в Советской Армии и почти два десятилетия жить жизнью, от которой он навсегда отвык и с которой не имел уже ничего общего.

И поскольку для человека нет ничего отраднее, чем возможность быть самим собой, Сургуладзе испытывал теперь нечто похожее на облегчение. Правда, из карателя, совершающего злодеяния, он превратился в карателя, отвечающего за свои злодеяния, но это был все же он, а не вымышленная, нелепая в своей неестественности фигура жениха...

Обвинение складывалось по эпизодам, и следователи подмечали, как зажигается Сургуладзе, когда перед ним оживают картины прошлого. Он не то чтобы вспоминал, а видел тот обрывистый берег Кубани в станице Марьянской, куда приехал с Кристманом на расстрел семей партактива, и как он прикладом подталкивал их к берегу, стрелял из винтовки, и как тела ухали в Кубань.

И бой в Полесье он видел, в деревне Павловке, где в доме на лесной опушке засели партизаны... Кристман велел ему вместе с другими переодеться в партизанскую одежду. Они подкрались к дому, и Сургуладзе через окно рассмотрел, что в комнате сидят пять человек. Он постучал. Дверь отворилась, и — когда он, войдя в помещение, крикнул: «Руки вверх!» — началась перестрелка, во время которой были убиты командир эсэсовского взвода и четверо партизан, а пятого, раненого, они схватили и на веревке потащили за собой. С этого дня Сургуладзе стал взводным...

Он видел Польшу... Двор люблинского СД, полячку Гелю. Вот т а была его жена, и т а м была его свадьба, когда в их честь палили из автоматов, шеф Гейнриц принес поздравления от имени «великой Германии», а потом все поехали в местечко под Влощев. На площади, возле костела, сидел в открытой машине польский предатель в маске, в черных очках. Мимо него медленно, как на церковном шествии, проходили жители городка, и он взмахом руки определял, кто из них связан с партизанами и должен быть расстрелян, а кого надо оставить в живых.

Все это было перед ним во плоти, единственное его достояние — картины прошлого. И только глубоко укоренившееся в нем убеждение, что на допросах глупо быть откровенным и что нет такой ситуации, из которой он, Сургуладзе, не мог бы выпутаться и выйти живым, заставляло его вести шумную перебранку со следователями, торговаться из-за каждого эпизода и, сидя в камере, по волоску выщипывать усы, чтобы не быть опознанным на очных ставках.

Но его узнавали, и на очной ставке Алоис Карлович Вейх укоризненно качал головой и, словно на заседании месткома, увещевал:

— Как же так, товарищ Сургуладзе? Мы же с тобой вместе участвовали. Я могу утвердительно сказать...

Так они проваливались один за другим и выдавали друг друга.

...Псарева разыскали в Чимкенте, Дзампаева — в Осетии, Буглака — в Краснодаре. Из этих трех Псарев представлял, пожалуй, особый интерес. Двадцать два года назад, в оккупированном Таганроге, восемнадцатилетний Псарев влюбился в германскую армию, в немецкие сапоги, парабеллумы, портупеи, в немецкие мотоциклы, в офицерскую немецкую выправку, в «черепа и кости» гестаповцев. Это была сила, железная власть техники, спорта, «эстетика» расстрела. Он нанялся на службу к эсэсовцам (тетка его привела к гестаповскому офицеру, который стоял у нее на квартире: «Пристройте племянника»). Сначала он чистил немцам сапоги, был у них за денщика, потом его стали брать на операции, и он все более «германизировался» и в зондеркоманде слыл любимчиком офицеров и самого шефа.

В нем и сейчас еще пели губные гармоники и звучали «Jawohl», «Zu Befehl», «Melde gehorsamst!» — ничего не выветривалось,— и, работая в Чимкенте прорабом, он смотрел на себя вовсе не как на изменника и преступника, который скрывается от суда, а как на военнослужащего германской армии, находящегося в вынужденной отставке.

На работе его считали «служакой», «военной косточкой», и только опытный глаз заметил и определил, какого происхождения эта «косточка» и какого он рода «служака»...

Псарев был женат на дочери уважаемого человека, вошел в хорошую семью. Его жена преподавала в институте, и те, кто нащупали и разыскали Псарева, испытывали теперь двоякое чувство. С одной стороны, радостно было, что удалось обнаружить такого

преступника, в таком прочном «доте», а с другой — нелегко наносить удар по семье: можно себе представить, какое будет для этих людей потрясение, когда они узнают, кого они приняли в свой дом...

«Брать» Псарева пришли на работу, вызвали в канцелярию. Псарев — не по возрасту (тридцать девять лет) грузный, лысый, одетый во френч и в хромовые, командирские сапоги. Когда узнал, в чем дело, тут же попросил позвонить жене, чтобы она принесла ему на дорогу хлеб, сало и, если достанет, полукопченой колбасы. И, получив эту передачу, успокоился и уже ни разу в течение всего следствия не вспоминал больше свою семью и Чимкент, потому что теперь, когда его разоблачили и опознали, какая ему могла быть от них польза, какой толк? В нем другая заиграла струнка. Попав в плен, он решил держаться до конца, ни в чем не раскаиваться и все отрицать.

Таким его и предавали, вернее — передавали, суду: нераскаявшегося, неразоружившегося, обложенного со всех сторон свидетельскими показаниями, уликами и «документальными данными»...

...С Дзампаевым и Буглаком было проще. Вызванный к следователю на другое утро после ареста, Емельян Буглак на традиционный «вступительный» вопрос, как он провел ночь, улыбаясь, ответил:

— За восемнадцать лет первый раз выспался. А то какой там сон? Человек под окном пройдет, калитка скрипнет — дрожишь, вскакиваешь: идут!..

В Краснодаре он появился не так давно — долгие годы кочевал по стране, менял адреса. Почувствовав приближение старости, разыскал двух своих дочерей и поселился у них. Они отца почти не помнили, слышали только, что до войны он был знатный конник, которого возили с конем в Москву демонстрировать образцы джигитовки (от тех лет сохранились его призы и грамоты), а когда началась война, исчез — разные по этому поводу ходили слухи. Вернувшись домой, Буглак сказал дочерям, что был ранен, попал в плен, потом жил в Сибири.

Так он в Краснодаре «легализовался», и потянулись (неизвестно куда, к чему потянулись) дни, ночи, месяцы, а между тем в Люблине, в Польше, гражданка Квятинская рассматривала переданную ей прокуратурой фотокарточку человека в немецком кителе и в кубанской папахе и узнавала того карателя, который пришел с немцами в их деревню и в сарае сжег молодого партизана-поляка. И в самом Краснодаре нашлись старожилы, которые рассматривали эту же фотокарточку и тоже опознавали «маленького карателя в кубанке», и в следственных материалах появилась запись:

«С личным участием Буглака в Краснодаре было загнано в душегубку и умерщвлено до 300 человек ни в чем не повинных советских граждан, трупы которых были вывезены за город и сброшены в противотанковый ров...

Дзампаев не работал нигде, шатался по селам, торговал крупным орехом. Это был странный, всклокоченный человек с птичьим лицом. Когда за ним пришли, он не то что отдался, а прямотаки упал в «руки закона», словно хотел наконец обрести оседлость. Медицинская экспертиза признала его вменяемым, и он, напрягая память, сквозь полудрему рассказывал о своей службе в зондеркоманде и о Кристмане, который был «ростом небольшой, а чином большой», и о том, как офицер Макс в Варшаве привел их к какому-то дому и они оттуда забрали повстанцев. И все это, если вдуматься, было невероятно, чудовищно, хотя бы из-за одного того, что житель осетинской деревни Урузбек Дзампаев мог иметь отношение к Кристману, к зондеркоманде, к оккупированной Гитлером Варшаве и ко множеству других явлений и фактов, именуемых «немецким фашизмом».

Эта противоестественность их связи с гитлеровцами усугубляла вину каждого из подсудимых, которые ведь не для того родились на свет и не для того были предназначены, чтобы стать прислужниками немецких фашистов. Здесь было совершено преступление против природы, против самого естества: измена Родине, кровным связям, предназначению в жизни...

Теперь их собрали всех вместе, девять человек: Вейха, Буглака, Сургуладзе, Скрипкина, Псарева, Еськова, Жирухина, Дзампаева, Сухова. И казалось, что в суд их везут прямо из войны и не было этих восемнадцати «промежуточных» лет, потому что если «мертвые остаются молодыми», то и преступления убийц не стареют; давние их дела кровоточат еще и сегодня...

10 октября 1963 года, в 8.30 утра, к краснодарскому Дому офицеров, к «артистическому входу», подъехали два тюремных автобуса. Выстроились усиленные наряды милиции. Высыпали из машин — бегом, бегом, как по тревоге,— заняли свои места конвоиры. Лязгнуло внутри автобусов железо.

— Выводи Вейха!..

Быстро, не оглядываясь, выпрыгнул — руки за спиной — моложавый, с тонкими розовыми ушами Вейх, за ним — в светлых брюках, в коричневых новых ботинках Скрипкин, мрачноватый Еськов в тельняшке, в зеленом штопаном свитере — Сухов... Все они к началу процесса «подтянулись», их только что выбритые, розовые от возбуждения лица казались подкрашенными, как у покойников...

Их ввели в зал, усадили на скамью подсудимых, за деревянный барьер. Этот барьер должен был стать последним в их жизни рубежом, последней границей...

Краснодарский процесс начался.

...Читали обвинительное заключение. Десятки тысяч убитых, расстрелянных зондеркомандой, отравленных газом шли из бес-

страстного судейского текста в зал, обступали скамью подсудимых: «Мы!..»

Шли, стуча костыликами, палочками, удушенные дети Ейска, утопленные в колодцах дети Мозыря, шли в гнойных бинтах, в изодранных гимнастерках военнопленные лагеря Цемдолина, юные подпольщики Таганрога и старики Люблина, прихрамывая, шел Филипп Комков и милиционер Александр Кукоба, повешенный в Абрау-Дюрсо, шел, беззвучно шевеля губами — беззвучно не оттого, что был призраком, а оттого, что перед казнью эсэсовцы вырвали ему язык...

Люди в зале плакали. Пригорюнились и подсудимые, вспоминая страшные сцены. Сейчас они чувствовали всю неловкость своего положения: надо бы вроде проявить «сознательность» и вместе со всеми высказать возмущение «фашистскими зверствами», но мешает деревянный барьер, да и что скажешь, когда «биография запятнана» и все равно никто не поверит?

На следствии было лучше. Там хоть можно отвести душу со следователем, который за месяцы следствия становится как бы хорошим знакомым: называет по имени-отчеству и, если сдадут нервы, успокоит и нальет воды из графина. А здесь все чужие: и судьи, и прокуроры, и публика.

Словом, они переживали то, что обычно переживают все преступники, стоящие перед судом: жалость к себе, которую сами они ошибочно принимают за раскаяние, и убежденность в том, что существуют какие-то особо сложные, недоступные постороннему пониманию причины их преступлений. Из всех человеческих трагедий убийцы наиболее тяжелой считают не трагедию жертв, а свою собственную: «трагедию палачей».

Инстинкт самооправдания заставляет их верить в злосчастную силу обстоятельств, в несправедливость судьбы, которая одних людей вынуждает «пачкаться», а другим дает возможность всю жизнь ходить «чистыми».

Их спросили, признают ли они себя виновными. Семеро ответили утвердительно; Псарев виновным себя не признал; Жирухин сказал: «Признаю»,— но тут же, подумав, что совершает оплошность, добавил: «Частично».

Суд приступил к допросам...

Вейх отчитывался. Восемнадцать лет он аккуратно, под тремя замками, хранил в «кладовой памяти» факты, имена, даты и теперь выкладывал их целехонькими, не тронутыми временем. Были у него припрятаны потрясающие, не ведомые никому истории о том, например, как умирал Калашников из Щербиновского партизанского отряда, с петлей на шее призывавший народ бороться против захватчиков, и как пекла партизанам хлеб старуха Пашкова Мария Федоровна, тоже впоследствии повешенная, и рассказ о мальчишке-десантнике, которого расстреляли в Анапе.

Опустошив «кладовую», он почувствовал удовлетворение, как

если бы добровольно передал эти истории «в дар государству», и у него появилась надежда, что все это зачтется и его оставят в живых, так как он может принести большую пользу, рассказывая молодому поколению о героизме уничтоженных им советских людей.

Но когда судьи и два прокурора стали во всех подробностях выяснять его личное участие в зверствах, он затосковал и отвечал на вопросы тихим, грустным голосом, потому что стеснялся людей и не привык выступать в роли преступника. Он всегда был передовым, образцовым, всегда его ставили в пример — и в зондеркоманде, и в леспромхозе. И ему не хотелось, чтобы судьи о нем думали плохо. Он рассказывал:

— Малолетние дети, обхватив ручонками колени своих матерей, душераздирающе кричали: «Мамочка!» — а их подталкивали к обрыву и расстреливали. Я задал вопрос следователю Марханду, зачем расстреливают детей. Он мне ответил, что это дети наших врагов и они не принесут пользы Германии, в России надо все уничтожать с корнем, в том числе и детей.

Он посмотрел на публику, на представителей прессы: такие «свидетельства очевидца» чего-нибудь да стоят! Затем продолжал:

— Среди трупов я увидел мальчика, который был только ранен в шею, крутил головой и размахивал руками. Я доложил об этом немецкому офицеру Кайзеру, и он сказал, что я должен знать, что в таких случаях делают. Из жалости к ребенку я пристрелил его из пистолета...

Общественный обвинитель спросил, почему он изменил Родине, вступил в зондеркоманду.

Вейх задумался. Неожиданно его осенило, он вспомнил прочитанную в какой-то газете статью «Струсил — стал предателем» и ответил уверенно:

— Прежде всего это можно объяснить тем, что я по натуре трус. Из-за трусости я стал служить в карательном органе, из-за трусости стал убивать ни в чем не повинных советских граждан, только для того чтобы спасти свою жизнь.

Он был доволен собой...

Скрипкин производил тягостное впечатление: стоял какой-то деревянный, с одеревеневшим, выдвинутым вперед подбородком, зажав в правой руке стакан, из которого пил беспрерывно.

Он не жалел себя, не жалел и своих «подельщиков» и, когда его спрашивали, участвовал ли такой-то из подсудимых в той или иной операции, решительно и зло отвечал: «Был. Участвовал. Лично участвовал. Я сам видел...»

Возможность «разоблачать» была теперь его единственной страстью, последним удовольствием, и он пользовался этим вовсю, добивая своими показаниями тех, кто еще пытался спастись.

Прокурор спросил, помнит ли он Кристмана и может ли вкратце «обрисовать» его как человека. Скрипкина это удивило...

— Гражданин прокурор, что я могу сказать о его внутренних качествах, если он имел высокое звание доктора юридических наук, а занимался такими делами и не избегал хотя бы, хотя бы,— он осуждающе вознес над головой палец,— того, чтобы самому расстреливать? Я уже показывал следственным органам об его участии в Ростове. Тогда же, на моих глазах, он застрелил одного нашего полицейского, который отказался грузить в душегубки женщин...

Услышав об этом, адвокат задал Скрипкину вопрос: была ли вообще возможность уйти из зондеркоманды? Но Скрипкин, не уловив интонации защитника и довольный тем, что говорит, не кривя душой, ответил:

— Была возможность бежать... Я мог убежать. Мог... Но, совершив такие преступления, куда ж я мог бежать? Говоря по-мужски, честно: я боялся...

В тот день я получил письмо из Феодосии — отклик на мою статью о процессе, напечатанную в «Литературной газете». Учительница Р. Шестакова писала:

«Страшные воспоминания о пережитом и глубокое волнение от мысли, что еще одна волчья стая настигнута карающей рукой правосудия, заставили меня взяться за перо и молить Вас не называть в дальнейших Ваших отчетах, статьях о процессе этих выродков, убийц, палачей и подонков словами л ю д и, ч е л о в е к...»

Но они и сами еще тогда, восемнадцать лет назад, знали, что «ошакалились», что стали «не́людями», и поэтому не предъявляли к себе никаких этических требований, а рассуждали примерно так: нам теперь все можно, мы подлецы, выродки — какой с нас спрос?

Перейдя на сторону фашистов, то есть добровольно перешагнув через главный рубеж, который отделяет человечность от бесчеловечности, они сочли себя свободными от всех нравственных норм и свое участие в зверствах воспринимали как логическое следствие того «первого шага», который освободил их от звания «человек» и привел в зондеркоманду.

Собственно, этим они и отличались от эсэсовцев-немцев, которые вбили себе в голову, что являются не просто людьми, а «сверхчеловеками», и на своих жертв смотрели как на «недочеловеков». Здесь же все было наоборот: никто из предателей не сомневался в том, что те, кого они убивают, во множество раз лучше и выше их, что это и есть л ю д и, а сами они и немецкие их шефы — мерзавцы и свиньи, но при этом были убеждены, что в «такое время» свиньей быть выгодней, чем человеком...

Скрипкина сменил Еськов. Подошел к микрофону, начал рассказывать свою историю. У него была страсть исповедоваться, изливать душу и с годами не утраченная потребность в старшем, в наставнике, который бы его урезонивал, выслушивал и давал со-

веты. И он весь потянулся к судье, который слушал его с каким-то грустным вниманием.

Еськов говорил горько, зло, с обидой на жизнь. Его память сохранила множество подробностей, но рассказывал он не столько о том, что он делал, сколько о том, что делалось у него в душе. И он огорчился, даже крякнул с досады, когда судья, выслушав его пространное вступление, возвратил его к сути и стал заново вспахивать каждый эпизод, содержащийся в обвинительном заключении.

Факты были убийственны: удушение двадцати подростков, участие в расстреле военнопленных — тех самых моряков-севастопольцев, с которыми Еськов когда-то служил, подсаживание в камеры. К тому же выяснилось, что Еськов в карательном взводе занимал не последнее место, а, напротив, пользовался кое-какими привилегиями и «поощрялся по службе». Рядом с такими фактами вообще ничего не весили и не значили никакие слова, никакие объяснения.

Между тем Еськов хотел, чтобы его поняли, чтобы все знали, как он тогда переживал, тяготился, что «участвовал» он только потому, что «был молодой, глупый и не мог найти выхода». И чтобы не быть голословным, он попросил суд разыскать кого-нибудь из семьи Пекарь.

— В этой семье,— пояснил Еськов,— я в Краснодаре проводил все свободное время, особенно вечера, по возможности помогая этим людям продуктами, так как находил у них моральный отдых. И если они живы, то пусть сами расскажут, чтó я был за «каратель» и под какой удар себя ставил...

И через несколько дней, когда начался допрос свидетелей, к удивлению Еськова, в зал была приглашена Евгения Михайловна Пекарь[1]. Она явилась как с курорта — загорелая, пышная, в ярком платье. Разыскали ее, кажется, в городе Жданове: ошеломили вызовом в трибунал по делу зондеркоманды! Вот уж не думала, не гадала...

— Скажите, пожалуйста, кого из сидящих на скамье подсудимых вы знаете?..

Гражданка Пекарь медленно пошла вдоль барьера, напряженно вглядывалась в освещенные юпитерами лица преступников. Но никого не смогла узнать, покачала головой и вдруг истерически рассмеялась...

— По какому адресу вы проживали к моменту вступления в Краснодар германской армии?

— Сначала мы жили на Орджоникидзе, шестьдесят один. Первый день прятались в подвале, но к вечеру немцы всех нас, жильцов, выгнали во двор, офицер объявил, чтобы выносили вещи и к утру убирались. Позднее мы узнали, что наш дом берут под гестапо...

[1] Фамилии некоторых свидетелей автором изменены.

— Дальше что было?

— Ну, стали мы выносить вещи, жильцы помогали друг другу. Была кошмарная ночь. Никто не знал, что нас ждет. В городе немцы, кругом смерть. К утру выбрались, побрели по улицам с тележкой — папа, мама, я с сестрой. Пошли искать жилье. В одном доме нас побоялись впустить, говорили: «Вы — еврейка, нас могут расстрелять». Мама объяснила, что я не еврейка, только выгляжу так... Сейчас не помню, как мы устроились, нашли комнату. Папа у меня слесарь, он смастерил мельницу, стали молоть кукурузу...

— Кто-то из служащих гестапо навещал вашу семью? Были вы знакомы с кем-либо из гестаповцев?

— Да, был какой-то Михаил, парень. Однажды он зашел к нам с приятелем и еще появлялся несколько раз. Мы никак не могли понять, чего ему от нас нужно. Он был очень скрытный, мама думала, что он партизан, и я тоже так считала. Как-то я сказала: «Форма у вас страшная!» — и он объяснил, что моряком, тяжело раненный, попал к немцам в плен и уже в госпитале стал охранником. Но мы ему все равно не верили и думали, что он партизан, потому что он был какой-то необычный, вел с нами разговоры с каким-то намеком, а потом однажды пришел ночью, просидел часов до четырех утра и сказал, что решил от немцев бежать. С тех пор мы его больше не видели...

Еськов слушал, чуть усмехаясь, блестя стальными зубами. Дело в том, что он действительно был тогда для семнадцатилетней Жени загадкой — не то переодетым партизаном, не то заблудшим человеком с изломанной, несчастной судьбой. Ему эта игра нравилась, а кроме того, приятно было после дня тяжелых расстрелов, где жертвы тебя называют извергом и убийцей, прийти к голодным, запуганным людям и, вместо того чтобы арестовать их, вдруг самому перед ними поплакаться и наблюдать за их недоуменными лицами, когда они смотрят на тебя и не знают, кто же ты на самом деле есть.

Одного только они, конечно, не знали — что посещение частных квартир и отлучки из зондеркоманды были для Еськова *заданием*, что его для того и подсылали к людям, чтобы он выведывал настроения в городе и докладывал шефу. Но семью Пекарь он, кажется, действительно пожалел, а может быть, другие у него были соображения — неизвестно...

— Еськов, встаньте!

Снова вспыхнули юпитеры.

— ...Вот теперь узнаю. Только тогда он был молодой, а сейчас старый...

— Еськов! Свидетельница вызвана по вашей просьбе. Есть у вас вопросы?

— Какие у меня вопросы? — он махнул рукой.— Двадцать один год прошел, она все забыла. Мне *нужно*, вот я и помню, а ей чего помнить?

И, обращаясь к Евгении Михайловне, напомнил:

— В то утро, когда вас выталкивали из дома, я стоял на посту, вижу — девушка, вроде еврейка. Я вам еще говорю: «Уходите отсюда скорей! Чего вы здесь крутитесь? Убьют вас!» А потом сменился, пошел вместе с вами и помог вам найти комнату, сказал, что вы — мои родственники. С тех пор стал бывать у вас, у вашего папы, жаловался, что не хочу на немцев работать...

— Но работали все-таки?

— А что я мог сделать?

Нелепый какой-то получился допрос. Но о чем могла рассказать Евгения Михайловна, да и к чему? Все же адвокатесса еще раз для порядка спросила:

— Итак, вы слышали, что Еськов недоволен службой в зондеркоманде?

— Я не знаю, помню только, что он хотел уйти к нашим...

В перерыве ко мне подошла адвокатесса:

— Странный человек этот Еськов. Знаете, о чем он меня сегодня спросил? Удобно ли в последнем слове просить о снисхождении? Так и сказал: «Удобно ли?» И это после того, что они натворили!

...Захотелось посмотреть дом, где помещалась зондеркоманда. Пошел через осенний, заваленный листьями, красный Краснодар (красный потому, что — листья, потому, что — кирпич, розовая облицовка фасадов и названия улиц — Красная, Красноармейская) к розовому дому Управления пищевой промышленности и Стройбанка. Обычное учреждение, со стеклянными барьерами и окошками для бухгалтеров, кассиров, с машинистками и телефонными звонками, с учрежденческими коридорами, выкрашенными масляной краской. На эти стены ложилась тень Кристмана, а во дворе, где рабочие нагружают сейчас на грузовик какую-то мирную кладь, зябли с винтовками в ожидании «погрузки» Скрипкин, Еськов, Сухов...

Попросил у женщины-завхоза разрешения осмотреть подвал — она открыла люк в коридоре (среди служащих Стройбанка остались отголоски смутных слухов о том, что здесь было при немцах «гестапо»); по крутым каменным ступенькам, пачкаясь о побеленные стены, спустились на каменное дно, где сейчас архив, склад деловых бумаг и ничто не напоминает о тех, кто ждал решения своей участи здесь, в глухом учрежденческом подземелье.

...Открывался люк, по каменным ступенькам они поднимались вверх, жмурясь от света, выходили во двор. Это была последняя встреча с солнцем; их заталкивали в машины и везли на территорию совхоза № 1, к противотанковому рву.

В одну из таких «загрузок» (произошло это перед самым отступлением немцев, причем так торопились, что не успевали раздевать обреченных, заталкивали прямо в одежде) Сухов приметил мальчика.

Сухов был человек любознательный и, подсаживая людей в душегубку, иногда спрашивал шепотом: «За что они тебя, а?»

Или: «Вас по какому делу?» Но никто ему обычно не отвечал, и тот мальчик тоже не ответил.

Теперь, на суде, я узнал, что мальчика звали Володей,— его казнили за то, что у себя в школе он создал подпольную антифашистскую группу. Но он не стал отвечать на вопрос Сухова не только из презрения к палачу, но и оттого, что боялся обратить на себя внимание: полою пальто он прикрыл трехлетнюю девочку, которую тоже затолкали в душегубку, и Володя надеялся, что, когда пустят газ, пальто ее защитит. А может быть, он просто хотел уберечь девочку от страшного зрелища смерти. Их потом так и обнаружили вместе в противотанковом рву...

...Вот что происходило здесь, в этом доме, в этом дворе, всего двадцать лет назад, и вот о чем шла речь на процессе и ради чего нужен был процесс: чтобы рвы не набивали трупами, чтобы мученическая смерть не уносила безвинных, чтобы жизнь не калечила, не уродовала людей, чтобы подвалы были хранилищами овощей, угля, архивных бумаг, а не тюремными казематами и камерами смерти.

Но те, кто все это делал, кто действовал тогда, опираясь на тупую силу приклада, выглядели сейчас слабыми, и они били на слабость, каждый из них только и рассчитывал на то, что они проймут судей своей слабостью и что удастся доказать, что не сила, а бессилие является основным свойством человека.

И Сухов, хватавший в Краснодаре и в Ейске детей (на суде он встретился с Леонидом Дворниковым — свидетелем, который в Ейске вырвался от него и уполз за цветочную клумбу, чтобы выжить и через двадцать лет прийти в суд и узнать своего палача), этот Сухов старческим, надтреснутым голосом говорил, что «происходил цельный кошмар», «дети плакали» и сам он чуть ли не плакал, когда «положил одну девочку к самому краю», но ничего не мог сделать и ничем не мог ей помочь. И угрюмый вешатель Буглак, про которого говорили, что у него пониженный интеллект и повышенная жестокость, рассказывая, как он вешал польского партизана («вообще-то не вешал, а только так — подправил петлю»), вдруг, широко разведя руками, сказал:

— А что я мог сделать? Десятки государств ничего не могли сделать...

И все они, все эти девять сильных кулаками и телом мужчин, служба которых состояла в том, чтобы убивать безоружных и беззащитных, старались внушить только одно — что «ничего не могли сделать» и что убивали они только оттого, что оказались слабыми, слабее больных ейских детей, слабее старух Таганрога и стариков Мозыря. И что совершили они страшное злодеяние — тысячи убийств — из единственного побуждения: жить.

Стоя перед судом, они возводили свою слабость и шкурничество в абсолютный закон, то есть намекали на то, что при известных обстоятельствах *такое* может произойти с каждым человеком и никто не застрахован от того, чтобы стать убийцей.

Но, говоря так, они не подозревали, что по-своему излагают одну из самых опасных и самых ходовых «теорий» нашего времени, которую взяли на вооружение все палачи и все бандиты мира, рассуждающие о том, что человек слеп и бессилен перед лицом обстоятельств. То есть они будут убивать, загонять в концлагеря, рвы, в душегубки, поливать атомным огнем не оттого, что они плохие, а оттого, что обстоятельства им так диктуют. А сами они в душе хорошие и рады бы этого не делать, и, убивая, они будут нас жалеть и даже оплакивать, а мы за это должны их «понять и простить».

И вся суть Процесса в том и заключалась, чтобы доказать, что нет таких обстоятельств, которые оправдывают убийство, предательство и человеческую низость...

В Краснодар приехал Глеб Степанович Васильев — бывший начальник новороссийской гауптвахты, у которого служил когда-то Жирухин. Васильев жил теперь в Керчи, на пенсии, работал общественным страховым агентом. Услышав по радио, что идет процесс и судят Жирухина («Вот ты когда отыскался!»), тут же позвонил в прокуратуру, и его вызвали свидетелем...

Мы поселились в одной гостинице. По вечерам Васильев ко мне заходил, рассказывал о том, как «все это» тогда произошло и как вместо Жирухина на другой день прибыла к нему в подразделение Клавдия Наточий.

В то утро, когда Жирухин, проснувшись у своей Валентины, увидел в окно немцев и решил «устраиваться», в то самое утро, на той же улице Козлова, тех же самых немецких автоматчиков увидела кассирша местного военторга Клавдия Наточий. И она ужаснулась оттого, что на руках у нее оставались не только старуха мать и малолетняя дочь, но еще и крупная сумма казенных денег, которую Клавдия, по причине эвакуации банка, не успела сдать. И вот она взяла резиновую грелку, заложила туда деньги, бросилась в море и на автомобильных скатах, под обстрелом, вплавь добралась до Кабардинки, где ее, совсем уже ослабевшую, выудили васильевские патрули. Она съездила в Туапсе, сдала под расписку деньги в милицию, а потом Васильев «своей властью» зачислил ее вместо «выбывшего» Жирухина...

Приближался приговор, финал процесса. Допрошены были Сургуладзе, Буглак, Дзампаев. Жирухин продурачился целый день на допросе — коршунами кинулись на него Еськов и Скрипкин, стали изобличать, и Скрипкин, измаявшись с Жирухиным, наконец просипел:

— Стыдись! У тебя ж высшее образование!..

Постепенно интерес к подсудимым со стороны публики стал ослабевать: эпизоды повторялись, все уже было в основном ясно. И подсудимые тоже попривыкли к своей скамье и к процедуре

суда — каждый день их привозили в Дом офицеров, как на работу, и они эту работу выполняли в меру своих способностей и «совести», причем почти не сомневались в том, какой будет приговор, так как день за днем на них глыбами наваливались факты, выбраться из-под которых невозможно. Только Псарев все еще никак не оттаивал.

Председательствовал на процессе полковник Малыхин, человек спокойный и опытный. Псарева он решил «взять» логикой. Его допрос в моих отрывочных записях выглядит так:

...Председательствующий. Так где же вы попали в зондеркоманду?

Псарев. В Ростове.

Председательствующий. Вы обвиняетесь, Псарев, в том, что уже в Ростове участвовали в расстрелах населения.

Псарев. Это неправда. При мне в Ростове не было ни арестов, ни расстрелов.

Председательствующий. Так для чего же тогда существовала зондеркоманда?

Псарев. Я не знаю.

Председательствующий. Скрипкин, подойдите к микрофону. Речь идет об участии Псарева в расстрелах в Ростове. Что вы знаете по этому поводу?

Скрипкин. В Ростов я прибыл в июле 42-го года, вместе с Федоровым-взводным. Первого, кого я встретил из русских предателей во дворе зондеркоманды, так это Псарева. Потом во время расстрела мы стояли с ним рядом.

Председательствующий. Вы не ошибаетесь?

Скрипкин. Это впервые в жизни, когда я этот кошмар увидел, разве такое забудешь? Там была вся команда.

Председательствующий. Слышали, Псарев? Что скажете?

Псарев. Я отрицаю. Скрипкин меня оговаривает.

Председательствующий. В чем же дело, Псарев?

Псарев. Я не знаю. Я там не был. Я бы сам признался, без него...

Председательствующий. Как вы попали в Краснодар?

Псарев. Нас ехало человек десять, две машины с немцами и переводчиками. В Краснодаре еще шли бои, город еще не был взят, и машины гестапо расположились в нескольких километрах, развернулись на всякий случай ходом на Ростов. Ждали, пока займут город.

Вступили в Краснодар, в бывшее отделение милиции по улице Коммунаров. Офицеры сразу же побежали искать внутреннюю тюрьму. В Краснодаре я также нес караульную службу.

Председательствующий. Кем же вы были, зачем приехали?

Псарев. Мы были вроде полиции, только назывались так — гестапо...

Председательствующий. Но кто вами командовал? Кто были ваши командиры?

Псарев. Переводчики. Командиров прямых не было.

Председательствующий. Что же вас, из города в город переводчики возят и нет никакого командира?

Псарев. Не было.

Председательствующий. Значит, самый главный начальник у вас переводчик? Он вас возит, решает, когда вступать в Краснодар?

Псарев. Нет, были и офицеры.

Председательствующий. Наконец-то. Какие ж это офицеры? Вам-то что-нибудь сказали, зачем вы приехали, что будете делать?

Псарев. Нам ничего не говорили, но мы так поняли, что будем охранять помещение.

Председательствующий. Пустое помещение? А чем же офицеры занимались?

Псарев. Не знаю.

Председательствующий. И никого не приводили, не расстреливали?

Псарев. Нет.

Председательствующий. И это называлось гестапо? Собралась группа бездельников, кормят вас, поят, и вы ничего не делаете? Гестапо в Краснодаре пустую тюрьму охраняет!

Псарев. Я узнал потом, что туда стали доставлять заключенных.

Председательствующий. Это другое дело. Так вот: вы обвиняетесь в том, что с вашим участием в Краснодаре были расстреляны сотни мирных граждан. Вам ясно обвинение? Признаете себя виновным?

Псарев. Нет.

Председательствующий. Но что вы были в Краснодаре, это установлено. И вы ничего не знали?.. В августе 42-го года вы и другие в противотанковом рву расстреляли тридцать человек.

Псарев. Не знаю ничего.

Председательствующий. Еськов! Что вы скажете по этому поводу?..

Еськов с готовностью вскакивает: он уже в «активе» и доволен тем, что суд то и дело обращается к нему за уточнениями.

Еськов. Участвовал Псарев! Ты Юрьева помнишь? Высокий, седой эмигрант Юрьев. Он и возглавлял эту операцию. Ему захотелось лично пострелять тех, кого должны были удушить. Вот он и взял тридцать человек, вывез в ров — сам стрелял, потом нам приказали...

Председательствующий. Слышали?

Псарев. Слышал. Это неправда. Я не был...

Председательствующий. Дальше вы обвиняетесь в

том, что в поселке Гайдук раздевали, подталкивали в ров, стреляли и закапывали даже живых. В течение двух дней расстреляна была тысяча человек...

Псарев. Я только наблюдал эту сцену, сам не участвовал. Помню, выехали из Новороссийска по направлению к Гайдуку, свернули вправо или влево, метров четыреста. Там уже стояла группа наших офицеров: Эмиль, Унру, Николаус, помощник шефа — такой старый, похожий на Гитлера, морда перекошена, а среди переводчиков — Оберлендер. Вскоре пришел первый автобус — бывшая «скорая помощь». Не доезжая метров пятнадцати, стали ссаживать по пять человек. Людей заставляли раздеваться, подводили к тому месту, где стояли офицеры. Раздавались очереди. Так я впервые увидел этот ужас. Когда первую машину расстреляли, принялись за вторую... Под конец дня шеф заставил закапывать трупы. Я очень испугался, мне страшно было, и тогда Федоров сказал: «Ну ладно, грузи вещи...» А Еськов стоял около машин, стаскивал людей и подгонял ко рву. Некоторых за руку тащили переводчики...

Председательствующий. А сами вы что в это время делали?

Псарев. Я стоял в оцеплении.

Председательствующий. Еськов!..

Еськов. Правильно Псарев говорит, он стоял в оцеплении. Но в каком оцеплении? Подвозят автобус, они окружат его, заставляют раздеваться, гонят людей к траншее и расстреливают. И я стрелял. Куда ж денешься?

Председательствующий. Так, Псарев?

Псарев. Нет, он наговаривает.

Еськов. Что ж я, на себя самого наговариваю? Вон позови психиатра, пусть проверит,— может, я с ума сошел?..

Судья чуть улыбается, и в публике легкий смешок.

Подсудимые заволновались: вот черт Еськов, подобрал-таки ключ, пожалеет его Малыхин, и уже Сухов тянет руку, тоже проявляет «активность» и ехидно вонзает в Псарева вопросец:

— А скажите-ка, Псарев, на какой день по вашем приезде началась операция?

Но получается это у него неуклюже, и вопрос его ни к чему, и Малыхин этот вопрос отводит...

И так во всех деталях уточняется сцена расстрела в Гайдуке — кто где стоял и кто что делал, и все эти детали чрезвычайно важны потому, что решается вопрос о жизни и смерти.

А я думаю об Оберлендере (это не тот «знаменитый» Оберлендер, а всего лишь однофамилец — Гельмут Оберлендер, переводчик зондеркоманды, вроде Вейха). Оберлендера нет сейчас на суде, как нет многих карателей из зондеркоманды СС 10-а — Шаова Ахмеда, Тимошенко Григория, Залесского Ивана, Коопа и Рябова, которые живут, никем не наказанные, в Западной Германии, в Бразилии, во Франции, в Соединенных Штатах Америки и в Парагвае. И вот Псарев, который тогда, в Гайдуке, стоял на расстоя-

пии одного шага от Оберлендера, прижат к деревянному барьеру, и Еськов суетится около микрофона, и через несколько дней грянет над ними приговор, а Оберлендер от всего этого избавлен. Давно уже он не каратель и не преступник, он архитектор: окончил в Западной Германии институт, перебрался в Канаду, где строит для богатых заказчиков виллы по индивидуальным проектам, и далекими кажутся ему Россия и этот процесс. Он свое отстрелял, и теперь живет спокойно, и, наверно, так рассуждает, что всему свое время и на все свои заказчики. А что касается тех тысяч и десятков тысяч людей, которых он когда-то убил, то что же делать? Им просто не повезло. Так всегда в жизни: кому-то везет, а кому-то нет.

И я вспоминаю свою недавнюю— за четыре месяца до Краснодара — поездку в Штутгарт, где в районе целебных источников Бад-Канштадт, на Таубенгеймштрассе, 51, своими глазами видел Вальтера Керера, о котором сейчас без конца говорят на процессе.

Он подкатил к дому на «мерседесе» с женой, с дочерью. Это была обычная семья, был жаркий июньский день, равнодушно светило над Штутгартом солнце, и в ту самую минуту, когда я узнал в плотном, самодовольном мужчине Вальтера Керера, который в одном только Майданеке — ради забавы! — приказал в течение трех суток (ночью убивали при свете ламп) расстрелять тридцать тысяч человек, в ту самую минуту, когда я его узнал, ничего, ровным счетом ничего не произошло: не грянул гром, не закатилось солнце. Керер спокойно посмотрел на меня, наши взгляды встретились...

Я зашел в кафе, на котором была укреплена вывеска с фамилией «Керер», и у каждой официантки на фартучке синими нитками было вышито «Керер», и на тарелках, на ложках, на стаканах для пива значилось «Керер», и люди ели пирожные Керера, пили кофе Керера; могли ли они предположить, что все в этом кафе — от линолеума на полу до модных, современных светильников и фартуков официанток — было приобретено на золотые коронки, изъятые из провалившихся ртов трупов, на обручальные кольца, снятые с выломанных пальцев, на сережки, вырванные из ушей женщин?..

(Керер командовал карательной ротой, начальствовал над Сургуладзе, и Псарев одно время тоже был у него в подчинении...)

Председательствующий. Псарев, в каком году закончилась ваша служба у немецких фашистов?

Псарев. Мой путь закончился в 44-м году, в Чехословакии.

Председательствующий. Что же получается? Три года немцы возили вас по маршруту Ростов — Краснодар — Новороссийск — Крым — Мозырь, кормили, одевали — и все это делалось для Псарева, который ничего не делал для немцев? Есть здесь логика, что вас, бесполезного человека, немцы за собой таскали? Сургуладзе говорил, что, если кто не толкает в душегубку, его самого

толкнут, а как же вам удавалось всего избегать? Вам самому не кажется странным такое наивное поведение немцев? И это в карательной команде, специально предназначенной выполнять палаческие функции?

Псарев. Я после всего этого ужаса боялся.

Председательствующий. Вы боялись, но немцы-то не боялись.

Еськов *(с места)*. Если боялся, чего же ты тогда не убежал, а до 45-го года таскался за ними? «Боялся, боялся», как маленький...

Псарев. Это мое дело.

Председательствующий. Где вы женились?

Псарев. В Новороссийске, в ноябре сорок второго года. Не я женился, меня женили. Я женился — четыре дня не знал, как подходить. Потом тетка меня научила.

(В зале смеются.)

Председательствующий. Это не так уж важно. Это дела ваши личные. А вот свадьба у вас была?

Псарев. Какая там свадьба...

Председательствующий. Гости были?

Псарев. Были. Шеф, Скрипкин, Федоров.

Председательствующий. Какой шеф?

Псарев. Новороссийской команды.

Председательствующий. Значит, кто же у вас быя в гостях? Шеф, командир взвода — Федоров, помкомвзвода — Скрипкин. Как же получилось, что руководящий состав почтил своим вниманием такого нерадивого солдата? Как это все связать вместе?

Псарев. Шефа я пригласил, чтобы он нам дал чего-нибудь спиртного. Федоров и Скрипкин выпить любили. А кроме того, моя бывшая жена работала там, и они ее все знали. А шефу я сапоги чистил. Ему и другим.

Председательствующий. До сих пор мы слышали, что русские близко подходить боялись к этим шефам, а к вам они на свадьбу идут... Вы в Абрау-Дюрсо в казни Кукобы участвовали?

Псарев. Не был я там.

Председательствующий. Еськов!

Еськов. Был Псарев. Арестовывал людей, сгонял на казнь, расстреливал. Почему у него шеф на свадьбе гулял и почему Еськова не пригласил он на свадьбу? Он в числе передовых был, раз шеф к нему на свадьбу пришел...

Председательствующий. Так участвовали вы в казни Кукобы или нет?

Псарев. Не участвовал. Видел только, как пальто его несли.

Председательствующий. Вы обвиняетесь в том, что конвоировали Кукобу на казнь, сгоняли на площадь население, а потом приняли участие в расстреле этого населения.

Псарев. Этого не могло быть.

Председательствующий. А свидетели и подсудимые видели вас в тот день в Абрау-Дюрсо.

Псарев. Не подтверждаю.

Председательствующий. Скрипкин!

Скрипкин. Был такой случай... *(Псареву.)* Почему вы говорите неправду? Я говорю, а у меня сердце жмет. Но когда-нибудь надо отвечать перед советским народом, перед советским судом.

Председательствующий. Ну, что скажете, Псарев?

Псарев. Я не участвовал.

Председательствующий. Значит, и на эту операцию вам удалось не поехать? Расстрел польских граждан в Люблине, на стадионе...

Псарев. Слышал об этом, но сам не был.

Председательствующий. Буглак, подойдите к микрофону... Помните этот эпизод?

Буглак. Как же не помнить.

Председательствующий. Участвовал Псарев?

Буглак. А как же не участвовал! Он всегда участвовал. Бывало, придешь к нему, даже если после работы, скажешь: «Николай, тут яму надо выкопать, пострелять»,— он без слова идет.

Председательствующий. И там, в Люблине, пошел?

Буглак. И там пошел. А как же?

Председательствующий. Что это были за люди, которых тогда расстреливали?

Буглак. Вот этого не могу припомнить.

Председательствующий. Как они вели себя перед смертью?

Буглак. Не знаю. Не наблюдал.

Председательствующий. А выглядели как?

Буглак. Да не могу я описать. Угрюмо выглядели.

Председательствующий. Но были эти люди в чем-либо виноваты?

Буглак. В чем они могли быть виноваты? Совершенно невинные были люди...

Председательствующий. Вейх! Что вы можете сказать об участии Псарева в люблинской акции?

Вейх. Псарев был одним из активе́йших. Если партизан какой бежал, Псарев готов был в огонь лезть, чтоб догнать...

К допросу приступил прокурор, генерал-майор Афанасьев.

Прокурор. Скажите, Псарев, выходит, что вы служили немцам всей семьей?

Псарев. Почему всей семьей?

Прокурор. Что делала ваша жена?

Псарев. Она служила в зондеркоманде уборщицей, поварихой, стирала белье... Я не знал тогда, семья это или нет. Жил — и все.

Прокурор. Когда вы расстались со своей женой?

Псарев. В сорок четвертом году...

...Для полноты картины пришлось вызвать в суд первую жену Псарева; два года назад, с новым своим мужем, она возвратилась из Австрии, где прожила шестнадцать лет, прожила, да не прижилась, и, как она рассказывала, все эти шестнадцать лет там — в Вене и в Зальцбурге, а некоторое время и в городе Ливорно (Италия) — об одном только мечтала, как бы вернуться. И когда она узнала, что на таких, кто сам не стрелял, распространяется амнистия, тут же списалась с домом, и ей обещано было, что устроят ее проводницей на линии Ростов — Новороссийск.

Она и работала теперь проводницей общих вагонов.

Явилась в суд — чистенькая, остренькая, в белом воротничке, чем-то похожая на немку. Метнула острый взгляд на Псарева — и уже больше на него никакого внимания (что он ей!), и отвечала только суду.

— Что вам известно, чем занимался Псарев?

— Я не спрашивала его, и он не говорил. Потом только узнала.

— Что вы узнали?

— Что эта команда занимается истреблением мирных жителей.

— Выезжал Псарев на операции?

— Выезжал.

— А может быть, дома сидел?

— Нет, выезжал. Бывал на операциях.

— Сколько раз? Один? Два?

— Нет. Больше.

— Что же это были за операции?

— Не знаю. Кажется, против партизан. Возвращаясь домой, говорил, что ничего хорошего нет, много с нашей стороны погибло.

— Из вещей он вам привозил что-нибудь?

— Из вещей я всю дорогу от него ничего не имела...

— На вашей свадьбе кто-либо из немцев присутствовал?

— Я их не знала. Был один офицер и один с кухни, с ним невысокого роста женщина...

— Скажите, вам приходила когда-либо мысль о том, что вы неправильно поступаете, что служите во вражеской армии?

— Я об этом никогда не думала. Шла следом за ним, как с завязанными глазами...

— Что представлял собой Псарев как человек?

— К нему все товарищи были хорошего отношения. Он ни с кем не скандалил, с ним никто не скандалил...

— Был ли такой случай, что вы с Псаревым собирались бежать из зондеркоманды?

— Я этого не помню...

Псарев взмолился:

— Может, вспомнишь? На станции Джанкой мы с Андрюшенко хотели бежать...

Поморщилась, подумала с минуту и опять-таки, не глядя на Псарева, ответила суду:

— Какой-то разговор был. Но точно не помню...

По вызову суда из Мозыря приехала Екатерина Михайловна Титова. Во время войны она жила в деревне Кочище, в трех километрах от деревни Жуки. Навсегда ей запомнилась оккупация, вторжение в их деревню немецких солдат, грабежи, казни. Жителей стали вывозить — кого на расстрел, кого на фашистскую каторгу. Население покинуло деревню и ушло в леса; днем прятались в болотах, ночью выходили на сухое место.

За ними охотились. Каждую ночь немцы прочесывали леса. Тех, кого вылавливали, пригоняли в деревню Жуки. Там в колхозной конюшне расстреляли около семисот человек. Десять больших ям было забито трупами.

Екатерина Михайловна не знала тогда о существовании зондеркоманды СС 10-а. Она говорила — «фрицы, фашисты». Фашисты забрали ее отца и сестру.

Однажды ночью крестьяне увидели в лесу эсэсовцев. Старушка Бондажевич не могла бежать, она легла, родственники прикрыли ее хворостом, а сами спрятались в чаще. Когда они вернулись утром к этому месту, увидели, что старушку Бондажевич фашисты сожгли...

Председательствующий вызвал к микрофону Буглака:

— Ну, Буглак, правильно показывает свидетельница?

Буглак ответил:

— Эта операция была делом наших рук...

Екатерина Михайловна посмотрела на подсудимых: гады!..

Дарья Семеновна Енькова видела, как собирают в Ростове на сборный пункт евреев. Она жила на улице Энгельса, в доме 60.

— Приходили евреи туда с вещами, ценностями и ключами от своих квартир.

Она сказала:

— Соседи знают, что я еду свидетелем на процесс, они наказывали мне рассказать суду всю правду и просить, чтобы этим извергам не было никакой пощады...

Киреева Ульяна Тимофеевна жила в Ростове, в поселке 2-я Змиевка, возле Песчаного карьера.

9 августа немцы велели всем жителям уйти на один день из поселка. Ульяна Тимофеевна побоялась оставить свой дом без присмотра, из поселка не ушла — спряталась в Песчаном карьере, в яме.

10 августа она услышала над собой выстрелы: в яму с обрыва падали окровавленные тела, их сбрасывали оттуда, сверху. В ужасе Ульяна Тимофеевна поняла, что происходит расстрел и к ее ногам падают мертвые дети.

Председательствующий спросил Скрипкина:

— Это вы там стреляли?
Скрипкин встал:
— И я в том числе...

Прибыли еще свидетели, бывшие сослуживцы подсудимых. Одни приехали сами, отбыв «от звонка до звонка» десяти-пятнадцатилетние сроки, других привезли под конвоем из дальних колоний, и этот процесс был для них как бы отдыхом.

Сухаренко освободился всего месяц назад; он был с часами, в новом, только что купленном костюме, в новой рубахе-ковбойке. Отвечая, по привычке держал руки за спиной.

Барановский уже двадцать лет отбывал наказание (в свое время, учитывая его молодость и раскаяние, расстрел ему заменили двадцатью пятью годами). В синем кителе, стриженый, с обветренным широким лицом, он похож был на молодого солдата и бодро отвечал:

— А в нашей команде все были палачи, а уж Вейх, Псарев, Сургуладзе — в особенности...

Сургуладзе ненавидяще смотрел на него. Даже Вейх не выдержал, прокричал:

— Я стрелял, совершенно верно! Я не отказываюсь. Но вы сами что делали? Неужели один Вейх стрелял? Или вы мою фамилию стали называть после того, как она на пластинку попала? — Он жестом изобразил, как крутится пластинка.— Теперь скажите: были случаи, что Вейх заставил выпустить скотину, возвратить ворованную корову? Знаете вы, что Вейх ни одной пуговицы себе не взял, ни одной тряпки с убитых не присвоил, все сдавал на склад?..

Барановский ухмыльнулся:

— Вы его слушайте больше. Известное дело — бандит, ищет себе оправдания. Никто грабежей не пресекал. И Вейх тащил что под руку попадет!..

Вейх только головой покачал: «О человеческая низость! О люди, люди!..»

...Ввели Пушкова, свидетеля по делу Сургуладзе, Буглака и Псарева,— с ними он прослужил до 1944 года, пока не перешел во власовскую армию, где стал офицером. Ему, также «с учетом молодости», расстрел был когда-то заменен двадцатью пятью годами, и он все еще отбывал срок...

— ...Вам приходилось участвовать в операциях?

— Так точно. К концу службы в моей солдатской книжке значилось около сорока операций.

— В чем выражалась операция?

— Грабили, убивали, снимали с трупов одежду... Как правило, Вейх добивал раненых. Что касается Псарева, то необходимо отметить, что во время облав на партизан его нередко переодевали в советскую форму, из провокационных соображений снабжали советским оружием...

И с холодной офицерской четкостью заговорил о Сургуладзе, своем задушевном приятеле, с которым вместе ходил в атаку на партизанские пулеметы и два года подряд делил страх и надежду:

— Среди присутствующих здесь обвиняемых наиболее близким человеком к оберштурмбанфюреру Кристмапу был Сургуладзе. Его поощрил даже генерал СС Вальтер Биркамп, который часто приезжал к нам в Люблин. Я считаю своим долгом подчеркнуть, что из рук Биркампа Сургуладзе получил три бронзовые медали и одну серебряную — Bandenkampfabzeichen. Вейх также был награжден...

И опять Вейх не выдержал, попросил слова.

— Я не отрицаюсь... Я не отказывался и не отказываюсь. Но у меня вопрос к свидетелю: за что вы были награждены?

Пушков вопросительно посмотрел на судью: отвечать? — и не совсем твердо сказал:

— Я был... за то, что, когда, находясь в окружении...

Вейх движением пальца отмел:

— Э, нет!..

Но все это не имело значения, так как судили сейчас не Пушкова, а Вейха. И Пушков это знал и поэтому был совершенно спокоен. Все они, эти свидетели, были спокойны и равнодушны не только к своим бывшим сослуживцам, но и к себе, к своим преступлениям, потому что знали, что формально повторной ответственности не подлежат и лично им ничто уже больше не угрожает. И, рассказывая об ужасных вещах, о чудовищных «эпизодах», никто из них не волновался и — за ненадобностью — не демонстрировал ни раскаяния, ни угрызений совести, ни сочувствия к жертвам.

В этом смысле подсудимые держались иначе. На них уже лежала тень неизбежности, которая все смягчает, на все накладывает свой отпечаток и любого заставляет задуматься над прожитой жизнью.

Но стоило выпустить их из-за деревянного барьера, снять с них бремя ответственности, как они тут же выпрямились бы, отшвырнув от себя всю свою горечь и «трагедийность», и пошли бы дальше по жизни, никого не жалея и ни о ком не печалясь, потому что жалеть они умеют только себя и тогда только становятся похожими на людей, когда попадают за деревянный барьер, под «ярмо закона».

Впрочем, у этих девяти были свои причины сетовать на судьбу, так как из всех преступлений их преступление оказалось самым «невыгодным»: самым непосредственным и явным. Куда денешься, если руки в крови и ты стрелял? Тут самая очевидность преступления не дает вывернуться и уйти от возмездия. А у скольких руки не в крови, ни пятнышка крови нет на руках, разве что след от чернил, которыми написаны приказы и «теоретические обоснования». А есть и такие, у которых вообще никакого пятнышка нет, кто просто «умыл руки» и ни в чем не участвовал —

только молча наблюдал, как убивают и душат других. Но все они — организаторы и теоретики убийств, молчальники и подпевалы — внесли свою «лепту» в беду человечества и создали на земле ту ситуацию, при которой Сухов мог волочь в душегубку ейских детей, а Скрипкин — расстреливать военнопленных.

Ведь все, что делала зондеркоманда, было конечным результатом огромной подготовительной работы по уничтожению людей, и в огромной машине смерти эти девять были самыми малыми винтиками. Но так как человек не должен и не может быть винтиком, которому все равно, в какую машину его вставят и в каком колесе он будет крутиться, никому из них не было оправдания, и мертвые предъявляли им счет. Исход был ясен еще до начала процесса: для того, кто раскаялся, смерть — избавление, а для нераскаявшегося смерть — кара.

Двое суток — с 22 по 24 октября — совещались судьи, и вместе с ними вершили свой нравственный суд тысячи людей, которые в Краснодаре и за его пределами следили за ходом процесса.

Подсудимые ждали решения своей участи; не спали, почти не притрагивались к еде, только Псарев ел и спал и за двое суток прочел столько книг, сколько не прочел за всю свою жизнь. И, может быть, эти книги оказали на него «благотворное влияние», и он, возможно, даже кое-что понял. Но было уже поздно.

Еськов попросил карандаш и бумагу и писал стихи, которые никому уже не были больше нужны, так как личность подсудимого Еськова считалась полностью выясненной и все его преступления — установленными и доказанными в судебном заседании.

А потом грянул приговор, сталью сверкнули наручники, и по улицам Краснодара двинулись тюремные машины, увозя осужденных.

Из архивов гестапо

Два письма, написанных перед казнью

1. Письмо Николая Кузнецова, бывшего ученика школы имени Чехова (Таганрог).

Дорогая мамочка, родные и близкие друзья! Пишу вам из-за тюремной решетки. Полиция узнала, что мы с Ю. Пазоном спалили дотла немецкий вездеход с пшеницей, автомашину, крали у немцев оружие, убили изменника Родины, совершили диверсии. За это нас повесят или в лучшем случае расстреляют. Но ничего! Гвардия погибает, но не сдается... Все равно Красная Армия будет в Таганроге...

Май 1943 г.

2. Письмо молодого немецкого крестьянина.

3 февраля 1944 г.

Дорогие родители!

Я должен сообщить вам печальное известие о том, что я приговорен к смерти, я и Густав Г. Мы отказались записаться в СС, поэтому они приговорили нас к смерти. Вы сами писали мне, чтобы я не вступал в СС, и мой товарищ Густав тоже не записался. Мы хотим скорее умереть, чем запят-

нать свою совесть такими зверствами. Ведь я знаю, чем занимаются эсэсовцы. Ах, дорогие родители, как все это тяжело для меня и для вас, простите меня, если я вас в чем обидел, пожалуйста, простите и молитесь за меня...

ПО ТУ СТОРОНУ ЛЕГЕНДЫ

В таганрогском гестапо канцелярией — «шрайбштубе» — заведовал молодой зондерфюрер Георг Бауэр. Он прибыл в Таганрог в феврале 1943 года, вскоре после событий на Волге: возвращался из Германии, из отпуска, в полевое гестапо на станцию Чир, но Чир к тому времени был уже взят русскими, полевое гестапо разгромлено, и отдел «1-с» вновь сформированной 6-й армии направил Бауэра для прохождения дальнейшей службы в Таганрог, к Брандту.

Бауэру было девятнадцать лет, он родился в городе Оппельн (Силезия), рано потерял родителей и воспитывался у тетушки. Он принадлежал к той категории молодых немцев, которые выросли и духовно оформились при Гитлере и никакой другой, «нефашистской», жизни не знали, представить себе не могли, что можно жить иначе. Это была действительно «особая» молодежь, избавленная от свойственных юности поисков истины, раздумий над «смыслом бытия», от каких-либо сомнений и умственной самодеятельности. Все этим юношам было ясно, все истины для них найдены, сомнения устранены. Они считали себя счастливцами, увлеченные игрой, в которую играла тогда вся Германия. Каждый чувствовал себя приобщенным к «великой цели», каждый «выполнял миссию», каждому было внушено, что он не просто человек и не просто немец, а deutscher Mensch[1] (был такой термин), и этот бессмысленный по существу термин невольно к чему-то обязывал, наполнял жизнь людей особым содержанием, придавал особую окраску самым обычным поступкам. Здесь разум был выключен, действовало только чувство, и культ чувства, не замутненного, как они выражались, «умствованием» и «крохоборческой логикой», проповедовался на каждом шагу.

Годы, вошедшие в немецкую историю как позорная и мрачная пора варварства, пыток и казней, многими немцами искренне воспринимались как «эпоха национального подъема». Искусственно взвинченное чувство оказалось сильнее разума, «слепая вера» — сильней очевидности. Более того, способность действовать вопреки очевидности, наперекор логике и здравому смыслу считалась особым свойством «немецкого человека», свидетельством его превосходства, признаком его целеустремленности и политической сознательности.

Писатель Ганс Иост писал тогда восторженно:

«Вопреки всему и всяческому опыту, этому опыту наперекор, в противовес всяческим хитросплетениям разума и всевозможным расчетам, вопреки вероятию, в кратчайший срок из единого сердца

[1] Немецкий человек.

выросло новое государство, его величие, его безусловная тотальность. Этот пример волшебной силы чувства и веры в чувство способен сокрушить все сомнения. Мы стоим на пороге нового века».

Ослепление и в самом деле приняло характер психоза. Ликвидация безработицы (за счет рабского труда в концлагерях и военизации страны), незначительная прибавка жалованья или пенсии, какой-нибудь «айнтопф» — обед из одного блюда, бесплатно выдаваемый школьникам в дни нацистских празднеств, воспринимались как неслыханная забота «нового государства» о своих подданных, строительство пресловутой автострады и военных заводов — как чудодейственный взлет экономики. Смотрели на то, что «дает» фашистское государство, и научились не думать о том, что оно «берет» взамен...

Для народа нет большего несчастья, чем подобный психоз, эпоха фиктивного подъема, за которую приходится расплачиваться не только кровью и утратой материальных ценностей, но и долгими годами упадка, неверия уже ни во что, всеобщей опустошенностью, боязнью вообще какой-либо идеологии, безразличием к политике, тягой к мещанскому благополучию и нигилизмом.

Но это — уже «похмелье», а в 1938 году бродил еще «хмель». В 1938 году произошел аншлюс — захват (без единого выстрела!) Австрии, и в Нюрнберге, на «партайтаггеленде», от которого сегодня сохранились лишь обломки бетонных труб, на гигантском стадионе, состоялся митинг немецкой молодежи. 60 тысяч юношей и девушек со всей Германии собрались в Нюрнберге, и среди них, в числе знаменосцев, был — тогда пятнадцатилетний — Георг Бауэр. Он и через четыре года, на Восточном фронте, служа в полевой жандармерии в Чире, вспоминал этот самый яркий день в своей жизни, яркий, несмотря на дождь, который обложил город и лил всю ночь и все утро: под дождем набухли флаги, знамена, транспаранты, и в палаточном лагере, где разместились участники празднества, вода была по колено.

И вот под проливным холодным дождем двинулись из палаточного лагеря в город 60 тысяч человек: 9 000 кандидатов нацистской партии, 50 000 членов «гитлерюгенд» и тысяча «пимпфов» — объединенных в нацистскую организацию учеников младших классов. Они шли через старый Нюрнберг с его пряничными домами, шли мимо старинной крепости. И чем сильнее хлестал дождь, тем выше они поднимали свои знамена и старались петь как можно громче, потому что это шествие было, по существу, репетицией, тренировкой к другому походу, когда уже не под дождем, а под огнем пулеметов они пойдут на штурм всего мира; на их транспарантах было написано: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра будет принадлежать весь мир!»

Колонны вступили на стадион: слева — с черными знаменами — «юнгфольк», справа — с красно-белыми — «гитлерюгенд». У почетной трибуны знаменосцы встретились, цвета флагов смешались, только один флажок пылал в стороне — «знамя Герберта Норкуса», обтрепанный лоскут, с которым юный Герберт Норкус

погиб на берлинской улице в стычке с «большевиками». Грянула песня «Lang war die Nacht» — «Ночь была долгой». Затем с ближайшего аэродрома в небо поднялись самолеты и пролетели над головами собравшихся. Праздник начался. К «своему юношеству» прибыл Гитлер...

Фюрера Георг Бауэр боготворил — в пятнадцать лет он знал «Майн кампф» почти наизусть. Его била нервная дрожь, когда он читал главы о юношеских скитаниях Гитлера, о первых годах его борьбы. Чего не пришлось пережить этому великому человеку! Да, только такой человек, который испытал на себе войну, безработицу, человек, вышедший из «низов» и перестрадавший всеми страданиями, которые выпали на долю народа, мог встать во главе новой Германии и смело повести ее навстречу будущему.

Теперь этот кумир, которому поклонялись и отдавались («Бери нас!», «Веди нас!», «Делай с нами что хочешь!») миллионные толпы, находился от Георга Бауэра в двух шагах. Верные дисциплине, юноши и девушки замерли, не смея шелохнуться, пока фюрер обходил строй, только у мальчугана, стоявшего справа от Бауэра, по щекам текли слезы. Но когда фюрер поднялся на трибуну и репродукторы голосом Гитлера произнесли: «Я доверяю вам безгранично и слепо!» — напряжение сменилось разрядкой. Из шестидесяти тысяч сердец вырвались наружу крики восторга, шестьдесят тысяч человек выхватили свои походные ножи и застучали по ножнам, приветствуя фюрера...

Этот день сыграл большую роль в жизни Бауэра. С этого дня он становился не просто мальчиком и не просто «юным гитлеровцем»: он получил как бы титул «участника слета», «знаменосца», и, когда вернулся к себе в Оппельн, все остальные ученики и даже преподаватели смотрели на него как на избранника. Теперь он был в своем классе чем-то вроде почетного ученика, что сопровождалось для него всевозможными поблажками, привилегиями, но и массой нагрузок: то он должен был выступать с рассказом о слете в Нюрнберге, то его назначили ответственным за проведение военной игры в младших классах...

Все это вовлекало его в бурную государственную деятельность, и чем больше он этой деятельностью занимался, тем больше дорожил ей и своим особым положением. Он уже не мыслил себя рядовым школьником, обычным человеком; быть на виду, на «главном участке», стало для него потребностью, и неудивительно, что, достигнув определенного возраста, Бауэр записался в СС, потому что СС — это и есть самый «главный участок», самая сердцевина фашистского государства.

На втором году войны Бауэр некоторое время служил в Польше, а затем, как уже сказано, в одном из полевых гестапо на оккупированной территории Советского Союза...

Возвратившийся из отпуска и назначенный на должность начальника шрайбштубе таганрогского гестапо, Георг Бауэр вполне соответствовал тем представлениям, которые можно составить о

нем, ознакомившись с его биографией. Он был инициативен, решителен и свои обязанности выполнял с максимальной самоотдачей. Хотя и не очень это ответственная должность — начальник гестаповской канцелярии, Баузр в короткий срок сумел придать ей в глазах сослуживцев важное значение, он как-то так повернул дело, что шрайбштубе стал в таганрогском гестапо чуть ли не главным участком.

Этот фанатик, служа нацистской «идее», выжимал из своей скромной должности все, что мог. Не говоря уже о том, что он образцово вел делопроизводство, он взял на себя оформление протоколов допросов и приемку донесений от тайных агентов и информаторов, работавших среди местного населения, причем, передавая эти донесения комиссару Брандту, прилагал к ним свои, зачастую весьма оригинальные, разработки и выводы.

Было очевидно, что этот молодой человек собирается сделать большую карьеру на гестаповском поприще и стремится вникнуть во все детали новой для него работы. Он охотно брался за любое поручение,— например, участвовал даже в рыночных облавах на торговцев военным обмундированием, доставлял арестованных из полицейской или зондеркомандовской тюрьмы в здание гестапо и т. д.

Кроме того, он успешно изучал русский язык и по вечерам, когда остальные сотрудники отправлялись в кино или к женщинам, подолгу засиживался в своей шрайбштубе, выписывая в тетрадь русские слова и грамматические правила. Были у него и другие достоинства: безупречная память на имена, фамилии, на номера и названия воинских частей; его так и прозвали — «ходячий справочник». И еще: каждый свой поступок он подкреплял цитатами из Гитлера, Геббельса, Розенберга, он даже Ницше и Шпенглера читал, чем выделялся среди не слишком-то образованных гестаповцев.

Такой он был человек, этот Бауэр, что обязательно должен был чем-нибудь *выделяться*, и ему нравилось, что он выделяется хотя бы своей молодостью. Особенно же приятно было ему выделяться среди армейских офицеров, которые всегда с некоторой опаской посматривали на людей в гестаповской форме. Бывало, приходит он по каким-нибудь делам в штаб дивизии, и пожилой генерал, которому подчинены полки моторизованной пехоты, танки и артиллерия, приветливо улыбается, потому что сильнее танков и артиллерии — крохотная бумажка, именуемая ордером на арест. С помощью войск можно занять город, завоевать обширную территорию, но нельзя завоевать Георга Баузра — это будет государственной изменой. Георга Бауэра надо не завоевывать, а *покорять* — дружеским обхождением, улыбкой. Ведь никто не знает, зачем он, собственно, пришел, что у него на уме и что он скажет после того, как, поздоровавшись, осведомится о самочувствии собеседника.

Надо сказать, что полевое гестапо, или «гехейме фельдполи-

цей», то есть тайная полевая полиция, занималось не только расстрелами. В задачу ГФП входила охрана штабов, личная охрана командующего соединением, представителей главного штаба, а также наблюдение за военными корреспондентами, художниками, фотографами, негласный и неусыпный контроль за тем, что они пишут, рисуют и фотографируют. Эта сторона деятельности ГФП, которая иным гестаповским «романтикам» казалась чересчур скучной и обыденной, увлекала Бауэра не меньше, чем самые эффектные акции. Он и к этой «текучке» относился с серьезностью.

В те месяцы таганрогское гестапо работало с полной нагрузкой: все кругом кишело подпольщиками, партизанскими связными, подозрительными, и комиссар Брандт аккуратно докладывал в «1-с», комиссару Майснеру, о количестве расстрелянных за день.

Но все это было чистейшим очковтирательством: в большинстве случаев никто из этих расстрелянных никакого отношения к подпольщикам не имел, просто Брандт доказывал, что не зря получает свой паек и оклад.

Нередко это делалось так: схватят на базаре или на улице первого попавшегося русского, приводят в гестапо. Следователь спрашивает:

— Ты партизан?

— Нет,— отвечает русский.

— А в Красной Армии родственники у тебя есть?

— У кого же, господин офицер, нет родственников в Красной Армии? Ведь, когда началась война, всех призывали...

— А у тебя кого призвали?

— Племянника моего, Васильева Павла...

Следователь диктует, Бауэр хлопает на машинке: «Русский Васильев Александр, 64 лет, через своего племянника Васильева Павла систематически поддерживает связь с войсками Советов...»

Протокол передают Брандту, и он накладывает резолюцию: «Umlegen» (уложить) или: «Umsiedeln» (переселить) — условные формулировки, означающие расстрел...

Но вот числа 10-го июля наметилась действительно серьезная операция, от которой зависела карьера и, может быть, вся дальнейшая судьба каждого сотрудника. От «лица», находившегося за линией фронта, в расположении советских войск, поступило донесение — шифрованный текст — о том, что русские начинают наступление с предварительной выброской парашютистов. Встреча десанта (ориентиры — костры из соломы) возложена на местных комсомольцев-подпольщиков.

Было установлено строжайшее наблюдение за всеми выходами из города и окрестных деревень. Каждый направляющийся в район предполагаемой выброски десанта подлежал немедленному аресту. Была поднята вся агентурная служба, привлечены зондеркоманда, подразделения полевой жандармерии, войсковые части и городская полиция.

В один из этих вечеров Георг Бауэр, выйдя из помещения гестапо, направился на Елизаветинскую улицу. По дороге он оста-

новил встречного танкиста-ефрейтора и велел ему следовать за ним.

Комендантский час уже начался, и Елизаветинская улица казалась вымершей, но в домах, за плотно закрытыми ставнями, шла своя жизнь, причудливая жизнь оккупированных. Здесь не было квартиры, комнаты, подвала и чердака, где в эту минуту не происходило бы нечто запретное, противоречащее приказам и распоряжениям оккупационных властей, нарушение которых каралось смертью.

Мужчина, сидевший у самодельного радиоприемника и слушавший вечернюю передачу из Москвы, был нарушителем приказа № 2 о запрещении слушания советских радиопередач. Юноша, который печатал на машинке сводку Информбюро, нарушал приказ № 4, запрещавший пользование множительными аппаратами, а его мать была нарушительницей приказа № 3, каравшего за недоносительство о враждебной германским властям деятельности. Девушка, которая стирала на кухне белье, была нарушительницей приказа № 1 о регистрации коммунистов и комсомольцев. Женщина, которая пришла к соседке с куском мыла, чтобы выменять его на два стакана горелой пшеницы, являлась нарушительницей распоряжения № 156 о правилах торговли, а старик, который ничего не делал, а просто спал на печи, был нарушителем приказа № 361 о регистрации пенсионеров, инвалидов и престарелых. И только доносчик, который при свете керосиновой лампы писал донос на своего соседа, действовал законно, хотя, впрочем, и он нарушал сейчас распоряжение № 520, запрещающее пользоваться «источниками света» после определенного часа.

Вот по этой улице, мимо этих домов, шел Бауэр со своим спутником, ефрейтором-танкистом, и ему казалось, что двери, ворота, калитки оцепенели в ожидании ночного стука, как цепенеют в ожидании удара спины, когда над ними занесен кулак...

Бауэр забарабанил в дверь низкой, чуть выше человеческого роста, мазанки. Внутри дома отозвались,— наверно, давно были готовы к этому с т у к у, все предусмотрели: что нужно, припрятали, унесли к знакомым, договорились между собой, как отвечать и как вести себя в случае «и х» прихода.

Дверь отворил парень, в трусах и в майке, лет восемнадцати. Бауэр с ефрейтором, пропустив парня вперед, прошел в дом, где находились две женщины — бабка и мать.

Бауэр бегло осмотрел помещение, затем приказал парню одеться и вытолкал его на улицу...

Арестованного повели. Бауэр, достав из кобуры пистолет, шел сзади, ефрейтор-танкист — впереди. Возле городской полиции Бауэр отпустил ефрейтора, наградив его пачкой сигарет, а сам вместе с задержанным вошел в здание.

Несмотря на поздний час, городская полиция была полна народу. В немецком гестапо работа при всех обстоятельствах заканчивалась в 17.00, распорядок соблюдался неукоснительно, русские же полицаи не знали отдыха ни днем ни ночью.

Кого только не тащили в полицию, чтобы, продержав несколько суток в подвале, выдать на окончательное растерзание немцам или запороть «своей властью». Редко кто выходил отсюда живым.

Хромоногий Стоянов допрашивал истерично, истошно кричал и без конца названивал Брандту в гестапо — ни одного решения не имел права принять самостоятельно.

Немцы были в полиции хозяевами — и гестапо, и зондеркоманда, и абвер. Здесь они принимали информаторов, вербовали агентов, назначали свидания «доверенным лицам».

Бауэр кивком ответил на приветствие дежурного (полицаи приветствовали приложением двух пальцев к головному убору, право на «хайль Гитлер» имели только немцы), провел задержанного в одну из свободных комнат и запер за собой дверь.

Вот когда ему наконец пригодилось знание русского языка.

— Германские органы,— сказал Бауэр,— располагают данными о том, что вы принадлежите к подпольной большевистской организации. Вам понятно?..

Сперва гестаповец нажимал по всем правилам, угрожал расстрелом, уличал, назвал несколько фамилий подпольщиков. Парень, конечно, «никого не знал»; он живет с бабушкой, с матерью, работает в мастерской, ни с кем не встречается. Тогда Бауэр заговорил о парашютистах:

— Завтра ночью... Костры из соломы...

Даже район выброски был известен.

Значит, их выдали, причем выдал кто-то из своих, самых проверенных. Это была катастрофа, полнейший провал. Проваливалась организация, на фашистские автоматы, в смерть, проваливались десантники. И сам этот парень, как в пропасть, проваливался в беспомощность, в слабость, в бездействие, потому что уже ничего не мог предпринять, никого предупредить не мог. Оставалось только молчать.

И вдруг:

— Великая Германия не хочет, чтобы ты — молодой человек — потерял голову... Мы не звери... Наш долг — предостеречь...

Гестаповец повеселел, почти доверительно стал рассказывать, сколько таких вот «ребят» пришлось перевешать и как они перед смертью, когда надеваешь им на шею веревку, всё еще верят в спасение, в то, что хотят их только напугать, но спасения никакого не бывает: просто вышибаешь из-под ног табуретку — и все. А еще расстреливают в затылок. Это делается так: выезжают за город, подводят к яме... Многие бы рады в такую минуту начать жизнь сначала, но уже поздно.

— А вот у тебя есть еще возможность, мы на тебя не смотрим как на пропащего...

Бауэр знал: сейчас допрашиваемый подведен к той грани, которую и не такие люди, как этот мальчик, переступали ради одного только продления надежды на жизнь, ради одной иллюзии, что еще не все кончено...

Парень, однако, мялся, не принимал брошенный ему «канат».

— Мы даем тебе шанс... Ты можешь продолжать даже работать в подполье. Но раз в неделю — один раз — будешь встречаться со мной. Ну?..

Нет. Этот не переступил грани, он уже сделал свой выбор и заученно повторял, что не знает никаких подпольщиков, редко выходит из дому...

Тем не менее зондерфюрер встал из-за стола, отпер дверь... Прошли мимо дежурного — на улицу.

— Иди домой и обдумай свое поведение... Через неделю зайдешь...

15 июля 1943 года комиссар Брандт докладывал комиссару Майснеру: «В районе предполагаемой выброски десанта никого обнаружить не удалось. Советские самолеты над указанным районом не появлялись...»

А еще через день стало известно, что русские перенесли наступление на другой участок фронта...

И Виктор Николаевич Миронов [1] рассказывает:

— Я тогда шел на крайний риск, вообще с подпольщиками я в прямую связь никогда не вступал — только через Большую землю, хотя находился от них в двух шагах. Но тут времени для раздумий не оставалось... Срыв операции я наметил по двум направлениям. Послал через линию фронта на́рочного с сообщением о том, что дата выброски десанта и опознавательные знаки немцам известны, прошу не допустить провала. С другой стороны, надо было предупредить подпольщиков — вот я и приволок в полицию того парня, «побеседовал» с ним. Расчет у меня был, что парень, вернувшись домой, расскажет о нашем разговоре своим товарищам и десант они встречать не пойдут, поскольку немцы их засекли. А что парень этот не подведет, я понял с первых минут допроса...

— А ефрейтора вы для чего взяли?

— Ну как для чего? Для надежности. Во-первых, приди я один, это показалось бы неправдоподобным, во-вторых, парень мог от меня сбежать по дороге — что бы я стал тогда делать? Не стрелять же мне в него. А тут я ничем не рисковал. Ефрейтор меня не знает: что за офицер, какой офицер? К тому же пришли мы не в гестапо, а в полицию: пусть он меня в случае чего там ищет!..

Я беседую с Виктором Николаевичем, с тем, который в Таганроге «продолжил» карьеру Георга Бауэра, прерванную на станции Чир в тот самый день, когда Георг Бауэр с отпускным удостоверением в кармане был захвачен в плен советскими солдатами.

Виктору Николаевичу было тогда, в 1943 году, всего двадцать

[1] Образ разведчика Миронова — собирательный.

лет, и это поразительно, как мальчишка, без всякого особого опыта, перехитрил кадровых немецких контрразведчиков.

Конечно, я, как только встретился с Виктором Николаевичем, сразу же в него «вцепился» — он был для меня драгоценной находкой, тем живым «легендарным героем», о котором мечтает каждый писатель. Впервые я услышал о нем в Краснодаре, но еще в Таганроге, разбирая гестаповские архивы, не раз встречал имя Бауэра, и когда однажды спросил, кто этот Бауэр и какова его дальнейшая судьба, мои собеседники сперва переглянулись, потом рассмеялись:

— Да он же ваш земляк, живет в Москве...

Он многих «моих» персонажей знал, наблюдал «изнутри» — Брандта, Кристмана, доктора Герца; принимал донесения от Леберта, генерала Биркампа тоже видел не раз. Ничто не укрывалось от его глаз, и этот глаз есть «око возмездия», потому что даже спустя двадцать лет неуютно себя должны чувствовать убийцы, зная, что живет на земле Свидетель...

Долгие вечера я просиживал с Мироновым, слушая его рассказы. Но меня гораздо больше, чем все эти злодеи, которых он так хорошо знал, интересовал он сам.

Представьте себе ситуацию: живет в Москве десятиклассник, сын рабочего с «Серпа и молота», комсомолец, воспитанный на «Чапаеве», на «No pasaran!», на Николае Островском, и вот этот мальчик, едва окончив школу, перевоплощается в Георга Бауэра, который там, в Нюрнберге, молился на «знамя Герберта Норкуса», в обожателя Гитлера, в эсэсовского карьериста.

Миронов показывал мне, каким он был Бауэром. На моих глазах полноватый сорокалетний мужчина с характерным русским лицом вдруг преобразился в молодого немца, в надменного и напористого гестаповского щеголя. Казалось, что у него не только голос и выражение лица, но даже уши и нос в эту минуту стали другими. И по-немецки он говорил удивительно — звонко, с выкрикиванием,— хотя поспешил заверить, что за двадцать лет многое уже подзабыл...

Но ведь одного знания языка, актерских способностей и умения проникать в чужую психологию здесь недостаточно. Нечто более важное позволило Миронову сыграть свою роль, полтора года безошибочно исполнять смертельный номер.

Дело — в основе, в фундаменте его подвига, где предыстория так же существенна, как и сама история. У многих из нас была примерно та же «предыстория», что и у Миронова, и тоже был свой «дядя», участник Октября и войны с Колчаком или с басмачами, назвавший своего сына в честь Владимира Ильича Ленина «Виленом», и была мечта устроить «мировую революцию», помочь мировому пролетариату, было и свое 20 апреля 1938 года, о котором Миронов говорит: «В этот день я с трепещущим сердцем вступил в комсомол, секретарь райкома вручил мне билет № 0077350. Спросите, какой у меня сейчас номер паспорта,— не помню. А вот номер своего комсомольского билета запомнил я на всю жизнь».

И любимый учитель (или учительница) тоже были у нас, и любимый, благодаря этому учителю, предмет. Для Миронова таким предметом стал немецкий язык. В их школе «немка» была из Германии, революционная эмигрантка, и Миронов от нее заразился романтикой антифашизма: Тельман, МОПР, песни Эрнста Буша.

Еще в девятом классе он стал посещать курсы иностранных языков, прочел массу антифашистских брошюр, которые выходили в Москве, книжки по немецкой истории и философии. И как бывает, что у человека вдруг прорезается голос, так у Миронова вдруг «прорезался» немецкий язык: он заговорил почти свободно.

Взрослых удивляли его знания. Он ориентировался в государственной структуре и в экономической географии Германии, мог без ошибки назвать, где какой немецкий город расположен, сколько в нем населения, чем оно занимается. Знал биографии гитлеровских вожаков.

Он уже тогда был почти специалистом...

Вообще в тридцатые годы к Германии проявлялся у нас значительный и плодотворный интерес (между прочим, гораздо больший, чем в сороковом году или в начале сорок первого, перед самой войной).

Германский рабочий класс, который вел трагическую, самоотверженную битву с фашизмом, вызывал у нас самое страстное восхищение. С другой стороны, чувствовалось, что оттуда, из Германии, прет на мир зловещая сила и нам еще с этой силой предстоит встретиться; возникала внутренняя потребность изучить эту силу, познать ее сущность, так что, помимо всего прочего, мальчишеское увлечение Миронова имело серьезные, может быть им самим до конца не осознанные, исторические причины.

Всем этим я вовсе не хочу сказать, что Миронов был каким-то уникумом, вундеркиндом от разведки,— просто он, будучи натурой чувствительной и одаренной, ощущал «дух времени».

...Перед тем как уйти в немецкий тыл, в неизвестность, Миронов заполнил анкету. Послужной его список занял две строки: «С 1. IX. 1931 по 22. VI. 1941 — учащийся средней школы, с 22. VI. 1941 — в рядах РККА». В анкете «предысторию» отразить невозможно: кому интересно, что в школе, готовясь к будущей войне, он занимался в авиационном кружке, увлекся военной химией, а весной 1941 года, окончив десятый класс, задумал поступить в авиационный институт, потому что считал эту специальность наиболее «злободневной»?

Обратили внимание на графу: «Владею немецким языком (говорю, читаю, пишу) без словаря, свободно».

Эта графа «подкупила» и райвоенкома, когда Миронов 22 июня пришел проситься на фронт. Его направили на курсы военных переводчиков, в одно из живописных мест под Москвой, а затем на Урал, где он проучился до декабря. На курсах он был самым младшим по возрасту, но по «спецподготовке» вскоре обогнал «стариков» — недавних вузовских и школьных преподавателей, и

командование решило оставить его при курсах на преподавательской должности. Но в это время Миронов получил из дома письмо: родители извещали о том, что на Украине в боях с немецкими фашистами погиб его старший брат. Собственно, вся их семья воевала. Дядя записался в ополчение (он погиб под Москвой), старшая сестра Миронова была на фронте радисткой (сейчас она живет в Горьком, инвалид Отечественной войны).

Виктор Николаевич рассказывает:

— Получив тогда из дома письмо, я был потрясен, подал рапорт, что хочу отомстить фашистам за кровь брата, что моя сестра тоже дерется с врагом и я не могу здесь оставаться, прошу направить меня в действующую часть.

Через день у меня была на руках командировочная, и я выехал под Старый Оскол, где принял первое боевое крещение в должности переводчика полка. Лучшим моим учителем был старший лейтенант Евдокимов, полковой разведчик. Ему я многим обязан и никогда его не забуду: он обучил меня военному ремеслу, без которого бы я в тылу у немцев пропал. Вместе с Евдокимовым мы ходили в поиск, брали «языков». Впервые я встретился лицом к лицу с немцами, о которых столько читал, столько думал. Меня страшно интересовало, что же это за люди, почему они, будучи по существу порабощенными, так ожесточенно воюют за своих поработителей. Я допрашивал «языков» со всеми подробностями, не только формальные сведения выяснял, а всю их подноготную, всю психологию хотел вскрыть, анализировал немецкие письма.

На допросах пленные дрожали: «Я не виноват», «У меня двое детей», «Я — маленький человек»; совали мне фотокарточки: «Вот моя семья!» Редко кто проявлял гордость. Большинство дрожали, но дрожать нечего было: я не хотел им зла, к немцам мы относились гуманно, я фрица называл «камерад», потому что видел в нем человека, такого же, как я, только обманутого, сбитого с толку Гитлером. И когда я на переднем крае обращался к немцам через громкоговорящую установку, то, по молодости лет, верил, что моя агитация наставит их на истинный путь.

В августе сорок второго года, в жаркие дни боев, мной заинтересовались в Политуправлении фронта — предложили перейти инструктором в 7-й отдел. Но я отказался: мне больше нравилось на передовой, к тому же я хотел в своем полку вступить в партию...

Так я дослужил до ноября месяца. 18 ноября вечером комиссар полка отправил меня с разведчиками на передовую, в район Клетской. Задача была не давать немцам покоя, до рассвета проводить с ними политбеседы по рупору. Всю ночь я работал, а в семь часов утра заиграли наши «катюши». В тот день мне пришлось встретить фрицев, которых я ночью агитировал. Они спрашивали: «Пан, где дорога на Сибирь?» Но сагитировал их не я, а советская артиллерия.

Наше наступление началось. 22 ноября мы ворвались на станцию Чир, замкнув кольцо окружения.

Это был первый освобожденный нами населенный пункт, который я увидел. Всюду валялись трупы немецких и румынских солдат. Но у одного из домов лежали трупы людей в гражданской одежде, изуродованные, со связанными руками и сквозными пулевыми ранами в голове,— подростки, молодые девчонки, женщины. Меня как обожгло.

Я забежал в дом и на полу нашел несколько документов со штампом «ГФП» — «гехейме фельдполицей», то есть «тайная полевая полиция». Найденные документы я сдал нашему особисту и, конечно, не подозревал тогда, что в ближайшем будущем сам окажусь в этой «гехейме фельдполицей».

В Чире мы задержались ненадолго, шли дальше к Дону, к Донбассу, освобождали города, и повсюду передо мной расстилался кровавый гестаповский след: на станции Суровикино, в станице Морозовской, в Тормосине трупами были забиты рвы, шахты, траншеи, колодцы, и это были не солдатские трупы,— «население» могил составляли люди всех возрастов, национальностей и профессий, словно произошла какая-то жуткая эвакуация, массовое переселение людей из жизни в смерть. Кто их убил? С какой целью? Складывалось впечатление, что все эти трупы и трупики с зияющими провалами ртов и проломанными черепами — не просто жертвы войны, вражеского нашествия, бесчинств и разгула. Существовала «трезвая», тщательно продуманная система убийства, со своими особыми органами, учреждениями, должностными лицами, и теперь, допрашивая пленных, я больше всего интересовался этой стороной дела, поскольку именно эта, наиболее засекреченная, «сторона» являлась, если так можно выразиться, самой основой фашизма, главной его опасностью.

Не каждый мог ответить на мои вопросы. Пленные твердили, что ничего не знают, изредка называли СД, СС, абвер, но открещивались от них всеми силами. Зато я многое почерпнул, беседуя с нашими людьми в освобожденных районах. Я собирал сведения о каждом факте зверств, пытался установить имена конкретных виновников, надеясь, что вдруг кто-нибудь из них еще встретится мне на дорогах войны...

До сих пор не знаю, что послужило причиной моего вызова в штаб армии. Командир полка майор Серых протянул мне телефонограмму. Может быть, мой опыт работы в полку, а может быть, повышенный и «целенаправленный» мой интерес к немцам обратили на себя внимание.

...Разговор с генералом начался с расспросов: как мы добываем «языков», прощупываем фашистскую оборону, к каким выводам я пришел, допрашивая пленных? Затем он спросил о моей семье, где учился, почему так хорошо знаю немецкий язык.

Генералу было лет сорок семь — сорок восемь. Он меня сразу к себе расположил, и я откровенно с ним поделился своими чувствами.

И тогда мне был задан вопрос: справлюсь ли я, если меня переправят с документами гестаповца через линию фронта и смогу ли я в гестапо «работать» так, чтобы меня не разоблачили?

Подумав, я ответил, что как воин и комсомолец готов выполнить любое задание Родины, но прошу дать мне возможность проверить себя, а именно — поместить под видом немца в один из лагерей военнопленных.

Мою просьбу удовлетворили, и около месяца я проходил «практику».

Перед этим я получил ценный совет — составить легенду как можно ближе к своей собственной жизни, к тому, что было со мной в действительности. То есть, например, если я в школе увлекался коллекционированием марок, то я и у немцев могу рассказывать о своей коллекции. Если у меня была любимая девушка, то я должен и здесь, среди немцев, вспоминать свою девушку со всей искренностью, только имя ей надо придумать немецкое. Мой брат, погибший на Украине от фашистской пули, должен превратиться в «моего брата», погибшего на Украине от советской пули, а мою жгучую ненависть к фашистам я должен именовать ненавистью к большевикам.

Генерал сказал мне:

— Первое время забудь, не вспоминай о том, что ты — наш, убеди себя, что ты — немец, немцем родился и немцем умрешь, но при этом всегда оставайся советским человеком. Словом, ты, как артист, должен войти в свою роль, то есть должен поверить, что ты и есть тот, кого ты играешь, но играешь его именно ты, Миронов Виктор Николаевич, советский офицер, комсомолец, а не кто-нибудь другой...

И я в эту роль вошел. Из допросов я знал номера и расположения немецких воинских частей, фамилии командиров, знал коекакие бытовые подробности, и мне было не так уж трудно сойти за «своего». Мой немецкий язык не вызывал у них подозрений: выручало обилие диалектов, при котором каждый считает, что его собеседник говорит с акцентом. У меня был «силезский» акцент, я был «силезец». Пленные разговаривали со мной, как с таким же фрицем. Одни хныкали: «Нас ждет Сибирь, семидесятиградусные морозы, вряд ли мы вернемся домой»; другие пытались смотреть на вещи пошире, у них уже начали появляться догадки насчет того, что Гитлер их обманул и вовлек в авантюру. Третьи, в основном кадровые офицеры, вели себя нагло, обижались, что их допрашивают: «Большевики не имеют права копаться в нашем грязном белье! Мы — офицеры! Есть женевские соглашения! Русские обязаны нам обеспечить комфорт!» Были среди них и своеобразные критиканы, которые бранили высшее командование за близорукость: «Доверили фланги румынам и итальянцам, и результат налицо. Эти животные нас предали!»

Иногда в наш лагерь приезжали агитаторы — немецкие антифашисты, которые жили в Советском Союзе. Молодые солдаты смотрели на них с недоумением: кто такие?.. Со «стариками» было

легче: многие еще помнили времена «Рот фронта», годы классовых битв и, слушая выступления ораторов, словно встречались со своим прошлым. Но они еще не знали, что встречаются сейчас со своим будущим...

Вообще нужно было обладать большой верой в победу, чтобы вести тогда такую работу среди немцев. Ведь подумайте — огромные наши территории оккупированы, немцы на Украине, немцы в Белоруссии, немцы под Ленинградом, немцы на Северном Кавказе. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу,— а мы этих немцев агитируем, перевоспитываем, обращаемся по рупорам и в лагере военнопленных ищем к ним «индивидуальный подход». И ведь это делалось не только с целью, чтобы склонить их к перебежке на нашу сторону или завербовать верных нам людей. Уже тогда смотрели на много лет вперед, видели в массе пленных фрицев граждан будущей «новой Германии», с которой нам предстоит не воевать, а жить в мире. Шла закладка фундамента, хотя, конечно, перевоспитанию поддавались далеко не все.

Я стал искать подходящую кандидатуру, то есть человека, роль которого я буду «играть». Мне уже было ясно, что на ту сторону надо пробираться только под видом офицера, а не полицая, старосты или вспомогательного служащего, так как шоферы, полицаи и старосты, собственно, мало что знают и рисковать ради незначительных сведений бессмысленно.

Мне приглянулся зондерфюрер Георг Бауэр, который служил в том самом полевом гестапо на станции Чир, где были обнаружены трупы замученных советских граждан. Как военный преступник, Бауэр подлежал судебной ответственности, и его из лагеря перевели в тюрьму. Я попросил поместить меня с ним в одну камеру и две недели общался с ним круглые сутки.

Это был убежденный фашист и, несмотря на свою молодость, человек абсолютно испорченный, конченый. Он без конца хвастался передо мной, сколько он уничтожил русских, как он над ними издевался, и особенно отвратительны были его рассказы о женщинах, которых он пытал. Слушая его гнусные исповеди, я вырабатывал в себе выдержку, умение сдерживать гнев, направлять свою ненависть по нужному руслу. Естественным было желание смазать этому негодяю по морде, но такая выходка ничего бы не дала; сложнее было соблюдать спокойствие и делать вид, что ничему не удивляешься, что все в порядке вещей.

Бауэр был моим сверстником, однолетком, и я, конечно, испытывал к нему особое любопытство. Мне предоставилась редкая возможность сравнить две системы духовного воспитания людей, два, что ли, мира.

Поражали удивительная жестокость и эгоизм, в которых был этот молодой немец воспитан. Других народов, кроме немецкого, для него не существовало. Он мог не задумываясь застрелить русского мальчика, проломить череп украинской женщине, живьем сжечь еврея, потому что для него они были не люди, а какие-то низшие существа. Он в разговорах никогда не называл их по име-

нам, по профессиям, по каким-либо внешним признакам, а только по национальности: «тот русский», «та еврейка», «тот поляк». Но и своих же немцев он любил какой-то дурацкой, извращенной любовью, похожей скорее на ненависть. По его словам получалось, что немцев надо как следует помучить, «потренировать», чтобы они до конца осознали, как они осчастливлены фюрером и в какое великое время живут.

Из рассказов Бауэра о Нюрнбергском слете, в котором он участвовал в качестве знаменосца, о его преклонении перед Гитлером можно было понять, что он ослепленный фанатик и для себя никаких личных выгод не ищет. Но оказалось, что этот нацистский идеалист в девятнадцать лет весь пропитан корыстью, все его мечты были только о том, как разбогатеть, нажиться, и он мне с упоением рассказывал, как «обарахлялся» в Польше, а если прослужит еще двенадцать лет, то станет помещиком в польской провинции.

Бауэр ко мне очень привязался. Никаких подозрений я в нем не вызывал, и не оттого, что он был слишком доверчив, а я обладал каким-то сверхталантом перевоплощения. Просто ему и в голову не могло прийти, что русский человек способен проникнуть в психологию немца, да и, согласно расовой теории, немца вообще нельзя спутать ни с кем: от него исходит особый арийский дух, особое сияние.

Эта фашистская ограниченность впоследствии не раз меня выручала. При всей своей подозрительности и системе сыска гестаповцы часто проявляли недооценку наших возможностей проникать в их замыслы и путать им карты...

Для Бауэра я был командир разведывательного немецкого взвода, попавший в плен под Калачом. Он мне серьезно советовал в случае возвращения к «нашим» перейти на работу в гестапо, так как там можно сделать наиболее блестящую карьеру. От него я узнал детали службы, систему субординации, процедуру перевода из одной части в другую и прочее...

Командование согласилось, что роль Бауэра будет для меня, пожалуй, самой подходящей. Во-первых, я мог воспользоваться его отпускным удостоверением и объяснить, что весь январь провел в Германии, в отпуске: проставить штампы соответствующих пропускных пунктов было нетрудно. Во-вторых, выгодным представлялось, что он сирота, писем ни от кого не получает, и, следовательно, отсутствие у меня личной переписки недоумения не вызовет. В-третьих, полевое гестапо, где Бауэр проходил службу, целиком ликвидировано, и таким образом отпадает неприятная возможность встретиться с кем-нибудь из бывших «сослуживцев». И, наконец, особенно важно было, что Бауэр по своей военной специальности числился канцеляристом, начальником шрайбштубе,— это открывало мне доступ к документам и в то же время избавляло от необходимости участвовать в карательных операциях...

И вот, распрощавшись с Бауэром, я вновь предстал перед генералом. Одобрив мой план, он спросил, какое у меня настроение,

достаточно ли серьезно я сознаю, какой опасности себя подвергаю, и понимаю ли, среди кого мне придется жить и работать.

Но теперь я был более уверен в себе, чем в первую нашу встречу. Одного только я боялся — не выдержать сцен допросов и истязаний наших людей. Но и к этому надо было приготовиться...

Началась подготовка.

Стали меня обучать немецкой штабной службе, тонкостям делопроизводства, и, хотя обучение шло по ускоренной и сокращенной программе, я этот «курс» усвоил неплохо, старался вовсю: малейшая оплошность могла стоить мне жизни...

В последний вечер я написал письма домой — родителям — и сестре. Но слова с трудом шли в голову: я уже целиком погрузился в свою «легенду»...

Мой переход через линию фронта совпал с днем памяти Ленина — с двадцать первым января. Задание, с которым я направлялся, было на первых порах следующим: выявить лицо фашистских карателей, их агентуру, провокаторов, установить, кого они готовят к заброске в советский тыл, фамилии официальных и неофициальных сотрудников, какими они разведывательными и контрразведывательными органами на этом участке фронта располагают.

Мне предстояло, перейдя линию фронта, пробраться в Шахты и под видом возвращающегося из отпуска Георга Бауэра прибыть в отдел «1-с» 6-й армии. В Шахтах со мной вступят в контакт наши люди, через которых я буду поддерживать связь с Большой землей...

21 января вечером, в сопровождении двух офицеров и двух солдат, я выехал на крытом газике к линии фронта.

Неподалеку от передовой машина остановилась. Солдаты-разведчики шли впереди, мы, втроем,— сзади. Подошли к окопам. Разведчики кратко объяснили, как расположены траншеи и доты немцев, полковник дал последние указания. Мы обнялись.

Я вышел из окопа и ползком направился в сторону фашистской обороны. Немцы обстреливали наш передний край из пулеметов и периодически освещали всю полосу ракетами, но мне помогал укрываться густой снег и кустарник. За моей спиной, чуть справа, отвечал фрицам наш пулемет.

Хотя у меня был уже немалый опыт и я хорошо знал этот участок передовой, я потерял много времени, пока прополз между окопами и углубился на три-четыре километра. В одной из траншей увидел фашистского офицера — он дремал над свечкой, и я с трудом удержался: хотел прихватить его по привычке как «языка».

Несколько километров я двигался то ползком, то короткими перебежками, а до станицы Успенской шел быстрым шагом по целине, прячась лишь тогда, когда голоса немцев заставляли искать укрытия. Во второй половине ночи обошел станицу,— вся переправа через реку охранялась, и я натыкался на часовых. Се-

верней Успенской начал переходить по льду реки, но посередине провалился, и течением стало тащить меня под лед. От треска льда и шума фрицы подняли ужасную стрельбу, но били невпопад. Пришлось тихонько выползать, намокший лед тонул под тяжестью моего тела. Пока я «штурмовал» лед и добирался до берега, прошел час, может, больше. На востоке занималась заря. Я выполз на берег. Ноги почти не двигались, я еле добрался до первой скирды в поле. Хотел раздеться, выжать одежду, но одежда замерзла, и зуб на зуб не попадал. День просидел в стогу соломы, только к вечеру почувствовал, что могу идти дальше, но кругом слышалась немецкая речь и шум моторов.

В следующую ночь я пробежал по целине километров тридцать, под утро оказался в каком-то сарае на станции Амвросиевка, привел себя в порядок и наконец двинулся в Шахты, где встретил наших людей и получил немецкую форму. Оставалось проделать последнюю процедуру: съездить в Днепропетровск и в Ясиноватую, чтобы отметить на пропускных пунктах (по-немецки они назывались Urlaubsüberwachungsstellen) мое отпускное удостоверение, так как именно через эти станции должен был возвращаться из Германии на фронт Георг Бауэр. «Штампы» комендатур Оппельна, Кракова, Львова и Харькова мне проставили у нас в штабе армии, но здесь, поблизости, «липовать» было рискованно: в любую минуту могли запросить Днепропетровск или Ясиноватую — являлся ли к ним такой зондерфюрер?

Эта процедура прошла без всяких осложнений. Меня зарегистрировали, хлопнули на удостоверение штампы, и я стал законченным Георгом Бауэром. В портфеле у меня лежало несколько бутылок немецкого вина, яичный пирог и прочая домашняя снедь — «подарки от тетушки», «привет из фатерланда».

Теперь можно было не спешить, использовать обратную дорогу в Шахты для акклиматизации: потолкаться на продовольственных пунктах, в комендатурах — ведь Георг Бауэр искал свою часть и, вполне естественно, наводил справки, где только мог.

И вот передо мной — оккупированная территория, наша земля, оказавшаяся под немцем. На вокзале в Ясиноватой в первую же минуту увидел такую, например, сценку. Стоит пожилой человек интеллигентного вида, может быть врач или учитель. Подходит немецкий ефрейтор: «Эй, пан, комм!» — взваливает старику на спину рюкзак — неси! — а сам идет сзади. Здесь же увидел большую колонну девчат и парней, сопровождаемую конвоирами. Их гнали к полуобгоревшему зданию, где висело красное с белыми буквами полотнище, похожее на лозунг: «Общежитие для отъезжающих в Германию»...

Три дня я входил в новый для меня быт. Первое, что бросалось в глаза,— подавленность населения и жестокий террор. В городах, в населенных пунктах — одна и та же картина: ведут, гонят то колонну отправляемых в Германию, то группу арестованных, то задержанных в облаве. Хотя всюду развешаны объявления:

«Betteln verboten» (милостыню просить запрещено) — на улицах полно нищих, особенно детей. Народу больше всего на кладбищах и на черных рынках: это в оккупированных городах самые бойкие места. Смертность огромная; без конца — похороны, отпевания, панихиды. Те, кто жив, пробуют продержаться, тащат на черный рынок свой скарб, промышляют кто чем может — искусственными леденцами, кустарными самоделками. Здесь же какая-нибудь баба, жена полицая или карателя, продает сапоги, которые ее муженек снял с убитого и припрятал от немцев. Да и сами немцы и румыны торгуют: посылают на базар своих прислужников с армейским пайковым хлебом, с пайковым мармеладом, с одеялами, украденными из казармы,— выручку забирают себе. Среди толпы бродят мрачные фигуры в поношенных мундирах немецких шуцманов двадцатых годов, вооруженные русскими трехлинейными винтовками,— полицаи.

Из привычной советской жизни я попал в какой-то фантастический мир. Почему-то немцы разговаривали с местными жителями на ломаном польском языке, который превратился в условное наречие, в «служебный» язык оккупации. Прочел газету, выпускаемую оккупантами для русского населения. Странная здесь была мешанина. Кое-что напоминало дореволюционный быт, попытку возродить ушедшее навсегда прошлое: «господин», «госпожа», «бургомистр», «рождество», «пасха». Запомнилось объявление: «Гурьянов Н. П. производит и продает крестики нательные разных сортов, от 50 копеек и дороже, имеет венчики и молитвы». В то же время сохранялась и советская терминология: «жилотдел», «домоуправление», «заготзерно», а передовица была озаглавлена так: «Выше темпы пахоты!» — видимо, автор сотрудничал прежде в советской печати, переметнулся к немцам, и у него не хватило фантазии для того, чтобы изменить привычную «лексику». Но главное содержание составляли всяческие славословия в честь Гитлера, фашистской армии, немецкого образа жизни и немцев как «руководящей нации».

В бургомистратах, в полицейских участках, на загаженных вокзалах висел стандартный портрет с надписью: «Гитлер-освободитель». Это звучало горькой иронией...

Я познакомился с немцами, преимущественно с офицерами, которые, «подобно мне», возвращались из отпуска или из госпиталей и теперь искали свои разгромленные части. Вместе мы ехали в поездах, на попутных машинах, ночевали в офицерских гостиницах. Ко мне относились с симпатией, говорили обо всем откровенно, даже кое-какие секреты выбалтывали,— но это, скорей всего, действовал тетушкин шнапс.

Немцы, с которыми я разговаривал, были, конечно, не трясущиеся фрицы, известные мне по допросам. Многие еще сохраняли «боевой дух», арийскую спесь и убежденность в победе «великой Германии». Любопытно было, что они и в частных беседах употребляют трескучие фразы, заимствованные из речей Геббельса и официальной пропаганды.

Все это я фиксировал, старался запомнить и перенять каждый их жест, характерные выражения, любую мелкую подробность, которой я мог бы расцветить свою «легенду».

Я проверял себя. Рассказывал своим попутчикам всевозможные небылицы о том, как в гестапо допрашивал русских, о сибиряках, о пленных комиссарах,— меня слушали, по-рыбьи разинув рты... С бдительностью у них обстояло неважно, слабее, чем у нас.

При этом надо сказать, что запуганы они были ужасно. Им в каждом прохожем мерещился партизан, они боялись пить воду из колодцев, в частных домах на ночлег останавливались только через комендатуру...

В штабе 6-й армии, у генерала Холидта, меня приняли хотя и вежливо, но очень придирчиво. Спрашивали, где мое личное дело, трижды заставляли писать автобиографию — Lebenslauf,— тут я с искренней благодарностью вспомнил свою школьную учительницу, да и она бы поставила мне за это сочинение пятерку. Наконец, после тысяч всяких формальностей, меня направили за назначением к начальнику контрразведки, комиссару Майснеру.

Не скрою, что я с волнением подходил к двухэтажному зданию, где помещалось гестапо.

Предъявил дежурному свой документ, доложил. Он, видимо, был уже предупрежден по телефону и радушно сказал мне:

— Grüß Gott! Добро пожаловать!.. Прошу вас подняться на второй этаж, в кабинет номер пять,— там вас ждут...

До первого решительного испытания оставались считанные минуты. Поднимаясь по лестнице, я вновь и вновь вспоминал все добрые советы, инструкции: сейчас я вскину руку в фашистском приветствии, доложу и, когда меня спросят, начну рассказывать о том, как провел на родине отпуск, что ищу свою часть...

Дверь в кабинет была распахнута настежь, я остановился на пороге и увидел...

Вот что я увидел: на ящике со льдом и опилками лежал на животе человек. Кожа на спине у него была содрана, он стонал. Из боковой двери в комнату вошел гестаповец и, не обращая на меня никакого внимания, полоснул этого человека по спине резиновым шлангом. Человек громко закричал...

Не знаю, как повел бы себя на моем месте Георг Бауэр, по мне в эту минуту стало страшновато. Забыв обо всех инструкциях, я чуть было не пустился бежать и мог провалить все дело. И тогда — понимаете — я себе п р и к а з а л быть Бауэром, я Миронова просто от себя прогнал, оттолкнул, и мне сразу стало легче, словно я избавился от кого-то, кто мне мешал. С тех пор я с самим собой — то есть с Мироновым — «встречался» только по утрам, перед тем как прикинуть задание на день, и поздно вечером, когда, ложась спать, мысленно подводил итоги дня.

Итак, я был Бауэром, Георгом Бауэром и больше никем, и, войдя в комнату, прищелкнул каблуками и даже несколько разочарованно произнес свое «хайль!», потому что гестаповец, который пытал человека, был в том же звании, что и я, следовательно, про-

являть особое рвение было как бы ни к чему, а к такого рода сценам, как эта пытка, Бауэр, слава богу, привык...

В ту же минуту я услышал голоса:

— А! К нам прибыл новый сотрудник! Очень приятно!..

Я обернулся. За моей спиной стояли комиссары Майснер и Брандт со свитой.

Я представился им, и в том же кабинете, рассевшись на диванах и в креслах, мы стали беседовать. Гестаповец между тем продолжал свое дело. Арестованный, который было затих, вновь закричал, и Майснер, кивнув в его сторону, объяснил:

— Большевистский лазутчик. Задержан в форме немецкого офицера...

Но какое впечатление могли произвести эти слова на Георга Бауэра?

Я махнул рукой:

— А, русские! Насмотрелся на них за два года. Только что под Шарковом (Харьков) видел: их там понабили тысячами...

И тут же ввернул изреченьице из «Майн кампф»...

Поспрашивали меня немного — с кем служил, где воевал, что нового увидел в Германии. Потом принесли советский пистолет «ТТ».

— Может, возьмете как личное оружие? Неплохая штука.

— Нет,— говорю,— не знаю, как с ним обращаться. У меня «вальтер», он лучше действует.

Наконец Майснер предложил отдохнуть с дороги, помыться. Меня отвели в комнату на пятом этаже, бросили на железную койку полушубок.

— Спокойной ночи!..

Но спать долго не давали: то один гестаповец входил, то другой, «беседовали», пытались подловить. Часов в двенадцать ночи, когда я уже уснул, прибежал помощник дежурного, стал меня тормошить:

— Надо зарегистрировать — как твоя фамилия? Откуда ты прибыл? — Думали, может, я спросонок проговорюсь...

Утром — аппéль, построение. Придирчиво смотрят, как я выполняю команды: не по советским ли уставам?

Пригласили в канцелярию: еще раз надо писать Lebenslauf. И опять тот же вопрос: где личное дело?.. Да откуда ему взяться, если я уехал в отпуск, а мою часть ликвидировали?!

В конце концов решили запросить дубликат из Берлина, а меня послать, под присмотром комиссара Брандта, в Таганрог.

В Таганроге в первые дни поручения тоже носили проверочный характер. Дают подшивать старые, отработанные дела, а сами следят: не воспользуюсь ли документами, не выкраду ли «оперативные планы»?

«Забывают» на столе липовый ордер на арест какого-нибудь человека, ждут: не побегу ли предупреждать?

Приказали доставить из городской тюрьмы арестованного. Пришел, расписался в книге, забрал какого-то мужчину. По зако-

нам беллетристики я должен был бы его тут же отпустить: беги, мол, дорогой товарищ, смерть немецким оккупантам! Но так только в глупых книгах действуют разведчики. В жизни такие эффекты могут привести только к гибели, к провалу всего дела. И я, конечно, этого арестованного не отпустил, а по всем правилам доставил его в здание гестапо, хотя сами понимаете, какое у меня было при этом настроение: вот веду я по улице человека, своего, советского, русского, может быть, на расстрел веду, и ничего не могу для него сделать. Даже спросить нельзя: кто он, за что попал?..

Кстати, там я узнал, что этот «арестованный» был провокатор, его специально выделили, чтобы проверить мою добросовестность.

Мне об этом, смеясь, рассказывал сам Брандт, когда уже окончательно в меня поверил:

— А знаешь, Бауэр, мы поначалу думали, что ты русский шпион!..

Я понял, что нужна величайшая осторожность. Моя цель была побольше дать Родине и поменьше потерять. Конечно, красиво было, когда мы в 41-м году во весь рост шли на немецкие пулеметы, но мне лично нравились больше «котлы». Главное — победа, хорошо подготовленная, с наименьшим количеством потерь,— хотя, к сожалению, и без потерь не обойтись.

Помогать нашим людям надо было с умом, сообразуясь с реальными возможностями и обстановкой. Допустим, я узнаю, что на такой-то улице, в доме, скажем, 15, скрывается советский патриот, за которым установлено наблюдение и который подлежит в скором времени аресту. Так вот, вечером улизнешь из казино или из театра, прихватишь по дороге первых встречных солдат, одного или двух, и направляешься на эту улицу, но не в дом 15, а по соседству и начинаешь там «шуровать». Производишь обыск, кричишь, поднимаешь шум: «У вас тут прячется партизан! Нам все известно!» — и, конечно, никого не находишь. А наутро уже вся улица знает о твоем посещении, и тот человек, из дома 15, успевает перебраться в другое место.

Или присутствуешь на допросах, видишь, что допрашиваемый не выдерживает пыток, начинает выдавать своих,— бывало и это. Тут уже другого рода нужна помощь, нужно спасти человека от предательства и позаботиться, чтобы он не провалил других. Помню, был схвачен парашютист Заболотный. Над ним «колдовали» несколько дней, наконец он дрогнул. Следователь Циприс, радостный, вышел из кабинета, подмигнул мне: «Сдвинулось дело, можешь зайти, убедиться...»

Я заглянул в комнату — Заболотный сидел избитый, истерзанный (только что закончился допрос), перед ним поставили тарелку с едой. Он с жадностью стал есть: переходил на немецкое довольствие. Я похлопал его по плечу, достал сигареты.

— Молодец, рус, правильно сделал, что все решил рассказать.

Поев, Заболотный затянулся дымком, он, видимо, поверил уже, что жизнь себе купил.

— Да,— говорю,— есть у вас, у русских, хорошая песня: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага...» — Махнул рукой.— Признавайся не признавайся, все равно ты живым не уйдешь! До смерти четыре шага! — И рассмеялся ледяным гестаповским смехом...

Заболотный понял, что предательство ему не поможет. Во всяком случае, стимул к дальнейшим откровенностям у него пропал.

И обезвреживание провокаторов происходило часто совсем не так, как это изображают иные писатели: мол, завел его на пустырь или в лес и прикончил. Нет, приходилось вести сложную игру, подбирать для него такое задание, чтобы он обязательно провалился или в глазах немцев выглядел как дезинформатор, вводящий их в заблуждение,— тогда они сами его уберут.

Словом, это была томительная будничная работа, далекая от приключенческой романтики. Здесь имеешь дело с такими негодяями, подлецами и мелкими душами, что иногда исход большой операции могла решить бутыль подсолнечного масла, которую ты в виде одолжения раздобудешь для шефа, или какая-нибудь завалящая бабенка, с которой ты сведешь «друга-эсэсовца».

Признаться, я раньше никогда не думал, что люди могут опускаться так низко, и даже гестаповцев представлял себе совсем по-другому. Я знал об их жестокости и коварстве, но представить себе не мог масштабов их злодеяний и того, что такие ужасные зверства совершают люди внешне обходительные, которые, казалось бы, и муху не обидят. Они умели разговаривать вежливо, добродушно, с улыбочкой вытягивать из человека нужные сведения, а потом с такой же добродушной улыбкой стрелять ему в затылок. Они могли ночь провести с женщиной, а наутро, поцеловав ей руку и выпроводив на улицу, выстрелить этой женщине в спину.

Убийства и расстрелы были для них не только службой, но и отдыхом, любимой забавой. Все их разговоры, все их шутки так или иначе вертелись вокруг темы убийства. Они подходили, приставляли вам палец к затылку и хохотали: «A, Georg! Genickschuß!» [1] По вечерам, в казино или на камерадшафтсабендах, они без конца рассказывали друг другу, как кого расстреляли, куда угодила пуля, как человек перед смертью хрипел и так далее. Был ажиотаж — у кого на счету больше расстрелянных. Эти цифры искусственно взвинчивались, каждый стремился увеличить свой личный счет любым способом. Помню, однажды прибыл эшелон с отправляемыми в Германию украинцами. Следователь Ципрpúblico явился на станцию, отобрал из эшелона триста человек — просто ткнул пальцем: «Этот, этот, эта...» — и велел их расстрелять как заболевших тифом.

Перед расстрелом людей раздевали догола, вещи укладывали в бумажные мешки. Часть вещей — все, что получше,— отмывали от крови и забирали себе, остальное отправляли в «рейх», в интендантства.

---

[1] А, Георг! Выстрел в затылок!

Я много наслышан был о немецком педантизме, честности, о том, что немец никогда не ворует. Но это сильно преувеличено. Во время обысков они обязательно норовили что-нибудь стянуть, называли это «цап-царап» и смеялись. Надо сказать, что паек они получали чрезвычайно скромный,— прямо предписывалось «улучшать питание», используя местные условия. Рацион был такой: утром — полкотелка ячменного кофе (Bohnenkafee,— кофе в зернах выдавался только по праздникам); в обед — на первое гороховый суп с консервами, на второе — пудинг, облитый фруктовым соусом, или суррогатный кисель; вечером — 20 граммов маргарина, 80 граммов плавленого сыра, или 50 граммов португальских сардин, или же 100 граммов колбасы. На день выдавалось полбуханки хлеба и 6 штук сигарет. Раз в месяц полагался дополнительный паек, «маркитантские товары» — полбутылки вермута, бутылка шнапса, пять пачек сигарет и две плитки соевого шоколада. Жалованье выплачивалось — офицерам 54 марки в месяц, солдатам 37 марок. И тем не менее питались они неплохо, всего в основном хватало, потому что главным «источником существования» был грабеж. Но грабили организованно, конфискованные продукты, гусей, кур, молоко сдавали на склад и распределяли между собой, согласно калькуляции.

Это были самые настоящие бандиты, но официально узаконенные, с орденами, с медалями и военными званиями. К тому же они считали себя представителями самой культурной нации в мире, но культура у них была такая же фальшивая, как их улыбки. Даже внешняя, наружная культура была лживой. Они, например, очень редко мылись в бане — один-два раза в месяц, не чаще. По утрам умывались в том же тазике, в котором брились: мыльной, грязной водой слегка споласкивали физиономию; зато своим ежедневным бритьем хвастались как величайшим признаком цивилизованности: «Мы не то что русские свиньи! Мы каждый день бреемся!» Ходили в выутюженных мундирах, опрысканные одеколоном, сапоги начищены до блеска, замшевая перчатка кокетливо расстегнута, а под мундиром — грязное нижнее белье.

Культурный и политический кругозор у них был ничтожный, до предела суженный нацистским практицизмом. Все их философские познания ограничивались несколькими цитатами из Гитлера, Мольтке, графа Цеппелина, чьи афоризмы висели в рамочках, под стеклом, на стенах казино и в служебных кабинетах. О Канте, Гегеле, Шопенгауэре понятие имели самое смутное; из истории слышали кое-что о древних греках, римлянах, древних германцах и Фридрихе. Я их своими весьма скромными сведениями из немецкой истории, философии и литературы просто поражал. Они говорили: «О, Георг! Ты настоящий профессор!»

Книги они читали в основном низкопробные — так называемые «романы за 20 пфеннигов», о любовных похождениях какого-нибудь офицера или о «подвалах ГПУ». В офицерских общежитиях стены были обклеены портретами киноактрис, вырезанными из журналов, и фотографиями полуобнаженных красоток.

Омерзительна была их мещанская сентиментальность, их усвоенные с детства традиции! Если отмечался день рождения начальника гестапо или его заместителя, то на рассвете у двери его спальни собирались подчиненные, будили новорожденного какой-нибудь немецкой песенкой. Толпятся у двери и своими бычьими голосами заводят: «Проснись, дитя, уж утро наступило!» А он лежит себе в постели, довольный, слушает...

Я не встречал людей более жадных. Каждая сигарета была у них на учете, над каждым пфеннигом они тряслись. Эти «фронтовые офицеры», «оперативные работники» были, по существу, мелкими лавочниками. Заплесневелую краюху хлеба, истлевшие, сношенные домашние туфли они не выбросят, а спрячут в рюкзак, потом, при случае, торжественно преподнесут сожительнице, или прачке, или уборщице: вот, мол, возьми, германский офицер тебе дарит, ты довольна, а?.. Хотя они много разглагольствовали о будущей организации мира и мировом господстве, цель у них была одна: после войны устроить для себя благополучную жизнь, иметь хороший дом, оборотные средства, фабричку, клочок земли.

И вот что удивительно: многие этой цели достигли. Собственно говоря, мечты их сбылись. Большинство из моих «сослуживцев», кроме тех, кто погиб на фронте или попал под суд в первые послевоенные годы, устроились в полном соответствии со своими планами. В Дармштадте, в Мюнхене, в Ганновере — по всей Западной Германии раскинуты их магазинчики, фабрички, ресторанчики: свою войну они выиграли! Причем нынешнее свое благополучие они вовсе не считают чем-то случайным, результатом какого-то недосмотра со стороны победителей или необыкновенной милостью господа бога. Ведь на то они и немцы, чтобы жить хорошо! Это другие пусть живут плохо. Мы — немцы, мы дали Гуттенберга, Бертольда Шварца и Иоганна Вольфганга Гёте! И хотя ни Гуттенберг, ни Бертольд Шварц, ни Гёте не имели никакого отношения ни к комиссару Брандту, ни к следователю Ципрису, ни к оберштурмфюреру Дитману, ни к унтерштурмфюреру Рунцхеймеру, эти последние считали себя вправе взымать оброк со всего человечества за «подаренную немцами» цивилизацию.

Сколько я за свою службу таких разговоров наслушался! Я уже не говорю о евреях или поляках, которые для этих «сверхчеловеков» были просто-напросто вредными бактериями, или о русских, которые рассматривались как нецивилизованные дикари (из персонажей русской истории почиталась только Екатерина II: «Sie war doch eine Deutsche!» — она была немкой!). Они о своих союзниках отзывались с нескрываемым презрением. «О, румыны! — всерьез объяснял мне Брандт.— Они ведь происходят от тех римлян, которых высылали в дальние провинции за воровство, так что воровство их передалось по наследству! Итальянцы — бездельники, нищие. Дуче у них единственный порядочный человек, да и то с большими недостатками: миндальничает с евреями...»

Вот в каком омуте я оказался. Но из этого омута по длинной цепочке связных передавались на Большую землю важнейшие

сведения, самые их сверхсекреты утекали отсюда по невидимому каналу. И сознание того, что я, рядовой советский разведчик, обычный офицер Красной Армии, способен нанести удар в самое сердце коварному и опытному врагу, наполняло меня гордостью и желанием работать. Вот они, эти «сверхчеловеки», избранники судьбы, завоеватели, хозяева мира, которые убеждены в том, что все им доступно, все подвластно, что нет такой силы, которая может им противостоять,— и они не знают, догадаться не могут, кто я такой.

Солидные генералы, полковники, генштабисты, воспитанники прославленных германских академий сидят и планируют операции, и все у них правильно, тютелька в тютельку, и нет никаких ошибок, быть не может ошибок, потому что у них не мозги, а арифмометры, вычислительные машины, и лучшая в мире немецкая инженерия построила для них «военную мощь», и немецкие мастера с золотыми руками отшлифовали — без брака, без сучка и задоринки — детали и винтики, и рачительные интенданты рассчитали, какой рацион потребен солдатам на фронте, а какой — рабочим в тылу, и сколько нужно отпустить калорий концлагерному заключенному, чтобы он не объел «великую Германию» и все же мог при этом работать,— и не может не быть успеха потому, что за всем этим стоят порядок, продуманность — от стратегического замысла до прочности солдатских подошв, которую испытывают узники в лагерях, пробегая двадцать восемь кругов по гравию в ботинках на экспериментальной подошве.

И все это высчитано и обеспечено всей их системой...

И вот в это время я, Миронов Виктор, парень с московского двора, с их фашистской точки зрения не человек вовсе, а так, полуживотное, способное только жрать и работать, силой своего ума и воли составляю маленькую сводку — всего несколько слов — и прихожу к Марусе, или, как ее называют немцы, к «Марыське», которая работает у нас судомойкой при кухне, и она прячет мою записку в платочек, и — пошло дальше, дальше... И летит все это великое германское построение вверх тормашками!..

В основном я бил по документам. Это был для меня главный и непосредственный источник информации. Гестаповцы — бумажные души и все свои действия непременно отражают во множестве бумаг, с соблюдением всех бюрократических формальностей. Благодаря этому наше командование получало представление о методах работы германских органов, об их структуре и характере операций.

Вторым источником были задушевные беседы с сотрудниками гестапо и армейской контрразведки. Здесь надо было соблюдать такт и осторожность, не задавать вопросов, которые могли бы показаться подозрительными, а незаметно навязывать собеседнику тему разговора. Иногда в ходе таких бесед гестаповец мог выболтать важную тайну.

Представьте себе вечер, конец рабочего дня. Следователи разошлись, арестованные отведены в свои камеры, один только де-

журный скучает у телефона: лето, духота, чужбина. Я спускаюсь вниз, в дежурку, мне тоже идти сегодня некуда. Сидим, разговариваем. Хорошо, когда есть на чужбине друг, с которым можно отвести душу. Я приношу из своей комнаты баночку сардин, полбутылки вина, разливаем по рюмкам: товарищество — дороже всего!.. Ах, вино пахнет родиной, Рейном,— что-то там сейчас поделывают наши девушки? Говорим о доме, вспоминаем Германию, детство, милые сердцу семейные праздники. Когда же наконец мы вернемся? Разговор заходит о превратностях нашей профессии,— конечно, мы на почетном посту, на главном участке, но все же мой приятель мечтает, чтобы его перевели в рейх. Есть счастливчики, которые устроились в концлагерях,— например, в Дахау или в Заксенхаузене, там хоть сто лет прослужить можно!.. Я придерживаюсь другого мнения. Мне нравится больше разведка: пробраться к большевикам в тыл — вот было бы здорово!.. Дежурный качает головой: риск слишком велик. На днях он был в «1-с», там готовят к заброске его земляка, полковника Модерзона. Бедняга очень беспокоится за свою жену: что будет с ней, если он не вернется?

Мы пьем за полковника Модерзона, за его жену и за его удачу, потом снова говорим о Германии...

К себе в комнату я возвращаюсь поздно ночью. Теперь мое внимание будет сконцентрировано на полковнике Модерзоне. А через несколько дней на «той стороне» ему подготовят «теплую встречу». И никто (в том числе и мой приятель дежурный) никогда не узнает, почему так быстро провалился полковник Модерзон...

Несколько раз удавалось срывать операции по борьбе с подпольщиками и партизанами. Об одном таком «срыве», когда готовился разгром нашего десанта, я уже рассказывал. Были и другие подобные случаи, правда, более мелкие.

Так шла моя служба до конца июля. Со своей работой я справлялся, только мукой было для меня присутствие на допросах, к которым меня стали все чаще привлекать в качестве переводчика, так как я считался сотрудником, знающим русский язык.

И вот однажды через «1-с» поступила из Берлина телеграмма о том, что «дубликат личного дела зондерфюрера Бауэра Георга, согласно вашему запросу, высылается». Это не сулило мне ничего хорошего: ведь в личном деле находилась фотокарточка настоящего Георга Бауэра.

Я поставил в известность Большую землю и в ответ получил указание: немедленно сменить «место службы», а в случае невозможности переходить линию фронта в районе Харькова или плавней Кубани.

Числа 25-го июля, воспользовавшись командировкой в Киев, я вместе с группой наших людей, переодетых в немецкую форму, выехал в направлении Синельникова. Снова начались скитания по немецким продпунктам, привокзальным комендатурам, завязывание знакомств с немецкими военнослужащими. В то время вокза-

лы и поезда были забиты ранеными, которые хлынули с Курской дуги. Многие следовали в южные районы Крыма, где были расположены батальоны выздоравливающих и санатории.

Я познакомился с зондерфюрером Рудольфом Киршем. После тяжелой дизентерии он ехал на отдых в Гаспру, до этого служил в Орле. Так же как и Георг Бауэр, Кирш был уроженцем Силезии и почти моим ровесником — 1922 года рождения. В Синельникове мы провели с ним несколько суток — никак не могли попасть на нужный нам поезд — и очень близко сошлись. Это были веселые денечки. Забыв о своей дизентерии, Рудольф Кирш «гулял» напропалую, ел и пил, да и я «нажимал» на сырые фрукты, потому что мне до зарезу нужно было заболеть дизентерией или хотя бы расстройством желудка: на свое несчастье, Рудольф Кирш оказался тем человеком, жизнь которого я должен был продолжить в немецком санатории, в Гаспре.

На третий, кажется, день мы всей компанией — Кирш, я и мои попутчики — забрались в пустой вагон товарного поезда, шедшего в Крым. Между станциями Синельниково и Чаплино мы связали Кирша, переодели в мою форму и с документами Бауэра в кармане френча спустили под колеса.

Сейчас, по прошествии двух десятков лет, в мирное наше время, вспоминать об этой операции неприятно. Но тогда передо мной был не человек, а фашист, гестаповец, враг, и единственное, о чем я думал,— это как бы скорее и без лишнего шума его прикончить...

Дело было сделано, и, таким образом, карьера «зондерфюрера Георга Бауэра» завершилась. Зато «Рудольф Кирш» шагнул далеко...

Я не стану подробно рассказывать, как приехал в Гаспру, как, находясь в санатории, добился назначения в контрразведку 17-й армии, а оттуда вместе с зондеркомандой попал в Белоруссию, в Мозырь, где получил назначение в местное СД.

Здесь методы моей работы мало отличались от таганрогских. На мою долю «громких операций» выпадало немного,— я работал главным образом с документами, хотя каждый из таких «отработанных» мной документов превращался впоследствии в немецкий эшелон, пущенный под откос, в сорванную немецкую операцию и в тысячи спасенных жизней советских солдат. Но сам я в этом непосредственно участия не принимал.

В Мозыре я каждый день виделся с Кристманом и откровенно могу сказать, что был тогда у нас замысел этого Кристмана выкрасть: белорусскими партизанами уже вынесен был ему приговор — и операция по его похищению тщательно разрабатывалась. Однако и сам Кристман не дремал, он, видимо, чувствовал, что расплата близка, особенно после акции в Костюковичах, и напирал на свое начальство, упрашивал, чтобы его поскорее отозвали в Германию. Таким образом, ему тогда удалось уйти от возмездия.

Расскажу о тяжелом испытании, выпавшем на мою долю.

Еще до войны, в Москве, у меня была хорошая знакомая Аня. Она жила с нами по соседству, в одном дворе, работала в райкоме комсомола инструктором. Потом, когда я попал на курсы переводчиков, я ее случайно там встретил. Теперь мы были оба солдатами, и это нас еще больше сблизило. Но вскоре Аню куда-то перевели, я тоже уехал, так что связь между нами прервалась...

В декабре 1943 года я находился в СД в Мозыре и узнал, что к нам доставлена советская парашютистка-десантница Клава Кораблева, которая организовала в одном из сел подпольную группу. Провалила, то есть выдала ее, подруга, заброшенная вместе с ней и перевербованная немцами. Еще до того как увидеть арестованную парашютистку, я присутствовал при допросе этой подруги-предательницы и слово в слово переводил ее показания.

Выяснилось, что заброшены они были очень неудачно. Клава с вывихнутой ногой добралась до какого-то дома, где сказала, что ехала к брату и по дороге упала с машины. Клаву приютили, она осталась жить в этом селе и постепенно начала сколачивать вокруг себя патриотическую группу. К тому времени объявилась и ее напарница, имевшая при себе рацию.

В группу вошли местная учительница и 10—12 комсомольцев. С их помощью у обочин шоссе были вырыты окопы для наблюдения за передвижением немецких войск. Немного позже удалось привлечь одного железнодорожного рабочего и начальника станции, которые наблюдали за движением немецких эшелонов. Сводки по рации передавались на Большую землю.

Осмелев и освоившись, подпольщики через Большую землю запросили магнитные мины для производства диверсионных актов. В самый разгар подготовки Клава была задержана контрразведкой. Но через несколько дней Клаву выпустили; освобождению ее способствовал какой-то полицай. По утверждению доносчицы, этот полицай влюбился в Клаву, выпустил ее и к тому же стал сообщать Клаве интересующие ее сведения.

Арестованы они были, когда у радистки отказало питание и подпольщицы пытались достать батареи. Первой схватили радистку, привели в немецкое гестапо, и, спасая свою жизнь, она выдала всю группу. Одному только полицаю удалось скрыться.

Теперь я видел перед собой эту доносчицу. Она была уже полностью обработана немцами. Показания она давала охотно, заглядывая в глаза мне и следователю...

Чего только не делает с некоторыми людьми страх смерти! Ведь совсем недавно эта девушка шла на риск, на подвиг, но в решающую минуту страх оказался сильнее убеждений, и теперь она отдавала душу и тело ради того, чтобы откупиться от смерти, причем отдавала с какой-то лихорадочной поспешностью: боялась, что могут еще и не взять. Я не раз подмечал эту особенность: совершив первый предательский шаг, человек стремится погрузиться в свое предательство как можно быстрее и глубже, спешит

обрубить все канаты, чтобы ничто уже не связывало его с прежней жизнью.

И сидит эта девушка и сыплет, сыплет именами, фактами, раскрывает пароли, позывные, места явок...

Обычно в таких случаях моя задача была хотя бы остудить этот предательский пыл, внезапным окриком перебить настроение, попытаться увести допрос в другую сторону. Но на этот раз я вступил в дело слишком поздно — группа была уже провалена полностью...

Я знал, что арестованные, несмотря на зверские пытки, держатся стойко, слышал и о том, что Клаве Кораблевой немцы придают особое значение, домогаются от нее подробностей о полицае.

Решил я на эту Клаву посмотреть: вызвался доставить ее из тюрьмы на допрос...

Должен сказать, что в те дни мои мысли были заняты совсем другими делами и отвлекаться на историю с провалившейся подпольной группой мне, пожалуй, даже не следовало.

В начале 1944 года в высоких немецких сферах уже стали приходить к выводу о неизбежном поражении Германии: во всяком случае, если речь еще не шла о безоговорочной капитуляции, то исход Восточной кампании был для них очевиден. Но именно тогда, накануне своего поражения, они стали готовиться к третьей мировой войне, к реваншу, создавали новую агентуру, которая,— неважно, под чьей эгидой,— будет вести подрывную деятельность против СССР уже в мирное время. В частности, в Белоруссии, после эвакуации немецких войск, должна была остаться группа агентов.

Главным моим заданием было выявлять эту агентуру. И когда сразу же после освобождения Мозыря нашими органами были арестованы фашистские шпионы и диверсанты, никто из этих преступников, конечно, не подозревал, что еще в те дни, когда Белоруссия находилась в руках немцев, их имена были сообщены на Большую землю не кем иным, как зондерфюрером Рудольфом Киршем...

Я к этому времени сильно упрочил свое положение, моя гестаповская карьера полным ходом шла в гору. Повысилась и ставка в игре. Со дня на день я ждал перевода в абвер, где под руководством доктора Эверса должен был готовиться к заброске в советский тыл в качестве немецкого резидента. Появилась заманчивая возможность «принимать» и обезвреживать фашистскую агентуру уже на советской территории.

Понятно, что в этих условиях я проявлял максимум осторожности и полностью сконцентрировался на поставленной передо мной задаче. Отклоняться на другие дела мне было строжайше запрещено.

И все же меня тянуло поближе познакомиться с этой Кораблевой, и я отправился к ней в камеру.

Когда я вошел, девушка что-то вязала (видимо, немцы оказали ей эту милость). Она повернулась ко мне, и я узнал...

Это была та самая Аня...

Увидев меня, она страшно испугалась, но не сказала ни слова, виду не подала, что мы с ней знакомы. Как передать, чего стоила нам обоим эта немая сцена?

Мы вышли. Аня шла впереди, такая хрупкая, худенькая, в стареньком, поношенном пальтишке. Я, с пистолетом, сзади.

И вот здесь, на улице Мозыря, по дороге в гестапо, я назвал ее по имени:

— Аня!..

И добавил:

— Я свой...

Не оборачиваясь, она тихо сказала:

— Я это знаю... Я думаю о тебе хорошо. И ты обо мне думай хорошо...

Я сказал:

— Аня, единственное, что мы можем сделать,— это бежать вместе. Других шансов нет...

Она ответила:

— Бежать нам некуда... Раз уж ты здесь, то продолжай свое налаженное дело. Выбирать нам не приходится. Ты должен остаться, а о себе я подумаю сама...

В этом не было никакой позы, «благородного порыва»,— тут все разумелось само собой. Мы ведь были не просто так «героями», а выполняли работу и несли за нее ответственность. Говорят, и один в поле — воин. Но одни мы, конечно, никогда не были. И там был у нас коллектив, группа советских работников, связанных между собой: опытные чекисты и молодежь вроде меня — недавние студенты и студентки, комсомольцы из московских, ленинградских вузов, минчане. Было чувство локтя, координация действий, поддержка с Большой земли. Не то что нас забросили, а там плыви, как хочешь, по воле волн. Мы знали, что есть люди, которые нами руководят, направляют и подправляют наши действия, заботятся о нас и наших семьях, но всегда, если нужно, могут с нас строго спросить. Мы словно находились в особой командировке, и все, что сейчас именуется героизмом, было для нас делом. Вот отчего какая-нибудь девушка или парень, оказавшись за гранью советской жизни, без всякого видимого контроля, когда твой единственный спутник — смерть, не сходили с ума от страха и не бросали работу. Мало кто думал о славе, о наградах. Здесь другое играло роль: ответственность друг перед другом и перед государством, которое тебе оказало доверие.

И конечно же была не умозрительная, а непосредственная ненависть к врагу, к фашизму, лицо которого мы, находившиеся в немецком тылу, знали как никто...

Я доставил Аню в гестапо, затем отвел обратно в тюрьму и мучительно стал думать, как ей помочь. Был у меня на примете солдат Роберт Кройцингер, австриец. По моим наблюдениям, ему не очень-то нравилась служба в гестапо: то ли совесть его грызла, то ли он побаивался возможной расплаты. При этом он был

явно неравнодушен к Ане, испытывал к ней своеобразную нежность.

Однажды, когда Кройцзингер вывел Аню на прогулку в тюремный двор, я присоединился к нему и стал над ним подтрунивать, что знаю, мол, об его «страсти». Потом кивнул в сторону Ани:

— С этой вопрос ясен. Через пять дней повезем ее на расстрел. Исполнение приговора поручат тебе.

Кройцзингер побледнел: он хорошо знал, что, заметив его «влюбленность», начальство может дать ему такое задание.

А я уже заговорил о другом: мы в мешке и, как тогда, на Волге, можем попасть в лапы к большевикам.

— Тебе-то что! — сказал я как бы в шутку.— Ты солдат, к тому же не немец, а австриец. Взял да сбежал с этой девкой к партизанам. И все. А я офицер, меня русские тут же повесят.

Потом добавил уже серьезно:

— Все это, разумеется, вздор! Будем сражаться, как подобает немцам. Пусть мы погибнем, но Великая Германия все равно победит!

Иначе говоря, я весьма доходчиво обрисовал Кройцзингеру обстановку и подсказал возможность спастись от возмездия. В то же время я вел себя совершенно естественно, не давая никаких оснований на меня донести.

А на следующее утро я узнал, что из-за «неосторожного обращения с гранатой» Роберту Кройцзингеру взрывом оторвало руку. Он предпочел «выбыть из игры» заблаговременно.

Таким образом, этот вариант спасения Ани отпал.

Запрашивать Большую землю о разрешении на совместный побег было бессмысленно. Там от меня ждали совсем иных действий и готовили почву для моей работы в Польше, в абвере, где я должен был тренироваться перед заброской в Советский Союз.

Оставалось затягивать следствие. К этой тактике я уже однажды прибегал: накопил как-то в тюрьме сорок семь арестованных подпольщиков, под всякими предлогами оттягивая их расстрел, пока партизаны не устроили налет на тюрьму. Но сейчас на это рассчитывать нельзя было, так как перед эвакуацией гестапо старалось как можно быстрее закруглить все здешние дела.

Попробовал я пойти и на такую уловку. В некоторых случаях в «порядке поощрения» гестаповцам разрешалось брать себе в наложницы арестованных женщин. Я направился к шефу, попросил отдать мне Кораблеву. Он сперва пообещал, но потом отказал: Кораблева считалась слишком тяжелой преступницей.

Один вариант рушился за другим...

Несколько раз я навещал Аню в камере. Она очень осунулась, ослабла, с трудом выдерживала нечеловеческие пытки, но никого не выдала, ни одного признания не могли от нее добиться.

Со своей стороны Аня предпринимала отчаянные попытки спастись.

Как-то утром ко мне зашел дежурный офицер Марханд и рассказал, что он, по приказу Кристмана, исполнил над Аней при-

говор. Перед самым расстрелом Кристман отдал ее на растерзание своим эсэсовцам. Марханд излагал эту сцену со всеми отвратительными подробностями и гнусно смеялся.

И я все это слушал и не мог, не имел права его убить.

В тот же день мне показали обезображенный труп Ани...

Это было для меня самым тяжелым несчастьем — ощущение собственного бессилия...

Последний этап моей службы проходил в абвере, в Польше. Меня готовили к заброске в Советский Союз, заставляли «совершенствоваться» в русском языке и знакомиться с «советским образом жизни».

Смешно было слушать фашистские лекции о советской действительности, о «русском характере» и читать информационные бюллетени о положении в СССР, составленные из сплошных небылиц. Видимо, авторы этих бюллетеней меньше всего думали о пользе дела, а только старались угодить начальству. В бюллетенях, например, самым серьезным образом сообщалось о «пронемецких настроениях» советской молодежи, о «ритуальных убийствах», совершаемых в Москве и в Ленинграде евреями, о телесных наказаниях в советских школах.

В лекциях русский человек изображался как прирожденный анархист, инстинктивно отрицающий всякую государственность и в то же время в силу «женственности» своего характера жаждущий иметь над собой «железную» власть «повелителя», «мужчины», то есть немца. В немце, по утверждению лекторов, русский испокон веков привык видеть высшее существо... Русский народ в представлении гитлеровских дурачков выглядел пассивной массой с чрезвычайно низкими запросами, способной безропотно выносить голод, нужду и эксплуатацию.

И это говорилось в то время, когда русский народ уже сокрушал германскую военную машину!

Но такова была сила бюрократической фашистской тупости, сила стандарта и лжи. Фашисты не могли не лгать даже в документах для внутреннего пользования, где объективность, казалось бы, является непременным условием...

...Все эти месяцы в Польше — с мая по август — я подвергался усиленной проверке. Хотели убедиться в том, готов ли я выполнить столь опасное задание в невыгодной для Германии ситуации. Надо было доказать, что даже в случае поражения «рейха» я буду продолжать бороться за фашистские идеи, что не мыслю своей жизни без «великой Германии».

И я доказывал... Мой новый начальник, престарелый гестаповец Кламмт, нарадоваться не мог, глядя на молодого сотрудника Рудольфа Кирша. Он без меня шагу не мог шагнуть, я был его памятью, глазами и правой рукой. Чуть отлучишься — он уже нервничает:

— Где Руди? Позовите Руди!

6 августа 1944 года я вторично принял присягу на верность фюреру, 7 августа через связного передал на Большую землю последнюю сводку.

Дальнейшие события развернулись следующим образом.

8 августа нас всех вызвали на совещание в Познань. Собралась вся гестаповская братия — начальники отделов контрразведки, абвера, полевых гестапо. Мы с Кламмтом прибыли вместе, сидели в офицерской столовой, обедали. Никогда еще я не чувствовал себя так уверенно, легко и, я бы сказал, весело. Меня словно заразила та общая атмосфера нервного подъема, ощущения важности дела, которая всегда предшествует большим совещаниям, куда допускаются только самые проверенные лица... Приятно сознавать, что ты «вхож» туда, куда другие «не вхожи», куда ни за какие деньги невозможно пройти, что ты принадлежишь к числу «допущенных».

И вот в этой самой столовой, среди бодро жующих, оживленно беседующих и приветливо улыбающихся друг другу людей, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд...

За соседним столиком сидел начальник контрразведки 6-й армии — мой бывший шеф, комиссар Майснер, и смотрел на меня.

Хотя я и привык ко всяким неожиданностям и ко всему был готов, колени у меня задрожали.

Майснер встал из-за столика, подошел к нам и строго, как на допросе, спросил:

— А вы как оказались здесь, воскресший из мертвых?

— Господин комиссар, вы принимаете меня за кого-то другого...

— За кого я вас принимаю, вы узнаете позже. Но в Шахтах и в Таганроге я знал вас как Георга Баузра, который окончил свою жизнь под колесами поезда...

— Мое имя Рудольф Кирш, господин комиссар. Господин комиссар Кламмт может это подтвердить...

Но Кламмт молчал. Он весь посерел, видно, был не на шутку испуган: конечно, не из-за меня, а из-за себя, потому что такого «ротозейства» ему бы никогда не простили.

Зато Майснер торжествовал, убивая одновременно двух зайцев: разоблачил советского разведчика, а главное — угробил своего коллегу Кламмта. Взаимная ненависть и всякого рода интриги были в гестаповской среде стилем поведения, несмотря на все их разговоры о «боевом товариществе». Думаю, что Майснер уже предвкушал, как, доставив меня на совещание, громогласно объявит: «Здесь, среди нас, находится господин со многими фамилиями, которому покровительствует комиссар Кламмт. Этот господин уже умер однажды, посмотрим, воскреснет ли он во второй раз?» — или что-нибудь еще в этом духе...

Правда, арестовать он меня пока своей властью не мог, так как я находился в подчинении Кламмта. Но тот, в свою очередь, не спешил, хотя уже все понял и знал, что придется ему за меня

расплачиваться если не головой, то карьерой. Именно поэтому он решил не обнаруживать свой провал перед Майснером, надеясь убрать меня позже, без свидетелей.

Я сделал знак Майснеру и попросил его выйти со мной на улицу.

— Господин комиссар,— сказал я твердо,— все, что сейчас происходит, вызывает у меня крайнее удивление. На каком основании вы раскрываете мое настоящее имя? Или вы не осведомлены об операции «Фукс»?..

Конечно, никакой операции «Фукс» не существовало,— просто я пытался таким образом ошеломить Майснера и выиграть время.

— Игра, которую я вел в Таганроге, командованию известна. Впрочем, если угодно, я готов объясниться с вами после совещания...

Майснер с удивлением посмотрел на меня.

Я откланялся и спокойно вернулся в столовую, но не в общий зал, а в подсобное помещение, откуда черным ходом вышел во двор.

Через час я уже находился на конспиративной квартире, специально созданной нашей разведкой с помощью польских патриотов. И вот что самое любопытное: как я впоследствии узнал, ни Майснер, ни Кламмт не доложили о моем бегстве. Обо мне говорили, будто я похищен подпольщиками.

Гестаповцы были верны себе: оба соперника боялись ответственности и предпочли замять дело... Может быть, они даже радовались тому, что мне удалось скрыться.

11 или 12 августа 1944 года я был доставлен на Большую землю — сначала в штаб дивизии, а оттуда в штаб армии. И когда в штабе армии лег спать, впервые за полтора года во сне начал бредить.

А потом... Получил свой комсомольский билет, зарплату за все месяцы, списался с домом. Вручили награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны, медали.

После войны демобилизовался, поступил в институт, окончил, сейчас работаю инженером. Член партии. Женат. Имею дочь, сына... Ну, что еще? Хочу, чтобы на земле был мир, чтобы мы никогда больше не воевали.

Я видел все. Встречал на своем пути величайших злодеев, предателей, но и много хороших, честных людей, которые мне помогали,— и русских, и украинцев, и белорусов, и поляков, и румын, и немцев.

За полтора года на той стороне обезвредил с десяток гестаповцев, спас жизнь многим советским патриотам, а вот самую близкую не сумел спасти.

Я пришел к родителям Ани, рассказал о ее героических делах, постарался увековечить ее память. Помог восстановить имена и подвиги подпольщиков, расстрелянных гитлеровцами.

Вот и все, пожалуй...»

Этот рассказ я записал почти дословно и привожу его здесь без всяких изменений, в том виде, в каком он лег в мой блокнот. Хотел было сперва облечь его в «художественную форму», но беллетристика здесь ни к чему, да и что может добавить фантазия к фактам — к сцене прибытия Георга Баузра в Шахты или к той невыдуманной повести о двух влюбленных, которые навсегда расстались в Мозыре?..

Много я читал книг про разведчиков, смотрел фильмы: там действовали романтические фигуры, современные красавцы, «Оводы» с горящими глазами,— но передо мной сидел обычный человек и, рассказывая свою легендарную жизнь, все смущался: не отнял ли он у меня «драгоценного времени» и как бы я в своем описании не изобразил его слишком большим героем, потому что «на войне все были героями»...

Но война есть война, а мир есть мир. И все это уже в далеком прошлом: таганрогское гестапо, мозырское СД, комиссар Кламмт и «подвиг разведчика». И Миронов давно уже нашел себя в мирной жизни; это я разбередил его воспоминания, сам он не очень любит вспоминать и не принадлежит к числу тех, кто докучает людям «боевыми эпизодами»...

Сейчас мы находились с ним как бы в двух различных временах: я, погруженный в свой «материал», был где-то в году сорок четвертом или в сорок пятом и на Миронова смотрел так, как если бы он только что вернулся «о т т у д а», а он жил в шестьдесят пятом году, причем чувствовал себя в этом шестьдесят пятом году совершенно естественно. Для него все было «е с т е с т в е н н о»: и то, что пошел на фронт, и что перешел линию фронта, и, вернувшись, стал рядовым, без всяких «привилегий», студентом, а затем инженером. И он взглянул на меня даже с некоторым огорчением, когда я стал изумляться его подвигам и расспрашивать, какие он испытывал чувства, когда из «легендарного героя» вдруг превратился в обычного студента, с зачетами, каникулами, поездками «на картошку» и выпуском факультетской стенгазеты. Наверно, с его точки зрения, такой вопрос мог задать только человек посторонний, который с трудом понимает, что ради всей этой простой, «естественной», без «привилегий», жизни он и отправился туда, в бездну, на смертельный риск и головокружительный подвиг.

А когда я, чтобы уж ни в чем не ошибиться, начал выяснять с ним «психологию подвига разведчика» и «движущие мотивы», он и вовсе поскучнел, замкнулся, предоставляя мне возможность самому, без его помощи, заглянуть «по ту сторону легенды» и разобраться, почему Виктор Миронов разгадал и победил Баузра и Кирша, так же как разгадал и размолол гитлеровских «сверхчеловеков» наш великий, скромный и справедливый народ...

1964—1965

Разбилось лишь сердце мое...

РОМАН-ЭССЕ

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло...

Вольфрам фон Эшенбах
«Парцифаль»

ОТ АВТОРА

О чем эти записи? Рассуждения о труде переводчика поэзии? Страницы воспоминаний? Серия литературных и житейских новелл? Затрудняюсь ответить...

Любая человеческая личность, как бы ни была она угнетена заботами повседневности, вмещает в себя весь мир, исторический опыт поколений, причастна к высочайшим понятиям. Земное и духовное начала переплетены в жизни и в каждом из нас, ежесекундно проникают друг в друга. Дух, вырываясь из-под ярма бытия, устремляется ввысь, и он же, силой земного притяжения, возвращается к нам на землю. Именно этой причудливой диалектикой объясняется жизненность и одухотворенность искусства.

Жизнь переводчика тысячелетней поэзии показалась мне наиболее удобным объектом для наблюдения этих диковинных переплетений и взаимосвязей. В силу одного своего призвания он обязан вобрать в себя культуру, мысль, опыт столетий и он же должен себя самого — маленькое свое, частное, сформированное временем человеческое «я» — как бы отдать «вечности», непрерывному потоку истории.

«Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя, как объект, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя, как на одного из сынов известной эпохи»,— обольщал себя в своих «Воспоминаниях» Аполлон Григорьев.

Едва ли кому-либо удавалось добиться подобной объективности. И все же, говоря о себе самом, предаваясь тем или иным, подчас рвущим сердце личным воспоминаниям, я стремился выявить пугавшую меня самого таинственную связь времен, сходство множества судеб, единую зависимость людей от обстоятельств и прихотей Времени, единую нашу ответственность перед ними...

В ПОИСКАХ СВЯТОГО ГРААЛЯ

1

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда»,— сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они?

О, конечно, мы знаем: из высокой потребности высказаться посредством перевода, устами другого автора, пропустив себя через него (а не только его через себя!), из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое... Но все это — общие положения, это известно.

На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из сора повседневности, из сора жизни, из сора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные: увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ...

Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в «Иностранной литературе» Франсуа Вийона в переводе Эренбурга, с его же предисловием, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья — одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему.

Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку.

В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод «Фауста», с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоул-

ков средневековых немецких городов: попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки...

Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем — с «Лагерем Валленштейна». И все же я считаю эту встречу всего лишь (вернее сказать, не «всего лишь», а прежде всего) школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию Тридцатилетней войны, и лирику вагантов. Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией,— тайну немецкого поэтического воображения.

Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения «Раздел земли». Всего лишь одно словцо — отделяемая приставка «hin» — определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что, из какого бы «сора» переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника.

«Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно»,— справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой академической книжности.

Однако из этого вовсе не следует, что, «глядя в окно», можно забыть про «бумагу», то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией, вдохновенный порыв — с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника.

Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам: таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен.

В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дает лишь полное и всестороннее владение оригиналом.

Одно связано с другим.

Я переводил раннего Шиллера — «Мужицкую серенаду», «Вытрезвление Бахуса», мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю: нигде так не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голис. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи, с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой...

В переводе «Лагеря Валленштейна» встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих шести с половиной армейских лет. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германией, немецкой музой, полюбившимся мне «книттельферзом» — немецким раешным стихом. Но при мне, со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить: «стрельбище», «караульная будка», «поверка». Расстрига-капуцин в своей потешной проповеди кричал: «...в бога мать!» — причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольность и повышенное чувство собственного достоинства — все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме.

Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособия, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими.

Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик, нет перевода без «сверхзадачи».

Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому «порядку», который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия...

Переводы «растут» не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта.

«Марата» Петера Вайса я не мог прогрызть около двух лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод, почти ежедневно. И только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму: «театра — психиатра», зажегся так, что перевел пьесу залпом, за месяц.

Поэзия немецкого барокко (XVII век), работа, которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин. Точно могу сказать, где и когда это было: в доме у Маргариты Алигер 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников и среди них книгу Бехера «Слезы отечества» — антологию немецкой поэзии XVI—XVII веков.

Я стал читать то, чем потом жил — ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи,— но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод, пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяже-

лой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса — «Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе...», не сцепил ее с другой...

Так началась книга «Слово скорби и утешения» — работа, практически завершенная лишь в 1973—1975 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ее противодействии. Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за своекорыстие. Ставился вопрос: быть или не быть, жить или не жить, а если жить, то как: в рабстве, в глупости, в темноте или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Ставились большие, кардинальные вопросы жизни и смерти не только отдельного человека, но и всего человечества, сопричастного каждому отдельному человеку, причем ставились неистово, мощно...

Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я «вбивал» именно эту — уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гергардта, но как бы и свою — идею...

Справедливо говорят: важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений Тридцатилетней войны: видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилли Магдебург, выдержавший осаду Штральзунд, города Силезии, поле битвы под Лейпцигом, в Лютцене, где убили шведского короля Густава-Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы, видел замок в Хебе (Эгере), где был заколот Валленштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи...

В музеях хранятся ржавые ядра, пищали, железные, с потайными замками сундуки войсковых казначеев, ветхие, выцветшие штандарты... И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть, все это позже мне пригодилось. Но гораздо важней было проникнуться тем тревожным мироощущением, которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности: вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы!.. Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт!..

Я переводил поэтов XVII века, с их предостерегающим, гражданственным пафосом, рожденным в пламени Тридцатилетней войны, передо мной вставали «священные камни Европы»: не только акрополи и колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы — дом к дому, булыжник, брусчатые мостовые. Европа вся каменная, и «священные камни» — не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми каменные дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить,— посыплются стекла, погаснут витрины, сгорят книги...

Строки «барочных» стихов словно корчились, кривились от боли — не от этой ли боли их дисгармоничность?

И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно.

В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы стиля — такие, например, как эмблематика, колоризм, звукопись. В стихах имитировались шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками,— рыжие строки осени, холодная белизна зимы. Стихи изобиловали эмблемами: «...замшелая стена, нещера, череп, кость...»

Конечно, у переводчика нет ящика с приёмами, с «изобразительными средствами». Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берет только по повелению подлинника.

В стихотворении Зигмунда фон Биркена «Осенняя песнь Флоридана» нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника...

Был теплый и влажный, серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк.

У овощной палатки разгружали виноград, яблоки, рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту «уборочная»...

Неожиданно пришедшее слово «громыхать» сделалось ключевым. Застывшие в тисках оригинала строки сдвинулись, пошли:

Загромыхали телеги, подводы,
Ну-ка! Живей! Начинаются роды!
Все на сносях... И поля, и сады
Ждут не дождутся мгновенья рожденья:
Сам Флоридан собирает плоды!..

Откуда берется лексика перевода, из чего она складывается? Неужели перевод есть только перевод значений, или в него входит собственный словарь переводчика, накопленный за жизнь, в повседневном быту, вычитанный из книг? Есть профессиональное свойство схватывать свежее слово на лету, выдергивать его из читаемой книги.

Совсем мальчишкой в дурацкой частушке я услышал словцо «скидавать»... Прошли года, я переводил состоящую из забавных трехстиший народную балладу о том, как солдаты зашли погреться в корчму. В одно из трехстиший надо было уложить такое примерно содержание: солдат снимает с себя снаряжение, хозяйка наливает ему вина и подносит жареную рыбу.

Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так и сяк — ничего не получалось.

Однажды я ехал по Пироговке, вдали золотились купола Новодевичьего монастыря... «Хозяйка налила вина...», «Вина хозяйка налила...», «Вина хозяйка подает...» И вдруг из глубины подсознания вынырнуло то забытое, потерянное, оказавшееся спасительным слово:

Солдат свой ранец скидает.
Вина хозяйка подает
И запеченной рыбки...

«Когда б вы знали, из какого сора...»

Переводчик вмещает в себя множество действительностей, тысячи жизней: авторов, персонажей. Разве все это, помноженное на его собственную жизнь, не достойно стать предметом романа?

* * *

...После войны я вернулся из армии в Москву, переполненный стихами. Я писал их каждый день, жил ими.

Я учился на филологическом факультете Московского университета, на немецком отделении. Мы изучали Гердера и верхненемецкое передвижение согласных.

Был 1947-й год.

Германия лежала в развалинах, во мгле. Казалось, оттуда не доносился к нам ни один живой поэтический голос. Немецкие писатели-эмигранты, отбыв на родину, словно пропали из виду. О современной немецкой поэзии мало кто знал.

Однажды, придя в библиотеку, я заглянул в газеты и журналы, выходившие в советской зоне оккупации. Передо мной были стихи. Много стихов. Они ошеломляли: болью, надеждой...

Я стал ходить в библиотеку ежедневно, переписывал стихи в тетрадку. Они поселились во мне, томили душу. Я должен был перевыразить их по-русски, как бы отдать — друзьям, родителям, соседям: в то время других читателей у меня еще не было.

В 1948 году в Москву приехала первая после войны делегация немецких писателей: Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Стефан Хермлин... Делегация посетила университет. Ее принимали на филологическом факультете. Хермлин сказал несколько приветственных слов, но стихи читать отказался: забыл книжку в гостинице, а по памяти читать не умел. Я отважился ему помочь: написал по-немецки на тетрадном листке «Балладу о Даме Надежде», она входила в число первых моих переводов, я знал наизусть каждое слово. Хермлин был поражен. В Москве он оказался впервые — после подполья, после Испании, после отрядов «маки́»...

Он прочел — по моей записи — балладу в оригинале, потом я прочел перевод.

С этого началось. Меня стали поддерживать, стали печатать.

Мои переводы заметил Маршак. Он был старый, больной, маститый поэт, которого знала вся страна, был перегружен делами, болезнями, заботами. Он разыскал меня и попросил зайти. Потом он подарил мне книжку: «...замечательному поэту...»

Корней Чуковский на своей книжке написал еще щедрее: «...моему любимому поэту...»

Такая щедрость может показаться расточительной. Но меня эти слова окрылили.

Я входил в литературу в эпоху великих переводческих открытий, когда мировых гениев открывали, как открывают материки, завоевывали, подчиняли себе. Еще живы были Щепкина-Куперник, Лозинский. Маршак завершал главный труд своей жизни — перевод Бернса и Блейка. Пастернак переводил «Фауста».

Постепенно у меня отмерла потребность писать свои стихи. Не оттого, что переводить легче и приятней. В переводах я полней выражал себя, чем в стихах собственных. Я стал шутя объяснять, что лучше Шиллера я все равно не напишу, а хуже — нет смысла. Из-под моего пера выходили гениальные строки — не мои, конечно... Но — страшно подумать! — ведь и мои, **мои**!..

В переводе я прожил долгую жизнь.

Помню трудные времена.

На переводчиков нападали невежды, пытались отлучить их от литературы. Между тем переводом занимались подвижники.

Однажды, в самом начале 50-х годов, я пришел в Детгиз: выплачивали гонорар за переводы (боюсь ошибиться!) с армянского — Ашота Граши. В длинной очереди в кассу впереди меня стояла грузная пожилая женщина в стоптанных туфлях, в черном пальто с засаленным воротником. Под мышкой она держала большой потертый ридикюль. Ее седые волосы были небрежно заколоты старомодными шпильками. Я не видел ее лица. Очередь приблизилась к кассе, женщина протянула в окошечко паспорт, и через ее плечо я прочитал: «Ахматова-Гумилева Анна Андреевна»...

В одном толстом журнале был изруган пастернаковский «Фауст»; впоследствии автор рецензии горько сожалел о своем поступке, корыстном и вынужденном. Спустя некоторое время перевод этот было решено в Союзе писателей обсудить. Собрание невнятной скороговоркой вел Михаил Зенкевич, видный переводчик, в прошлом поэт-акмеист. Пастернак сидел за круглым столиком в Дубовом зале Дома литераторов, к моему теперешнему удивлению заполненном в лучшем случае наполовину... С ним рядом, подбадривая его, сидел задиристый и ершистый Асеев... Обсуждение как таковое не клеилось, ораторы, все без исключения хвалившие перевод, выступали слишком сбивчиво, робели, и тогда Пастернака попросили прочитать что-нибудь из «Фауста». Он охотно согласился, стал своим знаменитым тягучим голосом читать сцену с Гретхен в тюрьме и вдруг осекся, всхлипнул, захлопнул книгу и сказал:

— Не могу... Жаль ее...

Позднее в автобиографическом очерке Пастернака «Люди и положения» я прочел слова, напомнившие то давнее обсуждение: «Я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине...»

Эти слова многое объясняют в творческой биографии Пастер-

нака. Свет сострадания в равной степени лежит и на его стихах, и на его переводах.

В статье, гордо озаглавленной «Заметки переводчика», он пояснил, что писание собственной поэмы и «срисовывание» в русских стихах английских стихов Шекспира, «гениальнейших в мире, было задачей одного порядка и одинаковым испытанием для глаза и слуха, таким же захватывающим и томящим...».

Переводу отдали значительную часть своего творчества Арсений Тарковский, Николай Тихонов, Вильгельм Левик, в переводе — не меньше, а может быть, даже больше, чем в собственных своих стихах,— выражала себя Мария Петровых, та, перед которой благоговели лучшие русские поэты — ее современники...

Когда мне исполнилось пятьдесят пять лет, в день рождения, томимый мрачными предчувствиями роковых перемен в моей личной судьбе, едва ли не прощаясь с прожитой жизнью, я записал в дневнике:

«...Если вспомнить мое хождение по стихам, то я пытался с помощью своих переводов сказать, чем жил, что думал о жизни, чего хотел от нее. Выражал я через них и радость молодости, и грубое наслажденье плотью, напор и лихость, жившие во мне, тогда молодом. Всегда мне хотелось хлестнуть читателя чрезмерной, почти недозволенной смелостью (в смысле — грубости, эротической ярости), но более всего — внушить ему идею примирения с бытием, вывести его из состояния уныния, показать крутые и сильные характеры — в веселье и в гневе, в отчаянии или в яростном негодовании, в неистовом отрицании зла и в потребности прощать, любить, делать добро... Не часто я бывал понят даже близкими мне людьми, а критиками-профессионалами и подавно. Они писали о моей любви к Германии, об интересе к германской культуре, не догадываясь, наверно, что просто я в этой культуре, в этом огромном — за жизнь — материале нашел нечто близкое себе!..»

К этому времени я уже выпустил главные свои книги, издал перевод «Парцифаля», закончил «Рейнеке-лиса», жизнь шла на ущерб, но всем существом я сознавал, что мучительные странствия в поисках святого Грааля для меня только теперь, собственно, и начинаются.

2

Стихотворный роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» считается «Фаустом» и «Божественной комедией» средневековья, однако у нас он известен главным образом благодаря одноименной опере Рихарда Вагнера, в свое время весьма популярной. Мало кому приходилось вплотную сталкиваться с 25 тысячами средневерхненемецких строк, хотя многие, должно быть, слышали, что рыцарь Парцифаль отправился на поиски Грааля — не то священного камня, не то чаши, в которую Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого Христа. На пути к Граалю этот рыцарь

пережил множество приключений в духе «куртуазной», рыцарской литературы и романов так называемого «Артурова цикла». Парцифаль входил в число приближенных знаменитого короля Артура и, следовательно, принадлежал к рыцарям Круглого Стола, за которым Артуровы паладины рассказывали о своих похождениях.

Впервые пересказ «Парцифаля» я услышал на первом курсе от профессора Б. И. Пуришева. Это были незабываемые лекции. Только что окончилась война, в аудитории сидели люди, которых надо было вернуть в атмосферу научной сосредоточенности, романтики знаний, приобщить к эстетическим сокровищам. Б. И. Пуришев, как и С. И. Радциг, С. С. Мокульский, Н. К. Гудзий, А. А. Белкин и другие наши тогдашние профессора, делал это с необычайным искусством. Не только содержание его лекций, но и его речь, всегда несколько изысканная, отличавшаяся достоинством и благородством, внутренняя одухотворенность, весь его облик — все как бы уводило в тот поэтический, зачарованный мир, который на языке учебной программы назывался: «Западноевропейская литература средних веков и Возрождения».

С интересом слушали мы о скитаниях выросшего в лесу простодушного юноши, который превратился потом в неустрашимого Парцифаля, о заветах старого воина Гурнеманца («рыцарь не задает праздных вопросов!»), о мучениях многострадального короля Анфортаса в его сказочном замке Мунсальвеш — хранилище святого Грааля, о мудрой пророчице Кундри и о верной Сигуне, рыдающей над телом своего Шионатуландера.

В ту пору наших знаний было явно недостаточно, чтобы прочитать роман в оригинале, русского же перевода не существовало, если не считать переложения С. И. Лаврентьевой (ритмизованной прозой) для детей, вышедшего в издании автора в 1914 году в Петербурге.

В 1969 году издательство «Художественная литература» предложило мне перевести «Парцифаля» для соответствующего тома «Библиотеки всемирной литературы». Тип издания, рассчитанного на массового читателя, предусматривал, что перевод не должен быть полным. Непомерно большой, грандиозный объем сделал бы стихотворный роман трудным для восприятия. Было решено, что повторяющиеся эпизоды, слишком далекие или несущественные ответвления от сюжета, чрезмерно пространные описания будут либо заменены стихотворным же, сокращенным, пересказом, либо опущены.

Идея создания русского «Парцифаля» принадлежит Б. Л. Сучкову и Р. М. Самарину. Они являлись, по существу, моими кураторами и слушателями первых глав перевода, с ними же был согласован принцип сокращения. Хотелось, чтобы перевод был не столько сокращенный, сколько «уменьшенный», то есть чтобы сохранились основные и побочные линии романа и такие его особенности, как, скажем, многословие, растянутость, излишняя, с нашей сегодняшней точки зрения, подробность в описаниях, все,

вплоть до некоторых «несуразностей», которые, как потом прояснилось, имели вполне определенный смысл.

Надо было показать европейский роман на самой ранней его стадии, только что вылупившимся из эпоса, из героических поэм — так называемых жест, песен о деяниях, житийной литературы...

Я обложился книгами, пособиями, трехтомным изданием «Парцифаля» в подлиннике и всеми доступными мне переводами романа на современный немецкий язык.

Увы! Все то, что некогда в университете, в изящном кратком пересказе виделось таким увлекательным, овеянным романтическим флером, предстало вдруг в виде тягучих, слипшихся, почти бесформенных строк.

Страшно было подступиться к этой громадине, спящей мертвым сном в Бразельянском лесу, во владениях короля Артура. Да и кого, рассуждал я, могут в наш век всерьез заинтересовать стоверстые описания рыцарских турниров, давно отзвучавший стук мечей, сверкание лат, запутанные, подчас нелепые похождения?.. «Парцифаль» казался гигантским, неуклюжим кораблем, затонувшим почти восемь столетий назад, который мне предстояло поднять со дна моря...

Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году, своего «Парцифаля» он начал в 1200-м, завершил в 1210-м. Это было бесконечно давно: время Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, третьего и четвертого крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь...

В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую тему найти для себя на сей раз?

Гейне однажды заметил, что история литературы — это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит и с которыми состоит в родстве...

Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу — Поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть, под грудой столетий услышать ее дыхание.

И я пытался. Карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы. Еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом, не было даже предварительной концепции перевода.

На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных шестнадцати глав-песен и от понятия «Грааль» — умозрительно-бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой.

В либретто к опере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстает в виде античной хрустальной чаши. Есть автор-

ская ремарка: «Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть, освещая все багряным сиянием». В другом месте у Вагнера король Анфортас «с просветленным лицом высоко поднимает Грааль и мягко поводит им во все стороны...».

Но в те январские дни, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим Парцифалем...

Надо было решать, каким размером переводить текст. Средневерхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась ямбическая основа. Роман был написан двустишиями, что, с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой — могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишиями он употреблял и строфическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий.

Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться «биение сердца», строки начали как бы пульсировать: там, внутри, угадывалась своя жизнь, и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам, в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездонная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир.

Но что значит «извлечь»? По-русски переписать тысячи средневерхненемецких строк? Уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае — «перевести» в русскую стихию? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читателями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом: как бы там ни было, я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию...

В то время, когда я переводил «Парцифаля», ученые все чаще стали требовать от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. Это было справедливое требование. И в самом деле: по меньшей мере нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения «моменты» (пользуясь терминологией одного из авторов статей о мировой культуре и современности), «которые способны породить удивление современного читателя своею «странностью»... Напротив, каждая такая «странность» бесценна: старина неожиданно оборачивается новизной, обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих «странностей», тем радостней переводить: хватило бы только умения!

Вместе с тем переводчику часто как бы указывают его место «посредника» между автором текста и читателем, требуя «боль-

шей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник».

Возражать не приходится, однако, не обладая собственным мировоззрением, собственным стилем, переводчик никак не в состоянии справиться с этой задачей.

«...Мы сами никак бы не столкнулись с немцами,— писал Гоголь,— если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, нежели немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность!»

Итак, переводчик и — оригинальность! Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее — важнейшее условие для того, чтобы стать настоящим поэтическим посредником. Впрочем, иные и не нужны.

Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики.

Известно, что в 20-е годы, в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи.

В наше время возникла и, можно сказать, даже нарастает другая опасность — амикошонства, панибратского отношения к текстам великих писателей, не просто «осовременивания» и не «демократизации», а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых классиков.

Снова и снова я вчитывался в седой, древний подлинник: старался понять исконную лексику, почувствовать стих.

Между тем Вильгельм Штафель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший «Парцифаля» на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим, удалось перевести «Парцифаля» стихами, с точки зрения Штафеля, «дал нам «Парцифаля» XIX столетия». Нет, говорит он, раз уж не удается полностью, точь-в-точь воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь будет передано хотя бы содержание. А это возможно сделать, только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности.

Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание романа не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонации, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих?..

Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы, когда я все теснее сходился с франконским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски.

Кого склоняет злобный бес
К неверью в праведность небес,
Тот проведет свой век земной
С душой унылой и больной...

Так начинался «Парцифаль» — рассуждения на религиозно-нравственные темы, однако выраженные совершенно просто, по-житейски, не без некоторого балагурства даже.

Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, в даль своего романа.

Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался надо всеми своими персонажами: он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственно его авторской воле. Он и меня — своего переводчика — постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором, и как бы персонажем своего романа, одним из наиболее привлекательных: открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью с юмором относиться прежде всего к самому себе. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность...

Собственно, большинство биографических сведений об Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа: названия мест, где он жил, упоминания о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной полемики.

Свое произведение Эшенбах именует не чем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную «Книгу о Персевале» провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха, он всего лишь «излагает» по-немецки то, что у Кретьена «сказано по-провансальски», с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. В эпилоге он прямо заявляет, что «немало стоило труда рассказ Кретьена де Труа... выправить с таким расчетом, чтоб то, что было нам Киотом поведано, восстановить и эту быль возобновить, не высосав ее из пальца...».

Этот Киот причинил немало беспокойства исследователям, пока со всей тщательностью не было выяснено, что Киот — всего лишь плод авторской фантазии Эшенбаха, введенный в роман, видимо, для того чтобы совместить легенду о Персевале (Парцифале) с легендой о Граале, а также использовать литературную мистификацию в литературной борьбе со штампами, с тем, что уже Эшенбаху казалось в рыцарском романе отжившим, отработанным.

Вот, к примеру, начиненный элементами пародии отрывок, в котором повествуется о короле Артуре и об очередных странствиях Парцифаля:

...Однако где же наш герой?
То было зимнею порой.
Снегами скоро все покроется...
Как? Разве на дворе не троица?
Ведь все весной напоено
И все цветет!.. А! Вот оно!
О стародавние поэты!
Мне ваши ведомы приметы.
У вас в стихах король Артур —
Изнеженнейшая из натур.
Зефирами он обдуваем.
Он как цветок. Он дышит маем.
Весенний, майский, неземной,
Он только в троицу, весной,
По вашим движется страницам
На радость голубым девицам!
Но нет! У нас он не таков!
С нас хватит «сладких ветерков»!
Мы сей рассказ соорудили,
Собрав бесчисленные были
И вымыслы. И так хотим,
Чтоб — пусть мороз невыносим —
Герой наш, столь любимый мною,
С Артуром встретился зимою...

Все повествование пересыпано подобного рода полемическими колкостями, направленными иногда против таких знаменитых современников Эшенбаха, как Гартман фон Ауэ, Генрих фон Фельдеке и другие. Эшенбах не держался в стороне от литературных событий, в крепости Вартбург он участвовал в состязании миннезингеров, где его соперником выступил Вальтер фон дер Фогельвейде.

Однажды я попал в эту крепость на литературное торжество. Герольды звуками труб возвещали о прибытии гостей, внутри каменного, похожего на огромную пещеру зала горели смоляные факелы, на гигантском блюде лежал зажаренный дикий кабан... И, как восемьсот лет тому назад, правда уже совсем по иным поводам, спорили, состязались между собой поэты...

Воображению не трудно было восстановить картину того, как Эшенбах, который как истинный рыцарь не умел ни читать, ни писать (в чем он не без бравады признавался в своем романе), заставляет читать себе вслух текст «первоисточника» и тут же, импровизируя, диктует писцу свои «переделки», свою «версию»...

Научившись при дворах покровителей французскому языку, Вольфрам очень дорожит этим своим знанием, то и дело (но всегда к месту!) щеголяет французскими словечками, которые во французской транскрипции попадают в немецкий текст.

Впрочем, знаком он не только с французским. Неоднократно в романе встречаются латинские названия камней, арабские наименования планет... Может быть, его настойчивое утверждение, что он «грамоты не разумеет», тоже полемический прием, поза, противопоставление себя поэтам-книжникам, средство самозащиты?.. Как удалось ему обработать такое множество теологических, юридических, медицинских и прочих специальных сведений, которые

вынуждают меня, переводчика, то и дело обращаться к энциклопедиям и старинным справочникам?..

Часто, прервав нить повествования, Эшенбах делится с окружающими его слушателями этими сведениями, предается размышлениям по бесконечному количеству поводов, его авторское «я», как уже сказано, до предела активно. Ему ничего не стоит вступить в разговор даже с «госпожой Авентюрой» — то есть с собственной фантазией, с собственным, еще неясно различаемым замыслом:

Ах, это вы, госпожа Авентюра!
Ну, как там юный друг Артура?
Живет ли в счастье он или в муке?
Прошу: в свои возьмите руки
Сего повествованья нить
И постарайтесь нас возвратить
Туда, где мы прервали
Рассказ о Парцифале...

«Даль свободного романа» (воспользуюсь этой столь часто употребляемой теперь пушкинской формулой) беспредельна.

Пройти огромное расстояние по всем его строчкам, от главы к главе, нелегко: в длинной дороге читателю нужен верный попутчик, рассказчик-друг...

Смысл «Парцифаля» открывался мне по мере общения с его создателем. Где-то я прочел, что «Вольфрам фон Эшенбах был самым свободолюбивым человеком средневековой Германии». Я все теснее связывал его образ с картиной времени, «помещал» его в гущу конкретных исторических фактов. Он не мог не слышать о них, не знать... Германские крестоносцы разрушили и сожгли Константинополь — с домами, храмами, бесценными библиотеками... В горло друг другу вцепились Вельфы и Гогенштауфены... Генрих Лев и Альберт Медведь ринулись на славянские племена...

Это его окружало, тревожило. Дело не в том, что в «Парцифале» появились внятные современникам намеки, а некоторые сцены романа напоминали реальные, известным всем события. Эшенбах понял: мир настолько насыщен преступлениями, что им противостоять может разве что святость. В своей не слишком богатой внешними событиями жизни он явил необычайную силу духа и высоко поднялся над временем, одержимый великой мыслью. Он был из тех, кто в самом себе способен черпать мощь...

Есть книги как заброшенные, заросшие травою могилы. Не то чтобы они были плохо или подло написаны: нет, просто в них не было достаточной нравственной силы, большой нравственной задачи, а личность авторов слишком слабо просвечивалась сквозь то, что они сконструировали.

Эшенбах остался. Не вне своего произведения, а в нем.

Впрочем, «Вольфрам фон Эшенбах, в своих прославленных стихах воспевший наших женщин милых», просил не считать его «Парцифаля» книгой («Нет, не книгу я пишу...»). Почему же?

Все, что узнал я и постиг,
Я не заимствовал из книг.

Видимо, для него существовало нечто большее, чем книга,— ЖИЗНЬ.

Родину Вольфрама фон Эшенбаха, городок Вольфрамс Эшенбах, что в переводе означает «Эшенбах Вольфрама», мне, к сожалению, удалось увидеть уже после завершения работы над «Парцифалем».

...Ехал из Ансбаха по мягкому мокрому шоссе. Вдоль обочин то возникали, то исчезали голые деревья с темно-зелеными стволами, редковатый смешанный лес. Здесь-то и была, наверно, та непроходимая чаща, которую Эшенбах вообразил заколдованным Бразельянским лесом. Здесь стоял замок Мунсальвеш, здесь хранился Грааль.

Великая, как само мироздание, средневековая поэма рождалась в баварской глуши, среди крохотных, открыточных, музейных домишек: над ними торчал шпиль церкви...

Улицы носили имена Вальтера фон дер Фогельвейде, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского, Тангейзера... Были здесь также улица Ситуреля, улица Лоэнгрина, улица Парцифаля.

Гнездо миннезингеров...

На площади Вольфрама фон Эшенбаха перед церковью Святой богоматери возвышался памятник, установленный в XIX веке: препоясанный мечом Вольфрам — худощавый, поджарый, с острым насмешливым лицом — держит в руке лютню.

Я зашел в церковь.

На стене над каменной могильной плитой я прочел:

«Остановись, странник! Ты находишься рядом с останками великого поэта Вольфрама фон Эшенбаха, которые здесь, в подземелье церкви Святой богоматери, ждут часа воскрешения из мертвых...»

3

Работа строилась так: сначала я читал подлинник, затем — то же место в прозаическом переводе Штафеля, после этого — все варианты стихотворных немецких переводов (чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки), наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых.

Перевод первых двух глав занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь, по возможности, не перебивать ритм (четырехстопный ямб), игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам углубиться в даль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и «идти», читать дальше.

Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство: уж не слишком ли гладко звучит стих, нет ли недостоверности в том,

что, переводя «Парцифаля», я «пишу Онегина размером»,— обстоятельство, которое даже Лермонтова смущало в «Тамбовской казначейше»? И хотя все немецкие переводчики «Парцифаля» на современный язык брали именно этот размер и ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, надо было искать способы усложнения ритма, сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место.

Место между тем не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцифаля — Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями. Мне слышался чеканный классический ямб: как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв?.. Не следовало забывать, что я имею все же дело с воинами, рыцарями, а не просто с носителями авторских идей.

Теперь сошлись они друг с другом,
Колотят копья по кольчугам.
И древки яростно трещат.
И щепки на землю летят.
Ах, в беспощадной этой рубке
Ждать не приходится уступки...

Надо только представить себе эту картину: ослепительное сверкание до блеска начищенной стали! В стальных панцирях — люди, в сталь — вплоть до ушей — закованные кони. Громыхают, падая наземь, стальные фигуры.

В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, Любовь и Воинское Рвенье, и нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увядал в косноязычии, сникал от усталости. Была и другая опасность: чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот.

Хотелось передать страсть, негу, томленье, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда «на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белакана», и в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, «черными».

В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на «неверных», а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Вольфрам фон Эшенбах в своем романе говорил: «Что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно?» Языческие монархи, языческие рыцари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением...

Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собою родством. Линии множества жизней замкнутся на Парцифале, и от него же

потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни. И к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав...

Между тем к третьей главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий.

Под напором сюжетной сумятицы стал наконец постепенно меняться размер, стих все более приближался к своему естеству:

...Итак, он с королем расстался
И в комнате один остался,
Сказав послушной свите:
«Я спать ложусь. Вы тоже спите...»
Но тут пажи вбежали
И обувь с ног его усталых сняли.
И, скинув облаченье,
Он чует облегченье.

Это, пожалуй, наиболее точный ритмический «портрет» подлинника, созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста.

Теперь я располагал возможностью время от времени (желательно как можно чаще) демонстрировать читателю это первородное звучание, «вписывать» его в условный размер перевода, подобно тому как «встраивают» куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли.

Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации: «Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан». А вот уж совсем почти раек:

Скажу вам без обману,
Его женой я стану.
Лишь он моя отрада
И нам другого короля не надо!..

Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого «Парцифаль» был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот.

Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что «Парцифаль», при всем своем мистицизме, имеет под собой прочную народную, жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях,— например, в мгновенных победах, которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллад и песен, где как по мановению волшебной палочки происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро, или в чрезвычайно живом, ядреном

рассказе о волшебном Клингсоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие.

Насмешка над злой силой — один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника — какая это утеха для народной души, какая вера в свои собственные силы в эти истории вложена! И если у Вагнера Клингсор — всемогущая мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некоей таинственной операции, то у Эшенбаха он, скорей, мерзкий похотливый колдун, и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно:

Сталь сверкнула и — долой
То, чем любовник удалой
Перед женщинами похвалялся!..
С тех пор Клингсор скопцом остался...

В подобных эпизодах стих звучал задорно, в парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую, чудо что были за парочки: отрубил — протрубил, Азии — голубоглазее, храмовник — терновник! Все подсказал подлинник...

За рифмой важно было следить, не теряя упругость стиха, и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих немецких переводов идущую чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь заборнстости, излишней хлесткости и лихости.

Например, в сцене с Гурнеманцем Парцифаль, приехав в крепость Грагарц, чуть не становится мужем его дочери — прекрасной златокудрой Лиасы, однако он «в Грагарце с нею не останется, он к новым похожденьям тянется, к неведомым событьям» — и категорическое резюме: «Супругами не быть им!»

Рифмы «останется — тянется», «событьям — не быть им» могли настроить читателя на облегченный, полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся порой неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная возвышенность. Так, в сцене с Лиасой после «супругами не быть им!» шла мотивация:

Он ощущает странный зов,
Идущий прямо с облаков.
Зов, полный обещанья...
Так пробил час прощанья.

Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия.

Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парцифаль, еще наивный юноша, в сшитом матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей — Красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Парцифаль надевает поверх своей одежды снятые с убитого «стальные латы боевые», и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски,— дело не слишком хит-

рое, на которое сам Эшенбах отвел всего несколько строк... Однако в переводе доска никак не «прибивалась» к дротику, вся процедура не укладывалась в заданный размер. Чего только я не перепробовал! «Он доску к дротику прибил...», «И дротик прикрепив к доске...», «Прибита к дротику доска...» — все не то, не видно, что сооружается именно крест. Как это пояснить?

Я работал над этими строчками почти месяц, до полного физического изнеможения, пока наконец не получилось:

Где Парцифаль? Простыл и след...
Уже он скрылся за горою...
А тело юного героя
Покрыл цветами Иванет.
И по законам здешних мест
Соорудить решил он крест,
Всем видимый издалека:
Злосчастный дротик Парцифаля
И поперечная доска
Сей скорбный крест изображали...

Надолго пришлось сделать перерыв...

Пятая песнь начиналась с уведомления читателя о том, что ему предстоит в этой песне узнать, то есть со своеобразной «аннотации».

Вот — в дословном переводе — тот материал, которым я в данном случае располагал:

«Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадает тот, кого Авентюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет далее. У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет в конце концов почет и радость...»

Преобразуясь в стихи, комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму:

Спешу заверить тех из вас,
Кому наскучил мой рассказ,
Что расскажу в дальнейшем
О чуде всепервейшем.
Но перед тем как продолжать,
Позвольте счастья пожелать
Сыну Гамурета —
Причина есть на это.
Сейчас ему, как никогда,
Грозит ужасная беда:
Не просто злоключенья,
А тяжкие мученья.
Но я скажу вам и о том,
Что все закончится потом
Полнейшею удачей:
Не может быть иначе!
К нему придут наверняка
Почет и счастье... А пока...

А пока Парцифаль продолжает свой путь по лесу, среди нехоженых дорог, очень напоминая собой дюреровского всадни-

ка... Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на Парцифаль: сталь, даль, печаль, Грааль, жаль, хрусталь, скрижаль, и даже февраль, все, кажется, кроме «кефаль», было использовано!..

Важное значение имела реставрация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное, ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу, например: «Ты заключена в моем сердце». Эшенбах тут же ловит сказавшего это на слове: «Подумайте только, что творится! Способна ль взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце? Через какую такую дверцу она в сердце входит, как дорогу туда находит?..»

Безусловно, в такой реализации словесных клише есть оттенок юмора. В романе много непонятных, темных мест, и сам Эшенбах вовсе не собирается их расшифровывать. Но вот отшельник Треврицент, персонаж в высшей степени благостный, в разговоре с Парцифалем утверждает, что грех Каина состоит в том, что он «непорочности лишил мать своего отца». «Такого быть не может!» — восклицает «простец» и выслушивает разъяснение — раскрытие метафоры:

Земля, что ДЕВСТВЕННО цвела,
Адаму МАТЕРЬЮ была.
Ну, а причиной срама
Стал Каин, СЫН Адама!
Когда он Авеля убил,
Он землю кровью обагрил.
И, кровью орошенная,
Невинности лишенная,
Земля от ВНУКА начала
Первоисток земного зла.
И это означало
Всех наших бед начало...

В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материй высоких и «низких», просторечий и изысканной, придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. В «Парцифале» множество раз рифмуется «wir» и «lir» — в XIII веке эта рифма была столь же избита, как у нас «любовь — кровь», но тут же, рядом,— редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания.

Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал право человека на «сомнение» (zwievel), потому что «порой ужиться могут вместе честь и позорное бесчестье», что люди подобны сорокам, которые «равно белые и чернобоки», и что в душах людей «перемешались рай и ад». Важно лишь не отчаяться, не «изувериться вконец», не избрать «один лишь черный цвет».

Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные

приемы, а суть, я стал все более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе.

Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани: утомительные, длинные и бессодержательные эпизоды, которые уже ничего не могли сказать современному читателю, многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью, в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать.

Причуды времени, выверты средневековой фантазии виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамурета:

Носил герой поверх кольчуги
Рубашку царственной супруги,
В которую была она
В часы любви облачена.
И в той священнейшей рубашке
Он в битвах не давал промашки...
В конце свидания ночного
Рубашку получал он снова.
Их восемнадцать набралось,
Пронзенных копьями насквозь.

Я опускал в переводе ряд подробностей, но не смог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору: «Каменья, что украшали кровать, я бы хотел здесь вам назвать. Итак, это были: карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берилл, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз...» Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил, что «лик героя напоминал... щипцы»! Именно щипцы, потому, оказывается, что «подобными щипцами дам, слишком ветреных сердцами, вполне возможно удержать, лишь надо посильнее жать!..».

Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода: не маловато ли у меня архаизмов?

«Передача» архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий, хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова, не считая затасканных и неизбежных «коль», «сколь», «столь», «ежели», «нежели», «вкушать», «вотще» и пр.

Спасительная лексика начала и первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XIX столетия и слишком старомодной в переводе текста века XIII.

Дело, очевидно, не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также и в том, какой угол зрения выбирает переводчик. Несомненно одно: подавляющее большинство произведений, какому бы веку они ни принадлежали, в оригина-

ле написаны современным по отношению к своему времени) языком. Дело переводчика решать, что из этого следует: то ли что он должен подчеркнуть удаленность той, некогда живой и современной языковой стихии от нашей, сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания... Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова.

Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмам легкий, как бы условный налет старины. В текст архаизмы лишь вкрапливались. Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Тиандера, где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Всевозможные пособия напомнили, что значит бармица, шишак, наручи, валет, кравчий; из них я позаимствовал драгоценную терминологию: пробный турнир, большой турнир... В запасе у меня были и средневековые костюмные термины, например: шаперон, роб, бегуин, нарамник.

Кстати сказать, независимо от того, есть ли на это указание в подлиннике или нет, переводчик должен хорошо представлять себе внешность персонажей, видеть их жесты, должен уметь мысленно одевать их в соответствующие костюмы. Названия блюд, предметов, деталей одежды не только обогащают лексику перевода, но и делают ее достоверной и естественной.

В «Парцифале» надо было восстановить и другое: момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый эффект присутствия достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой: насмешек, перемигиваний, перебранок («А вы меня не торопите!.. Коль неохота слушать вам, другому слово передам...»), авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово, неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик («...и в том даю вам слово, что часто голодает... ах!.. Кто?.. Я! Вольфрам фон Эшенбах...») — иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплетством, болтовней в рифму...

4

«Парцифаль» отличается нравственным максимализмом. Это главное, что интересно нашему времени, этим роман более всего дорог.

В «Парцифале» духовные поиски и сомнения ведут к истине через добро, страдание и сострадание.

> Суть добра —
> В том, чтобы душа была добра...

Эта прописная, казалось бы, истина чрезвычайно и важна и сложна.

В романе есть и любовь со всеми ее причудами, и вера в своем вечном столкновении с неверьем, и рождения, и смерти, бесконечное множество невосполнимых утрат и чудо неожиданных обретений, встреч, возвращений. «Парцифаль» — свод человеческих знаний, которые, как выясняется, все, вместе взятые, стоят меньше, чем просто сострадание, слово «сердечного участья», представляющего собой высшую этическую ценность.

Попав в Мунсальвеш, молодой Парцифаль оказывается перед лицом двух начал: земного блаженства, воплощенного в Граале, и безмерного земного страдания, которое олицетворяет мучимый страшным недугом, вечно зябнущий король Анфортас. Памятуя, однако, что рыцарю не пристало задавать вопросы, Парцифаль не решается спросить несчастного, что с ним.

Таким образом, Парцифаль ставит рыцарское «вежество» выше сострадания — не из жестокости или душевной черствости, а из приверженности строгому рыцарскому этикету, иначе говоря, ставит официальную сословную этику выше общечеловеческой.

Роковой этот поступок в один миг круто изменяет его судьбу. Вместо того чтобы избавить Анфортаса от жестоких мучений (только «В о п р о с, исполненный участья» мог принести исцеление) и самому стать королем Грааля, Парцифаль обречен теперь на тягчайшие испытания, на неприкаянность, на долгие изнурительные странствия, а главное — на совершение новых грехов. В действие вступает так называемый автоматизм вины, когда тяжелое преступление неумолимо влечет за собой вереницу других. В романе отразились некоторые суждения о категории вины Блаженного Августина. В наказание за совершенный грех человек теряет нравственную ориентацию (состояние, которое Августин обозначал термином «ignorantia») и обречен на совершение злых дел. В этом смысле грех, совершенный Парцифалем в Мунсальвеше по отношению к Анфортасу, является своего рода возмездием за еще более тяжкий грех, совершенный до этого: убийство Красного Итера...

В романе Эшенбаха путь к искуплению вины лежит через мучительное познание жизни. Только познав жизнь во всех ее проявлениях, от возвышенной, святой любви (Сигуна) до подлого коварства, злодейства и низости (сенешаль Кей, Клингсор), обретя утраченную было веру, Парцифаль вновь попадает в Мунсальвеш, задает Анфортасу спасительный вопрос, находит свою жену Кондвирамур и становится владыкой Грааля.

Итак, поиски святого Грааля — труд нравственный, путь к нему есть путь познания окружающего мира и самого себя, обретение Грааля — обретение Истины.

Да, я Вольфрам фон Эшенбах,
За совесть пел, а не за страх
И за своим героем следом
От поражений шел к победам...

Но высшая из всех побед —
Проживши жизнь, увидеть свет,
Не призрачный, а настоящий,
От чистой Правды исходящий.
Не просто по миру брести.
А Истину вдруг обрести...

Вот эту авторскую идею и должен был выразить перевод. Читатель должен был получить произведение гуманное, не приемлющее зла ни в каком виде, требующее от человека не какой-нибудь мелочной и пошлой «отзывчивости», а готовности бесстрашно ринуться в бой с несправедливостью и жестокостью, туда, где раздается крик боли, мольба о помощи.

...Медленно шел по залу оруженосец, подняв кверху копье, с острия которого стекала красная струя крови.

И это вот что означало:
Все человечество кричало
И в исступлении звало
Избыть содеянное зло.
Все беды, горести, потери!..

Какая важная, пронзительная мысль! Как насущно это требование — «избыть содеянное зло», которого в мире накопилось столько, что уже выдержать невозможно — кровь хлынула. Неужели за оруженосцем закроется сейчас резная дубовая дверь и он так и пройдет со своим кровоточащим копьем, никем не замеченный?.. Этот оруженосец появляется в Мунсальвеше в разгар пиршества, перед выносом Грааля, как напоминание, предостережение...

Парцифаль видел и оруженосца, и копье, но молчал. Он был слишком добросовестен, слишком кроток («Скромность, а не спесь ему задать вопрос мешает и права спрашивать лишает»), слишком корректен в своем отношении к этому миру («Молчать его заставил свод рыцарских старинных правил»), чтобы вмешиваться. Но в мире, где властвует зло, общепринятые добродетели оборачиваются опасными пороками. Так, против собственной воли, Парцифаль становится причиной страданий и смерти своей горячо любимой матери Герцелойды, его необдуманные поступки ранят сердце Сигуны и Кундри, он виновник тяжелых переживаний Ешуты и Куневары, невольный убийца Красного Итера. К пятой песне, то есть даже еще до встречи с Анфортасом, невинный, наивный и отважный юноша несет на себе крест тяжких нравственных преступлений: такова и рациональность порочного мира. В этом мире наивность бесконечно опасна, а глупость преступна.

Кто же он, в конце концов, этот «святой простец», как именует Парцифаля в своем либретто Вагнер?

«Он — негодяй всего лишь!» — восклицает вестница Кундри, явившаяся «на тощем муле» в блистательное собрание рыцарей Круглого Стола, в момент наивысшего триумфа Парцифаля, чтобы бросить ему в лицо слова страшного обвинения: «...вас не занима-

ла чужая боль нимало...» И сам бог «вырвет ваш язык за тот невыкрикнутый крик простого состраданья...».

Очищение Парцифаля наступает в тот миг, когда он всем своим существом осознает Истину, выраженную в наивном житейском совете, а на самом деле — великом общечеловеческом требовании:

Спеши, спеши на помощь им,
Тем, кто обижен и гоним.
Навек сроднившись с состраданьем,
Как с первым рыцарским деяньем!..

Тем-то и велик Эшенбах, тем-то и заслужил его труд воскрешения, что в своем XIII веке он понял это требование, не счел эту истину банальной и не отвернулся от нее высокомерно.

Несмотря на обилие кровопролитных турниров, поединков, убийств, в романе Вольфрама фон Эшенбаха жизнь предстает как высшее благо. Жизнь богоугодна, если уж воспользоваться религиозной терминологией; она сама по себе, как противоположность смерти,— нравственна. Лишение жизни — тягчайший из грехов, и убийство, пусть даже в обычном для того времени поединке, требует трудного искупления.

Текла жизнь, менялись времена года, чередовались полосы удач и неудач. Почти через три года после начала работы громадина романа поднялась на поверхность.

Ну, а Грааль? Что же он все-таки такое, этот расточитель щедрот, который «в своей великой силе мог дать, чего б вы ни просили»? Как понимать эти слова, это дыхание тайны?

Светлейшей радости исток,
Он же корень, он и росток,
Райский дар, преизбыток земного блаженства.
Воплощение совершенства.
Вожделеннейший камень Грааль.

...Люди живут в поисках своего «святого Грааля», во имя Истины.

ГЕТТИНГЕНСКИЙ СЕМИНАР

1

В октябре 1977 года группа германистов из Болгарии, Польши, Румынии, Советского Союза и Югославии занималась в Геттингене, в Институте Гёте, проблемами художественного перевода.

Геттинген для русских — не пустой звук. В конце XVIII — начале XIX века в Геттингенском университете обучались молодые русские люди. Здесь были Н. И. и А. И. Тургеневы, Кайсаров, будущие учителя Пушкина — Куницын, Кайданов, Кареев, Пушкиным же воспетый Каверин, гусар. Может быть, своего Ленского, который «из Германии туманной привез учености плоды», не случайно наделил Пушкин «душою прямо геттингенской». Ленский впервые появляется в «Евгении Онегине» во второй главе, Пуш-

кин завершил ее в 1824 году. В том же году в «Путешествии на Гарц» Гейне написал о «знаменитом своими колбасами и университетом» Геттингене: «Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиною». Этого в Геттингене не могут простить Гейне и по сей день, особенно же утверждения, будто у геттингенок слишком большие ноги. Свои письма из Геттингена Гейне помечал: «дыра Геттинген», иногда «проклятая дыра Геттинген». Он жил здесь на Вендштрассе, в голубом особнячке, где сейчас в нижнем этаже рыбный магазин «Нордзее» — то есть «Северное море» — название одного из гейневских циклов.

Все же Гейне был несправедлив к Геттингену: к этому городу стоит повернуться лицом. Здесь жили великие поэты, ученые. К геттингенскому кружку поэтов был близок Готфрид Август Бюргер, автор знаменитой «Леноры», напечатанной в «Геттингенском альманахе муз», и — «Мюнхаузена». В России вокруг перевода «Леноры» кипели литературные страсти: перевод Катенина вызвал нападки Гнедича, Катенина яростно защищал Грибоедов, позже к нему присоединился Пушкин. Жуковский переделывал свой перевод «Леноры» дважды.

Бюргер в Геттингене выступил в поддержку идей французской революции, против посягательства на свободу человеческой мысли. Это было в 1789 году. В том же году Павел I особым уложением запретил всем русским обучаться в заграничных университетах и ввозить в Россию книги с Запада.

В 1805 году, однако, Андрей Кайсаров защитил в Геттингене докторскую диссертацию — «Об освобождении крестьян в России».

Это был человек редкостной духовной мощи, публицист, филолог, автор «Сравнительного словаря славянских наречий» и в Геттингене, на немецком языке, изданной книги — «Славянская и русская мифология».

1812 год застал Кайсарова университетским профессором в Дерпте. Он вступил в действующую армию, при штабе Кутузова создал первую в истории России фронтовую газету «Россиянин». От «Россиянина» тянулись незримые нити к ранним декабристским организациям. Кайсаров погиб в партизанском отряде в 1813 году под Ганау...

Геттинген свидетельствует о таинственном переплетении человеческих судеб, неисповедимых путях истории. Русских геттингенцев здесь помнят, их биографии исследует университетский профессор Рейнгард Лауэр.

В 80-х годах XVIII века среди геттингенских студентов был граф Михаил Милорадович. Впереди его ждала слава: участие в походах Суворова, победы над турками, освобождение Бухареста, Бородинская битва, где он командовал правым крылом 1-й армии... 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга его смертельно ранил Каховский.

В 1792 году в Риге при возвращении из-за границы были арестованы обучавшиеся в Геттингене Василий Колокольников и Максим Невзоров, косвенно связанные с Новиковым. Их достави-

ли в Петропавловскую крепость, где обоих пытал сыскных дел мастер, знаменитый Шешковский. Колокольников умер в заключении, в Обуховской больнице. Невзоров наказанию не подвергся, ему лишь запретили ехать врачом в Сибирь. С 1807-го по 1815 год он издавал журнал «Друг юношества», от которого веяло мрачной религиозной мистикой, печатал слабые многословные победные оды. Геттинген он назвал рассадником крамолы и атеизма.

29 января (10 февраля) 1837 года у смертного одра Пушкина стоял его друг, Александр Иванович Тургенев, член арзамасского братства, выдающийся историк, в прошлом — геттингенский студент. Тургеневу суждено было сопровождать тело Пушкина в Святые Горы. Известно, что царь прислал умирающему Пушкину своего лейб-медика Арендта... Дочь Арендта Генриетта вышла замуж за немецкого врача русской службы Максимилиана Гейне. В 1824 году он получал от своего брата Генриха письма: «проклятая дыра Геттинген»...

В мире все связано между собой, всё и все.

Когда-то я переводил «Балладу о Генрихе Льве»:

Чего так в Брауншвейге встревожен народ,
Кого провожают сегодня?
То Генрих Брауншвейгский уходит в поход
На выручку гроба господня...

Баллада была записана в XVI веке, подвергалась неоднократным обработкам, народная молва сделала Генриха Брауншвейгского героем фантастических приключений. Потерпев кораблекрушение, он расправился с грифом, который «герцога вынес на сушу», оказался свидетелем схватки дракона со львом и — «кинулся льву на подмогу». Лев поклялся служить ему до конца своих дней. Затем следует еще целый ряд невероятных происшествий. Баллада заканчивается словами:

Так герцог, что прозван был Генрихом Львом,
До старости герцогством правил.
А лев, находясь неотлучно при нем,
И в смерти его не оставил.
Не смог пережить он такую беду
И в тысяча сто сорок третьем году,
Теряя последние силы,
Почил у хозяйской могилы.

Герцог Брауншвейгский — Генрих Лев основал Геттинген. Герб города — три сторожевые башни, под ними с поднятой лапой лев, увенчанный золотой короной. Он показался мне давним знакомым...

Отчего тянет к старине, к фольклору? Гёте писал, что в старых народных стихах «таится непреодолимое очарование, подобное тому, какое имеет для стариков образ юности и юношеские воспоминания». К родниковым истокам поэзии припадают, чтобы обрести новые жизненные силы, выслушать суждения, которые выверены временем и поэтому кажутся вечными, незыблемыми...

Геттинген дохнул на меня романтикой старины, чистотой, со-

зерцательностью. Именно этим проняли меня еще в детстве немецкие народные песни, потянули к себе.

Меня иногда спрашивают, с чего началось мое увлечение немецкой поэзией. С Шиллера, с Гейне? Как становятся германистом?.. Я с благодарностью вспоминаю моих университетских профессоров, но первое «ощущение Германии» пробудили во мне не они.

Когда мне было пять лет, в 1926 году, в нашей семье поселилась Иоганна Андреевна Прам, немка, одна из тех «немок», которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей. Это была послереволюционная, последняя по счету разновидность домашних учителей — сочетание «отмененных» революцией бонн и гувернанток с обычными нянями, обладавшими скорее педагогическим инстинктом, чем навыком и образованием. Женщины в основном пожилые и одинокие, они отдавали много души «своим» детям и в постоянном общении приучали их к иностранному языку «без грамматики». Именно на таком условии, чтобы «без грамматики», Иоганна Андреевна, которую мы все звали просто Анни, согласилась меня учить, воспитывать и проводить со мною весь день — с самого раннего утра до вечера, пока не укладывала меня спать.

Жила она в небольшой комнате при кухне, которая в старых домах предназначалась специально для прислуги, и сразу же обставила эту комнату на немецкий лад, с вышивками и изречениями на стене, одно из которых — в рамке, с серебряными готическими буквами на черном стекле — я хорошо помню: «Бог помогает, бог помогал, бог поможет и впредь».

Все это не мешало Анни, может быть с некоторой осторожностью, принимать новые нравы, и, приобщая меня к пасхе, к рождеству, к немецким пасхальным и рождественским песням, она не забывала и о советских, общегражданских праздничных днях, и вместе со своей Анни я вырезал из глянцевой красной бумаги звездочки, вплетал красные ленты в хвойные ветки, чтобы украсить ими комнату к 1 Мая, 7 ноября или же 22 января, который тогда отмечался как День памяти Ленина, и 9 января 1905 года.

Кстати, заглянув в календарь за 1926 год, я установил, что тогда официально отмечались следующие праздники и памятные даты: Новый год, День памяти Ленина, Низвержение самодержавия, День Парижской коммуны, День Интернационала, День пролетарской революции. Днями отдыха также считались: в марте — благовещение, в апреле — страстная суббота и пасха, в июне — вознесение и духов день, в августе — преображение и успение, в декабре — рождество. Религиозные традиции были еще сильны, и над Москвою плыл колокольный звон всех ее церквей...

Однако это отступление, очевидно, мало относится к предмету моей повести, хотя именно в канун праздников, как революционных, так и немецко-лютеранских, меня охватывали особо сильные, хотя и противоречивые чувства, выражаемые мною, естественно, по-немецки. Сидя в комнатенке Анни, скажем, в канун 1 Мая, мы

по-немецки пели «Интернационал» и «Марсельезу», и, надев пенсне, она читала из книжки заранее заложенное специальной закладкой стихотворение или рассказ революционного содержания. И в той же комнатке, в сочельник, мы самозабвенно пели: «Тихая ночь, святая ночь».

От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя долгие десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора.

Я уже тогда совершенно отчетливо представлял себе (видел, слышал), как мимо скалы Лорелеи «тихо Рейн течет», фахверковые дома в старинных городишках, даже их обитателей — у Анни были книжки с картинками. И когда, через целую жизнь, я увидел все это «в натуре», воочию, то испытал скорее радость узнавания, чем удивления.

Среди сказок Анни самой, быть может, трогательной была сказка ее собственной жизни, со сказочной, недосягаемой страной, где в одном старинном городе в маленьком доме жил отец Анни — старый сапожник Андреас Прам и где остались ее добрая старая матушка с двумя дочерьми — сестрами Анни. Я видел эту беленькую старушку и двух ее дочек, двух прелестных барышень, которые существовали в прекрасном, неведомом городе на желтом песчаном берегу моря. Рассказ Анни всякий раз сопровождался демонстрацией единственной цветной открытки с видом старинного города и фотографиями матушки и прекрасных барышень — сестер. Правда, и открытка и фотографии относились к далеким временам. После войны и революции Анни потеряла всякую связь со своими родными, не получала от них писем, не писала им сама и вообще не знала, где они и что с ними. И все же Анни верила, что обязательно еще встретит в этой жизни и свою мать, и сестер, и она пальцем показывала на черное стекло с серебряными готическими буквами.

Анни водила меня на Немецкое кладбище. Недалеко от входа стояла статуя — Гамлет с черепом в руке, на постаменте было написано: «Дар Карла Цитемана». Цитеман был московский богач, Анни когда-то служила у него в доме чтицей при его больной, прикованной к постели жене. Когда жена Цитемана умерла, он подарил Немецкому кладбищу статую Гамлета,— кажется, она там стоит и сейчас.

Мы бродили между могил, замшелых плит, склепов. Я читал немецкие эпитафии, стихотворные заклинания, обещания встретиться в ином, лучшем мире. Однажды у кладбищенской стены Анни показала мне заросшие высокой травой могилы немецких солдат.

Среди песен Анни — по большей части любовных или шуточных — были две солдатские, про смерть: «О Страсбург, о Страсбург, любимый город мой, лежит здесь, похоронен, солдат молодой...», и песня, ночная, жуткая, о том, что рассвет сулит смерть: вчера ты еще гарцевал на гордом коне, сегодня будешь пронзен пулей в грудь, завтра погребен в хладной могиле.

Так я ощутил дыхание военной немецкой смерти...

В Анниных рассказах часто фигурировал персонаж, изображенный на одной из фотографий: плотный, круглолицый мужчина, учитель немецкого языка в классической московской гимназии,— Артур Кох, дядя Анни и ее покровитель, самый близкий ей человек, который увез ее из родного города в Москву, опекал, заботился о ней и учил многим мудрым вещам. Анни то и дело приводила его рассуждения по самым различным поводам, от мелких житейских, практических советов до философских размышлений о том, что добро побеждает зло, о силе милосердия и как важно быть бережливым, не будучи скаредным. Этот Аннин дядя, как она рассказывала, скоропостижно умер перед самой войной, и она, оставшись одна, пошла сперва служить к Цитеману, потом в бонны к купцам Вешняковым, от которых осталось название станции Вешняки, затем жила в семье одного профессора, который куда-то исчез, снова лишилась места, пошла на биржу труда, где встретилась с моей матерью. Много позже кто-то из нашей семьи высказал предположение, что Артур Кох был вовсе не дядя, а возлюбленный Анни. Возможно, так оно и было на самом деле. А спустя еще много лет в какой-то букинистической лавке я нашел истрепанный сборник упражнений по немецкой грамматике, составленный Артуром Кохом.

Анни пробудила во мне «немецкое начало», задела в моей душе какую-то немецкую струну, все остальное пришло потом...

С чего начинается переводчик? Что значит способность воспринимать чужую жизнь, как свою, обмениваться не только языками — жизнями?.. Нации, народы, «языцы» тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их пространство. Королевич бросился вплавь, тогда королевна зажгла свечу, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха черница загасила свечу, и «ночь поглотила пловца»... Кто они, эти злые силы, которые гасят зажженный любящей рукой огонек?.. Но, может быть, переводчики — лодочники?..

Немецкие народные баллады я переводил с особым чувством. Я помнил слова Гейне: «Тот, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, пусть прочтет их народные песни». Я хотел, чтобы немцев узнали с лучшей стороны. Для этого были свои основания.

Когда моя книга вышла, я получил письмо от одной женщины. Она писала, что три года провела на оккупированной территории. Первые немцы, которых она увидела, носили зеленого цвета шинели солдат. Потом пришли немцы в черных мундирах эсэсовцев... У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она прониклась ненавистью, ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народ, видимо, виноват...»

Вскоре я оказался в Кёльне, среди сверстников. Я с гордостью показывал им свою книгу с замечательными, в старинном немецком духе выполненными, гравюрами художника Бургункера. Однако ни содержание книги, ни иллюстрации не вызывали особого умиления. Кто-то сказал:

— Нас от этих стихов воротит. Они напоминают нам гитлеровщину...

Да, их украли у народа: нежную Лилофею, королевских детей, влюбленного мельника, хитроумного портняжку, пляшущего крестьянина, тихое течение Рейна, фахверковые дома с отвесными крышами, леса, темные силуэты на вершинах ступенчатых гор,— украли, оприходовали по ведомству министерства пропаганды. Изо дня в день, из года в год немцам твердили: Германия, родина, кровь, почва.

Они отдали народные песни своей солдатне, превратили в маршевые. Тысячи хриплых глоток ревели: «В глуши зеленой чащи я помню старый дом...» Национальную любовь к празднествам, красочным карнавалам, к площадным действам они использовали для своих истерических массовок и оргий. Они лгали, что очищают национальную культуру от скверны, от зловредных наростов, возвращают ее к чистым истокам, но возвратили ее не к «истокам», а отшвырнули на столетия назад — в ночь средневековых кошмаров. Они покушались на самое сокровенное: на душу народа.

Те, кто поверил им, пошел за ними, пришли: одни в Сталинград, другие — в Освенцим. Убийцами.

Когда кончалась война, в 1945 году, Томас Манн сказал: «Опустившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм выродился в истерическое варварство, в безумие расизма и жажду убийства...»

Прошло более тридцати лет, а святые слова: родина, честь, материнство, народ, почва — все еще вызывают страшные ассоциации. За ними все еще мерещатся силуэты лагерных вышек и крематориев. С идиллических немецких ландшафтов все еще не смыт яд, которым их опрыскали.

В Геттингене одной из первых мы слушали лекцию профессора Фера: «Немцы глазами иностранцев».

В аудиторию вошел элегантный седой господин в сером костюме, с мрачным, серьезным лицом. Он начал так:

— Я родился 8 ноября 1918 года, в последний день мировой войны, и поэтому мои родители дали мне имя Готфрид: бог, мир. Прошло немногим более двадцати лет, почти все мои школьные товарищи погибли в концентрационных лагерях, на полях войны. Мира не было. Был ли бог?.. После войны я объездил все страны Европы, кроме Албании. Бывает, что имя «немец» еще вызывает неприязнь, отчужденность. Это не случайно. Гитлер нанес Германии, немцам такой ущерб, вызвал к немцам такую ненависть, как никто ни к одному другому народу. И от этой травмы мы еще не отделались, хотя стремимся доказать, что мы не те, какими нас, возможно, еще представляют...

Он продолжал:

— В отношении тех или иных народов издревле существуют предвзятости, расхожие, клишированные представления. Например, многие думают, что итальянцы все обязательно едят спагетти, они — «макаронники», датчане все белобрысые. Педантичность, чрезмерная пунктуальность в равной мере считались немецкой добродетелью и немецким пороком. В этих беззлобных клише нет, собственно, ничего обидного. Немцы — это пиво, немцы — это колбаса. В одном английском учебнике немецкого языка тридцать четыре упражнения связаны с колбасой... После двух мировых войн для многих народов немцы стали олицетворением войны, нацией Гитлера, Круппа. В послевоенных английских сказках для детей злодеи всегда — немцы. На это обратили внимание педагоги, пресса, началась кампания против антинемецких настроений, против злобы и недоверия. Искоренить их нелегко... Невозможно, встретившись с французом, избежать разговора о войне, о нацизме. Как выглядит немецкая тема в передачах французского телевидения? Нацизм, война, оккупация, немного старой немецкой классики и крохотный процент — сегодняшняя жизнь в ФРГ. Нечто подобное происходит и в Италии... Голландцы теснее других связаны с немцами, но голландцы жестоко пострадали от немецкой оккупации, это наложило свой отпечаток на то, как они смотрят на нас... К сожалению, Федеративную Республику Германии еще плохо знают, особенно ее культуру. Культурная жизнь у нас рассредоточена, у нас нет культурной столицы, такой, как, например, Париж. Постарайтесь изучить нас, понять. Мы уповаем на литературу, на переводчиков. Мало высоких слов о дружбе, мало одной доброй воли, для взаимопонимания нужны конкретные дела. Чтобы переводить, нужна объективность, нельзя заниматься переводом книг, руководствуясь предвзятостями...

...Первым немецким поэтом, которого я перевел на русский язык, был (если не считать детских упражнений, проб пера) Иоганнес Бехер. Я разыскал его новые стихи вскоре после войны, в газете «Теглихе рундшау». Это были свидетельства об отчаянии, надежде, первых проблесках света. Главная их сила — спасительная горькая правда... С первых послевоенных месяцев в потемках, в немыслимом краю развалин Бехер искал, что еще уцелело от великой немецкой культуры, что еще можно спасти. Он вытаскивал из-под руин, бережно возвращал соотечественникам слово Гёте, фуги Баха, холсты Грюневальда... Он ободрил, привлек к делу возрождения немецкого духа престарелого Гергарта Гауптмана. Он протянул руку поддержки Гансу Фалладе, Бернгарду Келлерману. Он обратился с призывом сотрудничать к писателям, оставшимся в эмиграции,— Томасу и Генриху Маннам, Лиону Фейхтвангеру. Его услышали. Сердце его исходило любовью к немцам, к Германии и леденело от ненависти к фашизму, к обезумевшим от шовинизма жестоким кретинам, которые ввергли немецкий народ в пучину безмерных страданий...

Он говорил: Германия — в сердце...

Гитлер, изгоняя из Германии писателей, ученых, думал, что лишил их Германии. Но Германия была в сердце, они обращались к ней на родном языке, и она, из глубины сердца, отвечала им по-немецки.

Ни один из них — ни Бехер, ни Томас и Генрих Манны, ни Ремарк, ни Брехт, ни Анна Зегерс, ни Вольф — не стал в изгнании ни хуже писать, ни хуже говорить по-немецки. Зато Германия, вернее, то, во что превратилась территория Германии,— третий рейх говорил устами фашистских фюреров, с уродливыми, фальшивыми оборотами речи, шаблонами, варварским произношением.

Бехер звал: спасите немецкий язык от порчи!..

В Германской Демократической Республике Бехер был первым министром культуры, его стихи 50-х годов исполнены предчувствия космической эры, но тогда, в тишине мертвых, неподвижных летних немецких ночей 1945 года, Бехеру слышались слова Якоба Бёме: «И если бы горы стали горами бумаги, и моря — морями чернил, и все деревья — стволами перьев, этого все равно не хватило бы, чтобы описать страдание, существующее в мире...»

Поэт революционного авангарда, спартаковец, один из видных экспрессионистов 20-х годов, Бехер обратился к самым простым, исконным формам: к изречениям, проповедям, тихим народным песням. Он писал: «От таких песенок не следует отмахиваться с высокомерием, свойственным иным литераторам, ибо они, эти песенки, действительно выражают народные чувства, притом самыми народными средствами».

Он стоял среди развалин, среди тишины, и ему казалось, что все немцы, все человечество, весь мир вопрошают:

— Где была Германия?..

И он ответил:

Как много их, кто имя «немец» носит
И по-немецки говорит... Но спросят
Когда-нибудь: — Скажите, где была
Германия в ту черную годину?
Пред кем она позорно гнула спину?
Свою судьбу в чьи руки отдала?

Быть может, там, во мгле, она лежала,
Где банда немцев немцев угнетала,
Где немцы, немцам затыкая рот,
Владыками себя провозглашали,
Германию в бесславный бой погнали,
Губя свою страну и свой народ?

Назвать ли тех «Германией» мы вправе,
Кто потянулся к дьявольской отраве,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке невинным детям
И кровью залил мир? И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!

Но в камерах, в тюремных казематах,
Где трупы изувеченных, распятых

Безмолвно проклинали палачей,
Где к отомщенью призывает жалость,—
Там заново Германия рождалась,
Там билось сердце родины моей!

Оно стучало там, за той стеною,
Где узник сквозь молчанье ледяное
Шагал на плаху, твердый, как скала;
В немом страданье матерей немецких,
В солдатских письмах, в тихих песнях детских,
В тоске по миру — родина жила!

Ее мы часто видели воочью,
Она являлась днем, являлась ночью,
Украдкой пробираясь по стране.
Она в глубинах сердца вызревала,
Жалела нас, и с нами горевала,
И нас будила в нашем долгом сне.

Пускай еще в плену, пускай в оковах,
Она рождалась в наших смутных зовах,
И знали мы, что день такой придет:
По воле пробужденного народа
Восторжествуют правда и свобода
И родину получит наш народ.

Об этом наши предки к нам взывали,
Грядущее звало из дальней дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»
И, неподвластны ненавистной силе,
Германию в себе мы сохранили,
И ею были, ею стали — МЫ!..

Эти стихи я всегда читаю в оригинале и в переводе, когда выступаю перед любой немецкой аудиторией. Я вспомнил их в связи с лекцией профессора Фера...

Что значит: «немцы»? Как понимать слово «немец»?..

В 1941 году, в июле, нацистские летчики бомбили Москву. В большом сером доме в Лаврушинском переулке, напротив Третьяковской галереи, стоял у окна человек. Это был Иоганнес Бехер. Он смотрел на багровое зарево, слушал, как грохочут зенитки. На улице женский голос пронзительно закричал: «Немец бомбит!..»

Бехер подошел к письменному столу. На листе бумаги было написано: «Я — немец...»

Так озаглавлено его ставшее хрестоматийным стихотворение. У нас оно печаталось множество раз.

В 1962 году в Западной Германии вышла книга «На спине ветра. Поэзия свободы 1933—1945», составленная Манфредом Шлессером. В ней есть все, кто пострадал от гитлеризма или боролся против него. Поэты Германии, Австрии, Швейцарии, ФРГ, ГДР, Западного Берлина. Звезды первой величины и стихотворцы не очень известные. В этом сборнике Бехера нет. Впрочем, в книге «Письма немецких классиков», выпущенной в 1969 году издательством Киндлера в Мюнхене, где есть Геллерт и Клопшток,

Лессинг и Виланд, Гёте и Шиллер, Гёльдерлин и Клейст, Новалис и Тик, Гофман и Брентано, где есть даже Анна Луиза Карш, нет Генриха Гейне.

Реакция мелочна и мстительна. Она никому ничего не прощает.

2

Лекции о современной западногерманской поэзии читали на геттингенском семинаре профессора Иорг Древс и Альбрехт Шене.

Иорг Древс — в кожаной куртке, худой, узколицый, с усиками — вошел в аудиторию; не здороваясь, ничего не говоря, мелом написал на доске свое имя, звездочкой пометил год рождения: 1938.*

Он начал с тезиса Эрнста Блоха: «Поэзия есть сгусток прожитого мгновения», затем стал рассказывать о поисках новых форм выразительности, о демократизации поэтического языка, о влиянии биттл-музыки и поп-арта, о попытках новых поэтов совместить индивидуальное «я» с политическим...

По мнению профессора Древса, в поэзии началось некоторое оживление, стихов стали больше писать, больше читать, однако, добавил он, если наступают хорошие времена для поэзии, то, значит, неблагополучно в обществе.

Поэты, стихи которых он разбирал,— Делиус, Урсула Крехель, Юрген Теобальди,— люди примерно тридцати — тридцати пяти лет. Это те, кто пережил смену поветрий, крушение экстремистских иллюзий. Когда читаешь их стихи, ощущаешь странную неустойчивость, кажется, что качается пол под ногами.

Они расстались с герметической метафорикой Айха, Целана, Кролова, прозаизировали язык, но иногда это не те прозаизмы, которые спасают стихи от высокопарной красивости, а серая проза повседневной скуки. Теобальди, например, посвятил большое стихотворение итальянскому блюду — равиоли, дешевой студенческой еде, вроде наших пельменей... Иные стихи напоминают мусоросбрасыватели: в них банки из-под консервов, бутылки из-под пива, объедки, окурки. Интерьер новейшей поэзии — дешевая студенческая квартира, пивная, неуютный накуренный бар. В таких стихах зябко, как в нетопленой комнате. И человек, живущий внутри этих стихов,— продрогший, изнывающий от житейских неурядиц, вялый неудачник.

Можно было представить себе потребителей этой лирики: флегматичных, однако достаточно добросовестных молодых людей. Стихами они не упиваются — вчитываются в них. Но часто вчитываются и вдумываются они в пустоту...

Древс разбирал стихотворение Урсулы Крехель о женской эмансипации. Оно начиналось так: «Анджела Дэвис, дева Мария и я лежим в узких белых кроватях...» Христианская тема присутствовала во многих стихах. Иногда она приобретала неожиданный ультралевый оттенок. Т о т, кто однажды «в белом венчике

из роз», сквозь вьюгу, пошел впереди блоковских двенадцати, превращался здесь в жестокого, озлобленного террориста.

Более всего в этих стихах удручало отсутствие живого чувства, но и заумными их назвать было невозможно.

Теобальди придумал стихи о том, как он вместе с Гёте мчится в машине, включает на полную мощность радио. Гёте, крайне заинтересованный всем, что видит, кричит: «Вперед! На природу!», ломает стеклоочистители, машина вкатывается «на природу», пролетев через деревню, вырывается в поле, Гёте и Теобальди вываливаются из кабины... В чем здесь смысл?

Иорг Древс пояснил: «В уничтожении дистанции между поэтами, в упразднении авторитетов».

Я задал вопрос об отношении к классике, вернее, о взаимоотношениях между классикой и современной поэзией. Профессор вскинулся на меня:

— Что вы понимаете под классикой? Что значит для вас — классическая традиция? Для нас это понятие рухнуло. Гёте почти никто не читает и не изучает. Шиллер практически мертв. Гораздо важнее Шиллера для меня Бюхнер. Сейчас живыми классиками, если уж употреблять это слово, считаются у нас не Гёте и Шиллер, а Клейст, Гёльдерлин, Жан-Поль. Гёльдерлина выпустило издательство «Ротер штерн» («Красная звезда») — заметьте!..

Что ж... Бывают общественные, литературные ситуации, когда одни классики отходят на задний план, уступают место другим, затем возвращаются. Наследие оттого и живое, что не остается неподвижным.

В Геттингене в витринах книжных магазинов я видел уцененные собрания Гёте. Зато возрос читательский спрос на Клейста, на Жан-Поля. Писатели пользуются иногда его утешительной мыслью: «Покуда человек пишет книгу, он не может быть несчастлив»... Из авторов XX века популярнее других стал Герман Гессе. Я бывал во многих профессорских и литературных домах с большими библиотеками, случалось, что разговор заходил о Шиллере, надо было найти то или иное стихотворение. Шиллера, как правило, не оказывалось, долго обзванивали знакомых, пока кто-либо не находил у себя ветхий томик, оставшийся еще от родителей, дедов. Кто, однако, из нынешних западногерманских интеллигентов не завел у себя «Жизнь Квинта Фикслейна» или «Адвоката Зибенкеза» — острые сатиры Жан-Поля?

Классиков можно убить чинопочитанием, парадными чествованиями, тупой школьной зубрежкой, но бывает и так, что усталое общество уже не в состоянии хранить классику, духовные ценности выпадают из его обессилевших рук.

Бессмертие классиков — понятие чрезвычайно сложное. Можно назвать самые высокие имена и не сразу ответить, живы ли они или покоятся в сердцах знатоков. А может быть, они живут в строках новых поэтов, перешли в них?.. Пушкинский «Памятник» отвечает на это со всей определенностью: «И славен буду я,

доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Не — «хоть один человек», не «хоть один читатель», а пиит!.. Хоть один!.. Речь идет о далеком поэтическом потомке, в чьих жилах его, Пушкина, кровь. То же происходит, конечно, и с Шекспиром, и с Гёте, и с Шиллером — с любым из великих. У каждого — многочисленное потомство, на всех материках, во всех странах света...

Из чего создаются стихи?

Профессор Альбрехт Шене (пятьдесят два года, учился в США, Канаде, ФРГ, выдающийся знаток немецкого барокко) построил свою лекцию оригинально. Поэтов он не цитировал, включал кинопроекционный аппарат, на экране появлялись, допустим, Пауль Целан, или Готфрид Бенн, или Гюнтер Айх, читали свои стихи. Экран выключался, Шене комментировал, затем экран вспыхивал вновь.

Возник диктор телевидения, объявил о начале войны во Вьетнаме. После этого экран показал поэта Гергарда Рюма. Он читал сонет, составленный из тех же слов, что и сообщение диктора, но ритмически организованных так, что слова падали на слушателя-читателя, как бомбы на крыши Вьетнама. Это был звуковой эффект, но содержал ли этот эффект поэзию? Может быть, за поэзию принимают любую эмоционально окрашенную речь или же, напротив, существует тенденция к возведению в поэзию газетной и даже канцелярской речи?.. На стихи «идут» рекламные проспекты, расписания поездов, газетные информации — из них выдергивают слова, комбинируют, составляют коллажи... Один из поэтов ритмизовал газетную заметку, помню первую фразу, начало сонета:

Астро —
навт
Арм —
стронг
в мо —
ре
ти —
шины...

Каждый слог сопровождается ударом метронома.

В прежние времена пошлость в поэзии называли рифмованной: она бряцала рифмами, рядилась в пышные метафоры, у нее был возвышенный слог. Ныне пошлость опростилась, приобрела аскетический вид, она «рационалистка» и изъясняется преимущественно верлибром.

Из словесной мешанины выплывает иногда крохотная мыслишка. Это входит в «правила игры».

В конце 50-х годов Ганс Магнус Энценсбергер писал о торжествующей накипи:

Пена цветет, ширится,
захлестнула всю землю.
Накипь забрызгала мир,
и ее не выжжет огонь,
не вырубит меч...

...И что делать с теми,
кто говорит «Гёльдерлин»,
а втайне думает: «Гитлер»?..

Энценсбергера-поэта вызвало к жизни отвращение к накипи, к наглому самодовольству «экономического чуда», к безнаказанности зла. Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много «модолей», заблуждался, но не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мавзолей» — за скромными инициалами А. Г., Ф. Ш., Ч. Д., А. М.— встают фигуры тех, кто украсил собой историю человечества, например Александр Гумбольдт, Фредерик Шопен, Чарлз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие другие... И здесь же — описание жизней, прожитых зря, во вред остальным... Свою поэму «Гибель «Титаника» (1977) он горестно назвал — комедия. Вместе с громадой «Титаника» тонут иллюзии 60-х годов, тонет любовь. Гибнет надежда. У поэта хватило мужества взглянуть на это хотя бы с иронией.

Энценсбергер, как и большинство современных поэтов Запада, пишет безрифменным стихом, но рифма ему, пожалуй, и не нужна. Мысль, уткнувшись в рифму, стала бы куцей; видимо, ей легче переходить из одной нерифмованной строки в другую...

На геттингенском семинаре мне по-новому открылся Пауль Целан, поэт, который числился гражданином Австрии, издавался в ФРГ, а жил и умер в Париже. Я переводил его «Фугу смерти» — скорбное поминание тех, кто замучен в концлагерях, в гетто. Целан в юности познал нацистские преследования, все его родные погибли, образ смерти в эсэсовской форме шел за ним по пятам. Он покончил с собой в 1971 году, в возрасте пятидесяти лет... Теперь он вдруг ожил передо мной на экране — человек с грустным, спокойным лицом. Стихи он читал по книге, отчетливо, медленно произнося каждое слово. Чтобы понять Целана, нужно проникнуть в грунтовые, подземные воды слов. Смысл у него не лежит на поверхности, но его «темная» поэзия противостоит словесной дешевке, истрепанному языку повседневности. У него есть страшные метафоры: мука, перемолотая мельницами смерти, волосы, которые никогда не станут седыми...

Поэт Фолькер фон Терне составил стихотворение из лексических шаблонов третьего рейха... Вначале эти стихи могли показаться скучными, даже дешевыми, но, вслушавшись, я вдруг подумал о пагубном всевластии шаблонов. За каждым из этих словесных клише стояли трагедии и пороки: беспомощность обманутых, обворованных, бесстыдство политиканов, изворотливость манипуляторов, цинизм сочинителей грязных статей. Здесь все слова были преступники: совратители, обманщики, шулера, воры.

В шаблонах торжествовала в л а с т ь т ь м ы — гигантское вторжение невежества во все сферы жизни, вытеснение духовного начала, замещение всегда тонкого по своей природе искусства грубым антиискусством, тупой силой, бездарностью, воинствующей скукой.

В перерыве говорили с профессором Шене о барочной поэзии: он считает ее наиболее близкой сегодняшнему состоянию, восприятию. Коллизии XVII века — это не конфликты между чувством и долгом или между богатством и бедностью, а столкновения исключительные, роковые: между жизнью и смертью, временем и вечностью, войною и миром. Одна из величайших трагедий той эпохи — отсутствие положительного идеала, вернее — какого-либо реального душевного пристанища, кроме веры в бога. Но и вера в бога как в высшую спасительную силу, которая с таким простодушием выражена в стихах Пауля Гергардта:

Но если кажется порой,
Что не пришла подмога,
Свой тяжкий грех молитвой скрой
И уповай на бога,—

подвергается сомнению у Ангелуса Силезиуса:

Бог жив, пока я жив, в себе его храня,
Я без него ничто. Но что он без меня?..

Впрочем, одно-единственное пристанище остается всегда: совесть.

Мы вспоминали Фридриха фон Шпее. Он был иезуит, в его обязанности входило сопровождать на казнь осужденных к сожжению «ведьм». Закончив обряд, он возвращался домой, запершись в кабинете, писал свои стихи бисерным почерком, нумеруя строфы. Сторонники Реформации относились к нему с особой ненавистью: святоша, пособник палачей!.. На его жизнь покушались, он был тяжело ранен, с трудом выздоравливал. В 1631 году по всей Германии разошлось анонимное латинское сочинение «Cautio criminalis». Автор неопровержимо доказывал, что среди осужденных женщин нет ни одной виновной, признания вырваны пыткой. Трактат возымел свое действие, после него сожжение «ведьм», по существу, прекратилось. Автором этого сочинения был Фридрих фон Шпее — поэт. Но есть нечто такое, что выше поэзии,— совесть.

3

В те дни, когда в Геттингене работал наш семинар, Западную Германию трясли политические страсти. Не стихала, а, казалось, наоборот, усиливалась «гитлеровская волна», неожиданный для посторонних массовый, болезненный интерес к Гитлеру. То и дело выбрасывало на рынок обломки, сор «третьей империи»: дневники Геббельса, мемуары Шпейделя, мемуары Августа Кубицека «Адольф Гитлер — друг моей юности», мемуары Германа Гислера «Другой Гитлер», мемуары Х. Ф. Гюнтера «Мои впечатления об Адольфе Гитлере», мемуары Гергарда Бука «Штаб-квартира фюрера», «Три завещания Адольфа Гитлера» — отдельной брошюрой... На экранах шел (шестую неделю! восьмую неделю!) фильм Иоахима Феста «Гитлер. История карьеры». Продавались пред-

меты нацистского обихода. Не было газеты, журнала, иллюстрированного еженедельника, где в той или иной связи не появлялись бы фотографии Гитлера, Геринга, Бормана, Гиммлера, Геббельса, Риббентропа. При желании можно было вообразить, что время круто повернуло вспять, к тридцать третьему году; нацисты в центре общественного внимания: может быть, они уже идут к власти?.. Устроители семинара чувствовали себя неловко, приходилось отвечать на недоуменные вопросы.

Молодой доктор Ш., приложив руку к груди, заглядывая в глаза собеседнику проникновенно-умоляющим взглядом, объяснял:

— Клянусь вам, это преходящая мода, на ней наживаются коммерсанты, не придавайте этому серьезного значения.

Но, как будто назло, одно за другим поступали сообщения: лейтенанты бундесвера, под пение «Хорста Весселя», сжигали картонные таблички с надписью «еврей», молодой злоумышленник водрузил в Западном Берлине на Колонне победы государственный флаг третьего рейха. Нацистские приспешники устраивали эксцессы и в самом Геттингене.

И снова доктор Ш. проникновенно говорил:

— Я сам в отчаянии, но это хулиганство, не более чем отвратительное хулиганство... Поверьте...

Время было непонятное, беспокойное, по тихим улицам Геттингена ползла жуть. Однажды ночью неизвестный вломился в гостиничный номер, в котором жил польский участник семинара, напал на него, произошла потасовка; полиция объяснила, что в гостиницу «забрел» обыкновенный наркоман... Тем не менее из Бонна прибыли представители польского посольства, была направлена официальная нота протеста.

Все это вторгалось в переводческие проблемы, накладывало на работу семинара свой отпечаток.

Беспокойство усиливалось еще одним обстоятельством. Кто-то искусно имитировал нарастание «красной опасности». Вся страна была обклеена плакатами с изображением красных флагов с серпом и молотом, красных звезд, стены испещрены революционными лозунгами, улицы полыхали кумачом... Полиция разыскивала террористов, которые тоже именовали себя красными. Молодые люди в защитного цвета шинелеобразных пальто раздавали прохожим листовки, на которых пылали слова «красное утро»...

Не каждый мог разобраться, чьи руки потянулись к революционным символам. Многим начинало казаться, что вот-вот разразится кризис, катастрофа. В чем спасение?.. Одни тосковали по утраченной силе: Гитлер был, конечно, плох, но все-таки при нем был «порядок». У других сердце холодело от страха: неужели на жизнь снова накинут серую сеть?..

Журналы проводили опросы: стоит ли вводить смертную казнь? Подавляющее большинство ответило: нет...

В стране действовали запреты на профессии. Коммунистов не допускали на государственную службу, увольняли из школ, из театров. Это вызвало широкое недовольство. Об ущемлении демо-

кратии открыто заговорили даже умеренные писатели, ученые, деятели культуры. На них накинулись справа, объявили «симпатизантами», втайне сочувствующими террористам...

Обер-бургомистр Геттингена Артур Леви (социал-демократ) и второй бургомистр Иоахим Куммер (ХДС) устроили в честь участников семинара прием в зале старой городской ратуши. Речь зашла о положении в стране, о защите демократии.

Иоахим Куммер сказал:

— Опыт Веймарской республики показал, что избыток свободы, бесконечные дискуссии, критиканство привели к фашизму. Конечно, были и другие причины, например реваншистские притязания, но главное состояло в глубоком разочаровании в республике, в том, что был решительно подорван авторитет существующей государственной власти, оплеванной, расшатанной со всех сторон.

В какой-то степени эта тема присутствовала и в фильме Иоахима Феста. Я смотрел этот фильм на последнем сеансе, зал был переполнен, хотя фильм демонстрировался уже около месяца, а Геттинген — город не такой уж большой.

О фестовском «Гитлере» много писали, его ругали, кажется, всюду, дурные отзывы о нем я читал и в ФРГ. В соответствии со сценарием, в фильме разыгрывалась трагедия не столько немцев, не столько народов Европы, сколько мистической личности: мечтателя, фантазера, авантюриста, фанатика. Он и сейчас, в этом фильме, возвышался над толпами, над горем и кровью миллионов, над могильным рвом где-то в России, в который падали с обрыва тела убитых выстрелом в затылок (в фильме есть и такой нечеловеческий документальный эпизод). Мерзкая фигура диктатора, ретивого, рьяного, яростного исполнителя злой роли темных социальных сил, возводилась в ранг шекспировского персонажа, он заслонял собой всех.

Но в фильме было и другое. Из цепи событий Фест вырвал, крупно показал сумятицу, предшествующую 1933 году, агонию Веймарской республики.

Эта пора привлекает внимание искусства. В разное время я видел фильмы «Корабль дураков» и «Кабаре». В кривом зеркале «Кабаре» корчилась предгитлеровская Германия, отравленная ядом слабости, нервозности, моральной извращенности, больная, гнилая страна, где персонажи — завтрашние палачи и жертвы и послезавтрашние «фрицы», которые будут стрелять из фаустпатронов, а потом кричать: «Гитлер капут!»; трагедия издерганной нации, которая ждала, искала спасителя, а получила убийцу. В «Корабле дураков» — патологический «сон разума», слепота, самообман, пошлость, злоба, наглеющий, жестокий расизм, гнетущее социальное неравенство.

Корабль, нагруженный такими пороками, не мог не причалить к Гитлеру...

У Феста было иное: он предостерегал от нарушения политического стереотипа. В сопротивлении, которое оказывали прущим

штурмовикам ротфронтовцы, в схватке между красными и коричневыми, в отчаянной попытке левых сил преградить дорогу нацизму он усматривал смуту, состязание «крайних». Тогда победил Гитлер, но кто победит теперь?

Публика расходилась после сеанса молча, одни были озадачены, другие подавлены. В беснующихся толпах, в охваченных эротическим возбуждением женщинах, которые, замерев в экстазе, слушали фюрера или устилали дорогу его автомобилю цветами, молодые люди с ужасом узнавали своих бабок и матерей...

...Интерес к фашистскому прошлому в Западной Германии действительно крайне возрос, но вызван он совершенно различными причинами.

Через тридцать два — тридцать три года после войны в благоустроенных квартирах западных немцев вдруг зазвучало эхо далеких выстрелов, там, в Керченской яме, в Бабьем яру, в балках смерти, в глубине тюремных дворов, в камерах пыток.

Молодежь, словно очнувшись, вопросительно взглянула на старших:

— Кем вы были?.. Кто вы?

Тридцать два года непережеванное, загнанное вглубь прошлое набухало, превращалось в гнойник... Молчали школьные учебники, отмалчивались родители. А литература? Отмеченная большими талантами проза?.. Нельзя сказать, что она молчала. В 50-х годах Вольфганг Кеппен написал свой роман «Смерть в Риме»: фашизм, милитаризм у него мечутся в агонии, но и агонизируя продолжают убивать. В романе Генриха Бёлля «Бильярд в половине десятого» в сплющенном, сжатом времени, во внутренних монологах, «буйволиный» фашизм подтачивает, разрушает не только творения человеческих рук, но и пожирает человеческую душу — агнца. В «Жестяном барабане» Гюнтера Грасса карлик Мацерат выбивает на жестяном инструменте свою «одиссею»: фашизм — уродство, фашизм — извращение... Мы знаем книги Зигфрида Ленца, Мартина Вальзера, публицистику Гюнтера Вальрафа, Бернта Энгельмана. И все же Главная книга о самой трагической полосе в истории немцев создана не была. Много символики, метафор, сложных стилистических построений, действие слишком замедленно...

Об этом говорили и на семинаре: традиции реалистов 20—30-х годов исчерпаны, в их манере сейчас не пишет никто, время эпопей, «просторных» реалистических романов кончилось. Может быть, это и так, но кто не помнит у нас романов Фейхтвангера, Фаллады, Ремарка, пьесу Фридриха Вольфа «Профессор Мамлок», «Седьмой крест» Анны Зегерс?.. Они потрясали своей достоверностью. Позже к нам пришел «Доктор Фаустус» Томаса Манна, он поражал своей глубиной...

Я недоумевал: крупные писатели ФРГ имеют за плечами большой личный опыт, им доступно гигантское множество ценнейших документов, открыта возможность встречаться с какими угодно людьми, причастными к жизни третьего рейха,— используют ли

они эту возможность?.. Почему литература ФРГ почти не коснулась конкретных исторических персонажей, прошла мимо такой страницы истории, как Нюрнбергский процесс?..

Вместо писателей, историков, педагогов на страстный запрос молодежи отвечал рынок. По размаху «гитлеровская волна» могла соперничать разве что с сексуальной.

Однако дело было не только в коммерции. На гребне «гитлеровской волны» к власти рвались реваншисты, крайне правые, оголтелые экстремисты всевозможных оттенков...

Страна переживала какую-то болезнь. Все были всем недовольны... От террористов-экстремистов, от «симпатизантов» с их печеткой порядочностью до старых гитлеровцев.

Страна нуждалась в успокоении. Все маялись...

Каждое утро, приходя на семинар, мы получали кипы газет: «Франкфуртер альгемейне», «Франкфуртер рундшау», "Зюддейче цейтунг", «Ди вельт», "Ди цейт", к нашим услугам были университетская и городская библиотеки (устроители семинара правильно поняли, что переводческое мастерство вытекает из знания жизни, ее примет и реалий). С газетных страниц отрешенно смотрел на людей похищенный террористами председатель союза предпринимателей Ганс Мартин Шлейер, фигура, кстати сказать, политически мало почтенная. Он был без галстука, с припухшим, усталым лицом. В руках он держал табличку: «Тридцать один день под стражей». В левом углу фотографии были две буквы: Б.-М. Кажется, это была его последняя прижизненная фотография.

13 октября я смотрел телевизионную передачу. Бронзоволицый, с толстыми пунцовыми губами негр в смокинге в ритме танго гнул к полу ослепительную блондинку. Вдруг передачу прервали, диктор сообщил, что неизвестные злоумышленники угнали самолет, который с Майорки следовал во Франкфурт-на-Майне... Дальнейший ход трагических событий известен.

И снова перед глазами людей заплясали две буквы: Б-М, и вновь раздались напугавшие всю Европу зловещие имена: Бадер — Майнхоф...

...В июне 1963 года в Гамбурге в поисках материала для очерков я наткнулся на молодежный левый журнал «Конкрет». Он помещался на третьем, кажется, этаже дома на Вильгельмштрассе, над магазином игрушек. В тесных редакционных комнатах все кипело. Журнал делали с задором, с вызовом. Среди всеобщего тогдашнего самодовольства и внешней благопристойности «Конкрет» выглядел задиристым забиякой. В нем было перемешано все: политическая смелость, сексуальная раскованность, хлесткая критика буржуазных нравов.

То и дело приходили какие-то молодые люди, авторский, должно быть, актив: они бредили Брехтом, так и клокотали политической левизной. Магнитофон играл революционные песни. Все это

было для меня тогда ново и неожиданно. Ничего похожего в Западной Германии я еще не встречал.

Вечером меня пригласили к себе домой, как они выразились, в свою «хижину», издатели журнала — Ульрика Майнхоф и ее муж Клаус Райнер Рель.

В отличие от скромного редакционного помещения, загородная «хижина» Релей напоминала буржуазную виллу. Одна комната была обставлена в романтическом средневековом стиле, другая — в ультрасовременном, третья была детской.

Ульрика Майнхоф была красивой молодой женщиной. В ней сочетались острый ум и женское обаяние. Она говорила не торопясь, внимательно и напряженно, с некоторым оттенком недоверия слушая собеседника, готовая к обсуждению, к беззлобному спору. Клаус Рель выглядел несколько возбужденным, нервным, он сразу стал заострять разговор, уводить его от литературы к политике.

Супруги были настроены резко отрицательно к стране, в которой они жили, настолько отрицательно, что казалось, им действительно не остается ничего, кроме борьбы. Их прямо-таки снедала жажда свободы, как если бы они были невольниками. Они горели желанием перестроить мир, мыслили большими категориями, но в их рассуждениях отсутствовало одно важное звено: люди. Человеческие жизни, представляющие собой все же какую-то ценность.

Позднее, переводя стихи Энценсбергера «О трудностях перевоспитания», я вспомнил эту встречу в «хижине», разговоры о необходимости всемирного переустройства.

Все это было б вполне достижимо,
если б не люди...
Люди только мешают,
путаются под ногами,
вечно чего-то хотят,
от них одни неприятности...

Если б не они,
если б не люди,
какая настала бы жизнь!
Как бы нам было легко,
как бы все было просто!..

Мы сидели, разговаривали, ели луковый суп. Ко всему Ульрика Майнхоф оказалась еще искусной кулинаркой... Когда пришло время уходить, она стала настаивать, чтобы я непременно взглянул на ее детей-близнецов. Она приоткрыла дверь в соседнюю комнату, тихо, привстав на цыпочки, наклонилась над двумя белыми кроватками, в которых сладко спали ее малыши...

Спустя несколько лет вся Западная Европа была буквально терроризирована анархистской группой Бадера — Майнхоф, которая именовала себя «Фракцией красной армии». Террористы — выходцы из буржуазных семей, не связанные ни с одной из левых политических партий, ни с рабочим движением, убивали и похи-

щали людей, грабили, совершали налеты на банки. Однажды они пригрозили взорвать Штутгарт.

На улицах европейских городов появились бронетранспортеры, полицейские с автоматами и ручными пулеметами охраняли вокзалы, аэродромы.

Душой террористической организации была Ульрика Майнхоф. В 1972 году страшную террористку схватили. Я видел фотографию этой женщины, неузнаваемо изменившейся, с одутловатым лицом и мутным взглядом. Она покончила с собой в тюрьме...

Теперь, оказавшись в Западной Германии в дни похищения и убийства Ганса Мартина Шлейера, угона самолета с заложниками, загадочного самоубийства в штутгартской тюрьме Штаммгейм Бадера, Энслин, Расне — ближайших сообщников Майнхоф, я вспомнил тот далекий вечер в «хижине»-вилле, малюток, спящих в белых кроватках...

Чем руководствовались эти люди? Что их вело? В чем их злое безрассудство? В чем оправдание и есть ли оно?.. В связи с волной терроризма па Западе возник новый интерес к «Бесам» Достоевского... Нет, я вовсе не склонен считать балованного, пресыщенного Бадера современным немецким Верховенским или даже Нечаевым. Меня занимало другое. Что было бы, если бы, разрушив и размолов старый порядок или, вернее, старый непорядок, Бадер и Ульрика Майнхоф получили возможность установить наконец свою, ими продуманную и разработанную свободу?

Жил в России в 40—70-е годы прошлого века умный человек — цензор, профессор Никитенко Александр Васильевич, сын крепостного, получивший вольную при содействии Рылеева, впоследствии видный критик, сотрудник Некрасова и Панаева. Никитенко был противник всякого радикализма, и многие его суждения невозможно сейчас признать верными. И все же вычитал я у него слова, которые применительно к полемике с теперешними распаленными «радикалами» хотел бы здесь привести.

«Нынешние крайние либералы со своим повальным отрицанием и деспотизмом просто страшны. Они, в сущности, те же деспоты, только навыворот. В них тот же эгоизм и та же нетерпимость, как и в ультраконсерваторах. На самом деле, какой свободы являются они поборниками? Поверьте им на слово и возымейте в вашу очередь желание быть свободными. Начните со свободы самой великой, самой законной, самой вожделенной для человека, без которой всякая другая не имеет смысла,— со свободы мнений. Посмотрите, какой ужас из этого произойдет, как они на вас накинутся за малейшее разногласие, какой анафеме предадут, доказывая, что вся свобода в безусловном и слепом повиновении им и их доктрине. Благодарю за такую свободу!..»

В газетах появилось еще одно сообщение: в городе Заульгау состоялось последнее заседание «Группы 47»; она закончила свое тридцатилетнее существование...

На геттингенском семинаре с докладом о литературной ситуации в ФРГ выступал Дитер Латман, бывший председатель западногерманского Союза писателей, депутат бундестага. Он пояснил:

— Фактически группа распалась давно, она погибла под ударами левого студенческого движения. Молодежь говорила: «Из вас растут железные орденские кресты»... А ведь когда-то «Группу 47» едва не запретили американские военные власти: она казалась чересчур левой...

И снова передо мной возник 1963 год, глубокая осень, маленький баварский городок Заульгау, где все было серое — туманы, серые, под туманы, каменные дома, дымы над крышами. В отеле «Клебер-пост» — очередное заседание «Группы 47»: прокуренный зал; Ганс Вернер Рихтер, как добродушный старый хозяин, гремя колокольчиком, ходил между столиков, созывал на собрание. Это было время его взлета — двадцать пятое заседание созданной им группы, конгресс наиболее видных писателей немецкого языка западных стран. В Заульгау тогда собрались Эрнст Блох, Вальтер Енс, Гюнтер Грасс, Вальтер Хеллер, Уве Ионзон, Зигфрид Ленц, Петер Рюмкорф, Ганс Магнус Энценсбергер, Фриц Раддац; впервые на заседании группы присутствовали гости из Советского Союза, из ГДР — там я познакомился с Иоганнесом Бобровским... В «Группу 47» входили также Генрих Бёлль, Ингеборг Бахман, Альфред Андерш, Гюнтер Эйх, Петер Вайс, Ильза Айхингер... Какое было соцветие!..

Теперь все это отцвело, осыпалось. По газетной фотографии Рихтера трудно было узнать: состарившийся, располпевший, с седой мальчишеской челкой. И под фотографией сообщение о роспуске группы. Как некролог.

4

На переводческом семинаре, конечно, не могли не говорить о мастерстве перевода. Выступали представители Союза писателей и Союза переводчиков ФРГ; профессор Шеффель прочитал доклад — «В какой степени перевод означает интерпретацию оригинала?».

— Переводить,— сказал он,— значит интерпретировать... Лютеру во время перевода Библии привиделся дьявол. Лютер запустил в него чернильницей, в крепости Вартбург и сейчас еще можно увидеть на стене коричневое чернильное пятно... В данном случае дьявол — воплощение дьявольской трудности, которая возникла перед Лютером-переводчиком и которую испытывает, должно быть, каждый из нас. Как преодолеть языковой барьер? Как истолковать подлинник по своему разумению, оставаясь, однако, исполнителем авторской воли? Как сделать перевод явлением своей литературы, своего языка, сохраняя при этом, как того требовал Вильгельм Гумбольдт, едва заметный оттенок чужого? И какова допустимая здесь мера?..

Сам Шеффель переводит французов — Флобера, Пруста, Натали Саррот, но он знаком с немецкими переводами русских классиков. Они производят на него не слишком благоприятное впечатление. Чехова стали хорошо переводить лишь в самое недавнее время, а столь популярный и даже любимый немцами Достоевский — все же в известной степени Достоевский «не подлинный», сильно онемеченный переводом, приспособленный к немецкому языку, а не свободно живущий в нем.

В переводе, наверное, самый тяжкий грех — ложь. Грех перед автором, перед самим собой. Есть ложь преднамеренная, когда чужое выдают за свое и свое — за чужое. Есть ложь невольная — от недостатка знания, главным образом языка. Слово в наши дни, как никогда прежде, обросло множеством дополнительных значений, смысл, заложенный в нем, непомерно разросся. Не проникнув в ядро слова, невозможно интерпретировать текст: переводчик читает его слепыми глазами.

В жизни мне приходилось участвовать в разных переводческих диспутах, всякий раз мы упирали на то, что переводчик — писатель. Все это так. Однако геттингенский семинар напомнил, что у перевода своя, отличительная от всех прочих литературных жанров специфика. Перевод прежде всего — перевод. Перевод — синтез: литературоведения (интерпретация), лингвистики (знание языка, чтение текста на языке) и самостоятельного творчества (художественное воспроизведение подлинника). Это — в теории. На практике же часто одно из звеньев выпадает.

Оригинальный ПОЭТ не обязательно и не всегда может быть хорошим переводчиком, драматург — хорошим актером, а композитор — музыкантом-исполнителем, хотя исключения всем известны (Мольер, Булгаков — актеры, Рубинштейн, Рахманинов, Скрябин — великие пианисты). Но переводчик поэзии в пределах своего жанра, то есть в переводе, оставаться поэтом просто обязан!.. Пишет ли он свои собственные стихи или нет, в данном случае совершенно не важно. Важно, в какой степени проявляется он как поэт в переводе, с какой мерой ответственности относится к своей переводческой задаче.

Большинство наших бед происходит оттого, что нарушаются границы жанра: начинают поэтизировать подлинник, досочинять за автора, фантазировать или навязывать тексту свое истолкование. Самым же бессовестным нарушением переводческой этики является небрежение к подлиннику, забота о собственной литературной персоне. У нас иной поэт-переводчик обеспокоен тем, чтобы его перевод звучал так, как если бы и оригинала в природе не существовало: «звучит как по-русски!»... Но нет! Надо, чтобы не только «как по-русски»! Это почуял такой насквозь русский поэт, как Твардовский, когда писал о Маршаке, что тому «удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, далекого по своей природе от русского...».

Твардовский догадался, в чем здесь секрет:

«Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется не тем, что Маршак искусный переводчик — в поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом,— а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову».

Вот это живое отношение к родному слову, вдохновенное подчинение его «приказу подлинника» и есть поэзия перевода!..

Об организации переводческого дела в ФРГ рассказывали Розмари Титце и Урсула Бринкман. Они говорили, что в ФРГ есть лишь один переводчик с русского, который в состоянии существовать на свой литературный заработок.

Я спросил, собираются ли в ФРГ издавать, скажем, Лермонтова, Тютчева. Мне ответили, что вопрос этот, к сожалению, не столько творческий, сколько коммерческий. Где тот издатель, который рискнет заказать переводы их стихов, где гарантия, что издания будут рентабельными?..

Я встречался с некоторыми издателями... Может быть, я подскажу какие-нибудь имена, книги?.. Я «подсказывал», издатели записывали; стоило, однако, заговорить о поэзии, о классиках, о русских литературных мемуарах, о существовании которых на Западе иногда даже не подозревают, как мои собеседники прятали карандаши. Мало кто верил в успех, они заранее считали, что спроса не будет. Может показаться невероятным, но мне всерьез приходилось чуть ли не упрашивать издать стихи Пушкина, Лермонтова, рекламировать, например, мемуары дочери Льва Толстого — Татьяны Львовны Сухотиной. Я пытался прибегать к самым доступным аргументам: увидите, что раскупят мгновенно, это же интереснее любого приключенческого романа. Один уход Льва Толстого из Ясной Поляны чего стоит!..

Переводчики художественной литературы в ФРГ живут трудно. Как бы они ни любили Пушкина или Тютчева, это их не прокормит. За стихи почти не платят. Переводы прозы оплачиваются гораздо ниже, чем технические переводы... И тем не менее они переводят. Из любви к искусству. Из бескорыстной нежности к слову. Из потребности отдавать прочитанное, полюбившееся неведомому, невидимому читателю...

В Геттинген, на семинар, приехал из Франкфурта-на-Майне Карл Дедециус. Он выпустил отдельной книжкой «Облако в штанах» Маяковского: приставил к русским строчкам свои немецкие — и на глазах у читателя переливается из одного языка в другой живая поэтическая кровь.

Перевод Дедециуса почти неправдоподобно точен и выразителен тоже до крайности. Вслед за переводом и параллельным русским текстом следует немецкий подстрочник и два предшествующих перевода поэмы — Гуго Гупперта и Альфреда Тосса. Каждый

из этих переводов имеет свои достоинства, во всяком случае они достойно соперничают друг с другом, а возможность сравнить их между собой и сопоставлять с русским текстом таит особую радость...

Сейчас стало модным употреблять в отношении переводчиков термины «доноры», «литературное донорство». Высокомерные поэты считают, что жертвуют свою голубую кровь тем, кого они переводят...

Но что значит переводить? Это брать и отдавать. Брать от другого, отдавать от себя. Перевод — это высшая степень литературного бескорыстия, высшая форма понимания чужого языка, чужой души, чужой жизни, понимания настолько, что происходит таинственная метаморфоза: я становлюсь тобой, ты — мной...

У Пауля Флеминга есть стихи:

Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь, в обмен на смерть свою,
Он умер, я воскрес, присвоив жизнь живого.
Теперь ролями с ним меняемся мы снова.
Моей он смертью жив. Я отмираю в нем...

В этой причудливой диалектике — существо переводческого искусства.

Возьми меня всего и мне предайся ты...

На семинаре один день был специально отведен Генриху Гейне. Видимо, не случайно. Известно, что в гитлеровские времена Гейне был запрещен, книги его сжигали; менее известно, что Гейне тайком читали — не только в домах, в некоторых гимназиях на это отваживались даже учителя на уроках. На отношении к Гейне проверялась человеческая порядочность. Пока человек жив и остается человеком, он сохраняет способность противостоять злу. Даже тем, что полушепотом читает стихи запрещенного классика.

Устроители семинара знали, что за границей иногда складывается впечатление, будто в ФРГ запрет на Гейне не отменен до сих пор: конфликты вокруг установлений памятников, борьба за присвоение имени Гейне Дюссельдорфскому университету, которая окончилась поражением. Неприятие Гейне — позорное пятно: расизм, отвращение к свободомыслию, старые счеты с «французским духом». Вокруг Гейне кипит борьба и сегодня. В Дюссельдорфе удалось открыть научный центр — Институт Генриха Гейне, создать общество его почитателей. Стихи Гейне, положенные на музыку Шубертом, Шуманом, Листом, пели певцы и певицы в строгих концертных залах. Сейчас молодые шансонье-гитаристы в прокуренных студенческих клубах кричат в микрофон его тексты — песни протеста.

Профессор Лауэр читал лекцию «Гейне в переводах на славянские языки». В странах Восточной Европы, особенно в России, Гейне всегда был больше чем поэт: символ свободомыслия, борьбы, страдания. Из России Гейне в 80-х годах пришел в Болгарию,

всколыхнув множество свободолюбивых сердец. В Польше Сенкевич называл его «боевым союзником», им зачитывалась Мария Конопницкая. В Хорватии Гейне воспринимался как предшественник новейшей литературы. В годы войны его книги были у партизан Югославии.

Его «Книга песен» вошла в песни народов. Стихотворение «Азра» стало боснийской народной песней. «Красавица рыбачка» — народной песней грузин, «Хотел бы в единое слово...» — известнейшим русским романсом. Его стихи переводили лучшие поэты славянских стран. Профессор Лауэр говорил о переводах Лермонтова, Тютчева, А. К. Толстого, Блока. Из русских переводчиков XIX века он выделил Михайлова, Аполлона Григорьева, из переводчиков наших дней — Тынянова, Левика. Они, с его точки зрения, нашли к Гейне наиболее верный ключ.

Чем, однако, близок Генрих Гейне людям нашего времени? Я думаю, остротой, беспощадностью мысли, насмешкой над напыщенными, бездарными негодяями, над их затянувшимся, постылым всесилием. Сражаться с ними было опасно: расплачиваться приходилось кровью, жизнью. Навязчивый образ у Гейне — «Enfant perdu», боец, который, не выпуская оружия из рук, все же гибнет: «Nur mein Herze brach...» [1]

Говорят: гибну, но не сдаюсь! У Гейне логический акцент перемещен: не сдаюсь, но гибну! Отсюда особый трагизм его горькой иронии.

Нравственная победа почти всегда дается ему ценой физической гибели; например, в «Фортуне» он яростно наседает на саму судьбу:

Я тебя превозмогу!
Я тебя согну в дугу!
Ты вот-вот оружье сложишь...

И вдруг тут же горестное признание:

Но и мне уж не поможешь...

Цель достигнута, но поэт истекает кровью; над ним восходит солнце победы, но голова его никнет.

Я изранен, изможден,
Дух угаснуть осужден...

Час торжества означает час смерти. Таково состояние мира.

В этом мире все шатко: чувства, настроения, истины, объявленные непреложными. Лиризм самых проникновенных его стихов разбивается об ироническую концовку, как лодочник о скалу Лорелеи. Он и почти непереводим потому, что обычные слова содержат у него часто иной, глубоко скрытый смысл. Его ласкательные обращения не поддаются прямому переводу: mein Kind, mein Schatz, mein Liebchen. Если перевести это как «дитя мое», «мое сокровище», «моя любимая», получится слащаво, фальшиво. Блок попробовал перевести mein Schatz как «моя звезда». Но и это

[1] Разбилось лишь сердце мое... *(нем.)*

слишком приподнято, в немецком контексте mein Schatz — грустнее, проще.

Никто не знает, как он, в сущности, выглядел. Фриц Раддац в своей книге «Гейне, немецкая сказка» (1977) подметил, что вне зависимости от возраста его изображали то романтическим красавцем с вьющимися светлыми волосами, то полнеющим тоскливым иудеем, то изможденным старцем, то пышущим здоровьем юношей. И только его посмертная маска передала его подлинный облик: лицо распятого Христа с застывшей на губах улыбкой Мефистофеля. Его звали Генрих Гейне, но в его метрике стоит имя «Гарри», а на его могильном камне начертано имя «Анри».

Гейне открыл закон относительности ценностей в расколотом, разорванном мире. Он установил и другое: великая мировая трещина проходит через сердце поэта...

5

Институт Генриха Гейне в Дюссельдорфе помещается на Билькерштрассе — это всего в нескольких метрах от Болькерштрассе, где стоял дом, в котором Гейне родился. «Этот дом,— писал он в «Книге Ле Гран»,— некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни в коем случае не продавала его. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько чаевых получит от знатных англичанок в зеленых вуалях та служанка, что будет показывать им комнату, где я появился на свет».

Не знаю, побывали ли здесь знатные англичанки, но во время второй мировой войны английские бомбардировщики разрушили именно ту часть дома, где над колыбелью поэта «играли вечерние лучи восемнадцатого и первая заря девятнадцатого столетия». Остался лишь фасад булочной Вейдегаупта с укрепленным на нем барельефным портретом Гейне — инициатива «Союза дюссельдорфских юношей».

В день рождения Гейне, 13 декабря, в 6 часов вечера, на Болькерштрассе, на эстраде перед булочной Вейдегаупта, барабанная дробь наполеоновского барабанщика Ле Грана открывает карнавальное шествие. Движутся гейневские персонажи, от здания ратуши, огненно-рыжая, идет, декламируя свои стихи, дочь палача Йозефина:

Нет, не хочу на суку висеть,
Нет, не хочу в воде тонуть,
Хочу приложить к губам своим
Меч, отточенный богом самим...

Поэт, художник, а также присяжный заседатель в городском суде Гаральд Хюльсман завел меня к себе: его жена шила костюмы для карнавала, и я увидел фригийский колпак и зеленое, распахнутое на груди платье Зефхен...

Всякий раз, когда я бывал в Дюссельдорфе, меня тянуло на Болькерштрассе, и всякий раз, когда я сюда попадал, шел про-

ливной дождь. Приходилось прятаться в расположенном напротив ресторане «Золотой котел» («Goldener Kessel»), где в зале над деревянными стругаными столами возвышается бюст Гейне: молодой человек с упрямым наклоном головы и сосредоточенным напряженным взглядом. Бюст этот имеет свою историю. При нацистах хозяин ресторана держал его в тайнике под полом, так что Гейне находился в подполье в самом буквальном смысле этого слова.

Искушенные в литературе приезжие, наслышанные о том, что Гейне в Дюссельдорфе забыт, указывая на бюст, иногда провоцируют посетителей и официантов вопросом: «Кто это?»

Не избежал этого искушения однажды и я и тут же получил от одного из официантов ожидаемый ответ:

— Какой-то музыкант...

Я едва ли не обрадовался — выходило нечто вроде: «что и требовалось доказать», как другой официант, удивившись моему вопросу, воскликнул:

— Как?! Вы не знаете?! Гейне! Великий немецкий поэт! Он родился в доме напротив...

Напротив я был солнечным летним днем 1960 года. По случаю воскресенья булочная была закрыта, я позвонил. Микрофон, вмонтированный в стену, осведомился: «Что вам угодно?», затем электричество отворило железную калитку. Навстречу мне, пропуская огромного дога, вышел юноша в красном джемпере, без рубашки. Я протянул ему визитную карточку.

Юноша провел меня во двор, расположенный позади дома: там был свален мусор, виднелись остатки фундамента. Юноша остановился и сказал:

— Здесь...

В квартире булочника, в прихожей на стене, под стеклом, висела факсимильная копия — написанные рукой Гейне острым готическим почерком слова: «Город Дюссельдорф очень красив, и, когда вспоминаешь о нем на чужбине, будучи к тому же его уроженцем, как-то чудно становится на душе. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой...»

В прихожей было прохладно, на длинных полках стояли конторские книги, штемпеля, модель парусника. Уютно пахло кондитерской...

К Гейне мое поколение приобщалось перед самой войной. Он и раньше, как известно, был в России популярен, любим, но в конце 30-х годов его в наше сознание внедряли особенно страстно. Имя его было непосредственно связано с именами Маркса и Энгельса. Он был барабанщик революции. К тому же он был непризнаваем, гоним толпою националистов-тупиц.

В ту пору антифашистских митингов, политических процессов, конгрессов в защиту культуры и чкаловских, отдававших стальной оборонной мощью беспосадочных перелетов Гейне был как бы узаконен — в Берлине его сжигают, в Москве он воспламеняет молодые сердца: «Я — меч, я — пламя!..»

В школе я читал свои стихи, посвященные Гейне:

Города Германии, города на Рейне,
Существуют вот уж много сотен лет.
Пел о них когда-то славный Генрих Гейне,
Смелый барабанщик, боевой поэт...

Дальше, помню, обличались «дуры Геттингена с толстыми ногами», «жирный мир колбас» — то есть немецкое филистерство; заканчивалось же стихотворение тем, что «в каменном Париже» «юный красный доктор» — то есть Маркс — «им руководит», им — то есть Генрихом Гейне.

То была лексика времени, фразеология тех лет, которая входила и в школьные классы.

. . . .

...И снова сладостно замирает у меня сердце, когда я думаю о своей 240-й школе на Рождественском бульваре. Недавно я там был, постепенно возвращались, выплывали из небытия вестибюль, гардероб, лестница, коридор с теми же цветами на подоконниках. Все, все осталось: те же классы, та же уборная, куда тайком ходили курить. Даже я остался: хожу, смотрю. Вот через эту дверь можно вылезти на крышу, а потом спуститься по пожарной лестнице на школьный двор... Ах, какие там были обворожительные девчонки, у меня и сейчас сердце млеет от воспоминаний — недавно я увидел одну из них — пожилую женщину под дождем на площади у Белорусского вокзала... Больше никого, кажется, нет.

Я иду по школьному коридору в свой класс. Отворяю дверь. Меня просят повторить, пройти еще раз: не получилось.

— Ну, теперь хорошо... Сядьте за парту...

Телевидение ГДР снимает фильм о Гейне. Я должен рассказать, как в школе научился любить Гейне, приобщившись сначала к его «Лорелее»...

Так оно, пожалуй, и было, я был влюблен в Элечку Туманян и у Гейне в «Книге песен» читал именно про нее, она была прекрасна и безжалостна, как Лорелея, и на меня веяло сладкой истомой от этого Гейне так, что я даже отважился перевести несколько его стихотворений. Эти переводы я огласил на занятиях литературной студии в Доме пионеров среди прочего моего детского стихотворного вздора. Но когда занятия студии летом подошли к концу, наш руководитель Михаил Светлов почти уверенно предсказал, что я стану переводчиком немецкой поэзии. И примерно то же самое сказал другой наш учитель, известный в свое время детский писатель Рувим Фраерман, совершенно равнодушно пропускавший мимо ушей все мои остальные стихи.

Переводчиком немецкой поэзии я стал, но к стихам Гейне, по-настоящему, так и не пробился. Ни одним из своих гейневских переводов я не доволен, хотя продолжал заниматься ими всю жизнь... Гейне, который казался мне когда-то ближе всех немецких поэтов, оказался самым из них недоступным, недостижимым, а может быть, и непостижимым...

На непереводимость Гейне сетовал еще Блок, которого образ

Гейне преследовал, должно быть, всю жизнь. В его записных книжках, особенно 1918—1920 годов, то и дело встречаешь лихорадочные записи: «Жар. Много Гейне», «Ночью пробую переводить Гейне», «Весь день — Гейне», «Весь день я читал Любе Гейне по-немецки и помолодел»...

Из современных ему переводчиков Блок выделял Зоргенфрея, поэта символистского круга, сотрудника Блока по «Всемирной литературе». Ему посвящены «Шаги командора» и несколько лестных отзывов: «В. А. Зоргенфрей хорошо переводит», «Перевод Зоргенфрея, кажется, блестящ...»

Вильгельма Александровича Зоргенфрея сейчас мало кто знает, хотя переводы его возвратились в новые издания Гейне, а иные стихолюбы еще хранят в памяти его куплеты времен голодных петроградских пайков.

Рассказывают, что был он высок, грузен, говорил глуховато, медленно. Изредка грустно улыбался. Замкнутый, добрый человек. Однажды он принес молодому тогда германисту В. Адмони рукопись своего перевода «Торквато Тассо» Гёте с просьбой сличить перевод с подлинником, высказать замечания. На полях рукописи имелись чьи-то карандашные пометки.

— Не обращайте на них внимания,— предупредил Зоргенфрей,— это Александр Александрович.

— Какой Александр Александрович? — встрепенулся Адмони.— Блок?!..

Зоргенфрей кивнул.

— И вы хотите, чтобы я прикасался к этой святыне? — спросил Адмони.— После Блока мое вмешательство лишено смысла...

— О нет! — остановил его Зоргенфрей.— Я прошу вас непременно сверить с оригиналом... Александр Александрович не очень хорошо знал немецкий язык...

Адмони был крайне удивлен. Впрочем, он уверял, что и сам Зоргенфрей, хоть и был из немцев и всю жизнь занимался немецкой литературой, немецким языком владел средне...

Зоргенфрей канул в ленинградскую ночь. Самые последние часы его жизни, оборвавшиеся в 1938 году, нам неизвестны.

Былые, злые песни
Про темную судьбу
Давайте похороним
В большом-большом гробу...

Эти строки его перевода останутся...

В 1956 году 15 ноября умер Георгий Аркадьевич Шенгели, поэт, стихотворец, переводчик. Мне поручили составить некролог, выдали его личное дело.

Шенгели я еще застал: значительное профессорское лицо, седая шевелюра, очки. На собраниях секции переводчиков он вел себя, что называется, активно слушая ораторов, бросал с места реплики. Чаще всего одобрительные.

Когда-то он был изысканным, нежным крымским поэтом.

Мне помнились его строки:

На нас надвинулась иная череда.
Томленья чуждые тебя томят без меры.
И не со мной ты вся. И ты уйдешь туда,
Где лермонтовские бродят офицеры...

В 20-х годах на него накинулись лефовцы. Шенгели бросился на Маяковского. Маяковский рявкнул:

В русском стихе еле-еле
разбирается профессор Шенгели...

Он стал переводить Верхарна, Гюго, стихи Вольтера и Мопассана, издал книгу Гейне «Избранные стихотворения» с предисловием Лелевича.

После войны неистовый ревнитель переводческого мастерства Иван Кашкин ударил по его переводу «Дон Жуана» Байрона. Он покорно перешел на Барбаруса, Лахути и Кару Сейтлиева, а заканчивал жизнь переводчиком туркменского эпоса «Шасенем и Гариб».

В личном деле хранилась анкета, собственноручно заполненная им 13 марта 1953 года, без единой помарки каллиграфическим почерком: 1894 г. р., сын адвоката, город Темрюк, юридический факультет Харьковского университета, русский (дед по отцовской линии — грузин), первый сборник вышел в 1914 году... Далее шли однообразные ответы: нет, не состоял, не был...

Затруднения начались где-то на 3-й странице с вопроса: находился ли он или его ближайшие родственники на временно оккупированной территории? Шенгели добросовестно отвечал: «Я — не находился. Мой дядя по матери В. А. Дыбский, старейший профессор Харьковского университета, оставался в Харькове, где умер от голода, о чем сообщалось в «Правде». Возможно, там находились и его дети и внуки, о которых я сведений не имею...» На вопрос, есть ли у него за границей родственники, сообщил: «Да. Мой племянник Игорь Шенгели, которого я видел лишь младенцем, живет в Бейруте, откуда прислал мне в 45 г. через редакцию «Правды» письма, оставленные мною без ответа». Чистосердечно ответил на вопрос: лишался ли он или его ближайшие родственники избирательных прав? «Я — нет. Моя теща, М. В. Косоротова, 1870 г. р., в конце 20-х гг. на несколько месяцев была лишена избирательных прав в связи с административной высылкой ее сына...»

Я — не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспандор...
(Шенгели. «Гамлет»)

Я — меч, я — Пламя!
(Шенгели. Из Гейне)

В некрологе я написал о вкладе покойного в русскую поэзию и в искусство художественного перевода.

В Институт Генриха Гейне я попал в историческое мгновение: директор — доктор Йозеф Крузе только что за 21 тысячу марок

приобрел в букинистической лавке первое (1815 года) издание «Эликсира дьявола» Гофмана — маленький ветхий том. На обратной стороне обложки карандашом было написано:

«Мне не хотелось бы начинать год со лжи. Однако же дорогому господу богу нашему я бы открыл свою просьбу подарить Вам часть отмеренных мне лет, но, разумеется, не все, ибо все-таки прекрасно жить в мире, где обитают девушки — — — (здесь у меня следуют три черточки) Остаюсь с уважением и преданностью, о моя прекрасная, мягкосердечная Фанни.

Ваш Гарри Г.

01 января 1816».

Это был новогодний подарок, который Гейне сделал своей кузине Фанни, одной из четырех дочерей гамбургского банкира Соломона Гейне, родной сестре той самой Амалии, любовь к которой, зажигая и испепеляя поэта, навеяла ему лучшие строки «Книги песен». Тем не менее Гейне успевал вспыхивать любовным огнем поочередно ко всем остальным сестрам, быть может инстинктивно спасаясь от безответной любви к Амалии.

Нет... Все они рассудительно вышли замуж за солидных людей: Фанни — за доктора медицины Шредера, Фредерика — за банкира Оппенгеймера, Тереза — за юриста Галле, Амалия же отдала свое сердце землевладельцу Фридлендеру...

Еще более ослепительную карьеру сделали единокровные братья Гейне. Густав подвизался при австрийском дворе, получил дворянский титул, его величали Густав Гейне фон Гельдерн, его потомки вышли на верхи венгерской знати, оказавшись в родстве чуть ли не с Габсбургами. Макс (Мейер), тот, кто женился на дочери лейб-медика Арендта, жил в Петербурге, дослужился до высоких чинов, выпустил книгу мемуаров о балканском походе русской армии — «Картины Турции», издавал медицинскую и литературную газеты. Все они, его родственники, были люди инициативные, напористые, оборотистые, и сам он не мог бы, конечно, продержаться без их материальной помощи. И все же, по его собственным словам, лучшее, что у них было, это его фамилия...

Итак, я оказался первым иностранцем, которому выпала честь увидеть еще никому не известный автограф Гейне, к тому же сделанный на первом издании книги Гофмана.

В институте мне показывали гейневские рукописи: обычно — тонким пером, коричневыми чернилами. В Париже, в «матрацной могиле», лежа на низкой кушетке, куда его на руках переносили с кровати, исколотый морфием, он писал преимущественно на широких плотных листах, размашистым почерком, карандашом.

Я прочитал его последнее письмо матери:

«...подставь мне твои милые старенькие губки, чтобы тебя мог от всего сердца чмокнуть твой любимый сын...»

Она пережила его на три года...

За несколько часов до смерти в комнату к нему проник австрийский поэт Альфред Мейснер. Он осведомился, каковы его отношения с богом. Гейне, улыбаясь, ответил:

— Будьте спокойны. Бог простит меня. Это его профессия...

17 февраля 1856 года около четырех часов утра жизнь его угасла.

Два года спустя в России вышел первый сборник Генриха Гейне на русском языке: «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова. Санкт-Петербург, 1858».

Эту книжку хранят в дюссельдорфском институте как реликвию...

В 1858 году Россия переживала вешнее время надежд, ободряющих слухов, вызревания реформ. Шли бесконечные толки о предстоящей отмене крепостного права. Составлялись проекты новых законов, уставов Литературного фонда, Театрального комитета, нового университетского устава.

Оживление царило и в русской литературе. Тургенев закончил «Дворянское гнездо», Гончаров «Обломова», Некрасов «Размышления у парадного подъезда».

Жили, писали Толстой, Щедрин, Тютчев, Островский, Сухово-Кобылин, Аполлон Григорьев, Чернышевский... Вот-вот должен был вернуться из ссылки Достоевский...

Сходились в литературных домах, читали вслух друг другу рукописи новых романов.

Графиня Блудова на обеде прочла стихи Аксакова в честь будущего освобождения крестьян.

Михайловский томик Гейне также принадлежал к знамениям времени. Десять лет назад Жуковский, прочитав Гейне, с ужасом писал о нем Гоголю как о провозгласителе «всего низкого, отвратительного и развратного»... Теперь Гейне стал в России кумиром — произошла переоценка ценностей.

Многие переводы Михайлова живы поныне: «Два гренадера»; «Вопросы», «Женщина»... Они не всегда точны, но передают главное: настроение, интонацию, мысль. Кажется, Михайлов первый внял совету Гейне, который незадолго до смерти сказал французскому германисту Сен-Рене Тайандье по поводу своих стихов: «Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить». И верно. Будь иначе, мы никогда бы не читали: «Во Францию два гренадера из русского плена брели...», не повторяли бы: «Когда-то друг друга любили мы страстно. Любили хоть страстно, а жили согласно...»

На Гейне пошла мода, его переводили, кажется, все, но часто — плохо. Поэт-сатирик Минаев разнес и Фета, и Майкова, и Берга, и Миллера.

Писарев жестоко бранил переводы Костомарова, упрекал его в искажении подлинника. Но Всеволод Дмитриевич Костомаров, племянник знаменитого историка, был повинен в более тяжком грехе: он был доносчиком.

14 сентября 1861 года, ночью, арестовали Михаила Ларионо-

вича Михайлова. Он был доставлен в III Отделение, на Фонтанку. Когда ему предъявили текст составленной им прокламации «К молодому поколению», он понял, кто его выдал. Костомаров приходил к нему просить содействия в своих литературных работах по части самостоятельной и переводной поэзии. Михайлов доверчиво отдал ему то, что, возможно, было важней стихов и переводов.

В литературной среде арест Михайлова вызвал потрясение. Всего лишь полгода прошло с 5 марта, когда на улицах встречные христосовались друг с другом. За всю свою тысячелетнюю историю Россия еще не была так свободна! Пало рабство!.. В Петербург вернулся прощенный Достоевский...

Через два или три дня после ареста Михайлова у издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко собрались почти все петербургские литераторы: как помочь товарищу, что предпринять? Была составлена петиция министру народного просвещения; долго дебатировали, обсуждая текст, просили допустить к следствию депутата от литераторов. Подписалось человек около ста, однако действия это не возымело никакого; вручавших петицию чуть было не посадили на гауптвахту...

Михайлову вменялось в вину, что его воззвание ставило целью возбудить бунт против верховной власти, вызвать потрясение коренных учреждений государства. Особо было отмечено, что «нельзя принять в уважение показание Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственною целью ослабление цензуры...».

Общество недоумевало. Те, кто читал прокламацию Михайлова, по неведению не усматривали в ней ничего опасного, ее открыто передавали из рук в руки, читали при посторонних. И за это может грозить каторга? Даже если — только в одном экземпляре? Но как же так? Ведь — воля. Ведь — эпоха великих реформ. Ведь — весна: «последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином» (Аполлон Майков)... Не николаевские же ведь времена...

Михайлова судил правительственный сенат. Он был переведен в невскую куртину Петропавловской крепости...

Для нас Михайлов — поэт XIX века, классик перевода. В глазах своих судей он был закосневший в своих пороках тридцатилетний молодой человек, злоумышлявший против верховной власти опасный государственный преступник. Его приговорили к двенадцати с половиной годам каторжных работ.

Ранним утром, в четверг 14 декабря (опять 14 декабря!) 1861 года в каземат вошли палач с ножницами и бритвой, кузнец с кандалами, два крепостных офицера. Михайлова обрили поарестантски, заковали в кандалы... Он был дворянского звания, и друзья поэта старались избавить его хотя бы от этой муки. Но генерал-губернатор оставил их просьбу без последствий, заявив, что имеет на сей счет особые предписания...

Генерал-губернатором Петербурга был тогда князь Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, внук Суворова. Когда-то за короткость с декабристом Одоевским его перевели на Кавказ, он

был в опале, но уже в 1830—31 годах отличился при подавлении польского восстания. Став петербургским генерал-губернатором, князь прослыл, в общем-то, либералом.

В юности он обучался в университетах: в Геттингене, в Париже...

Он был незлой человек...

На узкой Галерной улице толпа молодежи ждала колесницу с осужденным. Михайлов сидел спиной к вознице в серой арестантской куртке, в арестантской шапке. В цепях...

В каторге Михайлов продолжал переводить Гейне.

Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал...

Он умер в Сибири, в возрасте тридцати шести лет.

Сообщение о его смерти Герцен поместил в «Колоколе» под возмутительным, как это считалось в жандармских кругах в Петербурге, подстрекательским заголовком «Убили».

Более полувека имя его находилось под запретом.

В замечательной антологии Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (СПб., 1877) множество переводов помечено инициалами — «М. М.». Переводы Костомарова, из отвращения к доносчику, в изданиях Гейне теперь никогда более не публикуются...

6

В программу работы нашего семинара входила поездка по стране: Брауншвейг, Гамбург, города Рейна и Рура; завершалось все посещением Франкфуртской книжной ярмарки. Мне удалось посетить еще и Мюнхен: повидать давних друзей, возложить цветы на могилу Макса!

В 1976 году, весной, я виделся в последний раз с моим другом издателем Максом, который когда-то организовал мне мучительные для него и для меня «потусторонние встречи» с уцелевшими главарями нацистской Германии. Он понимал, зачем мне это нужно: прикасаясь к вершинам немецкого духа, я обязан был знать также бездны, мрачные закоулки и тупики немецкой истории.

Макс был тяжело, безнадежно болен, ценил каждый отпущенный ему день, но считал своим долгом не только прожить этот день, просуществовать как-то, но прожить со смыслом, с пользой для других. Втайне он верил, что именно этим сможет одолеть, пересилить болезнь. Часто он повторял: «Главное, чтобы мы были живы, любили друг друга и оставались людьми». Некоторым эта истина казалась банальной, между тем в ней содержался глубокий смысл: не так-то просто любить друг друга и оставаться людьми, когда кругом воют волки...

Мы ехали с ним в машине, и по всей дороге, прекрасной, солнечной, в зачарованный апрельский день, вырастали на каждом

шагу предостерегающие знаки: «Lebensgefährlich!» («Опасно для жизни!») — желтые таблички с изломанной красной стрелой.

Макс довез меня до гостиницы, обнял, мы распрощались, и я еще раз увидел его в дверях — рыжего, непривычно худого, ставшего вдруг как бы прозрачным. Подняв руку, он с чувством сказал: «Gott mit dir!» («Бог с тобой!»)

Я думаю, что переводчик не меньше, чем оригинальный автор, нуждается в прототипах, в поисках жизненных ситуаций, схожих с теми, которые ему предстоит воссоздать своим пером, на своем языке. Перевод возникает на пересечении двух действительностей — переводчика и автора.

Когда я переводил «Бедного Генриха» Гартмана фон Ауэ, мне иногда виделся Макс... И я спрашиваю себя: так ли уж далек XII век от XX?..

Мы приехали в Вольфенбюттель, в библиотеку герцога Августа, снаружи, да и, пожалуй, изнутри, чем-то похожую на храм. В этой библиотеке некогда работал Лессинг, и здесь, в Вольфенбюттеле, он написал те два письма, которые есть не что иное, как документ человеческого мужества, ума и силы духа: горестное утешение в худшем из бедствий.

Первое письмо было написано в новогоднюю ночь, 31 декабря 1777 года:

«Мой дорогой Эшенбург,

поскольку моя жена лежит без сознания, пользуюсь минутой, чтобы поблагодарить Вас за Ваше дружеское участие. Радость моя была непродолжительна, мне так не хотелось его потерять, этого сына, он был так умен, так умен. Не думайте, что недолгие часы моего отцовства сделали меня слепо любящим отцом, я знаю, что говорю. Разве не служит доказательством его ума то, что его удалось вытащить на этот свет лишь с помощью железных щипцов? Что он сразу же заметил подвох? Разве не служит доказательством его ума то, что он воспользовался первой же возможностью снова покинуть этот мир? Правда, этот маленький озорник хочет увести за собой и свою мать, ибо надежды, что мне удастся ее сохранить, почти нет. Однажды мне, как всем другим людям, захотелось узнать простое человеческое счастье. Но мне это было не суждено.

Лессинг».

И десять дней спустя, 10 января 1778 года, второе письмо, тому же Иоганну Иоахиму Эшенбургу:

«Дорогой Эшенбург,

моя жена умерла. Мне и через это суждено было пройти. Я поистине рад, что таких ударов мне уже больше не предстоит. Это очень утешительно. Кроме того, мне приятно, что я могу не сомневаться в Вашем и остальных наших друзей в Брауншвейге дружеском участии.

Ваш Лессинг».

Я знал, почему вчитываюсь так в эти письма. Я жил, застыв то ли в ужасе, то ли в надежде... Всего несколько месяцев тому назад я услышал страшный диагноз. Она должна была погибнуть, она была обречена. Операция сделала чудо — ее спасли. Я оставил ее в Москве не просто вернувшейся к жизни — расцветшей, она вновь ожила, цвела — долго ли продлится ее цветение? На этот вопрос никто не хотел отвечать. Каждые три-четыре дня мы перезванивались, она была в превосходном расположении духа, бодра, нагружала меня милыми забавными поручениями, ждала... Она же сообщила мне, что скоро должен выйти наш «Рейнеке-лис» — вещь, наиболее ею любимая...

...В библиотеке в Вольфенбюттеле на полках белели корешками старинные фолианты, инкунабулы.

И вот я держу в руках нашего «Рейнеке-лиса», народную поэму XV столетия, том в переплете из белой телячьей кожи, листаю хрупкие страницы старинного текста, вижу слипшиеся строчки, как бы врезанные в текст гравюры: дурашливый самодовольный лев, избитый мужиками кот Гинце, потешная сцена так и не состоявшейся казни хитроумного Рейнеке.

Никогда я так не ощущал значения слова «подлинник», его сладости: подлинное, истинное.

Подлинный «Рейнеке» носил длинное, во весь титульный лист, название:

Хитроумный Рейнеке-лис

Сие есть весьма преполезная, столь же забавная, сколь и поучительная книжица, в коей обиходным, однако любезным манером под личиною льва, медведя, лиса, волка и прочих зверей примечательно изображены и живыми красками обрисованы жизнь и суть придворного, а также всех прочих сословий не токмо в свете их добродетелей, но более того в свете владеющих ими пороков.

В 1975 году в антикварной лавке в Бухаресте я случайно наткнулся на позднее, уже середины XIX века, издание этой книги, стал читать и тут же с увлечением принялся за перевод. В древней поэме яростно клокотал неистовый народный темперамент. В недрах раешного стиха слышался гул возмущения, надвигавшейся Реформации и Крестьянской войны. Балаганный немецкий стих — книттельферз — родила раскрепощенная народная душа.

Что, собственно, означает ритм, как не биение сердца, перешедшее в стих?

Гёте в своей поэме-пересказе загнал юркого Рейнеке-лиса в гекзаметр. Раешный, ярмарочный книттельферз он приберег для другого: книттельферз угадывается в стихе, которым написан «Фауст». «Faust-Vers» — не что иное, как материализованный в ткани почти раешного стиха ироничный и трезвый разум народа, который торжествует над всеми коллизиями, философскими исканиями и нравственными выводами Фауста.

Не случайно, видимо, книттельферз в наши дни избрал для пьесы «Марат-Сад» Петер Вайс. Над хаосом, над суесловием, над суетой, над мучительными и кровавыми распрями, поисками «абсолютной истины», над абстракцией хохочет книттельферз — здравый народный смысл в балаганных лохмотьях райка.

Признаюсь, более всего я люблю переводить этот рожденный в народной утробе немецкий стих. Современных, пишущих голым верлибром поэтов я перевожу редко, они мне даются с трудом. С рифмованным немецким стихом мне жаль расставаться. Помню, как почти физически ощущал силу рифмы в поэзии барокко, особенно в сонетах, где неумолимая рифма замыкала строку: приговор, не подлежащий обжалованию. В народных балладах, в лирике вагантов, в стихах раннего Шиллера рифма привносила в хаос и сумятицу жизни гармонию, блаженное умиротворение. В «Лисе» рифма была током, от нее слова как бы отпрыгивали, перебегали в следующую строку. В спотыкающемся ритме, в набегающих друг на друга словах, увенчанных рифмой-погремушкой, таилась музыка великого карнавала — жизни...

На этот раз, встречаясь с западногерманскими поэтами, я задавал всем без исключения один и тот же вопрос: почему вы избегаете рифмы?..

Одни говорили, что немецкая рифма себя изжила, другие объясняли это внутренним диссонансом.

В Дюссельдорфе поэт и рисовальщик Рольфрафаэль Шреер, острый, думающий человек, пытался втолковать мне:

— Рифма сохранилась только как средство иронии или в шансоне. Я не вправе рифмовать. Если я рифмую, то, значит, сознаю себя хозяином положения, а я таковым не являюсь. Я не хозяин даже собственной речи!.. На каждого из нас льется такой поток информации, что мы не в состоянии его ни осмыслить, ни подобрать для него нужные слова. Стоит кому-нибудь кашлянуть на другом конце света, как радио, телевидение тут же доносят до меня этот кашель!..

Он говорил о переизбытке информации как о серьезной человеческой драме; я добросовестно слушал его, но понять не мог.

В Эссене, после того как нас провезли через весь прокопченный, продымленный, угольный Рур, для участников семинара устроили встречу с писателями округа Оберхаузен — Эссен — Гельзенкирхен. Это были профессиональные писатели рабочего Рура: поэтесса Лизелотта Раунер, старый горняк, поэт и прозаик Иозеф Бюшер, слесарь, поэт Рихард Лимперт, поэт, преподаватель физкультуры в школе Герберт Сомплецки, руководитель городской библиотеки, поэт Гуго Эрнс Койфер. Нам вручили биобиблиографические справочники о писателях земли Северный Рейн — Вестфалия: «Они пишут между Падеборном и Мюнстером», «Они пишут между Гохом и Бонном», «Они пишут между Мерзом и Хаммом»... Именитые и почти безвестные авторы представлены здесь как собратья по перу, равные перед судьбой и литературой: фотография, краткое жизнеописание, сведения о литературных пре-

миях (от Нобелевской до премии вечерней газеты), отрывок из произведения, домашний адрес, номер домашнего телефона, писатель о себе — несколько слов...

В тот вечер мы говорили о важных вещах. Как преодолеть глупость, неподвижность мысли, умственный застой, переизбыток «холестерина» в мозгах?.. Подобно тому как от обжорства и неподвижности страдает организм человека, так неподвижность мысли, ожирение ума способны привести общество на край катастрофы.

Когда снова вернулись к литературе, я все же не удержался, задал свой вопрос: отчего пишут без рифмы?..

Это вызвало оживление.

Они считают, что это идиосинкразия: в третьем рейхе слишком много было рифмованной лжи, складных лозунгов, складных изречений среди нескладной, чудовищной жизни.

Лизелотта Раунер ответила:

— В 1945 году мы сказали: «После Освенцима стыдно писать стихи».

Она перефразировала изречение Теодора Адорно: после Освенцима невозможно заниматься литературой. Я хотел было возразить ей, но она продолжала:

— Да. Стало вдруг противно. Освенцим, скелеты, тюки с женскими волосами — и вдруг мы, узнав об этом, глядя на это, должны изъясняться стихами, хореями, ямбами, анапестами, когда все внутри сломано!.. Какая может быть мелодия, когда внутри — скрежет?..

...В Бохуме меня пригласили выступить перед студентами-русистами, почитать свои переводы... Я часто слышал, что нынешняя западногерманская молодежь стихов не любит, а классическую поэзию — и вовсе.

Я начал с того, что рассказал им о себе, о Москве, о первой встрече с немецким языком... Моя студенческая жизнь прервалась через двадцать семь дней после того, как меня, выдержавшего труднейший вступительный конкурс, приняли в Институт истории, философии и литературы: началась вторая мировая война, нас призвали в армию... Это и был мой первый настоящий университет — шесть с половиной лет, шесть курсов. В огромной солдатской семье, собравшейся со всех концов страны, я постигал жизнь, ее смак, ее горечь. Я вбирал в себя русскую речь, которой не обучишься ни на одном факультете, постигал вес русского слова, его вкус, бесконечность его оттенков...

Вот они, мои любимые немецкие стихи по-русски. Я стал читать их: Шиллера, Гюнтера, Флеминга, Гергарта, Гейне — по-немецки и сразу — в переводе, по-русски.

Я посмотрел на аудиторию: они жадно слушали, многие стихи они узнавали впервые. Меня просили читать еще и еще, и я приводил к ним их же, немецких поэтов, с их тоской, с их страстью... Мне показалось, что — пусть на минуту — стихи этих старых немцев сблизили всех, сплотили, коснулись каких-то затаенных струн.

Что-то, значит, трепещет в людях, если они в состоянии вдруг притихнуть, замереть, принизиться перед вечной поэзией? Может быть, она, выражаясь словами русского поэта, и есть как жизнь: «растворенье нас самих средь всех других, как бы им в даренье»?.. Да и не в том ли назначение перевода?..

Но если бы я сейчас сказал только об этом, меня бы не поняли или бы не согласились со мной, потому что все было накалено и насыщено не поэзией, а политикой: поэзия, перевод, семинар, даже это мое выступление.

Я говорил с ними откровенно, серьезно. История человечества есть история борьбы за свободу и история борьбы против свободы. Мир захлебывался в крови, горел в войнах. Люди уповали на власть слова, которое сильнее власти денег. Геттингенский публицист и сатирик, который был также знаменитым физиком, Георг Кристоф Лихтенберг писал, что «больше, чем золото, мир способен изменить свинец, но не тот, который находится в ружейном стволе, а тот, что лежит в наборной кассе печатника». Но если это так, то, может быть, и от нас зависит, на что именно пойдет свинец из наборной кассы?.. Надо учиться думать, сопоставлять, вытравить из сердца вражду, злые предубеждения... К этой мысли меня самого все возвращал долгий геттингенский семинар.

Через три месяца меня вновь пригласили в Бохум.

Было начало января 1978 года, в окнах еще горели рождественские елки. После затянувшихся праздников люди медленно разминались, возвращались к своим делам — из гостей, из загородных путешествий. Страсти, которыми жила страна в октябре, как будто бы улеглись. Притаились разыскиваемые полицией террористы, с экранов сошел фильм о Гитлере, еще не прочистили горло завзятые крикуны.

Все было тихо. И в этой тишине, в тягучем предрассветном сумраке, над крышами, над переплетениями железных и шоссейных дорог, над людскими жизнями вставал, выплывал из темноты вопрос: а что же дальше?

СЛОВО СКОРБИ И УТЕШЕНИЯ

1

Ночь... Все вырублено, выжжено, перебито. В темноте на ощупь бреду, ищу заступников, сочувствующих, слов утешения. В этой мгле набрел на свои переводы Андреаса Грифиуса, других поэтов Тридцатилетней войны — Гофмансвальдау, Опица, Флеминга... У них противостояние скорби — дух.

Вот они теснятся передо мной, мои поэты, мои друзья. Чтобы спасти.

Смею ли, однако, искать спасения, помощи, потеряв ее? Ведь клялся же, кричал, что теперь — ничего уже больше не страшно, не нужно уже ничего.

Нет. Страшно. И — нужно... И от этого еще страшнее.

Ночь. Все происходит ночью.

Была ночь на 5 января 1621 года. В Силезии над городом Глогау бушевала метель...

Но сначала была ночь с 1 на 2 октября 1616 года, когда появился на свет Грифиус. Понедельник вбирал, всасывал в себя уходящий воскресный день. Грифиус родился в тот миг, когда часы начали бить полночь. Считалось, что это дурной знак.

Прошло менее пяти лет. В Глогау вступал «зимний король» — Фридрих V, разбитый войсками Католической лиги под Прагой, у Белой горы. Королевская свита потребовала от протестантской общины сдать драгоценную серебряную утварь. Во главе общины стоял отец Андреаса Грифиуса — архидьякон Пауль Грифиус.

В ночь на 5 января 1621 года над Глогау бушевала метель. В завывании метели архидьякону отчетливо послышалось слово с м е р т ь. Он сказал об этом жене.

Существуют ли вещие сны, голоса, знаки, приметы? Или все нашептало предчувствие, как злой доносчик?..

На рассвете Пауль Грифиус умер — от приступа удушья, внезапно. В городе распространился слух, что архидьякон отравлен.

Это была первая смерть, которая вошла в жизнь Андреаса Грифиуса. Первый удар. Может быть, в ту ночь в нем впервые забрезжил поэт: там, где другие теряли все, он обретал. Скорбную мысль. Силу духа.

Мы шли друг другу навстречу триста пятьдесят лет. Я знаю жизнь Грифиуса в подробностях и могу о ней рассказать. Но еще рано.

Я расскажу, как впервые услышал название Г л о г а у.

На дне картонного ящика — мой армейский архив: письма родителям, школьным друзьям, стихи. Я не прикасался к ним почти тридцать лет. Перебирая этот архив в августе 1978 года, в одном из писем к матери, присланных из Маньчжурии в августе 1945 года, нашел описание переправы через Амур, окрашенный, когда я тогда писал, «розовыми, вечерними красками». Среди тех, кто толпился на берегу,— «парень-сержант из частей, только что отвоевавших в Германии. На груди — полный набор медалей, он подпоясан трофейным ремнем, на пряжке надпись: «Gott mit uns», из-под пилотки чуб, немыслимая для нас, дальневосточников, вольность. Он подошел к мне, попросил закурить и лихо стал рассказывать, как брал Глогау...».

Прочитал — и вспомнил страшное, до замирания сердца, ощущение п е р е п р а в ы на тот, другой берег, «в мир иной». Действительно, в иной мир...

Случается: вдруг так ясно, так властно предстает перед человеком вся жизнь. Начинаешь ее видеть, кажется — можешь дотро-

нуться рукой до каждого денька, денечка. Но все это — за толстенным стеклом... За стеклом...

Вот что было с Андреасом Грифиусом между 1621 и 1634 годами, вот что он вынес. Есть люди, за которыми несчастья гонятся, как своры псов: догоняют, рвут...

Спустя год после смерти отца мать Грифиуса вышла замуж за учителя местной гимназии Эдера.

Вскоре гимназию закрыли по требованию иезуитов.

Через Глогау тянулись колонны ландскнехтов. С шумом и грохотом занимали дома, становясь на постой. Раздавалась стрельба, крики. То и дело вспыхивали пожары. Между тем это было всего лишь начало Тридцатилетней войны: первое шестилетие.

В город ворвался драгунский полк. В доме Грифиуса драгуны разграбили библиотеку отца, перешедшую к отчиму. Мальчик запомнил руки, рвущие книгу.

21 марта 1628 года умерла мать Грифиуса.

Сила, насилие отняли: отца, мать, книги, дом, школу.

Насилие отнимало веру.

Поддержанные драгунским полком, местные иезуиты осуществляли массовое перекрещение. Протестантам предлагалось добровольно возвратиться в лоно католической церкви. Многие возвращались.

Насилие несло с собой ложь.

В Глогау жила сводная сестра Грифиуса, жена торговца. Когда она родила сына, она крестила его по католическому обряду. Однако втайне в семье исповедовали протестантскую веру. Чтобы не посещать католическую иезуитскую школу, мальчик учился дома.

Иезуиты действовали последовательно, неумолимо, давили, брали, прибирали к рукам власть, жизнь, жизни.

Убежденных протестантов изгоняли из города, большинство перебралось в соседнюю Польшу. На вывозимое имущество налагалась громадная пошлина. В случае неуплаты дети не могли следовать за родителями.

Учитель Михаэль Эдер направился в деревню Дрибиц — пограничное местечко, расположенное уже на польской территории. Грифиуса он взял с собой. В Дрибице учитель стал пастором.

...Представим себе этого человека. Высокий, сутулый, внутренне распрямившись, он покидает свой родной город, чтобы даже формально не подчиниться насилию, не потворствовать ему, не поступать вопреки своим убеждениям. Приходит в какую-то польскую деревню с малышами, с пасынками.

Человеку с юности нужны высокие примеры, поступки, достойные подражания. Их нельзя навязать. Хорошо, когда первой школой благородства является родительский дом, когда чувство собственного достоинства вырабатывается в подражании отцу, матери, друзьям дома. Намного трудней тем, кто вынужден совершенствоваться потом, в течение долгой жизни, не имея соответствующей подготовки с детства...

В 1629 году Михаэль Эдер женился на Марии Рисман, восемнадцатилетней дочери королевского судьи в Глогау, образованной и набожной девушке. Она любила музыку, поэзию, в доме собирались, дивно пели псалмы.

Но в этом доме поселилась смерть.

Брак Эдера и Марии Рисман длился всего шесть лет, в течение которых шестеро их детей либо умерли вскоре после родов, либо рождались мертвыми. Для Марии Рисман Андреас Грифиус стал собственным, родным ребенком. И она заменила ему мать.

Она умерла, не дожив до двадцати пяти лет. Свои первые латинские сонеты Грифиус посвятил ее памяти.

Это было время всевластия смерти... В Силезии бушевала война. Две враждующие армии разоряли страну. С лица земли исчезали деревни, на пару сапог можно было выменять дом. Поля заросли сорной травой. Сгорел Глогау. Ордам наемников сопутствовали голод, эпидемии — чума, тиф. За городскими стенами возводили чумные бараки, рыли могилы.

Летом 1632 года стоял невероятный зной. Землю сушило, жгло. Полураздетые, гонимые голодом и жаждой люди бродили по мертвым от зноя улицам.

Мертвецов не хоронили по четырнадцать дней. Не хватало гробов. Гроб можно было купить у солдат за 30—50 дукатов. Солдаты по ночам пробирались на кладбище, к свежим могилам, выкапывали гробы, перепродавали.

Для чумы не существовало государственных границ. В Бреславе она уничтожила половину населения. Вторглась в Польшу.

Тысячи людей умирали. Медики лишь беспомощно разводили руками. Внезапно разнесся слух, что найдено спасительное снадобье. Найдено или будет найдено вскоре... Вспыхнула надежда. Те, кто еще не заболел, молились: только бы дотянуть до появления чудесного зелья!.. Кто мог знать, что возбудитель чумы откроют лишь в 1894 году и что лишь в середине XX века начнут применять более или менее эффективные средства?..

Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния.

Он учился в гимназии во Фрауштадте, нынешнем Вшуве, жил в семье врача Карла Отто: был здесь чем-то вроде репетитора.

В декабре 1632 года в один и тот же день от чумы умерли жена доктора Отто, двое его сыновей, обе дочери. Сам Отто потерял слух, паралич навсегда приковал его к постели...

После долгой осады пал Магдебург — одно из самых трагических событий Тридцатилетней войны. Озверевшие солдаты Католической лиги ворвались в город.

Сто пятьдесят лет спустя, в своей «Истории Тридцатилетней войны», Шиллер писал о гибели Магдебурга со страстностью очевидца:

«Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь перед человечеством. Оставшиеся в живых выползали из-под груд трупов, дети, истошно вопя, искали родителей, младен-

цы сосали грудь мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более шести тысяч трупов; неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне; общее число убитых простиралось до тридцати тысяч...»

Говорят: печальная история. Скажем иначе: история печальна.

В гимназии, где учился Грифиус, поощряли стихотворчество, ораторское искусство. Грифиус писал латинскую поэму — о Вифлеемском избиении младенцев. Он читал школьную проповедь — о разрушении крестоносцами Константинополя.

Что значит — жизненный путь? Для одних это — постепенное нисхождение в могилу, для других — восхождение к вершинам духа, познания, самосовершенствования.

Отчим внушал: в бедствиях надо искать спасение в самом себе.

Бывает камнепад. На голову человека судьба обрушивает беды одну за другой, как град камней; кажется, им не будет конца, никогда не встанешь. Град камней способен размозжить голову, но не в силах сокрушить дух. Грифиус уже тогда был свободным человеком, свободной личностью оттого, что победил в себе зависимость от роковых обстоятельств, даже от смерти. Он яростно писал сонеты, короткие, в четырнадцать строк, выкрики. Ему было восемнадцать лет, когда он уходил, уплывал из охваченного войной и чумой Фрауштадта по Одеру в Данциг...

На камнях Европы до сих пор лежит тень исчезнувших империй, владычеств. Трудно поверить, что Испания владела Нидерландами, что Вена — столица австрийских Габсбургов — приводила в трепет народы, что существовала Османская империя и — до сравнительно недавнего времени — турецкое иго, что в Тридцатилетней войне, где, убивая Германию, дрались между собой немецкие католические и протестантские князья, участвовала не только Франция, но и грозная Дания, но и могущественная Швеция...

То было время двуличия, двойной, тройной игры, тайных переговоров, лжи во всем. Среди сумятицы, интриг, политических комбинаций и расчетов, которые сплелись в страшную стальную паутину, бились человеческие жизни и метался так называемый человеческий дух, к которому политика была совершенно безразлична. Дух был не ее сферой...

Первой заграницей для меня была Маньчжурия, встреча с Европой произошла чуть позже. В армию меня призвали 27 сентября 1939 года, нас везли в теплушках восемнадцать дней, 15 октября выгрузили на небольшой тупиковой станции. Помню белокаменное, дореволюционной постройки здание вокзала и яркое, кумачовое морозное над ним зарево. Это был Благовещенск-на-Амуре, крайняя точка на границе с оккупированным тогда Китаем, с Маньчжурией, именовавшейся в ту пору Маньчжоу-Го... На той стороне, на другом берегу Амура, горели тусклые огоньки «заграницы»: город Сахалян-Хэйхэ.

На Амуре служили долго. Это была огромная, застоявшаяся армия. Служили в одних и тех же частях по шесть, даже по семь лет, в сопках.

Мы именовались Дальневосточным фронтом, то есть считались как бы фронтовиками и находились тоже как бы на передовой. И все же быт был скорее гарнизонный, казарменный, построенный в соответствии со строевым и дисциплинарным уставами. Мы размещались в казармах, офицеры жили в городке со своими семьями. Работал ДКА — Дом Красной Армии... Это был самый глубокий тыл советско-германского фронта и передовая линия Дальневосточного фронта, еще не вспыхнувшего, молчавшего, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.

Бездействующая армия отличается от действующей не столько благополучием, сколько крайним напряжением нервов. Армия находилась не на отдыхе. Ее держали в напряжении приказы, строевая дисциплина, строгая обстановка границы. Перед нами стоял противник. Но гласно его не называли. Как должен был воспринимать дальневосточный солдат обращенный к нему с каждой газетной полосы лозунг: «Смерть немецким оккупантам!»?..

Поздно вечером 8 августа 1945 года по радио вдруг передали почти забытые песни времен Хасана и Халхин-Гола о самураях. Потом зазвучал вальс «На сопках Маньчжурии»... Через несколько часов начались военные действия против Японии...

Я перечитывал свои армейские письма, пылкие клятвы: «ваш и навсегда ваш», «ваш всегда и везде», заклинания, что непременно, обязательно, вопреки всему вернусь. Иногда это сопровождалось цитатой из Твардовского, Алигер, Антокольского, Симонова, из шульженковских и утесовских песен. Некоторые письма родителям были выдержаны в духе публицистики армейских газет, попадались и такие фразы: «Спасибо вам за письма, за заботу, за ваше повседневное, неослабное внимание...», «В дальнейшем я прошу подробнее, детальней и конкретней сообщать о себе...» Пейзажные зарисовки выглядели так: «На улице — лютый мороз, без снега. От страшного холода стоит туман, и луна, как ломтик лимона, кажется вмерзшей в фиолетовое бездонное небо».

Я читал эти письма, видел свое отражение как на дне колодца глубиной в тридцать пять лет...

В армии я писал стихи, печатал солдатскую лирику в армейской газете «За счастье родины», во фронтовой газете «Тревога». Печататься было сладостно, стихами отзываться на то, чем живешь, и тут же без промедления видеть свои строки набранными типографским шрифтом в газете. Конечно, те стихи не поднимались над самым посредственным уровнем гигантской стихотворной продукции, рожденной войной. И все же что-то от этих стихов, наверно, осталось, перешло в переводы. Когда вышли «Лагерь Валленштейна», ранние стихи Шиллера, немецкие народные баллады, в рецензиях на мои переводы писали, что мне более всего дается грубоватый, «плебейский» немецкий народный стих. Но вот мои собственные строчки армейских лет:

...Я теперь воюю, я теперь сражаюсь
И с врагами пулей меткой объясняюсь...

Как бы там ни было, я прослыл признанным — в пределах своей части — поэтом. В архиве я нашел письмо: младший лейтенант Резник заказывал мне стихи. «Товарищ Гинзбург! Так и напиши: «Тов. Резнику от старшины Гинзбурга на память о его любимом брате Мишко. Хошь деньгами возьми, хошь папиросами. Очень прошу...» Мишко погиб под Кенигсбергом.

На мои стихи обратили внимание командиры и жившие на Дальнем Востоке поэты: они были ко мне снисходительны, требовательны, без их поддержки я, наверно, никогда не пришел бы в литературу. Во фронтовой газете, к собственному своему удивлению, я увидел статью о себе, которую написал известный на весь Дальний Восток поэт Петр Комаров: добросовестно разбирал мои строки, учил, поругивал, кое за что хвалил.

От августовских дней в Маньчжурии в памяти остались беспрерывные дожди, теплая, мутная влага. Мошкара жалила мокрые от дождя лица, в сапогах булькала вода. Под дождем по длинному тракту навстречу нам шли китайцы с красными повязками на рукавах. Они поднимали кверху большой палец и говорили: «Шибко шанго!» (очень хорошо!). В одной деревне я увидел, как староста бьет палкой по спине крестьянина; тот, кого били, не сопротивлялся, напротив, кланялся в пояс, благодарил.

Город Сахалян-Хэйхэ, на который я смотрел шесть лет подряд из Благовещенска, оказался типичным дореволюционным русским городом. Русские вывески с твердыми знаками и ятями, афишные тумбы с русскими афишами, булыжные мостовые, «ночь, улица, фонарь, аптека».

Это было первое узнавание чужой жизни, чужой беды...

В декабре 1945 года я краем глаза увидел взъерошенную и взбаламученную Европу. На Дальнем Востоке уже близка была демобилизация, уже можно было ехать домой, но генерал Гросулов настоял, чтобы я под самый конец службы, пусть в качестве его ординарца, поехал с ним хоть на две недели через Варшаву туда, на Запад, набрался впечатлений: он был убежден, что у меня есть литературные задатки и все увиденное мне когда-нибудь еще пригодится. То была и моя первая творческая командировка.

...Это были места, отходившие или уже отошедшие к Польше. Поляки, пережившие страшную немецкую оккупацию, уже вселялись в эти дома, последние немцы эти места покидали. Европа лежала в виде груд битого кирпича, кое-где над грудами щебня возвышались полууцелевшие соборы, кирхи. Заглянув внутрь одного из таких соборов, я увидел поразившую меня картину: рухнувший орган, выбитые витражи, через которые влетали вороны, на каменном полу лежал с отколотым крылом каменный ангел.

Восемнадцать лет спустя, работая над стихами поэтов Тридцатилетней войны, я переводил сонет Христиана Гофмансвальдау «На крушение храма святой Елизаветы»:

Колонны треснули. Господень рухнул дом.
Распались кирпичи, не выдержали балки.
Известка, щебень, прах... И в этот мусор жалкий

Лег ангел каменный, с отколотым крылом.
Разбиты витражи. В зияющий пролом
Влетают стаями с надсадным воплем галки.
Умолк органный гул. Собор подобен свалке.
Остатки гордых стен обречены на слом...

Что это — перевод или зарисовка с натуры, страница из моей тогдашней записной книжки? В подлиннике есть все: рухнувший орган, распавшиеся кирпичи, балки, которые не выдержали. Ангел с отколотым крылом добавлен мной. Но «лег» он в стихотворение непроизвольно, естественно: не просто для рифмы...

Мы остановились в небольшом городке, в доме, принадлежавшем некогда директору гимназии Юлиусу Остерману; от него на входной двери осталась эмалированная табличка с его именем и еще одна — тоже эмалированная — табличка: «Милостыню не подают, нищих просят обращаться в магистрат, в отдел вспомоществований». Во дворе немецкие пленные пилили дрова, их охранял польский солдат. Какие-то люди в штатском жгли костер из книг, грелись. Неподалеку от дома был парк. При входе щит напоминал: «Die Sauberkeit deiner Stadt — in deiner Hand» («Чистота твоего города — в твоих руках»). Щит был изрешечен пулями, в самом парке среди нечистот стояли на берегу замерзшего пруда бронзовые Бисмарк и Мольтке, залепленные грязью. На башне городской церкви бил колокол, близилось рождество.

Я писал стихи о немецком городе, о директоре гимназии Остермане, о рождестве. Мне вспомнилась детская песенка — «O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter» — ее знает каждый, кто изучал в детстве немецкий язык. Я писал:

В Германии теперь стоит зима.
В лесах застывших дико воют волки.
А все никак не выйдет из ума
Рождественская песенка о елке,
О том, как первобытную красу
И в декабре седом не потеряла
Та елочка, которая в лесу
Близ города немецкого стояла.
Теперь все это кончено... Совой
Кричат в ночи охрипшие метели,
И молча ходит польский часовой
Вокруг германской истомленной ели.
И в кирхе не поет уже орган —
Торжественно, возвышенно, тягуче.
И только шпиль сквозь утренний туман
Своим крестом уперся прямо в тучи.
В Германии суровая зима.
Здесь каждый день похож на понедельник,
И выглядят невесело дома
Вот в этот, мной увиденный сочельник.
Пройдет по тихой улице вдова,

Патрулем ранним поднята с кровати.
Где муж ее? Там, где шумит трава
На берегу неведомой Ловати.
У живописных, сказочных озер,
В волшебном сне неповторимых утр
Угрюмые мужчины жгут костер
Из толстых книг. Читаю: «Мартин Лютер»...
Такой предстала предо мной она,
Знакомая из песен и молений,
Жестокая, блаженная страна,
Поставленная нами на колени...

Стихотворение помечено 20 декабря 1945 года.

Возвращался я на попутных грузовиках через испепеленную Польшу.

Была ночь в мертвом, неправдоподобном Быдгоще: освещенные луной развалины, совершенно пустая площадь, отель «Полония» и вдруг — словно свадьба призраков — невеста в фате, жених в цилиндре, карета, толпы поляков в английской почему-то форме.

И была еще ночь в Варшаве. На Маршалковской живым было только одно дерево и странно ярко желтели плакаты-простыни: «Ева Бандровска-Турска» — певица, о которой я слышал еще в Москве... Все остальное было черно, разбито, виднелись только остовы зданий. Я шел по пространству, которое, видимо, было улицей. В одном из уцелевших домов я увидел свет: елочка горела в витрине. Я толкнул дверь и оказался в небольшом помещении. За стойкой стояла сильно накрашенная женщина с пунцовыми губами, рядом за столиком сидел красивый мужчина лет тридцати, с гладко зачесанными назад волосами, гладко выбритый, похожий на героя польских довоенных фильмов. За двумя-тремя другими столиками сидели женщины.

Когда я вошел, мужчина спросил меня:

— Что пану угодно?..

Я сказал, что хочу поесть и, может быть, что-нибудь выпить.

Мужчина встал и насмешливо, с оттенком угрозы, настойчиво спросил:

— Тебе нужна женщина? Вот эта? — он указал на ту, которая стояла за стойкой.— Но это моя жена! Тебе нужна моя жена?!..

Я ответил, что его жена мне не нужна и что он, очевидно, меня просто не понимает.

— Ах вот как,— сказал он.— Моя жена тебе не нужна. Тебе нужны все эти женщины.— Он посмотрел на меня в упор.— А зачем тебе нужны эти женщины?!

И он уже шел на меня, готовый к драке или, может быть, к чему-то худшему. Я стал отступать к двери, обернулся и вдруг увидел, что в проеме двери стоят трое. Не помню их лиц, помню только чью-то высокую, тощую фигуру. Я понял, что попал в ловушку, но все же сказал:

— Ну зачем вы задираетесь? Я первый раз в Варшаве, очень люблю Польшу...

Все засмеялись.

— Как?! — воскликнул красивый мужчина. — Ты любишь Польшу? За что же ты любишь Польшу?..

— За Мицкевича... За Шопена...

Все притихли... Я стал лихорадочно перечислять:

— За Коперника, Сенкевича, Венявского, Огинского... За Элизу Ожешко...

Мужчина посмотрел на меня с изумлением, потом торжествующе сказал, обращаясь к присутствующим:

— Он интеллигент!.. Налейте ему вина!.. А женщину,— он наклонился ко мне,— можешь найти на Маршалковской.

Это был мой первый «культурный контакт».

2

Грифиус в 1634 году в Данциге. Год для Грифиуса относительно благополучный.

Данциг — город библиотек, академий, торговли, искусств.

Он учится в академической гимназии. Говорят: сила духа. Но дух бессилен, если его не питают знания. Грифиус учился не просто прилежно — истово. Языкам, математике, астрономии.

Поэзию и математику в гимназии преподавал профессор Петер Крюгер, обладатель двух небесных глобусов. Крюгер составлял для Данцига астрологические прогнозы.

В те времена увлечение астрологией было повальным. Люди ощутили свою зависимость от далеких светил. Это было не столько суеверием, сколько смутным осознанием себя частицей Вселенной.

Астрологом был великий астроном Кеплер, открывший законы движения планет. Астрология — шарлатанство. Кеплер, однако, шутя говорил: «Конечно, эта астрология — глупая дочка астрономии. Но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если бы у нее не было этой глупой дочки!..»

Кеплер в конце жизни, гонимый войной, нуждой, сделался личным астрологом Валленштейна: посмеиваясь, составлял для него гороскопы. На годы вперед были расписаны «славные побоища», предсказано, что «полководец отличит себя достоинством, храбростью». Валленштейн верил звездам, верил в свою счастливую звезду. В 1634 году его убили заговорщики в крепости Эгер.

В Данциге профессор Петер Крюгер знакомил юношу Грифиуса с учением Коперника. В год, когда Грифиус родился, совет кардиналов внес труды Коперника в индекс запрещенных книг как не соответствующие священному писанию. Потом гнули великого Галилея. Известно, что, находясь под домашним арестом, страшась дальнейших преследований, Галилей уступил, отступился. В том же году, когда Галилей отрекся от себя, от Коперника, Грифиус писал пылкие стихи «К портрету Николая Коперника»: «О трижды мудрый дух! Муж больше чем великий...»

Грифиуса пронзило открытие величайшей из истин: «...мы вращаемся вкруг солнца своего!»

Было для него в том году и другое открытие. В Данциге Грифиус встретился с Мартином Опицем.

Опиц был великим поэтом. Его называли герцогом немецких струн, сравнивали с Гомером, с Пиндаром. Сравнение, вероятно, преувеличенное. Но для немецких поэтов XVII века он значил многое. Он вырвал немецкий стих из латинской оболочки, дал ему возможность говорить на родном языке. Поэтика — педантичная наставница поэзии. Но «Книга о немецком стихотворстве» Опица проникнута состраданием к униженному человечеству, к попранной родной речи. Слова, как и людей, пинают, калечат, мучат. Говорят: слово способно убить. Можно убить и слово.

Некоторые полагают, что стили создаются теоретиками.

Барокко — больше чем стиль: состояние души, мира. Ужас не в том, что жизнь и смерть, смерть и любовь — рядом, что они находятся в постоянном противоборстве, а в том, что они сосуществуют, что они уживаются. Иногда это осознаешь с беспощадной отчетливостью.

Опиц открыл закон, бесконечно простой и бесконечно сложный: в бедствиях народ, человек нуждаются в утешении. Эту миссию должна принять на себя поэзия. Врачевать, помогать, не докучая своим сочувствием, настойчиво выводить из горя. Это большой, редкий дар. Люди читали его «Песни утешения средь бедствий войны», слышали рассудительную, мужественную, спокойную речь. Сердце — двигатель внутреннего сгорания: все сгорает внутри нас. Надо призвать на помощь рассудок.

Разрушит враг твой дом, твой замок уничтожит,
Но мужество твое он обстрелять не может...

Спасение — в чистоте и глубине скорби, в праведности поступков: в добродетели.

С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем,
Раз в глубине сердец сокровище мы прячем?..

...Бывает: вдруг погружаешься в жуть жизни, в ледяную черную воду, в то, что прежде было тебе недоступно, что еще вчера было для тебя лишь отвлеченным понятием — книгой, искусством.

Видел сон об утонувшем ребенке. Все во мне противится, мечется: нет! нет! нет! нет! Потом в сон, в полусознание кто-то вдавливает в меня мысль: свыкнись, прими как должное, рассудком прими, смирись. И я смиряюсь. Во сне.

Справедливо ли это? Или средневековое средство утешения — «смирись» — устарело?..

...Прошло три шестилетия Тридцатилетней войны. Начиналось четвертое.

В 1636 году в имении Шенборн, в Силезии, жил пфальцграф Георг Шенборнер — человек высокой учености, сочинитель книг по истории права, по теории государства, обожатель поэзии.

Шенборнер прослышал о Грифиусе, пригласил его к своим детям воспитателем.

Все как в старинном романе: поместье магната, молодой домашний учитель, дочь магната Элизабет.

Молодой учитель влюблен в Элизабет, пишет ей стихи... Литературоведы установят, что все любовные сонеты Андреаса Грифиуса были посвящены Евгении — Элизабет Шенборнер.

Потом будет разлука, скитания по дорогам войны, дальние странствия.

После Лейденского университета, после Амстердама, Парижа, Рима, Венеции, Флоренции, Страсбурга он — знаменитый поэт, драматург, автор «Екатерины Грузинской», слава отечества — вернется, снедаемый надеждой, в Силезию.

22 ноября 1647 года он узнает: Элизабет фон Шенборнер, не дождавшись его, вышла замуж. За три дня до его возвращения. Она ждала девять лет.

Судьба: не судьба.

Кончится Тридцатилетняя война, заключат мир.

В день провозглашения мира Грифиус в очередном сонете «К Евгении» напишет:

Но без твоей любви мне даже мир не впрок.

Там будут и такие слова:

Но одинок ли я? Ты здесь — в мечте, во сне.
И пропадает боль... Так что ж ты значишь въяве?!

Но это уже 1648 год. Вернемся к началу.

Шенборнер покровительствует молодому поэту. В городе Лисса (Лешно) он издает первый сборник его сонетов — тоненькую тетрадку.

На этом идиллия обрывается.

Был 1636 год. Люди тащились по войне, по годам войны, по дорогам войны, как матушка Кураж, впряженная в свою повозку.

Рядом с имением Шенборнера в одну ночь, за несколько часов, сгорел город Фрейштадт. Пожар вспыхнул внезапно. Первым заметил дым брат Грифиуса Пауль, начал будить людей, но, вместо того чтобы начать борьбу с огнем, люди в панике разбегались, среди дыма и пламени сновали грабители.

Грифиус направился на пепелище, изучил причины пожара с дотошностью следователя. Собранные им материалы и сегодня еще хранятся в городском архиве Вроцлава (тогда — Бреславля). Пожар не был вызван непосредственно обстоятельствами войны. Скорее, засухой, беспечностью сторожей, отсутствием запасов воды, багров, лестниц. Но в стихотворении Грифиуса «На гибель города Фрейштадта» — картина военного вторжения: пороховой дым, гром пушек, разрушение домов, бесчинства солдатни. Не Фрейштадт горел, не просто Фрейштадт, а Германия, охваченная пламенем войны, погрязшая в пороках, тонущая в крови.

Грифиус бродил среди погорельцев. Слезы ели глаза. Но он сказал: не я плачу — мы.

Слезы отечества.

Так родилась формула времени.

Перед ним предстали символы войны: орды чужеземных наемников, взбесившаяся картечь, ревущая труба, меч, жирный от крови. Именно жирный, а не красный: ненасытное чудовище, отъевшееся на крови.

Сонет «Слезы отечества» имеет подзаголовок «Anno 1636».

Но теперь я должен рассказать о своей вине перед Грифиусом.

Вот мой перевод его сонета, печатавшийся массовыми тиражами десятки раз, неоднократно одобренный критикой (перевод был сделан в 1961 году):

Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.

В руинах города, соборы опустели.
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть... И сердце стынет в теле.

О скорбный край, где кровь потоками течет!
Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет.
Забиты трупами отравленные реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!

Прошло семнадцать лет. Для меня произошло крушение мира. Июльской ночью 1978 года я сопоставлял свой перевод с подлинником. Вот из чего состоит текст Грифиуса:

«Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями. Орды наглых народов, беснующаяся труба, жирный от крови меч, гремящая картечь пожрали наш пот, наш труд и наши припасы. Башни стоят в огне, церковь переобращена, ратуша повергнута в ужас, сильные зарублены, девы опозорены, и куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума и смерть, пронизывающие душу и ум. Здесь через укрепления и города беспрестанно течет свежая кровь. Уже минуло трижды шесть лет с тех пор, как наши реки, отяжеленные множеством трупов, текут замедленно. Но я еще умалчиваю о том, что хуже, чем сама смерть, что ужаснее чумы, пожаров и голода, что теперь сокровища души у многих разграблены...»

Все вдруг осветилось, как при вспышке молнии. Беда моего перевода, в котором соблюдены и размер подлинника, и система рифмовки, который почти точен и примерно воссоздает ту же картину и ту же мысль, что и в подлиннике, состоит в приблизительности, в какой-то высшей неточности, особенно противной оттого, что перевод внешне благозвучен и в целом даже удачен.

Вчитываясь, я сначала обратил внимание на разницу в числах. У Грифиуса — «трижды шесть лет», а у меня — «восемнадцать». $3 \times 6 = 18$ — в математике. А в поэзии? Может быть, трижды шесть равно бесконечности?

Шестилетие — мера длины времени.

Бывает, минута кажется вечностью. Бесконечно долог год. Год за годом. Шесть лет войны. Потом — еще раз шесть лет. Нет конца: снова шесть лет. И опять мучительно медленно тянется новое шестилетие.

Грифиус был выдающимся математиком. Он знал внутренний смысл чисел.

Посреди медлительного времени едва текут заваленные, забитые трупами реки.

У меня — «забиты трупами отравленные реки». Есть имитация барочной звукописи (три-три), но картины остановившегося времени нет.

«Сколь скорбен край, где кровь потоками течет...» — строчку можно бы считать крепко сколоченной, с эффектной звукописью: ск-скр, кр-кр... Но у Грифиуса-то не просто кровь течет потоками, а каждый день страну заливает новая, свежая кровь. Кровь течет беспрерывно!..

Перечитываю второе четверостишие:

В руинах города, соборы опустели.

«В руинах города» — штамп, заимствованный мной из собственных переводов с немецкого годов 1947—49-го... У Грифиуса совершенно конкретно: в огне — церковные башни и «ратуша повергнута в ужас», то есть мечутся, не знают, что делать, как помочь, городские советники, отцы города, мужи, тем более что «сильные зарублены». «Соборы опустели» — тоже неправда. Грифиуса печалит не то, что мало стало прихожан,— иное: надругательство над верой, насильственное перекрещение, травля протестантской церкви.

И вот семнадцать лет спустя новое приходит решение:

Мы все еще в беде. Нам боль сердца буравит.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч,
Все жрет наш хлеб, наш труд, свой суд неправый правит.
Враг наши церкви жжет. Враг нашу веру травит.
Стенает ратуша!.. На пагубу обречь
Посмели наших жен!.. Кому их оберечь?..
Огонь, чума и смерть... Вот-вот нас жизнь оставит.
Здесь каждый божий день людская кровь течет.
Три шестилетия! Ужасен этот счет.
Скопленье мертвых тел остановило реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!

Чем вызвано стремление к точности? Только ли переводческой добросовестностью? Нет. Там, где точность нужна, стремишься к

ней потому, что говоришь за автора, берешь на себя страшную ответственность. Он доверился тебе, он вынужден гласить твоими устами, ты единственный в эту минуту, кто знает правду — что он хотел сказать. Смеешь ли ты не сделать все, что возможно, чтобы выполнить свой долг перед ним?

Встреча на пересечении судеб. Его — посмертной и твоей — прижизненной.

В одну июльскую ночь 1978 года в Москве слово Андреаса Грифиуса, произнесенное в Шенборне близ Фрейштадта в 1636 году, достигло твоего слуха. Не ослышься, не отгони его от себя, вникни в него, сохрани неискаженным и выпусти в сегодняшний мир, в московскую ночь прилетевшее к тебе из 1636 года слово немецкое!..

Итак, слезы отечества.

Нет, оказывается, ничего священнее человеческой слезы, ничего чище. Слезам, как мы теперь поняли, надо верить.

Счастливы те, для кого еще сохранились понятия «отечество», «родина», не рассыпались, не превратились в труху. Те, кто еще в состоянии скорбеть за свою родину, кто рвется ей на помощь в беде, пусть опозоренной, пусть заблудшей. Кто не осквернит ее пустыми, холодными славословиями, ни холодной скептической улыбкой. Издевка над матерью. Ведь тогда действительно конец. Край.

Страшные нити связывают человека с другими жизнями, сердцами.

В Москве сонет Грифиуса явился к Иоганнесу Бехеру.

Был 1937 год.

Бехер ответил Грифиусу двумя сонетами под общим заголовком: «Слезы отечества, год 1937».

Он перечислил разграбленные сокровища души, составил скорбный реестр: поруганы фуги Баха, холсты Грюневальда, гимны Гёльдерлина — слова, краски, звуки.

Как и триста лет назад, полыхают костры из книг.

Известное изречение Гейне — там, где сжигают книги, в конце концов сжигают людей,— подтверждалось.

Ужасно сожжение книг. Но не менее ужасно неиздание книг, которые должны были быть изданы, ненаписание книг, которые могли быть написаны. Оставшихся ненаписанными книг больше, чем сожженных!.. Ужасно, когда мысль вынуждена оставаться невысказанной!

Мне писала вдова Бехера Лили Бехер:

«Хотела бы поставить Вас в известность, что такая фигура, как Грифиус, в течение десятилетий играла большую роль в творчестве Бехера. Не случайно одно из наиболее совершенных его творений, написанных в 1937 году, носит название «Слезы отечества».

Мотив сонета «Слезы отечества» — мысль о том, что надо сделать так, чтобы раз и навсегда после столетий страданий высохли наконец слезы отечества,— эта мысль проходит лейтмотивом через

все стихи, статьи и речи Бехера с середины тридцатых годов до дня его смерти».

В 1954 году в Берлине Бехер выпустил антологию немецкой поэзии XVI—XVII веков «Слезы отечества». Тогда же он завершил цикл стихов «Народ выходит из мрака».

Шли из темноты толпы.

У Грифиуса есть сонет «Заблудшие»: еще страшнее, чем слезы отечества, слепота бредущих во тьме толп. Угасшие, слепые глаза, в которых нет даже слез...

Это написано в миг наивысшего отчаяния.

Вы бродите впотьмах, во власти заблужденья,
Неверен каждый шаг, цель также неверна.
Во всем бессмыслица, а смысла ни зерна.
Несбыточны мечты, нелепы убежденья.

И отрицания смешны, и утвержденья,
И даль, что светлою вам кажется,— черна,
И кровь, и пот, и труд, вина и не вина —
Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рожденья.

Вы заблуждаетесь во сне и наяву,
Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству,
Как друга за врага, приняв врага за друга,

Скорбя и радуясь, в ночной и в ранний час...
Ужели только смерть прозреть заставит вас
И силой вытащит из дьявольского круга?!

Я переводил этот сонет в Таллине, в гостинице «Виру». Писал, посматривая на спящую Бубу. Я любил так работать, чтобы она была рядом, чтобы, подняв глаза, мог видеть ее лицо, почти всегда светящееся добротой, спокойствием и редко раздраженное, злое. Многие слова и строки я списывал с ее прекрасного лица...

Потом была блаженная «немецкая тишина» в Ширке. Мы с Бубой жили в отеле «Генрих Гейне», в городке гномов, среди гор Гарца. Я заканчивал истово переводимого «Рейнеке-лиса».

Наконец закончил:

Да поможет нам всемогущий бог!..

Торжественно пометил:

«15.X.1976. 20.00. Дубулты — Переделкино — Москва — Берлин — Ширке».

Буба взяла красный карандаш, круглым своим, милым улыбающимся почерком приписала:

«Во всех этих местах «высиживала» Рейнеке и я...»

Нам еще предстояла долгая жизнь. Поездка в Польшу, в Силезию.

Стихи Грифиуса о фрейштадтском пожаре вызвали недовольство городских властей. За эти же стихи Шенборнер возвел его в поэты-лауреаты. Состоялось торжество: Элизабет (Евгения) увенчала Андреаса сплетенным ею самой лавровым венком.

Шенборнер был мрачен: ему чудилось, что католики посягают на его жизнь, грозят ограбить, разорить имение.

Грифиус с тревогой следил за своим благодетелем: пелена страха способна вдруг застлать ясный человеческий разум.

Но Шенборнер не скрывал своих предчувствий. Однажды он объявил Грифиусу, что умрет 23 декабря. За неделю до назначенного срока слег. Грифиус не отходил от его постели.

Предсказание оказалось точным. Шенборнер умер на руках у Грифиуса 23 декабря 1637 года.

В то время надгробные речи были предметом искусства так же, как эпитафии. Речь Грифиуса над гробом Шенборнера считалась одной из блистательных. Обращаясь к жене усопшего, он восклицал:

«С какой пылкой любовью, с каким нежнейшим радушием неизменно встречала она супруга своего! Сколь благорассудительными речами смягчала она его тяжкие огорчения! Сколько горьких вестей, кои приносило с собой сие тяжкое время, удавалось ей не допустить до его слуха! Сколь часто ее мудрый совет ограждал его от людской злобы!..»

Осенью 1976 года в Силезии я стоял возле барочного мавзолея. К стенам храма лепились надгробия с завитками, розочками, витиеватыми эпитафиями. Шумела, осыпая листву, трехсотлетняя липа...

Прошло немногим более года. Я сидел в комнате, куда меня пригласили, чтобы огласить приговор. Безукоризненно одетый молодой человек за столом смотрел на меня подчеркнуто спокойно, убийственно спокойно. Сердце у меня замерло, потом камнем упало в низ живота. Молодой человек сказал, что надежды нет.

Я спросил:

— Никакой?

Молодой человек ответил:

— Никакой.

Я спросил:

— Что же делать?

Он промолчал.

На стене кабинета висел большой лист ватмана: «Памятка по наилучшей организации труда для ИТР и служащих».

БУДЬ ОПРЯТЕН И АККУРАТЕН ВО ВСЕМ.
НЕ СТЫДИСЬ ЭЛЕГАНТНОСТИ:
БУДЬ КРАТКИМ!
НИКОГДА НЕ ТЕРЯЙ ПРИСУТСТВИЯ ДУХА!..

...Грифиусу оставаться в Силезии было далее невозможно. 26 июля 1638 года он был зачислен студентом Лейденского университета.

Оставим его на время в Голландии. Он вырвался на свободу, вдохнул ее воздух. Набрался сил. Ему предстоит общаться с великими людьми: с Гуго Гроцием, с самим Декартом. Он узнает Рембрандта, который как раз в это время переживает счастливейшие

дни с Саскией. В Лейдене он будет изучать философию, право, медицину. На него обратят внимание. Он выступит с блестящими лекциями по геометрии, логике, физиогномике, поэтике, археологии. Он займется астрономией и практической анатомией...

Мы же перейдем от высоких предметов к вставному лирическому, можно сказать, даже почти эстрадному эпизоду.

Варшава, декабрь 1973 года.

Артист.

3

Сильвия приехала за нами в гостиницу с небольшим опозданием. Влетела в вестибюль — в серой дубленке, яркая блондинка, молодая женщина — и буквально втолкнула нас в такси. Ехать до госпиталя было недалеко, минут восемь, но за этот небольшой срок мы от нее, а главным образом от шофера, который говорил по-русски, услышали, что «Петербургского знает весь мир», что он написал «Танго Милонга» и «Последнее воскресенье» — танго, под которое в 30-е годы стрелялись безнадежно влюбленные. Узнали мы и о том, что сама она певица и что сейчас у них растет пятилетний мальчик, которому завтра отец должен вручить рождественский подарок, и этот подарок — мотоциклист на мотоцикле — она везет в коробке, и что Петербургский не может есть больничную ужасную пищу, он любит поесть мало, но вкусно, и она везет ему обед, и что они познакомились в Аргентине, после того как у Петербургского умерла первая жена, и что вот уже шесть лет они снова живут в Польше... Все это было сообщено как необходимая, пусть и лаконичная, информация...

Будучи женой знаменитости, которую «знает весь мир», автора «Танго Милонга» (оно же «Донна Клара»), она не проявляла никакого зазнайства и, не совсем понимая, кто я такой — журналист, писатель, композитор или сотрудник управления по охране авторских прав,— говорила со мной очень уважительно, как с московским гостем...

Больница воеводская (по-нашему — областная), в которой лежал Петербургский, была обычной больницей, чистой, но казенной. В коридоре под стеклом был укреплен стенд со всевозможными видами почечных камней — коллекция странных минералов...

Петербургский встретил нас на пороге своей отдельной, предоставленной ему из уважения главным врачом крохотной комнаты, отдельной палаты в этой общей больнице, среди мрачных людей — мужчин и женщин в скучных халатах. Среди больных были и дети, и все сейчас собирались в холле, чтобы посмотреть телевизор...

Петербургский был в красного цвета теплом мягком халате, из-под которого виднелась розовая ночная пижама, в мягких кожаных туфлях. Он был очень невысокого роста, почти лысый, с чисто выбритым, даже холеным лицом. Под мышкой он держал градусник. Петербургский крайне обрадовался приходу жены, ве-

село расцеловал ее, чуть ли не подпрыгивая, а когда она объяснила ему, что привезла с собой гостей из Москвы, так же весело предложил нам располагаться в его комнатенке. Я начал объяснять, что давно хотел познакомиться с паном Петербургским, что давно, еще мальчиком, слышал его музыку, но он прервал меня и, притворившись рассерженным, сказал:

— Эй! Оставь! Какой там «пан», «господин»?! Я тебя — на «ты», ты меня — на «ты». Чего там?..

И он пояснил, что сразу узнал в нас «родных людей, артистов», а «люди духа» во всем мире узнают друг друга, и поэтому никаких «вы» быть не может — только «ты»...

Между тем Сильвия быстро развернула привезенные с собой свертки: подарок, который завтра надлежало вручить сыну, термос с супом, термос со вторым, мясным блюдом, большую желтую стеклянную банку с консервированным компотом и бутылку сока. Все она делала чрезвычайно проворно и ловко, и, когда Петербургский начал наконец с аппетитом есть, счастью его, казалось, не было предела.

— Ах,— говорил он,— если существуют на свете такие жены, значит, есть в небе бог!.. Это чудо, это настоящее чудо! Это не мамочка, а золото!..

На столике у него стоял складень с фотографиями красавца ребенка...

Еще до первой мировой войны он окончил в Варшаве гимназию и по-русски говорил совершенно свободно, с легким польским акцентом. Тогда же, до первой мировой войны или до революции, он аккомпанировал выступавшему в Варшаве Вертинскому, а в зале сидела настоящая «Пани Ирэна», действительно похожая на королеву, и, протягивая руки, Вертинский обращался с эстрады именно к ней...

В 1926 году была написана знаменитая «Донна Клара», или «Танго Милонга», которую Эл Джонсон пел на Бродвее и которая и сейчас входит в золотой фонд эстрадной музыки.

Все это он мне рассказывал, быстро поглощая обед, и вдруг, посмотрев на меня, спросил:

— Так ты кто — писатель?.. Что же ты пишешь? Романы? Стихи?.. Заработок имеешь?.. Ну, слава богу!..

Видимо, вопрос о заработке был для него немаловажным, и «Донна Клара» не оплаченная потеряла бы для него свою ценность: чувство мастера, знающего цену своему труду.

Слова «Донны Клары» в 1926 году написал в Вене Фриц Ленер-Бéда, поэт, о котором я впервые услышал в Берлине от писателя Бруно Апица.

Ленер-Беда, говорил Апиц, в конце концов останется в истории не как автор шлягеров и либретто оперетт, хотя именно он написал либретто «Веселой вдовы» Легара, а как автор песни бухенвальдских узников. Апиц рассказывал мне о нем с большой нежностью и теплотой, как о человеке замечательного мужества, душевной красоты, при всей кажущейся внешней незащищенности.

Когда в Австрию вошли немцы, Ленер-Беда был арестован и направлен в Бухенвальд, где все немецкие узники знали его как лагерного поэта: он писал тексты лагерных песен, он сочинял издевательские эпиграммы на лагерное начальство, он писал лирические стихи о любви, о разлуке, о надежде на возвращение домой и о том, как прекрасна свобода.

А потом его отправили в Освенцим, и там он закончил свою жизнь в газовых печах Биркенау-Бжезинки...

— Это был,— говорил Петербургский,— такой невысокий, подвижный и очень предприимчивый человек, который работал день и ночь: писал тексты песен, либретто — чего только он не писал!..

Когда Петербургский, бывало, приезжал в Вену, они сидели вдвоем, работали и «выдавали» сводившие с ума весь мир текст и музыку: два профессионала, короли шлягеров. И даже Легар — друг Ленера-Беды — не мог им помешать, и Ленер-Беда говорил Легару, что сейчас у него «этот маленький Петербургский из Варшавы», а значит — он занят для всех и пусть Легар позвонит позже...

И Петербургский все это рассказывал, вспоминал молодые годы, а позади было столько испытаний, что человек, кажется, не может с ними справиться, выдержать их, но выдерживает и все же справляется... И Петербургский смеялся, шутил с женой, острил, вспоминал друзей, хотя через пять дней ему предстояла серьезная, может быть даже смертельная операция... И только один раз он нахмурился, когда вспомнил, что в одном нашем фильме его шлягер «Донна Клара» играет патефон у нацистов, в гестапо, и под музыку расстреливают и пытают людей. Когда он увидел этот фильм по телевизору, ему стало нехорошо, с ним случился сердечный приступ... Как же так? И что бы на это сказал Ленер-Беда?.. Но прошло время, ах, ничего не поделаешь, но все-таки действительно некрасиво получилось, несерьезно... И Сильвия сказала:

— Как же так, взять использовать мўзыку живого еще композитора в таком ужасном контексте?..

Но Петербургский уже отталкивал от себя этот неприятный эпизод, этот невольный инцидент, и рассказывал, что недавно получил письмо от Лени Утесова, который поздравил его с днем рождения сына и написал: «...чтобы твой сын был таким же талантливым, как ты».

И тут я узнал, что в 1939 году, когда началась вторая мировая война, Петербургский попал в Москву и в Советском Союзе в 1940 году из-под его пера выпорхнула мелодия, песенка, которую потом подхватили фронты и глубокий тыл, весь народ: «Синенький, скромный платочек...»

И Петербургский стал вспоминать Советский Союз, Москву, Дунаевского, Лебедева-Кумача...

В ходе нашего разговора он изображал то цыгана, играющего на скрипке, то русского певца-эмигранта, то официанта из ресторана в Буэнос-Айресе, то еврея-флейтиста. Он сказал, что умеет

играть на всех инструментах, что знает всю музыкальную классику, мог бы дирижировать симфоническим оркестром и писать серьезную музыку, но избрал танго, избрал песни, легкую музыку, которая пригодилась людям в самых тяжелых испытаниях...

4

В Польшу я тогда приехал, чтобы посетить Освенцим.

Уже были написаны мои книги о зверствах нацистов — «Цена пепла», «Бездна», «Потусторонние встречи»; много раз бывал я в Бухенвальде, бывал в Заксенхаузене, Равенсбрюке, Дахау, видел балки смерти, рвы смерти, ямы смерти, мемориалы на месте казненных деревень, перевел пьесу Петера Вайса о процессе над палачами Освенцима «Судебное разбирательство» («Дознание»), а в самом Освенциме почему-то так и не был, хотя Освенцим и есть наивысший символ страданий, конечная станция, на которую привезли человечество.

Что такое Освенцим?

Прежде всего, название станции. На белой жестяной вывеске на сером здании городского вокзала написано просто: Освенцим.

Дальше — автобусом, на такси. Можно — пешком. Потом...

В то утро метался дикий, холодный, резкий ветер, почти вьюга. Совершенно пусто. Пустынно.

Кажется — не помню точно — то ли был понедельник (Освенцим закрыт?), то ли санитарный день, то ли ремонт. Может быть, из-за того, что был канун рождества.

Одни мы были.

В новопостроенном помещении — почта, буфет, где резко пахло куриным супом и кислой капустой.

И вот — территория, которую столько раз видел в кино, на снимках, в воображении. Жалкие черные буквы тупого немецкого изречения: «Arbeit macht frei»; шест-шлагбаум, за ним городок военного, гарнизонного типа, состоящий из двухэтажных одинаковых красных кирпичных домиков,— несколько улиц. Это и есть Освенцим.

Описывать экспонаты Освенцима невозможно. Над ними произнесены миллионы слов: речей, клятв, присяг, стихов, прозвучали миллионы хоралов, псалмов, молитв, набатов.

Над ставшими историческими экспонатами, застывшими за стеклом гигантских витрин:

войлоком слежавшимися, уже утратившими свой первоначальный цвет женскими волосами,

над миллионами пар стоптанной обуви,

над миллионами кисточек для бритья,

над миллионами оправ для очков,

над миллионами зубных протезов,

над чемоданами (иные, чтоб не потерялись,— с бирками, с надписями, указывающими имена владельцев: — «Вайсенберг Це-

цилия, № 907», «Дори Рейх», «Фишер Томас, 1941 г., ребенок», «Петер Эйслер, 20.III.1942»...),

над всем, что остается от человечества после того, как его уничтожают...

Смотри. Смотри. Но загляни сначала в себя. И шепотом, так, чтоб никто не слышал, спроси: «Ну, а ты бы мог?..»

Нет, нет, не палачом, конечно, не комендантом, не офицером охраны, не капо, не... не...

А если бы заставили? А если бы так сложилось? А если бы вдруг по недомыслию, по неведению?

А если бы — судьба?

Приходится возвращаться к старой, казалось бы, давно отработанной теме: в чем они виноваты?

Человек-эсэсовец кажется со стороны просто убийцей.

Отговорка, что он всего лишь исполнитель приказов, давно уже признана юридически несостоятельной. Помимо приказов, помимо службы, есть еще и другое: среда, понятие чести (эсэсовско-нацистский девиз: «Моя честь — моя верность!»), система взаимоотношений — бытие, которое определяет сознание.

Среда, в которой живет убийца, вовсе не считает себя шайкой бандитов. Напротив, они спаяны как бы военным, чуть ли не фронтовым товариществом, они вместе, чувствуя локоть друг друга, идут на боевые операции, например на прочесывание партизанских районов, связанное с риском для жизни, на ловлю подпольщиков. Они оперативные работники, они на особой службе. Лагерь, Освенцим,— страшное место. Здесь страшное, тайное делается дело. Если тебе такое дело доверили, то ты, значит, чего-то стоишь...

Так появляется извращенное понятие профессиональной этики, когда нельзя расслабляться, подводить друзей, начальство, дело.

Важен лозунг, важна высокая цель. На лезвиях ножей штурмовиков было выгравировано: «Все для Германии».

Но с человека, оказывается, строго спрашивают. От него требуется умение критически мыслить, критически оценивать среду, приказы, доктрины.

Есть выражение до костра. То есть я готов сопротивляться злу, но до костра. Если будут угрожать костром, я пасую. Но поставим вопрос иначе: пасуй, но до костра. То есть, если тебя заставят вести на костер человека, ты этого сделать не сможешь...

От этой темы мне трудно уйти.

Выход моего первого сборника поэтов Тридцатилетней войны — «Слово скорби и утешения» (1963) — по времени совпал с работой над документальной книгой «Бездна», о процессе над девятью эсэсовскими карателями в Краснодаре. Этих в бездну затащили корысть и эгоизм, рожденный «витальным страхом».

Людям трудно вообразить мир без себя. «Да здравствует мир без меня!» — это хорошо, великодушно сказано, однако предпоч-

тительней мир со мной, в крайнем случае я — без мира. Согласиться с тем, что мир будет существовать без тебя, крайне трудно, сознание этому противится. И тогда — у скольких! — звериная, кошачья хватка: пусть все, что угодно, только бы я! Пусть весь мир перестанет существовать, но лишь бы — я, я, я вот сейчас, вот в эту минуту!.. Лишь бы я существовал!..

Чуть отдышавшись, они добавляют: и при этом неплохо чтоб существовал!.. Любой ценой!..

И тогда им назначают цену...

Что же все-таки есть человек?

В годы Тридцатилетней войны по улицам Бреславля с крестом, в терновом венце ходил врач Иоган Шефлер, который именовал себя Ангелус Силезиус — Вестник из Силезии. Прохожие кидали в него камни, со лба его текла кровь.

Ангелус Силезиус размышлял о том, что есть человек; он не мог скрыть своего изумления...

Сколь дивен человек! Но кем его назвать?
Он может богом быть и чертом может стать.

Что же в таком случае есть «бог»?

Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто, но что он без меня?

Об этих афоризмах тогдашние недоброжелатели отзывались так: «Он пишет для польских девок вороньим пером, обмакнутым в мочу»...

В 1905 году в Ясную Поляну к Толстому приехал японский поэт Токутоми Рока. Во время беседы Толстой принес из своей библиотеки старинную немецкую книжку — «Херувимский странник». Прочел вслух несколько стихотворных изречений. Сперва по-немецки. Затем в подстрочном переводе по-английски. Токутоми Рока записывал за Толстым японскими иероглифами изречения Ангелуса Силезиуса на своем веере...

Что есть человек?

В Голландии Грифиуса остро интересовала анатомия. Он писал: «И кто бы не порадовался, увидев в человеческом теле частицу и модель большого мира?..»

О человеке он писал как о чуде природы, сверхмудром существе.

Почему человек — венец творения? Почему — «дивен человек»?

Нет ничего сложнее, загадочнее, совершеннее человеческой личности, человеческой жизни, даже самой неудавшейся.

Неудавшаяся жизнь — тоже чудо.

В Лейденский университет, после путешествия в Россию и Персию в составе шлезвиг-гольштейнского посольства, приехал Пауль Флеминг. Он увидел ширь: жил в Ревеле, в Новгороде, в Москве, в Нижнем, в Астрахани, узнал русский быт; проникся приязнью к русским, к эстонцам, мордвинам, татарам, ногайцам,

черкесам, лезгинам. Он написал несколько сонетов, посвященных Москве, желал ей нетронутого войной голубого неба, тишины. Вместе с ученым и путешественником Адамом Олеарием он плыл на корабле «Фридрих» вниз по Волге, к Каспию, писал, что своим стихом когда-нибудь еще заставит Рейн услышать мелодию волн Волги... В странствиях он увидел глубь; всмотрелся в себя:

И счастье, и несчастье лежат в тебе самом!..

В Москве он набросал строки:

Будь тверд без черствости, приветлив без жеманства,
Встань выше зависти...

Он ощущал человека во времени.

Ведь время — это мы. Никто иной. Мы сами!

Подобно тому как смертный человек воспроизводит людей, «изжив себя вконец, рождает время — Время». Грядущее зависит от сущего.

Человек — во власти времени, но он же определяет лик времени.

Он ощущал человека в пространстве. Человеческое «я» в соприкосновении со множеством других. Стихи перенасыщены местоимениями.

...Я потерял *себя. Меня* объял испуг.
Но вот *себя* в *тебе я* обнаружил вдруг...
Сколь омрачен *мой* дух, вселившийся в *тебя!*..
...Но от *себя меня* не отдавай *мне* боле...
И нет *меня* во *мне,* когда *я* не с *тобой.*

Флеминг умер в Гамбурге, на тридцать втором году жизни. В Голландии ему было тридцать. Грифиус был на семь лет моложе.

В Голландии они встретились.

Голландия — пестрая, вольная страна. После силезских пепелищ — монументальные ратуши, торговые ряды, рынки, биржи, гильдейские дома, верфи, каналы, мастерские. На улицах — толпы цветных, запахи азиатских пряностей. В моду входят чай, кофе. Продают драгоценные ткани, ковры. Собирают керамику. Покупают картины.

Грифиус жил среди этой пестроты, неся в себе свой страх, свою скорбь. Это никуда не уходило. Отечество плакало в нем. Болело в нем. Он нес свой крест: свою родину, свой жребий.

Смерть продолжала свирепствовать, не щадя никого.

Умер любимый брат Грифиуса Пауль, которому он посвятил вышедшие в Лейдене «Воскресные и праздничные сонеты», немного позднее умерла Анна-Мария, сестра...

Если окинуть взглядом жизнь Грифиуса, можно бы сказать, что скорбь питает поэта. Смерти, болезни, война, скитания, все, что другого бы опустошило, разрушило, послужило для Грифиуса как бы стимулом к творчеству. Страшные удары судьбы, страш-

ные утраты, горе молотит, молотом обрушиваются удары — один за другим — на его голову, но дух не гнется, дух устоял. В чем причина этой духовной, душевной крепости? Почему не сошел с ума, не умер тут же? От инстинктивной ли жажды жизни, от врожденного ли жизнелюбия, от стоицизма, от мудрости, от смирения перед всемогущей судьбой? Не для того ли без конца разрабатывал вариации на тему бренности, чтобы успокоить себя, других, теряющих самых близких, самое близкое, все, словами о всеобщей бренности?..

Мы говорим: поэт — пророк, поэт — трибун, поэт — воин, поэт — богоборец, поэт — проповедник. Вспомним Грифиуса, Опица, Флеминга и назовем еще одну функцию: поэт — утешитель. Воинствующий утешитель в минуту самой лютой, острой душевной боли, в минуту потери надежды... Если в такую минуту человека хоть немного может утешить слово поэта, то существование поэта уже оправданно. А тут в утешительном слове нуждались миллионы...

Наконец смерть вплотную приблизилась к нему самому. Может быть, он писал о ней слишком часто. Ему было двадцать четыре года. Он тяжело заболел. Никто не верил, что ему удастся спастись. Он выжил. Обратился с благодарственными стихами к господу богу. И тогда же, в Голландии, написал исполненные признательности строки, посвященные своей больничной сиделке.

В Голландии он переводил Данте, овладел одиннадцатью языками. Он знал испанский, итальянский, французский, английский, польский, шведский, голландский, греческий, латынь, древнееврейский...

Но вернусь к своей старой т е м е.

Прокурор Ф а с с у н г е.

5

В Берлине генеральная прокуратура ГДР помещается на Герман-Матернштрассе, в черном, закопченном здании с кариатидами. Снарядом выгрызло кусок колонны, повреждена одна из скульптурных групп: старец и мальчик. У обоих снарядом оторвало головы: безголовый старик, положивший руку на плечо обезглавленного войной отрока...

Впервые в прокуратуру ГДР я приехал несколько лет тому назад в связи с сенсационным делом Блеше.

Тогда, в связи с этим делом, выплыло вновь известное всему миру изображение: мальчик в кепке с переломленным козырьком, с поднятыми вверх руками, с недоумевающей улыбкой невинной жертвы. За его спиной смутно маячит фигура эсэсовца с автоматом...

Самые пронзительные страницы мировой литературы — жалость к детям. К Дэвидам Копперфилдам, Оливерам Твистам, Козеттам, Ильюшечкам, к маленьким оборвышам.

Диккенс, Гюго, Достоевский.

Мальчик у Христа на елке...

И вот машина Endlösung — конечного уничтожения — придвинулась вплотную, к крайней точке, к беззащитному лицу ребенка.

Машина валила пограничные столбы, сокрушала государства, армии людей, военную технику, уничтожала все. Теперь осталось вот это: мальчик...

Зачем был сделан этот снимок? Чтобы показать полное, тотальное всемогущество национал-социализма? Вот: все растоптано, все сожрали, теперь и это сожрем!.. А может быть, и так: дурачились просто, щелкали, хорошая, эффектная композиция — снимок действительно очень выразительный... А может быть, тайная, упрятанная под хохот, под хриплый собачий лай, совесть, желание запечатлеть злодейство?..

Снимок стал символом. Говорили: мальчик в кепке, с поднятыми вверх руками навсегда останется перед глазами человечества.

Но в прокуратуре думали не столько о символах и уж не столько именно об этом мальчике, сколько об эсэсовце с автоматом, который маячил за его спиной. Потому что в глухом городишке в Тюрингии жил тихий семейный человек, горнорабочий Блеше — вскоре после войны в шахте, где он тогда работал, произошел обвал, и ему была сделана пластическая операция, полностью изменившая его внешность. Он жил, становился стариком.

Они все понемногу состарились: биологические законы распространяются на всех.

Можно ли, нужно ли, гуманно ли это — чтобы старика Блеше?..

Но Блеше стал стариком, а мальчик не успел стать даже юношей. И прокурор Фассунге не хотел, чтобы старики, которые когда-то были сильными, здоровыми, молодыми мужчинами, убивавшими детей,— чтобы эти старики улизнули из жизни, не расплатившись.

Прокурор Фассунге погружается в дела, в криминалистику, выезжает на место и занимается множеством специальных вопросов.

Мы познакомились в 1972 году. Помню, он вошел, чуть ли не вбежал в кабинет, румяный, веселый. «Бодрячок какой-то»,— подумал я. Посмотрел на его руки: обветренные, красные, с крепкими пальцами. Поди из таких вырвись!..

В тот раз я совершал мрачное путешествие по следам военных преступлений: в горы Гарца, в Хальберштадт, в Гарделеген... Еще сохранились полусгнившие лагерные вышки, клочья одежды узников, куски ржавой проволоки.

В Берлине мы присутствовали на судебном процессе: судили старика, бывшего начальника гестапо, садиста, во власть которого был отдан средней величины город в оккупированной немцами Чехословакии... Старик едва говорил, отвечал на вопросы односложно, однообразно: «Так точно», «Не могу вспомнить». Он был в костюме, в галстуке, но в теплых домашних туфлях. Во время

перерыва конвоиры выводили его из зала под руки, он едва волочил ноги.

Что мог значить для этого человека приговор?.. Все в нем давно уже выстыло, даже страх смерти... Зачем нужен был суд? Люди, лишенные совести, никаких угрызений совести, конечно, не испытывают,— речь шла о справедливости. О том, чтобы предсмертные крики жертв: «Придет и ваш час, палачи!» — не остались пустыми угрозами. О том, чтобы люди помнили о непостоянстве зла, о том, что всемогущество зла зыбко.

Мы говорим: век живи — век учись.

Кажется, историю нельзя повернуть вспять, но иногда, похоже, она останавливается, пятится назад, поворачивает обратно к самым худшим временам, словно ничего не произошло, словно не из чего делать выводы. Это именуется одним словом: реакция. Но зто же бывает и в частной жизни: не делают выводов из собственного горького опыта, не извлекают уроков. Во всех случаях зто гибельно...

Взгляни на себя, на мир новыми, прозревшими глазами!..

Прокурор Фассунге рассказывал мне историю своей жизни. Он родился в Силезии, примерно в тех же местах, где жил «мой» Грифиус. Отец Пауля Фассунге был каменщиком, мать работала на табачной фабрике. В девятнадцать лет, в 1941 году, его призвали, отправили солдатом-радистом на Восточный фронт, в двадцать один год он попал в плен к партизанам, остался в отряде, затем был отправлен в Горький, в лагерь военнопленных.

В начале 1945 года с двумя товарищами его перебросили через линию фронта. В солдатском ранце у него лежала рация.

Он носил то же имя, что и прежде, был в той же, что и прежде, военной форме, находился на родине, среди своих, только смотрел на все иными глазами...

Чьими? Созданного в Советском Союзе национального комитета «Свободная Германия»?..

Глазами человеческой совести.

Пробудившись, она способна творить чудеса, способна заставить человека пересмотреть всю свою жизнь, порвать все прежние связи, повести на смертельный риск, одушевить безумной отвагой.

ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК!

Фассунге рассказывал:

— В Горьком, в лагере, нашим учителем был один советский майор. Это был — человек! Высокий, с черными жгучими глазами, он, казалось, мог завораживать! По-немецки он говорил лучше многих из нас, поправлял, если мы делали грамматические ошибки... Он весь пылал желанием переубедить нас, научить чему-то хорошему. Он верил в нас и смотрел на нас, как на товарищей... Умел убеждать, подчинять своей воле, воле совести. И не наказания мы боялись, а недоверия с его стороны, его презрения... Так я стал немецким солдатом, но совсем иного толка, чем преж-

де. И я говорил себе: «Если тебя теперь убьют, то ты хоть погибнешь не зря...»

Беседы с прокурором Фассунге мне дали многое. В то время я надеялся углубить мою книгу «Потусторонние встречи».

Вот, собственно, причины, по которым я обратился за дополнительными материалами в прокуратуру ГДР и почему совершил еще одну поездку по местам мучений и зверств.

Но странное дело: погружаясь в следственные и судебные материалы о преступлениях нацистов, я, к собственному удивлению, все больше думал о начатой однажды работе над переводами поэтов Тридцатилетней войны. Немецкий семнадцатый век звал меня к себе своею болью, главной своею заботой: осознаем ли мы себя людьми, кто мы, по какому пути идем и что нас ждет, если мы не одумаемся?.. То, что я находил в папках, которые мне показывал Фассунге, толкало меня к Грифиусу, Опицу, Флемингу.

Я думал о тайне барокко. Почему поэзия Тридцатилетней войны ближе нам, чем многое другое, почему иные наиновейшие поэтические эксперименты кажутся обветшалыми, а XVII век поражает новизной поэтических достижений? Почему далекий Грифиус мне роднее рассудочных, анемичных поэтов наших дней?

Дело в ощущении края пропасти. Пушкин в «Пире во время чумы» понял, что бывают времена, состояния духа, когда слаще любви, слаще свободы «упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» вот это перехватывающее дыхание чувство, когда «все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог!».

> И счастлив тот, кто средь волненья
> Их обретать и ведать мог.

Мы обретали, мы ведали.

На краю возможно отчаяние, но не сплин, не хандра. Не унылое безверие, а горячая вера. Не вялый самоанализ, а в упор поставленный вопрос: быть нам или не быть, жить или не жить? Хохот над смертью, ужас перед жизнью, но только не кривая усмешечка, не скепсис, не дряблая ирония. Не безволие, а воля. Не пустая трата времени, среди безвременья, а сопоставление времени с вечностью. «Навечно рай, навечно ад» — мельче категорий не признавали.

Последовавший за XVII просвещенный XVIII век поэтов Тридцатилетней войны почти не помнил, не знал, разве что мудрый Лессинг открыл политические эпиграммы Фридриха Логау. Грифиуса, например, забыли за полтораста лет: впервые его имя вновь появилось лишь в 1806 году в учебной программе одной из гимназий города Глогау; спустя еще восемьдесят лет вышел первый полный сборник его стихотворений.

XVII век более всего оказался близок веку XX. Грифиуса, Опица, Гофмансвальдау, Флеминга начали истово читать отравленные ипритом, те, кто вместо человеческого лица увидел вдруг маску противогаза и ужаснулся от мысли, что мир может погиб-

нуть. Интерес к поэзии барокко стал возникать после первой мировой войны: тогда-то и начали распространять термин «барокко», заимствованный у архитектуры, на музыку, живопись, а затем и на поэзию. Португальское слово «барокко» (от «перола барока» — жемчужина неправильной формы) оказалось пригодным не только для зодчества: «неправильность», декоративность, избыточность.

По-настоящему, однако, время барочных поэтов пришло после 1945 года. Люди нашли в них как бы товарищей по несчастью, увидели в них союзников, стали вдумываться в их нравственные уроки, в понимание ими человечности. Ведь что такое гуманизм, как не обдуманная совокупность реальных мер, предотвращающих войну и убийства, как не попытка смягчить нравы, утишить боль, утешить?

Весь 1973 и 1974 годы, отложив в сторону публицистику, я работал над книгой «Немецкая поэзия XVII века», которая вышла в свет в 1976 году, в дополненном виде — в 1977-м.

«Слово скорби и утешения» — сборник 1963 года — строился в основном на антологии Бехера. Теперь в моем распоряжении были десятки книг, изданных в ГДР, ФРГ, Швейцарии, Чехословакии, Польше. Вновь я посетил Силезию. Все шире открывалась мне жизнь, которая стояла за строками стихов, горестные реалии.

Многие поэты Тридцатилетней войны оплакивали гибель, сожжение книг. Это было реальным несчастьем, бедствием для тысяч людей. Богатейшие библиотеки в Силезии были не только у поэтов, ученых, вельмож, но и у горожан, у мещан. Были библиотеки при храмах — например, Марии Магдалины, святого Христофора, святой Елизаветы в Бреславле. Гуманист Томас Редигер подарил городу огромную свою библиотеку. Сгорела и она.

Было от чего отчаиваться... Во Вроцлаве, за железными дверьми книгохранилища, я увидел то, что чудом удалось спасти от всех войн, в том числе и от второй мировой. «Гамлет» издания 1605 года, первое издание Коперника, первое издание Лютера — в серой коже, с металлическими застежками: «Ветхий завет на немецком. М. Лютер, Виттемберг». Книгу иллюстрировал Кранах... Стихи Кохановского. Первые издания Грифиуса. Изданная в 1581 году в Лионе книга доктора медицины и доктора философии Франциску-са Санчеса, преподнесенная им Джордано Бруно: на титульном листе — чрезвычайно витиеватая, пышная дарственная надпись. На том же титульном листе пометка самого Джордано Бруно: наискось, как резолюция. «И этот осел еще смеет именовать себя доктором!»...

Можно представить себе, что там за книги погибли.

В начале этой главы я рассказывал, как переводил сонет Христиана Гофмансвальдау «На крушение храма святой Елизаветы». Гофмансвальдау был бургомистром Бреславля, позволял себе публиковать только шуточные эпиграммы, однако тщательно готовил свои стихи для посмертного издания.

Храм святой Елизаветы во Вроцлаве я увидел в строительных лесах. Он был разрушен во время Тридцатилетней войны, восстановлен, снова разрушен, в апреле 1945 года отстроен вновь. Трижды его охватывали страшные пожары; в последний раз — за несколько месяцев до моего приезда, в мае 1976 года.

И говорит господь: «Запомни, человек!
Ты бога осквернил и кары не избег.
О, если б знать ты мог, сколь злость твоя мерзка мне!
Терпенью моему ты сам кладешь предел:
Ты изменил добру, душой окаменел.
Так пусть тебя теперь немые учат камни!»

Я побывал в так называемых «храмах мира». Вестфальский договор, установивший религиозный мир на «вечные времена», утвердил принцип: «Cuius est regio, eius est religio dispositto» — религия, которую исповедует правитель, распространяется на его подданных. Силезия осталась провинцией католической Австрии. Протестантам запрещалось строить церкви с применением металла и камня: только без единого гвоздя, только на земляном фундаменте — «храмы мира». Таких храмов в Силезии три. По всем расчетам, «храмы мира» могли простоять не более десяти — пятнадцати лет. Они простояли триста.

Здесь все из дерева: массивные колонны, которые кажутся мраморными, пилястры, горельефы, которые невозможно отличить от золотых, пышные, имитирующие бронзу гигантские люстры.

Храм напоминает театр призраков: промерзшее, ледяное, совершенно пустое помещение, рассчитанное на 4500 человек. Кресла партера. Ложи. Ярусы, расписанные орнаментами, рисунками на библейские и евангельские сюжеты, украшенные гербами городов. Все повито паутиной, покрыто пылью, все во власти холода и запустения.

На стене портрет Лютера.

«Твердыня наша — наш господь».

Я ехал в Лигницу (Лигниц) по той же дороге, по которой уже путешествовал однажды, в 1945 году. Мерещились в темноте фигуры; представил себе, как по этим холодным, унылым, длинным дорогам, меся грязь, шли люди... Какие? Кто? Я должен был ощутить их своими братьями из XVII века, иначе как бы я мог взяться за перо?..

В Лигнице я заглянул в городской архив. Принесли пыльные черные папки. Толстая бумага. Едва поддающиеся прочтению, с немыслимыми писарскими завитушками, каллиграфическим почерком написанные приговоры. Я с трудом разбирал: «Милостию божией, 18 февраля 1631 года...» Упавшие в архив человеческие трагедии.

Клоцко был захвачен войсками Католической лиги в 1622 году. Когда-то это был цветущий город. Он не возродился до наших дней. За три века так и не возросло его население.

В Стшегоме, в Явуре сохранились документы, свидетельствующие о всеобщем ожесточении, распаде нравов, о бродяжничестве,

нищете. По улицам толпами бродили страшные женщины — проститутки Тридцатилетней войны.

В Шведнице, некогда богатейшем городе, истрепанном, истерзанном войной, в магистрате на медной пластинке были выбиты слова:

Итак, я цвел, но цветы мои облетели, не раскрывшись.
Итак, я высился, однако ноги мои не держали меня,
ибо война со шведом всею тяжестью
обрушилась на меня
и в потоках крови уничтожила мою красоту.

До войны в Силезии существовала своеобразная демократия. Были выборы: в ратушу, в суд. Теперь «выбирали» единственного кандидата, назначенного австрийским военным губернатором. С этой процедурой покончили в XIX веке: прусское правительство присылало в Силезию на выборные должности своих чиновников...

Я добирался до фактов, до того, что мучило моих поэтов.

Из Италии и Франции через Страсбург Андреас Грифиус возвращался в силезский мрак. На Европу он смотрел угрюмыми глазами силезца. В Париже властвовал на сцене Корнель, но ни «Сид», ни «Родогуна» не произвели на Грифиуса большого впечатления, с раздражением он писал: «Ни одна трагедия не может обойтись без любви и сводничества...» Случайно он оказался свидетелем возвращения из Англии королевы Маргариты-Генриетты, вдовы казненного Карла I. Грифиус был потрясен. Он думал о призрачности всевластия, изменчивости счастья. Именно тогда у него возник замысел трагедии «Карл Стюарт».

Он был в Риме. Восхвалял в своих стихах красоту вечного города, но тянуло его другое: катакомбы, подземные пещеры, в которых «христианская церковь, залитая кровью и слезами, зажгла свой свет». Шел в полной тьме, держа в руке тоненькую длинную свечечку. Думал о первохристианах. О смерти. О мученичестве.

В Венеции мировую славу стяжала опера, новый оперный театр. Грифиуса потрясла музыка Монтеверди, устройство сцены: сложная механика, пиротехническое искусство, быстрая смена роскошных, необыкновенно живописных декораций. Сцена, изображавшая райский сад, могла вдруг превратиться в мертвую пустыню, Олимп — в кладбище.

Он размышлял об изменчивости жизни, где все так же непостоянно, где столько садов стало пустынями. Не напоминает ли сама наша жизнь некий театр, не разыгрывается ли на земле вечный спектакль, где меняются лишь исполнители, а действующие лица, в общем-то, все те же?.. Но кто — постановщик?..

Во Флоренции он с восхищением осматривал галерею Уфицио, но его мучила мысль, что величайшие шедевры искусства не в состоянии образумить людей, остановить кровопролитие, утихомирить жестокость.

В трагедиях Грифиуса «Лев Армянин» и «Екатерина Грузин-

ская» — дворцовые заговоры, перевороты, коварство, мученичество, подлое торжество злодейства.

В драме «Карл Стюарт, или Умерщвленное величество» он осудил Кромвеля, Карл Стюарт представился Грифиусу добрым королем: в слабой этой пьесе он пожалел поверженного, слабого...

Он был убежден, что человек имеет право на счастье. Все, что отнимает у человека счастье, есть зло. Видимо, в этом смысл его громоздких, непригодных для постановки на сцене трагедий.

Угрюмая сила обвинителя уживалась в нем с блаженнейшим чувством: яростной потребностью кинуться на защиту обиженного, страждущего, пусть даже виновного, но в данную минуту страдающего, падшего...

По пути домой, в Глогау, он задержался на некоторое время на польской территории во Фрауштадте у своего отчима: тот бедствовал, разбитый параличом, уже несколько лет был прикован к постели...

В Силезии война все еще продолжалась, хотя уже изъела, изгрызла себя. У Грифиуса ненасытным чудовищем был жирный от крови меч. У Фридриха Логау появился другой образ: ненасытный голод, который пожирает всех, в конце концов сожрет и войну.

Преступные полководцы продолжали гнать в бой ландскнехтов. Много написано об их жестокости, жадности. Известно, что армия Валленштейна жила исключительно военной добычей. Но прочтите песни ландскнехтов: ни бравады, ни воинственности, скорее — горькие размышления о бесприютной солдатской доле, о том, как худо простому человеку на войне, в этом жестоком мире. Песни поражают своей человечностью, рассудительностью. Когда Шиллер писал «Лагерь Валленштейна», он как бы заново осмыслил солдатский фольклор Тридцатилетней войны. В грубой массе солдат, в этих насильниках и охальниках, он разгадал гонимых нуждою людей, почувствовал их затаенное человеческое тепло, достоинство, отчаянную жажду воли...

Главное зло — забвение хоть на миг, что человек — мера всех ценностей, что высшую на земле ценность представляет собой человек, пусть самый завалящий — «последний человек», так скажем...

...Осенью 1978 года я вновь встретился в Берлине с прокурором Фассунге. Он знал о моей беде, говорил со мной сдержанно, грустно.

Что есть предел падения? Распад связей между людьми, то состояние, когда человек перестает видеть в других людях людей. Убийца, эсэсовец, подбрасывая кверху ребенка и расстреливая его на лету, не видит в нем человека — всего лишь мишень. Для палачей те, кого они прикладами подталкивают к краю могильного рва, расстреливают, — не люди. Им это внушено, иначе они не смогут нормально выполнять свою обязанность: убивать.

Между тем они сами перестают быть людьми. Когда жертвы

кричат в лицо палачам: «Вы — не люди!» — это по существу верно. Их расчеловечивает сложная система идеологической обработки. Для начала их отключают от знаний, от достижений цивилизации, до предела сужают круг сведений о мире, о жизни, в свободные от знаний мозги вводят яд. При этом лишают доступа к каким бы то ни было противоядиям. Только — «Шварцер кор», только «Штюрмер», только — «Фелькишер беобахтер». Персонал концлагеря тоже находится в концлагере. Ежедневно. Постоянно. Только три-четыре недели в году — отпуск. Потом снова служба. Аппельплац. Перекличка. Рапорты. Офицерское казино...

Я спросил Фассунге, приходилось ли ему допрашивать «интеллигентных» преступников?

Приходилось. Врачей, например, которые до нацизма были обычными врачами, потом вступили в нацистскую партию, в СС, стали врачами-убийцами. Умерщвляли «неполноценных» узников, проводили опыты над живыми людьми. А после войны стали снова врачами и лечили людей. Хорошо умели лечить. Не хуже, чем умерщвлять. Бесчувственно убивали. Бесчувственно лечили. Чувства ни при чем. Это ужас бесчувственности.

Преступников можно выследить, выловить. Но попробуйте выловить саму причину, явление! Существует множество людских пороков и слабостей: стяжательство, неуживчивость, жестокость, сварливость, страсть к склокам, зависть, замкнутость — и вдруг все эти неприятные качества, эти признаки несовершенства человеческой природы мобилизуются, ставятся на службу государственной, военно-полицейской машине, утилизируются!.. Более того, кто не обладает такими пороками, должен ими постепенно обзавестись, иначе его сомнут!..

Ужас фашизма состоит в том, что он убивает общепринятую мораль, извечные нравственные нормы, стирает заповеди. Что значит для лагерного врача клятва Гиппократа по сравнению с приказом, полученным от какого-нибудь штурмбанфюрера? Что значит «не убий!» по сравнению с зарегистрированной в журнале входящей документации телефонограммой об убийстве очередной партии больных, престарелых, недееспособных или признанных таковыми?..

...Пишу эти строки, снова охватывает меня мучительное состояние горя, страшной жалости к н е й, к ее глазам, рукам, жестам. Почти непереносимая мука.

Но ясно теперь одно: страшны жестокие сердца, преступно сердце, лишенное сострадания, жалости. Ради священного сострадания можно пойти на любое унижение, переступить через самолюбие, святое чувство жалости усмиряет гнев, обиду...

Более всего в ней было развито это чувство.

— —

После поездки в Силезию я переводил «Сонет надежды» Грифиуса, «Строки отчаяния» Гофмансвальдау, не предполагая, что предсказываю своими переводами собственную судьбу, то, что произойдет вскоре. Что, вчитываясь в «Песню утешения» Гергард-

та, буду искать сокровенный смысл в его строках, приспосабливать эти строки к себе:

...С больной души он снимет гнет.
Возьмет, что дал, что взял — вернет.
Дарует утешенье!..

6

Пора наконец описать внешность Грифиуса.

На единственной известной мне литографии он похож на Петра Первого. Одутловатое лицо, угрюмый, пучеглазый, кошачьи усы — торчком в обе стороны; длинные темные волосы ниспадают на белый, с кружевами, отложной воротник.

Он уже возвратился в свой Глогау, отвергнув предложения стать профессором математики, которые поступали к нему от университетов Франкфурта, Гейдельберга, Упсалы.

Он занимает пост синдика, ему надлежит ведать делами земских сословий, осуществлять надзор за соблюдением финансового законодательства. Хлопотливая, трудная должность, которая требует усердия, времени, умения быть дипломатом. Он видит в этом веление судьбы, перст божий, убежден, что вернулся в Силезию не зря, не случайно.

Господь, отчизну мне ты дал в начале жизни,
Дабы я знал, то жизнь есть только — жизнь в отчизне...

Он составляет свод законов города Глогау — попытка противостоять католическому абсолютизму австрийцев. Опасаясь местной цензуры, он печатает свод в Польше. Вопросы права в мире бесправия занимают его и как драматурга. Он пишет пьесу «Папиниан»: юрист Папиниан не соглашается юридически обосновать убийство, совершенное тираном. Вместе со своим малолетним сыном он принимает мучительную смерть — во имя права. Из груди у него вырывают сердце.

В присутствии выдающихся ученых Грифиус производит в Бреславле вскрытие двух египетских мумий. Разрешение на вскрытие выхлопотал ему Гофмансвальдау. Это было необычайно сложно, мумии принадлежали аптекам, из них изготовляли дорогие лекарства. Результаты вскрытия Грифиус описал в латинском трактате...

Он женится на дочери богатого купца Розине Дейчлендер.

Он — маститый сановник, отец семейства. У него семеро детей.

Четверо один за другим уйдут в вечность, как в чащу леса, еще в младенчестве: Константин, Теодор, Мария, Элизабета.

Анна Розина, любимица родителей, в пять лет внезапно лишится рассудка, дара речи, не сможет двинуть ни рукой, ни ногой. В таком состоянии она проживет всю оставшуюся жизнь, пока не угаснет в возрасте тридцати восьми лет в одном из госпиталей Бреславля.

Сын Пауль умрет в двадцать четыре года.

И только сын Христиан переживет отца, станет ученым, поэтом и в конце XVII века издаст собрание сочинений Андреаса Грифиуса.

Несчастья будут преследовать Грифиуса до последнего часа, словно испытывая прочность его духа.

Но и в поздних его стихах мы не найдем стенаний. Разве что в сонете «На завершение года 1648» ощутим томившую его потребность в передышке, в отдыхе.

Уйди, злосчастный год — исчадье худших лет!
Страдания мои возьми с собой в дорогу!
Возьми болезнь мою, сверхлютую тревогу.
Сгинь наконец! Уйди за мертвыми вослед!
Как быстро тают дни... Ужель спасенья нет?
К неумолимому приблизившись итогу,
В зените дней моих, я обращаюсь к богу:
Повремени гасить моей лампады свет!
О, сколь тяжек был избыток
Мук, смертей, терзаний, пыток!
Дай, всевышний, хоть ненадолго дух перевести,
Чтоб в оставшиеся годы
Не пытали нас невзгоды.
Хоть немного радости дай сердцу обрести!

Это было в год подписания Вестфальского мира...

В Мюнстер, где был подписан Вестфальский мирный договор, я впервые попал в конце лета 1978 года.

Да, был конец августа, и листву, которая начала зеленеть еще при ней, уже запылило, уже сжигало, сжирало лето, уходящее в первую без нее осень.

Но ведь всего два с половиной месяца назад все было не только не безнадежно, напротив, ярко вдруг блеснула надежда. Я стоял под окнами послеоперационного корпуса, размахивая книжкой журнала «Иностранная литература», и тогда на третьем этаже в одном из окон над чем-то белым медленно поднялась и плавно опустилась рука.

Почему смерть бьет в самое неподходящее время, когда только бы, кажется, жить, когда возникают достойные замыслы и когда наступает пора пожинать плоды долгой, трудной и, в общем-то, достойной жизни?..

10 июня 1978 года утром меня вызвали в послеоперационную палату. Буба лежала неподвижно среди голубого кафеля, с отрешенным взглядом, тяжелым, уже величественным лицом, с трудом открыла глаза и говорила с трудом... Постепенно я ее «разговорил», лицо снова стало м о и м, то есть родным, милым мне, е е лицом. Она поправила на мне накинутый небрежно халат, как раньше оправляла пиджак или воротник пальто. Улыбнулась...

Свидание длилось несколько минут.

Потом, вечером, я сидел в той палате, в которой она находилась до операции и куда ее должны были через несколько дней возвратить. Вошла профессор М., сказала, что только что была у

нее **там** и считает, что надежда есть, безусловно есть. У меня была с собой книжка — «Немецкая поэзия XVII века». От полноты чувств я успел сделать дарственную надпись, хотел прочитать вслух «Сонет надежды» Грифиуса.

Внезапно М. вызвали. Пришла сестра, что-то шепнула ей на ухо. М. сказала:

— Я сейчас вернусь. Подождите.

Я ждал около часа. Никто не появлялся.

Проводя целые дни в больнице, я перечитывал литературу о Грифиусе. Одна из монографий лежала в палате на тумбочке. Я стал машинально листать книгу, взгляд остановился на странице, где говорится о пожаре во Фрейштадте.

В палату вошел молодой врач. Он мялся, не знал, что сказать, улыбался вяло. Потом вдруг сказал:

— Вообще дела не очень-то хорошие...

Это была первая остановка ее сердца, первая клиническая смерть. В течение дальнейших дней таких остановок было семь.

За ее жизнь отчаянно боролись врачи и она сама. Знаю: хотела прорваться ко мне на помощь, не себя спасти, а меня.

19 июня 1978 года в 13 часов 50 минут Буба умерла.

Когда сообщили, что она умерла, я понял, что умерла, но что-то еще трепыхалось во мне: «Да, она умерла, но...» Было какое-то нелепое, успокаивающее подсознательное «но». Она умерла, но... идет дождь... но я давно это предвидел... но я сильный человек, я выдержу...

Но — я умер вместе с ней.

. . . .

. . . .

Нет ничего страшнее, чем это: «...вечно в наших сердцах». Вот когда **только в сердцах, только в памяти**...

...Итак, я должен «вечно хранить» ее в своем сердце. **Только в сердце**!..

. . . .

«Мне твой голос чудится, сердце жаждет речи, вернись, все позабудется при первой нашей встрече». Кассетофон пел, она вела машину, мы возвращались из-за города. Ей предстояло вскоре лечь в больницу на обследование...

. . . .

Вдруг вспомнил, как в январе 1978 года мы ехали с ней из Кёльна. Поезд в Кёльне стоит всего три минуты, вещи с трудом забросили в московский вагон, сами едва успели вскочить в соседний — в немецкую «сидячку»: темно-синее грязное мягкое купе... Зайцем ехал какой-то мальчик лет двенадцати, аккуратный немецкий школьник: бежал из дома. Проводник высадил его на ближайшей станции, в Дюссельдорфе, сдал в дорожную полицию. В коридоре качались странные типы: один с маленькой синей дамской сережкой в ухе... Сидели в полутьме, в полудреме всю ночь, к утру на несколько минут задремали. Очнулись, направились в свой московский вагон, выбежали в тамбур — вагон, в котором мы

ехали, оказался последним, тот, шедший сзади советский вагон со всеми нашими вещами, где-то, видно, отцепили. За нами зияла пустота, бежали, то переплетаясь, то расходясь, рельсы.

В Западном Берлине («Берлин-Цоо») вышли, ходили по перрону.

Она, впрочем, присела: видимо, уже вкралась в нее та губительная, необратимая усталость, которая называется смертью.

Мы не знали, как быть... Кто-то из железнодорожных служащих сказал, что московский вагон, наверно, прибудет с другим составом, минут через двадцать. И действительно, через двадцать минут вагон прибыл...

С подножки спускался с флажком проводник. Увидев нас, сказал:

— Не бойтесь. Все в целости. У нас ничего не пропадет.

Вещи — чемоданы, картонки — стояли в служебном купе.

Все было в целости, ничего не пропало.

Через полгода я от этих вещей яростно избавлялся, раздарпвал.

. . . .

В декабре 1977 года мы поехали в Ленинград, город, который я всегда особенно любил, а она меньше, считала музейным, предпочитала Москву. Но теперь ее остро пронзил Ленинград: все она видела будто впервые, от всего ее бросало в дрожь: от последней квартиры Пушкина на Мойке, где она, конечно, и прежде бывала, но никогда раньше ни она, ни я так остро, так мучительно не переживали того страшного несчастья, которое случилось с нами со всеми здесь 29 января (по ст. стилю) 1837 года, когда Жуковский писал свои бюллетени...

Мы пришли на последнюю квартиру Достоевского (с ним прощаться?) и, стоя в прихожей этой квартиры большой семьи, слушали рассказ экскурсовода — молодой женщины со страдальческим лицом — о последнем дне Достоевского, об этом в наугад раскрытом евангелии найденном — «Не удерживай»...

Прощались мы навсегда.

Дул в эти дни в Ленинграде, свистел пронзительный, острый, ледяной ветер, гнал снег... Я подумал о великой пушкинской догадке, о его великой метафоре. Пушкина преследовал образ бурана, метели, снежного вихря. У него — «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...», у него — «Бесы», где «вьюга... слипает очи», у него — «...вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась», у него — «...как путник запоздалый» стучится буря в окно, у него — «Метель» в «Повестях Белкина», у него — «Ветер завыл; сделалась метель» в «Капитанской дочке»... Видим Пушкина распростертым на снегу у Черной речки и видим: розвальни мчат тело Пушкина по снежной дороге в Святые Горы. Памятник Пушкину в Москве представляется воображению чаще всего в зимний день, облепленный снегом... Случайность ли это или томительно-сладостное предощущение того неотвратимого, о чем догадался он в «Пире во время чумы», где зима рифмуется с чумой:

...Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,—

где зима — и рождественский, радостный, чуть ли не детский праздник, и...

Пушкинская метель воет в «Шинели» Гоголя, гуляет по Невскому проспекту; Достоевский поставил эпиграфом к «Бесам» пушкинские строки; «Ветер, ветер — на всем божьем свете!» — в «Двенадцати» Блока. Булгаков услышал завывание пушкинской вьюги в «Белой гвардии», в повестях... Метель метет по страницам русской литературы...

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?..

Важно, мягко тронулся поезд. Мы отъезжали, смотрели в окно. Так было похоже на Петербург, на «Анну Каренину»: шли по перрону генералы, священник. Шел писатель Распутин...

. . . .

Когда ей было двенадцать лет, она вдруг лишилась родителей, теплой семьи. Через Даниловский приемник ее вместе с братом вывезли в ледяной, зимний Рыбинск в детдом, где спали на соломенных тюфяках под байковыми приютскими одеялами. Всех знобило, все мерзли... Директор Жуков отнесся к ним со вниманием, жалостью, помогал расти. Выросли. Вышли в люди, стали инженерами, изыскателями, научными работниками. Они не прерывали дружбы и относились друг к другу с братской, родственной нежностью.

У их отцов были легендарные имена, биографии: они делали историю и сгорели в ее огне...

Дети встретились 22 февраля 1978 года в Москве — отмечали сорокалетие со дня прибытия в Рыбинск. Выпустили стенгазету со старыми, детдомовскими фотографиями: «Их было тринадцать».

Приехала старая женщина, вдова их директора, погибшего на фронте. Когда ее провожали домой в Рыбинск, несли на вокзал тяжелые сумки с апельсинами.

Итак, это был конец февраля.

В марте все покатилось, полетело с откоса...

Втайне от нее я гадал на книгах: перед анализами, перед рентгенами, перед посещением врачей, перед операцией. И — всякий раз! — книги отвечали: разгром, конец, гибель.

За несколько минут до ее смерти я наудачу раскрыл «Рейнеке-лиса», это, как я уже говорил, была ее любимая книжка, к тому же смешная, сатирическая, едва ли я мог напасть на страшное место. Ткнув пальцем в одну из страниц, прочитал:

И вот остались минуты считанные...

Мы часто все употребляем слово «смертные», не думая, что оно относится к нам самим. А ведь сознание краткости жизни возлагает на нас высокий долг. В припадке обиды или раздражения мы иногда не разговариваем со своими близкими, забывая, что по-

том они, умерев, не смогут разговаривать с нами вечно. Бойтесь ссор!.. Каждая ссора может оказаться последней! Старайтесь простить друг другу все, что можно простить. Знайте, что высшее счастье, истинное счастье — возможность видеть любимое существо. Других любимых не будет!..

«Кончена жизнь» — последние слова Пушкина.

Только теперь я ощутил это: тридцать лет, тридцать тяжелых, длинных, трудовых, насыщенных всем тем, что именуется жизнью, вдруг как бы развеяло по ветру, словно они превратились в пепел, в золу, в дым.

Да, та жизнь сгорела. Над трубой крематория вился только слабый дымок...

Мы живем в надежде, надеждой. За ней, отделенная от нее глубочайшим рвом, лежит безнадежность. Из обители безнадежности в обитель надежды возврата нет. Там вы свободны от боязни утратить надежду, за которую вы так цеплялись.

Что же тогда остается?..

7

Вестфальский договор, положивший конец Тридцатилетней войне, был подписан в Мюнстере 24 октября 1648 года.

Я родился 24 октября 1921 года в Москве. Мой отец был адвокатом, передо мной проходит вереница его клиентов. Голосов их не помню, вижу очертания, иногда — лица. Помню жесты. Немой фильм. Вижу их вереницу с 1925—26 годов до 1955-го, когда мой отец умер 30 мая.

Первые, кто приходили, были дамы. Помню вуали, муфты, горжетки. Приподняв вуаль, дама подносит к глазам платок...

Помню взлохмаченного человека с бородой-мочалкой, в чесучовом пиджаке. Руки его дрожат. У этого помню слова. Его сын — в Соловках. Человек зачастил к моим родителям, можно сказать, прижился. Звали его Абрам Александрович Иоффе. Он был выкрест, толстовец. Сын его был православный священник...

В ту пору адвокатам еще была разрешена частная практика на дому. Мы жили в доме 28 по Печатникову переулку, в квартире 1, номер нашего телефона был тогда 2-53-10. Я очень хорошо запомнил этот номер: еще и сейчас в моем мозгу вспыхивают иногда цифры 2—5—3—10 — магические знаки времени. Телефон был настольный, с большой тяжелой трубкой на никелированных рычажках. Кроме телефона в квартире был еще один аппарат: электросчетчик фирмы «Сименс-Шуккерт», черная металлическая коробка, висевшая на стене в коридоре.

К счетчику прикасаться было строжайше запрещено потому, что, как говорили мои родители, он опломбирован, то есть находится под охраной государственной власти. Только представитель государственной власти имеет право, сняв пломбу, заглянуть в нутро счетчика. Всякий, кто даже случайно нарушит запрет,

вступает в конфликт с властью, с законом, а то, что с законом не шутят, я усваивал с самого раннего детства.

Из разговоров, которые велись в кабинете отца, до меня долетали слова «Губсуд», «ГПУ», «МУР», «фининспектор»,— я догадывался, что все это имеет отношение к закону, к власти, которая в нашей квартире оставила в напоминание о себе свинцовую пломбу, прикрепленную к счетчику. Пломба вызывала у меня тайный страх и непреодолимое желание сорвать ее, что я однажды и осуществил, к собственному ужасу...

Я сам явился к родителям с повинной, не прося о пощаде, готовый понести заслуженное возмездие. Я не совсем отчетливо представлял себе, в чем оно будет выражаться, но несомненно предполагал, что з а м н о й п р и д у т, как приходили тогда за теми, о которых я слышал в шепотке клиентов отца.

Представитель власти пришел в тужурке, с черной короткой бородкой торчком: электромонтер. И когда я спросил, что меня ждет, он тут же огласил приговор: «Десять лет расстрела солеными огурцами!» — после чего прикрепил к счетчику новую пломбу и ушел.

К своим клиентам отец относился с состраданием, за редким исключением, если преступления были вызваны жестокостью, низостью, подлым расчетом. Убийц не защищал никогда. С отвращением рассказывал о тех своих подзащитных, которые нагло дерзили суду. Очень жалел жен осужденных, матерей, детей, вообще их близких. Но однажды весь, как бы перед смертью — действительно незадолго до смерти,— отдался защите одной молодой женщины. Речь шла о крупных злоупотреблениях, женщина работала вместе с мужем, проходила по делу как его соучастница, дома у нее оставалось двое маленьких детей. Ей грозил один из астрономических сроков тех лет. Отец буквально бросился на ее защиту, накануне приговора он говорил: «Если ее осудят, я пойду за ней...»

Ее осудили условно, отпустили домой. У меня хранится серебряный подстаканник: «Вы спасли нашу маму»...

Естественно, я видел этих людей глазами сына адвоката. Если бы мой отец был прокурором, я, возможно, видел бы их в совсем другом свете.

. . . .

Переговоры по процедурным вопросам длились бесконечно долго.

Прекращение Тридцатилетней войны становилось неотвратимым, уже не было ни сил, ни желания, ни, главное, смысла продолжать войну, однако не менее двух лет ушло на обсуждение церемониала, порядка обращения друг к другу, формул приветствия, кого каким титулом величать. Папский легат остроумно заметил, что охотно бы позволил всем участникам будущего конгресса называть друг друга «ваше императорское величество», лишь бы скорей начинали.

Не начинали. Созывали рейхстаги, ландтаги, пыхтели над дип-

ломатической перепиской. Писцы по сто раз переписывали каждую ноту: вносились исправления.

Наконец условлено было избрать местом переговоров Вестфалию: Мюнстер и Оснабрюк. Оба города на время переговоров объявлялись нейтральными: островки благоденствия и вызывающей роскоши среди океана страданий и крови.

Конгресс должен был начаться в 1642 году, но вопрос о статусе германских князей и некоторые другие частности отодвинули официальное открытие еще на год. Впрочем, и в 1643 году посланники не спешили. Каждая сторона боялась унизиться перед другой, уронить свой престиж, прибыв на конгресс первой.

Война продолжалась.

В декабре 1644 года конгресс торжественно открыли. В Мюнстер прибыло 230 дипломатов. Кроме России, Турции, Англии — здесь была представлена вся Европа. Мир еще не знал столь гигантского общеевропейского форума. Триумф миролюбия, доброй воли. Еще не мир, но уже праздник мира.

Этот «праздник» длился четыре года.

Война продолжалась. В 1645 году шло побоище между датчанами и шведами. В 1646 году шведы и французы вторглись в Баварию. Все тонуло в крови...

В то время в Мюнстере было 10 тысяч жителей и примерно столько же составляли приезжие дипломаты, их свита, их охрана. Жили на широкую ногу, швыряли деньгами. Как наживались на войне, так теперь наживались на мире. Это была прекраснейшая пора праздности, выдаваемой за деловитость, торжества цинизма и разврата под маской добродетели и миротворчества.

В Мюнстере царил дух наживы, подкупа, взяточничества. Стоимость квартир, плата за ночлег возросли в десятки раз. Со всей Европы в город стекались «жрицы любви», фокусники, бродячие актеры, шарлатаны, живописцы, писавшие дорогостоящие портреты участников конгресса. Тогда же было создано «Карнавальное общество», существующее и поныне.

Никто никуда не спешил: делалось великое дело — установление европейского мира «на вечные времена»!.. И ничтожные, мелкие люди, преисполненные важности и самоуверенности, закатывали балы, развлекались, позировали льстивым придворным живописцам, а война между тем продолжалась: никому не пришло в голову на время переговоров объявить прекращение огня. Война продолжалась, гибли люди, переменчивое военное счастье улыбалось то одной, то другой стороне. Реляции полководцев курьеры везли в Мюнстер. Представитель стороны, которая взяла на сей раз верх, восседал за столом в этот день с важной миной.

Колесница переговоров тащилась чрезвычайно медленно. Сильнее разума было взаимное недоверие, упрямство, жадность, стремление к господству. Когда переговоры заходили в тупик, наступали долгие месяцы безделья. Дипломаты развлекались. В 1645 году французы дали представление «Балет мира»: аллегорическое изображение победы Согласия над Распрей. Граф д'Аво угощал дам

конфетами. Второй балет был поставлен в феврале 1646 года по случаю рождения сына у герцога Лонгевильского, ничтожного франта.

Да, то были не лучшие из людей — вершители европейских судеб.

В Зале мира в мюнстерской ратуше, сидя на длинной деревянной скамье, на которой восседали когда-то посланники, я рассматривал их, писанные голландскими мастерами, портреты.

За девяносто лет до конгресса в этом зале вершила свой суд Мюнстерская коммуна, «Совет двенадцати апостолов». Иоанн Лейденский — в недалеком прошлом портной и бродячий поэт Ян Бокельзон — объявил себя царем Нового Сиона, в будущем — владыкой всего мира. Мюнстер был объявлен городом, избранным богом, оплотом тысячелетнего царства Христова... Ремесленники, мелкие торговцы, городская беднота сплотились, чтобы начать жить по-новому. Все, что было до них, весь предшествовавший миропорядок, было делом рук дьявола. Теперь будет полное равенство, теперь не будет ни богатых, ни бедных, теперь все будет общим. Общими будут и жены. Так сказали пришедшие из Голландии, из Лейдена, пророки Ян Матис и Иоанн Лейденский. Так сказали ставшие бургомистрами ткач Киппенбройк и торговец Книппердолинг. Из Мюнстера идеи коммуны распространятся скоро по всему миру.

Мюнстерская коммуна знала героику, восторг, знала жестокость. Книппердолинг рубил головы маловерам, изменникам, стяжателям.

Коммуна знала любовь. Когда Ян Матис умер, его вдова Дивара стала одной из шестнадцати жен Иоанна Лейденского.

Коммуна знала голод, нужду и осаду. Она выдерживала осаду шестнадцать месяцев. Она обратилась за помощью к протестантским князьям. Те предпочли сговориться с католическим епископом.

Коммуну погубило предательство. В ночь на 25 июня 1635 года один из участников обороны Мюнстера, столяр Гресбек, провел в город осаждавшие его войска.

Иоанна Лейденского, палача Бернда Книппердолинга и канцлера коммуны Бернгарда Крехтинга посадили в клетки и возили по городам Вестфалии, показывая народу. Потом их пытали раскаленными щипцами. Потом казнили. Клетки с их трупами вознесли над городом, эти клетки висят и сейчас на башне церкви святого Ламберта, прямо над часами: то ли достопримечательность, то ли предостережение.

Дивару обезглавили на соборной площади.

В Зале мира под стеклом хранятся туфля одной из жен Иоанна Лейденского, отрубленная кисть женской руки...

Выйдя из ратуши, я отправился в церковь святого Ламберта: почерневший камень, ранняя готика. Часы, над которыми висят клетки, пробили полдень. Протрубил на башне трубач.

«Из глубины своих скорбей к тебе, господь взываю...»

Каждые полчаса бьют часы и трубит трубач над Мюнстером.

В годы второй мировой войны раздался здесь иной трубный глас.

Епископом Мюнстера был тогда именитый вестфалец, двухметрового роста богатырь, граф Клеменс фон Гален.

Среди его предков были военачальники и священнослужители.

Про него говорили: вестфальский нрав, вестфальская кровь! Он обладал несокрушимой волей и нежным сердцем. К нему льнули дети. Часто он шел по городу, окруженный детьми. Он был известен всей Вестфалии. Казалось, не было человека добрей.

В 1933 году епископ фон Гален оторопел: к власти пришли чудовища.

Он обрушил на них свои проповеди, послания к пастве.

Епископа пытались урезонить. Розенберг, приехав в Мюнстер, сунулся было к нему, хотел предложить сотрудничество: фон Гален выставил «идеолога партии» за дверь...

Началась война. Мюнстер бомбили ночью и днем, под бомбами рухнула ратуша с Залом мира, пострадала церковь святого Ламберта, рушились дома.

Епископ сидел в своем кабинете, курил трубку с длинным тонким чубуком, работал. Не было случая, чтобы он спустился в бомбоубежище. Когда раздавался отбой, он выходил на улицу, бродил среди развалин, перевязывал раненых, утешал отчаявшихся.

В соборе, где он служил, терлись агенты гестапо. Вслушивались в его проповеди, следили за реакцией прихожан.

Епископ говорил о преследовании церкви, о внесудебных расправах, об исчезновении людей. Он говорил о противозаконном всевластии гестапо.

В Берлине не знали, что с ним делать. Арестовать, убить?

Он был слишком заметной фигурой, слишком популярен в народе: здесь следовало, пожалуй, повременить.

Гитлер шипел: «Подлый поп!..» Геринг послал Галену письмо, полное скрытых угроз.

Эта возня вокруг епископа с точки зрения нацистской этики была преступным слабодушием. Когда нужно было, сокрушали целые страны, убирали кого угодно, а тут какая-то каланча ходит по Мюнстеру и совращает народ. И Гиммлер говорил Герингу: «Что нас губит, так это — мягкосердечие... Мы слишком гуманны...»

В окрестностях Мюнстера находилось несколько психиатрических лечебниц. В августе 1941 года епископ Клеменс фон Гален с амвона церкви святого Ламберта произнес:

— В течение вот уже нескольких месяцев нам сообщают, что из психиатрических больниц и интернатов по указанию из Берлина в принудительном порядке увозят пациентов, которые давно больны и, возможно, считаются неизлечимыми. Как правило, в таких случаях родственники вскоре получают извещение, что тело кремировано и прах может быть выдан. У всех существует граничащее с уверенностью подозрение, что эти многочисленные слу-

чаи смерти душевнобольных происходят не сами, а вызваны умышленно: что тут руководствуются учением, утверждающим, будто так называемую неполноценную жизнь можно уничтожить, то есть умерщвлять ни в чем не повинных людей, если кажется, что их жизнь не представляет никакой ценности для народа и государства. Страшное учение, оправдывающее убийство невиновных, принципиально допускающее насильственное умерщвление нетрудоспособных инвалидов, калек, неизлечимо больных, престарелых!..

И далее гремел мюнстерский епископ:

— Признать, что люди имеют право умерщвлять своих «непродуктивных» собратьев, даже если пока это касается только несчастных и беззащитных душевнобольных, это значит позволить в принципе убивать всех непродуктивных, то есть неизлечимо больных, инвалидов труда и войны, убивать нас всех, когда мы состаримся и будем немощны, а следовательно, непродуктивны. Тогда ничего не стоит каким-нибудь тайным распоряжением распространить метод, испытанный на душевнобольных, на других «непродуктивных», то есть на страдающих неизлечимой болезнью, на престарелых, на инвалидов по старости, на тяжелораненых солдат. Тогда в опасности жизнь любого из нас. Какая-нибудь комиссия может внести его в список «непродуктивных», которые, по ее мнению, «утратили право на жизнь». И никакая полиция его не защитит, и никакой суд не будет судить его за убийство и не подвергнет убийцу заслуженному наказанию. Кто сможет тогда доверять своему врачу? Может быть, он объявил больного «непродуктивным» и получил указание убить его. Трудно представить себе, какое наступит нравственное одичание, какое всеобщее недоверие, которое проникнет и в семьи, если мы примиримся с этим страшным учением, если согласимся с ним и будем ему следовать. Горе людям, горе нашему немецкому народу, если священная заповедь божья «не убий!», которую господь бог, наш творец, изначально запечатлел в человеческой совести, будет не только нарушена, но с этим нарушением примирятся и будут чинить его безнаказанно...

Епископ фон Гален многое предвидел. Нет, своею проповедью он не остановил топор палача, но он совершил главное: сделал, что мог...

Бывают люди несокрушимые.

...Как ни странно, убрать фон Галена тогда не решились: боялись брожения на фронте среди солдат, уроженцев Вестфалии, волнений в тылу. Ждали удобного случая: может быть, в одну из бомбежек... Но «подходящий момент» так и не наступил. Клеменс фон Гален умер в сане кардинала в 1946 году от приступа аппендицита. До этого он успел вступить в острый конфликт с английскими оккупационными властями...

Мирный договор подписывали не в здании ратуши — носили на подпись посланникам на квартиры.

Потом грянули залпы салютов, взвились в небо ракеты фейерверков, ударили колокола.

За что воевали тридцать лет? В 1648 году первоначальные мотивы войны были почти забыты. Мы читаем у Шиллера: «Бедствия Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире и самый невыгодный мир казался благодеянием небес».

Пустырем отчизна стала,
Слезы выпиты до дна,
Даже смерть — и та устала..,
Так окончилась война.

Посланники задержались в Мюнстере до февраля 1649 года.

19 февраля в здании ратуши состоялась церемония ратификации Вестфальского договора, затем был устроен необычайно пышный прием.

После того как разбомбленную, превращенную в груду руин ратушу восстановили в 1948 году, при входе в Зал мира укрепили табличку с латинским изречением:

«Мир — высшее благо».

Миновало страшное тридцатилетие. Наступали десятилетия зыбкого мира.

Логау беспощадно язвил:

Война — всегда война. Ей трудно быть иною,
Куда опасней мир, коль он чреват войною.

Томас Манн писал, что Тридцатилетняя война «опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад».

Однако именно в эти годы Германия дала великих людей: в литературе — Грифиуса, в музыке — Шютца.

Андреаса Грифиуса называли силезским Шекспиром.

Он родился в год смерти Шекспира и Сервантеса, в 1616 году, он умер в год столетия Шекспира.

В Глогау заседал магистрат...

«...16 июля 1664 года без четверти пять после полудня его в присутствии всех собравшихся членов магистрата и комиссий поразил столь внезапный и сильный апоплексический удар, что он вскоре скончался на руках испуганных советников, и, таким образом, его жизнь оборвалась в неполных сорок восемь лет без одиннадцати недель при исполнении им своего служебного долга...»

Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку,
В отчаянье стенал над сотнями могил.
Утратил всех родных. Друзей похоронил.
Мне каждый час сулил с любимыми разлуку.
Я до конца постиг страдания науку:
Оболган, оскорблен и оклеветан был.
Так жгучий гнев мои стихи воспламенил,

Мне режущая боль перо вложила в руку!
— Что ж, лайте! — я кричу обидчикам моим.—
Над пламенем свечей всегда витает дым,
И роза злобными окружена шипами.
И дуб был семенем, придавленным землей...
Однажды умерев, вы станете золой.
Но вас переживет все попранное вами!

Андреас Грифиус. «Последний сонет»

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

1

Главу эту следует, пожалуй, с самой Фортуны и начинать.

Фортуна помещена в центр своего колеса, в руках держит свитки, где все и предначертано,— судьбы.

На вершине колеса в глупом самодовольстве — человек в короне, со скипетром, над ним начертано слово regno — царствую, правлю. Справа от него карабкается к вершине колеса будущий удачник с лицом, исполненным вожделения: regnabo — буду править!.. Слева — по ходу вращения колеса — уже летит вниз тот, к кому относится regnavi — я правил. В самом низу, сброшенная колесом, лежит фигура поверженного: sum sine regno — отцарствовал.

Рисунок «Колесо Фортуны» выполнен цветной тушью, им открывается рукопись сборника поэзии вагантов, который в 1803 году при секуляризации церковных земель обнаружили в баварском монастыре Бенедиктбейерн: пролежала она в тайнике шестьсот лет.

Слезы катятся из глаз,
арфы плачут струны.
Посвящаю сей рассказ
колесу Фортуны.

Над словами невмы — нотные знаки, подобия ударений.

По названию монастыря сборник назвали «Carmin Burana».

Выпала мне судьба: с Фортуной, с колесом судьбы встретиться.

Лирику вагантов я начал переводить в 1967 году, внутренне даже этому противясь. Отпугивало меня то, что там в основе латынь, какими-то грамматическими упражнениями отдавало, не мог к немецкому началу пробиться, да и все эти слова: «веселие», «питие», «братия, возрадуемся!», которые лезли на меня из комментариев и статей, из обрывочных, для хрестоматий сделанных чужих переводов, угнетали книжностью. Все было пылью присыпано: «обличие папской курии», «земные, плотские радости», «приятие жизни». Какое уж там п р и я т и е, если, например, читал в хрестоматии Шор в переводе Осипа Румера:

Осудивши с горечью жизни путь бесчестный,
Приговор ей вынес я строгий и нелестный.

Создан из материи слабой, легковесной,
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный...

Нет, мертвое все это было. Не мое. Чужой пир. Книжный. И вдруг вник в немецкий текст, затем в латинский:

С чувством жгучего стыда
я, чей грех безмерен,
покаяние свое огласить намерен.

Был я молод, был я глуп,
был я легковерен,
в наслаждениях мирских
часто неумерен...

Предшественник переводил:

Мудрецами строится дом на камне прочном,
Я же легкомыслием заражен порочным.
С чем сравнюсь? С извилистым ручейком проточным,
Облаков изменчивых отраженьем точным...

Я спорил, давал свою версию:

Человеку нужен дом,
словно камень прочный,
а меня судьба несла,
что ручей проточный,

влек меня бродяжий дух,
вольный дух порочный,
гнал, что гонит ураган
листик одиночный...

Из тьмы в семь веков поманил меня к себе король бродячих поэтов — клириков и школяров — Архипиит Кёльнский. В семивековом отдалении, глухой, темный как ночь, виделся мне монастырь Бенедиктбейерн. Узилище, в которое заточили великую рукопись.

Шли, шли ко мне оттуда те песни.

Выходи в привольный мир!
К черту пыльных книжек хлам!
Наша родина — трактир.
Нам пивная — божий храм.

Горланили, ревели:

Ночь проведши за стаканом,
не грешно упиться в дым.
Добродетель — старикам,
безрассудство — молодым!..

Сначала воспринимал я это как хор.

Именно в ту пору услышал я кантату Карла Орфа «Carmina Burana»: три хора — мужской, женский, детский — вздымали голоса к небу, светло пели солисты, все гремело, било в барабаны, в тамтамы, в литавры, в тарелки, звенели колокольца и колокола.

О Фортуна!..

Нет, не только веселье, не только удаль, другое: над весельем, над удалью, над бесшабашностью, над жалобой и плачем, надо всем — Фортуна. Судьба. Рок. Как еще повернется колесо?

Испытал я на себе
суть его вращенья,
преисполнившись к судьбе
чувством отвращенья.
Мнил я: вверх меня несет!
Ах, как я ошибся,
ибо, сверзшийся с высот,
вдребезги расшибся
и, взлетев под небеса,
до вершин почета,
с поворотом колеса
плюхнулся в болото...

Переводил — не думал, что о себе. Не думал, что упаду, что сбросит меня. Меня-то не сбросит. Других сбрасывает, вот они и лежат внизу на рисунке тушью. А я удержусь...

Были 1967—1968 годы, для меня время больших удач. Я поехал в Мюнхен, где чудом, как во сне, одна за другой удались мне фантастические потусторонние встречи; в архивах, в библиотеках сами как бы шли ко мне в руки редкие тексты вагантов. И дома, в Москве, все было хорошо. Даже трагические стихи хорошо переводить, когда все в порядке... И лишь изредка посматривал я на того, кто в самом низу, под колесом...

Вот уже другого ввысь
колесо возносит.
Эй, приятель! Берегись!
Не спасешься! Сбросит!..

И вдруг вопросец, тайный вопросец в меня закрался. Хитрый вопросец. Корыстный. «А вновь на колесо Фортуны тем, кого сбросило, забраться можно? Возможна еще одна попытка? Или только раз, всего один раз прокатиться можно?.. Или — еще, еще раз позволят тебе взять билет на колесо Фортуны, как на «колесо обозрения» в парке культуры?..»

Не знал я тогда, что задаю вопрос вопросов. Величайший вопрос...

Перечитывал я в то время Книгу Иова. Бог, который, испытывая праведного Иова, лишил его богатства, стад, родных детей, покрыл проказой, сжалился над ним и дал ему больше, чем было взято: верблюдов, волов, ослиц. И детей дал: семь сыновей и трех дочерей-красавиц. Но ведь других детей дал. Других! А те, которых взял, заменяемы ли? Все ли возместить можно?.. Сколько проживает человек жизней?..

Вертелось колесо Фортуны.

Пел хор.

«Ваганты» по-русски означает «бродячие». Этих людей магически тянуло из университетских и монастырских келий плечами ощутить широту, простор мира. Они шли, смотрели, осмысляли увиденное. Пели.

Нет, не бродячими шпильманами-игрецами они были,— поэтами.

Они отличались высокой ученостью, знали ветхозаветных пророков и античных философов. Кумиром их был Овидий.

Отчего же им не сиделось на месте?..

Неволя начинается с насильственного сужения пространства, по которому человек имеет право передвигаться. Есть граница княжества, подворья, кельи, карцера, каземата, пыточной ямы. Чем выше степень неволи, тем меньше площадь, по которой тебе дана возможность двигаться.

Средневековые поэты-ваганты громче других своих современников выразили неприятие барьеров, границ, оград, отделяющих людей друг от друга, от живой природы, от истины.

Они шли по Европе, словно отвоевывая для духа все новые и новые территории.

Бездомные, беспутные, вроде бы беззащитные, они противопоставляли трактирный разгул неволе и неподвижности, чувственный жар и тепло харчевни — стальному холоду оружия, свои хвори и немощи — неумолимой силе жестокости, свои книжечки, над которыми сами же потешались,— незнанию и невежеству.

Они пытались выработать формулу свободы: «Жизнь на свете хороша, коль душа свободна».

Мерещилось шествие. Идут, сбросив с себя прожитые жизни, уклады, привязанности, как сбрасывают с себя тряпье. Они свободны от прошлого. Их несет ветер...

Средневековье — понятие зыбкое. Иногда кажется, что эти восемь — девять веков — гигантская яма, провал в истории человечества. Сплошная ночь, озаряемая лишь кострами, на которых сжигают еретиков. Музыка средневековья для нас — вопли, стоны, молитвенные причитания.

Был соблазн: с ы г р а т ь лирику вагантов, как буйный, неистовый праздник среди отчаяния. Факел, вспыхнувший в ночном мраке. Вот они — вынырнули откуда-то из мглы, из X века, и снова канули в ночь, оставив гореть свой огонь.

Я читал сборники. Одни стихи были написаны на латинском языке с немецкой подтекстовкой, другие — на средневерхненемецком, иногда с итальянскими вкраплениями. В некоторых песнях латынь грациозно переплеталась с немецким, с французским. Были стихи, написанные классическим строгим гекзаметром и сложенные как балаганный раек. Восьмистопный хорей имитировал ритм церковных гимнов. То был не сумбур — многоголосие.

Вчитывался.

Песня — призыв к крестовому походу во имя освобождения гроба господня — уживалась с богохульной песней пьяниц во славу вина, обжор — во славу обжорства. Покаяние, чуть ли не молитва — и тут же фарс, в наспех сколоченных стихах похабный анекдот про попов-ворюг, попов-бабников. Рев сладострастников, такой, что кажется, на самом деле всем миром правит похоть, вся

земля — ее царство, и вдруг высокий чистый голос девушки: любовь, целомудрие.

Кто они, сочинители этих стихов?

Постепенно из хора стали проступать отдельные голоса, очертания фигур, лица. Явственно увидел ту молодую монахиню, которая за стенами монастыря «всей силой сердца своего» грешно взывала к господу: «Казни того, из-за кого монахиней я стала...» Увидел стареющего, чахнущего бродягу-клирика, склонившегося над своим драным плащом: «Ах ты, проклятый балбес! Ты, как собака, облез. Я — твой несчастный хозяин — нынче ознобом изможден... Как мне с тобой поступить, коль не могу я купить даже простую подкладку?..» И примирительно-горестно: «Дай-ка поставлю заплатку!..» Увидел проказника школяра, который потешается над постылой зубрежкой. Студента, покидающего родную Швабию:

Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете...

Речь шла, очевидно, о Париже, где кафедральные школы слились в одну ассоциацию — Universitas magistrorum et scolarum Parisensium. Парижский университет стал в XX веке научным и богословским центром Европы, независимым от светского суда и получившим закрепление своих прав со стороны папской власти. Впрочем, подробности средневековой студенческой жизни я узнал уже в ходе работы над книгой, знакомясь со всевозможными источниками, а тогда, набрасывая первые строки перевода песни «Прощание со Швабией», мало задумывался над исторической подоплекой. Меня пронимали непосредственность чувства, наивность, искренность:

Вот стою, держу весло,
через миг отчалю.
Сердце бедное свело
скорбью и печалью.

Тихо плещется вода —
голубая лента...
Вспоминайте иногда
вашего студента!..

Через несколько лет, положенная на музыку композитором Тухмановым, эта песня стала у нас шлягером. Ее играли и пели на эстрадных площадках, в ресторанах, в клубах. Под нее танцевали. Популярным сделалось и не известное ранее почти никому слово «ваганты». В виде танцевального этюда песня «Прощание со Швабией» попала и на экраны телевизоров. В титрах значилось только: «Слова народные».

Какого народа?

На этот вопрос действительно не так просто ответить. Национальную принадлежность вагантов можно определить лишь с большим трудом, приблизительно, на основании отдельных не-

многочисленный реалий. Единой для них была латынь — язык средневекового международного общения, единой — католическая религия, как бы они в каждом конкретном случае ни относились к ее догмам. Важнее было другое объединявшее их начало: великодушие, широта воззрений, острая потребность в человеческом братстве. Они брали под свое крыло, под свою защиту людей всех вер, сословий, возрастов, национальностей, индивидуальных свойств и качеств, включали их в единую семью, руководствуясь лишь единственным признаком:

От монарха самого
до бездомной голи —
люди мы, и оттого
все достойны воли,
сострađанья и тепла...

Да, утверждали они, все равны перед богом, перед жизнью и смертью. Перед т о й, которая, сидя в центре колеса, держит в руках свои свитки.

О Фортуна!..

Мог ли я отнестись к их стихам равнодушно? Кем они были мне, я — им? Только ли переводчиком, интерпретатором?.. Нет, все более меня охватывало чувство странного родства с ними, я и своим читателям хотел внушить, что не чужие они нам, эти скитальцы, затерянные в сумраке средневековья: приблизим их к себе, облечем в плоть их смутные тени, протянем им через века свою руку!..

Все чаще я задумывался над понятием «средневековье». Для нас их время — средневековье. А для них? Для них-то что это было за время? Самое наиновейшее, и х время. Они в с в о е м времени жили, у них с в о я была история, с в о и представления о будущем. Как должны судить о них потомки, те, которые, возможно, не оправдали их чаяний?

Наука давно уже опровергла высокомерные суждения о средневековье как о фатальном откате от античной цивилизации. Ни научная мысль, ни художественное творчество не стояли на месте — откуда бы взялись тогда известные всем достижения средневековой духовной культуры, поэзия, зодчество? Разве средневековый человек был лишен любви, сострадания, жажды свободы? Или же костры, виселицы, дыбы, пытки на колесе, повсеместная жестокость власти не делали эти чувства еще острее, а их выражение еще отчетливее, истовее? Не делали ли догмы, запреты, официальная проповедь аскетизма более жарким соблазн?

Уже после того как вышла моя книжка «Лирика вагантов» (М., 1970) в прекрасном оформлении художника Г. Клодта, издательство «Наука» выпустило в серии «Литературные памятники» куда более скромно оформленный, но объемистый том «Поэзия вагантов» (М., 1975), составленный и почти целиком переведенный М. Л. Гаспаровым. Эти переводы, в которых искусно сохранен аромат латинской старины, должны быть оценены по за-

слугам, я прочитал их с восторгом: они достоверны, звучны, в них наука встретилась с поэтическим искусством. В послесловии М. Л. Гаспарова я нашел неожиданный термин: «средневековый гуманизм», которым он объясняет самое явление вагантов. И он прав, когда пишет, что «средневековый гуманизм выглядит иначе, чем гуманизм Сократа, Эразма или Гёте... но все они родственны в главном: в уважении к человеку и к его месту в мире...».

Девять лет спустя после выхода моей книги, 30 мая 1979 года, попал я наконец в монастырь Бенедиктбейерн, куда меня тянуло с тех пор, как я услышал о рукописи «Carmina Burana».

Ехал из Аугсбурга ослепительно ярким, солнечным, жарким днем. Вдали на фоне Альпийских гор возвышались две белые башни с медными, обшитыми темной кровлей куполами-луковицами. Медвяный был воздух. Медовый. Медно бил колокол. Мед. Медь.

У монастырских ворот в полной тишине застыли машины послушников. Рядом теснились надгробья. Среди травы, среди одуванчиков. Среди тишины.

Монастырь Бенедиктбейерн оказался великолепным строением эпохи барокко: ничего средневекового, мрачного. Снаружи он сиял изумительной белизной, изнутри поражал великолепием, роскошью мраморных алтарей, росписью перекрытий, пышностью залов скорее похож на дворцовые, чем на монастырские.

Великолепен был и монастырский двор: подстриженный ярко-зеленый газон, три могучих дерева — береза, липа, с черно-красными листьями бук. Величественно шуршал водою огромный фонтан.

Чуть поодаль от монастырской церкви стояло, также дворцового типа, здание бывшей библиотеки.

Именно сюда в 1803 году из Мюнхена бодро явилась охваченная французскими революционными веяниями государственная комиссия. Монахов-бенедиктинцев разогнали, монастырь закрыли, библиотеку реквизировали. Рукопись вагантских песен, никем не прочитанная, среди прочих фолиантов попала в мюнхенский городской архив. И только в 1847 году ее изучил, а затем опубликовал Иоганн Андреас Шмеллер... Что же касается монастыря, то на целых сто двадцать семь лет — до 1930 года! — он был превращен в казарму, после чего вновь стал обителью — на этот раз монашеского силезианского ордена.

Все это рассказал мне патер Лео Вебер, любезно согласившийся провести меня по залам, аркадам и служебным помещениям Бенедиктбейерна. По его убеждению, рукопись попала в монастырь не случайно: здесь, в южной Баварии, проходит граница между итальянской и немецкой зонами культуры. Сам же сборник был составлен, скорее всего, в епископстве Гурк, в Кернтене, близ Клагенфурта.

Патер Лео Вебер в цивильном костюме, галстуке. Волосы зачесаны гладко назад. Лицо простое, пастушеское, чистое. Говорит

широко, простодушно улыбаясь. Иногда, закинув голову, громко смеется.

Смеясь, он сказал:

— Эти стихи сочиняли свободные люди!.. Более свободные, чем мы теперь. Подумайте только: ведь это пели открыто! На площадях! Против папы! Против властей! Против подавления человеческой личности!..

Он повел меня в помещение бывшей библиотеки, где в одном из тайников нашли великую рукопись. Сейчас здесь была трапезная. Белые столы были покрыты белыми скатертями, на них стояли белые фаянсовые тарелки, белые кружки. Кравчий расставлял большие темные бутылки с виноградным соком. Близилось время обеда.

Обед братии состоял из супа с вермишелью, отварного мяса с картофелем и салатом, виноградного сока. По воскресеньям полагалось еще вино и пиво.

Послушники носили цивильное платье, многие были в джинсах, в клетчатых рубашках.

Девушки-послушницы работали при кухне. Все было земное.

От патера Вебера я узнал, что в Бенедиктбейерне каждое лето дается под открытым небом представление. Хор и оркестр исполняют «Carmina Burana» — кантату Орфа, молодые люди в пестрых одеждах водят хороводы: кружатся как бы живые гирлянды, изображая колесо Фортуны. Очень красочно.

Но музыка вагантов иная.

В келье-радиостудии, опутанной проводами, уставленной приемниками и магнитофонами, я услышал подлинную мелодию песен вагантов. Старинные нотные знаки — невмы — удалось расшифровать. Молодой монах-радиотехник включил проигрыватель.

То были пародийные хоралы, пародийные гимны, пародийные жалобы и причитания.

Тексты, которые я когда-то переводил, представали передо мной в своем изначальном, исконном звучании.

На заре пастушка шла
берегом, вдоль речки,—

нарочито плаксивым тоном пел тенорок, излагая происшествие, приключившееся с добродетельной пастушкой, встретившей школяра-оборванца.

«Отповедь клеветникам» монотонно исполнял мужской хор:

Хуже всякого разврата —
оболгать родного брата.
Бог! Лиши клеветников
их поганых языков.

«Жалоба на своекорыстие и преступления духовенства» пелась на потешные мотивы, лихо и весело:

Нет, не милосердье
пастыри даруют,
а в тройном усердье
грабят и воруют...

Большинство стихов, написанных женщинами или, возможно, от лица женщин, женская лирика средневековья, оказались немецкими народными песнями, залетевшими с воли под своды монастырей.

О разлюбезный братец май!
Спаси! Помилуй! Выручай!..

Песня «Колесо Фортуны» дышала надеждой, радостью, освобождением от тяжкого, чугунного груза бытия, от нечеловеческой усталости, которая ложится на человеческие плечи, от горя. Пусть крутится колесо Фортуны! Подожди, ты еще взлетишь! Но и тогда, когда ты окажешься в самом низу, не отчаивайся. Встань. Распрямись. Иди. Странствуй!

Отчего возникли эти песни там, в глубине веков, какой знак подали они нам, наши братья оттуда, что пытались внушить?

Верно: страдание обогащает, делает человека выше, чище. Но человеческий дух не может питаться только скорбью, болью и мучениями. Ему нужна и отрада. Ничто так не несет человека вперед, как счастье, как отдохновение, как сладостная надежда.

Помни:

Ты моя, а я — твой,
твой, покуда живой.
Заперта в моем ты сердце,
потерял я ключ от дверцы.
Ночью ли, днем —
ты всегда будешь в нем.

2

Итак, в 1967 году я собирался вагантов сыграть. Свой сборник я переводил, составлял, ставил, как режиссер ставит спектакль. У меня был режиссерский замысел, был текст. Был жизненный материал. Нужны были прототипы.

Примерно в это время мне попалась в руки книжка «Небо и ад странствующих. Поэзия великих вагантов всех времен и народов», изданная в Штутгарте Мартином Лепельманом. Наряду с собственными вагантами Лепельман включил в свою книгу кельтских бардов и германских скальдов, наших гусляров, а также Гомера, Анакреона, Архилоха, Вальтера фон дер Фогельвейде, Франсуа Вийона, Сервантеса, Саади, Ли Бо — вплоть до Верлена, Артюра Рембо и Рингельнаца. Среди «песен вагантов» были и наши, переведенные на немецкий язык: Seht über Wolga jagen die kühne Trojka schneebestaubt» («Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой»), «Fuhr einst zum Jahrmarkt ein Kaufmann kühn» («Ехал на ярмарку ухарь-купец») и другие.

Основными признаками поэзии «кочующих» Лепельман назвал «детскую наивность и музыкальность» и непреодолимую тягу к странствиям, возникшую прежде всего из «чувства гнетущей тесноты, которое делает невыносимыми путы оседлой жизни», из

чувства «безграничного презрения ко всем ограничениям и канонам житейской упорядоченности».

Есенинское «дух бродяжий».

Сколько их было, кто уходил, бросал родной очаг? Отчего тянуло их вдаль? Отчего не жаль было покидать насиженные места?

Во скольких сердцах отмирало вдруг понятие «Heimweh» — тоска по родине?..

Был богатым, стал я нищим,
стал весь мир моим жилищем...

«Разбитой жизни мне не жаль».

Цыгане.

Был вечер цыганской песни в Доме литераторов, в зимней Москве, среди вьюги. По каким струнам сердца ударили длинные смычки?.. Цыганское пение, объявленное зловредным пережитком, высмеянное пародистами, вновь стало постепенно входить в жизнь, к нему потянулись, прислушались. В толстовском «Живом трупе» для многих заветной стала сцена с цыганами, где Федя Протасов слушает «Не вечернюю» и «В час роковой...». Пожалуй, с новых постановок «Живого трупа» и началось в те годы возвращение цыганской песни.

И вот был такой вечер, и сцена, декорированная платками цыганских расцветок, гигантскими шалями, и вьюжное, метельное, бродяжное пение...

После концерта я подошел к директору театра, представился, и он тут же предложил мне всевозможную поддержку и помощь.

До этого я искал прототипов в субкультуре молодежного Запада: в битниках, в хиппи, в левых студентах, которые будоражили тогда Запад. Они сочиняли и пели песни протеста, иногда их сравнивали с вагантами. Среди них встречались одаренные, бескорыстные и наивные люди. Были и такие, кто угнетали своим рационализмом,— инфантильные идеалисты. Эти изнывали под бременем бессмысленной воли... Иные сами были не прочь давить и подавлять. Казалось, что их гонит из дома не молодость, а усталость, опустившаяся на человечество.

Мне надо было переводить разгульную, кабацкую лирику вагантов, а я видел дно. В Мюнхене, в ночлежке «Белый дом», на грязных, вытоптанных коврах, подобно трупам валялись хиппи-наркоманы. В Амстердаме хиппи со всей Европы слетались на площадь Дам. Лежали, сидели, стояли, спали, пели, жевали. Хиппи-негр, который все же ухитрился отрастить до плеч свои жесткие завитки, бессмысленно и тупо бренчал на гитаре. Но, может быть, и его песня дойдет до потомков — причитание, жалоба?..

Но мне повезло. Я познакомился и подружился с артистами цыганского театра. Слушал их пение. Говорил с ними.

Что такое цыганская песня? Не знаю, можно ли вообще вместить ее в привычные рамки того, что мы называем искусством. Здесь нет ничего привнесенного, идущего от умысла или замысла, рассчитанного на эффект: она совершенно безотносительна к

реакции слушателя. Цыган даже на концерте поет прежде всего как бы для себя, из потребности высказаться, выплакаться с помощью песни.

С вагантами цыган роднили острое ощущение судьбы, раскованность чувства, доброта, лихость...

И те и другие олицетворяли собой судьбу самого искусства. Его силу. И его бесприютность. Незащищенность.

В начале второго тысячелетия цыгане оставили Индию.

Как разгадать загадку, отчего одно из индийских племен вдруг двинулось через горные проходы, соединяющие Индию с Афганистаном и Персией, через Турцию — на Балканы, чтобы потом, потом — и Земфира, и Эсмеральда, и Кармен, и «Три цыгана» Ленау, и Грушенька, и «Ямщик, не гони лошадей...», и рвы, рвы, рвы — и — в музее-крематории, прислоненный к печи, большой венок с черными лентами — «Цыганам, погибшим в Дахау» ($^1/_4$ цыганского населения, 500 тысяч человек, в годы второй мировой войны)?..

Была при дворах индийских раджей каста профессиональных плясунов и певцов. При кастовой системе всякое занятие передавалось по наследству. Число потомственных артистов росло, наступал переизбыток.

В Индию вторглись мусульманские захватчики, предки нынешних цыган лишились своих работодателей — князьков, царьков. Кто нуждался в их песнях и танцах? Все остальные профессии были давно розданы, распределены между другими кастами. Бездомным оказалось искусство.

Они попали в разлагающуюся, гибнущую от разврата и роскоши Византию. Здесь еще на них был спрос... Однако надвигалось падение Константинополя...

Доверчивое бродячее племя шумно вошло в Европу. Их встретили с ужасом и недоумением. Их объявили колдунами, преступниками.

В германских княжествах их пороли бичами. Вырывали ноздри. Мужчинам брили бороды, головы. Изгоняли. Те, кто возвращались, подлежали сожжению. Это была ненависть имущих к неимущим, несвободных — к свободным.

Одна из церковных инвектив, предававшая анафеме безвестного поэта-ваганта, гласила:

«Нет у тебя ничего, ни поля, ни коня, ни денег, ни пищи. Годы проходят для тебя, не принося урожая. Ты враг, ты дьявол. Ты медлителен и ленив. Холодный суровый ветер треплет тебя. Проходит безрадостно твоя юность. Я обхожу молчанием твои пороки — душевные и телесные. Не дают тебе приюта ни город, ни деревня, ни дупло бука, ни морской берег, ни простор моря. Скиталец, ты бродишь по свету, пятнистый, точно леопард. И колючий ты, словно бесплодный чертополох. Без руля устремляется всюду твоя злая песня...»

Они брели под дождем, под ветром. Ваганты, цыгане.

Из Ленинграда в Москву часто приезжала цыганская активи-

стка Рузя, в прошлом организатор цыганских колхозов, а затем и участница партизанского движения на Смоленщине. Приходила ко мне, похожая скорее на грузинку или армянку, смуглая, в строгом черном костюме. Гладко причесанные, с проседью волосы. Бусы из крупного янтаря. Скупой, жесткий жест.

Для многих цыган она была непререкаемым авторитетом, что-то было в ней от предводительницы племени: рассудительность, властность.

Я рассказывал ей о своем замысле, о желании понять это состояние, когда приобщаешься к тайне тайн, к фортуне, когда задаешь вопрос, который мучил вещего Олега: «Что сбудется в жизни со мною?» Даже просвещенный человек, увидев цыганку с картами, приостановится, задумается: не узнать ли, как повернется жизнь? что ждет? дорога ли впереди и казенный дом или нечаянная радость?..

Ваганты и цыгане — воплощение судьбы...

Рузя показывала, как гадали настоящие цыганки в старину, смеялась:

— За карты спасибо не говорят. Карты позолотить нужно. Гадалка — профессия серьезная. Если гадают по зеркалу или по руке — не верьте. Шарлатанство. Только по картам.

Но она же говорила:

— Никому не дано разгадать загадки судьбы. Знаю только: самое страшное — обрыв надежды. И страшно, когда кусают за сердце...

Бывал у меня и Георгий Павлович Лебедев, маленький, бородатый старичок цыган. Приходил всегда чуть пьяненький, пучеглазый, с красными в прожилках, навыкат белками. Приносил с собой папочку, подсовывал мне старые афиши, ноты, потом долго сидел, курил и все приговаривал:

— Ах, цыгане, цыгане!.. Это такая чистота, это такие дети!..

Георгий Павлович был в театре «Ромэн» чем-то вроде хранителя импровизированного музея. В 1930 году в течение двух месяцев ему пришлось общаться с приехавшим в Москву Рабиндранатом Тагором. Георгий Павлович уверял, что тот прибыл в сопровождении дочери Эйнштейна. На Тагора Георгий Павлович смотрел в буквальном смысле слова как на бога.

— Когда я впервые увидел его,— рассказывал он,— то испытал душевное смятение, ужас. А потом успокоился, понял, что это — Отец и все мы его дети...

Тагор высказал тогда мысль, что цыгане первыми принесли в Европу индийскую культуру. Но чем ответила надменная Европа на бескорыстный, сказочный дар?

Всю свою жизнь Георгий Павлович собирал песни русских цыган, которые страстью, силой чувства при демократизме и простоте выражения влекли к себе и Пушкина, и Толстого, и Аполлона Григорьева, и Полонского, и Апухтина, и Куприна, и Блока. Он считал, что в России цыганская песня есть не что иное, как

цыганская интерпретация русских романсов. Многие композиторы мечтали, чтобы их песни исполняли цыгане.

«Яр» и «Стрельня» — знаменитые московские рестораны, где купечество устраивало фантастические кутежи, не забытые старыми москвичами,— были, с точки зрения Георгия Павловича, очагами песенной цыганской культуры.

— Поймите,— говорил он, и губы его тряслись,— до чего же все переврано, чего только не плетут! Конечно, бывали там и безобразные сцены. Но в них разве главное?.. Судаков, владелец «Яра», имел русский женский и мужской хор, украинскую капеллу, венгерский оркестр и цыганский хор. Певцы были первоклассные! И знаете ли вы, что цыгане были хранителями полковых песен русской армии?..

Мне эти цыганские мои встречи давали тогда бесконечно много: больше чем ощущение судьбы — ощущение ж и з н и, ее далей, ветра, холода, тепла.

Я узнавал нравы кочевых и оседлых цыган, их песни, их сказки, узнавал об их суеверии при полном равнодушии к религии (цыгане исповедуют веру того народа, среди которого живут), узнавал их законы: главными были — милосердие, сострадание к гонимому, к преследуемому, кем бы он ни был.

Милосердье — наш закон
для слепых и зрячих,
для сиятельных персон
и шутов бродячих...
(*«Орден вагантов»*)

«Я встретил счастливых цыган»... Под таким названием (впрочем, он назывался еще и «Скупщики перьев») осенью 1967 года в Югославии шел фильм режиссера Александра Пéтровича.

С ч а с т л и в ы х цыган я встретил в северо-восточном предместье Белграда — Душановце, куда привел меня сербский поэт-цыган Слободан Берберский. Зашли в дом, похожий на мазанку: низкий потолок с ввернутой в него лампочкой, газовая плита, репродукция «Тайной вечери».

Сразу набилось много народу, с улицы шли, толпились в дверях. Все ждали какого-то Лацо. Наконец он пришел — в черном костюме, в черной широкополой шляпе; длинные узкие пальцы в кольцах. Лацо взял аккордеон, другой цыган четырехструнную гитару — и они заиграли «Подмосковные вечера» и «Рябину» — бойко, дешево, как играют специально для советских туристов.

Я попросил сыграть цыганские песни, и они начали свои — на наши цыганские не похожие: тягуче-восточные, турецкие. Слова были, видимо, исполнены для них серьезного значения, так как все слушали очень сосредоточенно, скорбно... Грустную песню сменила веселая, потом ресторанного типа танго, потом — зажигательная, которую пели все, хором: «Ай, романэ! Ай, чавалэ!» Музыка была у них в крови, переполняла их, а они не то чтобы дарили мне ее от щедрости, а просто выплескивали из себя.

Цыганская песня бескорыстна. Может быть, ее сила в этом почти колдовском, непроизвольном умении вовлекать в сферу своего настроения. Забудь обо всем! Вспомни! Плачь! Радуйся!..

...Квартира могла быть старомосковская, старопетербургская, с потемневшей дореволюционной мебелью и картинами, которые не старые, а как бы постаревшие (стареют вместе с хозяевами), и — образок, и — обеденный стол, покрытый клеенкой... Сидит, парализованный, в кресле, клинышком неподвижной бородки уставившись в серый, почти петербургский (здесь, в солнечном Белграде) полумрак, Юрий Николаевич Азбукин — бывший присяжный поверенный, бывший пианист-аккомпаниатор. Сидит, левой подвижной рукой листает газету «Политика»...

Длинным надо идти переходом с изразцовыми стенами, через колодезный петербургский дворик, по петербургской подняться лестнице на второй этаж, где на двери табличка: «Ю. Азбукин, О. Янчевецкая — 2 пута. Осетинской Глафире — звони 1 пут».

В 20—30-х годах на весь белый Белград звучал голос Ольги Янчевецкой. Была она тогда черноволосая, как цыганка, с дерзким и сильным голосом, и остались от тех лет ноты с ее фотографией: «Пастух Костя». Исполняется О. П. Янчевецкой с огромным успехом в «Казбеке». Партия фортепиано — Ю. Н. Азбукин...»

В 1967 году она еще выступала на эстраде, снималась в кино.

Когда я в Белграде, в Союзе писателей, сказал, что хотел бы познакомиться с какой-либо цыганской певицей, мне сразу, в один голос, назвали Янчевецкую.

Говорит она великолепным книппер-чеховским баском:

— Ну-у, милый друг...

Закуривая, твердым накрашенным ногтем сбивает пепел с сигареты.

Если сравнивать с фотографией, время сильно ее изменило. Старая, очень даже старая женщина. Поредевшие, крашеные волосы. Очки. Но — актриса. И весь дом, с больным ее мужем,— на ней...

— ...Итак, дорогой друг, что же вас привело ко мне? Ах, вот в чем дело! Я, видите ли, цыганской певицей становиться не собиралась. Училась в Петербурге у Вирджинии Домели. Не думала петь романсы, только так, иногда, для себя пела, для узкого круга друзей. В Петербурге приняли в музыкальную драму: голос у меня тогда был божественный, без хвастовства скажу, настоящее оперное меццо-сопрано... Да... А оказалась за границей... Много я слез пролила. Думаете, легко мне было совсем девчонкой без родины остаться?.. Ах, многое что было. Сорок лет прошло. Это не шутка...

Она помяла сигарету, закурила, быстро прошлась по комнате, отпила из чайника, прямо из носика, снова села за стол.

— Да, все это было, милый друг, было: слезы, ностальгия. А теперь — прошло.

Она снова прошлась по комнате. У нее и сейчас еще плотная фигура, полные, красивые ноги. И так по-домашнему, по-хоро-

шему уселась против меня: в роговых очках, в красном халате. Сидит, мнет сигарету.

...У нее большие серьги, большие бирюзовые кольца на еще молодых, крепких пальцах. Продолжая перебирать ноты, поясняет:

— Вот — Нина Тарасова... Настя Полякова... Вертинский... Мария Александровна Каринская... Вяльцева...

Позвала:

— Юрий, как звали Вяльцеву?

Из соседней комнаты высоким надтреснутым голосом отозвался неподвижный Юрий Николаевич:

— Конечно же Настасья. Настя!..

Заговорили мы с ней о цыганском пении.

— Это пение, это умение тебя захватить!.. Впервые я услышала цыган в Петербурге, в Новой Деревне... Впечатление было колоссальное... Э, подождите! У меня есть кое-что для вас. Вот прочтите...

Протянула мне два листочка из отрывного календаря от 22 и 23 января 1967 года. На обороте по-русски, с ятями, с твердыми знаками, было напечатано:

«Цыганский хор.

Послышался шелест шелковых юбок. Не торопясь, выходили цыгане. Для них поставили в ряд стулья. Женщины оправляли пестрые шали; ожерелья и бусы густо покрывали смуглые шеи. Две цыганки были молоды и красивы сказочной индусской красотой. Они улыбались, показывая белые зубы. Другие, старые и морщинистые, но тоже с огненными глазами, сидели неподвижно, как идолы. Одна из них, прославленная Тата, семидесятилетняя старуха, полвека назад своим голосом сводившая с ума Льва Толстого, великих князей, Петербург и Москву... В наступившей тишине зазвенели гитары и волной хлынула песня. Эта музыка, дикая и нежная, волновала и будила безотчетную, щемящую тоску».

— Да, милый друг, так оно все и было в Петербурге, когда я их услышала впервые. Вы перепишите, лучше все равно не скажешь... Да, да... Когда русский хор запоет, это действительно — нечто! Но мы такие большие, что не надо хвастаться. Хвастаются только те, кто ни черта не имеет...

Пока я переписывал, она достала с полки том Некрасова, стала листать, наконец прочла вслух:

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом...

— Да, это было время. Жили — не торопились... А сейчас все как сумасшедшие! — весело добавила она.— Я только что вернулась из Вэнэции (она так и произносит: «Вэнэция»), там снимали (она так и говорит: «снимали») меня на пластинку. Дарю вам последнюю. Но ничего, еще вышлют!..

Во время оккупации Белграда к ней пришли немцы. Предложили петь. Она отказалась.

— «Не могу, говорю, поймите, рада бы, да не могу. Я из-за бомбежек голос потеряла. Ну что за певица без голоса!» А в ту пору весь Белград знал Ольгу Янчевецкую. Ого-го! Когда Янчевецкая, бывало, в «Казбеке» поет, муха не пролетит, кельнеры не служат... Да и теперь любого спросите — все меня знают. Все! Я в политику не вмешивалась, но когда вижу такое дело — против России война, я петь им не стала. А уж как меня упрашивали! Немецкий офицер — он большой был знаток цыганской музыки — из Берлина приезжал ко мне. Это был единственный случай, когда я в политику влезла. А так — нет. Уж увольте, пожалуйста...

Спрашиваю, знает ли она русскую литературу, поэзию. Читает ли.

— О! Без конца читаем! Какой у вас замечательный был писатель Борис Лапин! О Севере писал. Мы его много раз перечитывали. Изумительно! Паустовского, конечно, знаем. А так все больше классиков. Лермонтов — это моя любовь. Некрасов.

Раз у отца в кабинете
Саша портрет увидал.
Изображен на портрете
Был молодой генерал.

Как хорошо! Покой какой исходит!.. Ну, и из поздних, конечно, тоже: Блок, Рукавишников...

Александр Петрович, постановщик фильма «Я встретил счастливых цыган», говорил мне:

— Фильм не о цыганах — о судьбе поэзии в мире. Она трагична, как судьба цыган. Как судьба свободы. Для меня свобода и поэзия — синонимы.

Жизнь на свете хороша,
коль душа свободна,
а свободная душа
господу угодна...

Эти строки «Ордена вагантов» добыты мной не только из подлинника.

3

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока...»

Волхвов было трое, три царя...

Между 1162 и 1164 годами в Кёльн были перенесены из Милана останки трех волхвов, увидевших звезду Вифлеема. Со всей Европы в Кёльн устремились религиозные процессии, потоки людей.

На гербе города Кёльна изображены три короны.

В Кёльнском соборе останки трех волхвов покоятся в золотой раке. В 1864—1903 годах раку вскрывали. Изучение останков,

завернутых в драгоценную ткань, показало, что один из волхвов — отрок четырнадцати-пятнадцати лет.

В XII веке Кёльн стал священным городом. Он соперничал с Римом и мог претендовать на то, чтобы стать резиденцией папы.

Слава Кёльна связана с именем Райнальда фон Дасселя.

Он был архиканцлер императора Фридриха Барбароссы и архиепископ Кёльна. Он был священник, воин и государственный муж. Это он вывез священные мощи из захваченного императорскими войсками Милана, куда они в свое время попали из Византии.

Архиканцлер и архиепископ умел разрушать, умел и строить.

Милан, после двухлетней осады взятый штурмом, он стер с лица земли, распахал рыночную площадь, а борозды посыпал солью в знак того, что здесь навсегда будет пустыня.

Кёльн он украсил множеством церковных и епископских зданий. В Гильдесхейме он возвел каменный мост, колокольню и госпиталь. В Сесте он основал женский монастырь.

Он был остроумен, прозорлив, образован. Одетый в шелка, украшенный русскими мехами, которые по стоимости превосходили золото и серебро, с белокурыми вьющимися волосами, он вызывал всеобщее восхищение.

Фридрих Барбаросса испытывал к нему особое расположение.

В те самые годы, а может быть, и в те самые дни, когда религиозный экстаз в связи с перенесением в Кёльн мощей трех волхвов достиг своего апогея, когда в город толпы богомольцев со всей Европы текли, чтобы очиститься от земной скверны и приобщиться к высочайшим святыням, в Кёльне появились стихи, которые при желании можно было бы назвать богохульными.

Я желал бы помереть
не в своей квартире,
а за кружкою вина
где-нибудь в трактире.
Ангелочки надо мной
забренчат на лире:
«Славно этот человек
прожил в грешном мире!

Простодушная овца
из людского стада,
он с достоинством почил
средь хмельного чада.
Но бродяг и выпивох
ждет в раю награда,
ну, а трезвенников пусть
гложут муки ада!..»

Кто дерзнул вложить в уста небесным ангелам такой текст? Как следовало отнестись к этим строкам?

«Пусть у дьявола в когтях
корчатся на пытке
те, кто злобно отвергал
крепкие напитки!

Но у господа зато
есть вино в избытке
для пропивших в кабаках
все свои пожитки...»

Стихи были адресованы Райнальду фон Дасселю.

Архиканцлер и архиепископ Кёльна не мог не заметить: автор величал себя пародийно-опасным, шутовским титулом — «Архипиит Кёльнский»...

До потомков дошло десять стихотворений Архипиита.

Якоб Гримм писал об этих стихах: «Вообще они кажутся мне лучшими из того, что была в состоянии создать латинская поэзия средневековья».

Все десять стихотворений посвящены Райнальду фон Дасселю.

Что связывало этих людей: Архипиита и архиепископа?..

Архипиит окутан туманом. Никто не знает его настоящего имени. Да и причудливый его псевдоним сохранился лишь на одной-единственной рукописи: красными чернилами, над текстом стихов.

Где он родился? Когда и где умер? Как жил?

Спросите кёльнские камни, «Кёльна дымные громады». Не скажут. Нет, скажут не сразу.

Сведения о нем надо было собирать по крупицам. Из его стихов-исповедей, стихов-проповедей, стихов-челобитных и жалоб. Не всегда поймешь, говорит ли он всерьез или ерничает. Так ли уж он хвор, нищ, бесприютен и беспутен — или это всего лишь маска, поза? Позиция? Иногда кажется, что бытие он принимает с чувством горестной иронии, иногда, напротив, с безоглядной беспечностью, упиваясь молодостью и свободой.

Узнаём: он немец. В одном из обращений к Дасселю он говорит: «Ты — немец, помоги и мне, как немец — немцу». Это было написано, когда оба находились по ту сторону Альп. Во время итальянских походов Фридриха Барбароссы. В его стане.

Узнаём: он — из рода рыцарей, никогда не знался ни с сохой, ни с заступом. Он книжник. Его наставник — Вергилий. Он цитирует Овидия и Горация. Он нашпигован знаниями.

Он музыкант. Он получил музыкальное образование. Он сам сочиняет музыку на свои тексты.

Он медик. Он обучался в Салернской школе, «у знаменитых ученых, чтобы исцелять обреченных». Потом бросил учение, разуверившись в медицине. Перенес тяжкую болезнь. Вернулся в Кёльн.

Его шатало от слабости. И от вина. Ему казалось, что земля не держит его. Он воззвал к Дасселю: «Всем оказавший подмогу, выдели мне хоть немного...»

«Просьба по возвращении из Салерно» была написана не только виртуозно, но и расчетливо. Испрашивая подаяние, он старался разжалобить и одновременно развеселить: только так мог он достичь цели. Шутовством, озорством. Смелостью, чуть большей, чем

дозволенная. Весь секрет состоял в том, чтобы точно определить степень этого «чуть». Иначе ты или еретик, смутьян, или очередной проситель, жалкий в своем подобострастии.

Архиепископ внял просьбе: выделил еду, питье. Платье, деньги. Коней. Бродячий школяр стал придворным поэтом.

От него не требовали, чтобы он изменил образ жизни или писал иначе. Пусть бродяжничает, пусть воспевает женщин, вино, азартные игры. Пусть утверждает, что винопитие угодно господу. Плотские радости пора примирить с христианством. Пусть обличает пороки. Пусть даже кощунствует.

Империи нужен свой вагант. Город, которым правит архиепископ, он же архиканцлер, должен иметь и архипиита.

Из Милана везли все новые реликвии. Кожаный хлыст, коим истязали Христа, наконечник копья, коим пронзили его тело. Дассель велел поместить реликвии в собор в Аахене, там, где коронуются германские императоры.

Созерцание священных реликвий побуждало людей к очищению, к исповеди. В Аахен, в Кёльн кающиеся грешники стремились не меньше, чем в Рим.

В это время Архипиит выступил со своей пародийной «Исповедью»: перечень школярских добродетелей, перемежаемых нападками то на духовенство, то на унылых праведников из мирян.

«Исповедь» звенела сквозными рифмами, словно переливались серебром строчки:

Я унылую тоску
ненавидел сроду,
но зато предпочитал
радость и свободу
и Венере был готов
жизнь отдать в угоду,
потому что для меня
девки — слаще меду!..

Семьсот лет спустя, переводя «Исповедь», я поражался богатству аллитераций, необычайной игре синонимами, анафорами, редкими тогда омонимическими созвучиями.

...Надо исповедь сию
завершать, пожалуй.
Милосердие свое
мне, господь, пожалуй!
Всемогущий, не отринь
просьбы запоздалой!
Снисходительность яви,
добротой побалуй.

Архипиит упивался латынью, выкидывал грамматические коленца: «Fertur in convinium / vinis, vina, vinum;/ masculinum displicet / atque femininum,/ sed in neutro genere / vinum est divinum...»

Перевести это дословно немыслимо — получается примерно так: «Ну уж конечно, на пиру — (мой) «вин», (моя) «вина»,

(мое) «вино» — мужской род отличается от женского рода, по в среднем роде вино божественно...»

Подступиться к этим строкам было крайне трудно: как сохранить чисто латинское баловство в русском стихе?.. Одно было понятно, что латынь должна непременно сверкнуть: даже великого Бюргера, переложившего на немецкий язык отрывок из «Исповеди», упрекали, что он утратил колорит места и времени, изобразив скорее «бунтующего студента» XVIII века, чем веселого, загулявшего средневекового школяра, щеголяющего грамматическими вывертами. Знание латыни имело для школяра или клирика первостепенное значение.

Где-то я вычитал современный Архипииту шванк о бродячем монахе, который, заявившись в чужой монастырь, попросил вина на дурной латыни, перепутав род: «vinus bonus est, vina bona est»,— скажем: «Этот вин хорош, эта вина хорошая»,— за что и был наказан: ему налили плохого вина. И лишь когда он исправил ошибку, употребив правильное «vinum bonum», ему подали хорошее вино со словами: «Какова латынь, таково и вино»...

В своем переложении я не смог сделать ничего иного, как заставить моего автора просклонять «vinum» — вино — хотя бы в трех падежах:

Ах, винишко, ах, винцо,
vinum, vini, vino!
Ты сильно, как богатырь,
как дитя, невинно.
Да прославится господь,
сотворивший вина,
повелевший пить до дна —
не до половины!..

Едва появившись, «Исповедь» Архипиита Кёльнского вызвала множество подражаний. Все стали сочинять исповеди. Исповедью зачитывались, ею восхищались, на вагантов началась мода. Самые чопорные, отрешенные от жизни поэты вдруг захотели писать, как ваганты.

Архипиит сделался властителем дум.

Сразу же объявились завистники. Придворные нашептывали Дасселю: Архипиит — певец распутства, он с переизбытком вкушает земные радости, он злоупотребляет снисходительностью архиепископа для богопротивного дела.

В среде вагантов также шушукались: Архипиит чрезмерно подобострастен, он царедворец, он не поэт, он скоморох, шут.

Дассель потребовал, чтобы он сочинил эпическую поэму о великих деяниях Фридриха Барбароссы: об итальянских походах, о завоеваниях Милана... Архипиит осторожно отклонил просьбу мецената в присущем ему ерническом, полушутливом тоне, ссылаясь на неумение, на незнание, на то, что «недостоин». Дело завершилось сочинением гимна в честь императорской власти, безотносительно к личности Фридриха Барбароссы.

На этом следы Архипиита теряются. Однако само звание «архипиит» сохранялось еще долгое время. Был «архипиит» в

Бонне, был — при дворе Генриха III Английского, перекочевавший впоследствии к Райнальду фон Дасселю.

Так кёльнский архиепископ и архиканцлер завел нового «Архипиита» — на сей раз незначительного, мелкого. Ничего от его стихов не осталось.

Как сложилась дальнейшая судьба Архипиита Кёльнского — кто знает? Не он ли возникает перед нами в строках «Стареющего ваганта»?

Люди волки, люди звери...
Я, возросший на Гомере,
я, былой избранник муз,
волочу проклятья груз.
Зренье чахнет, дух мой слабнет,
тело немощное зябнет,
еле теплится душа,
а в кармане — ни шиша!

Фортуна с непроницаемым лицом следила за ходом событий...

Кумиром европейских вагантов был Пьер Абеляр.

История его известна. Он был сыном богатого рыцаря, могущественного землевладельца. Его ждали геройские подвиги в духе «Артурова цикла». Он мог стать воином, крестоносцем, грозным феодалом. Он предпочел философию, подался в ваганты, в бродячие школяры, странствовал в поисках знаний из школы в школу.

Вскоре у него самого появились ученики.

Не сделавшись рыцарем, он предпочел турниры мысли всем видам поединков. На холме близ Парижа он раскинул свой «школьный стан». О кафедральной школе святой Женевьевы мечтали молодые люди всей Европы.

В жизнь Абеляра вошла Элоиза, племянница парижского каноника Фульбера. Абеляр поселился в доме Фульбера, стал учителем, затем возлюбленным Элоизы, наконец, ее мужем. Он был подло изувечен нанятыми Фульбером преступниками, насильственно оскоплен.

Элоиза стала монахиней. В монастырь ушел также и Абеляр.

Он написал «Введение в теологию», трактат «О божественном единстве и троичности». Его труды признали кощунственной ересью.

Абеляр удалился в пустынь, в округ Труа, в долину реки Ардюссона. Из тростника и соломы он выстроил себе молельню. Узнав об этом, его ученики, ваганты, начали стекаться к нему и, покидая города и замки, селиться близ его молельни, в пустыни. Их тянуло к знаниям больше, чем к вину. Вместо просторных домов они строили маленькие хижины, вместо изысканных кушаний питались полевыми травами и сухим хлебом, вместо мягких постелей оборудовали себе ложе из соломы, вместо столов делали земляные насыпи. Ученики обрабатывали поля, чтобы снабдить учителя всем необходимым. Переписывались и распространялись его книги.

Муж, в науках преуспевший,
безраздельно овладевший
высшей мудростью веков,
силой знания волшебной,—
восприми сей гимн хвалебный
от своих учеников!

Чем он завоевал их сердца, их умы? Доводами. Он внушал: излишни слова, недоступны пониманию; нельзя уверовать в то, чего ты предварительно не понял; смешны проповеди о том, чего ни проповедник, ни его слушатели не могут постигнуть разумом. Не сам ли господь жаловался, что поводырями слепых были слепцы?

Наибольшей известностью среди вагантов пользовались «Введение в теологию», «Познай самого себя», «Диалектика». Церковному «верую, чтобы понимать» здесь противопоставлялось — «понимаю, чтобы верить».

В глазах церкви Абеляр считался опаснейшим из еретиков. Самый дух его учения был порочен. На него доносили, что он занес ржавчину в простые умы. Вместо «живой веры» он требует рассуждений. Он относится с подозрением к богу и желает верить только тому, что ранее исследовал с помощью разума.

Учеников Абеляра называли бесстыдными, безумными. Их образ жизни развратным и беспорядочным. Их обвиняли в наглости: невежественные школяры смеют рассуждать о святой троице!

Абеляр в своей новой книге «История моих бедствий» писал: «Чем шире распространялась обо мне слава, тем более воспламенялась ко мне ненависть». В ней подробно описана трагедия Элоизы и Абеляра.

Автобиография Абеляра попала к Элоизе. Она читала ее, уже будучи аббатисою женского монастыря.

Она взялась за перо, чтобы написать письмо, быть может величайшее из всех женских писем:

«Своему господину, а вернее — отцу, своему супругу, а вернее — брату, его служанка, а вернее — дочь, его супруга, а вернее — сестра, Абеляру — Элоиза...»

Тогда в монастырях еще не утрачено было право переписки, не отнято. И Элоиза призывала Абеляра ответить ей, вспоминая при этом Сенеку, писавшего своему другу Люцилию:

«Благодарю тебя за то, что ты часто мне пишешь. Ведь это единственный для тебя способ явиться ко мне. Всякий раз, получая твое письмо, я сейчас же вижу тебя со мной вместе».

Письма могут обладать таким чудодейственным свойством. Мы это знаем.

Элоиза писала:

«Если нам приятно смотреть на портреты отсутствующих друзей, ибо эти портреты оживляют нашу память о них и обманчивым, призрачным видом утоляют тоску по отсутствующим, то еще приятнее письма, в коих мы получаем осязательные приметы отсутствующего друга. Благодарение богу, никакая злоба не помешает тебе общаться с нами, хотя бы этим путем, никакие помехи не вос-

препятствуют тебе в этом, и, умоляю тебя, пусть не задержит тебя и никакая небрежность».

Вот что писала невольная затворница скопцу. Мужу — жена. Без всякой надежды увидеться. Быть вместе. Но, кажется, ничего на свете нет выше их переписки.

В сборнике «Лирика вагантов» горестные стихи женщин были навеяны мне образом Элоизы.

...Горькие слезы застлали мне взор.
Хмурое утро крадется, как вор,
ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня
в серый рассвет.

Судьба разлучила Абеляра и Элоизу, но поставила их имена навсегда рядом:

Абеляр и Элоиза.

Их переписка обычно печатается вместе с «Историей моих бедствий»...

Ваганты продолжали распространять сочинения Абеляра. Из Франции они попали в Италию, в Германию, в Англию. Их дух, дух воли и разума, живет во всей лирике вагантов.

Правда правд, о истина!
Ты одна лишь истинна!..

...Я возвращался из Аахена в Кёльн. За несколько дней до этого в самом сердце Кёльнского собора я видел саркофаг, в котором покоится прах Райнальда фон Дасселя. Я видел раку трех волхвов, украшенную золотыми фигурами Моисея, Аарона, царя Соломона, Иеремии, Ионы, Авдия... Изготовленные аахенскими мастерами в XIII веке, они поражали сходством с античными скульптурами, гармоничностью, естественностью. Это было, выражаясь научным языком, искусство проторенессанса XIII века. В Аахене в древнем соборе я рассматривал мраморный трон Карла Великого и Фридриха Барбароссы, под которым сквозь специальное отверстие проползали вассалы, демонстрируя восседавшему на троне императору свою безграничную покорность и преданность. Император тем временем наблюдал за богослужением.

При въезде в Кёльн у здания одного из ведомств стоял «Hungerstreik aus Liebe!» («Голодовка из-за любви!..»). Он размахивал какой-то книгой.

Что заставило этого человека написать такие слова, пойти к зданию официального ведомства?

Безучастно смотрели на него, подходя к окнам, чиновники. Шли мимо редкие прохожие. Проносились автомобили...

Я переводил лирику вагантов. Я знал историю Абеляра и Элоизы. Я переводил балладу о графе фон Фалькенштейне: перед любовью расступились стены крепости, смягчилось сердце феодала.

Я переводил «Балладу о вейнсбергских женах»: тронутый любовью и верностью, всемогущий кайзер снял осаду с города Вейнсберга.

Я переводил любовную лирику десяти веков. Поэты, большие и малые, пели о силе любви, о том, что любовь сильнее смерти, о том, что любовь прочнее всех крепостей, о том, что перед любовью бессильны решетки, стены, границы.

Но вот здесь, передо мной, на кёльнском асфальте стоял молодой человек и взывал: «Hungerstreik aus Liebe!» — ГОЛОДОВКА ИЗ-ЗА ЛЮБВИ!..

И на это никто не обращал никакого внимания.

Это был двадцатый век. Его последняя четверть.

4

О фортуна!..

Трудно разгадать загадки судьбы, узнать, *что будет*. А узнать, что *было*?

Я вспомнил об одном автомобильном путешествии в Прибалтику...

...Это было похоже на двор пожарной команды, с сарайными, выкрашенными в зеленый цвет дверьми гаражей,— пустынный двор, по которому прохаживался одинокий дежурный солдат. Из-за забора виднелась тюрьма с ржавыми козырьками на окнах.

Сметанина в *конторе* не оказалось, он уехал обедать.

В это время с улицы вошел молодой человек в штатском, посмотрел на меня с беззлобно-профессиональным вниманием и осведомился, что мне здесь нужно.

Это и был Сметанин. Не выписывая пропуск, он провел меня к себе, в прохладный свой кабинет...

Собственно говоря, я сюда заехал по пути к морю, хотя повод уж очень был не курортный: история местного гетто, которую я хотел описать в связи с тем, что в Западной Германии нашли бывшего его начальника и гебитскомиссара, их вроде бы собирались сейчас там судить, даже уцелевших свидетелей будто бы вызывали. Обо всем этом я мельком слышал в редакции «Литературной газеты» в Москве, но подробности мне посоветовали выяснить прямо на месте через Сметанина, который все это дело расследовал.

И все же была у меня еще одна — интимная, можно сказать,— причина посетить этот город, в котором я прежде никогда не бывал, но в котором родилась и вышла замуж за моего отца моя мать и с которым у меня было связано множество семейных преданий. С детских лет я то и дело слышал от матери, от отца, от дедушки с бабушкой об этом городе, где до первой мировой войны (или, как тогда выражались, «в мирное время») они жили на Шильдеровской улице, покуда наступление немцев не заставило их в 1915 году, то есть за шесть лет до моего рождения, перебраться в Москву и осесть в ней уже окончательно.

Странное дело, но в раннем детстве Москва казалась мне намного меньше того провинциального прибалтийского города, который в моем представлении был беспредельным, как мир. Да это и был своего рода мир, манящий мир фамильных традиций, легенд, праздников и всевозможных событий, навсегда оставшихся за гранью истории.

И вот летом 1966 года, когда никого из тех, кто некогда обитал на Шильдеровской улице, уже не было в живых, я эту грань переступал, вернее — переезжал, захватив с собой жену и детей, которых тоже хотел приобщить к семейным преданиям. Но детей почему-то все это мало трогало. Отгороженные от всего, что здесь было, благополучной жизнью своей среды и своего поколения, они думали о том, как бы поскорей, проскочив через этот город, попасть к морю, и, сидя за моей спиной в «Победе», они почти не смотрели по сторонам, погрузившись в чтение «Тихого Дона» (сын) и «Прощай, оружие!» (дочь).

Между тем, миновав Смоленск, мы проезжали по тем местам и местечкам, откуда брали свои истоки три наши жизни — моя и моих детей и где когда-то, лет сто назад, зачинали нашу биографию неведомые нам пробабки и прадеды. Напрягая воображение, я старался представить себе их тени, их смутные образы, но ничего не получалось, и я видел перед собой лишь длинное асфальтированное шоссе, бегущее мимо сосновых лесов, затем возникали похожие друг на друга райцентры с новыми типовыми строениями: прошлое не быльем поросло, его просто не существовало, его застроили, как застраивают пустырь.

На ночлег мы остановились в областном городе, куда привезли однажды учиться в гимназию моего отца, но и здесь ничем интимно родным на меня не пахнуло: город был современный, с институтами, техникумами, с заводами и филармонией, где, как извещали афиши, выступал в этот день столичный симфонический оркестр, и в вестибюле гостиницы я встретил одетого во фрак знаменитого московского дирижера...

Все ближе и ближе подъезжали мы к городу, в котором родилась моя мать и в котором мой дед был директором страхового общества или страхового какого-то банка. В нашей московской квартире, расположенной в первом этаже, окно ванной комнаты заделано было от воров железной вывеской «Страховое общество «Саламандра», и эта железная вывеска вместе с завалявшимися в ящике письменного стола визитными карточками деда на плотной красивой бумаге и плюшевым альбомом с фотографиями мужчин в сюртуках, с крахмальными стоячими воротничками, с бородками и женщин в широкополых шляпах со страусовыми перьями составляли для меня дореволюцию.

Дедушку иногда навещали его земляки и приятели, также переехавшие вместе со своими сыновьями, дочерьми и зятьями в Москву. У одного из этих стариков была шуба на меху пушистого зверька лиры, у другого палка с костяным набалдашником, третий носил пенсне на тесемочке: такими я их запомнил. Они схо-

дились по вечерам, играли в шестьдесят шесть, постепенно их становилось все меньше. Дедушка пережил их всех, он умер последним и, умирая, в полубреду царапая пальцами стену, произнес: «Уходит старая гвардия».

Между тем их дети крепко вросли в московскую почву, один из них даже стал заместителем наркома, и его отец считался в дедушкином кружке самым левым. Он приезжал на служебном автомобиле сына и сердился, когда другие за карточной игрой поругивали нынешние времена и порядки. Словно желая перевоспитать своих сверстников в новом духе, он рассказывал им о пользе индустриализации и о том, какая это замечательная вещь — метро, которое сейчас строят в Москве: «Это чудо, это настоящее чудо!..»

Вспыхивал спор, и бывало, что, распалившись, старик уходил, громко хлопая дверью, но через несколько дней вновь появлялся, усаживался за стол, тасовал карты, и все начиналось сначала...

Признаться, мне всех этих стариков было немного жаль, и жаль было тот город, который без них казался мне покинутым и осиротевшим. Кто жил сейчас здесь? Кто гулял по дамбе, возле крепости, куда они под руку со своими женами ходили по вечерам слушать военную музыку?

Куда это все провалилось?..

Постепенно в нашей семье (особенно после смерти дедушки и бабушки) воспоминания о городе стали стихать, а затем и вовсе угасли, и, когда он, считавшийся в течение двадцати лет заграницей, поскольку входил в состав Латвии, вновь стал советским и, следовательно, открытым для беспрепятственного въезда, ни моя мать, ни мой отец и не подумали воспользоваться возможностью навестить эту, некогда столь дорогую их сердцу землю.

Уже ничего, никаких следов не осталось: ни железной вывески, ни визитных карточек, а за годы войны и эвакуации побилась даже вывезенная «из прошлого» фарфоровая посуда с голубыми цветочками, которую при дедушке ставили на стол в особо торжественных случаях; от нее уцелела одна только суповая тарелка, и теперь ею пользовались каждый день, буднично...

— ...Ну, так мы вам это устроим,— сказал Сметанин, выслушав суть моей просьбы, и чуть усмехнулся.— У нас есть здесь специалист по всем этим делам, зубной техник Миндлин Симон Абрамович. Я вас сейчас с ним свяжу.

Сметанин, не заглядывая в записную книжку, по памяти набрал номер телефона и вызвал Миндлина. Мы договорились встретиться в гостинице завтра.

Миндлин пришел — старик, лет семидесяти, с коричневой от загара пятнистой лысиной, с закатанными по локоть рукавами спортивной рубахи и почерневшими от работы пальцами. Чем-то он был похож на старого американского фермера, и у подъезда гостиницы стоял его «кар» — голубая, новая «Волга».

Потом, сидя с ним рядом, я наблюдал, как он уверенно водит машину и говорит, говорит...

Свой город он хорошо знал, и все его в этом городе знали, немного побаивались и уважали по разным, очевидно, причинам. Для одних он был искусный протезист, для других — лицо, связанное с властями, для третьих — официально признанная и как бы узаконенная жертва фашизма, ветеран гетто, которого «по этому поводу» даже за границу посылают, и по телевизору он выступал с воспоминаниями...

Он по-хозяйски заглядывал в магазины, перебрасывался одним-двумя словами с директором или продавцом, и ему тут же выносили нужную ему вещь; в центральной гостинице, носившей название «Москва», ему приветливо улыбалась дежурная, а когда он в поисках живых свидетелей привел меня в молельный дом, молящиеся тут же смолкли и обступили его, словно ожидая очередного распоряжения.

Везя меня по городу, он то и дело останавливал свой автомобиль и «на минуту» заскакивал — в суд, в аптеку, на почту: всюду ему было нужно.

Рассказывать он начал с места в карьер, только рванул машину, тут же и пошло без умолку...

— Откровенно сказать, здесь доставалось всем. Этих,— он кивнул на дом, расположенный на другой стороне улицы,— ровно через год взяли в крепость, и они там сапожничали, а потом их убили айзсарги. Ну, одного из мерзавцев я в сорок девятом году нашел, это был Рокпелнис, айзсарг, я его узнал на улице, побежал за ним, задыхаюсь, но догнал у проходной будки завода, вызвали милиционера, я звоню в Ригу, заместителю министра, при моих связях это сделать было нетрудно, вся Латвия носит мои челюсти, и тогда, при Ульманисе, и потом, а сейчас я начальнику ОБХСС сделал нижнюю челюсть, да, так вот, я немедленно связываюсь с заместителем министра, из Риги выезжают прокурор, следователь, и Рокпелниса берут, судят, ему дают двадцать пять лет... А теперь мы едем по улице Райниса, что вам рассказывать, вы сами видите, это — красота! До войны здесь ничего этого не было, все новостройки, а секретарь горкома у нас замечательный: очень интеллигентный человек, никогда не повысит голоса, никогда не кричит, я был у него на приеме, так он мне подал пальто...

Да, так вот, с сорок девятого года я их вылавливаю, у меня заведен целый архив, я имею двести сорок пять карточек, работаю, конечно, в контакте с органами, а началось все с того, что я увидел сон. Мне приснились моя жена и дочь, девочка четырнадцати лет, красавица, я сплю и слышу, как они меня зовут: «Папа, мы приехали, папа, открой!..» Я кричу, я падаю с кровати, жена страшно испугалась: «Что с тобой?..» Это была моя вторая жена, тоже из гетто, мы с ней познакомились после войны, у нее тоже все погибли: дочка, муж... Так вот, моя покойная жена (она, бедная, умерла в прошлом году — столько переживаний, кто это может выдержать?) говорит: «Знаешь что, отправляйся в Польшу, в Штутгоф, они тебя зовут, разыщи их могилу...» И вы знаете, я добился: через того заместителя министра получил паспорт, визу,

все в порядке, я еду в Штутгоф и, конечно, никаких следов не нахожу. Какие следы? Памятник, братская могила — вот и все. Но с тех пор я немного успокоился и начал действовать...

Город, по которому мы ехали, был зеленым, нешумным и опрятным, как все прибалтийские города. Сейчас его перестраивали и расширяли: многие улицы были перекопаны — где прокладывали трамвайную линию, где трамвайную линию снимали. В зелени цветов стояли застекленные кафе новейшего образца. Но Шильдеровская улица (ныне Юрия Гагарина) сохранила свой прежний облик: здесь все дома были старые, трехэтажные, и я тут же заселил ее в своем воображении людьми из семейного альбома. Я прямо-таки, можно сказать, увидел моего деда, направляющегося к себе в банк, с золотой цепочкой на жилете, в котелке, с палкой, и мою мать — маленькую девочку с косичками, с бантом, в гимназическом платье, в высоких зашнурованных ботинках...

Миндлин тем временем подвел меня к красному кирпичному дому и стал рассказывать, что именно из этого дома его вместе с женой и дочерью в августе сорок первого года вывезли в гетто, в крепость, которую нам предстояло теперь осмотреть.

Я уже говорил, что в детстве об этой крепости, как об одной из примет и достопримечательностей города, слышал неоднократно, и она мне мерещилась в виде какого-то рыцарского замка. Впрочем, упоминали ее и в связи с событиями 1905 года: как туда ходили демонстрации с красными флагами и требовали освободить заключенных.

Вообще эта крепость, построенная в начале прошлого века для защиты западных рубежей державы, никогда, собственно, по своему прямому назначению не использовалась. Николай I превратил ее в тюрьму и содержал там декабристов, позже в крепости сидели участники крестьянских бунтов, затем народовольцы, вслед за ними социал-демократы, потом, в годы первой немецкой оккупации, заложники, во времена буржуазной Латвии — коммунисты, в гитлеровскую оккупацию здесь было гетто...

— ...И вот собрали нас здесь пятнадцать тысяч человек,— рассказывал Миндлин,— мы лежали на дворе, теснота и жара были страшные — август! — к тому же воду отключили, и люди умирали от жажды, под палящим солнцем. Можете представить себе, какой стоял гвалт, особенно маленьких детей было жалко. Мы уже и не ждали для себя ничего, думали, что так и умрем здесь, и вдруг — спасение, чудо! Приходит офицер, щеголь: «Ordnung! Ruhe! Прекратить безобразие! Кто желает, сейчас же будет отправлен в Пески (это — дачное место, кто не ездил на лето в Пески?) — там мы разместим вас по-человечески».

Конечно же захотели все, началась давка, составляются списки желающих, и каждый норовит в этот список попасть, и уже активисты нашлись, как в любой очереди, чтобы следить за порядком и чтобы кто-нибудь, не дай бог, не пролез в список раньше него... Словом, что вам тут долго рассказывать, мы в список так и не попали, нас и еще десять — пятнадцать семей оставили в крепости,

а остальных «счастливчиков» увезли. Вы знаете, куда их увезли? Вы когда-нибудь бывали в Песках? Там две тысячи пятьсот детей было расстреляно сразу, там все кругом косточки, если начать копать, земля закричит от ужаса, мы туда с вами обязательно съездим... Но к чему я вам все это говорю? А к тому, что этот офицер был сам гебитскомиссар Швунг, которому я когда-то сделал золотые протезы, и в связи с его делом меня в позапрошлом году как свидетеля посылали в Западную Германию. Нет, я действительно считаю, что жизнь полна чудес и что никогда заранее нельзя сказать, как и что куда повернется. Ну, вы представляете себе, что было бы со Швунгом, если бы ему тогда, в августе 1941 года, кто-нибудь показал на меня, шепнул кто-нибудь, что вот этот несчастный еврей, это страшилище из гетто, этот обреченный смертник, не только не умрет, а через двадцать пять лет как свидетель от Союза Советских Социалистических Республик приедет к ним в Германию, которая, между прочим, будет совсем не Германия, как была, а что-то немножечко другое — Западная Германия (Германскую Демократическую Республику я не трогаю),— и он, Швунг, будет дрожать при мысли, что я их могу опознать и закричать: «Вот он!»

Но тогда ни он, ни я даже и подумать об этом не могли, такая это была бы фантазия. Меня оставили в гетто, и я два года работал у них по специальности. Не хочу врать: я имел возможность кое-как жить и кормить свою семью, и даже из Риги ко мне приезжали немцы-заказчики...

Вам, наверно, это покажется странным, но в гетто тоже была своя жизнь, и люди, которые все были обречены на обязательную смерть, занимали различное положение, как в жизни. Были и низы и верхи, а некоторые были даже засекречены, находились у немцев на секретной работе. Каждое утро их куда-то увозили, а вечером привозили обратно, никто, конечно, не знал, в чем состоит их служба, и только я совершенно случайно узнал об одном из них. Это был владелец галантерейного магазина Авербух, мой бывший пациент. Так хотите знать, кем он работал? Он был успокаивающим. Он, когда прибывали на вокзал эшелоны со смертниками, которых тут же, после разгрузки, выводили за город и убивали, стоял на перроне, хорошо одетый, в хорошем костюме, выбритый и причесанный, встречал приезжающих и вместе с другими, выделенными на эту работу, сопровождал людей до самого места казни и, когда начинались волнения или паника, успокаивал их и говорил: «Ну что вы волнуетесь? Видите, я такой же еврей, как и вы, и ничего со мной плохого не сделали, здесь очень сносные условия, посмотрите на меня и скажите: разве я похож на жертву? Перестаньте валять дурака и успокойтесь...» А потом, когда их доставляли, он сдавал костюм на склад, переодевался в свои лохмотья с желтой звездой и ехал назад, в крепость... И так каждый день, пока до него самого не дошла очередь. И вы знаете, этот Авербух не считал, что он поступает плохо, он считал, что делает хорошо, потому что люди нуждаются в

моральной поддержке, а гебитскомиссар Швунг и комендант гетто Тауберг радовались, что избегают паники... Да, так я отвлекся, а вас, наверно, интересует, что было со мной в Западной Германии, потому что вы пишете о реваншизме.

Мы приехали в Дортмунд — семь человек. Ну что вам говорить: город шикарный, и приняли нас роскошно. Когда мы стали рассказывать, секретарша плакала, а следователь взялся за голову: «Mein Gott! Боже мой, какие канальи!..» Я говорю: «Зачем вы хватаетесь за голову? Вы лучше скажите, что будет с этими разбойниками, где они, дайте мне на них посмотреть, я их узнаю в лицо, а если вы задержали Тауберга или Швунга, то у Швунга мои зубы, а уж если я делал зубы, то можете быть уверены, что он носит их до сих пор, а я свою работу узнаю...»

«Nein, nein — нет,— говорят.— Нельзя. Это может помешать следствию...». Warum? Почему помешать? Ну, понятно, это одна компания, зачем им нужно, чтобы я их опознавал, достаточно, что они нас вызвали, допросили и кормили как на убой: пятьдесят марок суточных, это громадные деньги, помножьте пятьдесят на семь — триста пятьдесят марок! Мы оделись с головы до ног... «Ну, так как с нашим делом?» — спрашиваем. Следователь делает серьезное лицо: «Kommt Zeit, kommt Rat» — то есть со временем все будет в порядке... Вот уже два года, как мы ждем, никакого суда, конечно, нет. Я им написал, наверно, тысячи писем, я и в Нью-Йорк писал, в ООН, ответ только один: следствие продолжается. С каких это пор, спрашивается, они стали такими законниками? Какое еще нужно следствие? Или они хотят их всех подвести под амнистию? Или ждут, пока их на нервной почве хватит инфаркт и тогда их нельзя уже будет судить как больных?! Вот о чем вы должны написать, вот о чем надо бить во все колокола! Может быть, обратиться к Сергею Сергеевичу Смирнову? К Эренбургу? А может быть, Евтушенко может написать об этом стихотворение?..

Я и не заметил, как вокруг нас собралось несколько слушателей: лейтенант, два солдата. Когда Миндлин перевел наконец дух и стал утирать платком свою лысину, они посмотрели на него с сочувствием, а лейтенант спросил, не согласится ли Миндлин выступить перед личным составом на политзанятиях, поскольку в плане у них есть тема про неонацизм...

В Пески мы ехали по той самой дамбе, по которой любили гулять мои дедушка с бабушкой, да и теперь было много гуляющих, главным образом молодежи. Километрах в пятнадцати от города начинался дачный поселок, тоже известный мне по рассказам: я и об этих Песках слышал в детстве.

— Да, здесь всё были дачи, всё дачи,— сказал Миндлин.— И ваши, наверно, тоже сюда выезжали... Здесь жил инженер Глинтерник, здесь — доктор Лурье, здесь — адвокат Ратнер... Это вообще золотые места, особенно для гипертоников, я вам рекомен-

дую как-нибудь приехать сюда отдохнуть всей семьей... Так вот, вы видите этот памятник?..

За поселком в лесу виднелась скульптурная группа. Миндлин остановил машину и, тяжело наклонившись вперед, словно его подталкивали, подошел к памятнику. Впервые я подумал о том, как он все-таки стар.

— Вот куда их привезли.

Он замолчал, переживая все заново.

— В пятьдесят четвертом году я добился, чтобы поставили памятник, это стоило немало хлопот, работали архитекторы, местный скульптор, комиссия принимала, но памятник мне не нравится. Это что-то не то, это какие-то богатыри, видите? Почему нет детей и измученных людей, каких здесь расстреливали? Я считаю этот памятник неудачным, и, если вы будете писать, намекните: почему нет изображения детей?

Теперь он внимательно оглядывал местность, поросшую густой зеленой травой, присматривался к бугоркам, к холмикам и свой разговор вел с ними, одним им понятный...

Походив между холмами, Миндлин вернулся к машине. Он был чуть подавлен, потерял прежнее расположение духа, но, усевшись за руль, отдышался и, когда мы вновь проезжали через дачный поселок, снова собрался с силами.

— Видите эту дачу? — спросил он, вертя головой.— Это была моя дача, я ее сам построил до войны, для жены, для дочки, но потом, чувствую, не могу сюда возвращаться, хотя дача осталась целехонькой, и у меня были все документы, и свидетели сохранились. И я мог ее получить назад в любую минуту... Нет, это было невыносимо, слишком много было горьких воспоминаний...

Он снова вернулся к своей одиссее времен оккупации, как жил в гетто и как однажды, ценой невероятных усилий и огромного подкупа, перебрался с семьей в город, справедливо полагая, что гетто вскоре будет ликвидировано, потому что фронт приближался и всем было совершенно ясно, что немцы уйдут...

— И вот уже спасение было совсем рядом, мы уже думали, что спасены, как нас заметила одна негодяйка, наша бывшая соседка, я не знаю, что мы ей плохого сделали. Она увидела нас на улице и тут же стала во весь голос орать, звать полицию. Я ее, конечно, потом нашел, разоблачил, она отсидела лет пять, а сейчас вернулась и живет, что ей сделается? Это бык, а не женщина... Да, она живет, а нас тогда схватили и — никаких разговоров, погнали на вокзал, там формировался эшелон в Штутгоф, в лагерь смерти. Нас разлучили, растолкали, и вот в этой толчее я затерялся, вышмыгнул из толпы, сорвал с себя желтые латки и окраинными улицами — никто меня не задерживал, не до меня им было, уже артиллерия была слышна совсем близко — выбрался за город...

Миндлин спросил, что бы мы хотели еще осмотреть: достопримечательных мест много, за один раз все не успеть, можно, конечно, посетить музей или пойти отдохнуть в парк или на старое кладбище, где у Миндлина похоронена вторая его жена и где он

поставил ей лучший на всем кладбище памятник. С этим кладбищем у него связано одно воспоминание о том времени, когда он выбрался из гетто и долго не мог найти убежища в городе. Тогда он пришел сюда к старику сторожу с просьбой помочь ему спрятаться или дать какой-нибудь совет...

— Так вот, этот старичок сторож говорит: «Знаешь, Симон, у меня есть яд, все равно тебя убьют, прими яд, и я тебя похороню как человека, а ты мне отдашь за это свой костюмчик... Зачем он тебе, если ты все равно будешь покойник?» Я тогда подумал: может быть, действительно стоит так сделать? Но потом все-таки не согласился. Умереть человек всегда успеет, а жизнь дается всего один раз... Всего один раз дается человеку жизнь, но сколько раз хотят ее у него отобрать! На каждом шагу! Это ужас!

Кладбище, по которому мы шли, было очень старым, со множеством заброшенных и запущенных могил: осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило: впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений, величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня — через моих детей — с неведомыми мне потомками...

Угадав мои чувства, Миндлин принялся подробно и обстоятельно, как экскурсовод, излагать историю здешних фамилий, обращаясь то ко мне, то к моим детям. А они стояли, усталые от дороги, от рассказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили:

— Едем к морю...

. . . .

Прожита длинная, далекая жизнь...

. . . .

5

О фортуна! Сжалься!..

На кого наваливалась чугунная тяжесть молчания? Кому ведомо это понятие — н е т, за которым зияет огромная пустота? Кто ощущал прикосновение кончика отточенного меча к самому сердцу?..

Ложь и злоба миром правят.
Совесть душат, правду травят,
мертв закон, убита честь,
Ложь и злоба миром правят.

Карл Орф, положивший на музыку песни, найденные в монастыре Бенедиктбейерн, был прежде всего ч и т а т е л е м. Не композитор овладел текстом, скорее наоборот: текст завладел композитором, заворожил ритмом, музыкальностью. Он слышал текст. Видел.

«Carmina Burana» Орфа — сценическая кантата, музыкальное действо. Вот описание одной из постановок.

В центре колеса, вставленного в огромное готическое круглое окно, восседает на троне Фортуна. Хор в монашеских одеяниях ржаво-кирпичного цвета поет песни вагантов. Сцену заполняют бродячие музыканты, школяры, бурши, миннезингеры, сельские девушки. В таверне горланят пьяницы. На зеленом лугу кружатся в хороводе влюбленные.

Потом Фортуна выходит из своего колеса, производит странные мистические движения: искушает. Все погружается в нереальный сумеречный свет, как внутри церкви. Девичьи хороводы становятся плясками смерти, сцена в таверне — оргией демонов.

В апофеозе молодые влюбленные пары воссоединяются: мистическая, призрачная свадьба.

Фигура богини любви сменяется фигурой Фортуны.

В мощном финале — то ли скрытая угроза, то ли торжество радости...

Шквал оваций. Дирижер Герберт Караян поднимает оркестр.

Критика называет кантату гимном радости жизни, хвалебной песнью миру. Дело происходит в Берлине в 1941 году. Отныне кантате неизменно будет сопутствовать успех, ее назовут бестселлером музыки XX века.

Сам Карл Орф признается: «С «Carmina Burana» начинается собрание моих сочинений».

Рихард Штраус в письме к Орфу писал о «Carmina Burana», что его потрясла «чистота стиля этого произведения, его безыскусный язык, лишенный какой-либо позы и какой-либо оглядки налево и направо...».

Изменчивая, как и сама фортуна, кантата в разное время принимала облик то аллегорической мистерии, то старинной придворной пасторали, то простонародного действа в духе баварского крестьянского театра. В 1975 году в связи с восьмидесятилетием Орфа в ФРГ показали цветной телефильм: колесо фортуны с одной стороны крутил ангел с белыми крыльями, с другой — весь в черном черт. Игра между небом и адом...

Приступая к переводу лирики вагантов, я думал о Карле Орфе. Этот загадочный старик пережил третий рейх, не став ни его барабанщиком, ни борцом Сопротивления, ни эмигрантом (даже внутренним).

Его «Carmina Burana» подсказала мне многие интонационные и ритмические ходы.

Об Орфе я знал не так уж много. Не знал, что он живет в Дисcене-на-Аммерзее, совсем близко от Гаутинга, где я столько раз бывал и столько раз имел возможность с ним встретиться.

Главное, я не знал, что с ним будет связана моя судьба.

Фортуна...

Был путаный, липкий, дождливо-душный день в Лихтенфельзе, когда ко мне явилась Судьба и протянула в белом конверте небольшое письмо. Оно касалось простейших литературных вопросов. Откуда это: «Эх, без креста!..» Из какого стихотворения Пушкина взяты строки: «Я стал доступен утешенью, За что на

бога мне роптать...» Кому принадлежат слова: «Рожденный ползать — летать не может...»?

В этот день поэтесса Инге Фольденауэр-Лозе и ее муж адвокат Конрад Фольденауэр-Лозе предложили мне поехать в близлежащий Бамберг.

Сначала мы пили кофе у них дома, в просторном, уставленном прекрасными книгами и цветами кабинете, слушали Моцарта, Орфа. Музыка звучала мощно, отчетливо, как в концертном зале.

День рыданий, день стенаний,
Нет пред богом оправданий...

Моцарт, «Реквием», Lacrimosa... И вдруг я понял, что судьба пришла, она здесь.

Мировые гении. Создав свои книги, симфонии, картины, стихи, они вручали их человечеству. Все дальнейшее, что будет с их детищами, зависело уже не от них...

Конрад Фольденауэр-Лозе сказал мне, что Карл Орф живет в Диссене-на-Аммерзее и что встретиться с ним, очевидно, не составит большого труда. А сейчас мы отправимся в Бамберг...

Бамберг знаменит главным образом тем, что в нем на Шиллерплац, в узком трехэтажном домишке, с 1808 по 1813 год жил Эрнст Теодор Амадей Гофман.

В Бамберге Гофман вел свой дневник, начатый еще в Плоцке, в Польше: лаконичные, нервные записи, иногда знаки. Чаще всего изображение рюмки. Неожиданно в дневнике появилось сочетание букв: Ктх. Ими стала завершаться каждая запись. Бывало, что Ктх повторялось дважды, трижды, словно Гофман заклинал кого-то:

«...Ктх — Ктх! — Ктх!!!! — возбужден до безумия...»

Ктх — означало Кетхен. Кетхен из Гейльбронна, героиня одноименной пьесы Генриха фон Клейста.

Именем Кетхен Гофман про себя называл Юлиану Марк, юную певицу, которую он обучал музыке.

Он был старше Юльхен на двадцать лет. Ему было тридцать пять, ей пятнадцать. Он был женат.

Любовь сжигала его, на него находили тяжелые приступы отчаяния, тоски. Он мечтал о самоубийстве. В дневнике появилось изображение пистолета. Он пишет: «...я или застрелю себя, как собаку, или сойду с ума!..», «...выходов два: бежать или убить себя...»

Это длилось мучительно долго — несколько лет.

Потом появился некий сын коммерсанта.

«...Я сознаю, что великая мечта обманула меня...»

Потом была драка с пьяным женихом Юльхен.

Потом она все-таки вышла замуж за «проклятого осла-торгаша».

Потом Гофман нанес новобрачной прощальный визит — молодая чета покидает Бамберг — и — «безразличное, отвратительное и опустошенное настроение. Удивительно, что все краски как бы

исчезли из жизни, и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я это представлял. К т х — К т х».

Это писалось сто шестьдесят шесть лет тому назад здесь, в Бамберге.

Это я переписал сегодня.

За нами стояла с у д ь б а.

Фортуна, как в представлении «Carmina Burana», вновь вышла из своего колеса, чтобы приблизиться к нам вплотную.

Дул ветер. На берегу Майна лепились друг к другу изогнутые от времени дома. Улыбался каменный святой на Нижнем мосту. В городе было что-то фарфоровое, кукольное: голубые, розовые дома, девочки в бальных платьицах.

Малая Венеция.

Адвокат рассуждал о причудах судьбы, о Гофмане. У Гофмана можно найти ключ к Орфу: Крейслер с гитарой; гениальный импровизатор, бродячий музыкант мастер Абрахам из «Кота Мурра».

Адвокат рассуждал о добре и зле. Он был высок ростом, красив, обладал изысканными манерами. Все у него было продумано, тщательно отработан каждый жест: наклон головы, улыбка. Иногда он надувал губы, задумывался.

— Человек,— говорил он,— не бывает ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Все беды происходят от неосознания того, что есть предел желаний, потребностей, от нежелания себя ограничивать и смиренно принимать — хотя бы в законных рамках — предписанную тебе участь...

Я слушал его с некоторой долей зависти. Ему жилось так хорошо, так уютно с женой, на которой он был женат уже тридцать лет, в особняке с садом, с прекрасной библиотекой, с коллекцией редких вин в погребе.

Он продолжал:

— Добро и зло состязаются между собой в высших сферах духа, наша жизнь — отражение того, что вне нас, противоборства изначально враждующих между собою сил. Блаженны кроткие, такие, как князь Мышкин. Блаженны нищие духом. Не нарушать главных заповедей нравственности. Но мы нарушаем их на каждом шагу...

Ровно через месяц Конрад Фольденауэр-Лозе покончил с собой. Выстрелом в висок. В своем винном погребе. Рассказывали: запутался в долгах... Какая-то женщина...

Но в этом ли только дело? Дух, жизнь уперлись в стену, в тупик. Иссякли последние резервы радости...

С Карлом Орфом я увиделся 1 июня 1979 года, в день, когда фортуна уже вновь властно вторглась в мою жизнь... Дорога на Диссен из Мюнхена больно напоминала Подмосковье, любимые Бубины места. Придорожные ивы, березы. Тропинка, ведущая в поле. Пыль. Пригорок. Лесок. И запахи летние, подмосковные. И поселок дачный...

Орф был похож на старого садовника, большерукий, с грубы-

ми узловатыми пальцами, земля под ногтями. Стоял, улыбаясь то ли блаженно, то ли с лукавством.

Он с женой Лизелоттой только что вернулся с огорода. Большой каменный деревенский дом, в котором они жили, был весь окружен возделанной землей, огородами, мы бы сказали — приусадебным участком.

Чай пили тут же перед домом, на крытой черепичной крышей террасе. Орф был в белой рубашке с короткими рукавами. Чуть всклокоченные седые волосы. Очки. Деревянная трубочка, которую он то и дело раскуривал, шаря рукой по столу в поисках спичек.

Нет, он не выглядел моложе своих лет.

Я сказал, что перевел лирику вагантов, хотел бы понять, чем захватила рукопись «Carmina Burana» его?

Он ответил:

— Латынью. Она обладает магической силой выразительности. Латынь — это Европа. Когда писали по-латыни в Германии, вас могли понять и в Париже, и в Лондоне.

Он рассказал, что именно из-за латыни кантату отвергали, пытались запретить: тогда насильственно насаждалось, вбивалось в головы все только национальное, чисто немецкое. Кантате помог вырваться из-под запрета и получить официальное признание лишь счастливый случай.

Было над чем подумать.

В далеком XVII веке немецкий язык стонал под гнетом латыни, задыхался, о возрождении национального языка мечтали лучшие умы Германии. В начале 30-х годов XX века Орф искал утешения в латыни, когда на немецком языке стал кричать Гитлер.

О музыке своей кантаты Орф сказал:

— Она проста. На нее поразительно реагируют дети, особенно младшие школьники, где-то около семи лет. Когда их спрашивают, какая музыка им нравится больше всего, они часто отвечают: Карл Орф, «Carmina Burana». Хочу вам признаться: все «художественное», «артистическое», «сверхсложное», то, что находит отклик у немногих ценителей, меня не занимает нисколько. Но если какая-то вещь совершенно бесхитростно воспринимается детьми, то это уже нечто...

Я спросил о его любимых композиторах. Он назвал Монтеверди и Моцарта. При имени Моцарта приложил ладонь к сердцу. Из русских назвал Стравинского. К любимым писателям причислил прежде всего Шекспира, античных авторов, Гёльдерлина.

Теперь я понял: ваганты — дети, цыгане — дети, дети — Ромео и Джульетта, Офелия — дитя. Гениальное баловство Моцарта...

О, почему ваганты не достались для перевода Пушкину! Если бы он знал их! Какие бы это были переводы! Какое бы счастье!

Простодушие есть высшая форма сложности. В непосредственности таится высшая мудрость... Случайно ли к притче, к сказке, к детской почти литературе тянуло сложнейших писателей мира, философов?

...На этом свете
все пароды — божьи дети...

В мире Орф известен более всего как педагог, подаривший школе и детскому саду универсальную систему художественного воспитания (через песню, танец, игру в театр, поэзию). Он собрал, издал — вместе с музыкой — пятитомную антологию детской и фольклорной поэзии.

Это шло от его собственного детства: от кукольного театра, от уличных представлений, от песен бродячих шарманщиков, от пышных похоронных и свадебных процессий на улицах старого Мюнхена, от баварских осенних праздников, от баварского наречия.

Сейчас, поднимаясь со мной в кабинет, на второй этаж своего дома, Орф говорил о незамутненном народном начале, об отвращении к моде.

— Я внушаю молодым композиторам: не старайтесь быть слишком современными, иначе вы быстро устареете...

Незамутненность, наивность в искусстве, примитив — зона особой опасности. Идешь как по канату. Если сорвешься — рухнешь в пошлость, в дешевку. Подлинно великое, высочайшее всегда на грани, на волоске от дешевки и пошлости. Важно не переступить зту грапь. Но как трудно этой грани достичь!..

В кабинете Орфа все было из грубого дерева, все ненарочито простое, даже большой черный рояль, за которым сочинялась «Carmina Burana», был неполированным... Множество книг, нот... Картина, подаренная Орфу Кандинским...

Некогда встречались два друга: Карл Орф и выдающийся фольклорист профессор Курт Хубер. Они работали вместе: отбирали народные песни, пытались восстановить их исконное звучание. Иногда они садились за рояль — то Орф, то Хубер, играли цвифахеры (баварские танцы с переменным ритмом). За дверью, затаив дыхание, стояла прислуга, слушала. Она была родом из Баварии, это были песни ее родины.

Профессор Курт Хубер стоял во главе тайной антифашистской группы в Мюнхенском университете, его перу принадлежат листовки «Белой Розы», его казнили на эшафоте. Карл Орф был официально признанным композитором,— во всяком случае, его не трогали, позволяли работать.

Памяти друга Орф посвятил свою музыкальную драму «Бернауэрин»: бесчеловечной силе несправедливости противостоят любовь, скорбь, упование на высшее милосердие...

Сейчас, в этом кабинете, мне хотелось задать Орфу вопрос, который непрестанно занимал меня с тех пор, как я соприкоснулся с явлением Орфа, да и не только Орфа, с вагантами: может ли человек творить, создавать мелодии радости, когда кругом свирепствует террор, в царстве неволи?

Что такое сопротивление? Есть разные виды сопротивления. Сила сопротивления — сопротивление силой. Но было и сопротивление слабостью: неспособностью, невозможностью участвовать в

насилии. Самой попыткой выжить, когда тебе полагается умереть. Невозможностью не думать, когда тебе думать не полагается. Попыткой знать, когда на тебя наваливается незнание. Попыткой протащить радость и просветление в зону отчаяния и смерти. Так ли это?..

Я спрашивал, Орф, чуть печально улыбаясь, кивал то ли из вежливости, то ли в ответ своим собственным мыслям...

. . . .

Я, разумеется, без труда ответил на простые вопросы, поставленные мне в письме в белом конверте: «Эх, без креста!» взято из «Двенадцати» Блока; «Рожденный ползать — летать не может» — из «Песни о Соколе» Горького. Строки Пушкина — отрывок из стихотворения «Птичка».

Письмо прислала какая-то переводчица из Нюрнберга: ей нужны были цитаты к роману...

6

В Нюрнберге я поселился в отеле «Вердехоф» на улице Рам.

Она пришла в «Вердехоф», высокая, чуть грузная; поднималась по лестнице в белых, вышедших из моды сабо на пробковой толстой подошве, в толстых шерстяных носках.

Она переводила с русского прозу, была русского происхождения, родилась, однако, в Германии, в глухом, ночном Нюрнберге, когда 1945 год уже уперся в декабрь.

У нее было большое округлое русское лицо, только гримаска немецкая: линия рта, измененная немецким произношением. Пухлые бледные губы. По-русски она говорила слегка шепелявя, пришепетывая немного. Звали ее Наташа.

В зале Высшей народной школы я читал своих вагантов и «Мужицкую серенаду» Шиллера, поднял глаза: в самом верхнем ряду озорной улыбкой вспыхнуло молодое женское лицо.

И вот теперь она была здесь.

В тесном гостиничном номере стояло всего одно кресло. Она присела на кровать, в длинной до пола красной юбке. Мы собирались говорить о том, как переводить цитаты к роману, о технике перевода.

Я смотрел на нее.

У нее были прямые стриженые волосы. Серьезное, тронутое печалью лицо. Держа в красивых полных пальцах черный мундштук, она курила ровными медленными затяжками и вся олицетворяла собой спокойствие, неторопливость.

Она рассказала, что живет с другом, студентом-социологом, который вскоре собирается уехать на три месяца в Новую Гвинею. Это ее страшит. Более всего ее страшит незащищенность.

Я запомнил: несколько раз она произнесла слово «страх».

В то время я еще был обложен пустотой, утром, просыпаясь, выходил из сна в пустоту, плыл в невесомости. Мне показалось, нас что-то роднит; я протянул ей свои записи...

Минувший 1978 год, который начался болезнью Бубы, а затем, в своем зените, в июне, рухнул в небытие, в ее смерть, когда она лежала в гробу, повязанная коричневой косынкой, которую когда-то накидывала себе на плечи,— этот год обвала заканчивался необычайными для Москвы морозами: минус сорок два градуса. В кабинете моем было и днем темно от намерзшего на стекла в два пальца толщиной серого льда. Все вымерло, вымерзло. Улицы Москвы были пустынны. На кухне синими венчиками горели, грели все четыре газовые конфорки, шло искусственное тепло, я жался к плите, писал про Грифиуса. Затем наступил 1979 год. В квартиру входили, выходили женские фигуры, сейчас почти не помню их лиц.

Были истерические письма, лихорадочные ожидания на аэродромах, проводы, была беспомощность, была слабость. Была безобразная, оскорбительная для нормального человека суета. Испытание смертью я выдерживал не самым достойным образом. Убегал от нее, спасался, хотел юркнуть в жизнь. Но жизнь не принимала меня, отталкивала, возвращала за тот порог, за 19 июня 1978 года, за ту грань.

Чем дольше шло время, тем сильнее охватывал меня дикий страх перед жизнью, перед всесильной и неумолимой отрезанностью от всего, именуемой одиночеством. И тяжело, грузно, грустно оседал на дно души истерзанный смертью образ Бубы...

Я наблюдал за тем, как Наташа рассеянно, видимо не совсем понимая, что к чему, читает мои записи, и привычно, чтобы как-то заполнить окружавшую меня пустоту, потянулся к ней,— обреченный на безнадежность, я жил маленькими надеждами: на минутное утоление боли, на лучик света. Она смотрела на меня с досадой и состраданием, которым можно было воспользоваться. Я усвоил и это.

Она была мила мне. Нет, она была дорога мне! Лучик света не должен был погаснуть — сейчас это было бы невыносимо!..

Говорившая по-русски почти безупречно, она сказала вдруг с неожиданно резким немецким акцентом: «Ты гнешь меня, как металл!»

Мы расстались в шестом часу утра.

— Что ты скажешь другу?

— Скажу, что была у тебя.

— Зачем? Не лучше ли придумать что-нибудь?

Она покачала головой:

— За все надо платить...

Я недоумевал. Едва ли нам предстояло когда-либо снова встретиться. Завтра я должен был уехать в Эрланген, оттуда в Аугсбург и в Мюнхен, затем вернуться в Москву. Поспешная откровенность могла бы только огорчить близкого ей человека, причинить неприятности ей самой.

— Иногда,— убеждал я ее,— мы вынуждены прибегать к святой лжи. Мог ли я, например, открыть своей жене, что у нее рак, что она обречена? Конечно же я все скрыл...

Глядя мне строго в глаза, она сказала:

— Зачем ты это сделал? Человек имеет право знать правду, в том числе и о собственной смерти. Зачем ты лишил ее этой возможности?..

Я проводил ее к выходу. Мы попрощались.

Она села в свой крохотный серый студенческий «рено». Махнула рукой. Еще одно прощание...

В девять утра я звонил по телефону — успел записать номер.

Звонил и из Эрлангена. И из Аугсбурга.

Выступая на вечерах поэзии, я теперь непременно включал в свой репертуар «Колесо Фортуны»: впервые за много месяцев ощутил в себе какое-то движение...

Наконец она позвонила сама: в Мюнхене мы можем провести три дня вместе в квартире ее подруги, которая уехала в отпуск.

...Трое суток я прожил на ничьей земле. Не было для меня Мюнхена, изнывавшего от июньской жары, окна были закрыты снаружи плотными жалюзи, солнце не проникало в дом, и только на башне соседней церкви то и дело бил, бил колокол: первый день, второй день, третий...

Были эти три дня как долгая совместная жизнь: с острой влюбленностью, с узнаванием, с отталкиванием, со своим бытом, с привязанностью, наконец, с разлукой...

На ее жизнь легло много слоев. В самом начале было гетто для перемещенных лиц в захолустном Форхгейме, раннее русское детство среди ненавистных и ненавидящих. Отец пел в эмигрантском казачьем хоре. Мать... Что она могла сказать о своей матери? Это была красивая черноволосая молодая женщина с глазами, горящими безумным огнем. Запомнились пылкие материнские ласки, запомнилось и другое: как мать волокла ее в темные комнаты, запирала, больно стегала прыгалками, иногда пыталась душить. Наташе не исполнилось и десяти лет, когда мать покончила с собой: осенью, в октябре, ночью утопилась в реке.

На этом русское детство кончилось, началось немецкое: вместе с младшей сестрой отец отдал ее в католический монастырский пансион.

Распоряжением архиепископа Бамбергского ей, православной, было разрешено причащаться и исповедоваться по католическому обряду. Считалось, что это большая удача: ее как бы уравнивали с детьми-немцами. Она переставала быть изгоем. Жадно, доверчиво потянулась к католическому немецкому богослужению. В гимназии каждый урок начинался с молитвы. В пансионе Наташа провела шесть лет, испытав жестокое разочарование. Она так и осталась чужой для воспитанниц, для учителей, для монахинь. Когда у девочек что-либо пропадало, подозрение в краже неизменно падало на нее. Во время потасовок ей доставалось больше других.

Она вернулась в Форхгейм к отцу, перевелась в тамошнюю гимназию, в восьмой класс.

Отец был мрачный, нелюдимый человек. Словно из камня.

Со своими дочерьми он почти не общался. Наташа так и не узнала, каким образом ее родители очутились во время войны в Германии, как жили в России.

Ей исполнилось шестнадцать лет. Она была влюблена в своего соученика Гюнтера. Отец знал об этом. Однажды поздно вечером он вошел к ней в комнату, присел на кровать, упершись рукой в стену, наклонился, дыша винным перегаром:

— А ну, подвинься!

Она оцепенела от ужаса.

Отец помолчал, подождал. Потом упрекнул угрюмо:

— А Гюнтера бы пустила...

И пошел шатаясь.

Теперь он доживал свой век в доме для престарелых. Ему было 79 лет. Наташа навещала его раз в неделю.

Она заботилась о нем и страшилась за его жизнь.

Но тогда, вскоре после того вечера, она ушла из дома, бросила гимназию, поступила телефонисткой на бумажную фабрику. Жила в крайней бедности, иногда голодала.

Через два года она вышла замуж.

Роберт, высокий плотный австриец, был на десять лет старше ее. Он возглавлял на американской фирме отдел продажи компьютеров для текстильных предприятий. Его, многоопытного, изощренного мужчину, привлекла в ней монастырская наивность, детскость. Впоследствии, в течение всей их совместной жизни, он подавлял ее своим превосходством — до физического отвращения, до рвоты.

Роберт ввел ее в дом своих родителей, где все дышало приторным, кондитерским венским уютом. Отец, бывший гаулейтер крупного австрийского города, был теперь художник, искусно рисовал лошадей. Мать была чем-то вроде целительницы, к ней приходили пациенты, которых она лечила с помощью божьего слова. Семья принадлежала к религиозной секте «Кристьен сайнс» («Христианская наука»). Они не признавали медицины. Материя — всего лишь греховное воображение духа. Всякая болезнь есть болезнь воображения. Если исцелить впавшее в грех воображение, исцелится и плоть. Они были фанатично религиозны. Точно так же как в прошлом фанатично были преданы нацистской идее.

Нет, это была не просто семья: целый клан, множество родственников. С недоумением смотрели они на органически чуждое им существо. Мать говорила отцу:

— Мезальянсная ситуация. Впрочем, если Роберт так настаивает, что ж...

Приходили гости. Отец Роберта целовал дамам ручки, шутил:

— Целую ручку, целую ножку, готов поцеловать весь ансамбль!..

Кем были для нее эти люди? Ее отвращали их мелочность, узость, тупой фанатизм. Но вновь перед ней открылась возможность выйти из числа отверженных. Стать, как она сама выразилась, легальным человеком, законным членом общества, в котором

она жила, получить как бы официальное право на существование. Кроме того, замужество давало ей возможность без лишних формальностей приобрести наконец гражданство.

Роберт преуспевал. Они сняли большую дорогую квартиру в Мюнхене. Ездили на двух «мерседесах». Арендовали лесной участок, где Роберт охотился на оленей.

Постепенно она превращалась в молодую немецкую буржуазную даму.

Окончив институт иностранных языков, она стала дипломированной переводчицей с русского. Это открывало широкие перспективы. Она начала заниматься высокооплачиваемыми техническими переводами, сопровождать важные официальные делегации в Москву... Можно было подумать, что она вся отдается новой, сладостной жизни.

На самом деле она эту жизнь ненавидела. Возможно, оттого, что олицетворением этой жизни был Роберт.

В 1973 году они разошлись...

Именно в ту пору у нее появился друг. Тот студент-социолог. Она вновь резко меняла среду. Молодые идеалисты — так, что ли, их назвать? — презирали мещанское благополучие, житейскую упорядоченность, сытость. Они поселились в коммуне — две молодые пары сообща вели хозяйство, сообща занимались политической небезопасной работой... В коммуне-общежитии попахивало революционной борьбой. И острыми приправами. Впрочем, и на самом деле часто готовили азиатские блюда: китайские, индийские. Наташа получала заказы на перевод от крупных фирм; иногда часть гонорара шла по извилистым путям в Бангладеш, на Цейлон, в Латинскую Америку. Она внушала себе: «Мы процветаем за счет того, что грабим их».

В коммуне она поверила, что наконец-то нашла себя. Впервые ее принимали не как чужую, а как товарища. Она была среди ровесников, среди своих. Жить было просто и весело. Так могло продолжаться долго... Но вскоре в нее стало вползать неясное чувство тревоги. Неуверенности. Беспричинного страха. Почва уходила из-под ног. Казалось, она теряет способность ходить, видеть, слышать, дышать. Потом, как из небытия, выплыло лицо психиатра...

Наташа показала мне записи, сделанные ею в те дни:

«Я могу подняться наверх лишь после того, как опущусь на самый низ. А до него мне еще далеко».

«Я спрашиваю себя, почему последние крохи жизни до сих пор меня не покинули? Рушится все, и только я еще живу. Болезнь моя в том, что я не могу умереть».

«Быть чужестранцем — это как быть инвалидом. Люди смотрят на тебя то ли как на выродка, то ли как на экзотическую диковину».

Психоанализ занял три года.

Считалось, что теперь она здорова: может работать, жить. Она успешно перевела два романа, стала писать свою прозу. Может быть, в ее жизни начинается новая полоса?

Я слушал Наташу, и у меня перехватывало дыхание от необычности ее судьбы, от присутствия фортуны. Нет, я знаю, что делать! Она станет моей женой! Мы вместе уедем в Москву! Преодолеем все трудности, сдвинем чугунные горы! Нас связывает работа, любовь... Все создано для нашей муки и для нашего счастья, все вело нас друг к другу: ее судьба, моя судьба...

Я выпалил ей все это, она, подумав, ответила:

— Научись сперва жить один. Потом тебе станет легче...

Я представил себе свое возвращение в свой дом, где за год все стало мертвым: мебель, книги, где умерла на кухне посуда.

Медленно, безнадежно тащился поезд. По Франконии. По Швабии. Вдоль равнодушного, сейчас мне совершенно чужого водного простора, именуемого Рейном.

Зажатый между вокзальными сооружениями, высился Кёльнский собор. У самого его подножья змеями извивались рельсы.

Пыхтел, работал Рур.

Кончался день...

Наконец поезд приполз на раскаленный от июльского зноя московский перрон.

В летней пустынной Москве вновь обволакивала меня пустота.

И те же, как после смерти Бубы, утренние пробуждения: из сна — в пустоту.

И — сухие, бессмысленные, мучительные дни-километры.

Жизнь во мне отмирала. Я терял ощущение ее вкуса, цвета.

Что страшнее: осознание безнадежности или пытка надеждой?..

Высоко в небе, между домами, ясно светила луна. Я повторял слова Маяковского из его предсмертной записки: «Это не способ, другим не советую, но у меня выходов нет».

Повторял Есенина:

В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь...

От осознания этой возможности вдруг стало чуть легче...

Лунный лик фортуны изменчив. На этот раз она обитала по соседству с Наташей, в одном с ней доме, в Нюрнберге, на улице Нибелунгов. Фортуна была изображена на листе фанеры: увеличенная копия рисунка, которым открывается сборник песен вагантов «Carmina Burana».

Слепая судьба с непроницаемым лицом.

Сейчас ей было угодно, чтобы я из Москвы вновь, почти неожиданно, перенесся в Нюрнберг.

В одном доме с Наташей, прямо под ней, в первом этаже обосновались молодые музыканты — группа «Раввива»: два молодых человека и девушка.

Они исполняли песни вагантов на первозданный мотив. Музыка Орфа казалась им слишком изысканной. Они стремились к естеству; изготовили старинные инструменты: колокольцы, колесную лиру, портатив, трумшейт — длинную, несуразную предшественницу скрипки.

Впервые я узнал, что ваганты представляли собой некое подобие музыкальных групп. В музыке отчетливо услышал восточные мелодии, занесенные в Европу из арабских земель крестоносцами.

Я встретился с озорной песней, которую когда-то переводил: так называемый макаронический стих, где строки, написанные на средневерхненемецком языке, потешно перемежались латинскими.

Девушка надела на голову венок, один из молодых людей — серую шляпу с пером, другой — малиновую магистерскую шапочку, укрепил на колене ремешок с бубенчиками.

Я скромной девушкой была,—

начала девушка по-немецки.

Вирго дум флорежам,—

подтвердил на латыни юноша в серой шляпе.

Нежна, приветлива, мила,—

с вызовом пропела девушка.

Омнибус плацебам,—

важно добавил юноша.

Все это было удивительно.

Удивительней всего было, что рядом со мной сидела Наташа. Она улыбалась.

Несколько дней тому назад она встретила меня на аэродроме во Франкфурте. Самолет прилетел с опозданием, мы не сразу нашли друг друга, метались, наконец в толпе я увидел ее то ли растерянное, то ли удивленное лицо. Потом, спотыкаясь, роняя чемоданы, я запихивал свой багаж в ее машину.

Сейчас я осваивался в ее квартире на улице Нибелунгов.

Странная это была квартира: коленчатый длинный коридор, ведущий в комнаты-тупики. Темень. На полу, в спальне,— постель, плоские подушки, плоские негреющие одеяла, сбитые в комок. Из темноты проступали очертания предметов: нелепый комод, на котором стояла огромная, сгоревшая наполовину свеча, громадный сундук. По обе стороны широкого поролонового матраца стояли две лампы: металлические конструкции с движущимися металлическими абажурами.

Великое множество плакатов, афиш украшало стены. Это носило чуть иронический оттенок: как бы демонстрация мировой глупости и несбывшихся всемирных надежд — от первой, в стиле «модерн», рекламы кока-колы, выполненной на зеркале, до политических лубочных плакатов начала 20-х годов...

Но чувствовалось и иное — следы политических привязанностей. И следы путешествий: матрешки из Москвы, маски, привезенные с Цейлона. В кабинете на гвозде висело замысловатое мучное изделие в виде серпа и молота, купленное в булочной в глухой греческой деревушке.

Вообще дом отличался бесчисленным количеством предметов, которые в беспорядке громоздились повсюду. Здесь как бы мстили вещам за их назойливое всевластие. Однажды я, к своему удивлению, ощутил, как на меня наседают, наваливаются предметы: бутыли, бутылки, пластиковые пакеты, тюбики. Каждый день почта приносила горы макулатуры в виде сорокаполосных газет, рекламных приложений, информационных бюллетеней, проспектов. Могло показаться, что гигантское число множительных аппаратов, практически доступных каждому человеку, только затем и выбрасывает из себя тысячи тонн печатной продукции, чтобы подчинить себе человека.

Как-то у подъезда остановился черный, с темно-лиловыми полосами, похожий на катафалк, Наташин микроавтобус: из путешествия в Алжир возвратились ее соседи — студенты-социологи. Попросить на два, на три месяца микроавтобус было в этих кругах делом настолько простым, как если бы речь шла, допустим, о пишущей машинке. Даже незнакомый человек, если он свой, мог бы попросить о такой же примерно услуге. Ему бы ответили неизменным: «О'кей!»...

Это была продуманная, рационально обоснованная форма протеста, преодоления замкнутости, изоляции людей друг от друга, собственничества...

На неубранной темной кухне сидели, в два часа дня завтракали юноша с шевелюрой и бородой Карла Маркса, в линялых голубых джинсах, босой, и его подруга, глазастая, неказистая, в мятой пижаме, поджав под себя ноги. Увидев меня, они мотнули головами, не выказав ни малейшего удивления, и молча подвинули мне чашку кофе. Здесь привыкли видеть незнакомых людей...

Все время я проводил с Наташей: мы вместе работали, читали. Вначале она сладостно накинулась на мои переводы, слушала мои рассказы о московской жизни, о литературной московской среде.

Однажды она сказала:

— Ты открываешь мне ту неизвестную родину, от отсутствия которой я заболела...

Мы нелегко пробивались друг к другу. Самым трудным для нас было найти общий язык.

Она требовала полного доверия к себе, молотком логики разбивала окаменевшие стереотипы в себе, во мне. Любой порыв, поступок она подвергала жестокому анализу, ставила под контроль рассудка. Потом на нее находили слабость, жалость.

Порой она испытывала ко мне острую неприязнь:

— Ты барахтаешься в мутном болоте эмоций... Боишься прозрачной воды логики...

И она же мне жаловалась на эмоциональную немощь окружавших ее людей, на мертвую целесообразность, стандартизацию жизни.

Никакого решения на будущее мы принять не могли. Оно то приближалось к нам вплотную, то отодвигалось в не доступную ни глазу, ни разуму даль.

Я стал присматриваться к жизни молодых «левых».

Пожалуй, основным их стремлением было все осмыслить, разложить на составные части, найти для всего четкое, научное определение, в том числе и для собственных поступков. Может быть, поэтому социология, политическая экономия, психология занимали их куда больше, чем «неточная» художественная литература. Здесь почти не читали и не знали поэтов, в разговорах редко возникали имена писателей, названия книг. Классики, мировые и немецкие, для них почти не существовали. Зато часами обсуждались заранее, за два, за три месяца, намеченные темы: «Страх при капитализме», «Университетская политика с точки зрения неомарксизма», «Загрязнение среды и потребительское общество».

Они отвергали пошлые условности мещанской жизни, например «узы брака», подменив их своими, новыми стереотипами. Они не признавали ни авторитета церкви, ни авторитета государства, но зачастую оказывались под властью совсем иного авторитета: какой-либо политической фигуры, а то и врача-психоаналитика, который все чаще заменял им исповедника. Им была ненавистна мещанская чувствительность, но сами они могли предаться необузданной, доходящей до исступления чувственности. Им отвратительны были массовые, мещански-коммерческие, с их точки зрения, празднества, все эти карнавалы, народные пивные гульбища, они веселились по-своему, но, как мне казалось, даже на их веселье лежал оттенок обдуманной раскованности, рассчитанного распутства.

Русское лицо Наташи здесь, в Нюрнберге, среди одних только чужих лиц было родным. Более того, ее пребывание в тисках этой жизни казалось мне противоестественным, словно ее силой вырвали когда-то из той природы, которой она изначально принадлежала и справедливо должна была бы принадлежать. Словно ее поместили в некую машину, которая тридцать четыре года насиловала ее психику, ломала ее внутреннюю структуру, пытаясь подчинить ее законам своего движения. И все же не смогла изменить ее до конца. И то, что оставалось в ней русского, было в ней главным. Я понял это, когда она при мне перевела стихи Ахматовой и Есенина. Не зная ни их творчества, ни их биографий, она уловила царскосельскую осанку Ахматовой, отчаянный есенинский жест и все это выразила в немецких стихах, внутренне удивительно русских...

Меня томила потребность в ы з в о л и т ь ее отсюда, она это понимала и то благодарно шла навстречу моему стремлению, то изощренно ему противилась.

Случилось, что нам пришлось разлучиться всего на четыре дня. Но и этих четырех дней было достаточно, чтобы на ее русской речи резко проступил немецкий акцент. На мгновение я ощутил в себе чуть ли не биологическую ненависть к языку, еще недавно столь мне близкому.

Новыми глазами смотрел я на Нюрнберг, который прежде был для меня всего лишь исторической достопримечательностью: город

Дюрера, Ганса Сакса, гитлеровских партайтагов и Международного военного трибунала. Меня не занимали больше ни знаменитая средневековая крепость, ни «Золотой колодец» на Рыночной площади. Передо мной были безликие прямые улицы с темными домами в алюминиевых строительных лесах, фабричные здания, сутолока возле бесчисленных магазинов, громыхающие бежевые трамваи, несущие большие белые цифры на черных табличках: большой мрачный город, в котором была заточена ее жизнь...

Изредка мы совершали прогулки. Взявшись за руки, блаженно бродили однажды по парку. Шли по бетонной дорожке — парк был расположен на территории бывшего «партейтагеленде». Мы посмотрели на небо: над мертвым черным стадионом висели клочья зарева — разодранное в кровь небо.

В сумерках, под деревом, Наташа небрежно выронила из рук ключи от машины. Потом мы долго искали их в темной траве, жгли спички...

Нет, чувство неприкаянности не оставляло меня: можно ли, прожив жизнь, вернуться в юность, восстановить прервавшуюся навсегда связь времен? Можно ли повернуть реку жизни вспять, к своим истокам?..

Надвигалась глубокая осень, ветер швырял в спину охапки листьев. Брел по дорогам, кутаясь в дырявый плащ, старый вагант:

До чего ж мне, братцы, худо!
Скоро я уйду отсюда
и покину здешний мир,
что столь злобен, глуп и сир...

Потом осень сгорела, леса пожаров стали пепелищами, потом кидало нас на край отчаяния, с края отчаяния — на край надежды, бросало друг к другу, потом оттаскивало в разные стороны, сводило вновь.

28 декабря 1979 года дома, в Москве, я дописывал эту главу. Наташа сидела в столовой, наигрывала на пианино немецкие рождественские песни. Я писал о том, как осенью мы поехали с ней в Форхгейм, в город, в котором она провела свое детство. Писал о том, как молодая немка с русским лицом, сидя за рулем своего серого студенческого «рено», гонит машину по ускользающей от меня ночной дороге.

ВСТРЕЧИ С ШИЛЛЕРОМ

1

Шиллер для меня — часть жизни, начало моего пути и потом, потом, как то осеннее чудо свершилось... Расскажу еще, какое чудо...

Пока же сдержу слезы и скажу только, что в осеннее то чудо, в Марбахе, видел я в домике Шиллера под стеклом большое торжественное послание «духовным и светским властям Марбаха» от Юбилейного комитета, созданного в 1859 году в Москве по случаю шиллеровского столетия...». Вся, как принято было говорить, читающая и мыслящая Россия этот юбилей отмечала...

Именно в Марбахе и пришла мне в голову мысль вспомнить, что значил Шиллер для России, почему жарче, доверчивей, что ли, чем к другим мировым классикам, прильнули к нему русские люди? Почему, говоря словами Достоевского, Шиллер «в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил...»?

Стал перебирать в памяти.

Баллады Жуковского. Мальчик Лермонтов, увлеченный переводом «Перчатки». И у Лермонтова же — «Встреча» («Над морем красавица-дева сидит...»). Пушкинское послание лицейским друзьям: «Поговорим о буйных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». Шестая глава «Онегина», где в ночь перед дуэлью Ленский «при свечке Шиллера открыл» и в подражание Шиллеру написал свое «Куда, куда вы удалились...».

Декабристы. Рылеев, слушающий «Гектора и Андромаху». Кюхельбекер, который с Шиллером не расставался даже в крепости, даже в злосчастном Тобольске. Ну не перед ликом ли Шиллера, не здесь ли, в его доме прочитать, хотя бы про себя, отчаянные строки последнего стихотворения Кюхельбекера: «Тяжка судьба поэтов всех земель, но горше всех — певцов моей России... Бог дал огонь их сердцу и уму. Да! чувства в них восторженны и пылки; что ж? их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежной ссылки...»

К кому же, как не к Шиллеру, взывать? Адвокатом человечества назвал его Белинский.

Помню, помню...

«Шиллер! Благословляю тебя, тебе я обязан святыми минутами начальной молодости» — Герцен.

«Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им...» — Достоевский.

Тургенев ставил Шиллера как человека и гражданина выше Гёте.

Некрасов в обращении к Шиллеру заклинал: «Наш падший дух взнеси на высоту!» И у Некрасова в «Подражании Шиллеру» известная всем формула: «Строго, отчетливо, честно, правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, мыслям — просторно».

Фет в стихотворении «Шиллеру» («Орел могучих, светлых песен...») восклицал почти по-некрасовски: «Никто так гордо в свет не верил, никто так страстно не любил!..»

Блок в дневнике: «Вершина гуманизма и его кульминационный пункт — Шиллер...»

В этом узкогрудом, болезненном, пылком молодом человеке видели одновременно борца и страдальца. Это он, в воображении русских, обнажив шпагу, бросался на обидчиков: «In tyrannos!» —

и вот уже Несчастливцев в «Лесе» Островского пугает помещицу Гурмыжскую монологом Карла Моора.

Нужны, нужны высокие слова. Нужен пафос. Кто-то же должен возопить в припадке невыносимой обиды: «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь!» Кто-то же должен восплакать: «Горе, горе мне! Никто не хочет поддержать мою томящуюся душу! Ни сыновей, ни дочери, ни друга! Только чужие!» Кто-то же должен воззвать: «О, возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягненок!» — и повторить слова Гиппократа: «Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо; чего не исцеляет железо, исцеляет огонь»...

Писал о «Разбойниках» Лев Толстой:

«Räuber'ы Шиллера оттого мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно; а тот, кто отнимает этот труд признаваемыми обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно хуже, ниже разбойника...»

Выходила на сцену Малого театра Ермолова — Мария Стюарт. То была, как вспоминает одна из мемуаристок, несомненно шиллеровская Мария: воплощенная красота страдания, героическая смерть, величие сердца, прощающего в смертный час своим врагам. Южин потряс публику в «Дон Карлосе». Слова маркиза Позы: «Свободу мыслить дайте, государь!» — покрывались шквалом оваций.

Общество нуждалось в проповедях. В восклицаниях. В этом: добро — любовь — свобода — красота — правда...

Постепенно Шиллер стал у нас увядать. Вязнуть в стабильных учебниках, гаснуть в диссертациях. Не припомню в предвоенные годы новых, ошеломивших кого-либо постановок, почти не тянулись к нему и переводчики. Как-то принято было считать, что он чуть ли не целиком навсегда за Жуковским, за Тютчевым, за Фетом. За каким-нибудь Миллером... Весь он там, в XIX веке, в толстых брокгаузовских томах.

В 1952 году задумали издать первый после войны шиллеровский однотомник. Составитель (Н. Н. Вильмонт) решил некоторые старые переводы заменить, и мне, в частности, было поручено заново перевести стихотворение «Раздел земли». Это было моим первым приобщением к немецкой поэтической классике, и я тщательно готовился к ответственному делу. Однако первое же четверостишие показало мою полнейшую беспомощность. По-немецки оно звучало так:

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen
Den Menschen zu. Nehmt, sie soll euer sein!
Euch schenk ich sie zum Erb und ew'gen Lehen —
Doch teilt euch brüderlich darein.

В самом тексте как будто бы не таилось подвохов, каждая строка была понятна:

«Возьмите землю (мир)! — воскликнул Зевс со своих высот
Людям.— Возьмите, да будет она вашей!
Ее дарю вам в наследство и вечное пользование,
Но поделите ее между собой по-братски».

«Nehmt hin die Welt!» соблазнительно укладывалось в русское: «Возьмите мир!» Правда, оставалось еще семь слогов, в которые нужно было вместить остальную часть строки: «воскликнул Зевс со своих высот».

Получалось что-то вроде этого:

«Возьмите мир!» — Зевес с высот воскликнул...

Но тут-то и начались мучения. Строка очень плоха, отвратителен мертво-архаичный «Зевес» вместо «Зевс», да и «воскликнул» ни с чем не зарифмуешь. Стал перестраивать:

«Возьмите мир!» — Зевс как-то молвил людям...

Тоже очень плохо, тем более что «людям» неизбежно потянет за собой «будем», которое в данном случае никак с текстом не вяжется.

Часами сидел я над злополучным четверостишием в непреодолимом унынии.

«Возьмите землю!» — молвил Зевс однажды...
«Возьмите землю!» — рек Зевес могучий...
Зевс людям говорит: — Возьмите землю!..

Вопреки добрым советам и предостережениям, я не устоял перед соблазном и в библиотеке отыскал все ранее существовавшие переводы этого стихотворения. В первом томе издания Брокгауза и Ефрона перевод Фофанова:

«Возьмите мир! — сказал с высот далеких
Людям Зевес.— Он должен вашим быть.
Владейте им во всех странах широких,
Но только все по-братски разделить».

Нет, это не Шиллер. Лю́дям, страна́х, «далеких — широких».

Еще хуже перевод безымянного поэта, опубликованный в академическом, с вырванным предисловием, собрании 1936 года:

«Возьмите мир! — воззвал в благоговенье
С высот Зевес.— Я вам его дарю;
Он ваш, из поколенья и поколенье,
На вашу братскую семью».

В сборнике Гослитиздата (1936) помещен перевод А. Кочеткова:

«Возьмите мир! — с величьем неизменным
Рек людям Зевс.— Его дарю я вам.
Пусть будет он наследством вам и леном,
По-братски поделитесь там».

Почему «с величьем неизменным»? У Шиллера этого нет, и А. Кочетков, видимо, подобно мне, не знал, чем заполнить остав-

шиеся семь слогов после сакраментального восклицания: «Возьмите мир!»

Уходя дальше в прошлое, стал я листать старые журналы XIX века. В «Русской беседе» за 1841 год — перевод А. Струговщикова. Тот отказался от рифмы. Да и слова вялые.

Зевс вещал: возьмите землю, люди,
Возьмите, вам на вечны времена
Я отдаю сокровища земные,
Делитеся, как братья и друзья.

В «Маяке» за 1842 год нашел перевод И. Крешева. Здесь уже есть кое-что, но ритм нарушен, первоначальная энергия стиха утрачена:

«Возьмите мир! — так к людям Зевс гремел
С высот небес.— Он ваш теперь, возьмите!
Дарю его в наследственный удел;
Но братски лишь его вы разделите!»

Б. Алмазов в журнале «Развлечение» (1859) предложил такую трактовку:

«Возьмите мир! — он мне не нужен боле,—
Воскликнул Зевс с заоблачных высот,—
Пусть каждый в нем возьмет себе по доле,
Владеет ей из рода в род».

Начитавшись старых переводов, я вновь принялся за работу, но теперь к прежним трудностям прибавилась еще одна. Неотвязно преследовали меня чужие строки, чужие решения: «Возьмите мир! — с величьем неизменным», «Возьмите мир! — сказал с высот далеких», «Возьмите мир! — воззвал в благоволенье...»

В полном отчаянии снова и снова вчитывался я в немецкий, непробиваемый текст... Потом самый текст стал как бы отбрасывать, представлять себе картину, восстанавливать происшествие.

Великодушный Зевс раздает людям землю. Услышав о щедром подарке, все от мала до велика спешат захватить свою долю: земледелец — ниву, охотник — леса, купец — товары, аббат — сладкое вино, король — мосты и проезжие дороги, и только поэту ничего не достается. Он опоздал. Пока делили землю, он, погруженный в раздумья, слушал «гармонию неба», разговаривал с божеством и забыл о суетных делах. И Зевс, добродушно улыбаясь, ворчит: «Что делать? Мир роздан. Уж не мои отныне осень, охота, рынок». Но выход, оказывается, есть. Зевс предлагает поэту небо: «Когда б ты ни пришел, оно всегда открыто для тебя...»

Дивные стихи! Гуманные. Сочетание «высокого» и «низкого», простой разговорной интонации и торжественной приподнятости. Да и сам Зевс у Шиллера не далекое, холодное божество, а веселый хозяин вселенной, щедро раздаривающий людям свои богатства:

Nehmt hin die Welt!

Эти слова он, очевидно, сопровождает широким жестом — берите землю, забирайте!.. Что, что? Конечно же не «берите», а «з а-

б и р а й т е». Как я этого раньше не заметил! Ведь Шиллер пишет не просто: «Nehmt die Welt» (берите, возьмите мир), а «Nehmt hin», что придает выражению особый оттенок щедрости, широты, великодушия.

Зевс молвил людям: «Забирайте землю!»

И сразу же оформилась строфа:

Зевс молвил людям: «Забирайте землю!
Ее дарю вам в щедрости своей,
Чтоб вы, в наследство высший дар приемля,
Как братья, стали жить на ней».

Благодаря одному верно угаданному слову определилась интонация всего стихотворения, и я, как радист, нащупавший в сумятице эфира нужную волну, уже сам перешел «на передачу»:

Тут все засуетилось торопливо,
И стар и млад поспешно поднялся.
Взял земледелец золотую ниву,
Охотник — темные леса,
Аббат — вино, купец — товар в продажу,
Король забрал торговые пути,
Закрыл мосты, везде расставил стражу:
«Торгуешь — пошлину плати!»
А в поздний час издалека явился,
Потупив взор, задумчивый поэт.
Все роздано. Раздел земли свершился,
А для поэта — места нет...

С этого началось мое приобщение к Шиллеру. Я вдруг ощутил биение его энергичного, живого стиха, которому в переводе холод и выспренность прямо-таки противопоказаны.

Однажды мне пришлось вступить в состязание с самим Жуковским. Речь шла о балладе «Хождение на железный завод», переложенной Жуковским в гекзаметрах. Смел ли я вступить в такое соперничество? Я читал у Кюхельбекера: «Истинно не знаю, что об этом сказать, однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился». И он же пояснял: «Рифма и романтический размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества...»

При всем преклонении перед Жуковским, прочитав его «Суд божий», я отважился на восстановление шиллеровского размера.

У Жуковского:

...Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине,
В горнах пылал, и железо, как лава киня, клокотало.
День и ночь работники там суетились вкруг горнов,
Пламя питая, взвивались вихрями искры; свистали
Страшно мехи, колесо под водою средь брызжущей пены
Тяжко вертелось, и молот, громко гремя неумолчно,
Сам как живой поднимался и падал...

В новом переводе: граф — персонаж баллады — помчался в рощу,

...где в печи
На жарком плавятся огне
Подковы и мечи.
Там неустанною рукой
Рабы трудились день-деньской,
Клокочет пламя, дуют парни,
Как стеклодувы в стекловарне.

Единство пламени и вод
Увидишь в том лесу.
Поток бушующий дает
Вращенье колесу.
И молоткам немолчным в лад
Бьет по листу огромный млат,
И, размягчаемое жаром,
Железо гнется под ударом.

Возможно, мне и удалось восстановить ритм, строфику, приблизиться к шиллеровской интонации, но в свободном переводе-переложении Жуковского какая мощь слова, какой гул вечности!..

Работая впоследствии над новыми переводами Шиллера, я часто задумывался о судьбе своих далеких предшественников. Многие из них полностью забыты, иногда незаслуженно. Да и немало старых переводов, на которые напластовались последующие, надо бы откопать, прочесть заново. Кто, например, вспоминает перевод «Песни к радости» Владимира Бенедиктова, которому так не повезло в русской критике? А ведь его перевод крепче, свежее, да и внутренне ближе к Шиллеру, чем то, что в XIX веке сделал Тютчев, а в XX — Лозинский. Или «Мать-убийца» Михаила Милонова. В 1827 году, когда вышел его перевод, еще не возбранялось заменять ямб хореем, в наше же время такие вольности редки. Мой перевод «Детоубийцы» («Die Kindesmörderin») формально точнее:

Слышишь: полночь в колокол забила,
Кончен стрелок кругооборот.
Значит, с богом!.. Время наступило!
Стражники толпятся у ворот...

Но ведь у Милонова-то монолог детоубийцы ярче, исступленней. Вот она говорит, обезумевшая от ужаса мать, прижимая к груди задушенного ею младенца, в миг перед казнью:

Слышишь? Бьет ужасный час!
Укрепитесь, силы!
Вместе к смерти! ищут нас
Бросить в ров могилы!..

Пишу это, чувствуя какой-то внутренний долг перед старыми переводчиками. Что мы о них, собственно, знаем? Скажем, о Владимире Сергеевиче Печерине (1807—1856). Ну чем не выдающаяся личность? Поэт, философ, эллинист, получивший образование в Москве и в Берлине. Его поэму-мистерию «Торжество смерти» использовал Достоевский в «Бесах». Эмигрировал на Запад, в Гер-

мании и в Швейцарии объявил себя республиканцем, сенсимонистом, коммунистом, затем вдруг принял католичество, стал монахом, членом иезуитского ордена, в 50-х годах встретился с Герценом, вновь, по собственным словам, обрел веру в «исполинскую демократию». Написал философскую автобиографию «Замогильные записки», революционную по духу трагедию «Вольдемар». В 1831 году перо Печерина выводило строки перевода шиллеровского «Дифирамба»:

Боги — поверьте —
Всегда к нам нисходят
С неба толпой.
Бахус едва лишь появится милый,
Входит с усмешкой Амур златокрылый,
Феб величавый с цевницей златой...

В 1860-х годах редактировал «Санкт-Петербургский полицейский листок» Александр Гаврилович Ротчев (1806—1873). Давно уже оставил он стихотворчество, в годы Крымской войны за памфлет «Правда об Англии» получил «высочайшую награду». Но была когда-то молодость, когда он, автор «стихотворений преступного содержания на 14 декабря 1825 года», находился под тайным надзором полиции, была нищета, был Шиллер — «Вильгельм Телль», «Мессинская невеста», упоительные строки «Песни альпийского охотника»:

Чу! гром покатился, утес задрожал;
Отважный охотник проходит меж скал...

Борис Николаевич Алмазов (1827—1876), с которым я состязался в переводе «Раздела земли», хоть и переводил Шиллера и первым открыл для русских «Песню о Роланде», больше прославился своими пародиями на Пушкина, Лермонтова, Панаева и Некрасова, которые печатал под псевдонимом «Эраст Благонравов». Был он фигурой заметной, вращался возле Островского, возле актеров Малого театра, все его знали: «А Алмазов Борька и Садовский Пров водки самой горькой выпили полштоф...»

Среди старых переводчиков Шиллера есть фигуры более известные: Гербель, Мей, Мин, Данилевский, не говоря уже об Аксакове, Михайлове, Аполлоне Григорьеве, Курочкине, чьи переводы печатаются и в наши дни. И уж об одной переводчице Шиллера, Каролине Павловой, надо сказать особо. Ее перевод «Смерти Валленштейна» так и остался непревзойденным.

За строками перевода — судьба. Детство в доме отца, профессора Яниша, блистательное домашнее воспитание, первые переводческие опыты — с русского на немецкий, французский. Перевела Пушкина, Баратынского, Вяземского, Языкова еще при них, при их жизни. Стихи друзей, с которыми встречалась в салоне Зинаиды Волконской.

«Я помню чудное мгновенье»:

Ein Augenblick ist mein gewesen
Da stand'st vor mir mit einem Mal,

Ein raschentfliegend Wunderwesen,
Der reinen Schönheit Ideal...

«Пророк»:

Steh'auf, Prophet! und schau, und höre!
Mein Wille lenke dich hinfort;
Umwandle Länder du und Meere,
Und zündend fall'ins Herz dein Wort!..

В 1832 году, когда ей было всего двадцать пять лет, ее переводы вышли отдельной книгой в Германии. Их успел прочесть и оценить Гёте, они привели в восторг Александра Гумбольдта. В предисловии она писала: «Я убеждена, что в метрическом переводе нельзя изменить стихотворные размеры подлинника без нарушения характера и физиономии стихотворения... Я льщу себя тем, что я ни в чем не отступила от подлинника и ни одно стихотворение не потеряло своего колорита и своего особого характера...» Урок переводчикам любых эпох.

В салоне Волконской Каролина Яниш влюбилась в Мицкевича. Блистательная, богатая дворянка и бедный, незнатный поляк. Они посвящали друг другу стихи. У них был общий кумир — Шиллер. Они решили обвенчаться. Были помолвлены. Они расстались, чтобы вскоре вернуться друг к другу. Они не встретились больше никогда. Помешало, как это часто бывает, случайное обстоятельство, случайные какие-то соображения, боязнь Каролины Карловны ущемить имущественные интересы какого-то своего дяди... В 1890 году, глубокой, восьмидесятитрехлетней старухой, она писала сыну Мицкевича, Владиславу: «Воспоминание об этой любви и доселе является счастьем для меня. Он мой, как и был моим когда-то...»

Она вышла замуж за писателя Николая Филипповича Павлова. Помним ли мы его? Его повести «Ятаган», «Именины» не кто иной, как сам Пушкин, назвал «первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обеде и сне». Известна ли нам повесть его собственной жизни?.. Павлов был бедный литератор, выходец из крепостных, сын вольноотпущенника. Женившись на Каролине Яниш, он быстро превратился в богатого московского барина. Через двадцать лет, в середине 50-х годов, Каролина Павлова порвала с мужем, покинула Россию.

В Германии Каролина Павлова переводила на русский язык немцев, на немецкий — русских. В частности, «Смерть Иоанна Грозного», «Царя Федора Иоанновича» Алексея Толстого. Ее переводы — чудо. Еще в начале ее переводческой деятельности Белинский призывал: «Подивитесь... этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных по крепости и по блеску поэтическому...»

Каролина Карловна Павлова умерла в 1893 году в Дрездене, в нищете, в забвении...

Из гущи, из варева жизни, из страстей, влечений, разрывов, мук, метаний, из политических и литературных привязанностей восстал *ее* Шиллер.

Чего не переносит человек?
От высших благ, как и от благ ничтожных,
Отвыкнуть он сумеет; верх над ним
Всесильное одерживает время...

В 1793 году студент Московского университета Николай Сандунов первым в России перевел шиллеровских «Разбойников». В «благородном университетском пансионе» в Москве студенты, распаленные событиями времени, разыгрывали пьесу в его переводе. Благодаря переводу Сандунова в университетах и в училищах в Петербурге и в Москве составлялись «братства освободителей человечества», которые «клялись преследовать злодейство и несправедливость». Впоследствии Сандунов стал сенатором, виднейшим профессором-криминалистом, проповедником духа законности и правосудия. Двери его московской квартиры были открыты для всех ищущих юридической защиты. Его называли оракулом Москвы.

Ни для одного из русских переводчиков встречи с Шиллером не прошли даром.

2

Шиллера я переводил по ночам в ванной комнате — единственном помещении в нашей квартире, где можно было курить. Шел 1952 год, трудное время. Но и в нашей семье, и в молодежной нашей компании трудностей старались как бы не замечать, родители от них горьковато отшучивались, Буба же властно стряхивала с меня приступы уныния. У нас было двое еще совсем маленьких, горячо любимых нами детей: смысл жизни, источник счастья. Мы любили друг друга.

В доме всегда было многолюдно: родственники, друзья родителей, наши друзья. Сретенка, начало Печатникова переулка, самый центр Москвы, квартира на первом этаже — удобное место, чтобы по пути забежать, даже не снимая пальто, обменяться новостями, мыслями, иногда отнюдь не веселыми. Однако никто не хныкал, выручала ирония, еще больше — чувство взаимного доверия, привязанности друг к другу.

Моими ближайшими друзьями в то время были молодые литераторы, уже успевшие выбиться в люди. Более всех преуспел Юрий Трифонов, получивший за первый свой роман («Студенты») Сталинскую премию — честь по тогдашним понятиям огромная. Еще совсем недавно неприкаянный бедный студент, живший на иждивении бабушки, он вдруг купил автомобиль, отстроил загородную квартиру, женился на певице Большого театра...

Все, что писал Трифонов еще в студенческие годы, вызывало во мне уважение. Я был убежден, что он настоящий писатель, то есть владеет тайной письма, ему повинуется слово, предрекал ему большое будущее. И вот он стал знаменитостью. Его роман читали все, самого Трифонова по фотографиям в газетах на улице узнавали прохожие.

Молодой Евгений Винокуров тоже был по-своему знаменит. О нем в журнале «Смена» лестно отозвался Илья Эренбург: «Кажется, одним поэтом стало больше». Первый сборник Винокурова «Стихи о долге» соответствовал своему типичному для тех лет названию. В коротких, суровых стихах жило выстраданное за войну ощущение реальности: долг перед истиной, до которой поэт доходил неторопливо, вдумчиво, по нехоженым тропам.

Иосиф Дик прославился книжкой для детей «Золотая рыбка». Он был человек почти легендарный: потерял на войне глаз, кисти рук, но не сдался — смастерил себе приспособление для письма, для печатания на пишущей машинке, вскоре научился водить автомобиль. Он обладал каким-то необычайно напористым, шумным оптимизмом. Иосифа Дика я называл своей золотой рыбкой. Он познакомил меня со своей сестрой, той, которая стала моей Бубой. Но еще до этого он первый подхватил мои переводы, потащил их куда-то в еще неведомые мне издательства, редакции, шумно хвалил, возился чуть ли не с каждой моей строкой, рассказывал обо мне где только мог, сводил с писателями, старался ввести в литературу. Его собственные первые рассказы были трогательны, целомудренны и правдивы.

Чуть позднее к нашему кругу примкнули молодые поэтессы Ирина Снегова и Елена Николаевская, с которыми я сроднился потом на всю жизнь.

Вспоминая то время, я не могу не сказать о моем школьном друге Алексее Светлаеве, молодом враче. Он был типичный московский парень с какой-нибудь Сретенки, Петровки, Малой Бронной, Арбата, красивый, отважный, бесшабашный, остроумный, чуть хулиганистый. Именно такого типа ребята почти все погибли в войну, и, когда Винокуров впоследствии написал свое стихотворение «Сережка с Малой Бронной» о погибших московских мальчишках, он, по собственному признанию, видел перед собой Лешку.

Частым посетителем нашего дома был и уличный букинист Блок, как мы его называли, дитя города. Он приносил редкие книги, которые легли в основу наших библиотек. Но не менее ценными были его рассказы о публике, среди которой он вращался: о завсегдатаях ипподрома, бильярдной в Сокольниках, о подпольных дельцах, игроках в «железку», барыгах — никто так хорошо не знал мир московских подъездов и подворотен, как он. Блок обогатил нас множеством словечек и оборотов, которые можно обнаружить в трифоновских московских повестях, например в «Обмене», да и я в некоторые свои переводы, в том числе и в «Лагерь Валленштейна», ухитрился вставить заимствованное у Блока то или иное словцо.

Почти все мы, кто сходился тогда в нашем доме, так или иначе были обожжены своим временем и войной. В нашей среде почти не было людей изнеженных, избалованных домашним благополучием, закормленных. Мы были молоды, но у каждого из нас уже была за плечами жизнь. Испытания не искалечили нас, а сде-

лали взрослее, серьезнее, строже к себе и другим. И в то же время беспечнее.

Мне льстило, что мои друзья меня признают, я любил их, гордился ими, но и сам не хотел от них отставать, тоже хотел преуспеть, пусть в своем жанре. При этом я старался для Бубы: она была по-своему тщеславна, и ее огорчило бы, если бы ее муж прослыл заурядностью. То, что мне доверили переводить самого Шиллера, было для нее истинной радостью.

Вот в это-то время, в этом вот кругу я и перевел ранние стихи Шиллера — «Колесницу Венеры», «Мужицкую серенаду», «Вытрезвление Бахуса» (два последних стихотворения были моим литературным открытием, до меня их на русский язык не переводили). Для многих это был какой-то новый, неведомый им прежде Шиллер. Грубоватый, простонародный, сын бедного лейтенанта и дочери владельца маленькой марбахской гостиницы «Золотой лев».

Дура, выгляни в окно!
Ах, себе не жалко?
Я молил, я плакал, но —
Здесь вернее палка.
Иль я попросту дурак,
Чтоб всю ночь срамиться так
Перед целым светом?
Ноют руки, стынет кровь,—
Распроклятая любовь
Виновата в этом!
Дождь и гром, в глазах черно.
Стерва, выгляни в окно!..

Впервые эти переводы были опубликованы в журнале «Новый мир», а потом стали входить во все русские издания Шиллера...

К моему Шиллеру приглядывались поэты Антокольский, Маршак. Винокуров поразился шиллеровскому стремлению и умению с самых разных сторон и под разными углами зрения рассматривать, осмыслять субстанции, предметы, явления, поворачивать их разными гранями («Достоинство мужчины», «Колесница Венеры»). Не без гордости молодой поэт говорил: «На меня повлиял Шиллер!»

Благодаря новым публикациям, среди которых я бы прежде всего назвал переводы Левика и Заболоцкого, Шиллер по-русски вновь зажил, а на сцене МХАТа в переводе Пастернака была поставлена «Мария Стюарт» — яркое событие в тусклой московской театральной жизни 50-х годов, особенно благодаря игре Аллы Тарасовой.

Сколько нужно отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Эти пастернаковские строки, посвященные Марии Стюарт — Тарасовой, всегда мне приходят на память, когда я думаю о прологе к «Валленштейну», читанном на открытии вновь отстроенного Веймарского театра в октябре 1798 года:

Ведь исчезает сразу, без следа
Чудесное творение актера,
В то время как скульптура или песнь
На сотни лет творцов переживают.
С актером вместе труд его умрет,
Подобно звуку, ускользнет мгновенье,
В котором он являл нам гений свой...
Поэтому он должен дорожить
Минутою, ему принадлежащей,
Всем существом проникнуть в современность,
Сродниться с ней и в благодарных душах
Создать при жизни памятник себе.
Тем самым он в грядущее войдет...

Русские актеры в XIX веке Шиллера играли совсем по-иному, чем немецкие. Те декламировали, холодно, неумолимо, торжественно, строго несли в зал высокую шиллеровскую мысль. Русские же себя наизнанку выворачивали, рыдали в Шиллере, весь мир несправедливости готовы были Шиллером потрясти, весь лед растопить жаркой слезой.

Мы не видели «игравших на века» на русской сцене Мочалова, Яковлева, Каратыгина, Самойлова, Яворскую, Ермолову, Яблочкину, Остужева, мы родились слишком поздно, но и до нас долетают их голоса, их внутренний жар. Они дорожили принадлежавшей им минутой...

«Лагерь Валленштейна» достался мне случайно, как в театре молодому актеру случайно достается ведущая роль ввиду внезапной болезни прославленного исполнителя. В последний момент, незадолго до сдачи однотомника в производство, от работы над «Лагерем» отказался Михаил Зенкевич. Стали срочно искать замену, никого не нашли, рискнули обратиться ко мне, хотя в моем «перечне произведений» значилось лишь несколько поэтов ГДР и переводы по подстрочнику с татарского языка и с армянского.

Как ни странно, переводы с армянского сослужили мне в работе над «Лагерем Валленштейна» полезную службу. Дело в том, что осенью 1951 года я, совсем еще молодой переводчик, был великодушно включен в бригаду поэтов, которой в Ереване предстояло готовить материалы — то есть книги, циклы стихов и пр.— для очередной декады армянской литературы и искусства; подобные декады всех союзных республик проводились тогда в Москве с необычайной пышностью.

В нашу поэтическую группу входили Илья Сельвинский, Вера Звягинцева, Татьяна Спендиарова, Сергей Шервинский, Ирина Снегова, потом нагрянула шумная, безалаберная ватага обработчиков подстрочной прозы.

Жили хмельно, весело, сдружились с армянскими поэтами,

легко изготовляли из сыроватых подстрочников русские вирши. На мою долю выпали сатирические басни, где нужны были игра слов, каламбуры, сочная лексика. Это была хорошая школа. Сам того не сознавая, я набирался опыта для передачи просторечий, смачного словесного озорства, ритмической раскованности.

«Лагерь Валленштейна» раньше переводил Лев Мей — его перевод, сделанный в XIX веке, высоко оцененный тогдашней критикой, считался теперь устаревшим. Возможно, талантливый перевод Мея спасет редактура — осовременят лексику, устранят не всегда уместные русицизмы («Батька, смотри — не случилось бы худа...», «Князь он, а л ь нету? А л и чеканить не может монету?..», «На поле, на воле ждет доля меня...» и т. д.). В. Зоргенфрей перевел «Лагерь», может быть, слишком педантично, но зато безукоризненно точно.

В состязание со своими предшественниками я вступал, опираясь на то, что уже было ими достигнуто. Иное непонятное мне в подлиннике место можно было прояснить, заглянув в Мея или Зоргенфрея.

В чем же заключалась моя задача?

Передо мной было живописное массовое действо, был полюбившийся мне раешный стих «книттельферз», была многоголосица войска: гогот, рев, брань, стон, жалоба... Сам вышедший недавно из солдатской среды, я мог, пожалуй, передать это достаточно живо. В знаменитом монологе капуцина, отмеченном у нас и Толстым, и Тургеневым, перемешались пророчества и каламбуры, латынь и похабщина. Сумбурное, вздыбленное, барочное время. Я чувствовал, что, опираясь на шиллеровский текст, одолеваю своих предшественников.

Целомудренного Мея:

То-то не очень-то глотку дери,
Чаще молися: помилуй, Создатель!
Нежели вскрикивай: черт побери!

Корректного Зоргенфрея:

Рот-то разинуть — должен сказать я —
Так же легко для «господи спаси!»,
Как и для «дьявол тебя разрази!»...

Я вколачивал:

Ведь как будто ничуть не трудней сказать:
«С нами божья матерь!», чем «В бога мать!»...

Радовался: у меня крепче!

Главное, однако, состояло в другом. В том, чтобы пробиться к персонажам, различить в гигантской солдатской массе лица, характеры, судьбы. Шиллер внушал: надо всех их понять, не возвышаться над ними. Сочувствовать. Каждый здесь, в этой одичавшей, свирепой толпе, несчастен по-своему. Всем худо. Все неприкаяны. Всех гонит «страшенная сила» — метла войны. Каждый

заслуживает снисхождения. «Жаль их, они неплохие ребята...» «Видит бог, горемычная жизнь у нас...» Не для нас золотые колосья шумят, бесприютен на свете солдат...» Такие реплики для меня в пьесе дороже всего.

Эх, парень! Дурные пошли времена...

Вот в чем, на мой взгляд, таился ключ к пониманию ландскнехтов, которых слепая жажда свободы привела к Валленштейну: вахмистра, кирасир, аркебузиров, стрелков, рекрута. Смягчающие обстоятельства изыскивались и для шулера-крестьянина, в свою очередь обворованного солдатней, и для старого пройдохи, бродячего миссионера-капуцина, да и для самого герцога Валленштейна.

Опутанный приязнью и враждой,
В истории проходит этот образ.
Но долг искусства — к взорам и сердцам,
Как человека, вновь его приблизить.
Оно, храня во всем и связь и меру,
Все крайности приводит к правде жизни
И в гуще жизни видит человека,
И потому на мрачные созвездья
Оно слагает главную вину...

«Мрачные созвездья» — объективный ход истории — это то, что стоит над осознанными поступками людей, которые «в гуще жизни», в повседневности, разумеется, несут ответственность за свои действия, но оправданы могут быть (то есть поняты, по принципу: понять — простить) одним лишь искусством.

Не смеет повседневность
И не должна глумиться над искусством!..

Так шло время, шел к концу год 1952-й, бедный внешними событиями, полный предощущений перемен. В тишине прокуренной ванной комнаты в квартире в Печатниковом переулке я чуть ли не круглыми сутками изо дня в день общался с Шиллером.

И однажды, на раннем рассвете, грянула заключительная песнь всадников:

Друзья! На коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем!
Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим.
И нет там заступников ни у кого,
Там каждый стоит за себя самого...

Я понял, что в моей жизни произошло нечто большее, чем завершение крупной литературной работы: я прошел еще одну школу.

3

В ноябре 1959 года в составе делегации Союза писателей я попал на двухсотлетие Шиллера в Веймар.

Веймар был в гирляндах, флажках, в бесчисленных портретах

Шиллера, на голубых транспарантах белели даты: 1759—1959. В гостинице «Элефант» кельнеры в белых перчатках подавали меню: на лицевой стороне знаменитый профиль, на обороте перечень блюд... Каждый приехавший в город мог вообразить себя гостем Шиллера. Вечером в глубине его дома, во всех окнах запылали зажженные свечи. Казалось, там идет торжество, стоит только войти... Во дворе герцога заседала Академия искусств. В театре давали «Дон Карлоса». Над городом плыли мелодии: увертюра к «Эгмонту», финал 9-й симфонии — «Обнимитесь, миллионы!». Улицы были запружены народом: на торжество приехали делегаты из шестнадцати стран, всех округов ГДР.

В театре я посмотрел «Валленштейна» — всю трилогию за один вечер. «Лагерь» показался мне решенным удивительно верно: натиск, напор, человечность. Безбородый капуцин произносил свой монолог не только темпераментно, но и с горьким сарказмом. В громком солдатском хохоте, которым встречались его каламбуры, звучало скрытое сочувствие.

Финал — «Песнь всадников» — таил в себе трагедийность.

Люди, которым уже нечего было терять и не на что надеяться, ставили на кон последнее: жизнь. Сидя верхом на деревянных скамейках, притопывая сапогами, они скандировали:

Ставь жизнь свою на кон в игре боевой —
И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!..

Но были ли они убеждены в том, что выиграют?..

Ранним утром 10 ноября к площади перед Веймарским театром, которым некогда руководил Гёте, для которого писал Шиллер и в котором в 1918 году провозгласили Веймарскую республику, потянулись, обнажив головы, делегации с венками.

Пахло торфом, сигарами, химией — то был запах Германии; Гёте и Шиллер стояли, окутанные утренними дымками, взявшись за руки, в бронзовых, позеленевших камзолах, в позеленевших тупоносых бронзовых туфлях с большими пряжками. Я смотрел на них, и меня охватывало странное чувство причастности к ним — через стихи, через кровь, которая переливается из строк в строки, пугающее чувство о б щ н о с т и с чем-то беспредельным.

Уже на склоне лет я понял, из чего возникло это чувство. Оно возникло из ощущения всевластия перевода, его, только ему присущей способности раздвигать или передвигать время. Попробуйте по-русски написать поэму в манере «Медного всадника», точно имитирующую пушкинскую образность, лексику, мелодию его стиха, и вы не создадите ничего, кроме эпигонского мертвого сочинения или пародии. Но переведите того же «Медного всадника» на другой язык, и слово оживет в своей первозданной силе. Архаизмы придадут поэме свежесть и новизну, устаревшая форма — благородную прочность, и то, что на языке подлинника удручало бы подражательностью, в переводе блеснет, как первооткрытие. Можно ли по-немецки создать роман в стиле «Вертера» или пьесу, р а в н у ю (не по силе, а по словесному и драматургическому ма-

териалу) трагедиям Шиллера? Но приходит Пастернак, и «Мария Стюарт» волей переводчика несет вам достовернейший потрясающий шиллеровский текст, а в «Вильгельме Мейстере» и «Вертере», переведенном в наши дни Касаткиной, благоухает живой XVIII век!.

На ступеньках перед памятником школьники пели хорал, невидимый оркестр играл Баха. Затем процессия двинулась на городское кладбище. По обе стороны аллеи, ведущей к часовне, в подземелье которой важно покоятся в своих саркофагах Гёте и Шиллер, склонив факелы, стояли факельщики. Бил колокол — кто бы мог не вспомнить сейчас «Песню о колоколе»?

Впервые я приобщался к немецкому церемониалу.

В тот же день в театре состоялось торжественное заседание. Помню, меня поразило отсутствие так называемого президиума. На сцене, утопая в цветах, стоял огромный бюст Шиллера, чуть поодаль от него — трибуна.

Один за другим поднимались ораторы. Директор Института мировой литературы в Москве. Болгарский ученый. Профессор Сорбонны. Писатель-коммунист из Нидерландов. Румынская переводчица. Итальянский исследователь. Польский драматург. Председатель Союза писателей Чехословакии.

Все говорили примерно одно и то же: Шиллер — певец свободы, Шиллер и социализм, Шиллер и мы, Шиллер жив, его ставят, издают, переводят, массовые тиражи...

Молодой китайский профессор рассказывал, что в Китае популярны «Разбойники», «Коварство и любовь» и что «Валленштейна» перевел Го Мо-жо.

С того последнего шиллеровского юбилея пролетел двадцать один год. Пути истории, людей, самого Шиллера оказались неисповедимыми.

Торжества заканчивались большим правительственным приемом. Играл оркестр. Кельнеры, одетые поварами, в высоких поварских колпаках, разносили изысканные блюда. Произносились тосты. За бессмертие Шиллера. За братство.

Меня подтолкнули под локоть, я оказался перед советским послом Первухиным. Мне надлежало вручить ему сборник немецких народных баллад с дарственной надписью для передачи Ульбрихту. Первухин полистал книжку, взглянул на гравюры: «Хорошо подано...» Потом подвел меня к Вальтеру Ульбрихту, который как раз в эту минуту о чем-то говорил с австрийским поэтом и переводчиком Гуппертом. К Ульбрихту тот обращался на «ты»... Ульбрихт взял мой подарок, поблагодарил и, пожав мне руку, сказал низким, хрипловатым голосом:

— В Веймаре жизнь не изучишь. Поезжайте в село, на стройки социалистических городов... Дух Шиллера — там...

С тех пор я много раз бывал в Веймаре, однажды в связи с переводом стихотворения Гёте «На смерть Мидинга», декоратора Веймарского театра, которого Гёте уравнял в праве на бессмертие с самыми выдающимися мастерами сцены: «Он ремесло с искусст-

вом примирил». Словно предвосхищая изречение Станиславского или Немировича-Данченко: «Театр начинается с вешалки», Гёте показал скрытую от зрительских глаз внутреннюю жизнь «Дома Талии», с его всегда праздничной дневной суетой, где все — от театрального плотника и костюмера до актеров и драматурга — вовлечены в единую игру-работу, поддерживая и вдохновляя друг друга.

Сумев своим искусством овладеть,
Служитель сцены должен все уметь.
Случается: сам автор до зари
Тайком от прочих чистит фонари...

Кончина Мидинга, видимо, повергла в подлинную скорбь если не веймарское общество, то, во всяком случае, Веймарский театр. Из стихотворения Гёте встает образ Мидинга — труженика сцены, бескорыстно преданного искусству, неутомимого в своей изобретательности и трудолюбии. Мы так и видим его, этого терзаемого постоянным кашлем, коликами и прочими недугами человека то возводящим декорации, то измышляющим диковинные звуковые эффекты, технические новшества, то застаем его в хлопотах в последнюю минуту перед поднятием занавеса.

Партер уж полон... Вот смолкает гул.
Вот дирижер уж палочкой взмахнул,
А он там где-то на колосниках
Еще хлопочет с молотком в руках,
Чтоб что-то прикрепить и подтянуть,
И не страшится сверзнуться ничуть...

С трепетным чувством держал я переписанный от руки, с завитушками и виньетками, текст гётевского стихотворения. Это было факсимиле из распространяемого в одиннадцати-двенадцати экземплярах рукописного альманаха, о котором его создатели сообщали: «...составилось общество ученых, художников, поэтов и государственных деятелей обоего пола, и оно вознамерилось представить в периодическом издании на обозрение заинтересованной публики все примечательное по части политики, остресловия, таланта и ума, что рождает наше столь диковинное время...»

Виланд, Гёте, Гердер. Повеса герцог. Первое блистательное веймарское десятилетие...

Мидинг умер в 1782 году.

Сохранились изображения декораций. Мидинг изготовлял пещеры, деревья, листву, скалы. Гёте называл его «директор природы».

Я читал заметки Мидинга к постановке «Севильского цирюльника»:

«...балкон с погнутою железною подпоркою, одно окно за балконом, перила, покрашенные наподобие железа, притом позолоченные, а также камень для изображения цоколя, кулиса, задник, изображающий окно, высотой 6 локтей и шириной в 2 локтя...»

Для постановки гётевских «Совиновинков» он просил «занавес из кармазина в 30 локтей с кольцами».

Он придумывал красочные декорации для «Ярмарки в Плундерсвейлерпе».

По захолустной, одноэтажной, горбатой Якобсштрассе я направился на кладбище. За низким забором виднелась пышная кладбищенская зелень: громадные, могучие каштаны. Это было старинное кладбище Якобсфрихоф — несколько уцелевших могил. Неподалеку от выложенной белой брусчаткой центральной аллеи я отыскал невысокий, из светло-серого камня памятник Иоганну Мартину Мидингу.

Значит, вот где это было. Вот где теснились в тот февральский день 1782 года люди, пришедшие проводить бедного Мидинга, когда, раздвигая толпу плачущих актеров, с большим венком из роз, гвоздик и тюльпанов, увитых черною лентой, к свежевырытой могиле подошла к гробу великая актриса Корона Шретер:

«...Горестно скорбя,
Усопший брат, благодарим тебя!..»

Гёте описал церемонию погребения Мидинга во всех подробностях, как бы напоминая, что и похороны — часть размеренного человеческого бытия, а посему и в самой печальной этой процедуре есть нечто примиряющее нас с ходом жизни.

А потом, много лет спустя, в беззвездную майскую ночь 1805 года на это же кладбище по вымершим улицам Веймара, по Эспланаде, через рыночную площадь несколько усталых людей несли дешевый, грубо сколоченный гроб с останками Шиллера. На другой день состоялось торжественное отпевание. Гёте на нем не было: болезнь приковала его к постели. По крайней мере сутки от него скрывали смерть друга.

В герцогский склеп на главном городском кладбище прах Шиллера поместили в 1827 году.

4

Почему же мысли кладбищенские, почему печаль, почему не пуншевая песня?.. Пунш изготовляют из вина, чая, лимонного сока и сахара. Кажется, она добавила еще толченую гвоздику. Она сварила пунш, мы зажгли свечи, и я читал ей «Пуншевую песню» Шиллера, где рецепт приготовления пунша дан настолько точный, что его можно было бы напечатать в поваренной книге. Но Шиллер писал о «четырех элементах», внутренней связью которых держится мир, а в «Пуншевой песне для севера» объяснил, что человек силой своей воли, то есть **искусством**, способен сотворять то, в чем ему отказала природа...

Итак, она варила пунш и из чайника разливала его по маленьким чашечкам. Мы были наконец вместе, я смотрел на нее и с ужасом думал о том, как я сейчас счастлив. Давно уже и не раз испытывал я то самое чувство страха перед счастьем, которое внушил еще шиллеровскому Поликрату его многоопытный и предусмотрительный гость:

Судьба и в милостях мздоимец:
Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?..

Но впервые об этом узнал на себе Бедный Генрих — герой одноименной средневековой поэмы Гартмана фон Ауэ... Моя собственная жизнь оказалась связанной с ним необъяснимо страшно. Было это в 1971 году, когда я начал переводить «Бедного Генриха» — поэму о молодом, удачливом и процветающем швабском рыцаре, внезапно заболевшем проказой. Помню, как меня поразила тогда самая мысль о внезапности несчастья, которое подло врывается на самый пир жизни, в лучшие часы, посреди удачи и благополучия. Вцепившись в жертву, злой рок уже и не отпускает ее, а все ниже пригибает к земле, словно испытывая крепость нашего духа. Покориться судьбе или противиться? А если противиться, то какою ценой? Какой способ считать дозволенным?.. Рассуждать об этом вчуже и переводить прекрасную поэму было приятным занятием, но когда на строчке: «Средь жизни мы в лапах у смерти» — внезапно умер близкий мне человек, я содрогнулся... Что-то оборвалось, что-то кончилось.

Образ Бедного Генриха преследовал меня. В чем нравственная вина этого человека, который был наделен всеми мыслимыми добродетелями, красотой, талантом? Не в том ли, что свое благополучие, успехи, наконец, возможность весело и безо всякого для себя ущерба делать добро он счел нормой, своим естественным правом?..

В мой еще недавно шумный, обжитой дом, опустошая его, одна за другой врывались утраты. Не осталось ничего, кроме страниц этой книги. Кроме дороги к Шиллеру...

Осенью 1979 года мне предоставилась возможность посетить его родину — Марбах.

Мы выехали из Нюрнберга, спускаясь к Марбаху по виноградным дорогам Франконии и Швабии, через Ансбах, через Швебиш-Халль. В окружении рыжих лесов высился на горе белый замок.

Примерно в этих местах развертывалось действие «Бедного Генриха», и я представил себе, как, заболев, Генрих выполз из своего замка.

Вид его, как и у всех прокаженных, был, наверно, ужасен. Выпавшие волосы, одутловатое, бугристое лицо, квадратный подбородок. Быть может, он был в одежде, которую в средние века заставляли носить заболевших проказой: черного цвета плащ с белыми нашивками на груди, шляпа с белой тесьмой. В руках он должен был держать трещотку, с помощью которой извещать о своем приближении.

Была, возможно, такая же осень. Среди тишины пылали деревья. Перекатываясь, шуршали опавшие листья. Он шел пустынной дорогой без оруженосцев, без свиты.

Многие помнят сюжет поэмы: Бедного Генриха решилась спасти простая крестьянская девочка ценой собственной жизни, от-

дав ему свою кровь. Генрих устоял перед искушением. Он заслонил девочку от занесенного над ней ножа. Он успел привязаться к ней и к ее несчастным родителям, в доме которых нашел приют. В этот миг к нему пришло исцеление, господь явил чудо — «проказа с Генриха сползла».

Выше собственного страдания — долг перед другими. Обретение высшей нравственной красоты и есть очищение от проказы. Для Генриха путь к исцелению начался с той минуты, когда он, выйдя за пределы своего замка, соприкоснулся со множеством неведомых ему прежде жизней.

Но исцеления ждала и девочка. От влечения к смерти, от страха перед жизнью, который толкал ее под нож. Об этом почему-то никогда не пишут исследователи. Их умиляет самоотверженность. Но как для Генриха, так и для девочки исцеление от страха внутри себя также состояло в познании чужой беды, в стремлении и готовности взять чужую беду на себя...

Мы въезжали в Марбах. Дорога круто шла в гору. Улицы носили имена классиков: Уланда, Мерике, Гёльдерлина. Мы решили, что дом Шиллера находится наверху, на Холме Шиллера, куда сейчас, в этот воскресный вечер, вереницей тянулись машины и группами шли празднично одетые люди. Но на Холме Шиллера стоял не его дом, а современное, клубного типа строение, где сегодня должны были торжественно вручать свидетельства выпускникам ремесленных училищ Марбаха, и все эти, встречаемые нами люди были автомеханики, слесари, кузнецы, столяры — мастера...

Так начинался для меня Марбах, и я вновь вспомнил «Песню о колоколе», где каждый этап литья колокола, каждая ступень мастерства, соответствует определенному этапу человеческой жизни.

Нет, Марбах не показался мне провинциальным захолустьем. Тихий, чинный, ремесленный, он производил самое отрадное впечатление. Может быть, как раз такой город и должен был дать Шиллера с его изначально-народными представлениями о порядочности, трудолюбии, набожности, с отвращением к хаосу и беспутству.

Фахверковый дом с мезонином в старой части города лепился к другим подобным домам, но именно здесь, а не в другом каком-либо доме родился Шиллер. Именно отсюда двинулось в жизнь явление Шиллера.

Откуда он взялся? Каким был? Что вынес в мир из этих, теперь пустых комнат, которые были когда-то спальней, детской, гостиной? Что могут подсказать эти бедные, с превеликими, наверно, усилиями собранные экспонаты: косынка матери, обручальное кольцо, атласные панталоны Шиллера, жилет, трость, кожаная шапка? Его белесый локон?..

Наверно, он говорил на швабском диалекте, у него, очевидно, было отчетливое швабское произношение, как и у всех здесь, в Марбахе. Он был настоящий шваб и гордился этим, как гордился

своим швабством Гартман фон Ауэ. «Щит и опора слабым — недаром был он швабом» («Бедный Генрих»). «Немало их у нас в краю, кто в мире добр и тверд в бою, кто в Швабии возрос» (Шиллер).

Он выходил из дома, поднимался чуть в гору, к церкви.

Быт впитывался в него...

Мы прошлись по главной улице, где, разумеется, был ресторан «Шиллерхоф», мимо сувенирных лавок, где, разумеется, продавали гипсовые бюсты Шиллера, Гёте, а также Баха и Элвиса Пресли, и остановились на ночлег в пансионе госпожи Эльзы Бек, на улице Мюльверг, в комнате с видом на Некар.

Незадолго до этого в доме Шиллера мы, быть может непроизвольно, совершили некую церемонию, некий обряд. После того как я в книге для посетителей расписался — «...переводчик Шиллера из Москвы», она, то ли из озорства, то ли повинуясь внезапному порыву, строкой ниже написала свое имя, приставив к нему мою фамилию.

На следующий день мы уезжали из Марбаха. В рыжей Швабии все дышало осенним изобилием. Чуть ли не каждая деревня выносила яблоки, крупные, как маленькие дыни, молодое вино, горячие пироги с луком. По обочинам дороги стояли деревья, на них, круглые, литые, будто отполированные, пылали ярко-красные яблоки. Казалось, не видел я красивей мест, чем эти. Не видел столь пышной, щедрой в своем великолепии осени. На всем лежал к тому же еще какой-то декоративный оранжевый свет вечернего солнца. Словно кто-то специально устроил это представление, этот Осенний Праздник.

Мы ехали, идиллически настроенные, по той же дороге, по которой, встречаемый ликующими поселянами, возвращался в Швабию из своих скитаний бедный счастливый Генрих.

Явился в каждый швабский дом
Желанный праздник...

Генрих был вознагражден за все им пережитые муки. Он вновь обрел здоровье, почет, богатство, но жить стал иначе — «достойней, чище, строже». Разумеется, он обручился со своей спасительницей. Счастливейший из финалов!

Священники их обвенчали.
И до старости, без печали,
В согласье свои они прожили дни,
И в небесное царство вступили они...

Как не вздохнуть:

Пусть и нам дарует господь эту участь,
Мирно жить, умирать не мучась...

То было состояние духа, которое выше самого счастья: всеобъемлющая, всесвязующая, всепримиряющая радость...

Стихотворение «К радости» Шиллер написал в Лейпциге в 1785 году: он все больше сближался с кружком Кёрнера, обретал

друзей и, предавшись радушному настроению, сочинил длинные стихи, которые сам потом счел настолько неудачными, что не включил их даже в первое собрание своих стихотворений. В письме тому же Кёрнеру в 1790 году он иронизировал: «Радость», на мой нынешний взгляд, совсем плоха... Но так как я сделал ею уступку дурному вкусу... то она и удостоилась чести стать некоторым образом народным стихотворением...»

Между тем Бетховен в течение тридцати лет мечтал «положить на музыку песнь бессмертного Шиллера», что ему в конце концов и удалось: гимн «К радости», став финалом 9-й симфонии, сделался как бы общепризнанным гимном человечества.

Обнимитесь, миллионы!..

Дивная искра божества, дочь Элизиума, Радость сплачивает людей в единую семью братьев, знаменует собой любовь, мир и прощение.

Семнадцать раз, начиная с Карамзина, переводили на русский язык этот гимн, однако полностью слиться с Шиллером не удалось никому.

Пытался переводить песнь «К радости» и я. Не смог.

А ее имя из книги посетителей дома Шиллера вычеркнул через полгода ее друг...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ

1

В 1955 году я переводил стихи к роману Фейхтвангера «Гойя». Намечалось его издание.

В 1957 году, в связи с празднованием сорокалетия Октябрьской революции, редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к зарубежным писателям с просьбой высказаться о великой дате.

Фейхтвангер прислал стихотворение «Песня павших», сопроводив его следующими строками:

«Эти стихи я написал и обнародовал во время первой мировой войны, за два года до Октябрьской революции. Ныне, когда революция уже победила и доказала сорокалетием своего существования, что она изменила облик мира на века, строки эти кажутся мне глубоко обоснованными: мертвые пали не зря, и ожидания их были не напрасны...»

«Песню павших» я переводил по машинописному, присланному Фейхтвангером тексту:

Мы здесь лежим, желты, как воск.
Нам черви высосали мозг...

Каким-то образом моя жизнь оказалась связанной и с Фейхтвангером...

Книга Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» была первым немецким романом, прочитанным мною в подлиннике. В школе, в старших классах, на уроках немецкого мы пробовали читать выходивший в Москве журнал «Дас ворт». Его редакторами значились Фейхтвангер, Бредель и Брехт. От журнала шли на нас волны немецкого языка: стихи Бехера, Вайнерта, проза Стефана Цвейга. Однажды в журнале «Дас ворт» я увидел стихотворение со странным названием «Мышиная баллада», странно подписанное: «Куба»...

Немецкий язык был тогда в Москве популярен. Это был как бы язык антифашизма, язык Коминтерна, язык Красного Веддинга и Флорисдорфа. В школах его изучали больше, чем какой-либо другой иностранный язык... Волны немецкого языка шли и от песен молодого певца-ротфронтовца Эрнста Буша — он пел их в Москве перед тем, как отправиться в Испанию, в интербригаде, на фронт.

Примечательно, что тогда мало кто из нас думал о том, что на этом же языке произносит свои речи Гитлер...

Но впервые живой разговорный немецкий язык (не домашний, не школьный, а «прямо из Германии») я услышал в кинофильмах «Петер», «Маленькая мама» и «Катерина», в которых играла артистка Франческа Гааль.

Тогда я не подозревал, что говорит она по-немецки с венгерским, а еще точнее — с пештским акцентом, что артистка она вовсе не немецкая, а венгерская, и в будапештском «Веселом театре» успешно выступила в ролях Элизы Дулитл в «Пигмалионе», Полли в «Трехгрошовой опере» и Ани в «Вишневом саде». В начале же 30-х годов, благодаря фильму «Паприка», она стала звездой экрана.

Ничего я этого, конечно, не знал, когда на фасаде кинотеатра «Форум» вдруг увидел ослепившую меня из кусков зеркальных стекол рекламу, а потом, попав в зал, обмер — на экране появилась переодетая мальчиком девочка и запела: «Хорошо, когда удач не счесть, хорошо, когда работа есть...»

«Петер» ошеломил Москву. В течение ближайших пяти-шести лет миллионы зрителей «Петера» и «Маленькой мамы» рухнули в бездонные пропасти, погибли в муках, в огне, во мгле. Но это было потом, а в 1935—1936 годах светилась на экране маленькая фигурка и люди напевали танго из «Петера» и наслаждались полуторачасовой негой.

Европа двигалась к пропасти в ритме танго...

В детстве, в школьные годы, у меня были тайные от всех игры. Сначала я сам с собой или сам для себя играл в суд, печатал на пишущей машинке грозные определения, приговоры, обвинительные заключения с беспощадной до замирания сердца подписью: «Верховный прокурор СССР» — дальше шел росчерк — какая-нибудь выдуманная фамилия.

Один из таких «секретных документов» я случайно обронил в школе. Бумагу нашли, отнесли к перепуганному директору, он тут же вызвал моего отца. Они разговаривали долго, при закрытых дверях: дело могло принять серьезный оборот, попахивало «политическим хулиганством», «дискредитацией», чем-то еще... Отец рассказывал, что защищал меня так: «Дети врачей играют во врачей, дети юристов — в юристов. Это ведь так понятно...» Может быть, директор согласился с этим аргументом, все обошлось, но случай с «документом» запомнился.

Другой тайной игрой была игра в отметки. Все предметы: литература, история, химия, алгебра — считались участками фронта. Каждый участок имел своего командующего. Я придумывал для них фамилии, имена, рисовал их изображения. Самым выдающимся командующим был некто Васильев, с пышными усами, с густой, расчесанной надвое шевелюрой: нечто вроде наркома из старых питерских рабочих. Он отличался успехами в литературе, добиваясь побед в виде «отлов», поэтому я перебрасывал его на самые трудные участки. Если погибала химия, он возглавлял химический фронт, если геометрия — геометрический, и он — как ни странно! — спасал, вытягивал, хотя бы на «уд». Помню еще одного, с какой-то нелепой фамилией Меерверт — спокойное, холодное лицо. Он ведал в меру сложной ботаникой, завоевывал неизменные «хор», на большее и не претендовал. Я его так и не повышал в должности и лишь однажды поставил на слабый участок — на черчение. Он и там принес мне «хор», после чего вернулся на свою ботанику...

Недавно я просмотрел подшивки газет за те годы: фотографии снятых при ярком солнце танкистов в шлемах, пограничников, летчиков, мужественные лица наркомов и командармов...

Мать моя купила пишущую машинку «Монарх», на двери дома появилась вывеска: «Переписка на пишущей машинке». В дом повалили посетители, главным образом люди, посылавшиеся из расположенной неподалеку юридической консультации. Приходили жалобщики, адвокаты. Один, откинув назад голову с львиной гривой, расхаживал широкими шагами по кабинету, певуче диктовал: «Кассационная жалоба». Из клиентов матери помню поэта-графомана, белокурого молодого человека. Он писал лирические поэмы. Другой поэт, болезненно влюбленный в Пушкина, знавший все его стихи наизусть, считавший Пушкина самым гениальным человеком всех времен и народов, диктовал такие, запомнившиеся мне строки для стенной газеты к 8 Марта: «Раньше женщина в загоне жила целый век, а теперь она с мужчиной — равноправный человек».

Мои родители не принадлежали ни к числу лиц, как-либо пострадавших от революции, ни к тем, кто принимал в ней участие. Они были рядовые граждане. Среди их близких и знакомых были и коммунисты с подпольным стажем, и люди иных, старых взглядов. Одно время отец занимал видное положение, но оставался беспартийным... Вокруг меня, однако, были дети партийцев, они

гордились боевым прошлым своих отцов, их орденами, их оружием, их персональными машинами, их властью. Я ощущал известный комплекс неполноценности. Случалось, я врал, что и мой отец — крупный начальник и у него в столе лежит браунинг — именное оружие... И его тоже подвозят на машине.

Все это относится к классам пятому-шестому. Отчасти — седьмому. Когда я учился в восьмом классе, мы уже перестали придумывать своим отцам высокие посты.

1939-й памятный год наш десятый выпускной класс встречал в кинотеатре «Уран». Играл джаз под управлением Самойлова. Потом показали «Катерину». Рассказывали, будто бы конец этой картины обрезан. Острили по этому поводу.

«Маленькая мама» — маленькое сретенское счастье оборвалось в сентябре, когда под ружье ушло поколение, оставив свои Кисельные, Печатниковы, Колокольниковы переулки, свои Петровские линии. Еще ничего не началось, но все уже кончилось. Уже пахло сырой кожей, шинельным сукном, расставанием. Мы еще только начали осознавать, что значит родной дом, первая любовь, первое прикосновение к радости, первая «самая любимая» книга, первая печаль, как вдруг были получены повестки, военком поздравлял, тряс руку, все штемпелевалось, нумеровалось... Время сладостных фильмов кончилось. В бане на военном пересыльном пункте я увидел большое объявление: ПОЛУЧЕНИЕ МОЧАЛ. Я срифмовал невольно: «Получение мочал есть начало всех начал». Пожалуй, так оно и было...

«Маленькая мама», проводив нас в эшелоны, возвращалась домой. Но 1939 год перерезал судьбу и Франчески Гааль. В Европе было страшно. Некуда было сунуться, некуда податься. В большом европейском доме все квартиры были объяты пламенем.

И среди этого огня пыталась сохранить свою жизнь Франческа или, вернее, Францишка Гааль.

2

В Венгрию ехал я из Берлина через ЧССР. Поезд опаздывал, был серый прохладный день, за окном тянулись поля. Все это было когда-то территорией войн, боев, потрясений. Декорации «театра военных действий» выглядят порой отнюдь не эффектно: бесконечные унылые поля, тоскливые деревушки...

Около двух недель провел я в Ростоке, по деталям восстанавливая жизнь Кубы, того самого поэта, чью «Мышиную балладу» я когда-то увидел в брехтовско-фейхтвангеровском журнале «Дас ворт».

С Кубой я дружил, переводил его стихи и драматическую балладу «Клаус Штертебекер». Теперь «Штертебекер» готовили к переизданию, мне предстояло писать предисловие, к тому же еще главу о Кубе для «Истории немецкой литературы», выпускаемой в Москве ИМЛИ.

Это был человек-огонь, с огненными, рыжими волосами, всю жизнь горевший. Как поэта его сравнивали с Маяковским, но шел он скорее от Мюнцера. Среди немецких поэтов я не знал человека, более фанатично преданного идее мировой революции. Он рвался на баррикады, в пекло классовых битв. Выходец из самых низов, воспитанный в семье деда — деревенского кладбищенского сторожа, потомственный социалист, он не признавал никаких компромиссов и обрушивался на тех, кого подчас незаслуженно считал оппортунистами, пасующими перед классовым врагом. Спорить с ним было невозможно: на все у него имелись незыблемые формулы.

Пьеса «Клаус Штертебекер» была поставлена летом 1959 года на острове Рюген. Участвовало две тысячи человек — вся округа. Зрительным залом служил гигантский амфитеатр под открытым небом, сценической площадкой — прибрежная полоса и само море.

Вздымая песок, неслись всадники. Гремело морское сражение. Далеко в море пылали подожженные корабли.

Штертебекер был пират, действовавший в XIII веке, «гроза богачей, надежда угнетенных» — морской Робин Гуд. Больше всего Кубу занимали исторические персонажи «не первого ранга». Им не воздвигали памятников, не называли их именами улиц и площадей, но они оставили свой след в истории, в чьем-то сердце и жили не зря...

Постановка «Штертебекера» стала событием. Впрочем, кое-кто ворчал: не слишком ли все это расточительно — каждый вечер жечь в море два корабля? Не слишком ли пышно?

Осенью 1967 года Куба был одержим новой идеей. Несмотря на тяжелую болезнь сердца, настоял, чтобы Ростокский народный театр, возглавляемый им и режиссером Гансом Ансельмом Пертеном, выехал в Западную Германию. Составленная Кубой к пятидесятилетию Октября программа «Пятьдесят красных гвоздик» должна была представить западному зрителю историю революции в стихах, песнях, пантомимах. Грандиозное действо!.. Куба задумал дать бой реваншистским зубрам, неонацистам, буржуазии!..

10 ноября 1967 года он умер во Франкфурте-на-Майне, в зрительном зале, во время премьеры, освистанный «справа», но еще более «слева». Молодым левым подражателям китайских хунвейбинов виделись на сцене рутина, застой, мещанство, повторение пройденного, они махали красными флагами и кричали: «Долой!» Для правых же это был «культурбольшевизм»... «Варшавянка», стихи о мире, «Казачок» — пятьдесят красных гвоздик!..

О его смерти много писали, думали: символика, зловещий сарказм.

Я ехал перегруженный биографическими сведениями о Кубе, ожившими воспоминаниями, видел его во множестве ситуаций. Во мне звучал его стих.

Но сейчас почему-то, на подъезде к Франческе Гааль, из всех

его лет высвечивался более всего тридцать девятый год, конец августа, когда он в Англии, в Уэльсе, писал отчаянное и нежное письмо Ренке, своей любимой, оставленной им в Праге.

То, что должно было случиться через несколько дней, было хуже понятия «война», за которым обычно встают в воображении батальные сцены. То, что случилось в Европе 1 сентября 1939 года, опрокидывало нечто большее, чем мирную жизнь: людские надежды, планы буквально на завтрашний день, сжигало назначенные на завтра свидания, оттаскивало друг от друга влюбленных, вырывало из материнских объятий детей, навсегда разлучало супругов.

Каждый человек вдруг с особою остротой осознал истину, что он несвободен, что все зависит не от него самого, а от воли других людей: любой шаг, любой, самый незначительный поступок. Не я определяю, что мне сейчас делать, куда идти, что есть. И это внезапное осознание своей несвободы было страшнее всех предстоящих тягот войны. И возможно, страшнее смерти.

Но огненный, рыжий Куба, Курт Бартель, он, железный немецкий подпольщик, он, перехитривший ищеек гестапо в Германии, Австрии, Югославии, Чехословакии, Польше, он верил в себя, и в свою победу, и во встречу со своей Ренкой. И в мою записную книжку рукой вдовы Кубы Рут было переписано то письмо, которое уже после смерти Кубы ей в Праге отдала Ренка. Ренка умирала, сходила в могилу. Жизнь истлела, не оставив ей ничего, кроме ненависти к бесконечным обидчикам; впрочем, уже и на ненависть не оставалось сил, и, умирая, она отдала Рут письмо, полученное ею из Лондона от Эгона Давида (подпольная кличка Кубы) 27 августа 1939 года.

«Моя дорогая! У людей есть все: красота, любовь, тепло, у них есть это все, и поэтому им нужно только тепло, любовь, доброта, внимание, чтобы полностью раскрыться. Глупо сокрушаться из-за гнусности этого мира!..

Я отыщу тебя. Когда я чувствую себя одиноким, я думаю о твоих губах, о твоей близости и о твоей недоступности. Никогда не печалься, смейся в годину опасности. Мы живем в бурное время, но постарайся быть достойной его. Что бы ни случилось, знай: я всегда с тобой. Как всегда со всеми, кто в беде. Будь очень храброй, будь очень доброй...»

Я перечитывал эти строки, и вновь передо мной вставал живой Куба: непрошибаемый, твердолобый упрямец с горячим, верным и добрым сердцем...

Итак, поезд полз по Чехословакии, и я думал о Кубе, о пражском периоде его жизни, когда он, беженец из нацистской Германии, ночевал под мостом, а днем разносил газеты. Именно тогда его заметил поэт Луи Фюрнберг, поддержал, стал его литературным наставником и ближайшим другом на всю жизнь.

И я вспомнил, как встретил Луи Фюрнберга единственный раз — в марте 1956 года в Веймаре, где Фюрнберг — в недавнем прошлом первый секретарь посольства ЧССР в Германской Демо-

кратической Республике — возглавлял Мемориальный институт классической немецкой литературы.

Был какой-то светлый — просветленный послеполуденный час, я только что вернулся из Бухенвальда и испытывал то состояние, которое, наверно, испытывает всякий, кто после бухенвальдского музея смерти вновь возвращается в Веймар с его классической умиротворенностью и гётевской невозмутимостью.

В комнату тихо вошел бледный человек в очках, со слуховым аппаратом: Фюрнберг выглядел намного старше своих сорока семи лет, он был тяжело болен, но на его лице лежала печать той же просветленности, которая лежала сейчас на всем Веймаре. И в этой просветленности рядом с бледностью, осторожностью в движениях, болезнью было что-то от фатального соседства Веймара и Бухенвальда.

Фюрнберг рассказал, что, когда в Чехословакию вошли немцы, в Праге его арестовали одним из первых. Его поставили на грузовик, подвозили к зданиям библиотек и из окон сбрасывали ему на голову «подлежащие изъятию» книги. Он очнулся в камере, заваленный тяжелыми томами, полуживой, оглохший.

— Но книги,— улыбаясь сказал Фюрнберг,— обладают свойством отвечать взаимностью тем, кто их любит... Из книг я соорудил себе нечто вроде лежака и читал неотрывно. Запрещенную литературу в тюремной камере!..

В 1957 году он умер за письменным столом, уронив голову на лист бумаги...

Нет, никогда так остро не чувствовал я единства наших судеб, как в эти часы, когда поезд медленно шел из ГДР через Чехословакию в Венгрию. Мы — дети своего времени.

Не так уж намного отличаются у нас даты рождения, не намного, наверно, отличаются и даты смерти.

Накануне моего отъезда в Берлине, в отеле «Беролина», душной ночью при открытом окне в одном из номеров в течение часа на весь город отчаянно кричал ребенок: «Mut-ti! Mut-ti!» Но это был крик уже нового, неведомого мне поколения. Я же ехал в Будапешт, чтобы узнать о судьбе «маленькой мамы».

Я знал: в сорок третьем — сорок четвертом годах Франческа Гааль пряталась от гестапо, а в дни боев за Будапешт была спасена советским танкистом.

3

В будапештском киноархиве от Франчески Гааль осталась копия фильма «Маленькая мама», почему-то с русскими субтитрами. В картотеке было помечено, что родилась она в 1904-м, умерла в 1956 году — в Голливуде. Краткая справка гласила: «Ее непосредственность, обаяние наилучшим образом проявлялись в наивных ролях». В тоненькой папке лежали фотография Франчески Гааль в роли Петера, реклама фильма «Медовый месяц в Париже», несколько газетных вырезок: полускандальная хроника на-

чала 30-х годов, путаные извещения о смерти. Одни относились к 1956 году, другие — к 1973-му. Так и непонятно было, когда она умерла...

«Маленькую маму» я смотрел, обливаясь слезами: что-то было в этом фильме чаплинское, щемящая тема наивного маленького человека, который смешон, беззащитен, добр. Фильм при всей устарелости приемов не показался слабым. Может быть, во мне говорила ностальгия — встреча с самим собой.

Потом показали клочки из немого фильма «Мышь» — ничего больше не было. Все остальные картины сгорели во время войны.

О Франческе Гааль сотрудники архива не могли сообщить никаких подробностей: сами они едва слышали о ней, я был первым, кто за долгие годы проявил к ней интерес.

Я понял, что историю Франчески Гааль придется восстанавливать почти из ничего: лента прокручена, отмелькали последние белые кадры, публика покинула зал... Прошло сорок лет...

Позже в Берлине, в Москве я смог отыскать и просмотреть ленты с ее участием: «Паприка», «Весенний парад», «Привет и поцелуй, Вероника!», «Медовый месяц в Париже», «Корсар». Она была обворожительна, музыкальна, хотя кое-где и повторяла себя: жест, мимику и манеру сердито-кокетливо понижать иногда голос до этакого басочка. Строптивая бедняжка с характерным взмахом руки (Ах, бог с вами! — досада, вспышка обиды, прощение) отдаленно напоминало Джульетту Мазину — Кабирию.

В свое время она была на вершине славы, ее приглашали сниматься в Соединенные Штаты Америки, еще чаще в Германию, где с особым успехом шли ее фильмы. До тех пор, пока в газете «Франкише тагесцейтунг» 12 марта 1934 года не появилась заметка: «Еще одна киноеврейка должна исчезнуть с экрана...»

«Петер», «Маленькая мама», «Катерина» были поставлены на немецком языке уже в Венгрии. Киностудия «Немецкий Юниверсал» стала именоваться «Юниверсал-Гунния».

Перед самым началом второй мировой войны Франческа Гааль успела сняться в Голливуде в фильме «Катерина Последняя». Это и был, собственно, ее последний фильм. Вернувшись в хортистскую Венгрию, она узнала, что ни играть на сцене, ни сниматься в кино ей уже не придется.

В городе Дьере тогдашний премьер-министр Кальман Дарани призвал готовиться к войне. Вводились запреты на профессии, на замещение ряда должностей.

Во времена премьера Дарани покончил с собой великий поэт Аттила Йожеф (1937).

В 1938—1939 годах была создана Палата актеров: от актеров (так же, как, впрочем, и от представителей многих других профессий) требовали документы с развернутым доказательством чистоты расы. Знаменитый артист Дюла Чортош вместо справки о чистоте расы послал властям свою визитную карточку. Вы хо-

тите знать, кто я? Извольте! Я — Дюла Чортош!.. Это был благородный жест, но заплатил за него Дюла Чортош дорого: он умер от дистрофии в тот самый день, когда Будапешт наконец взяли советские войска.

У поэтессы Ж. Р. сейчас еще сохранилась, заложенная в старую библию, таблица — генеалогическое древо, которую ее отец, директор гимназии, должен был представить в 1939 году. Я сам видел этот документ: на белой большой «простыне» красными чернилами тщательно выведена замысловатая схема, доказывающая, что в роду — все арийцы, все ответвления здоровые, нездоровых — нет.

Франческа Гааль свое арийское происхождение ничем доказать не могла. Подлинное ее имя было — Фанни, фамилия — Зильберштейн или Зильбершпиц. Ее артистическая карьера обрывалась...

Я ходил по будапештским музеям, библиотекам, листал подшивки старых газет. Изредка натыкался на рецензии. Писали о неповторимом очаровании ее игры, об ее ошеломительном успехе в «Мальчике Ности». Спектакль «Маленький мальчик в больших ботинках» с ее участием беспрерывно показывали 125 раз. За ней охотились директора горящих театров, знали, что спасти может только она. Она спасала: выходила на сцену, наивная, маленькая, звонким голосом пела... В кассу театра текли громадные деньги.

Критик Деже Костолани по поводу премьеры «Матики, которая хотела стать актрисой» писал:

«Главную роль играет Франциска Гааль. Роль была написана для нее. Или о ней? У нас нет актрисы более артистичной. Сколько тонкой самоиронии, сколько едкого знания жизни открывается в каждом ее хитроватом движении... Она колышется на волнах игры, словно приманка для рыб, то исчезая, то вновь появляясь...»

Да, это была целая эпоха — Франческа Гааль, но, когда я специально ради нее приехал в Будапешт, оказалось, что о ней уже почти никто не помнит. В «Веселом театре», украшением и ведущей актрисой которого она являлась, имя ее не знали ни режиссер, ни заведующая литературной частью... Может быть, ее смутный образ живет лишь в душе, в «памяти сердца» москвичей и ленинградцев, оставшихся от 30-х годов?..

В те годы репортерские заметки извещали жадную до сенсации будапештскую публику об ее частной жизни.

Первым ее мужем был модный либеральный журналист Шандор Лештян, которого сменил адвокат, доктор Ференц Дайковиц, серб из Баната. Мне повезло: в музее истории театра я случайно нашел фотографию: Франческа Гааль и Дайковиц перед зданием нотариальной конторы 8-го района Будапешта. На Франческе меховой палантин, длинное темное платье, в руках она держит большой букет белых роз. Доктор Дайковиц — громадного роста мужчина в цилиндре, во фраке, в гамашах. Их окружает группа

радостно возбужденных людей. Что с ними стало потом, когда, поздравив новобрачных, они разошлись по своим жизням?..

В почтовом музее из старых телефонных книг я выписал адрес адвоката, д-ра Ференца Дайковица. Они жили в доме № 13/15 по улице Шомоди Бела. Я никак не мог найти дом под этим номером, обращался к прохожим. Подошел старик в белом мятом плаще, в тяжелых ботинках. Спросил, чего я ищу... Долго слушал, силился вспомнить. Потом сказал:

— Да, да... Кажется, такая была... Кажется, она снималась в американских фильмах и одну песенку пела по-венгерски... Но это было очень давно. И дом, где они жили, снесли очень давно. В 1957 году. Это было вот здесь, рядом, где сейчас школа...

Я нашел еще один адрес. Последнее их место жительства перед войной — улица Хунади Яноша, 23.

Я поехал на окраину Буды, все было в осеннем золоте, и, несмотря на конец октября, было очень тепло. Раздался колокольный звон, означавший, что наступил полдень. Каждый день в это время бьют колокола в напоминание о победе над турками в 1498 году. Подо мной были рыже-зеленые холмы, вдали белел Рыбачий бастион, неподалеку от Цепного моста — отель «Хилтон», церковь святого Матиаша.

В 1943 году над этим районом день и ночь висели бомбардировщики. Улица Хунади Яноша стала почти сельской местностью. Дома 23 на ней больше не было. Остался номер телефона 153-293. Можете позвонить.

Я навел справки в Доме ветеранов сцены, оказалось, что там живут несколько человек, знавших Франческу Гааль, даже выступавших с ней вместе в спектаклях.

В Доме ветеранов некогда помещался известный бордель фрау Фриды, у которой бывали дипломаты, министры, высшая венгерская знать. Я очутился в шикарной буржуазной вилле конца XIX века: дубовая лестница, роскошная дорогая мебель, в холле — картины в золотых багетах, стены, обитые шелком. На одной из лестничных площадок стояла обнаженная кариатида с непомерно большим бюстом. В нижнем холле старые люди смотрели старинный фильм.

Растормошили трех стариков, трех опереточных актеров. В зал, в который выходили к гостям дамы фрау Фриды, ко мне вышли: старичок с лицом старушки, красивая, еще моложавая на вид примадонна, скрюченная подагрой, угрюмый старик, бывший комик. Разговор шел долгий, бессвязный, и все же они вызволили из небытия какую-то тень. На мгновение часть лица ее осветилась, Францишка, или, как они ее называли, Франци, рассмеялась, произнесла несколько слов, сказала какую-то дерзость режиссеру, заплакала, обняла подругу, что-то шепнула ей на ухо, сноп света упал на ее рыжеватые волосы, потом все вновь ушло в темноту...

В 1944 году навязанное Берлином «окончательное решение еврейского вопроса» все более распространялось на Венгрию.

Ограничения, которые сперва казались не такими уж страшными, постепенно нарастали и вели теперь к гибели сотен тысяч людей. В сорок втором — сорок третьем еще возможны были всякие комбинации, можно было еще откупиться. Богатые люди за большие деньги могли выехать в комфортабельных вагонах в Швейцарию. За еще большие деньги можно было вылететь на немецком самолете непосредственно в Португалию, в Лиссабон. Случалось, однако, что самолет приземлялся не в Лиссабоне, а где-то в Польше, на посадочной площадке недалеко от Освенцима... Иные распродавали оставшееся у них имущество, мебель. Лучшее уже было конфисковано. Дорогие картины собирал Геринг. Он же присвоил себе Чеппельский концерн семьи Вайс. Чеппель стал концерном Германа Геринга. Это было в 1942 году.

В 1944 году одну из улиц перегородили невысоким забором. Со всего города сюда с чемоданами, с домашним скарбом потянулись те, кто обречен был погибнуть.

Я видел фотографию: строй респектабельных мужчин в хороших костюмах. Если не знать, может показаться, что они выстроились по случаю какого-либо торжества или церемонии. Густые седые усы. Лысины. Очки. Хорошая обувь. Некоторые стоят опираясь на трости.

Это — перекличка на площади Листа.

Франческа Гааль в гетто не пошла. Вместе с мужем она бежала из Будапешта. Дайковиц укрыл ее на озере Балатон, в специально оборудованном бункере. Служанка, давняя обожательница ее таланта еще со времен «Мальчика Ности», оставалась с ней. Могла ли она предположить, что их спасут советские воины, те, кто когда-то доверчиво смотрел «Петера» и «Маленькую маму»?

Поиски следов Франчески Гааль были не сладостным отдыхом. Иногда мне начинало казаться, что все, что я сейчас узнаю,— фантасмагория.

Последний диктатор Венгрии, главарь партии «нилашистов» («Скрещенные стрелы») Ференц Салаши в 30-е годы был излюбленной мишенью для карикатуристов и авторов политических фельетонов. Появляясь на массовых митингах, он пудрил щеки и красил губы. Его речь изобиловала странными выражениями: «почвенная действительность», «почвенный корень», «действительность крови». Он был кадровый военный, майор, но вышел в отставку, чтобы целиком отдаться политике. Даже Хорти сажал его в тюрьму как опасного авантюриста.

15 октября 1944 года его привели к власти Гиммлер и немецкие эсэсовцы. Салаши составил «правительство» из таких отбросов, что не нашлось ни одной более или менее подходящей фигуры на пост министра иностранных дел. Начался открытый нилашистский террор: убивали на улицах даже детей, стреляли, волокли в тюрьмы. За несколько месяцев Венгрия потеряла людей в тюрьмах больше, чем за все годы войны на фронтах.

Придя к власти, Салаши решил завершить свой «теоретиче-

ский» труд с диковинным, нелепым названием «Карпатско-Дунайская великая Венгрия». Он был одержим манией венгерской национальной исключительности.

Он ввел новое летосчисление — со дня своего прихода к власти: 1944 год — Год 1-й, 1945 год — Год 2-й... Советская Армия уже вплотную подошла к Будапешту, когда «совет министров» принял решение, что каждая новая венгерская семья будет отныне получать в дар от правительства «Карпатско-Дунайскую великую Венгрию» — труд «вождя нации»...

Бедные маленькие мамы! Миллионы человеческих судеб оказываются в руках безумцев!..

Салаши бежал к американцам, прихватив с собой корону Иштвана I, над которой в присутствии кардинала он присягал на верность отечеству, а также несколько ящиков с золотом и драгоценностями из национального банка.

Переданный венгерским властям, находясь в тюрьме, он соблюдал в своей камере образцовый порядок, койку заправлял по уставу, каждый день до блеска начищал сапоги. Когда однажды не оказалось ваксы, он пришел в отчаяние.

Ему решили показать разрушенный Будапешт, повезли мимо страшных развалин. Они не произвели на него ни малейшего впечатления...

Далеко отнесло меня от Франчески Гааль, от саксофонной истомы, иная слышалась музыка. Каким непрочным оказался мир ее фильмов!

Был осенний день в Вышеграде, в тишине раздавался холодный стук голых ветвей. Мы шли по аллее примыкающего к санаторию парка с известным комическим актером Комлошем. Я надеялся, что он расскажет мне о Франческе Гааль, но он рассказал мне о Салаши, потому что в конце 1945 — начале 1946 года он был не актером, а следователем Народной прокуратуры и первые свои показания Салаши давал ему...

Машина зла не в состоянии остановиться сама по себе, даже несмотря на явную абсурдность своей кровавой работы. Сломать ее может только сила.

Освобождение Будапешта далось нелегко, и если ни венгерское население, ни даже немецкие солдаты не могли понять, зачем же льется столько крови и такой полыхает огонь, когда исход войны все равно ясен, высшее немецкое руководство полагало, что опирается на тонкий стратегический расчет: в Будапеште защитить Вену, предотвратить удар на Берлин с юга. Но и этот расчет был всего лишь погоней за временем, попыткой оттянуть тот час, который все-таки наступил. Все равно наступил тот день и тот час, когда Вильденбраух Пфеффер, генерал-полковник СС, возглавлявший оборону Будапешта, седой, небритый, с воспаленными выпученными глазами, с лохматыми седыми бровями, в мятой пилотке с эсэсовской кокардой, подняв кверху руки, вылез из канализационного люка...

В один из таких дней проносившийся на своем «виллисе» советский майор-танкист Агибалов услышал крик женщины. Звали на помощь. Из подвала горящего дома он вытащил маленькую рыжеволосую женщину в брюках и лыжной куртке. Лицо ее было черно от копоти. Она что-то говорила, пыталась что-то объяснить, Агибалов не мог понять ни слова. Тогда она вдруг запела песенку из «Петера»: «Хорошо, когда удач не счесть...»

Агибалов всмотрелся в ее лицо. Он узнал кинозвездочку своей юности.

Танкисты, смеясь, называли ее «Педро» и «Катюша»... Через некоторое время в кабинете советского коменданта Будапешта генерала Замерцева появилась, как он об этом пишет в своих записках, «пожилая дама в простеньком платье... На голове у нее была коричневая шляпка».

В бункере от неподвижной жизни она сильно располнела — для актрисы это трагедия,— никто из старых друзей не смог ее сначала узнать... Но стояла ослепительная весна 1945 года, она вновь почувствовала себя женщиной, актрисой, готовой отстаивать свое достоинство, как это делали когда-то ее маленькие героини. К Замерцеву она пришла требовать возвращения каких-то урезанных земельных наделов Дайковица.

Дальнейшее — словно совершившаяся кинogреза: ее пригласили в дом к маршалу.

Маршалом был Климент Ефремович Ворошилов, председатель союзной контрольной комиссии по Венгрии. Он и его жена Екатерина Давыдовна поддерживали оголодавшую, растерянную венгерскую художественную интеллигенцию: известных артистов, скульпторов, живописцев. К Франческе Гааль они отнеслись с особой сердечностью: ведь «Петер», «Маленькая мама» и для них были частицей тех лет, которые забыть и от которых уйти невозможно.

Она стала блистать на банкетах, на приемах, ей подавали автомобиль, за ней заезжал порученец в высоком звании.

Ворошилов предложил ей провести несколько недель в Советском Союзе в качестве его гостьи. Это было сказочное приглашение! Самое фантастическое!.. Ей смутно виделась великая северная страна с двумя столицами, с неслыханной роскошью, с раздольными степями, со звоном бубенчиков на тройках, с женщинами в соболях, с красавцами гвардейскими офицерами...

К длинному воинскому поезду, который шел из Будапешта в Москву, прицепили обшитый желтым деревом пульмановский салон-вагон с ярко начищенными медными поручнями... Франческа ехала в сопровождении горничной, камеристки и переводчицы.

Она прибыла в Москву, которую нельзя было назвать даже послевоенной: еще шли военные действия против Японии. Прогрессивной венгерской киноактрисе устроили официальный прием в ВОКСе. Среди тех, кто ее принимал, были Эйзенштейн, советские кинозвезды Орлова, Серова, Окуневская, писатель Горбатов, критик Караганов, артист Крючков, избранное, что ни говори, об-

щество. Франческа кокетничала с мужчинами — избалованная, изнеженная.

Между тем у нее было изможденное страдальческое лицо. По утрам, без косметики, без грима, она выглядела страшно. Она без конца курила и очень много пила. Франческа Гааль давно уже не была ни маленькой мамой, ни Петером, но не сознавала этого и в сорок лет считала себя девочкой-озорницей.

На «Лебединое озеро» в Большом театре она сочла нужным явиться с опозданием на пятнадцать минут. Для нее открыли центральную, «царскую» ложу. Она сидела, позевывала, скучала. Она жаждала поклонников, экстравагантных, неожиданных встреч, но кругом все ужасно устали, ведь на всех еще лежал груз войны, эвакуации, страшных утрат, разложенного дикого быта.

Ей собирались показать достопримечательности Москвы, но у нее было мало времени: через американское посольство она надеялась получить возмещение за какие-то ценности, сданные ею на хранение в Голливуде; кроме того, она вела переговоры с целью заключения контрактов.

После Москвы предстояла поездка в Ленинград. Сопровождать ее поручили молодому военному переводчику, лейтенанту из добродетельных и в высшей степени эрудированных ифлийских мальчиков — Сереже Л. Он тщательно подготовился к поездке, перечитал историю города, описания архитектурных памятников, в запасе у него было несколько тем: Петербург Гоголя, Петербург Достоевского, Петербург Блока.

Старания его оказались напрасными. Ее не занимали ни Достоевский, ни Гоголь, о существовании Блока она даже не слышала. Сережа пытался заинтересовать ее чудесами Растрелли (грандиозный пространственный размах, прихотливая орнаментика) и Монферрана (переход от ампира к эклектизму), она слушала его объяснения, когда же показался Аничков мост, кивая, обреченно сказала: «Мост, господин учитель. Мост... Начинайте...»

Город был тихий, огромный, еще только начавший подниматься с одра после блокады. Ее повезли в Музей обороны Ленинграда, показали дневник Тани Савичевой, пайку блокадного хлеба... Что ж... Разве и она сама не была на волосок от гибели?

В интервью корреспонденту ЛенТАСС она заявила: «Ленинград прекрасен и велик, как доблесть и мужество его замечательных граждан».

В тот же вечер в ресторане гостиницы «Астория» она шумно высказала недовольство паюсной икрой: требовала зернистой...

О войне, о том, что пришлось ей пережить, она вспоминать не желала, да и разговоры о ленинградской блокаде выдерживала с трудом: зачем вспоминать мрачные времена?..

Она побывала в Пушкине. А потом ее принимали военные летчики. В ее честь показывали фигуры высшего пилотажа, устроили пышный банкет, она вновь ожила, зажглась, без конца танцевала, пела. Вернувшись в гостиницу, всю ночь прорыдала: безумно влюбилась в командира части, Героя Советского Союза

гвардии майора... Сережа не знал, как быть, звонил в штаб округа.

Все же ее удалось как-то отвлечь: гитарист Сорокин разучивал с нею цыганские песни.

С ней было ужасно много возни, с этой кинозвездой нашего детства и юности, прогрессивной венгерской актрисой и гостьей маршала. Сережа от усталости чуть ли не падал с ног. И только однажды горько ей посочувствовал: на «Ленфильме» по ее просьбе ей прокрутили старую копию «Петера». Она плакала от встречи и прощания с молодостью.

В конце концов Сережа облегченно вздохнул. Знатная гостья отбывала на родину.

В Венгрии Франческа Гааль прожила недолго, начала сниматься на частной киностудии в румыно-венгерско-американском фильме «Рене XIV, или Король бастует», вместе с мужем отправилась в Голливуд, там и осталась...

Газеты похоронили ее в 1956 году («Закатилась звезда»...), а когда она действительно умерла в 1973-м («Из Нью-Йорка пришло печальное известие...»), писать было уже не о чем, все прощальные слова уже были сказаны семнадцать лет назад. Лишь в каком-то киножурнале вычитал я пышную метафору: «В фимиаме славы восседала она на троне из папье-маше...»

Прощай!..

4

...Бедный, бедный мой друг, я потерял твое колечко, оно разлетелось пополам, я это предвидел, когда мы ехали с тобой в поезде и я списывал с пейзажей за окном строки перевода Эйхендорфа о лопнувшем кольце — символе разлуки. В стихах была старая мельница, слышен был стук мельничного колеса, и, сидя на берегу ручья, с котомкой за плечами, отложив в сторону посох, закрыв лицо руками, горько рыдал юноша: «Не ты ль свое колечко дала мне в час ночной? Зачем твое сердечко смеялось надо мной?» Ты еще успела прочесть этот перевод, а в самый канун нашей разлуки я дал тебе посмотреть всю рукопись моей книги «Из немецкой поэзии. Век X — век XX», ты видела ее всю такой, как она потом вышла в свет: макет обложки, иллюстрации, вступительную статью, все, кроме скорбного посвящения...

Бедный, бедный мой друг, ты являешься ко мне во множестве образов, обликов, чем я могу утешить тебя? Ведь я потерял не только колечко, я потерял те стихи, которые перевел тогда же и по рассеянности забыл включить в книгу,— «Введение» Брентано, хотя, может быть, это самые нужные нам обоим стихи: ты, конечно, сразу же поймешь их смысл, что это стихи о л ю б в и, не отягощенной ничем, о любви н а ш е й, потому что кто же сейчас из любящих на всем свете б е д н е е н а с!..

Что зреет в недрах этих строк,
Произрастет, поспеет в срок,
Взойдет без промедленья,

Посев, согретый добротой,
Взлелеян кротостью святой
Сердечного томленья.
Колосья с поля соберут.
Но чем окупится наш труд?
Вдруг — бедностью, не боле?..
Тогда любовь ищите в них,
В последних колосках родных
На опустевшем поле.
Любовь для бедных создана.
Любовь без бедности бедна,
Любовь, о нас в заботе,
В ночной не дремлет черноте...
Вы при дороге, на кресте,
Ее слова прочтете:
«Дух, время, вечность, плоть и кровь,
Свет, мир, страдание, любовь».

Стихи к «Гойе» я начал переводить, еще не испытав утрат, главных жизненных потрясений: я был еще сыном живых родителей, мужем живой жены. Между тем в романе только и говорилось о потерях и потрясениях. Гойя был первым в ряду «моих» персонажей, которые к истине шли, балансируя на краю пропасти, преодолевая бедствия, внутренние катастрофы, крушения надежд. Роман так и называется: «Гойя, или Тяжкий путь познания». Думаю, и для самого Фейхтвангера этот роман был подведением итогов. Горестно прищурившись, озирал он длинный тяжкий путь.

...Обрюзгший, старый, глухой Гойя, великий художник, так напоминал мне Бетховена! Его одолевали демоны — душевные терзания, бесчисленные несчастья, призраки инквизиции. Они теснились в нем, и он исступленно изгонял их из себя на листы своих «Капричос»...

Стихи, которыми завершалась каждая глава, плавно вытекали из прозы, вернее, проза плавно, как бы сама по себе переходила в стихи, в безрифменные испанские романсеро. Между прозой и стихами не должно было быть никаких швов. Задача нелегкая, тем более что прозаическую часть романа или, вернее сказать, весь роман, за исключением стихов, переводили Ирина Сергеевна Татаринова и Наталья Григорьевна Касаткина, виртуозы русского перевода, в полном смысле слова кудесницы. Работать в содружестве с ними было честью и радостью.

Я приходил к Наталье Григорьевне, в ее старомосковский дом на Басманной, приветливо встречаемый ею, ее матерью, а также Ириной Сергеевной, и всякий раз испытывал некоторую робость: окажутся ли мои стихи достойными их прозы?

В доме Натальи Григорьевны я постигал еще неизвестные мне секреты мастерства. И она и Ирина Сергеевна учили меня, так сказать, правилам хорошего литературного тона. Старшее поколение московских переводчиков донесло до нас культуру русской речи, благородную осанку фразы, несуетливый и несуетный стиль. В их переводах Диккенса, Флобера, Мопассана, Бальзака, Теккерея, прозы Гёте и Гейне русская литература сохранила, не засушив его, не законсервировав, живой слог русской классики. И рус-

ские писатели нового поколения, вскоре вступившие в жизнь, должны бы помнить о них с благодарностью. Авторы известных романов и повестей 60—70-х годов росли на русской классике и на мировой литературе, которую они читали по-русски в переводах Калашниковой, Волжиной, Касаткиной, Татариновой, Лорие, Дарузес, Веры Топер, Станевич, Горбовой, Жарковой, Горкиной, Лана и Кривцовой, Немчиновой... Все в целом, они, возможно, представляют собой литературное явление, которого не знала мировая культура. Они были хранителями огня. Со многими из них мне приходилось общаться, бывать в их заваленных книгами, словарями, справочниками тесных квартирах. Все они отличались одним: влюбленностью в слово. Они млели над ним, их натренированный слух мгновенно улавливал малейшую фальшь, любая словесная неряшливость причиняла им чуть ли не физическую боль...

Н. Г. Касаткина и И. С. Татаринова помогли мне понять смысл найденного Фейхтвангером приема: талантом художника проза жизни, с ее тоской и потерями, претворяется в терпкую поэзию жизни.

...Внезапно заболел мой отец. Ему постелили в комнате, которая когда-то была его кабинетом, на черном кожаном диване. Диагноз оказался смертельным. Вначале, видимо не осознавая свою обреченность, отец еще мерял утреннюю и вечернюю температуру, записывал на листке бумаги показатели градусника, старался не нарушить диету. Силы все больше оставляли его, он таял, стал безразличен к предписаниям врачей, но жадно читал: Бальзак, десятый том, «Бедные родственники». Потом попросил у меня рукопись «Гойи»...

Целыми днями мы с Бубой метались по городу — нужен был березовый гриб, чага, мать пропускала кору через мясорубку, варила тот бесполезный чай. По ночам я переводил стихи к «Гойе» — искал для себя в работе спасение,— утром приносил отцу очередную главу. Он успел прочитать роман до середины...

Отца хоронили 31 мая 1955 года.

В газете «Вечерняя Москва», в которой было напечатано извещение о его смерти, сообщались новости: коммюнике о переговорах между правительственными делегациями Советского Союза и Югославии, информация о строительстве крупнейшего стадиона в еще не ведомых никому Лужниках, репортаж о последних приготовлениях к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки — впервые после войны...

Татарка-дворничиха, подметая наш узкий двор, сокрушалась:

— Ча-ловек как часы. Ходил-ходил, потом перестал — и бросили па помойка.

«Гойя продолжал жить... Он был еще не стар годами, но обременен знанием и видением. Он принудил призраков служить себе, но они каждый миг готовы были взбунтоваться...»

В рабочей блузе он спустился в столовую. Уселся перед голой стеной. Ему виделась фигура великана, гиганта-людоеда, пожирающего даже собственных детей. Но на этот раз он не испугался

всепожирающего Сатурна, который под конец пожрет его самого... «Все живущее пожирает и пожирается...» Так уж положено, и он хочет иметь это перед глазами. Он должен пригвоздить колосса к стене!

«Хорошо сознавать свое превосходство над тупым великаном на стене. Хорошо понимать, что он всесилен и бессилен, угрожающе злобен и жалко-смешон...»

Всех он потерял, глухой, старый, обрюзгший Франсиско Гойя, который сидел теперь, руками тяжело опершись на колени, перед голой стеной в своей опустевшей столовой.

Августин пришел. Увидев
Друга вновь в рабочей блузе,
Удивился... Гойя с хитрой,
Но веселою ухмылкой
Пояснил: «Ну вот, как видишь,
Я работаю...»

20 апреля 1980 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

У этой книги нет, да и не могло быть, эпилога: самый жанр автобиографического исповедального повествования, которое к тому же писал нестарый и ничем серьезно не больной человек, исключает подобную форму финала. Однако то, что мыслилось как подведение предварительных итогов, оказалось итогом окончательным. 17 сентября 1980 года, спустя пять месяцев после завершения романа, Льва Гинзбурга не стало. Как будто книга, возымев магическую власть над автором, не хотела отпускать его от себя или же словно автор, отдавший книге все свои душевные и телесные силы, уж не имел более энергии жить...

Собственно, поначалу он и не предполагал, что пишет роман. При всей своей одаренности, Гинзбург не был, строго говоря, сочинителем: в зрелом возрасте никогда не писал всерьез собственные стихи и уж тем более беллетристику. Художник и мыслитель, образующие сочинителя, жили в нем порознь. Художник находил себя в переводе немецкой поэзии, мыслитель — в эссеистике, критике, публицистике. И все-таки, не обладая талантом придумывания сюжетов, он был настоящим прозаиком. Он умел распознавать особенное в обычных людях и в людях особенных — обычное, земное, но что важнее — ему дано было воссоздавать это с той глубиною, которая поднимает литературу над журналистикой.

В черновиках к одной незаконченной документальной повести Гинзбург назвал три темы, которые интересовали его как писателя прежде всего: поведение людей в крайних ситуациях, столкновение личности и государства, философия личности. Первая тема реализовалась в «Бездне», вторая — в «Потусторонних встречах», третья — в книге, которая перед вами. Но мог ли думать Гинзбург, что в этом повествовании о немецких поэтах и переводческом искусстве философия его личности, его жизнь окажется на первом плане?.. Пережитая и переживавшаяся им драма нуждалась в немедленном выплеске на бумагу: так в литературоведческом эссе сперва робко, потом все увереннее зазвучал исповедальный мотив, из которого начал рождаться истинный роман, постепенно подчинивший себе, так сказать, профессионально-переводческую линию. Кстати, одним из вариантов названия книги было «Исповедь переводчика стихов», но потом стало ясно, что не в переводе стихов главное, а в том, что обозначено гейневской строкой — «Разбилось

лишь сердце мое...» (из стихотворения «Enfant perdu»). Не боясь выспренности, можно сказать: сюжет этого романа писала судьба. Практически безо всякой дистанции во времени последние события из жизни автора — вплоть до 20 апреля 1980 года — становились материей его книги.

А что было после 20 апреля? Коль мы узнали все о других персонажах этой книги, как же не узнать до конца об ее главном герое, тем более что сам он об этом предусмотрительно позаботился?

Хотя эпилог к роману не написан, он существует. Это — магнитофонная лента с голосом автора. Лежа на больничной койке, он спешил использовать оставшуюся до операции ночь, оставшиеся ему часы сознания, чтобы сказать (писать уже не было сил) о том, что составляло смысл двух последних его лет: о работе над романом, о поздней любви, о переводах немецких стихов. Он уходил из жизни, как и подобает писателю. Мы приведем эти слова с минимальной редактурой, сохраняя ту интонацию, с какой они были произнесены. И пусть им — горьким прощальным минутам — будет место рядом с долгой, трудной, а в общем конечно же полнокровной и счастливой жизнью, которую с такой искренностью поведал на страницах своей книги автор.

«...Сейчас 13 сентября 1980 года, и я снова в той же больнице, в той же 312-й палате, что и четыре месяца назад. Только тогда, в мае, меня не пугали тем, что, возможно, завтра предстоит операция. Я нахожусь в очень тяжелом состоянии и не знаю, выйду ли отсюда. В те майские дни я был охвачен внутренней тревогой. Я страстно ждал приезда Наташи, и она не приехала. И обида была у меня в тот день, когда я выписывался из больницы 12 мая. Мне казалось тогда, что жизнь кончена, что бессмысленно все, что спасения нет. Она сказала: «Прощай! Не пытайся задерживать меня!» Это была полная безнадежность. И вот между одной безнадежностью и другой я прожил четыре месяца. Тогда, 12 мая, я не знал, что 10 августа или чуть позднее Наташа приедет в Москву, мы будем вместе, подадим документы в загс, на 25 сентября будет назначено наше бракосочетание. Я не знал, что за эти четыре месяца переведу целую книгу немецких народных баллад. Я вообще никогда не забываю о том, что плохое и хорошее всегда идут рука об руку и никогда не надо полностью отчаиваться и полностью радоваться. И я не знал, что наступит сентябрь и что именно здесь, в этой 312-й палате, возможно накануне страшной операции, рядом со мной будет Наташа. Вчера, несмотря на болезнь, я с огромным интересом наблюдал за тем, как она укладывает в размер форму подлинника блоковские стихи:

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Она сумела добиться удивительно точного созвучия перевода с оригиналом. Но для того, чтобы ей перевести эти четыре строчки, которые никому из немцев не удавались, да и на сей раз не удались бы, я завел разговор о Блоке, о его времени, прочел ей стихи из цикла «Фаина», рассказал о связи между Блоком и Пушкиным, о том, что такое вообще был Петербург. Эти четыре строчки были рождены новой дополнительной эмоциональной информацией...

Теперь о книге. Надо несколько перестроить образ Наташи... надо обязательно дать э т у больницу и т у больницу. Больница должна стоять в завязке и потом в самом финале возникнуть опять. Необходимо привести Наташины размышления о философской гигиене, о преступлении и наказании. Судьба гонимой, отверженной русской девочки, пробившей немецкую стену, влезшей в немецкую жизнь и все-таки до конца не расставшейся со своей первоприродой на фоне западногерманской жизни со всеми ее политическими и прочими страстями... Вот об этом и надо будет поговорить, коснуться нескольких персонажей из Наташиной среды. Наташа об этом расскажет. Но поглядим.

И еще о переводах. Почему до сих пор нет в Германии ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Блока? Потому что если не понимаешь, что стоит за стихами, если просто перетаскиваешь слова из одного языка в другой, то ничего и не получится. Нужно чувствовать д ы х а н и е стиха. Я все время убеждаюсь в этом на своем опыте — не только литературном, но и вообще жизненном. Только что я закончил книгу немецких народных баллад. Это совершенно другая книга, чем та, которую я делал в пятьдесят девятом году. Мне понадобились десятилетия, чтобы понять: перевод — это обмен жизнями. Ты целиком отдаешь свою жизнь автору, но взамен берешь его жизнь. В этом и состоит, наверное, тайна перевода. Но чтобы этот обмен действительно состоялся, ты должен, с одной стороны, до конца понять жизнь и личность автора, а с другой — сам обладать опытом чувств, опытом пережитого. Но бог с ними, с этими переводами, а сейчас я просто хотел бы сказать вот что. Сегодня 13 сентября восьмидесятого года, сейчас уже десятый час вечера, за окнами темнота... Эта неделя была неделей невероятных физических мучений, болей и ужасных, коварных обманов. Мне казалось, что я обманываю болезнь, а болезнь обманывает меня. Боли вроде бы отпускали, мы с Наташей каждый вечер возвращались из больницы домой, и вообще я начал чувствовать себя уже лучше. Но вчера, возвращаясь из больницы, я вдруг ощутил железную руку болезни, которая все равно бросила меня сюда сейчас, уже неизвестно под что и на что. Может быть, под нож, а что это значит — под нож? Потом я испытал неведомые мне прежде болевые ощущения: вчера очень долгую и острую боль, а сегодня — ужасный смертельный озноб, который почти так же страшен, как боль... Как будто скелет схватил меня за лоб и за плечи и тряс, тряс, тряс... И вот меня здесь, в больнице, из этого озноба, из этой бешеной пляски холода выводили... Сейчас я лежу, истекая потом,

чувствую себя почти прилично, и в этом опять-таки заключается известное коварство, потому что это «почти прилично» подстраховано, обеспечено обманным анальгином. Капельница, которую мне делают, течет медленно и совершенно не причиняет боли, хотя сейчас поставят калий, и боль начнется снова. И если завтра температура не снизится, если завтра не будет хотя бы маленького улучшения, мне не миновать скальпеля. Так или иначе я сделал три дела: кончил роман, перевел сборник баллад и увидел Наташу. Но все три дела оказались не совсем завершенными: над романом надо еще посидеть, баллады еще не приведены в порядок, с Наташей мы еще официально не муж и жена, жизнь не наладилась, и — злые проказы Фортуны — что будет? что будет?..»

СОДЕРЖАНИЕ

Гинзбург Л. В.

Г 49 Избранное.—М.: Советский писатель, 1985.— 432 с.

Лев Гинзбург (1921—1980) хорошо известен читателям как поэт, переводчик, знаток истории и культуры Германии.

«Избранное» включает в себя его лучшие произведения в прозаическом жанре. «Бездна» и рассказы из книги «Цена пепла» разоблачают военных преступников, орудовавших на нашей земле в годы Великой Отечественной войны. «Разбилось лишь сердце мое...»—роман во многом автобиографичный, вобравший в себя впечатления от многочисленных поездок и встреч писателя, содержит его раздумья о времени и своем творческом труде.

Г $\frac{4702010200-392}{083(02)-85}$ 37—85 ББК 84.Р7

Лев Владимирович Гинзбург

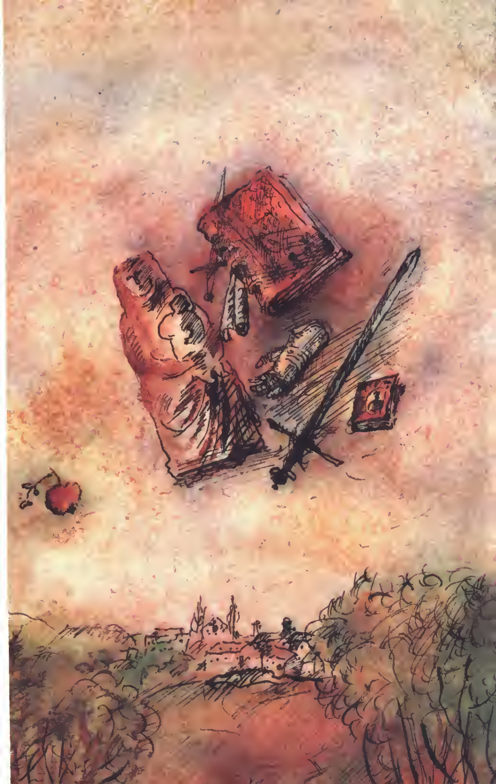
ИЗБРАННОЕ

М., «Советский писатель», 1985, 432 стр.
План выпуска 1985 г. № 37

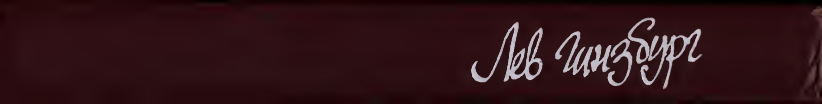
Редактор М. В. Иванова
Худож. редактор Е. Ф. Капустин
Техн. редактор И. М. Минская
Корректор Т. Н. Гуляева

ИБ № 4917

Сдано в набор 12.04.85. Подписано к печати 25.10.85. А 06526. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 27. Уч.-изд. л. 30,25. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1135. Цена 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28






Лев Гинзбург